

А. Н. МЕЩЕРЯКОВ

Восточная коллекция

КНИГА ЯПОНСКИХ СИМВОЛОВ





А. Н. МЕЩЕРЯКОВ

КНИГА
ЯПОНСКИХ
СИМВОЛОВ

КНИГА
ЯПОНСКИХ
ОБЫКНОВЕНИЙ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАТАЛИС»
РИПОЛ КЛАССИК
2003

Главный редактор серии
А. Р. Вяткин

Мещеряков А. Н.

М56 Книга японских символов. Книга японских обыкновений. — М.: Наталис, 2003. — 556 с.: ил. — (Серия «Восточная коллекция»).

ISBN 5-8062-0067-1

В каждой культуре сплелись обыденные привычки и символические смыслы. Японская культура — не исключение. Автор многочисленных книг о Японии А. Н. Мещеряков рассказывает о буднях обитателей этой страны и о том символическом мире, который они создали. Эта книга — подарок каждому, кто хочет понять, как живут японцы и как они видят сотворенный ими мир.

Книга богато иллюстрирована и обращена к тем, кто интересуется культурой народов Дальнего Востока.

ББК 63.3 (5)

ISBN 5-8062-0067-1

© А. Н. Мещеряков, 2003
© Издательство «Наталис», 2003
© В. Н. Белоусов. Оформление, 2003

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ЯПОНСКИХ СИМВОЛОВ

Предисловие	11
Хронологическая памятка	13
ГЛАВА 1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ	16
Император	16
Страна «Япония»	25
Люди японцы	30
Гимн	32
Флаг	35
Государь Дзимму (перевод Л. М. Ермаковой)	40
Принцесса Садзарэиси (перевод М. В. Торопыгиной)	42
ГЛАВА 2. РАСТЕНИЯ	45
Сакура	45
Сосна	50
Бамбук	55
Цветочная пыльца (П. Тарасов)	59
Про то, как при виде опадающей сакуры заплакал деревенский мальчик (перевод Г. Г. Свиридова)	65
<i>Кавабата Ясунари. На дереве</i>	66
Слово о вырывании ростка бамбука из глазницы черепа и о чуде, сотворенном молитвой	69
Дед Такэтори (перевод А. А. Холодовича)	71
Повесть о старике Такэтори (перевод В. Н. Марковой)	73
ГЛАВА 3. НАСЕКОМЫЕ	75
Сверчок	76
Светлячки	79
Тутовый шелкопряд	82
Любительница гусениц	86
<i>Кавабата Ясунари. Цикада и сверчок</i>	94

ГЛАВА 4. ПТИЦЫ	97
Камышовка	98
Кукушка	100
Сокол	102
Про то, как Каннон змеей обернулась (перевод Г. Г. Свиридова)	106
Кавабата Ясунари. Соседи	108
Кавабата Ясунари. Воробьиное сватовство	111
Кавабата Ясунари. Сорока	113
ГЛАВА 5. ЖИВОТНЫЕ	115
Кошки	115
Собаки	119
Коровы	126
Лошади	130
Олень	135
Черепаха	138
Кошки-мышки	141
Про собаку канцлера и гадателя Сэймэя (перевод Г. Г. Свиридова)	147
Кавабата Ясунари. Черный пион	149
Слово о том, как отец присвоил зерно сына и переродился быком	154
Слово о том, как монах присвоил дрова, предназначенные для кипячения воды, и переродился быком	155
Про то, как мужчина, храм Хасэдэра посещавший, чудесной милости удостоился (перевод Г. Г. Свиридова)	156
Слово о воздаянии в этой жизни за веру в Три Сокровища, почитание монахов и чтение сутр	161
Слово о том, как бодхисаттва Мёкэн чудесным образом обернулся оленем и указал на вора	162
Урасима Таро (перевод М. В. Торопыгиной)	163
ГЛАВА 6. РЫБЫ	168
Карп	168
Сом	171
Золотые рыбки	177
Слово о рыбах, которыми хотел полакомиться монах и которые обернулись «Сутрой лотоса», дабы защитить его от мирян	181
Про то, как настоятель храма Идзумо убил отца, хотя и знал, что он превратился в сома (перевод Г. Г. Свиридова)	182
Гэндзи-обезьяна (перевод М. В. Торопыгиной)	184
Кавабата Ясунари. Рыбки на крыше	198

ГЛАВА 7. ВЕЩИ	200
Зеркало	200
Зонтик	206
Бумага	211
Веер	218
Об основании Зеркального храма	223
Кавабата Ясунари. Зеркальце	227
Кавабата Ясунари. Слепец и девочка	229
Эндо Сюсаку. Зеркало (перевод М. В. Торопыгиной)	232
Про то, как монах получил из храма Камо бумагу и рис (перевод Г. Г. Свиридова)	237
Кавабата Ясунари. Дождь на станции	238
Кавабата Ясунари. Зонтик	244
ГЛАВА 8. ОТДОХНОВЕНИЯ	246
Чай	246
Табак	252
Азартные игры	257
Про то, как Дарума за монахами в Индии наблюдал (перевод Г. Г. Свиридова)	262
Про то, как две тысячи поклонений в храме Киёмидзу были проиграны в сугороку (перевод Г. Г. Свиридова)	263
Игра в раковины	264
Кавабата Ясунари. Приближение зимы	269
ГЛАВА 9. ЛЮДИ	272
Как я стал японистом и им же остался	272
Гуманитарии всех стран, соединяйтесь!	277
Кошачьи радости	279
Футбол 2000 года	281
Нехорошая Япония	284
Попутчики	286
ГЛАВА 10. ЛЮБОВЬ К ПРОСТРАНСТВУ	289
ГЛАВА 11. ИНТЕРПРЕТАЦИИ	302
Развесистая сакура или Япония в свете застоя	302
Мифологическая любовь и ее последствия	311
Информационный беспредел древности	317
To Speak и Not to Speak	320
Общественные сверхзадачи японской археологии	325
История с литературой	333
«Рассказы, собранные в Удзи» («Удзи сюи моногатари») (перевод Г. Г. Свиридова)	337
Про монаха Эин (перевод Г. Г. Свиридова)	338
Акутагава Рюноске. Дракон	339

КНИГА ЯПОНСКИХ ОБЫКНОВЕНИЙ

Предисловие	349
ЗРЕНИЕ	
Взгляд на пространство и пространство взгляда	351
ВРЕМЯ	
Часы на страже денег	367
Рис	
Индикатор национального самочувствия	381
Еда	
Рыба, победившая мясо	394
АЛКОГОЛЬ	
Пьяный в собственном автомобиле: без страха за водительские права	419
Дороги и ночлег в пути	
Путешествие без тапочек	432
Бани	
Вековая чистота	452
ТУАЛЕТЫ	
Взгляд историка, опыт пользователя	465
ТАТУИРОВКИ	
Хризантемы, драконы и молитвы	477
Любовь	
Боги и богини, мужчины и женщины	490
ПУБЛИЧНЫЕ ДОМА	
Веселый квартал Ёсивара	503
ДЕНЬГИ	
Наличные монеты счастья	520
ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ	
Один шаг от казни до смеха	536

КНИГА ЯПОНСКИХ СИМВОЛОВ

Япония,
данная нам
в символах, флоре и фауне,
людях,
интерпретациях
и обыкновениях.

Если читатель хочет знать правду, сообщаю: предисловие всегда пишется последним — когда книга уже готова. При этом автору приятно сделать вид, что ему с самого начала было известно, о чем он в книге напишет. Не стану говорить про других, но о себе могу утверждать смело: приступая к очередной книге, я, безусловно, приблизительно знаю, о чем хочу написать, но результат, то есть конечный текст, отличается от замысла довольно сильно. Потому что материал ведет тебя за собой, потому что проживая свою жизнь за письменным столом, ты все время учишься на ошибках. Преимущественно на своих и чужих. А, вернее, думаешь, что учишься.

И вот на сей раз я решил писать поскучнее — чтобы книга походила на энциклопедию. В процессе я убедился, что выходит как-то пресновато. И тогда мне пришла в голову идея снабдить авторский текст приложениями-переводами из классической и современной японской литературы (за исключением специально оговоренных случаев переводы принадлежат автору). То есть скрыть под обложкой источники удовлетворения любопытства как документального, так и художественного. При этом я старался дать максимум переводов из прозы, поскольку с японским стихотворчеством отечественный читатель в силу многочисленности имеющихся поэтических переводов знаком лучше. Эти литературные произведения (по необходимости короткие) должны продемонстрировать, как сами японцы относились (относятся) к той или иной вещи, явлению, символу, а мои вступления к этим произведениям играют роль путевода в лабиринте символов японской культуры (я рассказываю не столько о бытовой стороне

культуры, сколько о том, какими смыслами нагружены для японца вещь, растение, птица и т. д.). Я старался провести этот принцип с наибольшей последовательностью, но в некоторых случаях мне не удалось подобрать художественных произведений, которые бы подтверждали мои выкладки с окончательной убедительностью и краткостью. Отчасти в силу собственной недообразованности, отчасти потому, что некоторые символы (например, птичка камышовка) с легкостью гнездятся в поэзии, но не в прозе.

Аппетит, как ему и положено, пришел вóвремя — одной японской художественности мне показалось мало, и я решил дать себе волю, копившуюся три с лишним десятилетия. В главе «Люди» я рассказываю о тех японцах, встречи с которыми были для меня культурологически значимыми. Беседы с ними, исподтишка подслушанные разговоры наводили меня на некоторые размышления, которые, как мне кажется, будут небезынтересны и другим. «Любовь к пространству» — наиболее личностный раздел книги. В нем я собрал написанные за многие годы знакомства с Японией стихи, которые были навеяны тамешними впечатлениями, чем и компенсировал недостаток стихов в предыдущих разделах.

Тут мне стало обидно уже не за собственную художественность, а за те научные тексты, которые я когда-то написал, частью опубликовал, но которые никто не прочел за их труднодоступностью. Глава «Интерпретации» состоит из тех статей, в которых, как я довольно самонадеянно полагаю, мне удалось найти некоторые новые подходы к японской культуре.

В последнее время идет много разговоров о «глобализации» и «интернационализации». Адепты «современного» стиля жизни радостно полагают, что на смену культурам национальным нарождается некая глобальная монокультура, где все люди, подобно одноййцевым близнецам, будут, как один, пить кока-колу и разговаривать на американской версии английского. Полагаю, во-первых, что радоваться здесь нечему (единообразие скучно и вредно для здоровья любой системы, включая культуру — многообразие видов обеспечивает системе устойчивость), и, во-вторых, я не верю, что такая монокультура вообще возможна — многовековые устои местной жизни намного более живучи, чем это кажется ревнителям глобальных подходов. В. Ф. Одоевский писал: «История природы есть каталог предметов, которые были и будут. Первую надобно знать, чтобы составить общую науку предвидения, вторую — для того, чтобы не принять умершее за живое». И живое за умершее — добавлю я от себя.

Читать эту книгу можно с любого заинтересовавшего вас места. С одним, правда, исключением. Будучи приучен смотреть на что бы то ни было в историческом движении, я старался дать понять, что откуда взялось и во что вылилось. Поэтому в тексте довольно часто встречаются обозначения тех или иных не слишком привычных отечественному уху хронологических периодов. Так что лучше все-таки сначала прочесть вполне занудную хронологическую памятку, где приводятся самые основные характеристики той или иной эпохи. А уж потом — что кому понравится.

Хронологическая памятка

1. *Палеолит* (40000—13000 лет назад). Памятники палеолита, открытые только в послевоенное время, немногочисленны, а их атрибуция вызывает много вопросов. Хозяйственные занятия: охота и собирательство. Антропологический состав населения не ясен.

2. Период *дзёмон* (соответствует неолиту). Датируется: 13 000 лет назад — III в. до н. э. Назван так по типу керамики с «веревочным орнаментом» (дзёмон). Хозяйственные занятия: собирательство, охота, рыболовство (речное и морское). Культура дзёмон распространена на всей территории архипелага (от Хоккайдо до Рюкю). Неизвестно в точности, какие племена жили тогда на территории Японии (возможно — аустронезийского происхождения), но совершенно понятно, что к будущим японцам они имеют только опосредованное отношение.

3. Период *яёй* (бронзово-железный век) — III в. до н. э. — III в. н. э. Назван по специфическому типу керамики, впервые обнаруженному в Яёй (район Токио). В это время наблюдаются крупные миграции с материка (в основном через Корейский полуостров), принесшие на архипелаг культуру заливного рисосеяния, технологию производства металлов, шелкоткачество и другие хозяйственные новшества. Процесс смешения с местным населением приводит к появлению протояпонцев и протояпонской культуры. Основной ареал распространения: север Кюсю и Центральная Япония.

4. *Курганный* период — III—VII вв. Назван так по многочисленным масштабным похоронным сооружениям курганного типа, свидетельствующим о том, что в обществе появились

начальники и подчиненные. Появляется и протояпонское государство (самоназвание — Ямато). Начинается распространение буддизма. Поначалу Ямато вмешивается в политические распри на Корейском полуострове, но начиная со второй половины VI века этот регион окончательно входит в орбиту китайского влияния. Осознав свою военную и культурную неполноценность, предводители («императоры») Ямато приступают к целенаправленным заимствованиям из Китая (письменность, государственное устройство, теория и практика управления и т. д.). В 646 г. начинается длительный период реформ, ставящих своей целью превращение Ямато в «цивилизованное» на китайский манер государство.

7. Период *Нара* (710—794). Назван так по местонахождению первого японского «настоящего» города — столицы Нара (Центральная Япония, неподалеку от Киото). Происходит смена названия страны с Ямато — на «Японию» («Нихон» — «там, откуда восходит солнце»). Происходит активное строительство бюрократического аппарата на китайский манер. Государство в это время было эффективным, сильным и высокоцентрализованным. Появляются первые письменные памятники (мифологическо-летописные и законодательные своды, поэтические антологии).

8. Период *Хэйан* (794—1185). Назван так по местонахождению новой столицы — Хэйан (букв. «столица мира и спокойствия», совр. Киото, формально оставалась столицей, т. е. резиденцией императора, до 1868 г.). Это время отмечено упадком государственной власти. Контакты с Китаем и Кореей на официальном уровне прекращаются. Зато возникает блестящая и несколько женственная аристократическая культура. Создается национальная письменность — на основе китайской иероглифики и изобретенной в Японии слоговой азбуки.

9. Период *Камакура*, 1185—1333 (сёгунат Минамото). Называется так по ставке военного правителя (сёгуна), первым из которых был Минамото Ёритомо. Наблюдавшееся в конце периода Хэйан пренебрежение аристократами делами управления, отсутствие притока во властные структуры новых людей привели к установлению господства воинов-самураев, которое продолжается до 1867 года. Тем не менее, «император» всегда оставался верховным жрецом синтоизма и попыток свержения правящей династии не наблюдалось.

10. Период *Муромати*, 1392—1568 (сёгунат Асикага). Называется так по ставке сёгунов из рода Асикага в Муромати (район Киото). Постоянные феодальные междоусобные войны (особенно во второй половине этого периода). В конце эпохи — рост

городов, сопровождавшийся развитием городской светской культуры, первые контакты с европейцами (в основном с купцами и христианскими миссионерами).

11. Период *Эдо*, 1603–1867 (сёгунат Токугава). Назван так по ставке сёгунов из рода Токугава в Эдо (совр. Токио). Основатель этого сёгуната — Токугава Иэясу — вывел страну из перманентного состояния гражданской войны и объединил ее под своим началом. Чуть ранее в страну прибыли первые европейцы. Однако ввиду страха превратиться в колонию европейцы были при Токугава изгнаны, христианство — запрещено, страна — закрыта для въезда-выезда. Бурный рост городов, развитие городской культуры, экономики, резкое увеличение населения. Всемерная регламентация жизни всех слоев населения. Окончательное формирование того менталитета, который мы называем «японским».

12. Период *Мэйдзи* (1868–1911). Назван так по девизу правления императора Муцухито — «светлое правление». Не в силах противостоять нарастающему военно-политическому давлению Запада, Япония была вынуждена открыть страну. Чтобы защитить свой суверенитет, пришлось провести широкомасштабные реформы, имевшие своей целью создание современного индустриального государства с сильной армией. Реформы, имевшие революционный характер, были облечены в идеологическую оболочку возвращения к правопорядку древности, т. е. «реставрации» власти императора, отодвинутого на задний план при сёгунах. Бурное промышленное развитие, широкая вестернизация, при которой, однако, удается сохранить национальную идентичность (во многом за счет сознательного нагнетания националистических настроений). Военная экспансия в Корею и Китай, война с Россией.

Начиная с этого времени и до конца второй мировой войны основное русло исторической эволюции Японии определяется ее экспансионистскими военными устремлениями. После поражения происходит резкая смена приоритетов, на первое место среди которых выходит развитие экономики.

Государственные символы

Император

Происхождение японского императорского дома окутано странностями, легендами и предрассудками. Вот хотя бы один удивительный факт: правящая династия не прерывалась в течение по крайней мере полутора тысяч лет. Другой факт: в отличие от европейских монархов, в отличие от всех остальных японских семей, домов, кланов и родов, императорский дом не имеет фамилии — вещь немыслимая для Европы. Положение правящего дома в Японии было настолько своеобразно и прочно, что никакой фамилии ему попросту не требовалось.

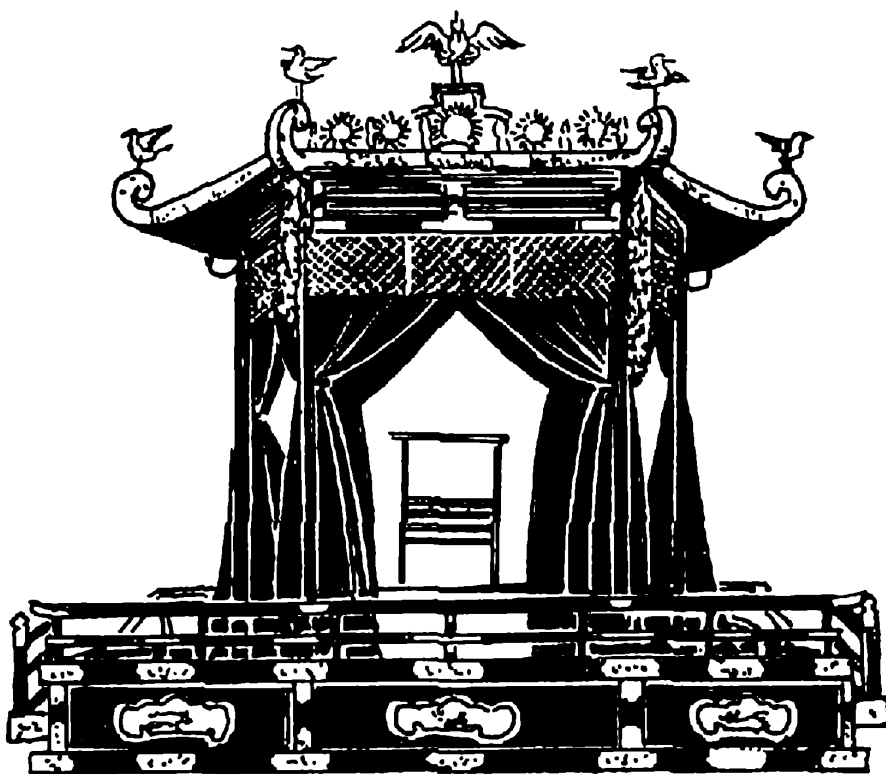
Попробуем разобраться, что же это такое — японский император (*тэнно*) и в чем состоит его уникальность. Я использую этот ставший привычным термин, хотя по своей сути японский правитель очень далек по своему статусу от всемогущих европейских монархов, принявших этот титул.

Фигура японского «императора» была священной. Но это была другая, отличная от Европы священность. Это была своеобразная неприкосновенность — в том смысле, что японский император не становился предметом живописного или словесного изображения или становился в минимальной степени. Японский император напоминает синтоистское божество, которое, как правило, тоже никогда не изображается. Собственно говоря, за исключением древних мифологическо-летописных сводов мы имеем чрезвычайно мало «живых» свидетельств, помогающих нам в портретировании японских правителей.

В глубокой древности правитель *Ямато* (Японии) назывался просто-напросто «великим господином» (*ооками*). Раз были гос-

пода (*кими*), был среди них и великий господин. То есть правитель был «всего-навсего» первым среди равных. Однако по мере того, как расширялась территория государства и повышался авторитет правящего рода, все больше требовалось и символическое оправдание такого положения. И здесь на помощь призывали китайскую политико-философскую мысль, в которой была чрезвычайно подробно разработана проблематика, связанная как со статусом правителя, так и со статусом его подданных. В этой философской системе ключевым элементом является понятие Неба (кит. *тянь*, яп. *тэн*), которое может быть приравнено к европейскому понятию Абсолюта. Именно вокруг концепции Неба и выстраивается все здание китайской философии.

В конце VII столетия (вероятно, в правление Тэмму, 673—686) вместо *оокими* стал последовательно употребляться астрологический даосский термин *тяньхуан* (яп. «*тэнно*»), обозначавший Небесного императора или же Полярную звезду. Впервые наименование китайского императора *тяньхуаном* относится к 674 г. (правление Гао-цзуна, 650—683), однако в Китае этот термин не получил в дальнейшем никакого распространения, ибо возобладало традиционное обозначение правителя как «сына Неба» — *тянь цзы*. Согласно даосским представлениям, *тяньхуан*, являющийся верховным божеством даосского пантеона, пребывает в небесном «фиолетовом дворце» (фиолетовый — самый священ-



Императорский трон

ный цвет), откуда он управляет даосскими мудрецами (кит. *чжэньжэнь*, яп. *махито*). Этот небесный порядок проецируется и на Землю, где идеальное государство во главе с тэнно должно быть организовано точно таким же образом.

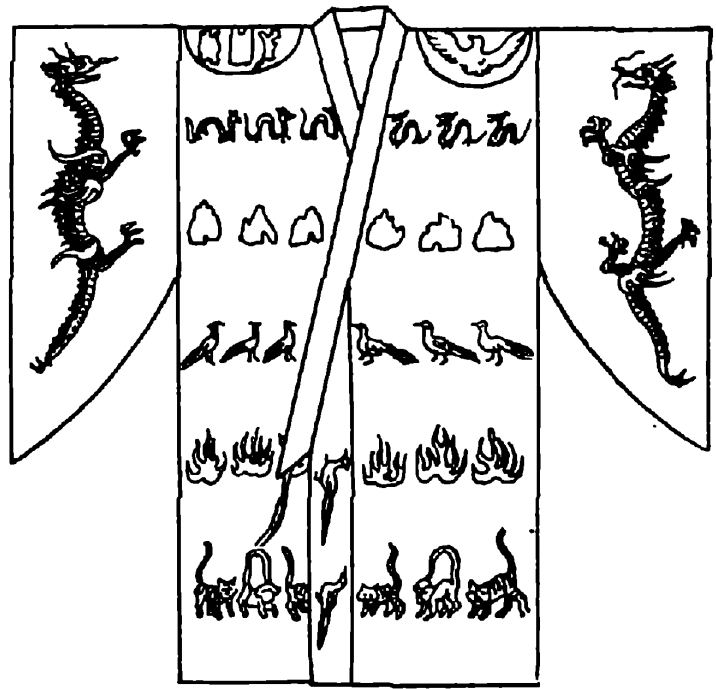
Понятие мудреца-махито входит в употребление в Японии тоже в конце VII в. Все знатные роды того времени обладали *кабанэ* — титулом знатности. В конце VII в. главным *кабанэ* становится махито. Это *кабанэ* присваивалось только членам императорского рода. Еще одно *кабанэ* — *мити-но си* — обозначало даосского монаха. То есть японский Двор того времени представлял из себя верховное божество в лице правителя и окружавшего его святых мудрецов.

Японские правители древности обладали по крайней мере тремя именами: детским, взрослым и посмертным. С идеологической точки зрения самым важным было многосоставное посмертное имя — именно оно лучше всего отражает то, что хотела внушить самой себе, а заодно и всем остальным, правящая элита. Так вот, в посмертное имя императора Тэмму входит следующее словосочетание, имеющее прямое отношение к китайской политической мысли: Небесный Мудрец с Оки (Оки-но Махито), где «Оки» (кит. Инчжоу) — одна из трех священных даосских гор-островов (другие носят название Пэнлай и Фанчжан), там и обитали бессмертные мудрецы.

Получается, что земной император уподобляется небесному божественному повелителю. Именно поэтому в императорских указах столь часто употребляется выражение «*камунагара*» — «являясь божеством». Тронный зал правителя назывался либо «фиолетовым дворцом», либо «Залой Великого Предела» (*дайгоку-до-но*). Понятие Великого Предела (кит. Тайцзи) выражало собой идею предельного состояния бытия, из которого путем последовательного удвоения рождаются женское и мужское начала (*инь* и *ян*), а затем и все сущее.

Атрибутами императорской власти в Японии являются меч, зеркало и яшмовая печать. Железные мечи и бронзовые зеркала во множестве находят при раскопках древних курганов, т. е. уже тогда полагали, что они обладают сакральной силой. Печать на всем Дальнем Востоке является атрибутом определенных властных полномочий. Ранее, до начала всеобъемлющего китайского влияния, роль печати выполняла *магатама* — пластина из полудрагоценного камня, выполненная в форме запятой. Все три регалии передаются из поколения в поколение при вступлении нового императора на престол.

Каждая из регалий связана с определенным мифологическим эпизодом. Для демонстрации чистоты своих намерений перед своим братом — Сусаноо — прародительница императорского рода богиня солнца Аматэрасу («светящая с неба» или «освещающая небо») надевает ожерелье из магатама. Когда Аматэрасу скрылась в небесной пещере, ее выманивали оттуда с помощью различных ритуальных ухищрений, в частности, с помощью бронзового зеркала, в которое, как считалось, должно было «вселиться» божество. Что до меча, то он связан не с Аматэрасу, а с Сусаноо — именно он победил змея-дракона и вырвал из его хвоста чудесный меч.



Одеяние императора

Герб императорского дома — это шестнадцатилепестковая хризантема. Часто изображается в качестве современной государственной символики — например, на заграничных паспортах. В китайской, а затем и в японской культуре хризантема считалась знаком долголетия, что, в частности, связано с известной стойкостью хризантемы перед холодами. Китайская легенда сообщает также о том, что возле одной реки на скале росло множество хризантем. Роса с цветков скатывалась в воду, и те люди, которые пили воду из реки, отличались отменным здоровьем и долголетием. Отсюда и происходит поверье: вино, настоянное на лепестках хризантемы, продляет жизнь до 8000 лет.

В Японии хризантема стала выращиваться в качестве сырья для приготовления лекарств по крайней мере с IX века. В хэйанской литературе описан такой обычай: в ночь перед девятым днем девятой луны на цветы хризантемы набрасывали шелковую ткань, которой наутро обтирались. Считалось, что пропитанная росой и ароматом хризантемы ткань способна обеспечить бессмертие. И сегодня члены императорской семьи в этот день любят хризантемами и пьют сакэ из чарки, в которой плавает цветок.

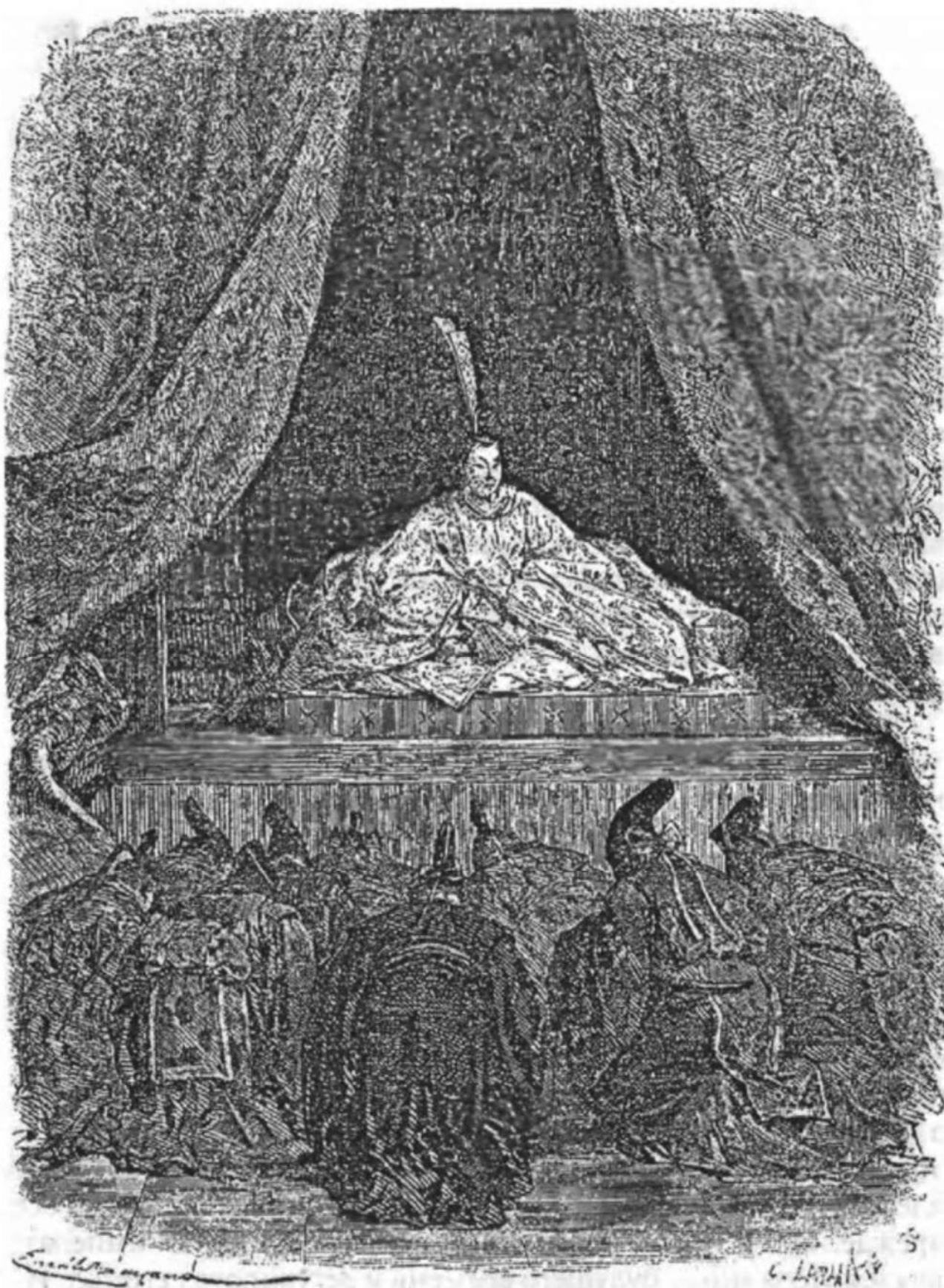
Как мы видим, на символику, связанную с японским императором, китайские представления оказали очень большое влияние.

Но при этом нельзя забывать, что положение китайских и японских императоров отличалось коренным образом. И если в Китае правящие династии многократно сменяли друг друга, то уникальность японской династии заключается, как я уже сказал, в том, что она не прерывалась вот уже около полутора тысяч лет. Такое положение объясняется несколькими причинами.

В Китае император не возводил своего происхождения к божествам. Основатель династии мыслился «всего-навсего» как избранник Неба. Правящий род Японии считал себя потомком главного божества синтоистского пантеона — Аматэрасу. То есть доминирующее положение этого рода было изначально и обусловлено не какими-то особыми достоинствами представителей этого рода, а кровным родством с божеством солнца, которому император был обязан поклоняться. Именно кровное родство обеспечивало императору и его потомкам трон, все остальные соображения («плохой» он или «хороший») не играли никакой роли. И, в таком случае, никто из возможных соперников императорского рода не мог претендовать на то, что, в случае свержения правящего дома, кто-нибудь признает его законным государем, поскольку он чем-то «лучше» представителя прошлой династии. Поэтому-то и попыток свержения императора в японской истории почти не наблюдается.

В связи с идеей божественного происхождения правящей династии в Японии была отвергнута центральная концепция китайской историософии — идея «мандата Неба». Согласно этой идее, приход к власти новой династии происходит по воле Неба, которое и отдает свой небесный приказ (кит. *тянь мин*, яп. *тэммэй*) достойному претенденту занять престол. Обладая в момент прихода к власти достаточным запасом моральной силы, добродетели и энергетики, династия с течением времени растрчивает этот запас, что и ведет к утере властно-сакральных распорядительных полномочий. Таким образом, идея о непременной смене династий была встроена в китайскую историософию. Несмотря на многочисленные заимствования из Китая, Япония, тем не менее, не приняла концепт «мандата Неба», поскольку он противоречил установке японской культуры на преемственность, которая действовала во всех сферах социальной жизни: наследственной была не только «должность» императора, но и главнейших царедворцев.

Вплоть до обновления Мэйдзи порядок наследования в Японии не был определен. В настоящее время престол передается только по прямой мужской линии. До этого времени императором или же императрицей теоретически мог стать любой предста-



Император и его придворные. С гравюры сер. XIX в.

витель правящего рода. Поэтому бездетность императора или же отсутствие в его потомстве сыновей не приводило к прерыванию династии, как это случалось в европейской и российской истории. Тем не менее, более предпочтительным все равно считалось занятие престола прямыми мужскими наследниками правящего тэнно. Поэтому существовал и подстраховочный механизм в виде официально одобренного многоженства (моногамная идея была высокопоставленным японцам чужда).

За весьма редкими исключениями, японский император никогда не обладал той полнотой распорядительных полномочий, которыми владели его европейские и русские монархические коллеги. Так, совершенно невозможным выглядит появление японского императора на театре военных действий в качестве верховного главнокомандующего. Тэнно не покидает пределов столицы, не путешествует ни по стране, ни, тем более, за границу, поскольку главная функция тэнно — это пребывание в сакральном центре, т. е. во дворце. Император участвует в ритуалах как первожрец синто, ему совершают поклонения как живому божеству, но он обязан поддерживать ритуальную чистоту и потому не касается мирских дел. Сам факт нахождения его на престоле является самой надежной гарантией того, что дела в стране идут как надо.

Другая важнейшая функция императора — речевая, поскольку именно от его имени провозглашались указы. Еще одной функцией императора было управление временем — дело, которым в древних обществах обычно занимались жрецы. В России и Европе контроль над временем всегда находился в компетенции церкви, поскольку и точка отсчета (Рождество Христово или Сотворение мира), и почти все праздники годового цикла были связаны с христианством. В России первые светские календари появляются только в XVIII в. — до этого в ходу были только календари церковные. В Японии же укоренилась китайская идея о том, что каждый император принимает название (девиз) для своего правления, которое имеет заклинательное свойство: «небесный мир», «вечное процветание» и т. п. Составлявшиеся в конце года календари от имени самого правителя распространялись по всем учреждениям и провинциям. Таким образом, именно император являлся «хозяином» будущего времени и регулировал его ход. Император имел право и на переименование девиза до истечения срока своих полномочий.

Никаких чисто церковных календарей в стране не существовало. Контроль над прошлым временем осуществлялся императо-

ром с помощью летописей — именно по его повелению они и составлялись чиновниками, а не монахами, как это повелось в России.

Структура японской власти на протяжении по крайней мере последних полутора тысяч лет была такова, что реальными распорядительными полномочиями почти всегда обладал не сам император, а другой человек или институт, что делало тэнно принципиально неуязвимым для любой критики, которая могла бы быть направленной в его адрес. В древности это был глава рода, который поставлял императору главных жен (вначале это был род Сога, потом — Фудзивара). В средневековье это были военные правители — *сёгуны*, которые, однако, получали формальное назначение государевым указом. В новейшее время функцию по управлению страной взяли на себя парламент и правительство.

Так что нынешний статус императора, который принятая после окончания второй мировой войны конституция определяет как символ единства нации, вполне вписывается в исторические реалии. А потому все социологические опросы показывают, что людей, которые выступали бы за отмену института тэнно, чрезвычайно мало.

Японские мифы свидетельствуют, что в глубокой древности архипелаг называли по-разному. Это и «Великая страна восьми островов» — поскольку первотворцы Идзанаги и Идзанами сотворили острова Японии числом восемь (восемь — показатель множественности). Это и «Страна тростника». Это и «Стрекозиные острова» — оглядывая страну с холма, первоимператор Дзимму нашел, что своими очертаниями она напоминает стрекозу. Однако ни одно из этих названий не было принято в качестве официального. Помимо мифа, они фигурируют только в качестве поэтического обозначения Японии.

Сами японцы называют ныне свою страну *Нихон* или *Ниппон*. Несмотря на то, что русские и японцы — вроде бы и соседи, в русском языке слово «Япония» было заимствовано не из японского языка, а из французского (*Japon*) или немецкого (*Japan*), куда оно пришло из португальского. Именно португальцы были первыми европейцами, которые проникли в Японию в XVI в.

Всякому известно, что европейцы часто называют Японию «страной восходящего солнца». Причина вроде бы понятна: Япония — самая восточная страна Азиатского континента. Не всякому известно, однако, что выражение «Страна восходящего солнца» представляет собой парафраз самоназвания этой страны, которое появилось в самом начале VIII в.

В середине VII в. Япония начинает широкомасштабные реформы, целью которых было создание современного, по дальневосточным (т. е. китайским) меркам, государства. Создаются министерства, аристократы становятся чиновниками, народ

начинает платить регулярные налоги... Отдавая себе отчет в том, что она создает политическую систему, основанную на новых принципах, правящая элита решила также сменить название государства во главе которого она стояла. Если до VIII в. японцы называли свою страну Ямато — местность в центральной части острова Хонсю, где сформировалась древнеяпонская государственность, то в 702 г. мы впервые встречаемся с топонимом «Нихон» («Присолнечная страна»). Именно так назвал свою страну Авата-но Махито, отправленный послом в танский Китай и произведший там большое впечатление своей образованностью. Китайская хроника отмечала: «Махито любит читать канонические книги и исторические сочинения, пишет и толкует, манеры — превосходны». В хронике также говорилось: «Япония — другое название Ямато. Эта страна находится там, где восходит солнце, и потому ей дали название Япония».

Для переименования страны существовало несколько оснований.

Во-первых, двор Ямато желал подчеркнуть, что отныне Китай имеет дело с обновленной страной, жизнь в которой устроена на цивилизованный и законный манер. Непосредственно перед визитом японского посольства в Китай был введен в действие первый законодательный свод «Тайхо рицурё».

Во-вторых, сам акт переименования государства был призван подчеркнуть самостоятельность Японии и ее независимость от Китая, поскольку те страны, правители которых получали инвеституру при дворе китайского императора, не имели права на введение собственного законодательства. Скажем, Силла — государство на Корейском полуострове — такого законодательства не имела, поскольку находилась с Китаем в вассальных отношениях. Эти государства не имели права на использование собственных девизов правления. В Японии регулярное применение девизов правления начинается с 701 г. — «Тайхо» — «Великое сокровище», под которым разумелось обнаруженное в стране жильное золото. Не позволительно было и несанкционированное Китаем изменение названия страны.

И, в-третьих, процесс упрочения позиций правящего рода привел к повышению статуса его прародительницы Аматаэрасу, в связи с чем вся солнечная семантика приобретала особое значение. Достаточно отметить, что престолонаследник именовался «сыном солнца, сияющего высоко», а сам акт восхождения на престол описывался как «наследование небесному солнцу».

Для китайских пространственных представлений наиболее характерна ориентация по оси север—юг, связанная с тем, что именно на севере небосклона расположено обиталище обоженственной ипостаси первобытной единой субстанции. Именно оттуда, с севера, и происходит управление Поднебесной. Сам же китайский император (земное воплощение Полярной звезды) должен был повелевать Поднебесной, будучи обращен лицом к югу. Но в первых японских письменных памятниках — мифологическо-летописных сводах «Кодзики» («Записи о делах древности», 712 г.) и «Нихон сёки» («Анналы Японии», 720 г.) — наиболее часто указываемыми направлениями являются восток и запад, т. е. основная горизонтальная ось мира проходит именно по этой линии.

Согласно «Нихон сёки», легендарный первоимператор Дзимму так объясняет постигнувшее его временное поражение при покорении восточных земель: «Я — дитя Небесных богов, а сражаюсь с врагом, обратившись к солнцу. Это противоречит Пути Неба. Лучше я повернусь и отступлю, покажу, что я слаб, восславлю богов Неба, богов Земли, со спины мне божество Солнца силу придаст, буду нападать, на собственную тень ступая. Тогда, и не обагрив меч кровью, непременно одержу победу над врагом» (перевод Л. М. Ермаковой).

Ни в буддизме, ни в китайской религиозно-философской традиции восток не имеет того значения, которое он приобрел в Японии. Как свидетельствует приведенный мифологический эпизод, для Японии характерно понимание восточного, солнечного направления как несчастливого, сулящего поражение, если оказаться к нему лицом. Вполне возможно, что это была одна из причин, по которой правители Японии пожелали «заложить» эту магическую мину под Китай и Корею: ведь для того, чтобы «увидеть» Японию с континента, следовало обратиться лицом к востоку — и тогда солнце ослепит тебя.

Япония попыталась построить выработанную Китаем геополитическую модель мира. Главным свойством этой модели является помещение собственной страны (которой в лице государя приписывается роль носителя абсолютной благодати) в центре Поднебесной. Поэтому вслед за китайцами японские хронисты использовали термин «срединная страна» по отношению к Японии. Эта «срединная страна» должна быть окружена «бескультурными» странами и народами. Для этих «варваров» и иноземцев было разработано несколько градаций. Японцы именовали Китай «великой страной Тан» (по названию правившей тогда династии),

此圖乃大明國疆域之圖也。大抵北廣南狹。如左。大抵國自中興。當東以周。教百里。大抵本國有大唐國。當及廣。大抵國道。十列三百六十八。每三千五百七十一。即。音。十。市。三千五百七十一。音。二千八百。年。之。院。位。反。五。音。京。內。奇。志。院。位。偶。七。音。內。京。東。去。二。百。一。十。里。低。地。音。費。五。千。二。百。八。十。里。低。地。音。北。去。二。百。八。十。里。

Карта Японии (конец XVI в.)

и он попадал в категорию «соседней страны» (не имеет обязанностей по принесению дани), в то время как Корея относилась к «дальним соседям», или же западным варварам, обязанным такую дань приносить. Ни китайцы, ни корейцы не находились под непосредственным благодетельным влиянием японского государя, но имели возможность «вернуться» к нему. Поэтому переселенцев из этих стран в Японии именовали *кикадзин*, — «вернувшиеся к культурности», что вряд ли соответствовало тогдашним культурным реалиям: именно Япония заимствовала достижения континентальной культуры, а не наоборот.

Категории «соседей» были неприменимы к окраинным обитателям самого Японского архипелага. Это были хаято на юге Кюсю и эмиси (предки айнов) на северо-востоке Хонсю. Хотя они номинально и проживали на территории, находящейся под цивилизирующим влиянием японского правителя, а также формально входили в состав податного населения, они все равно считались «варварами». Хаято относились к «южным варварам», а эмиси — к «восточным» (обитатели той части северного Хонсю, которая обращена к Тихому океану) и «северным» (побережье Японского моря). Поэтому по отношению к ним были возможны меры силового воздействия, что и привело в конце концов к их покорению. Нападения на «западных варваров» — Корею — совершено не было, но в VIII в. вопрос о направлении туда войск обсуждался дважды.

Япония пыталась показать Китаю, что она ни в чем не уступает ему. Сменив название страны, она выстраивала имперскую модель международных отношений, но достаточных ресурсов — экономических, военных и культурных — для этого у нее не было.

Тем не менее, вместе с приобретением страной другого названия в начале VIII в. Японией был сделан важный шаг в процессе осуществления государственной самоидентификации, что создавало в дальнейшем предпосылки и для самоидентификации этнической.

На практике оба названия Японии (Ямато и Нихон) длительное время сосуществуют параллельно, и двум иероглифам — «ни» и «хон» — зачастую приписывается чтение «Ямато».

В названии каждой страны присутствуют, за весьма редкими исключениями, два необходимых элемента, указывающих на географическое положение страны и на ее социально-политическое устройство. Например, Французская Республика или же Соединенные Штаты Америки. Во времена столь недолговечного по историческим меркам существования страны под названием Союз

Советских Социалистических Республик он был лишен географической составляющей в названии страны. Что касается Японии, то в официальном ее названии отсутствует другой необходимый элемент, то есть указание на государственное устройство, и в этом смысле обе страны могут считаться уникальными. Ибо Япония именует себя как в неофициальных, так и в официальных документах предельно лаконично: «страна Япония». И все. И никаких добавлений, вроде «монархическая», «социально-демократическая» и просто «демократическая». Японцам это показалось ненужным и даже вредным. Главное, что такая страна есть, расположена она на Японском архипелаге и населяют ее, как легко можно догадаться, не кто-нибудь, а именно японцы.

Отделенность нынешней Японии от материка — явление историческое, т. е. имеющее свои временные пределы. В эпоху плейстоцена Япония была связана с материком сухопутными мостами. Считается, что во время максимального оледенения вюрмского периода уровень океана был на 140 метров ниже нынешнего. Это позволяло проникать на архипелаг переселенцам из разных частей Азии — как с юга (через территорию нынешнего Кюсю), так и с севера (через Хоккайдо). Следует также иметь в виду, что территория современного Японского архипелага не была разделена на острова, т. е. представляла собой единый массив суши. Формирование архипелага в конфигурации, приблизительно соответствующей современной, относится к концу оледенения вюрмского периода, т. е. случилось это за 17—18 тысяч лет до наших дней.

Поскольку в древности никакого архипелага не существовало, то и наиболее ранняя культура обитателей Японии образовывалась в результате тесного взаимодействия различных культурных и антропологических компонентов. И после того, как появились острова, миграции с материка продолжали играть очень большую роль в формировании японской культуры. Насельниками архипелага были австронезийцы, предки современных айнов. Однако около III в. до н. э. в Японию стали проникать люди, которых можно назвать протокорейцами — носители гораздо более высокой культуры. Именно они принесли в Японию рисосеяние и технику производства металла. Их смешение с коренным населением и привело к созданию культуры, которую мы называем японской. И если на севере (Хоккайдо и север Хонсю), куда переселенцы не

дошли, благополучно продолжался каменный век, в центре Хонсю сформировалась государственность. Достаточно заметные этнические вливания из Кореи и Китая продолжались вплоть до VII в. н. э. Но и после этого чисто культурные связи с Китаем и Кореей были чрезвычайно важным фактором в эволюции японской культуры.

Китайцы называли в древности японцев «людьми страны Ва». Поскольку «ва» означает «карлик», то вряд ли такое название могло нравиться японцам. В начале VIII в. страна, как было сказано, сменила название. Логично было бы предположить, что люди из страны «Япония» стали именовать себя японцами. Однако вопрос не так прост, как это может показаться на первый взгляд. Несмотря на давность термина «Япония», впервые именование обитателей архипелага как «японцев» (*нихондзин* — «люди из Нихон») встречается в литературном памятнике рубежа XII—XIII вв. «Удзи сюи моногатари» («Истории, собранные в Удзи»), где корейцы называют так человека, приплывшего в Корею из Японии. Однако и после этого «японцев» как бы и не было. Во всяком случае сами японцы так себя не называли или почти не называли. Самоназвание «японцы» получает широкое распространение только после периода «обновления Мэйдзи», когда обитатели архипелага вплотную столкнулись с американцами, немцами, русскими, англичанами и так далее. До этого времени вопрос о национальной принадлежности вставал не слишком часто. Ведь для того, чтобы назваться «японцами» нужно было от чего-то отталкиваться: в сознании должны были присутствовать другие национальности, контакты с которыми в реальности были сведены к минимуму начиная с XVII века, когда из страха перед европейцами, их христианством и пушками военные правители страны (сёгуны из дома Токугава) сочли за благо закрыть страну как для въезда, так и для выезда. А до этого на вопрос «Откуда ты?» обитатель архипелага отвечал, что он происходит из такой-то деревни такого-то уезда такой-то провинции.



Киси-но Нагани,
японский посол
к китайскому двору
(654 г.)

Европейцы заставили японцев не только именоваться японцами. Под их непосредственным влиянием Япония озаботилась также «современной» государственной атрибутикой, в том числе и гимном (до этого ничего такого и в помине не было). Но при выборе текста гимна японцы поступили совершенно нетривиальным образом, ибо ничего нового сочинено не было. Наоборот: из поэтической антологии начала X в. «Кокинсю» («Собрание старых и новых песен») было взято пятистишие неизвестного автора (чтобы никому, значит, не стало обидно). В этом пятистишии *танка* («короткая песня») провозглашалась здравица государю:

Государя век,
Тысячи, миллионы лет
Длится пусть! Пока
Камешек скалой не стал,
Мохом не оброс седым!

Перевод Н. И. Конрада

Так получилось, что слова японского государственного гимна — самые древние в мире, хотя сама идея гимна была позаимствована японцами сравнительно недавно.

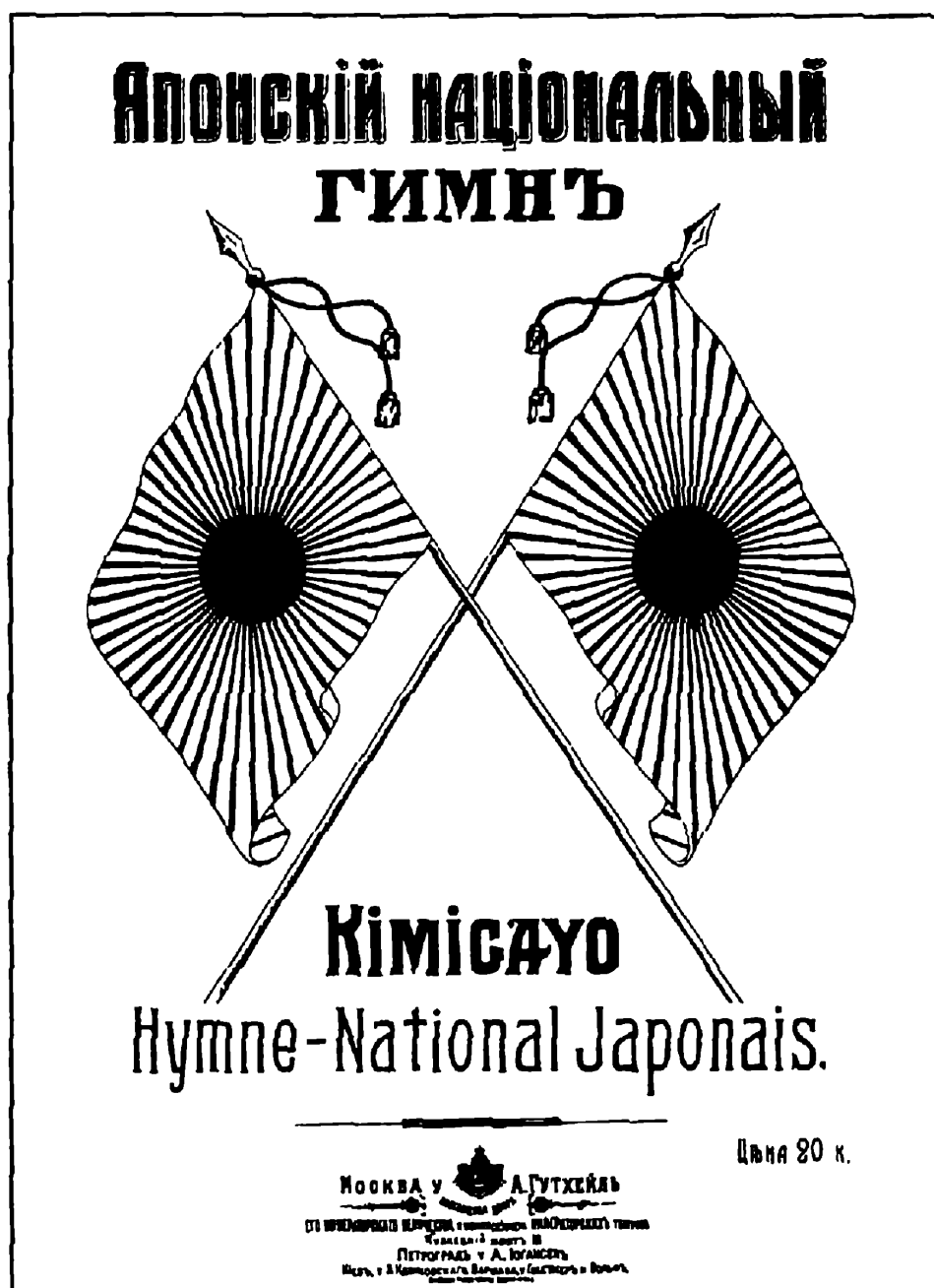
В «Кокинсю» вышеприведенное стихотворение не имеет авторства. Однако здравица эта оказалась довольно популярной, она входила и в более поздние антологии. А в одном из средневековых рассказов она обрела и «автора» — им становится не какой-нибудь придворный стихоплет, но сам будда Якуси. Более всего

этот будда известен своими целительскими способностями — и именно к нему обращались японцы для избавления от болезней. Поскольку в стихотворении «Кокинсю» речь идет о продлении жизни, то Якуси и был признан автором этого поэтического заклинания.

Не существует никакого сомнения, что в ту эпоху, когда эти стихи были сочинены, они декламировались или пелись — именно так поступали японцы со всеми своими стихами. Однако ко времени повторного осознания их важности в XIX веке прошло уже почти целое тысячелетие. Так что мотив подзабылся. К тому же следовало привести его в соответствие с музыкальными нормами западных государств.

1973 год, Япония, Токио. Я блуждаю в подземном городе, расположенном под районом Синдзюку. Лавки, магазины, едальни... Лишенный привычных надземных ориентиров, я не могу найти пути назад, т. е. наверх. И вдруг откуда-то из поднебесья слышу слабые и торжественные звуки «Интернационала». Знаю про любителей этой мелодии немало неприятного, но сердце, впитавшее эти звуки из черного горла бабушкиного репродуктора, все равно ёкает и плавится, и я, расталкивая равнодушных японцев, словно весенний побег, пробиваюсь своим классовым чутьем сквозь бетонные перекрытия — из подземелья на асфальт, и вижу группу молодых людей в черных повязках, скрывающих лицо от чересчур любознательных полицейских. Гремит записанный на пленку «Интернационал», юноши выкрикивают «Долой американский и советский империализм!» и держат соответствующие плакаты. Было обидно.

Собственно говоря, сама идея о необходимости принятия национального гимна была высказана в 1870 г. англичанином Джоном Фентоном, который служил музыкальным инструктором в японской армии. Древний текст был предоставлен ему людьми из «прогрессивного», выступавшего за проведение реформ, княжества Сацума на острове Кюсю, однако сочиненная Фентоном музыка была признана не слишком удачной, поскольку в ней отсутствовала должная степень величественности. После неудач-



Российское издание японского
национального гимна

ной попытки дело было поручено музыкальному отделу императорского двора, сотрудник которого Хаяси Хиромори и сочинил музыку. После того, как другой военно-музыкальный инструктор — немец Ф. Эккерт — отредактировал ее, японский гимн был впервые публично исполнен 3 декабря 1880 года.

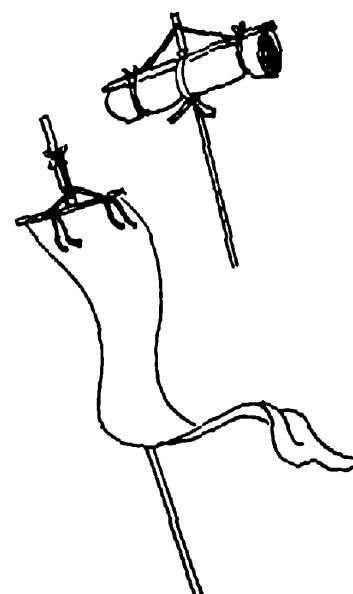
В 1888 году Военно-морское министерство разослало текст и музыку гимна посольствам государств, с которыми Япония имела официальные дипломатические отношения. А с 1893 года гимн был введен в программу обучения всех японских начальных школ наряду с еще семью патриотическими мелодиями, исполнять которые надлежало по праздникам, имеющим общегосударственное значение.

В древней Японии флаг или стяг служил знаком наличия власти (определенных распорядительных полномочий) у его обладателя. Первые достоверные сведения о таком флаге относятся к 701 г. Во время церемонии празднования Нового года, когда подданным государя и иностранным послам полагалось подносить поздравления императору, выражая таким образом чистоту своих помыслов и верность тогдашнему правителю Момму, возле ворот тронного дворца были вывешены флаги. На них были изображены солнце и луна, а также четыре животных: дракон, сокол, гибрид черепахи и змеи — *гэмпу* (кит. *сюаньву*) и тигр, которые символизировали власть японского императора во всех уголках Поднебесной. Дракон соотносится с востоком, тигр — с западом, гэмпу — с севером, сокол — с югом. Однако поскольку вся символика таких флагов — чисто китайская, то и считать его национальным японским достоянием нет никаких оснований. Это и понятно, поскольку того, что мы именуем национальным государством, попросту не существовало.

Разновидность флага — военный штандарт — получает широкое распространение в период Камакура, когда наступила эпоха гражданских войн. Воинские дружины отправлялись в поход и вступали в сражения под штандартом своего князя. На этом штандарте обычно изображался княжеский герб. Императорские войска сражались под сенью красного флага с вышитым на нем золотыми и серебряными нитками изображением солнца и луны.

Полотнище штандарта крепилось к древку (часто красному) и имело форму, сильно вытянутую по вертикали (стандартное соот-

ношение вертикали и горизонтали — пять к двенадцати). Самураи прикрепляли такой штандарт небольшого размера к своим доспехам за спиной. Основной же штандарт располагался там, где находилось командование. В употреблении были также и флаги, которые сворачивались наверх, наподобие жалюзи или свитка. При таком устройстве выражение «поднимать флаг» (т. е. закатывать наверх, приводя в «нерабочее» состояние) обретает совершенно противоположный смысл.



Военные штандарты

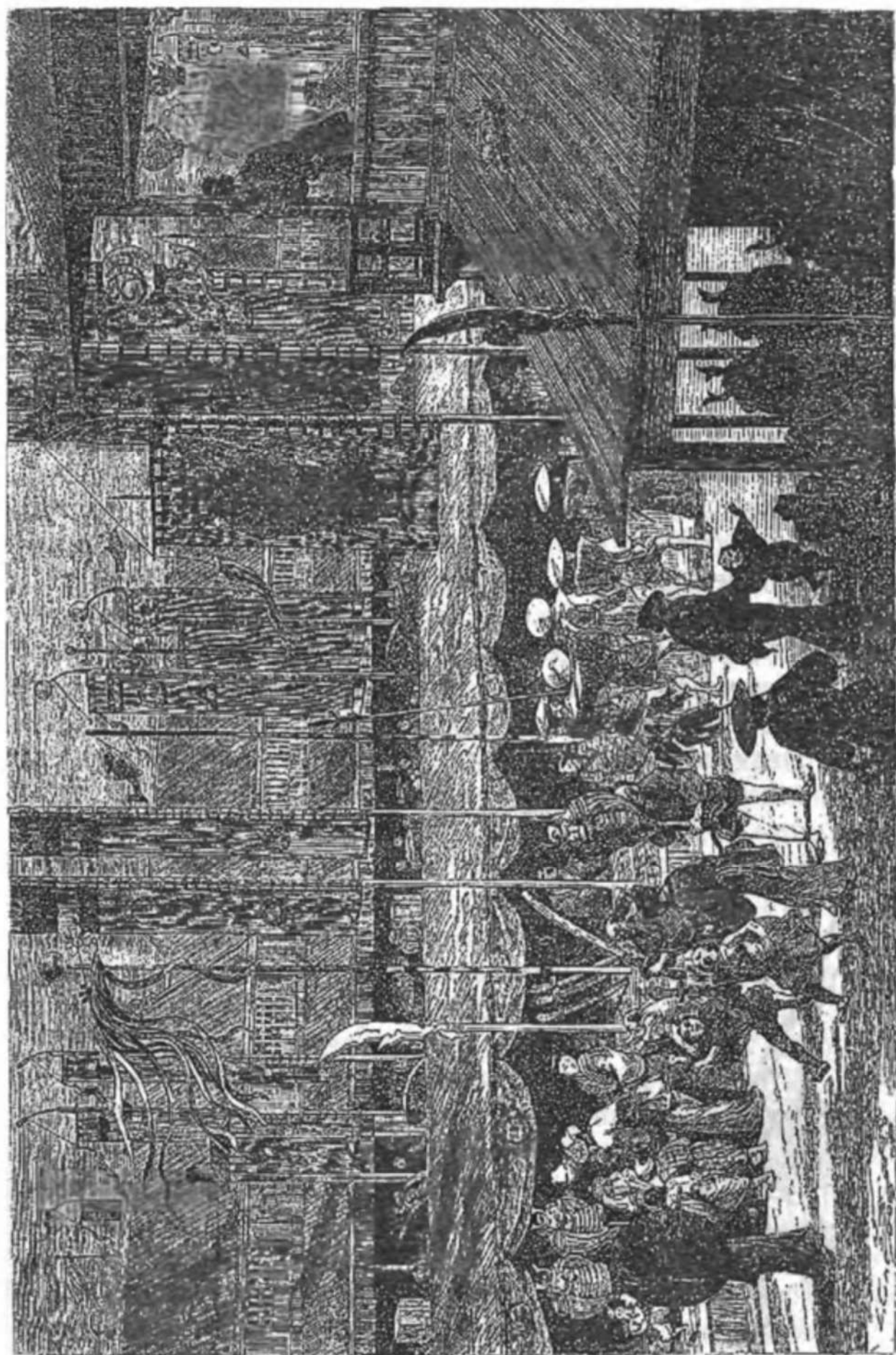
С основанием в 1603 г. ставки сёгуна Токугава Иэясу в Эдо (современный Токио) и наступлением мирных времен и стяги, подобные вышеописанному, стали использоваться в мирных целях. Ими в качестве вывесок пользовались для привлечения внимания клиентов владельцы лавок, устроители турниров по сумо, уличные торговцы и т. д. Эта традиция сохранилась до сегодняшнего дня.

Время было мирное, но дети все-таки еще долго продолжали играть в войну, используя те же самые воинские атрибуты.

Что касается государственного флага Японии, то, точно так же, как и в случае с гимном, он появился в результате волны подражательства, захлестнувшей страну во второй половине XIX в.



Игра в войну



Праздник. С гравюры сер. XIX в.

Необходимость вести дипломатические переговоры с европейскими державами на достойном уровне привела и к появлению японского флага.

Этот флаг представляет собой, как известно, красный круг солнца на белом поле. Его прототип появился еще в период Хэйан, но сначала он использовался не на знаменах, а на веерах военачальников, с помощью которых отдавались приказания.

Как уже говорилось, первоимператору Японии Дзимму сопровождал военный успех, когда он бился спиной к солнцу. Поэтому и средневековые военачальники тоже старались использовать этот прием. Имея в руках веер с солярной символикой или же флаг с изображением солнца за спиной, они таким образом «ослепляли» противника, ибо победа всегда принадлежит тому, кто имеет солнце на своей стороне.

Солнечный символ получил название *хи-но мару*, то есть «солнечный круг». Использование такого флага на военных кораблях началось в XVIII в. в самые последние годы правления сёгуната Токугава. В качестве официального флага Японии он был принят в 1870 г. Его популяризации в «передовых» странах того времени сильно способствовала пламенная речь известного государственного деятеля Ито Хиробуми, произнесенная им в Америке в 1871 году во время кругосветного путешествия так называемой миссии Ивакура, которая ставила своей целью посмотреть мир и

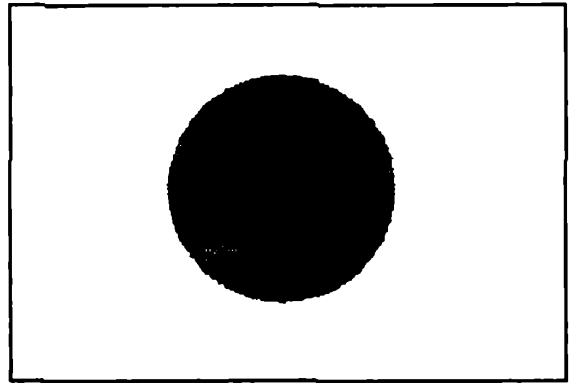
одновременно показать ему, что это за страна — Япония. Отметив, что переход Японии от средневековья к современности совершился на редкость бескровно, Хиробуми заключил свою речь такими довольно суровыми — если вспомнить всю последующую историю — словами: «Красный круг на нашем государственном флаге — это не сургучная печать, которая предотвращает скорое превращение Японии в империю, это символ, который обещает вхождение страны в мировое содружество цивилизованных государств, благородный символ восхода утреннего диска солнца над линией горизонта».

Принятие «хи-но мару» в качестве официального символа страны было обусловлено в первую очередь родством императора с солнцем. Вполне традиционным оказалось и сочетание красного с белым. Красный цвет в



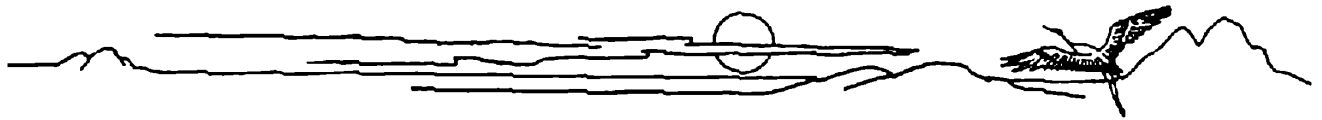
Уличный торговец

синтоизме (как, впрочем, почти в любой религии) символизирует очистительную энергию огня и солнца, с помощью которой изгоняются злые духи. Кроме того, красный — это кровь, то есть жизнь. *Тории*, ворота, ведущие в синтоистский храм — всегда окрашены в красный. Белый же цвет — это чистота. Сочетание красного с белым символизирует обеспечиваемую синтоистскими божествами счастливую и незапятнанную жизнь. Одевание синтоистских жриц *мико* до сих пор представляет собой сочетание белого верха и красного низа.



При выборе государственного флага сказалось, безусловно, и географическое положение страны — древние китайцы, бывшие не слишком хорошими мореплавателями и отнюдь не открывшие никакой Америки, полагали, что Япония расположена на самом восточном краю ойкумены. Получалось, что солнце приходит к ним именно из Японии. Японцы тоже посчитали, что рассвет для всего мира начинается с Японии.

Во все военные времена государственная символика используется для нагнетания националистических страстей. Не избежал этой участи и флаг «хи-но мару». Достаточно сказать, что во время второй мировой войны в едальнях подавали патриотическое блюдо — белый рис с воткнутой посередке красной маринованной сливой. Это блюдо так и называлось — хи-но мару. Я не говорю уже о менее забавных вещах, вроде водружения флагов во всех мыслимых учреждениях завоеванных Японией стран. В связи с этим у многих японцев «хи-но мару» прочно ассоциируется с военными преступлениями Японии. Что, естественно, не добавляет флагу почета и уважения. Рядовой японец никогда не вывесит национальный флаг на своем доме. История Олимпийских игр помнит, что на берлинской Олимпиаде 1936 г. победу в марафоне одержал «японец» Сон Китэй. На самом-то деле это был выходец из оккупированной японцами Кореи, но на его груди красовался японский «солнечный круг». Одна корейская газета опубликовала фотографию Сона на пьедестале почета, где этот «солнечный круг» был замазан... Так газетчики выразили свой протест и против оккупации, и против флага как империалистического символа. Сотрудников газеты, естественно, арестовали, газету, естественно, запретили. Запрет был снят «всего лишь» через десять месяцев.



Государь Дзимму

Описание некоторых деяний первоимператора Дзимму взято из мифологическо-летописного свода «Нихон сёки» (720 г.). В этом отрывке идет речь об овладении Дзимму страной Ямато, которая располагалась в районе нынешних городов Нара и Киото, и о возведении там дворца, где Дзимму восходит на престол в совершенно баснословный для этого события 660 г. до н. э.

В данном эпизоде показано, что становление древнеяпонского государства сопровождалось, как это всегда бывает, комплексом насильственных и ритуальных действий. В последующие времена военная функция императора постепенно отмирает, и на первый план выступают жреческие функции правителя. Обращает на себя также внимание то, каким образом осуществлялась разметка пространства, — топонимы трактуются с точки зрения соответствия их прошлым деяниям правителя и его ближайших соратников. Эти этимологии не имеют ничего общего с лингвистическими изысканиями в этой области и представляют собой «императорские этимологии» (разновидность народных). Размышления Дзимму о целесообразности возведения дворца полны китаизмов, совершенно невозможных в доисторическое для Японии время.

Перевод принадлежит перу Л. М. Ермаковой. Он был несколько переработан автором книги с целью облегчения его понимания читателями-неяпонистами.

Государь Дзимму приказал всем предводителям собрать войска и явиться к нему. Однако люди из племени цутигумо — «земляных пауков» — полагались на свои brave мечи и ко двору не являлись. Они жили в трех местах. Тогда Дзимму разделил свое войско на три части, послал туда и все цутигумо были перебиты. А еще цутигумо жили в селе Такаовари. Видом они были — туловище короткое, а руки-ноги

длинные. Воины государя сплели сеть из плюща кадзура, напали на них и перебили. Поэтому селу переменяли имя и называли Кадзураки.

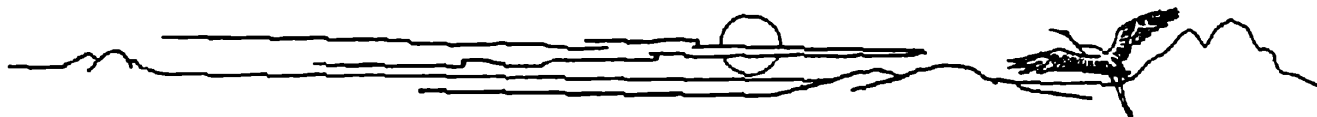
Еще рассказывают: «Государь перед выступлением отдал еды из священной посуды, а потом выслал войска и ударил по западным землям. В это время собрались (ивамивитари) вместе восемь десятков молодцов Сики. Они яростно бились с государевыми войсками, но в конце концов погибли от рук государева военачальника. Поэтому селу переменяли имя на Иварэ», — так говорят.

А место, где государевы воины громкий клич вознесли (такэсиби), называли Такэта, Поле Клича; место, где укрепление (ки) возвели, называли Кита, Поле Укрепления. А место, где вражеские воины легли — руки одних на лица других положив — называли Цурамакита, Поле Лиц и Подушек.

Осенью государь тайно набрал глины с горы Амэ-но Кагуяма, изготовил восемь десятков плоских священных блюд, самолично очищение совершил, всех богов почтил и, в конце концов, сумел успокоить Поднебесную. Поэтому место, где он набрал глины (хани), именуется Ханяису, Успокоение Глиной.

В новолуние государь огласил повеление, сказав: «Уже шесть лет я провел здесь с тех пор, как покорил восточные земли. За это время мощь Царственного Неба повергла врагов. Окраинные земли еще не очищены, и враги во множестве упорствуют, однако во внутренних землях ветер пыль уже не поднимает. Воистину, нам теперь надлежит возвести обширную столицу, чтобы она здесь процветала. Нынешний удел этого места — мрак и дикость, сердца людей еще не умудрены. Они селятся в гнездах, пещерах, и обычаи их остаются без перемен. Великие люди устанавливают законы и порядки, и эти правила непременно отвечают времени. И если народу от этого будет польза, то он ни в коей мере не станет противиться деяниям мудрецов. И надобно расчистить леса в горах и возвести дворец, тогда я взгляну на драгоценный пост и успокою народ. Что касается верха, буду следовать добродетели Небесных богов, страну поручивших; что касается низа, буду распространять умозрение царственных внуков божеств. И разве плохо будет, если затем столицу разверну во всех направлениях и сделаю моей вселенской обителью? Вот это место Касихара, что на юго-востоке от горы Унэби, из всех остальных самое сокровенное. Надо им овладеть», — так сказал.

В том же месяце было отдано соответствующее распоряжение чиновникам, и началось возведение государевой обители... Весной года младшего брата металла и курицы (660 г. до н. э.), в начальном месяце, в день новолуния государь во дворце Касихара вступил на престол. Тот год считают первым годом правления государей.



Принцесса Садзарэиси

Рассказ «Принцесса Садзарэиси» относят к литературе «отоги-дзоси». «Отоги-дзоси» — это анонимные рассказы, созданные в период XIV–XVI веков. Первоначально они были известны в рукописях, с XVII века их стали издавать ксилографическим способом. В начале XVIII века издатель Сибукава Сэйуэмон выпустил двадцать три рассказа в серии, которую он назвал «Библиотекой для чтения» («Отоги бунко»). Отсюда, по вполне случайным и не вполне чисто литературным обстоятельствам, рассказы XIV–XVI столетий и получили название «отоги-дзоси», где «отоги» — это «чтение», а «дзоси» — «записи». То есть «отоги-дзоси» можно приблизительно перевести как «истории для рассказывания». Их сохранилось несколько сотен.

В рассказе «Принцесса Садзарэиси» приводится легенда, повествующая о появлении на свет поэтического текста, который впоследствии стал государственным гимном Японии. Стихотворение в рассказе — вполне в духе своего времени — приписывается будде (в данном случае речь идет о будде-целителе Якуси, санскр. Бхайшаджьягуру), который якобы явил его принцессе в правление Сэйму (трад. 131–190), т. е. в те времена, когда на островах Японского архипелага об учении Будды еще не слышали, т. к. буддизм получает распространение в Японии только в VI в.

Через двенадцать поколений после императора Дзимму правил император по имени Сэйму. Это было поистине блистательное царствование! У императора было тридцать восемь сыновей и дочерей. Самой младшей, тридцать восьмой, была девочка по имени Садзарэиси — Маленький камешек. Садзарэиси была чудесной девочкой, самой одаренной из детей, все ее любили. Шло время, и когда Садзарэиси исполнилось четырнадцать лет, она стала женой регента императора и переселилась в его дворец.

Муж Садзарэиси был замечательным человеком, но он рано умер, оставив по себе добрую память.

Принцесса Садзарэиси часто думала о причинах круговращений и изменений в этом мире и желала вступить на путь служения Будде. Она знала, что Чистая райская земля лежит во всех десяти направлениях, но верила, что нет прекрасней Восточного чистого лазоревго мира, отчего она упорно повторяла имя будды Якуси: «Славься, Якуси, лазоревый, сияющий будда!»

Однажды вечером принцесса всматривалась в гребень горы, из-за которой появился месяц, и думала, что именно там находится Чистая земля, где ей предстоит возродиться. И вот, когда Садзарэиси стояла совсем одна, с неба к ней сошел посланец в золотом венце и преподнес ей драгоценный сосуд.

— Я посланец будды Якуси, воитель Комбира*. В этом сосуде — чудодейственное снадобье, напиток молодости и бессмертия. Отведай его, и время не будет больше властно над тобой, исчезнут тревоги, облик твой будет неизменен, жизнь твоя будет длиться вечно, молодость твоя никогда не окончится.

Сказав так, посланец пропал, будто растворился в воздухе. Принцесса взяла сосуд. «Как прекрасно! — подумала она. — Ведь это был отклик на мои непрестанные молитвы!» Она трижды поклонилась и отведала чудодейственного снадобья. Невозможно описать, каким сладостным был его вкус!

На лазоревом сосуде были начертаны белые иероглифы. Принцесса прочла это стихотворение:

В государевом мире
За тысячи поколений
Превратится в скалу
Ивао, покрытую мхом,
Камешек Садзарэиси.

Так там было написано. Должно быть, это стихотворение сочинил сам будда Якуси! С этого дня принцесса изменила имя и стала зваться Ивао — Большая скала. Время шло, принцесса ни в чем не знала печали, облик ее не менялся, она была по-прежнему свежей, как цветок. Так прошло восемьсот лет. Минули одиннадцать царствований государей — Сэйму, Тюай, Дзингу, Одзин, Нинтоку, Ритю, Хансэй, Ингё, Анко, Юряку и Сэйнэй — и все это время принцесса была молодой и цветущей.

* Комбира (санскр. Кумбхира) — один из двенадцати богов-воителей, служащих будде Якуси.

Однажды, ночь напролет с зажженным светильником, принцесса Садзарэиси мысленно обращала молитвы к будде Якуси. Исполненный благодарности Якуси предстал в торжественном обличье перед принцессой Ивао и обратился к ней с такими словами: «Ты родилась давно, но познала только радости мира людей. Чистая лазоревая земля — вот место истинного счастья. В Чистой земле, куда я перенесу тебя, на семи драгоценных лотосах высится яшмовый дворец, в ряд стоят золотые створчатые двери, бамбуковые шторы украшены яшмой, на полу разложены парчовые подушки. Обитатели дворца носят пышные и тонкие одежды, десятки тысяч прислужниц заботятся о них, подносят чудесные напитки и яства. Тот, кто постоянно возносил мне молитвы, всегда находится перед моим взором, и если этот человек всем сердцем желает оказаться в раю, ему незачем оставаться в мире страданий!»

Сказав так, будда перенес принцессу Ивао в Восточную чистую лазоревую землю.

Достигнуть просветления, сохранив свой облик, — случай редкостный и удивительный. Это величайшая радость и для прежних, и для будущих поколений. Сейчас, в эпоху конца закона Будды*, как бы люди ни просили, как бы ни молили они богов и будд, им не удастся, наверное, достигнуть этого.

Славься, Якуси, лазоревый, сияющий будда!
Славься, Якуси, лазоревый, сияющий будда!

* Считалось, что эра конца закона Будды, когда ни один человек не способен достичь состояния будды, наступила в 1052 г.

Растения

В культуре каждого народа растения занимают очень значительное место. Это тем более справедливо по отношению к Японии, культуру которой можно определить как фитонимическую, поскольку Япония — это страна земледельцев, а не скотоводов. В связи с этим японцы гораздо больше внимания уделяли растениям, чем животным, что придает их культуре несколько стерильный и «вегетарианский» колорит. Следует также отметить, что воспеваемые японцами растения лишены, как правило, практической компоненты — в большинстве случаев их нельзя употреблять в пищу, т. е. их образы обладают только символическим, религиозным и эстетическим смыслами.

Сакура

В слове «сакура», которое часто переводится как «вишня», есть что-то мистическое. Именно об этом и твердят нам японцы в своих стихах и более научных сочинениях. И правда: степень преклонения перед сакурой, от которой даже и ягодок не дождешься, ведь сакура — это не совсем вишня, а ее несъедобная разновидность, вызывает уважение. Европейцу, правда, такой культ может показаться чрезмерным. Р. Киплинг скептически писал по этому поводу: «Сегодня праздник цветения вишни, — сказал гид. — Все люди будут праздновать, молиться и пойдут в чайные и в сады». Можно окружить англичанина цветущими вишнями со всех сторон, и уже через сутки он начнет жаловаться на запах».

Национальная несовместимость бывает не только по духу, но и по росту. Вот мне японка одна рассказывала: «Не понравилось мне в Америке. Они все такого роста громадного, что при разговоре все слова над головой со свистом пролетают. А уж если ветер подует — совсем ничего не слышно».

Неудивительно поэтому, что при своих частых тайфунах японцы сделались низки ростом — для более успешного возглашения перед многочисленной публикой стихов о прелести цветения сакуры.

Тем не менее, сакура — национальный символ Японии. Слово «сакура» вошло и в другие языки. Если древние японцы говорили просто «цветы», это означало именно сакуру. Аллеи из деревьев сакуры высаживались перед храмами. За цветением сакуры с напряженным вниманием следят ныне все мыслимые средства массовой информации, ежедневно сообщая, куда — с юга на север — сегодня продвинулся ее цветущий пенно-розовый фронт. И стоит сакуре распуститься (в конце марта или в начале апреля), как толпы вполне серьезных в другой жизни людей спешат расстелить под ней нечто полиэтиленовое и предаться вульгарному, казалось бы, пьянству под цветущим деревом. Все вместе это называется «любование сакурой».

То есть — поясняю — выпивание приурочено к цветению сакуры. В современных условиях и при современном сознании это означает, что в марте-апреле следует выпивать не просто так, а за сакуру и с видом на нее. Но при этом нужно отдать выпивальщикам должное: после трапезы большинство из них честно уносит с собой бутылки и упаковки из-под съестного. Так что и под самой сакурой остается вполне выметенное место.

На моей японистической памяти происходила странная вещь: урн в стране становилось все меньше, а улицы при этом делались все чище. Я знаком с Японией с 1974 года. И тогда улицы Токио (и любого другого крупного города) вполне соответствовали газетным реляциям советских журналистов, справедливо сетовавших на почти полное равнодушие как капиталистических властей, так и рядовых японцев к проблеме загрязнения окружающей среды — бумажки, газеты, обертки, жестяные банки и бутылки беззащитно выбрасывались под ноги себе и другим. Особенно неприятный вид все это антропогенное безобразие приобретало в столь частую для Японии ветреную погоду — улица превращалась в некую аэродинамическую трубу, где испытывали на прочность непосредственно тебя.

Однако довольно скоро стало понятно, что так жить нельзя. Уровень потребления стремительно рос. А вместе с ним росло и количество бытовых отходов. Поначалу власти пошли самым естественным, на первый взгляд, путем: количество урн было увеличено. Это отчасти улучшило ситуацию, но не настолько, чтобы можно было говорить о коренном переломе. Ибо невозможно превратить город в сплошную выставку урн, а тогдашний японский человек был недостаточно терпелив, чтобы зажимать в ладони свой окурок на протяжении сотни метров.

Перелом наступил тогда, когда среднестатистическому японцу дали понять и ему стало по-настоящему понятно: грязи на улицах станет меньше только тогда, когда он сам перестанет сорить совсем, потому что город не в состоянии обеспечить адекватное подметание. И теперь в местах общественного пользования (вроде автобусной остановки) вместо урн вы увидите объявление-благодарность — заранее спасибо за то, что вы унесли с собой ваш драгоценный мусор.

Красива ли сакура? Очень. Однако вряд ли среднестатистический русский или же северноевропейский человек знает, что и без поездки в Японию он имеет прекрасную возможность для любования весьма похожим. Дело в том, что близкий родственник сакуры — это черемуха. И цветет она не менее красиво, чем сакура. Черемуха к тому же и ягодки дает. Не очень, может быть, вкусные, но, в отличие от сакуры, все-таки вполне съедобные. Но никакого особого значения в нашей культуре черемуха не имеет. Это вам (нам?) не березка с приуроченной к ней Троицей. И уж на что готов русский человек выпивать по поводу и без повода, но вот с такой интенцией усесться под черемуху — такого у него в мыслях, похоже, нет. Правда, цветение черемухи непременно сопровождается похолоданием, так что сидение под ней может окончиться вульгарным радикулитом. Это у нас каждый знает. А вот японцы под цветущей сакурой сидят — и ничего себе, здоровы.

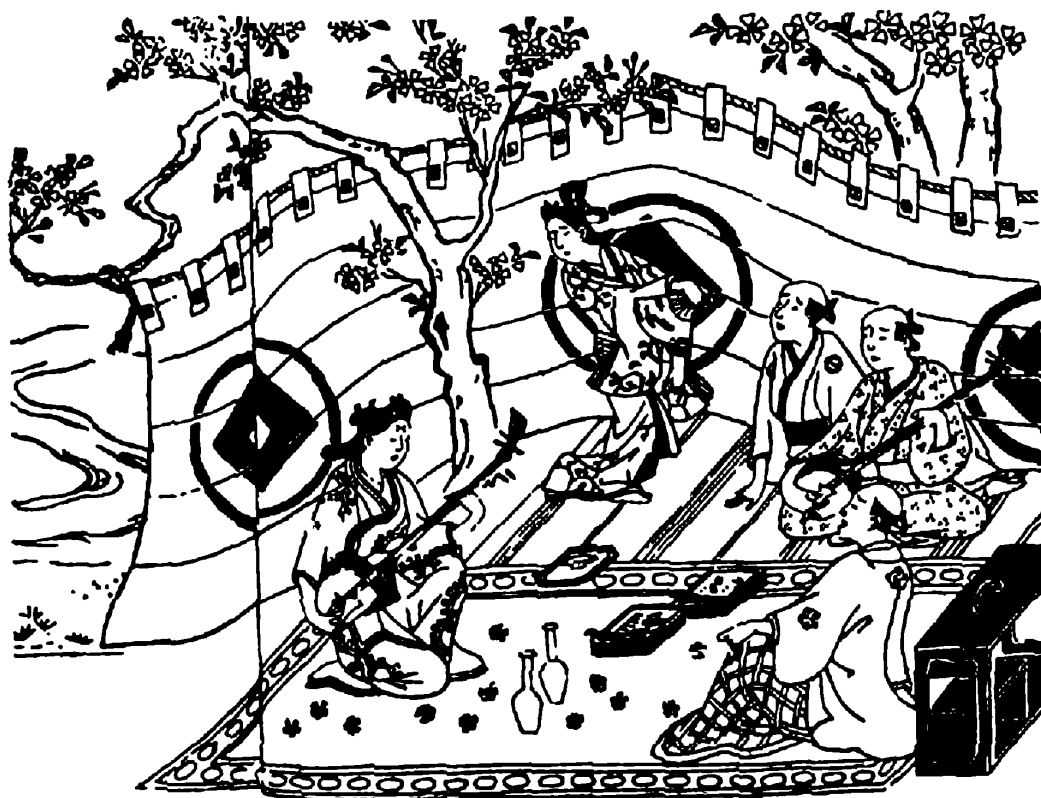
Вообще говоря, японцы намного более спокойно относятся к сидению на голой земле. Если они что под себя и подстеливают, то из соображений чистоты своего костюма. У меня же до сих пор стоит в ушах бабушкин голос: «Не сиди на земле, не сиди на земле!»

Японские бабушки, похоже, ничего такого своим внукам не говорят, ибо все японское население при малейшей необходимости усаживается прямо на землю, совершенно не думая об ожидающих его простудных последствиях. И дело не в том, что японцы закаленнее русских (минус десять для рядового японца — суровое испытание), а в том, что зима, а, значит, и земля там не так холодна.

Но кроме климатической стороны есть и другая, более «духовная». Дело в том, что сакура была когда-то деревом священным. И хотя основная часть подсакурных выпивальщиков вряд ли помнит о ее священности, это все-таки сказывается. То, что было священным, имеет свойство переходить в разряд красивого — вон сколько о сакуре стихов сложено было! Да и сейчас складывается. Селекционеры тоже не дремлют, и в настоящее время существует около 150 сортов этого дерева.

Чем же была примечательна сакура для японцев? Ответ на этот вопрос дают историки и этнографы. Для крестьян цветение сакуры означало начало нового года, нового сельскохозяйственного цикла. Они полагали, что пышное цветение сакуры, предшествующее колошению риса и других, не столь важных для Японии злаков, обещает такой же богатый урожай.

Кроме того, цветы сакуры считались обиталищем душ предков. «Любование» же цветением было призвано умиротворить их и обеспечить процветание живущим. Ибо смотреть на цветы —



Любование сакурой

это смотреть на предков, вспоминать их и поминать. И тогда они тоже тебе помогут.

Для достижения вышеозначенных целей следовало пить и есть максимально много. Чем больше выпьешь и съешь, чем плотнее набьешь живот и пьянее будешь — тем будущий урожай будет богаче, а счастье — полнее. В науке это называется имитативной магией.

Раньше было принято сочинять под цветущей сакурой стихи. Я имею в виду так называемые *рэнга* — «цепочки стихов», которые слагались несколькими поэтами вкруговую. Поскольку сакура — дерево божественное, то и часть этой исходящей от цветов божественной ауры должна была передаваться сочинителям и их поэзии.

Для людей же аристократических, т. е. не слишком обеспокоенных своим пропитанием, сакура была любезна вовсе другим — тем, что цветет она не слишком долго — дней десять. А после осыпается. В умах и чувствах аристократов ее цветение было символом быстротечности жизни, и в этом они умели находить эстетическое наслаждение.

Кэнко-хоси (1283—1350), соединивший в себе аристократическое происхождение и писательский дар, отмечал: «Если бы человеческая жизнь была вечной и не исчезала бы в один прекрасный день, подобно росе на равнине Адаси, и не рассеивалась бы, как дым над горой Торибэ, не было бы в ней столько скрытого очарования. В мире замечательно именно непостоянство» (перевод В. Н. Горегляда).

Это ощущение непрочности бытия имело и мифологические основания. Когда спустившемуся с высоких Небес на острова Японии богу Ниниги были предложены на выбор две дочери бога гор, он выбрал младшую сестру по имени Цветущая, а старшую, Высокую Скалу, — отослал отцу, поскольку он счел ее безобразной. Тогда отец разгневался (старшая дочь есть старшая дочь) и поведал о своем первоначальном замысле: если бы Ниниги выбрал себе в супруги Скалу, жизнь потомков Ниниги была бы вечной и прочной — подобно горам и камням. Но Ниниги совершил неправильный выбор, и потому жизнь его потомков, то есть всех японских людей, начиная от самих императоров и кончая простолюдными, будет бурно-прекрасной, но недолговечной — как весеннее цветение.

Неважно, верим ли мы в этот миф или нет. Исходя из собственного опыта, мы твердо знаем, что земной путь человека имеет предел. Несмотря на то, что средняя продолжительность жизни японцев на сегодняшний день — самая высокая в мире, миллионы японцев сбегаются под сакуру вместе с началом ее цветения.

Наверное, всякий видел на японских картинах и картинках изображение сосны. Искалеченная ветрами, с кривым узловатым стволом, она стала одним из символов Японии — как в глазах обитателей западных стран, так и для самих японцев. Сосна — это такой «человек», который несмотря на все климатическо-природные неурядицы (тайфуны, землетрясения, извержения вулканов) и превратности судьбы, имеет силу и мужество, чтобы не покориться. Такого человека можно пригнуть к земле, но с корнем его не вырвешь. Кроме того, в отличие от сакуры, вечнозеленая сосна — это символ постоянства и долголетия.

Однако столь привычный ныне пейзаж с вросшей в скалу сосной, является достоянием не столь уж давнего, если мерить историю на тысячелетия, времени.

Данные палеоботаники показывают, что в глубокой древности, еще до того, как началось активное воздействие человека на окружающую среду, архипелаг был покрыт по преимуществу вечнозелеными широколиственными лесами. Повсеместное распространение сосны и других хвойных пород, пришедших на смену широколиственным лесам, начинается в юго-западной Японии 2000 лет назад, в центральной Японии — 1500 лет назад и в северо-восточной Японии — 800–700 лет назад. Это соответствует последовательности распространения на территории Японии интенсивного земледелия, а также сопутствующему ему производству металла и керамики с высокотемпературным обжигом в гончарных печах, что привело к вырубанию широколиственных лесов с последующим внедрением хвойных. Таким образом, «типично

японский» пейзаж с обилием хвойных пород, столь богато представленный в искусстве и литературе этой страны, представляет собой лес вторичный, то есть данность сравнительно недавнего времени.

Но едва появившись в реальном пейзаже, сосна становится одним из важнейших символов в японской культуре. Причем, в отличие от большинства поэтически значимых видов растений, сосна не сопрягается ни с одним из сезонов года — она «выше» этого, поскольку зелена всегда. В связи с этим, песни, посвященные сосне, часто слагались по поводу юбилеев. Упоминание в здравнице вечнозеленой сосны должно было продлить жизнь юбиляра.

Уже в поэтической антологии второй половины VIII в. «Манъёсю» («Собрание десяти тысяч поколений» или, в более привычном переводе, «Собрание мириад листьев») сосна присутствует в 81 стихотворении, всего же там представлено около 4500. Антология «Кокинсю» продолжает эту традицию. Весьма часто она упоминается вместе с журавлем — другим символом долголетия и удачи.

Журавль
С тысячелетней сосною,
Что приносят тебе поздравления,
Знают, как хотела бы вечно
Жить под сенью твоих милостей!

Перевод А. А. Долина

Знаменитый японский поэт Соги (1421–1502) утверждал, что посещать места, красивые сами по себе, не имеет смысла. Находясь в очень красивом месте, именуемом Уцурахама, он писал: «Сосновый лес у побережья тянется вдаль — вид таков, что не уступает знаменитым соснам в Хакодзаки. Вид действительно превосходен. Однако я оставил его без внимания — ведь никто не воспел его до меня».

Оттого-то японцам и не нужно было в какую-нибудь даль отправляться, чтобы стихотворение сложить.

Японских поэтов привлекал в слове «сосна» и фонетический аспект. Дело в том, что по-японски *мацу* означает не только существительное «сосна», но и глагол «ждать». Японцы вообще любили играть с омонимами. Это позволяло создавать стихи «с двойным дном», когда стихотворение можно было трактовать

сразу несколькими способами. Приведу пример из X в., когда почти все стихотворение состоит из одних омонимов:

Кону хито-во
мацу-но ха-ни фуру
сиряюки-но
киэ косо кахэра
авану омохи-ни

В этом стихотворении мы встречаемся со следующими случаями омонимии. *Мацу-но ха* — «иглы сосны», *мацу* — «ждать»; *фуру* — «падать» (о снеге) и «стареть»; *киэ* — «таять» и «умирать»; *хи* в слове *омохи* — «любовь» означает еще и «огонь». Приблизительный пересказ стихотворения (перевод здесь невозможен) выглядит следующим образом: «Того, кто не приходит, жду и старею. На иглы сосны падает белый снег — тает. Растаю-скончаюсь, не встретившись с тобой, от жара любви».

Наиболее «концентрированное» выражение жизнеутверждающая сосна получает в обрядности Нового года. Я имею в виду новогоднее украшение, которое называется *кадомацу*, т. е. «сосна перед воротами дома». Начало этого обычая относится к концу эпохи Хэйан. Хозяева отправлялись в горы и выкапывали или срубали молоденькие сосенки.

Считалось, что на вершину выставленной перед домом сосенки спускается божество наступающего года — синтоистские



божества имели обыкновение «усаживаться» на некоторый вертикально стоящий природный объект. Это могла быть гора, или же ее заменитель — камень, или вершина дерева. Для божества выставлялись приношения: круглые рисовые лепешки *моти*, сакэ, хурма, сушеная и соленая рыба. На Новый год в Японии до сих пор принято есть тресковую икру: поедание зародышей должно принести в новом году плодородие и плодовитость.



Хотя привычка ставить новогоднюю сосну впервые отмечается в Китае, в Японии этот обычай получил широчайшее распространение. С течением времени сосенка трансформировалась в сосновые ветки, к ним стали добавлять побеги бамбука, который особенно ценился за свою стойкость перед ветрами, (в этом смысле он не отличается от сосны), и за сверхбыстрый рост, т. е. за необходимую в новом году жизненную энергию. Еще позже, в эпоху Эдо, в этот «букет» вошли и ветки сливы, которые символизировали наступление весны ведь японская слива зацветает рано — еще тогда, когда существует реальная опасность выпадения снега. Это сочетание — сосна, бамбук и слива — составляет классическую новогоднюю триаду. Букет, называемый *кадомацу*, принято вывешивать на дверях дома и сегодня.

Новый год всегда был в Японии праздником сугубо семейным. Считалось, что в последнюю ночь старого года в дом возвращаются души предков, которых члены семьи обязаны почитать. Поэтому и присутствие в доме посторонних в эту ночь строго-настрого запрещалось.

Через несколько дней после наступления нового года «кадомацу» полагалось сжигать, поскольку к этому времени божество нового года уже возвратилось в место своего постоянного пребывания, т. е. в горы.

В отличие от некоторых других растений, сосна пользовалась особой любовью японцев всегда — она никогда не теряла своих игл и затмить ее не могли никакие новомодные веяния. С некоторым брюзжанием знаменитый литератор Мацуо Басё (1644—1694)

отмечал в 1691 году, что нынче растения культурные — пионы и хризантемы — затмили невзрачные полевые цветочки, все любят плоды хурмы и мандарина, а о ветвях и листьях позабыли... Но недовольство Басё мгновенно исчезает, как только он заводит речь о сосне: «Одна лишь сосна великолепна и после того, как на ветки ее ляжет иней, во все времена года зелена ее хвоя, и при этом в каждое время года она хороша по-своему». Бо Лэтянь сказал: «Сосна удаляет из себя старое, потому и живет тысячу лет». Она не только услаждает взор и утешает своего хозяина, но и питает дух долголетия и крепости, потому-то, наверное, и поминают ее, желая долгой жизни». (Перевод Т. Л. Соколовой-Делюсиной).

Эликсир бессмертия, с успехом изготавливаемый японцами уже многие столетия, состоит из отвара листьев дейции зубчатой, каштана Зибольда, леспедеции двуцветной и — самого главного! — говени сладкой. Как мы ясно видим из приведенного списка, фонетический состав этого напитка ничего, кроме отвращения, у русского человека вызвать не может. Наверное, именно поэтому мне не удалось обнаружить ни одной бутылки эликсира даже в самых престижных универмагах Москвы.

Бамбук

Видов бамбука насчитывается более двухсот. Несмотря на то, что высота некоторых из них достигает сорока метров, ботаники относят его к злакам. Самый распространенный в Японии вид бамбука вырастает до десяти метров. Он распространен по всей территории архипелага за исключением самого севера Хоккайдо.

Бамбук — растение удивительное. Он растет с исключительной скоростью. Весной молодые побеги могут прибавлять в росте до одного метра в день! Бамбук достигает своего «взрослого» роста всего за три месяца. И за оставшиеся 15—20 лет жизни не вырастает больше ни на сантиметр.

Молодые побеги до сих пор считаются деликатесом на всем Дальнем Востоке. В нынешнюю эпоху, когда почти любой фрукт или овощ можно выращивать в теплицах круглый год, свежий бамбук по-прежнему можно отведать только весной — пока стебель его не загрубел. Но вот в Китае весенний бамбук использовался и для совсем иных целей: осужденного на казнь клали на ростки, и они «прошивали» его тело насквозь. За менее значительные преступления наказывали ударами бамбуковых палок.

В бамбуковом лесу все деревья зацветают одновременно, вне зависимости от возраста. Причем делают это чрезвычайно редко — один раз в восемьдесят или даже сто лет. Большинство растений умирает, так и не дождавшись цветения. После цветения надземная часть бамбука засыхает и отмирает, поэтому считалось, что цветение бамбука — к несчастью. Но корни растения остаются живыми и дают новые мощные побеги.

Взрослый бамбук славен еще тем, что его корни чрезвычайно хорошо скрепляют землю. Поэтому его высаживают по берегам рек и на склонах гор, чтобы уберечься от оползней, что особенно актуально в сейсмичной Японии. Бамбук гнется, но сломать его очень трудно. Рыбаки со стажем, пользовавшиеся когда-то китайскими бамбуковыми удилищами, знают это. За стойкость в противостоянии ветрам бамбук стали считать олицетворением упорства.

Бамбук издавна был овеян легендами. «Повесть о бамбукосеке» или, как она называется в русском переводе, «Повесть о старике Такэтори» — «Такэтори-моногатари» — одно из первых произведений японской художественной литературы X века. Оно рассказывает о чудесной принцессе Кагуя-химэ — «Сияющая», рожденной в стволе бамбука. Став взрослой, Кагуя-химэ отвергает множество женихов, а затем возвращается к себе домой на луну. В общем, бамбук ассоциируется с прекрасным, порождает его.

Правда, существуют и другие объяснения смысла легенды. Так, гинеколог Судзуки Сюэцу настаивает на том, что полый бамбук — это не что иное, как женское лоно, порождающее чудесную красавицу. Ничего не скажешь — здорово придумано! Старик Фрейд обрадовался бы...

Нужно, правда, сказать, что бамбуковая роща действительно имеет отношение к плодородию. В бамбуковой роще всегда царит полумрак — так тесно растут его стволы. словно прижавшиеся друг к другу влюбленные.

Вот что рассказывается в «Кодзики» об одном из любовных приключений государя Юряку, который жил и правил в древней Японии, вероятно, в V в. н. э.

«Государь Юряку проследовал к Вакакусакабэ-но Оокими и подарил ей собаку, велел передать ей так: «Эту диковинную вещь я обрел сегодня на дороге. Это — свадебный подарок». Сказав так, подарил... Отправился во дворец, по пути туда взошел на гору и спел так:



В горных долинах,
Здесь и там,
Между горами в Кусакабэ
На этой стороне
И горами в Хэгури...
Стоит развесистый дуб
С широкими листьями.
Под ним ствол к стволу
Растет бамбук.
А вверху растет
Буйный бамбук.
Ствол к стволу —
Мы не спали так.
Буйный бамбук —
Мы не спали так хорошо.
Но потом будем близко спать,
Любимая жена!»

Однако на плодородие бамбука существовала и другая точка зрения, которая основывалась на том, что сам бамбук не дает никаких плодов. А потому император Кадзан (985—987) имел некоторые основания, чтобы в своем письме к отцу сложить такое стихотворение:

Пусть в мире сем
Оказалась неплодна,
Словно бамбук,
Жизнь вашего чада,
Но годы остатние вам посвящу.

Перевод Е. М. Дьяконовой

Кадзан, правда, слыл человеком весьма эксцентричным. Ответ его отца был выдержан в более традиционной образности:

Так бы хотелось вернуть
Юность, зеленую, словно бамбук,
Что давно миновала...
Да придет долголетье
К тебе, молодому побегу.

Перевод Е. М. Дьяконовой

Бамбук хорош тем, что он легкий, крепок, не впитывает влагу, и потому изделия из него не гниют во влажном японском климате. Кроме того, он легко и аккуратно колется на узенькие дощечки. Поэтому бамбук широко использовали в строительстве и изготавливали из него очень многие вещи: корзины, коробка,

вазы, шкатулки, удочки, шторы, флейты, стрелы, венчики для взбивания, игрушки, куклы, птичьи клетки и даже ухочистки. И еще многое, многое другое. В Японии есть магазины, которые торгуют исключительно изделиями из бамбука.

Бамбук — растение священное. В Японии есть синтоистские святилища, в которых почитается именно бамбук. А согласно усвоенной в Японии древней китайской легенде, в седьмой день седьмой луны происходит встреча Волопаса и Ткачихи (звезды Вега и Альтаир), которые весь остальной год разлучены Небесной Рекой — Млечным Путем. Во время этого праздника полагается писать свои молитвы богествам на узких полосках бумаги и привязывать их к веткам бамбука. И предприимчивые торговцы не упускают случая, чтобы заработать в этот день на бамбуке.



Павел Тарасов — географ и работает, как положено, в Московском университете. Я хочу сказать, что он не гуманитарий. То есть он имеет дело не только со словами, но и с цифрами. На этом свете не так много людей, которые умеют обращаться и с тем, и с другим. Мне показалось, что если «разбавить» (то есть на самом деле «купажировать») мой водянистый текст чем-то более солидным (то есть, исходя из этимологии, более «твердым»), то это может прибавить ему некоторую важность. А что еще нужно автору?

Павел Тарасов

Цветочная пыльца

При всем уважении к символической роли растений в культуре следует рассказать и о том, что цветы древних японских растений (вернее, их пыльца) имеют значение и для более строгой науки, которая имеет дело не столько с эмоциями, сколько с цифрами, размерами и абсолютной хронологической шкалой. Эти данные смогут рассказать нам о том, в каких природных условиях жили японцы, чем питались, что сеяли.

Выше уже было довольно обтекаемо сказано, что данные палеоботаники позволяют проследить, как распространялась сосна на архипелаге. Если быть более точным, речь идет о палинологии (от греческого слова «paline» — пыльца, тонкая пыль) — науке о цветочной пыльце.

Пыльцевыми зернами называются мужские половые клетки семенных растений, начинающие развитие из микроспоры и завершающие его после опыления, т. е. перенесения ветром либо насекомыми в пыльцевую камеру семяпочки или на рыльце цветочного пестика. Форма, размеры и строение пыльцевых зерен весьма разнообразны, но схожи у растений одного вида, а у представителей различных видов, как правило, тем более сходны, чем ближе их родство.

Изучение пыльцы лежит в основе пыльцевого анализа — одного из главных методов реконструкции истории развития растительности и климата нашей планеты. Пыльцевой анализ был представлен научной общественности еще в начале девятнадцатого

века и получил мировую известность благодаря работам шведских исследователей Л. фон Поста и Г. Эрдтмана. Новшество сразу же было по достоинству оценено и в России, где у истоков палинологии стояли В. Н. Сукачев и В. С. Доктуровский.

Достоинство пыльцевого анализа состоит в том, что он применим везде, где есть растительность и даже там, где ее нет, но куда ветер и вода могут занести пыльцу. Растения производят огромное количество пыльцы: в пору массового цветения поверхность воды небольших прудов и озер бывает сплошь покрыта желтоватым налетом. Пылинки имеют очень прочную оболочку, благодаря которой они хорошо сохраняются в воде, почве, донных осадках озер, рек и морей. Наиболее благоприятные условия для сохранения пыльцы существуют в озерах и болотах, где год за годом, слой за слоем она отлагается и консервируется. Если пробурить этот «слоеный пирог», извлечь пыльцу из вмещающих осадков, а затем просмотреть ее под микроскопом, то представляется уникальная возможность расшифровать летопись, составленную для нас природой, проследить, как изменялась окружающая водоем растительность на протяжении многих веков и тысячелетий.

Подобно тому, как опытный охотник по следам у водопоя точно определяет не только видовой состав, но и количество приходящих животных, специалист-палинолог может реконструировать состав растительности, оценить вклад различных факторов в ее формирование.

Ведущую роль в распределении растительности планеты играет климат. Холодные и сухие условия полярных широт определяют существование там арктических пустынь и тундр, а обилие тепла и влаги у экватора — буйство вечнозеленых тропических лесов. Итак, наличие связей «растительность-пыльца» и «климат-растительность» позволяет использовать результаты пыльцевого анализа для реконструкции климата прошлого.

Однако не только климат меняет природу. С появлением древних цивилизаций человек начал активно влиять на окружающий ландшафт, приспособливая его для своих нужд. На протяжении нескольких последних тысячелетий в разных районах планеты вырубались и сжигались леса, осваивались земли под пашню, многотысячные стада скота вытаптывали пастбища, исчезали многие дикие растения, появлялись другие — культурные. Все или почти все эти изменения также зафиксированы в палинологической летописи.

Все меняется в этом мире. Сейчас трудно себе представить, что 18—22 тысячи лет назад Японские острова представляли собой

единый массив суши и были частью Евразии, а Японское море превращалось в бессточное озеро. Именно в те времена, когда север Европы и Америки покрывали огромные ледниковые шапки, а уровень Мирового океана был ниже нынешнего на 150 м, по сухопутным мостам через Сахалин и Корейский перешеек люди в Японию добирались не на лодках, а приходили пешком. Данные пыльцевого анализа указывают на то, что в эпоху великого оледенения тундра и лесотундра существовали на севере Хоккайдо, а большую часть Хонсю покрывали хвойные таежные леса. Смешанные хвойно-широколиственные леса тяготели к узкой прибрежной полосе к югу от 38° северной широты. Характерные для большей части нынешней Японии теплолюбивые вечнозеленые деревья и кустарники смогли укрыться и пережить неблагоприятный период длиной в несколько тысяч лет лишь на крайнем юге и юго-востоке страны. В эпоху максимума оледенения летние температуры в центре Японии были ниже современных на 7–8°C, зимние — на 12–13°C, а годовая сумма атмосферных осадков при этом была меньше нынешней на 1000–1200 мм. Но на материке климат был еще более суровым.

С тех пор прошло много времени. Климат на планете потеплел, растаяли ледниковые шапки в северном полушарии, резко повысился уровень океана, воды которого отделили Японию от Евразии, а единый некогда массив суши превратился в острова. Растительность чутко реагировала на эти изменения. Многие северные виды исчезли с архипелага, южные же наоборот стали интенсивно осваивать новое жизненное пространство. Пыльцевой анализ отложений в разных частях Японии позволяет рассчитать скорости миграции некоторых видов деревьев. Особенно впечатляющим выглядит продвижение дуба. Попав на юг Хоккайдо около 11 тысяч лет назад, он затем смещался к северу со средней скоростью 290 метров в год.

Естественные ареалы большинства растений определились в их современных границах уже в среднем голоцене (около 7–4 тысяч лет назад). Однако нет правил без исключений. Так, самое распространенное древесное растение японских островов — криптомерия японская (*Cryptomeria japonica*) — еще 10 тысяч лет назад произрастала лишь в узкой трехсоткилометровой зоне в центральной части острова Хонсю в интервале высот от 0 до 900 м. Ее победоносное распространение на Японских островах началось лишь около 4 тысяч лет назад. В это время средняя скорость смещения границы ареала криптомерии к северу достигала 120 м в год. Верхняя же граница ареала поднялась до отметок 1700 м.

Наиболее благоприятным для данного вида оказалось некоторое снижение летних температур и связанное с этим увеличение влажности.

Но не только пыльца дикорастущих растений может быть обнаружена палинологами.

Кто в России не знает обычную гречневую кашу? Каждому доводилось ее есть с молоком, просто с маслом или в качестве гарнира к мясу. Кашу варят из зерен гречихи посевной (*Fagopyrum esculentum*) — однолетнего травянистого растения из семейства гречишных. Представьте себе, что за пределами Восточной Европы о существовании гречневой каши мало кто знает. Правда, в горных районах Франции и Италии гречиху выращивают, но получают из ее зерна муку вместо крупы. «Большая Советская Энциклопедия» утверждает, что родиной гречихи являются горные районы Индии и Непала, где впервые ее стали сеять более четырех тысяч лет. Впервые ли?

На самом юге японского острова Хонсю обнаружены следы (микрочастицы угля) примитивного подсечно-огневого земледелия, которое датируется пятым тысячелетием до нашей эры. С этого же времени и до второго тысячелетия до н. э. в отложениях торфа, наряду с пылью злаков, в большом количестве попадает пыльца *Fagopyrum esculentum*, принесенная с близлежащих древних полей. Итак, в споре о том, где и когда впервые начали сеять гречиху, последнее слово пока остается за Японией. Ну а на территории бывшего СССР гречкосеи отмечены уже в I веке до н. э. Это конечно не идет ни в какое сравнение с японцами, но зато дает сто очков вперед Западной Европе, где первый урожай гречки собрали только в XV веке от Рождества Христова.

В Японии — стране почти что тотального рисосеяния, гречиху выращивают и ныне в горах и на Хоккайдо — там, где теплолюбивому рису приходится трудно. Гречневая мука используется для производства популярного блюда японской кухни — лапши-соба.

Японцы употребляют в пищу почти все. И так повелось издавна. Культурные слои многих археологических стоянок, относящиеся к периоду среднего и позднего Дзёмона (5500—3200 лет назад), содержат доказательства употребления в пищу плодов каштана съедобного (*Castanea*) и конского (*Aesculus*). Стоянка Камэгаока в префектуре Аомори на северо-востоке Хонсю — одно из таких мест, исследованных методом пыльцевого анализа. На севере Японии 6,5—5,5 тысяч лет назад климат был на 2—3°C теплее современного. Уровень моря был на несколько метров выше,

чем в настоящее время. Это благоприятно сказывалось на условиях жизни древних японцев, активно использовавших в пищу «дары» моря. Похолодание климата и отступление моря осложнили существование обитателей Камэгаока, а орехи и каштаны стали существенным элементом местной диеты. Плоды конского каштана горьки на вкус, поэтому употребление их в пищу требует предварительной обработки. О том, что жизнь аборигенов была не очень сладкой, свидетельствует и тот факт, что в пищу шли даже дубовые желуди.

Отец когда-то рассказывал мне, что в самую трудную пору военной голодухи бабушка пекла для них лепешки, используя картофельную кожуру и желудевую муку. Но даже тогда блюдо это к числу деликатесов не относилось. Анализ пыльцы в Камэгаока убедительно свидетельствует о том, что в составе вторичных лесов в окрестностях поселения доминировали *Castanea* и *Aesculus*. Очевидно, что местные жители намеренно не рубили эти деревья, используя для обогрева и приготовления пищи древесину бука, дуба, граба. Современные японцы, верные своей привычке хранить традиции, продолжают использовать «несъедобные» плоды конского каштана для приготовления кондитерских изделий.

Ох, как хотелось бы японским и китайским палинологам определить в исследуемых отложениях пыльцу риса, а еще лучше — отделить дикорастущие его формы от культурных! Ведь рис для них — это то же самое, что хлеб для нас. И даже больше. Но, к великому сожалению, пыльца риса от большинства других злаков практически ничем не отличается. Так что приходится любознательным исследователям в поте лица искать в культурных слоях археологических стоянок зернышки риса, исследовать их ДНК, сравнивать с современными, и так восстанавливать пути его распространения.

Пыльца древняя — это чистая наука. Что до пыльцы нынешней, то она имеет самое непосредственное отношение к нашей повседневной жизни и нашим болезням. В Японии аллергией на пыльцу страдает около 20% населения. Причем цифра эта все время растет. Особенно весомый вклад в дело «аллергизации» вносит упоминавшаяся мной криптомерия. Однако японцы не были бы японцами, если бы не нашли какое-нибудь особенное решение проблемы: уже выведен сорт криптомерии, который пылить не будет. Значит есть надежда, что лет через двадцать жители японских городов снимут с лица марлевые защитные респираторы и полной грудью вдохнут весенний воздух без рис-

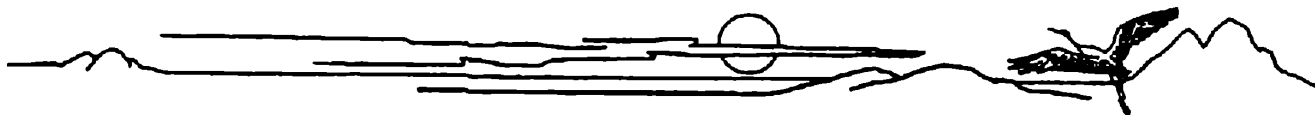
ка чихнуть или закашляться. Правда, есть опасность, что к этому времени они станут чувствительны уже к какому-нибудь другому цветению.

Зачем, спрашивается, мне жить долго, если жилье в XXI веке наверняка будет устроено так, как оно уже устроено в особо престижных странах пятизвездной классности? Форточки нет, окна в сад из пластмассовых пальм не открываются, потому что на улице — шумно-пыльно, а в комнате — климатическая установка с дистанционным пультом, на котором ты выставляешь температуру с влажностью, чтобы от матери-природы и окружающей среды отгородиться.

Пребывая в такой стерильности, обитатели этих японских номеров настолько уверены в чистоте своих органов, что после посещения сортира с подогревом сиденья и автоматическим омывом этих же органов из особых трубочек в унитазе, они даже руки с мылом не моют.

И рубашки эти чистюли носят исключительно белые, чтобы каждую пылинку легко обнаружить и немедленно сдуть можно было. Нет, мне, выросшему из грязноколенного арбатского мальчишки в профессора умеренной опрятности, все-таки намного ближе одежда немаркого цвета.

А ведь были и совсем другие времена, когда те же самые японцы в качестве туалетной бумаги использовали сосновый брусочек. Правда, мои милые русские радиослушатели, которым я задал вопрос о древней туалетной бумаге, были уверены, что японцам были любезны водоросли и листья лотоса (А. Мецзяков).



Про то, как при виде опадающей сакуры заплакал деревенский мальчик

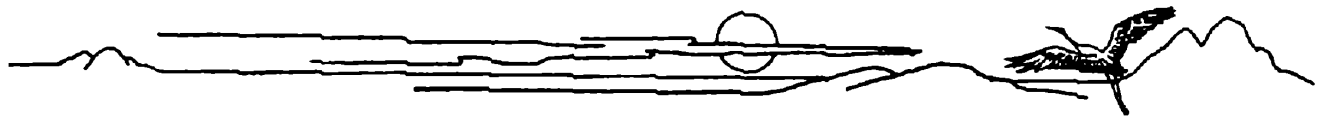
Эта история приводится в средневековом сборнике «Удзи сюи моногатари». В предисловии указывается, что его составителем был старший государственный советник Такакуни. Никаких других сведений об этом человеке не сохранилось. Вполне вероятно, что за этим именем прячется некий выдуманный реальным автором или же авторами литературный персонаж. Не вполне ясно также и время составления памятника — он дошел до нас в поздних списках. Предполагается, что первоначальный текст был положен на бумагу в конце XII — начале XIII в., а затем подвергался переработке.

Содержание памятника очень многообразно. Наряду с чудесами буддийского толка, о которых сообщалось и в сборниках прошлых эпох, в нем имеются и рассказы с разоблачением псевдочудесников, и рассказы откровенно фривольного толка. В приводимой истории автор указывает, что столь излюбленная аристократами сакура может быть не только темой для изысканных разговоров и стихов. Слова деревенского мальчика отражают важную аграрную примету: если сакура опадает не сама собой, а под напором сильного ветра, урожая не быть.

Давным-давно один деревенский мальчик забрался на гору Хиэй. В это время там пышно цвела сакура. Но тут подул злой ветер. Увидев, как облетают цветы, мальчик горько заплакал. Некий монах приметил его, подошел тихонечко поближе и спросил: «Отчего ты плачешь? Стоит ли печалиться о том, что опадают цветы? Сакура цветет недолго, а потому ее цветы опадают. Но так уж заведено».

Так монах утешал мальчика. Тут мальчик сказал: «Сакура опадает — ну и пусть! Беспокоюсь же я о том, что ветер сорвет цветы злаков, что посадили родители. Ведь будем мы тогда без урожая».

И мальчик заплакал еще пуще. Вот ведь досада-то какая!



Кавабата Ясунари

На дереве

Кавабата Ясунари (1899–1972) первым из японских писателей получил Нобелевскую премию. Он получил ее за «писательское мастерство, с которым он выражает сущность японского восприятия жизни». Кавабата достиг такого международного признания, не прибегая к намеренному выпячиванию «своеобычности» собственной родины за счет принижения других народов. Просто он жил в Японии, а Япония жила в нем. Более чем в 400 своих произведениях (романы, повести, рассказы, эссе) Кавабата Ясунари сумел дать «картину души» японского человека, картину, по которой западный читатель может судить как о самой Японии, так и о ее обитателях.

Одаренность Кавабата с самого начала блестяще проявилась в его сверхкоротких рассказах, которые он писал всю свою жизнь. В 1952 г. большую часть написанного в этом жанре он свел в сборник, названный «Рассказы на ладони». Кавабата не объяснил смысла этого названия. Похоже, что он имел в виду малость формы произведения, уместяющегося на ладошке. И в этих компактных, «складных» рассказах литературный гений японского народа получил свое законченное выражение. Всей своей историей японцы показали миру и самим себе, что лучшие всего они самовыражаются в коротких формах — будь то стихи или же проза.

Рассказ «На дереве» (так же, как и другие произведения Кавабата, вошедшие в эту книгу) взят из сборника «Рассказы на ладони».

Дом Кэйсукэ стоял возле впадающей в море широкой реки. Она протекала сразу за садом, но из окон дома ее видно не было — река была скрыта невысокой насыпью, сооруженной вдоль берегов. Насыпь скрывала и поросший старыми соснами берег, так что их верхушки казались частью сада. Но на самом деле сад отделяла от сосен живая изгородь.

Митико продралась через живую изгородь. Она хотела поиграть с Кэйсукэ. Даже не поиграть — скорее, она хотела побыть с ним. Митико и Кэйсукэ учились в четвертом классе. На свои свидания они приходили не через ворота и не через садовую калитку. Путешествия сквозь живую изгородь были их секретом.

Прижав голову к груди и закрыв лицо руками, Митико продиралась сквозь густую растительность. Для девочки это была непростая задача. Зато, когда она оказывалась в саду Кэйсукэ, она часто попадала прямо в его объятия.

Кэйсукэ стеснялся того, что Митико приходит к нему каждый день, и потому он подучил свою подружку пробираться сквозь заросли. «Хорошо-то как! Настоящее приключение!» — говорила Митико.

Однажды Кэйсукэ забрался на сосну, росшую на берегу. Тут он увидел Митико: не оглядываясь по сторонам, она добежала до того места, где она обычно пробиралась сквозь изгородь. Оглядевшись, она перебросила через голову свои три косички, закусил их посередине. Решительно наклонившись вперед, она полезла сквозь изгородь. Кэйсукэ затаил дыхание. Добравшись до сада, Митико не обнаружила там Кэйсукэ. Она испуганно отпрянула к изгороди и спряталась в ее тени. Теперь Кэйсукэ не видел ее.

«Митико! Митико!» — закричал мальчик. Митико отделилась от изгороди и оглядела сад. «Митико! Посмотри наверх! Я на дереве!». Митико подняла голову, увидела Кэйсукэ, но ничего не сказала. «Давай скорее сюда!» — поманил ее Кэйсукэ.

Пробравшись сквозь изгородь обратно, Митико встала под сосной и сказала: «Спускайся!» Но Кэйсукэ ответил: «Лезь сюда, знаешь, как здесь здорово!»

— Нет, брось свои мальчишеские штучки. Я не умею по деревьям лазать. Лучше ты спускайся.

— Нет, это ты лезь. Здесь ветки удобно растут, даже девчонка заберется!

Митико изучающе оглядела расположение ветвей. «Если я свалюсь, это все из-за тебя будет. Если упаду и расшибусь насмерть, я здесь ни при чем», — сказала Митико и схватилась за нижнюю ветку.

Когда она добралась до Кэйсукэ, сердечко ее билось, глаза сияли. «Ух, забралась. Только мне страшно. Обними меня».

Кэйсукэ крепко обнял ее. Обхватив его за плечи, Митико сказала: «Здорово-то как! И море видно!»

— Отсюда что хочешь видно. И речку всю, и другой берег. Хорошо, что мы сюда залезли.

— Давай и завтра полезем!

— Давай!

Кэйсукэ задумался, потом сказал: «Только ты никому не говори. Я часто сюда лазаю. Никто про это не знает. Я тут и книжки читаю и уроки делаю. Смотри, никому не говори».

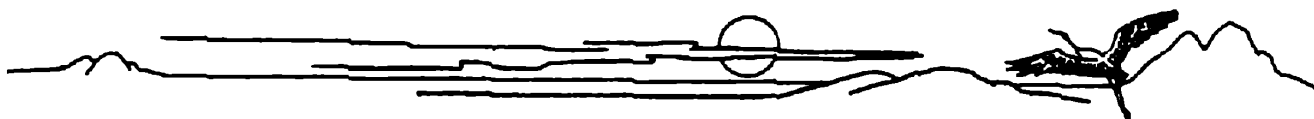
— Не бойся, не скажу, — кивнула Митико. — А чего это тебе захотелось птичкой стать?

— Ладно, тебе я расскажу. Отец с матерью ужасно поругались, мать хотела меня к деду с бабкой отвезти. Мне это не понравилось, вот я и забрался на сосну, здесь и спрятался. Они меня искали-искали, только не нашли. А отец к морю ходил меня искать, я сам с дерева видел. Прошлой весной дело было.

— А чего это они поругались?

— У этих взрослых все одно и то же. Отец себе бабу завел... С тех пор я и стал сюда лазать. Родители ничего не знают. Никому не говори, — с нажимом проговорил Кэйсукэ. — Вот что. Приноси-ка ты завтра сюда учебники. Будем на дереве уроки делать. Сразу начнем хорошие отметки получать. В саду листва густая, никто нас не заметит.

Они хранили свой секрет целых два года. Им было удобно в развилке этой старой сосны. Митико прислонялась спиной к одной ветке, клала ноги на другую. Прилетали птицы, ветер шумел в ветвях. На самом-то деле до земли было совсем близко, но маленькие влюбленные ощущали себя живущими в мире, который не имеет ничего общего с тем, что творится на земле.



Слово о вырывании ростка бамбука из глазницы черепа и о чуде, сотворенном молитвой

Данная история входит в состав «Записей о стране Японии и о чудесах дивных воздаяния прижизненного за добрые и злые дела» («Нихон гэмпо дзэнъаку рёики» или, сокращенно, «Нихон рёики», три свитка, 116 историй). Этот памятник был составлен на рубеже VIII–IX вв. буддийским монахом по имени Кёкай из храма Якусидзи, что в городе Нара, который являлся столицей Японии с 710 по 784 г. Несмотря на чрезвычайно широкую популярность текста «Нихон рёики», о жизни этого монаха не известно почти ничего. «Нихон рёики» — первый сохранившийся в Японии памятник буддийского толка. Его основной задачей было показать, что соблюдение буддийских заповедей приносит счастье, а несоблюдение — всегда заканчивается суровым наказанием.

Во время правления государя Камму (781–805) Хомути-но Макихито из села Ояма отправился на рынок Фукацу, дабы купить товар, необходимый для празднования нового года. Сумерки застали его в пути, и он остановился на ночлег в бамбуковой роще Асида.

Тут он услышал жалобные стоны: «Как болят мои глаза!» Макихито не мог заснуть и просидел на корточках всю ночь. На рассвете он увидел лежавший на земле череп. Через его глазницы проросли побеги бамбука. Макихито вырвал их из земли, избавив череп от страданий. Он совершил черепу приношения рисом, взятым им в дорогу для собственного пропитания, и сказал: «Пусть я обрету счастье!» Макихито добрался до рынка и купил все, что хотел. При этом он подумал, что череп воздает ему за его доброту.

На обратном пути с рынка Макихито остановился в той же бамбуковой роще. Тут вдруг череп ожил и сказал: «Я — Ана-но Кими Отогими из села Янакуни в уезде Асида. Мой подлый дядя Акимару убил меня. Каждый раз, когда поднимался ветер, бамбук раскачивался — мне было страшно больно. Благодаря состраданию благородного мужа я избавился от мучений и обрел бесконечную радость.

Не забуду твоего благодеяния. Сердце мое наполнилось счастьем, и я хочу отблагодарить добродетельного мужа. Дом моих родителей находится в селе Янакуни. Ночью последнего дня года приходи в мой дом. Только в эту ночь я смогу отблагодарить тебя».

Услышав его слова, Макихито удивился безмерно и не стал никому рассказывать о случившемся. В назначенную ему последнюю ночь года он пришел в дом Отогими. Дух Отогими стал угощать Макихито, и они совершили совместную трапезу. Те же яства, что остались, Отогими завернул вместе с другими дарами и преподнес Макихито. Через какое-то время дух вдруг исчез.

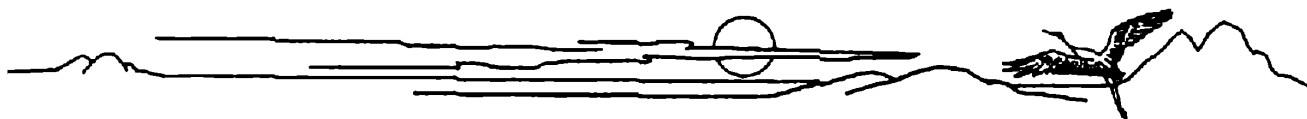
Тут родители Отогими вошли в комнату, чтобы почтить души предков. Они увидели Макихито, удивились и спросили, как он сюда попал. Макихито поведал им все без утайки. Тогда родители схватили Акимару и стали допытываться о причине убийства: «Ты говорил нам, что по пути на рынок ты и наш сын встретили человека, у которого ранее ты взял займы, но не успел расплатиться. Увидев тебя, он требовал возратить долг. Ты бросил Отогими и убежал. Добравшись до дому, ты спросил: «Отогими уже здесь?» Мы ответили тебе: «Нет, мы не видели его». Так почему же Макихито говорит совсем другое?

Грабитель Акимару испугался и, не в силах скрыть правду, отвечал так: «В последней трети двенадцатой луны прошлого года мы с Отогими отправились на рынок, чтобы купить все необходимое для празднования нового года. У Отогими была с собой лошадь, а также ткани и соль. В пути нас застала ночь. Мы остановились на ночлег в бамбуковой роще. Я убил Отогими, забрал его вещи и на рынке Фукацу продал лошадь человеку из провинции Сануки, а остальным воспользовался сам». Услышав его слова, родители сказали: «О! Нашего любимого сына убил ты, а вовсе не разбойник!»

Поскольку дети близки родителям, как стебли камыша, родители выгнали Акимару из дома, но скрыли его преступление. Макихито же благодарили и угощали. Макихито вернулся домой и рассказал о случившемся.

Даже палимый солнцем череп оплачивает добром за добро, если ему совершить приношения. На добро отвечают добром. В сутре «Нэхангё»^{*} говорится в подтверждение: «Добро возвращают добром».

^{*} «Сутра совершенной мудрости» (санскр. «Махапраджняпарамита-сутра»).



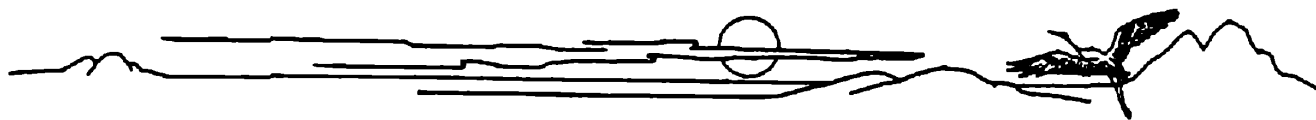
Дед Такэтори

Вниманию читателя предлагается начало «Повести о бамбукосеке». Мы приводим два варианта перевода — А. А. Холодовича и В. Н. Марковой. Перевод В. Н. Марковой утвердился в качестве «классического». Однако, на мой взгляд, и прочно забытый ныне перевод А. А. Холодовича представляет собой большой интерес — как попытка стопроцентного «одомашнивания» реалий другой культуры. Похоже, что именно в силу этого посыла, эксперимент А. А. Холодовича, несмотря на его виртуозность, и был сочтен русской культурой неудачным, поскольку аудитория желала видеть в японском произведении не столько тождество (языковое и литературное), сколько различие.

Жил-был дед Такэтори. По горам, по долинам он хаживал, рубил он бамбук-дерево, мастерил из него утварь всякую. Звали его Санүки, а имя Мияцу Комаро. В бамбуковом лесу раз попалось ему дерево, — огонек по стволу разливается. Диву дался старик, приближается, видит: дудочка теплится. Заглянул он в дуду, там прекрасная девица, ростом с горошинку. Говорит тогда дед: «Была ты в бамбуке-дереве: день-деньской, ночи-ноченьки попадался он мне. Видно, быть тебе моей дочкою. Нынче не плетушку я сплел, а ребеночка». Снес в ладошках домой, поручает старухе воспитывать. Красотою была беспримерная. Больно девица крошечка. Берегут ее, в плетушке баюкают. А дед Такэтори и потом, как ребеночка нашел, бамбуки все порубывает, да все чаще встречает он дерево, а в нем между коленцами в каждой дудочке между коленцами золото сложено. Мало-помалу стал он богатеем. Берег девицу, воспитывал. День за днем растет девица. Не минуло трех месяцев, как становится она взрослою. О прическе, о платье стали раздумывать; вместо платица одели юбочку, расплели косичку детскую, и прическу сделали девичью. Берегут ее и воспитывают. Держат в светлице за пологом. Стала девица красавицей, не сыскать красивей ее по миру. Свет разливает девица по горнице, не найти в ней угла темного.

Бывало, старику занедужится, взглянет на девицу — и хвори как не было; посердится дед, да и утешится.

Долго ходит дед в бамбуковый лес, человеком в силе, богатеем становится. Вырастает, становится взрослою девица. Призывает деда Акита, просит дать имя девице. Прозывает ее тогда Акита: Наёта-кэ-но Кагүя, Свет-Царевною Гибкий тростник. Три дня пили, три дня веселились, каждый на свой лад затейничал. Собрались все девицы, молодцы, знатно повеселились.



Повесть о старике Такэтори

Не в наши дни, а давным-давно жил старик Такэтори. Бродил он по горам и долинам, рубил бамбук и мастерил из него разные изделия на продажу. Потому и прозвали его Такэтори — тот, кто добывает бамбук. А настоящее его имя было Сануки-но Мияцу-комаро.

Вот однажды зашел старик Такэтори в самую глубину бамбуковой чащи и видит: от одного деревца сияние льется, словно горит в нем огонек. Изумился старик, подошел поближе, смотрит — что за диво! В самой глубине бамбукового стебля сияет ярким светом дитя — прекрасная девочка, ростом всего в три вершка.

И сказал тогда старик:

— С утра до позднего вечера собираю я бамбук в лесу, плету из него корзины и клетки, а нынче мне досталась не клетка, а малолетка, не клетушка, а лепетушка. Видно, суждено тебе стать моей дочерью.

Взял он ее бережно и отнес домой, а дома поручил заботам своей старухи. Красоты девочка была невиданной, но такая крошечная, что положили ее вместо колыбели в клетку для певчей птицы.

С той поры, как пойдет старик Такэтори в лес, так и найдет чудесный бамбук: в каждом узле золотые монеты. Понемногу стал он богатеть.

Росла девочка быстро-быстро, тянулась вверх, как молодое деревцо. Трех месяцев не минуло, а уж стала она совсем большой, как девушка на выданье. Сделали ей прическу, какую носят взрослые девушки, и с должными обрядами надели на нее длинное мо*.

Из-за шелковой занавеси девушку не выпускали, чтоб чужой глаз не увидел, — так берегли и лелеяли. Ни одна красавица на свете не могла с ней сравниться нежной прелестью лица. В доме темного угла не осталось, все озарило сиянье ее красоты. Нападет иной раз на старика недуг, но взглянет он на свою дочь — и боль как рукой снимет. Возьмет его досада — рассердится, а как только увидит ее — и утешится.

* Предмет парадного женского одеяния, род шлейфа.

Долгое время ходил еще старик Такэтори в лес за бамбуком. Каждый раз находил он дерево, полное золотых монет, и стал неслышанным богачом.

Когда найденная его дочь совсем выросла, призвал старик Такэтори жреца Имбэ-но Акита из Мимүродо, и Акита дал ей имя Наётакэ-но Кагуя-химэ, что значит «Лучезарная дева, стройная, как бамбук».

Три дня праздновали радостное событие. Старик созвал на пир всех без разбору. Пенью, пляскам конца не было. Славно повеселились на этом торжестве!

Насекомые

У европейского человека — вообще, а у русского — в частности, насекомые, как правило, не вызывают положительных эмоций. Есть, конечно, и исключения — муравей, например, или кузнечик. Бывает еще и божья коровка. Но при виде множества других «тварей», проходящих под общим названием тараканов и мошек (настоящих-то слов для обозначения каждой из этих малостей мы и не знаем), нас одолевает чувство непреодолимой брезгливости. Пение сверчка мы слушаем не без удовольствия, но вот любоваться его членистостью... Нет уж, увольте.

А что японцы? Ну вот, например, гусеница-бабочка под названием мешочница. Никакого поэтического образа в русской культуре не имеет, и в художественных текстах мешочницу искать бесполезно. Даже всезнающий Даль ничего о мешочнице не сообщает. Из более поздних и популярных источников информации сведения о ней доступны в БСЭ, где сообщается: «Ок. 400 видов; распространены по всему земному шару. У самцов крылья развиты хорошо; самки бескрылые, червеобразные. Взрослые формы не питаются. Гусеницы плетут чехлики, захватывая мелкие кусочки дерева, веточки и травинки. Питаются гусеницы листьями. В чехлике гусеницы окукливаются. Самки бабочки всю жизнь проводят в чехлике, яйца откладывают на его внутреннюю стенку». Точка, разговор окончен.

Что же сообщает о мешочнице Мацуо Басё? Рассуждая о творчестве друзей — поэта Собо и художника Тёко, которые в своих произведениях почтили вниманием мешочницу, — Басё, любуясь картиной Тёко, впадает в сладостную задумчивость и заключает: «Если взглядеться... гусеницы будто зашевелились тихонько, покажется вдруг —

вот сейчас упадет желтый листок... Прислушаешься, ухо насторожив: различишь голоса гусениц, шелест прохладного осеннего ветра... Обрести покой в тишине скромной хижинки, удостоиться благосклонного внимания этих двух людей — пожалуй и мне повезло не меньше, чем этим славным гусеницам» (перевод Т. А. Соколовой-Делюсиной). К этому пассажи могу добавить только одно: гусеницы, разумеется, никаких звуков не издают (слышу облегченный вздох читателя, усомнившегося было в своем знании школьной программы по биологии), а голос дает им фольклорное воображение — мешочницы сооружают свой мешок именно в то время, когда сотрясают воздух голоса цикад.

Сверчки

Для нас все издающие какие-то звуки насекомые «поют». И цикады, и сверчки. Кузнечики, правда, в виде исключения стрекочут. Для японца же каждое из таких насекомых издает свой неповторимый звук, который отражается и в человеческом языке. Сверчок японский (*судзумуси*) говорит «рин-рин», сверчок мраморный (*мацумуси*) — «тинтирорин-тинтирорин», сверчок повязчатый (*корогги*) — «корокорокоро, ри-ри-ри», просто кузнечик (*киригирису*) — «тёнгису-тёнгису», кузнечик одноцветный (*ума-ои*) — «суйтё-суйтё». Ну, и так далее. И о каждом из них подробно написано в школьном учебнике. И каждый — нарисован. И про каждого из этих насекомых вполне научный толковый словарь не преминет сообщить: «данное насекомое обладает очень красивым голосом», что в изданиях подобного рода у нас писать совершенно не принято.

На окраине Киото есть замечательный храм Судзумуси-дэра — Сверчковый храм. Знаменит он тем, что сверчки там поют круглый год, а не только поздним летом или осенью, как им то положено природой. Для круглогодичного пения их содержат при определенной температуре в пяти плексигласовых прозрачных «аквариумах», выставленных не где-нибудь, а в зале для проповедей. Толпы народа приходят туда и слушают проповедника под

чудесное и неумолчное пение сверчков. И при этом имеют еще возможность наслаждаться их видом.

Я был в этом храме с несколькими своими знакомыми из России — каждый из них старался в сторону этих «тварей» не смотреть. На улице шел густой снег.

О чем же говорил проповедник в этот достопамятный зимний день? Помимо общебуддийских наставлений в том, что надо быть добрым и никого не обижать, проповедник сообщил также, что каменная статуя бодхисаттвы Дзидзо, которая стоит перед входом в храм, — уникальна. Уникальна она потому, что к человеку, который встал перед ней, шепотом назвал свое имя, местожительство и одно-единственное заветное желание, Дзидзо непременно направится в своих соломенных сандалиях и желание исполнит. Далее проповедник сообщил культурно наиболее значимое: «Если же вы переехали на другое место до того, как Дзидзо успел исполнить вашу молитву, следует отправить в наш храм письмо и сообщить о перемене. Сообщение можно прислать и факсом».

«Вот уж замечательно!» — подумал я. Я действительно нахожусь в Японии. Христианский Бог таков, что прятаться от него не имеет никакого смысла. Он всегда видит и слышит тебя. Будды и бодхисаттвы тоже в теории поступают так же. Но, попав в Японию еще в VI веке, они стали обычными синтоистскими божками, которые по своим свойствам и характеру отличаются от человека не так уж и сильно. Надо же, Дзидзо твой новый адрес узнать не может, заблудится! Очень трогательно. Так же трогательны и эти сверчки с восторженно глазающими на них людьми. Еще бы! Зима, снег и вдруг этот осенний сверчковый хор...»

Японские поэты частенько «вставляли» сверчков и им подобных в стихи. И если в период зарождения письменной поэзии их взгляд выделял из пространства самую разную живность, то потом стихотворцы все больше начинают смотреть под ноги и фокусируются на малом. Стихи о сверчках — всегда печальны. Потому что пение сверчка означает, что кончается лето и наступает осень. Приведем наудачу несколько стихотворений, в которых сверчок и человек поют почти что в унисон.

Слышу: в саду,
В намокшей
Траве,
Плачет сверчок.
Вот и осень пришла.
*Антология «Маньёсю»,
VIII в.*

Не для меня
Пришла осенняя пора.
Но вот запел сверчок
И прежде всех
Печально стало мне.

*Антология «Кокинсю»,
X в.*

Печально
Осеннее прощанье...
Не множь его,
Сверчок,
Не плачь в полях.

*«Повесть о Гэндзи»,
XI в.*

В этих стихах упоминаются разные виды сверчков, но ввиду полной невозможности употребить в русском поэтическом переводе что-нибудь вроде «сверчка повязчатого» переводчику приходится ограничиваться сверчком самым обыкновенным...

В японских буддийских храмах довольно часто выставляют «Будду для поглаживания» — Надэбуцу. Занемогший человек может прийти к статуе и погладить то место, где у него обнаружились нелады. Предполагается, что это нехитрое действие имеет терапевтический эффект. По затертостям на статуе хорошо видно, в каких случаях обращаются к Будде чаще всего. Практически на всех виденных мной статуях наиболее облупленными местами были нос и горло, из чего с непреклонностью следует вывод: наиболее распространенные в Японии заболевания — это насморк и кашель.

Одним из любимых развлечений в традиционной Японии была ловля светлячков. В июле, когда происходит их лёт, толпы взрослых и детей собирались у рек — там, где лучше всего наблюдать светлячков, и ловили их сачками.

В знаменитом произведении XI в. «Записки у изголовья» его автор, придворная дама Сэй-сёнагон, рассуждает о том, чем любезно каждое время года. Отмечая, что лучшее время суток летом — это ночь, писательница продолжает. «Слов нет, она прекрасна в лунную пору, но и безлунный мрак радует глаза, когда друг мимо друга несутся бесчисленные светлячки. Если один-два светлячка тускло мерцают в темноте, все равно это восхитительно».

Следует иметь в виду, что японские светлячки, как это и полагается им во всякой тепловлажной стране, — это совсем не то, что их бледные сородичи средней полосы. Их роение подобно праздничной иллюминации — яркие искры, пронизывающие ночную тьму. Китайское выражение «читать при светлячках и сиянии снега» укоренилось и в Японии. Оно указывает на бедного,



но упорного в своих познавательных намерениях студента или ученого. Роение светлячков, их несколько хаотическое перемещение напоминали средневековым японцам о битвах. Кроме того, считалось, что яркое свечение этих насекомых проникает до самого сердца и высвечивает любовное томление. В «Повести о Гэндзи» сцена ухаживания принца Хёбукё за Тамакадзура разворачивается при свете светлячков, которых принц предусмотрительно приготовил для создания романтической атмосферы. И, конечно же, принц слагает стихи:

Молчит светлячок
О чувствах своих, но в сердце
Яркий огонь.
И сколько ты не старайся,
Не сможешь его погасить.

Однако девушка отвечает ему весьма холодно:

Молчат светлячки,
Но тайный огонь их сжигает.
Знаю — они
Чувствовать могут сильнее
Тех, кто умеет петь...

Перевод Т. Л. Соколовой-Делюсиной

После таких жестоких слов принцу не остается ничего другого, как удалиться...

То есть получается, что молчание — лучше всякого краснобайства. Поэтому во многих стихах верный влюбленный с «серьезными» намерениями уподоблялся светлячку, а ветреник какому-нибудь стрекочущему насекомому, например, кузнечiku или же сверчку.

Несмотря на сугубо положительную символику светлячка в японской культуре, поэты-хулиганы добрались и до него. Знаменитый поэт Кобаяси Исса (1763–1827), например, не испытывал по отношению к светлячку никакого пиетета:

Громко пукнув,
Лошадь подбросила кверху
Светлячка.

Перевод Т. Л. Соколовой-Делюсиной

«Левый министр Фудзивара-но Токихира отличался редкой смешиливостью и не умел сдержи-

ваться. Уж коли начинал смеяться, то совершенно терял себя. В то время он правил вместе с правым министром Сугавара-но Митидзанэ. Когда Токихира не соглашался с разумными доводами Митидзанэ, тот думал: «Непонятно, как поступить, когда Токихира принимает неправильное решение», — так он сетовал, а некий письмоводитель сказал: «Пустое! Я могу его остановить». Митидзанэ возразил: «Тебе не подобает такое. Тут уж ничего не поделаешь», — и разное прочее говорил, а тот в ответ: «Вот увидите!»

Когда Токихира в присутственном месте управлял, жалуя и назначая, громким голосом обсуждал и постановлял, сей письмоводитель вставил документы в держатель для бумаг и, подавая их Токихира с намеренно преувеличенно-почтительным видом, так громко выпустил ветры, что министр, не в силах взять бумагу — руки у него затряслись, — рассмеялся и смог произнести только: «На сегодня хватит. Передаю дела Митидзанэ». И теперь Митидзанэ мог управлять государством как душе угодно» («Окагами», перевод Е. М. Дьяконовой).

Выше я рассказывал о насекомых, от которых нет никакой осязаемой пользы. Так только, звук один... Или же свет... Что до насекомого полезного, которое самой неразрывной нитью было связано с жизнью всех японцев, то это, конечно же, тутовый шелкопряд. И недаром он ведет свое происхождение от божества: точно так же, как и сопутствующее ему тутовое дерево, он был рожден из головы бога Вака-мусуби. Из тела этого же божества, согласно одной из мифологических версий, были рождены и злаки. То есть Вака-мусуби — это божество плодородия, давшее людям главное для их жизни: еду и одежду.

Первые свидетельства китайских хроник и японского археологического материала о зарождении шелководства на архипелаге относятся к III—IV вв. н. э.

Шелк считался единственным материалом, который приличествовал благопристойному человеку. А потому и жалованье высокопоставленным чиновникам в древней Японии выплачивалось именно шелком, обычным делопроизводителям полагалось полотно, вырабатываемое из конопли. Потому и императорские указы настойчиво предписывали крестьянам заниматься разведением тутового шелкопряда. Шелк, как и всякий текстиль вообще, в эпоху ограниченного распространения денег служил универсальным товарным эквивалентом. Императорский указ 757 года замечательно поэтически описывает свойства шелкопряда: «Почтительно размышляем о том, что шелковичный червь обладает окрасом тигра, но со временем меняет его; у него рот лошади, но он никогда не вступает в ссору. Он живет под крышей и дает Поднебесной одежду. Он дает нам блестящую шелковую нить — благодаря ему мы облачены в придворные одежды».

Для того, чтобы шелк был произведен, требуется, как известно, несколько условий. Во-первых, сам шелкопряд. Во-вторых, то, чем он питается — шелковица, известная также как тутовое дерево. В-третьих, рабочие руки, обладающие достаточной квалификацией для производства самого трудоемкого в мире текстиля: разматывание километровой и крайне тонкой нити, окружающей кокон шелкопряда, требует сноровки и предельной внимательности. Причем в производстве шелка основную роль играли женские руки — мужчинам предписывалась земледельческая работа. Неудивительно поэтому, что покровительницей ткачества считалась «женщина» — богиня солнца Аматэрасу.

Первая задача шелковода — откормить гусеницу (каждая из них съедает за свою жизнь до 25 г листьев шелковицы) до состояния куколки и вовремя смотать с опустевшего кокона нить, которая и служит сырьем для производства шелка. На шестые-восьмые сутки куколки превращаются в бабочек и немедленно спариваются, откладывая затем около 500 яиц. И цикл повторяется. Для того же, чтобы изготовить «нормальное» праздничное кимоно, требуется 60–70 тысяч коконов. А чтобы накормить соответствующую армию гусениц следует посадить и вырастить шелковицу на площади приблизительно в 270 квадратных метров.

Японцы не были бы самими собой, если бы они стали воспевать полезность шелковичного червя. Нет, они вдохновились совсем другим. Находящийся в коконе шелковичный червь стал для них символом одиночества. Вот, например, стихотворение неизвестного автора из антологии «Манъёсю»:

Мать, завернувшая кокон,
Тоскует по сыну.
Грустно и мне
Не встречаться
С тобой.

Выражение «сидеть в шелковичном коконе» становится с этих пор синонимом печали и горького одиночества.

Но если поэт уж очень мечтал о любовном единении, он, вопреки всем законам природы, мог поместить самца и самку в один кокон:

Вместо того, чтобы нам
От любви умирать,
Не лучше ли парой
Червячков шелковичных
Стать, хоть на миг?

Перевод Н. И. Конрада

Стихов, посвященных шелкопряду, сочинялось, по правде говоря, не так уж и много, аристократы обращали больше внимания на насекомых более бесполезных в быту. Люди же попроще, заботам которых и было поручено откармливание шелковичного червя, думали про шелкопряда, исходя из его повадок и собственных предрассудков. Поскольку находящиеся в коконах гусеницы весьма капризны. В помещении, где они выращиваются требуется поддержание определенной влажности и соблюдение достаточно строгого температурного режима. Крестьяне заодно считали, что шелкопряд недолюбливает лишний шум, и потому супруги старались сдерживать свои отрицательные эмоции по отношению к друг другу. Отсюда возникло и убеждение, что выращивание шелкопряда служит наилучшим средством для гармонизации семейных отношений.

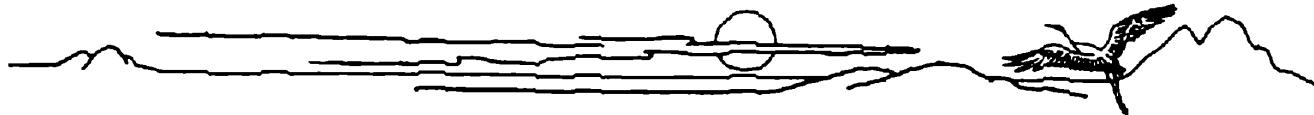
Злейшим врагом шелкопряда являются мыши. Кроме разведения настоящих кошек, шелководы придумали и символический способ отпугивания мышей: в помещении, где содержались гусеницы, вешались живописные и даже деревянные скульптурные изображения кошек.

Государство особенно активно поощряло шелководство во второй половине XIX века. Поскольку государству была нужна твердая валюта для строительства конкурентоспособной армии и производства соответствующих вооружений, следовало расширять экспорт. Шелк оказался наиболее достойным товаром для обмена на пушки, крейсера и прочее, т. е. на то, чего Япония того времени еще не умела делать сама. Условия труда работниц на шелкопрядильных фабриках были чудовищными. Рабочий день — 17 часов, зарплата — мизерная, прав никаких.

Организаторами первых современных шелкопрядильных фабрик были иностранцы. В 1872 г. такая фабрика была построена в префектуре Гумма. Техническое обеспечение поручили восемнадцати французам. Но никто из местных жителей на этой фабрике работать не хотел. Японцы заметили, что при приготовлении еды в свободное от работы время французы используют красное вино и топленый свиной жир. Поскольку таких продуктов в рационе японцев не значилось, они приняли вино за кровь, а свиной жир — за человеческий. Разразился грандиозный скандал.

Лозунг того времени гласил: «Мужчина — солдат, женщина — работница. Шелковая нить нужна твоей стране». Шелковичный червь внес свой достойный вклад в победу Японии над Россией в войне 1904—1905 годов. Ибо военная мощь тогдашней Японии зиждилась на шелковой основе.

Обновление периода Мэйдзи (1868–1911) было временем, когда волна западной культуры буквально захлестнула Японию. Но традиционные обычаи и привычки уходили не сразу. На улицах городов можно было встретить мужчину в шелковом кимоно и с котелком на голове. На плащах-крылатках красовались фамильные гербы. Когда было открыто железнодорожное сообщение между Токио и Йокогама, японцы, привыкшие снимать обувь перед порогом любого помещения, частенько разувались прямо на платформе. Прибыв в пункт своего назначения, пассажиры с удивлением обнаруживали, что на тамошней платформе их обувь отсутствует.



Любительница гусениц

Рассказ о насекомых в японской культуре будет неполным, если мы не скажем и о том, что вид насекомого не у всех вызывал только положительные эмоции. Согласно воспринятой японцами китайской картине мира, родная страна окружена варварами. При этом на юге располагаются варвары-насекомые или же варвары-мошки. Поскольку первые европейцы (испанцы и португальцы) прибыли в Японию через Макао, Лусон и Гоа, т. е. с юга, они получили чрезвычайно обидное прозвище «южных мошек» (нанбан). Несколько припоздавшим голландцам, а затем и англичанами «повезло» больше. Попад сначала в Китай, голландцы за свою рыжину заслужили там прозвище «краснобородых варваров». Японцы возражать не стали.

Приводимый ниже рассказ позднхэйанского времени из сборника «Цуцуми тюнагон моногатари» («Рассказы среднего государственного советника Цуцуми») свидетельствует, что аристократическое японское общество того времени не слишком жаловало насекомых ползающих — гусениц. Героиня рассказа Химэгими (это словосочетание означает просто-напросто «Молодая госпожа», но для удобства перевода мне пришлось превратить его в имя собственное) настолько экстравагантна, что очаровательным бабочкам она предпочитает «ужасных» гусениц. При этом Химэгими нарушает все условности хэйанского общества: берет в услужение мальчишек, не чернит зубы, не красится, не выщипывает бровей, ее шаровары белые, а не красные, как было принято. И даже с родителями она беседует так, чтобы они не могли видеть ее лица — так поступали только с кавалерами. Но даже Химэгими испытывает дискомфорт из-за того, что ее любимые гусеницы лишены поэтического ореола — стихотворцы прошлого обходили их молчанием. Не может она преодолеть и страх перед змеей,

хотя, согласно традиционным представлениям, змеи принадлежат к тому же классу, что и насекомые. К этому разряду относились все существа, не принадлежащие к людям, животным, птицам и рыбам.

Текст «Цуцуми-тюнагон моногатари», похоже, не сохранился полностью. Об этом говорят и некоторые косвенные данные, и приписка в конце новеллы: «Продолжение в следующем свитке». Свитке, который не сохранился. Впрочем, вполне возможно, что эта приписка обусловлена игривым настроением автора, который счел уместным посмеяться не только над условностями быта и взглядов хэйанских аристократов, но и над нами, читателями XXI века.

1

Неподалеку от дома той юной госпожи, что увлекалась бабочками, жила дочь старшего государственного советника, в обязанности которого входила по совместительству и проверка дел в провинциях. Родители любили свою дочь Химэгими без ума и памяти.

Химэгими была не то, что другие люди, и говаривала так: «Что за чудовищная глупость — любить лишь цветы да бабочек! Настоящий человек постигает суть вещей с душой непредвзятой».

И вот Химэгими собрала у себя несметное число отвратительных насекомых, разложила их по корзинам и коробкам. И все для того, чтобы посмотреть, что же из них получится. Особенное восхищение Химэгими вызывали своей задумчивостью волосатые гусеницы. Зачесав волосы назад, днем и ночью разглядывала она гусениц на своей ладони.

Поскольку юные подружки из ее свиты приходили при виде гусениц в страх и ужас, Химэгими пришлось призвать каких-то паршивых мальчишек, которые не имели никакого понятия об изящном. Они занимались у нее тем, что копались в корзинках с гусеницами. Химэгими же нравилось заставлять мальчишек затверживать имена гусениц. Каждую вновь поступившую к ней особу она нарекала по-своему.

Химэгими полагала, что все неестественное в человеке достойно осуждения и потому не выщипывала себе бровей и не чернила зубов, утверждая: «Хлопотное это дело и противное». А посему, когда денно

и ночью забавлялась она со своими насекомыми, на лице ее играла белозубая улыбка. Когда ее подруги не могли сдержаться и убегали из покоев, хозяйка гневалась: «Вот чернь-то! Ничего не понимают!» И сверкала глазами из-под своих черных бровей с такой злобой, что те приходили в еще больший ужас.

Родители Химэгими полагали, что она ведет себя престранно, и говорили так: «Уж и не знаем, зачем она так поступает. Только когда мы ее о том спрашиваем, она только огрызается, очень нехорошо выходит». В общем, им было весьма стыдно за свою дочь.

«Ты, может, по-своему и права», — сказали как-то родители, — «только люди о тебе все равно хорошего не скажут. Они любят изящное, и когда прознают про твоих отвратительных гусениц, им это не понравится».

«А мне все равно, — отвечала Химэгими. — Мне хочется докопаться до сути и увидеть, что во что превратилось. Ваши же “люди” рассуждают, как дети. Они забывают о том, что их любимые бабочки получаются именно из гусениц».

Тут Химэгими велела показать родителям, как из ее гусениц нарождаются бабочки. «Вот вы шелковые одежды носите? А ведь нити смотаны с коконов еще до того, как бабочка обросла крыльями. А когда гусеница стала бабочкой — все, конец настал, никакой пользы от нее больше нет».

Родители не нашлись с ответом.

Разговаривая с родителями, Химэгими вела свои умные речи, не показываясь им на глаза — продолжала сидеть под балдахином с опущенными бамбуковыми шторами. «Я — словно дух, никто меня не видит» — радовалась она.

2

Подруги из свиты Химэгими слышали ее разговор с родителями. И вот кто-то из них произнес: «Говорит-то она умно, да только ее развлечения с гусеницами все-таки свидетельствуют в пользу того, что Химэгими не в своем уме. Интересно было бы узнать, как живет наш товаркам у соседки, что увлекается бабочками».

И тогда Хёэ сложила:

И как так случилось,
Что прибрела я сюда
Столь бездумно —
Гляжу и гляжу
На гусениц волосатых!

Кодаю со смехом отвечала:

Другие глядят
На бабочек и цветы...
И только я смотрю
На гусениц вонючих.
Завидно мне!

Окружающие засмеялись. Кто-то сказал: «Противно-то как! Брови у Химэгими — точь в точь, как у гусеницы». — «Да-да, а зубы белые — словно у гусеницы, с которой кожу содрали!»

Сакон же сложила:

Но вот зима придет,
И холода настанут.
Одежды теплой нет,
Но не беда — гусениц
Шкуры спасут от простуды.

«В общем, Химэгими не пропадет», — добавила Сакон.

Вот так они и болтали, пока какая-то противная дама не услышала их. «Вы, молодежь, несете какую-то чушь! А вот мне как раз кажется, что в вашем преклонении перед бабочками нет ровным образом ничего хорошего. Мне это кажется просто отвратительным. Из вас никто не признает, что бабочка — гусенице родня. Ведь гусеница сбрасывает свой кокон и становится бабочкой. Химэгими хочет сказать только это. И потому ей нравятся гусеницы. Ее строй мыслей следует признать по-настоящему глубоким. Учтите к тому же, что когда бабочка оказывается в ваших руках, на пальцах остается пыльца, а это весьма неприятно. К тому же от прикосновения бабочки можно, говорят, подхватить лихорадку. Что ж в бабочках хорошего?»

Это высказывание вызвало еще больший шум, споры стали еще жарче.

3

Мальчишки, которые смотрели за гусеницами, приносили Химэгими самых отвратительных насекомых, каких только могли сыскать. Она же дарила им разные безделушки, которые им очень нравились. Что до волосатых гусениц, то Химэгими находила их весьма привлекательными, но все-таки ей очень не хватало того, что она не знала про них никаких стихов и преданий. Поэтому она пополняла свое собрание богомолами, улитками и прочим, заставляя мальчишек громко возглашать сложенные про них старинные стихи. Да и сама она была не

прочь прочесть какое-нибудь китайское стихотворение, вроде: «На какого врага рога свои точишь, улитка?» *

Химэгими находила, что настоящие имена мальчишек звучат непривлекательно. А потому она нарекала кого Медведкой, кого Кузнечиком... Давая задание, так к ним и обращалась.

4

Слухи о Химэгими множились, люди говорили о ней речи презлые. И вот сыскался человек по имени Уманосукэ, который был приемным сыном некоего высокопоставленного лица. Сам же Уманосукэ был заместителем управителя правым конюшенным двором государя, он отличался смелостью, бесстрашием и красотой. Прослышав про Химэгими, он сказал: «Пусть она говорит про то, как она любит этих тварей, но я все равно устрою так, что она испугается». И вот Уманосукэ изловчился сделать из роскошного пояса змею, да так сумел, что она у него извивалась. Он положил змею в сумку, которая была расписана под чешую, и отослал Химэгими с такими стихами:

Перед тобой
Готов хоть ползать.
Сердце мое велико —
Словно это
Длинняющее тело.

Не зная, что находится в сумке, девушки доставили посылку Химэгими. «Какая тяжелая!» — приговаривали они. Когда сумку открыли, змея приподняла голову. Девушки завизжали от ужаса. Но сама госпожа преспокойно прочла молитву и сказала: «Эта змея была, возможно, одним из моих родителей в прошлом рождении. Перестаньте вопить!» Отвернувшись в сторону, Химэгими пробормотала: «Что за странность: полагать, что только изящное может представлять собой интерес!» — и придвинула сумку к себе. Химэгими было страшно: она садилась и вставала, всплескивала руками — словно бабочка крыльями, а причитания ее были похожи на стрекотание цикады. Это было так забавно, что девушки разбежались по углам и прыскали от смеха. Но одна из них все-таки догадалась добежать до отца Химэгими и рассказала, что происходит.

«Стыд и позор!» — закричал он. — «Моя дочь в опасности, а вы все разбежались, кто куда!» Схватив меч, он побежал к Химэгими. Но

* Цитата из стихотворения Бо Цзюйи (772–846)

когда он оглядел подарок, то обнаружил, что это всего-навсего ловкая подделка. Взяв змею в руки, он сказал: «Да, видно этот господин весьма неглуп. Он прослышал, как ты увлечена своими тварями и решил подшутить над тобой. Быстренько напиши ему ответ, а змею — выкинь». С этими словами он покинул Химэгими.

Когда девушки поняли, что имеют дело с глупой проделкой, они не на шутку рассердились. Но все-таки кто-то сказал: «Если не послать ответ, о вас могут плохо подумать». И потому Химэгими написала письмо — на листе сероватой грубой бумаги. Она не владела скорописью, знаки вышли неуклюжими*:

Если свиданье
Нам суждено,
Встретимся в райской земле.
Слишком длинен подарок,
Чтоб улечься рядом со мной.

В конце Химэгими приписала: «Так встретимся же в райском саду счастья!»

5

Когда Уманосукэ получил ответ, он подумал: «Что за странное послание!» и решил непременно увидеть Химэгими. Посоветовавшись со своим приятелем, который служил по военному ведомству, они нарядились простолюдинками и отправились к Химэгими, улучив момент, когда ее отца не было дома.

Притаившись у загородки с северной стороны дома, они стали наблюдать за происходящим и увидели каких-то деревенских мальчишек, которые явно что-то искали. Тут один из мальчишек закричал: «Глядите! Вон их сколько на дереве! Вот здорово!» С этими словами он приподнял бамбуковые занавески в комнате Химэгими: «Посмотрите, пожалуйста, — мы нашли замечательных гусениц!»

— Превосходно! Несите их сюда!» — отвечала Химэгими бодрым голосом.

— Их тут никак не собрать. Идите лучше сюда!

И тогда из-за занавесок появилась сама Химэгими. Она стала разглядывать ветки, глаза ее были широко раскрыты. Голова замотана какой-то тряпкой, красивые волосы спутаны — она не успела

* В оригинале сказано, что стихи были написаны не знаками хираганы, приличествующими поэтическому посланию, а знаками катаканы, которая использовалась в официальных документах.

привести себя в порядок. Брови — черные и густые — были весьма хороши. Ротик — прелестный и очаровательный, но белые зубы оставляли престранное впечатление. Шутники с сожалением решили, что она выглядела бы вполне достойно, если бы употребляла белила. Однако несмотря на неопрятность, в девушке было что-то особенное, весьма изящное и запоминающееся. На Химэгими была короткая накидка с росписью из сверчков, из под которой выглядывал край желтого узорчатого шелка. Белые шаровары дополняли ее наряд.

Желая получше разглядеть гусениц, Химэгими сделала шаг вперед. «Чудесно! Они спасаются здесь от палящего солнца! Ну-ка тащите гусениц сюда, всех до единой!»

Мальчишка затряс дерево — гусеницы так и попадали на землю. Химэгими достала белый веер, испещренный черной тушью иероглифов, — она упражнялась в их написании. «Собери-ка гусениц на веер!» Мальчишка стал подбирать гусениц с земли.

Наши благородные шутники были изумлены: «Как, в доме высокообразованного государственного советника — и вдруг такое творится... Ужасно!»

Тут одна девушка, находившаяся в доме, заметила, что за Химэгими следят и вскрикнула: «Смотрите-ка, какие красавцы из-за забора подглядывают!» Тут Тайфу подумала про себя: «Не иначе, как хозяйка снова своими тварями забавляется. Наверное, кто-то ее заметил! Надо предупредить!» Тайфу застала хозяйку за разборкой гусениц. Тайфу так боялась их, что не стала подходить ближе, а только сказала: «Скорее домой! За вами подглядывают!»

Химэгими же сочла, что Тайфу хочет лишить ее удовольствия и ответила: «Подумаешь! Я ничем постыдным не занимаюсь!» — «Одумайтесь! Уж не думаете ли вы, что я лгу? Там, у изгороди, какие-то благородные молодые люди наблюдают за вами! Уходите скорее, а своими гусеницами можете и дома полюбоваться».

Химэгими приказала: «Ну что, мой Кузнечик, посмотри-ка, что там творится!»

Мальчишка сбегал к изгороди и доложил: «Правда, подглядывают».

Тогда Химэгими покидала гусениц в свой широкий рукав и в спешке скрылась за занавеской. Росту Химэгими была не низкого, но и не высокого, густые волосы достигали подولا. Она не удосужилась подравнять концы волос, но они были красивы и некоторая небрежность только придавала им очарования.

«Даже менее красивая девушка выглядела бы достойно, если бы она ухаживала за собой и вела себя, как все остальные. Химэгими же красива и благородна. Какая жалость, что при такой внешности она увлекается этими безобразными тварями!» — подумал Уманосукэ.

Сочтя, что возвратиться домой просто так было бы чересчур скучно, он решил дать знать, что был здесь. Поэтому он сорвал стебелек, выжал из него сок и начертил на бумаге:

Увидал твои волосы,
Гусеница ты моя.
Не могу отлепиться —
Словно клеем
Приклеен к силкам.

Он постучал по вееру ладонью, чтобы подзвать мальчика. «Отдай это госпоже», — велел ему Уманосукэ. Мальчик доставил послание Тайфу и сказал: «Тот господин велел отдать письмо госпоже».

Тайфу отнесла письмо Химэгими и сказала: «Удивительно! Все это представление устроил Уманосукэ! Он видел вас, пока вы развлекались с этими противными гусеницами!»

Химэгими слушала-ее-слушала, а потом и скажи: «Когда человек занимается чем-то всерьез, стыдиться ему нечего. Кто из тех, кто обитает в этом призрачном мире, живет столь долго, чтобы сметь судить о том, что хорошо, а что — плохо?»

Отвечать хозяйке было бесполезно, а потому девушкам, что были рядом, стало грустно.

В ожидании ответа шутники прождали сколько-то времени, но всех мальчиков заставили вернуться домой. Девушки же только и делали, что повторяли: «Какая жалость!» Но не ответить было бы невежливым, и кто-то из них, жалея кавалеров, послал им такое стихотворение:

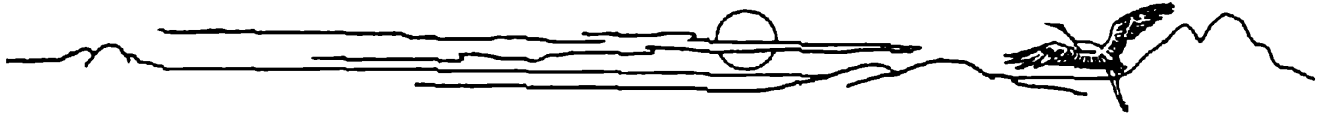
Я — не как все,
Потому говорю:
Сердце гусеницы приоткрою,
Только услышав,
Как имя твое.

Тогда Уманосукэ сложил:

Какой мужчина
В этом мире
Достоин твоего волоска?
А потому не стану
Имени открывать!

Шутники рассмеялись — с тем и ушли.

Продолжение — в следующей свитке.



Кавабата Ясунари

Цикада и сверчок

Я прошел вдоль кирпичной ограды университета и уперся в здание школы. Ее двор был окружен забором из белого штакетника. Из пожухлой травы под темной кроной отцветшей сакуры слышалось стрекотание. Я чуть замедлил шаг, стал вслушиваться. Желая продлить для себя пение, я пошел вдоль забора, повернул направо, потом налево. За забором была насыпь, обсаженная апельсиновыми деревьями. Дошел до конца насыпи и тут уже заторопился, глаза заблестели: у прямоугольного основания насыпи переливались-танцевали разноцветные бумажные фонарики — настоящий праздник в какой-нибудь глухой деревне. Еще не дойдя до них, я понял, что дети ловят на насыпи цикад.

Фонариков было около двух десятков. Там были и красные, и зеленые, и желтые. Один был склеен из бумаги пяти цветов. Другой, маленький ярко-красный фонарик, был явно фабричной работы. Остальные же — простенькие, прямоугольные и прелестные — ребята явно смастерили сами. Для того, чтобы на этой никому не нужной насыпи собралось два десятка ребятшек с их чудесными фонариками, должно было случиться что-то чудесное.

Ну вот, например... Как-то вечером один мальчик услышал, как на насыпи поют цикады. Он купил в лавке красный фонарик и на следующий вечер стал искать их. На другой день к нему присоединился еще один. У него не было денег, чтобы купить фонарик. Поэтому он взял картонную коробочку, вырезал ножницами в стенках отверстия, вклеил тонкую бумагу. Потом укрепил на дне свечку, подвесил за веревку. Фонарик был готов.

И вот детей стало уже пятеро, потом — семеро. Теперь они догадались, что на бумаге можно рисовать цветные картинки. Потом наши художники сообразили, что в стенках коробки можно прорезать кружочки, треугольнички, листики и даже иероглифы своих имен, заклеивать оконца разноцветными бумажками, которые они окрашивали то в красный, то в зеленый, то еще в какой-нибудь цвет. Получалось красиво. И вот ребяташки, которые купили в лавке фабричные красные фонарики, выкинули их на свалку, выкинули свои простецкие самоделки и другие дети. Всем казалось, что вчерашний фонарик сегодня уже никуда не годится, и тогда коробка, бумага,

кисточка, ножницы, ножичек и клей снова пошли в дело — ведь нужно было соорудить ни на что не похожую вещь! Самый непохожий фонарик! Самый красивый! Вот с такими фонариками и собирались дети на свою охоту...

Вот так я представил себе историю этих детей на насыпи.

Я стоял неподвижно, уставившись на детей. Прямоугольные фонарики были изукрашены рисунками из старых книг. Это были не только цветы, имена склеивших их ребятишек тоже красовались на фонариках. Ёсихико, Аяко... Нет, это были особые фонарики, не то, что продаются в магазине. Поскольку их стенки были сделаны из картона, а отверстия — заклеены тонкой разрисованной бумагой, свечной свет пробивался только в эти окошки. Два десятка разноцветных пятен падали на землю. Дети сидели на корточках и прислушивались к цикадам, которые собрали их вместе.

«Вот цикада! На, возьми!» — вдруг закричал мальчик. Он стоял в отдалении от других детей и рыскал глазами в траве. «Дай, дай!» — сразу несколько ребятишек тут же бросились к мальчику и сгрудились вокруг него, напряженно вглядываясь в траву. Мальчик стал отпихивать протянутые к нему руки, обороняя тот участок травы, где сидела его цикада. Левой рукой он поднял фонарик над головой и снова закричал — тем ребятам, которые еще не услышали его: «Цикада, цикада! Кому дать?»

Подбежало еще несколько ребятишек. У них цикады не было.

«Цикада, цикада! Кому дать?»

Детей стало еще больше.

«Дай мне! Дай мне!» — закричала девочка, приблизившаяся к счастливцу со спины. Мальчишка слегка повернул голову в ее сторону, переложил фонарь в левую руку и с готовностью полез правой в траву.

— Вот!

— Ну дай, дай, пожалуйста!

Тут мальчик поднялся во весь рост и с победоносным видом протянул сжатый кулак. Девочка накинула веревку от фонаря на левое запястье и обеими ладошками схватила его кулак. Мальчик медленно разжал ладонь. Девочка зажала насекомое между большим и указательным пальцами.

— Ух ты!? Какая же это цикада! Это же настоящий сверчок! — Глаза девочки засверкали при виде этой коричневой малости.

«Сверчок, сверчок!» — с завистью и разом закричали дети. — «Настоящий сверчок!»

Девочка бросила быстрый взгляд своих умненьких глазок на своего благодетеля, отцепила с пояса коробочку и положила туда сверчка.

«Да, настоящий сверчок», — пробурчал мальчик. Он осветил лицо девочки своим чудесным цветным фонариком — она с упоением разглядывала сверчка в своей коробочке, которую поднесла к самым глазам.

Мальчик пристально смотрел на девочку. Счастливая улыбка выдавала его. Я же, наблюдавший всю сцену от начала до конца, только теперь понял его замысел и подумал о собственной глупости. И тут мне пришлось удивиться еще раз. Вы только посмотрите! Но ни мальчик, ни девочка, ни глазевшие на них ребята ничего не видели. А ведь на груди у девочки бледно-зеленым светом было четко выведено — Фудзио. Фонарь, который поднес мальчик к самой коробочке, находился совсем близко от белого платья девочки, и тень от прорезанных в картоне иероглифов его имени — Фудзио — четко зеленела на её груди. Фонарь девочки болтался у нее на левом запястье. Красноватое пятно плясало у мальчика на животе, иероглифы подрагивали, но при желании можно было прочесть и имя девочки. Ее звали Киёко. Ни Фудзио, ни Киёко не видели этой зелено-красной игры света. Впрочем, была ли это игра?

Допустим даже, что эти дети навсегда запомнят, что Фудзио подарил Киёко сверчка. Но ни в каком сне Фудзио не увидит зеленые иероглифы своего имени на груди Киёко, а красные иероглифы «Киёко» — на своем животе; Киёко же не увидит на своей груди зеленых иероглифов «Фудзио», красных иероглифов своего имени на одежде мальчика...

Заклинаю тебя, мальчик: когда возмужаешь, скажи: «А вот цикада!» и подари Киёко сверчка. И пусть девочка скажет: «Неужели!» И ты, Фудзио, увидишь ее радость, и вы улыбнетесь. И пусть ты снова скажешь: «А вот сверчок!» и подаришь ей цикаду. И Киёко разочарованно скажет: «Неужели?», и вы снова улыбнетесь.

И еще. Хоть ты, Фудзио, достаточно сообразителен, чтобы копать в листве поодаль от других, сверчка тебе не найти. Но ты можешь найти себе девочку-цикаду и думать, что она — настоящий сверчок. Но только в конце концов сердце твое заволокут тучи и в один из дней тебе станет казаться, что даже настоящий сверчок — это всего лишь цикада. Я же с сожалением подумаю, что ты не знаешь о том чудном зеленоватом сиянии твоего фонарика, о том спасительном пятнышке света, затаившемся на груди у Киёко.

В японской литературе и, прежде всего, поэзии птицам принадлежит выдающееся место. В «Манъёсю» упоминается около 80 представителей животного мира. Больше всего среди них птиц — около половины. Синтоизм относится к религиям с развитым шаманским комплексом. В подобных религиях особая роль принадлежит именно птицам — как посредникам между шаманом и небом, между шаманом и иным миром. Разумеется, было бы весьма легкомысленно ставить знак равенства между религией и поэзией (даже весьма архаической). Но факт остается фактом: крылья были даны птицам и для того, чтобы они перелетали в поэтические свитки по воле стихотворца, предки которого привыкли видеть в птицах существ, достойных самого пристального религиозного внимания. Но птицы связывали поэта уже не с небом, а с землей; не с богами, а с людьми. А потому голос любимой приятен, как птичье пенье, стремительное перемещение в пространстве приравнивается к их полету. Возвращение в родные места уподобляется возвращению перелетных птиц, любовь — бесконечна, как птичье пение, а забота о любимой рисует в памяти птенцов, укрываемых родительским крылом.

И в более поздние времена японские поэты, а потом и прозаики, уделяли в своем творчестве огромное внимание птицам, обогащая их образы все новыми и новыми смыслами. Вот, например, один из признанных шедевров Басё:

*На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер.*

Казалось бы — простая зарисовка с натуры. Но следует иметь в виду, что это — всезнающий ворон. (На самом деле — ворона, но в русскоязычной

традиции ворона не является «поэтической» птицей и ассоциируется прежде всего с басней Крылова, что не отменяет приписываемой ей на Дальнем Востоке мудрости). Своим одиночеством ворон символизирует буддийскую отрешенность от суетного мира. Кроме того, искушенный читатель этого стихотворения видел в запечатленном Басё вороне намек на знаменитого дзэнского монаха и мастера чайной церемонии Иккю (1394–1481), который достиг просветления (сатори) в тот момент, когда закричал ворон — ведь ворон считался «солнечной» птицей, а монахи дзэн уподобляли просветленное сознание солнцу, увиденному в полночь.

Короткохвостая камышовка

Любителю переводной японской поэзии несомненно известно, что птицей с самым красивым голосом считается соловей. Еще бы! Ведь столько поэтов воспели красоту его трелей! И даже половицу такую можно услышать: «Были когда-то и мы соловьями» (японский эквивалент русско-апухтинского «Были когда-то и мы рысаками»). Вынужден любителей поэзии разочаровать: японские поэты ни одного стихотворения про соловья так и не сложили. Странно, не правда ли?

На самом-то деле никаких соловьев в Японии не водится. Японский «соловей» — угуису — это на самом деле короткохвостая камышовка семейства славок. Птичка небольшая (величиной с воробья), с коричневым в белую крапинку оперением и весьма приятным голосом. Камышовка водится и у нас, но поскольку ее образ начисто отсутствует в европейской и русской поэзии, то и название «камышовка» звучит для нашего уха совсем не поэтично. В связи с этим европейские, а вслед за ними и русские переводчики японской поэзии сочли за благо совершить подлог и заменить одну птичку другой. Так что беря в руки книжку с японскими стихами, читателю стоит помнить о международном заговоре переводчиков.

Природа распорядилась так, чтобы именно камышовка открывала певчий сезон. Поэтому она считается вестницей весны. Заслышав камышовку, люди вздыхают с облегчением: зиме скоро

конец. И чем раньше запоет камышовка, тем раньше наступит весна, тем богаче будет урожай. Камышовка в сознании японцев — птица демисезонная, и петь она начинает, когда весенняя погода еще не установилась окончательно. Но все-таки гораздо чаще пение камышовки оглашает не покрытые снегом поля, а посадки цветущей японской сливы, которая распускается еще в феврале:

Любезно сердцу
Пенье камышовки
В полях весенних,
И в саду моем
Слива расцвела.

Поскольку у японцев принято под расцветшими деревьями выпивать, то появилось и такое выражение «камышовкино выпивание»: под цветущей сливой в два рядочка выставлялось по пять чарок с сакэ. Кто из партнеров-соперников быстрее успел их осушить — тот и выиграл, тот и молодец, у того и год удачный будет.

Образ камышовки связан не только с природной, но и с любовной тематикой. И здесь я вынужден решительно отказаться от слова «камышовка», поскольку в стихах речь обычно идет о самце, ищущем себе подругу. Женский же род русской «камышовки» лишает возможности соблюсти в переводе точность.

Весна настала —
Порхает в ветках соловей
И песню
Грустную поет —
Жену себе ищет.

Из рассказанного стало понятно, почему из всех птиц именно камышовка обладает наибольшим количеством ласковых прозвищ. Это и «весенняя птица», и «вестница весны», и «птица, любующаяся цветами», и «птица, приносящая ароматы цветов». И даже «чтец сутр» — считалось, что монах, возглашающий буддийские сутры, обладает особенно красивым голосом.

Осмысление образа кукушки в японской культуре представляет собой прекрасный пример того, как в представлениях об одной и той же птице «беззастенчиво» смешиваются китайское и японское. Дело в том, что в Китае кукушка считается птицей несчастливой, связанной со смертью и приносящей беду. Следуя такой трактовке, многие японцы периода Хэйан также считали, что лучше никогда не слышать кукования. Особенно неблагоприятным считалось, если кукование застигло тебя в минуту отправления нужды. В таком случае полагалось непременно переодеться — чтобы скверна осталась с прежней одеждой.

Однако японцы не были бы японцами, если бы они по своей натуралистической привычке не связали воедино кукушку с определенным временем года, лишив ее этим, до определенной степени, мрачноватого имиджа. Кукушка в Японии считается птицей, возвещающей приход лета. Лето — это, конечно, не то, что дающая силу всему году весна, но все-таки среди японских поэтов находились и такие, кто по-дружески просил кукушку начать петть еще до наступления лета, склоняя ее тем самым к нарушению устойчивого чередования времен года.

Слушаю кукушку
И не наслушаюсь.
Поймать бы сетью
И приручить,
Чтоб пела здесь всегда.

Как и в России, в Японии прекрасно знали, что кукушка не вьет гнезда, то есть не имеет собственного дома. Поэтому ее куко-

вание часто воспринималось как плач и сетования на злую судьбу. Японцы полагали, что пение кукушки — это не что иное, как мольба об обретении супруга или супруги. И когда лирический герой стихотворения проводит в одиночестве летнюю ночь, кукование отождествляется с его любовным томлением. И тогда голос кукушки кажется поэту полным неизбывной печали.

Сама же кукушка была символом неверности. Один из эпизодов «Рассказов из Исэ» («Исэ моногатари», X в.) повествует о кавалере, который вдруг узнает, что понравившаяся ему дама не свободна. И тогда он слагает строки:

Кукушка!
Во всех селеньях
Ты поешь.
И сторонюсь тебя,
Хоть сердцу ты любезна.

Как уже было сказано, в синтоизме сильны пережитки шаманизма. В шаманизме же птица обычно служит посредником между различными мирами — скажем, между миром живых и миром мертвых. Так что китайское поверье о том, что кукушка является птицей, прилетающей из мира мертвых, попадает на благоприятную почву. Фантазия людей снижает этот образ и, при общем преобладании любовной тематики в японской поэзии, задает кукушке работу почтальона, который занят обслуживанием влюбленных:

Нет у тебя минуты,
Чтобы прийти.
Кукушка, полети,
Чтобы сказать,
Как я тоскую.

Охота не была слишком распространенным занятием в исторической Японии. Основная причина заключается в том, что ввиду большого людского населения зверей в лесах водилось не так много. Поэтому столь широко представленный в Европе и России типаж аристократа-охотника или же помещика с собственной псарней в Японии начисто отсутствовал. Собаки у землевладельцев были, но в обиходе помещичьего быта их почти не видно. А вот соколиная охота в японском аристократическом укладе представлена все-таки была.

Первое упоминание о соколах встречается в «Нихон сёки». Там говорится, что человек по имени Абики преподнес императору Нинтоку (313—399) сокола со словами: «Твой недостойный слуга постоянно ставит силки и ловит птиц, но такая птица мне прежде не попадалась». Осведомились у Сакэ-но Кими, выходца с Корейского полуострова, и он пояснил: «Таких птиц в Корее — множество. Приручишь ее, и она слушается человека. Она умеет быстро взлетать и ловить мелких птиц». И тогда Нинтоку поручил Сакэ-но Кими ухаживать за соколом. «Не прошло много времени, как Сакэ-но Кими приручил его. Привязал он к лапке птицы кожаный ремешок, к хвосту прикрепил колокольчик, посадил на руку и преподнес государю. В тот же день государь соизволил отправиться в горную рощу Модзуно на охоту. Там во множестве взлетали фазаны курочки. И сокол тут же поймал несколько десятков». Нинтоку так понравилось охотиться, что он учредил при своем дворе должность сокольника.

В этом предании отражен реальный путь соколиной охоты в Японии: японцы научились ей от корейцев. А зародилась соколиная охота в Центральной Азии еще в доисторические времена.

Разведение ловчих птиц пользовалось среди аристократов древней Японии большой популярностью. Когда в столице Нара в усадьбе принца Нагая (?–729) археологами были обнаружены деревянные таблички (*моккан*) с надписями, свидетельствующими о доставке туда мышей, зайцев и воробьев, ученые поначалу не могли взять в толк, зачем это делалось. Но потом догадались, что это корм для соколов. В «диету» ловчих птиц входили также конина и курятина.

Некоторые государи соколиную охоту запрещали. Уверовав в заповеди буддизма, они считали убийство всего живого тяжким грехом. Но ничего из этих запретов не выходило — соколиная охота по-прежнему процветала. Среди самих государей были страстные поклонники охоты. Сага (809–823) даже написал трактат о соколах, а про Итидзё (986–1011) рассказывали, что его любимый сокол может поймать даже карпа.

Хэйанские аристократы искали (и находили!) прекрасное во всем. Вот как описывает историческое сочинение «Окагами» («Великое зеркало») сцену охоты, состоявшейся во времена правления Дайго (897–930). «...Императорский сокол Сирасо закогтил фазана, совершил круг и опустился на голову феникса, украшавшего императорский паланкин. Солнце скатывалось за край гор и сияло так, что алые листья клена, казалось, укрыли горы, подобно парче. Сокол сиял белизной, сверкал лазурью фазан. Сокол широко раскинул крылья и вправду пошел снежок — и в этом миге сосредоточилась вся сущность осени. Никогда не случалось зрелища столь изумительного!» (перевод Е. М. Дьяконовой). После смерти Дайго его любимых соколов отпустили на волю. И оказалось, что они тоже были привязаны к государю. «Они помедлили, прежде чем улететь». А в рассказе Мори Огай «Семья Абэ» утверждает даже, что после смерти хозяина его соколы покончили жизнь самоубийством, по-самурайски последовав за своим хозяином.



Любимым соколом дорожили так, что об огорчительном событии стали говорить: «Опечалился так, как если бы упустил с руки сокола».

Если даже вполне мирно и некровожадно настроенные аристократы не могли отказать себе в удовольствии выехать за пределы столицы, чтобы поохотиться, то что говорить о военных-самураях?

Сам объединитель средневековой Японии сёгун Токугава Иэясу (1542—1616) был страстным поклонником соколиной охоты. За свою неплохо запротоколированную жизнь он выезжал на охоту около тысячи раз. Если учесть, что охота могла длиться несколько дней, легко представить: Иэясу отдал охотничьим развлечениям значительную часть своего земного пути.

В Японии редко что ценится само по себе — японцы обычно считают это «что-то» полезным и нужным для другого. Вот и для Иэясу тоже охота не была самоцелью. Во всяком случае он говорил, что ценит ее поскольку, выезжая на охоту, он имеет возможность наблюдать жизнь простолюдинов, закалять тело и нагуливать аппетит. Подобное высказывание могло бы принадлежать и



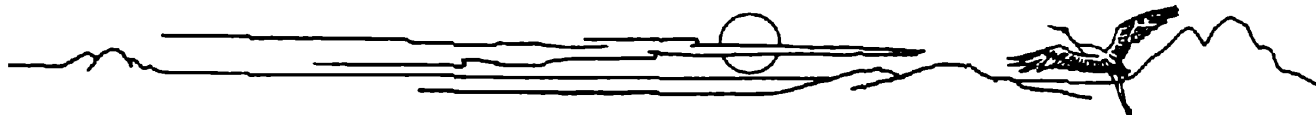
любому европейцу. Но вот утверждение Иэясу о том, что усталость и крепкий сон после пребывания на свежем воздухе удерживает его от посещения женщин уже не так очевидно: во времена Иэясу культивировался воинский дух и к любви во всех ее проявлениях самураи относились уже без того пиетета, который был свойственен хэйанским аристократам.

Зная привычки Иэясу, князья подносили ему соколов во множестве, а делегация из Кореи подарила ему в 1607 г. пятьдесятловчих птиц. Для ловли соколов Иэясу отправлял своих людей по всей стране. Кроме прямых обязанностей, они выполняли и роль соглядатаев, что ценилось сёгуном весьма высоко.

На нашей планете проживает около 380 видов соколов, орлов и ястребов. Они питаются птицами, мелкими животными, грызунами, рептилиями, рыбой, насекомыми. Для охоты и дрессировки обычно используют только тех, пищей для которых служат птицы и мелкие животные. Японцы подразделяли ловчих птиц на два основных вида. При этом они исходили не столько из биологии, сколько из того, в каком возрасте они были пойманы. Птицы, пойманные птенцами, назывались *судака*, взрослыми — *агакэ*.

Судака легче поддаются дрессировке, но поскольку они не знают жизни в естественных условиях, они готовы напасть на любой движущийся объект. Зарегистрированы случаи, когда сокол-судака, привлеченный веселым помахиванием хвоста лошади, напал на нее, вонзая когти в зад ничего не подозревающего животного. Когти соколов перед охотой слегка подпиливают, чтобы они не разорвали свою жертву на части, но и шкура лошади, согласитесь, — тоже не из брони. Судака атакуют собак, кошек и даже людей — то есть тех четвероногих и двуногих, на которых «нормальный» сокол никогда не нападает. Поэтому соколов-судака использовали для охоты на крупных птиц — журавлей, диких гусей, лебедей, цапель. Что касается агакэ, то с ними охотились на фазанов, перепелов, куропаток.

После периода Мэйдзи вместе с появлением огнестрельного оружия и ввезенных из Европы охотничьих пород собак соколиная охота быстро деградирует. В настоящее время от нее остались одни воспоминания. Впрочем, и «настоящая» охота — с собаками и ружьями — у нынешних японцев тоже не пользуется популярностью. Для этого у них не хватает ни времени, ни диких животных, ни птиц, ни охотничьего темперамента.



Про то, как Каннон змеей обернулась *

Давным-давно жил-был один человек, живший тем, что выращивал соколов. И вот однажды хотел он поймать улетевшего от него сокола и бежал за ним по земле, следя за полетом. Приметил он тут, что сокол строит гнездо на высоком дереве, что росло в долине за дальними горами. Обрадовался он, что удалось сокола выследить, вернулся домой.

Прошло какое-то время и птицелов решил, что как раз хорошее время настало птенцов взять. И отправился за ними. Вот видит он, что за высокими-превысокими горами растет огромное железное дерево, распростершее ветви над глубокой-преглубокой пропастью. А на вершине дерева — гнездо с птенцами, вокруг которого сокол кружит. Глядит, а сокол тот очень красив. Ну, думает, стало быть и птенцы хороши быть должны. Забыл про все, на дерево полез. Кажется ему: вот-вот до гнезда доберусь. Но тут ветка под ним обломилась, и полетел он в пропасть. Упал на ветви дерева, что росло на склоне, схватился за них чуть живой. Что делать? Глянул вниз, а там пропасть бездонная. Глянул вверх — скала без конца-края, никак не взобраться.

Бывшие с ним слуги решили, что если хозяин в пропасть свалился, так непременно конец там свой нашел. Но все же решили вниз посмотреть. Подошли к обрыву, изловчившись, на цыпочки встали, вниз заглянули. Глядят так, а там за густыми ветвями и не видно ничего. Головы у них закружились, закручинились они, но так ничего и не увидели. Делать нечего — вернулись домой. Рассказывают: так, мол, и так. Жена с детьми плакали-кричали, да что толку? Хоть и не увидишь больше хозяина, но все же захотели пойти к обрыву. Но слуги сказали: «Только мы дороги не помним. Да там даже дна-то у пропасти не видать. Мы сколько ни глядели, а ничего не увидели». Да и другие люди тоже так сказали. Вот так никто никуда и не пошел больше.

А сам хозяин между тем уселся на выступ скалы размером с поднос, за ветви схватился — пошевелиться не может. Чуть двинься — в пропасть свалишься. Как быть? Но хотя жил тот человек тем, что птицами торговал, с младенческих лет привык он читать «Сутру

* Из сборника «Удзи сюи моногатари».

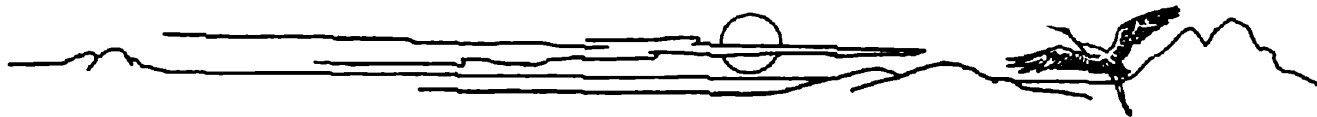
бодхисаттвы Каннон». И просил теперь он так: «Я тебе поклонялся, теперь и ты мне помоги». И ночью, и днем бессчетно читал он теперь эту сутру. И вот дошел он до слов: «Глубина глубокой клятвы подобна морю», и показалось ему, что со дна пропасти кто-то медленно выползает. «Что это?» — думает. Пригляделся — а это змея огромная. Ползет она к нему — сейчас проглотит, вот ужас-то! «Каннон, спаси!» Так он молил в страхе о помощи, а змея все ближе и ближе, вот уже под ногами поползла. Но не проглотила птицелова, еще выше стала подниматься. «А что, если схватиться за нее? Может, поднимет меня наверх?»

Птицелов вытащил из-за пояса меч и вонзил его в спину змеи. А сам схватился за меч — змея его за собой и поволокла. И так поднялся он на вершину. Поднявшись же, хотел меч вытащить, да только он так глубоко засел, что и не вытащить. Так оставил. Змея же, как была с мечом, так с ним на другую сторону пропасти и уползла. Обрадовался мужчина и думал поскорее домой пойти. Только за эти дни тело без движения онемело, да и не ел он ничего, исхудал, стал на тень похож. Но все-таки кое-как добрел.

А дома ему так сказали: «А мы уж тебя и не ждали!» К тому времени службу заупокойную уже отслужили, сутры отчитали, и вдруг — хозяин домой вернулся. Поразились домашние, наплакаться не могли.

Птицелов рассказал, как дело было, как Каннон чудо сотворила и от смерти его спасла. Говорил он и плакал, плакал и говорил. Поевши же, спать лег. Наутро встал пораньше, руки помыл и хотел было сутру всегдашнюю читать, да как только открыл ее — тут и увидел, что меч его давешний из сутры торчит, в слова «Глубина глубокой клятвы подобна морю» вонзился. Вот чудеса-то! И выходит, что сутра сама змеей обернулась и птицелова от смерти спасла. Удивился и расчувствовался он безмерно. Да и люди вокруг от удивления в себя прийти не могли.

Вот и получается, что доверившийся Каннон непременно от нее помощь получит.



Кавабата Ясунари

Соседи

«Старики вам обрадуются, — сказал Мурано молодоженам — Китиро и Юкико. — Отец с матерью почти ничего не слышат, так что не обращайтесь внимания, если что не так».

По рабочим обстоятельствам Мурано был вынужден переехать в Токио. Его престарелые родители остались в Камакура. Жили они в домике, расположенном в некотором отдалении от основного строения. Поэтому и решили сдавать его людям. Чем стоять дому пустым, а самим им пребывать в полном одиночестве, лучше пустить кого-нибудь, решили они. Поэтому и плату назначили чисто символическую.

Сват Китиро и Юкико был знакомым Мурано. Он предварительно навел мосты, и, когда молодожены пришли к Мурано, их ждал весьма сердечный прием.

«Под самым боком у стариков словно цветок распустится! Я во все не искал именно молодоженов, но я прямо вижу, как и наш старый дом, и старики будут купаться в лучах света, которые исходят от вашей молодости», — говорил Мурано.

Дом стоял близко к горам в одной из долин, которых так много в Камакура. Дом, с его шестью комнатами, был для молодоженов великоват. В первый вечер после того, как они перебрались туда, от непривычки к дому и царившей в нем тишине они включили свет во всех шести комнатах, в кухне и прихожей. Сами же при этом находились в гостиной. Эта комната была самой большой, но когда туда втащили платяной шкаф Юкико, ее зеркало, матрасы и остальное приданое, оказалось, что сесть супругам теперь уже некуда. И тогда они успокоились.

Юкико нанизывала стеклянные бусинки, называемые за их точечный узор «стрекозиным глазом», то так то эдак, пытаясь соединить их в ожерелье. За те несколько лет, что ее отец провел на Тайване, он приобрел у туземцев две или три сотни таких бусинок старой выделки. Перед свадьбой дочери он подарил ей пару десятков из числа тех, что нравились ей больше всего. Она нанизала их на нитку и отправилась с ожерельем в свадебное путешествие. Эти «стрекозиные глаза» были любимой вещью отца. Для Юкико они означали прощание с родительским домом.

После первой брачной ночи Юкико надела это ожерелье. Увидев его блеск, муж с силой привлек ее к себе, прижался лицом к груди. Юкико стало щекотно, она вскрикнула и отпрянула — нитка порвалась, бусины покатались по полу.

Китиро пришлось оставить жену в покое. Сидя на корточках, они подбирали раскатившиеся бусинки. Юкико наблюдала, как ее муж смешно ползает по полу на коленях в поисках этих стекляшек, и не могла удержаться от смеха. И вдруг какой-то покой разлился в ее теле.

Переехав в Камакура, Юкико решила составить из бусинок новое ожерелье. Бусинки были разными по цвету, рисунку и форме: круглые, были квадратные, были продолговатые. Когда-то они были ярко-красными, синими, фиолетовыми, желтыми, но время состарило их и приглушило цвета. Узор же был красив той красотой, секретом которой обладают «первобытные» народы. Небольшое изменение в расположении бусинок меняло и общее настроение. Поскольку эти стекляшки первоначально предназначались для бус, в каждой из них имелось отверстие.

Юкико соединяла бусинки в разном порядке. Китиро спросил: «Никак не можешь сделать так, как было вначале?»

«В прошлый раз мы вместе с папой этим занимались. Поэтому вспомнить никак не могу. А сейчас давай сделаем, как ты хочешь. Попробуем?»

Они склонились над бусинками, забыв про время. Сгустилась ночь.

«Там возле дома кто-то ходит?» — встрепелась Юкико.

Падали листья. Сухие листья падали на крышу домика стариков. Дул ветер.

На следующее утро Юкико разбудила мужа криками: «Скорее, смотри скорее, старики кормят коршунов! Они завтракают вместе с ними!»

Китиро поднялся с постели и увидел, что сёдзи отворены навстречу осеннему погожему дню, увидел освещенных утренним солнцем стариков. Их дом располагался несколько выше сада, прилегающего к основному дому и был отделен от него низенькой живой изгородью из камелий. Кусты были в полном белом цвету, и дом стариков будто бы плыл по этим волнам. С трех остальных сторон над ним нависали холмы, покрытые осенним лесом. На цветы и деревья падал осенний и такой глубокий свет, который сообщал всему какую-то особую теплоту.

Приблизившись к столу, оба коршуна подняли головы. Старики же, разжевав свою яичницу с ветчиной, брали ее изо рта палочками

и подавали птицам. При этом каждый раз коршуны слегка распускали крылья и чуть отпрыгивали.

«Они друг к другу привыкли. Пойдем-ка поздороваемся. Неважно, что они завтракают. Да и на птиц посмотреть хочется», — сказал Китиро.

Юкико зашла в дом, переоделась, вышла в ожерелье, которое они составили вчерашним вечером.

Когда Китиро с Юкико подошли к живой изгороди, коршуны расправили крылья и улетели. Хлопанье крыльев напугало молодоженов. Юкико вскрикнула и увидела, как они поднимаются все выше и выше. Коршуны прилетали не к ним.

Юкико поблагодарила стариков за то, что они позволили им жить в их доме. Потом сказала: «Извините, что мы вспугнули ваших коршунов. Похоже, вы с ними подружились».

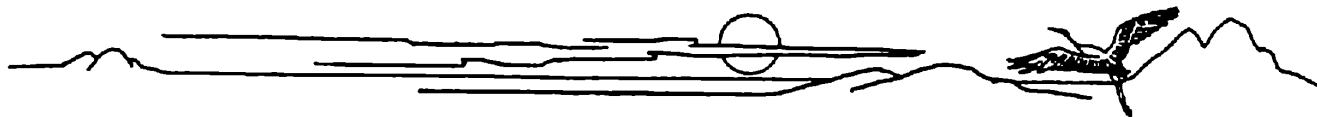
Но старики ничего не слышали. Они даже не делали никакого усилия, чтобы что-то расслышать. С совершенно отсутствующим видом они смотрели на этих молодых людей. Юкико повернулась к мужу, одними глазами спросила — Что делать?

«Мать, посмотри-ка какие у нас теперь красивые соседи». — вдруг сказал старик. При этом он сказал это так, как будто бы разговаривал сам с собой. Но старуха ничего не слышала. «Мы старые и глухие, можете думать, что нас и нет вовсе. Но нам хорошо на вас смотреть, поэтому прятаться мы не станем».

Китиро с Юкико послушно кивнули.

Услышав родной голос, коршуны закружили над крышей. Их крики были нежны.

Китиро встал. «Они еще не поели. Поэтому и вернулись. Пойдем отсюда, не станем мешать».



Кавабата Ясунари

Воробьиное сватовство

Он вдруг оценил по достоинству красоту жертвенного акта, когда ты преподносишь всего себя кому-то другому. И это был он. Он, который уже так привык к уютному одиночеству. Он уяснил, что в жертвенности заключено благородство. Он почувствовал удовлетворение от того, что является всего лишь зернышком, предназначение которого заключается в том, чтобы передать из прошлого в будущее жизнь того, кого мы называем человеком. Он был полностью согласен с тем, что принадлежность к человечеству мало в чем по своей сути отличается от принадлежности к минералам и растениям в том смысле, что ты — лишь сучок в борту корабля Жизни, который обречен на плавание в океане Космоса, и твое бытие ничуть не ценнее бытия других животных и растений.

— Ну как?

Его старшая двоюродная сестра раскрутила серебряную монетку на туалетном столике. Потом прижала ее ладонью, серьезно взглянула на брата. Он остановил свой меланхоличный взгляд на ее белой руке. Потом радостно воскликнул:

— Пусть будет «орел»!»

— «Орел»? Только мы с тобой должны решить, что этот «орел» будет значить. Ну, например, что ты на ней женишься. Или, наоборот, не женишься.

— Женюсь!

— Ну вот, «решка»...

— Неужели?

— Только это и скажешь?

Брат с сестрой рассмеялись. Сестра бросила на пол фотографию девушки и вышла из комнаты. Сестра была женщиной смешливой. Ее чистый смех доносился до него еще долго. Заслышав его, все мужчины, которые находились рядом, начинали ревновать ее.

Он поднял фотографию. Хорошо было бы на ней жениться, раз они так любят друг друга. А ведь сколько еще в Японии девушек, за которых их судьбу решают отцы и старшие братья! Девушка была прекрасна. Вот только сам он был отвратителен и потерян — он открыл в себе такое, на что и смотреть было противно.

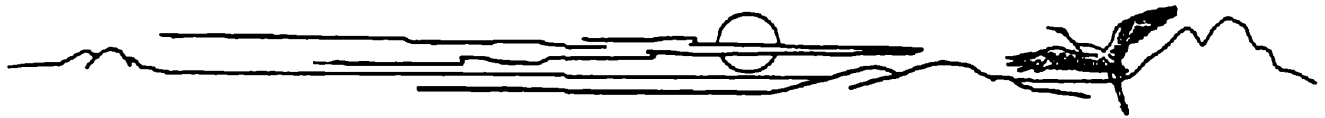
«Когда принимаешь решение, на ком тебе жениться, в любом случае это лотерея. Можно и монетку бросить». Когда сестра сказала это ему, он испытал высокую радость: монетка под ее белой ладонью решит его судьбу. Но теперь он понял, что сестра просто дурачила его. Взгляд его упал на дно ручья, который струился возле веранды. Он решил попросить у воды показать ему лицо той, что станет его женой, если, конечно, ему не суждено взять в жены ту девушку на фотографии. Он верил: человек способен видеть сквозь пространство и время. Настолько он был одинок.

Он уставился в воду. И тут в его поле зрения упал коричневый комок, подброшенный ему Богом. Это сорвались с крыши два воробья, сцепившихся в любовном порыве. Они коснулись крылышками воды и разлетелись. Он понял это божественное откровение. «Вот оно что», — прошептал он.

Рябь успокоилась. Он продолжал смотреть на воду. Его сердце стало таким же зеркально гладким, как эта вода. В нем ясно отразился воробышек. Он чирикал. Смысл его чириканья сводился к следующему. «Ты настолько потерян, что покажи я тебе лицо той, кому назначено быть твоей женой в этой жизни, ты вряд ли согласишься. Покажу-ка я тебе ту, которая станет твоей супругой в жизни будущей».

Он сказал птичке: «Спасибо тебе. Если мне положено переродиться воробьем и взять тебя в жены, тогда я женюсь на этой девушке в жизни нынешней. Тот, кому довелось увидеть будущее, не должен бояться настоящего. Спасибо тебе, моя жена из будущего, что ты стала моей свахой».

Посмотрев просветлевшим взглядом на фотографию, он ощутил величие Бога.



Кавабата Ясунари

Сорока

Мой старинный приятель пришел ко мне со своими двумя зимними пейзажами. Мы сидели в гостиной и мирно беседовали. Вдруг приятель вскочил с места, выбежал на выходившую в сад веранду и закричал: «Смотри скорее, сорока!»

Мне показалось это странным, и я дважды переспросил его. «Сорока, говоришь? Вроде бы у нас в Камакура никаких сорок не водится», — подумал я с сомнением. Впрочем, товарищ мой частенько выезжал на этюды за город и в птицах понимал хорошо. Может, он был и прав, но только я все равно сомневался. На самом-то деле про сорок я знал только то, что старые поэты частенько обращали на них свое внимание. Ведь и легенда такая есть — будто бы седьмого июля, ночью, на небе встречаются две влюбленных звезды — Пастух и Ткачиха: через Млечный Путь они переправляются по мосту, состоящему из этих самых сорок.

В общем, эти самые сороки или уж не знаю кто, стали прилетать чуть не каждый день. А в первый раз мы видели их через несколько дней после седьмого июля.

Может, мой друг и ошибся, но только теперь я всякому гостю говорил: «А вы знаете, к нам в сад сороки прилетают». Будто бы и вправду намеревался предьявить настоящую сороку.

Когда мой друг сказал про сорок, я оставался на своем месте в гостиной и никаких птиц не видел. Но все-таки сказал: «Сколько их там? Штук шесть-семь? Они часто сюда прилетают. До десятка насчитывал». Я так и не пошел на крик товарища. Что мне на них смотреть-то? Эка невидаль... Да и смотреть мне на них было совсем неинтересно. Эти сороки гораздо больше интересовали меня в качестве литературного факта. Потому что именно в качестве такового они и укоренились в моем сознании. Но только теперь, когда слово «сорока» было произнесено вслух, эта птица стала для меня чем-то другим. Многие слова обладают такой силой. Вот и сейчас так: услышал товарища, и вся старая поэзия ожила передо мной. Будто ручеек зажурчал.

Вообще-то, эти птицы залетали в мой сад часто. И я к ним по привык. Своих домашних я часто спрашивал, как они называются, но вразумительного ответа получить не мог. Я не знал их названия,

но все равно ждал, когда они прилетят. Мне хотелось, чтобы они прилетали и через год, и через два... Они прилетали стайей — до десяти штук. Слетали с деревьев на землю, искали себе прокорм. Я бы и сам дал им чего-нибудь, но не знал, что им нужно.

Мой дом располагался неподалеку от громадной статуи Будды, возвышающейся под открытым небом. Позади дома нависала гора, за ней высилась еще одна и еще одна. Оттуда и прилетали птицы в мой сад. Были и перелетные, были и такие, что никогда не покидали гору. Коршуны, камышовки, совы... Ну, и, конечно, воробьи. Я узнавал их по пению, и это пение мне очень нравилось. Вот камышовки запели — снова весна. Вот вы снова здесь. Хорошо...

Я прожил в этом доме двадцать лет. И все эти годы птицы были со мной. Мне казалось, что это те же самые птицы, что и двадцать лет назад. Я как-то не задумывался о том, сколько они живут. Но вот в один прекрасный день я стал расспрашивать домашних: «Сколько живет коршун? Сколько живет камышовка?» И тут до меня дошло, что это не тот самый коршун и не та самая камышовка... И что каждый год в мой сад залетают другие птицы.

Каждую весну мне приходилось слышать, как поют камышовки. Сначала неуверенно — им требовалось время, чтобы дойти до своих знаменитых переливов. Что это? То ли взрослая птица забывает свою прошлогоднюю песню и ей приходится вспоминать ее вновь? Или же это птенец начинает пробовать голос?

В общем, выходило, что в лесу за моим домом птицы рождались и умирали, умирали и рождались. И в мой сад прилетали новые и новые потомки тех самых камышовок. Сидели на ветках и пели. И днем, и ночью. Садись на крыше и пели... И почему только я раньше думал, что это были одни и те же птицы?

После того, как мой друг произнес это слово — «сорока» — что-то переменилось в моей душе. Звуки этого имени зазвучали для меня словно стихи, словно песня далеких предков.

Вообще-то голос у этих самых сорок довольно противный. И вертятся так — глаз не отдыхает. А старые стихи про сорочий мост такие красивые — совсем с этой птицей у меня не вяжутся. А если это так, смогу ли я снова спокойно видеть их в своем саду? Лучше не думать о том, что мы сами давным-давно дали сороке имя и воспевали ее в стихах. Пусть живет себе — вот и все.

А приятель мой, между прочим, родом с Кюсю.

Животные

В японской жизни и культуре животные обладают намного меньшей значимостью, чем в европейской. Их поэтическая символика беднее, чем символика растений и птиц. Поэты редко отваживались воспевать животных в своих стихах. Тем не менее, в японской прозе животные представлены не так плохо. В общем, я счел нужным рассказать о некоторых японских животных, поскольку при сравнении их со столь привычными нам европейскими собратьями обнаруживается немало любопытного.

Кошки

«И почему это автор начинает раздел о животных именно с кошек?» — спросит какой-нибудь раздосадованный собачник. Предвидя заранее этот законный вопрос, отвечаю прямо: потому что я люблю кошек больше.

К познанию культуры можно подбираться с разных сторон. Можно и с этой, кошачьей. Рассказ о кошках тоже немного приближит нас к пониманию японцев и особенностей их культуры. Ведь японские кошки — чуть-чуть особенные. Это видно хотя бы потому, что они говорят не «мяу-мяу», как это положено всякой нормальной кошке, но искажают эти божественные звуки до «нян-нян».

О кошках, в отличие от многих других животных, мифологическо-летописные своды ничего нам не сообщают. То есть в первичном обустройстве этого мира японские кошки участия не принимали, хотя сведения о мышах в мифах и содержатся. Тем не менее, наиболее ранние письменные свидетельства японцев о домашних кошках все-таки отводят им роль оберегателей священного. Японцы многим обязаны Китаю. В древности именно из Китая плыли по морю в Японию буддийские сутры. И, разумеется, корабельным мышам и крысам эти сутры (точнее сказать, бумага, на которой они были написаны) приходились по вкусу. В связи с этим на борт корабля стали загружать и китайских домашних кошек, чтобы слово Будды доходило до японцев в целостности и

сохранности. В средневековые документально зафиксирован случай, когда знаменитое книгохранилище Канадзава выписало себе из Китая, как незатейливо сказано в тексте, «хороших кошек» с той же самой антимышиной целью. Разумеется, предназначением «хорошей» кошки является ловля мышей. А для этого она должна постоянно находиться в хорошей физической форме и боевом расположении духа. Оттого и сочинили японцы такую присказку: «У слезливой кошки и мышка не ловится».

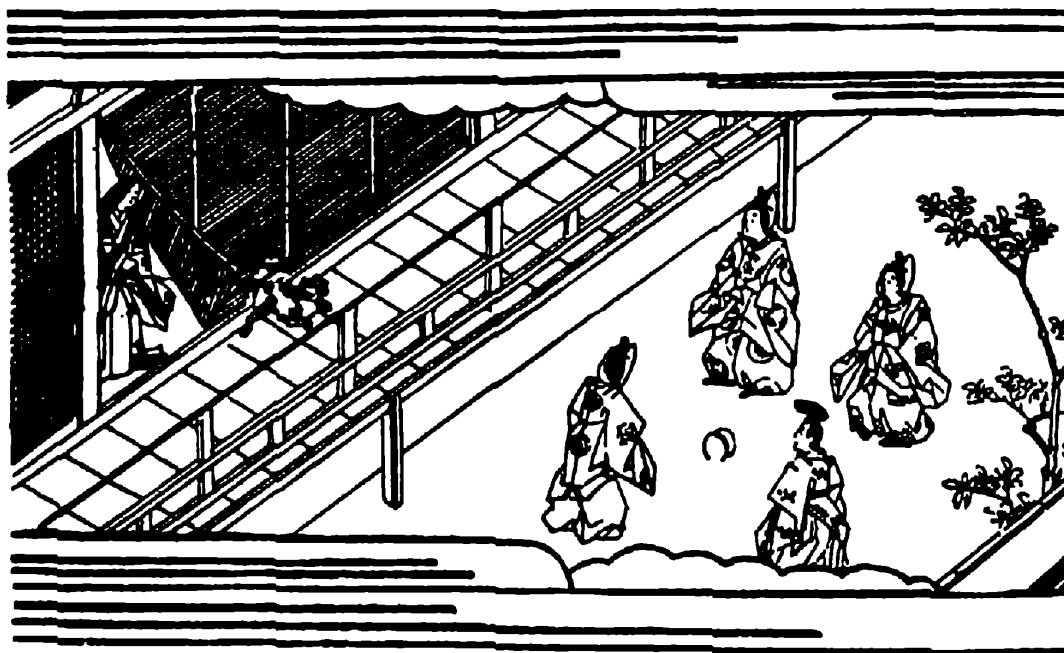
Японцы нашли применение и тонкой кошачьей шкуре — ее натягивали в качестве резонатора на деревянный каркас *сями-сэн* — трехструнного щипкового инструмента. Поскольку *сями-сэн* был необходимой принадлежностью гейш, то и их самих тоже называли «кошечками».

Не встречал еще женщины, которая бы не боялась мышей. Есть отдельные экземпляры (например, укротительница диких зверей Дурова), которые не боятся мышей белых, но — поверьте старому сердцеведу! — серых боятся все. Ну, ладно там нынешние городские, но даже моя деревенская бабушка Анна Григорьевна, и та при виде серенького прелестного существа с очаровательным хвостиком, бодренько запрыгивала в уличных туфлях на диван, лишь заслышав шуршание, отдаленно напоминающее звук перемалываемой остренькими зубками корочки.

Так что, мужчина, отнесись с осторожностью к женщине, которая называет тебя «Котик мой!» Вполне допускаю, что она видит в тебе не пламенного любовника и не любящего отца, а вульгарного усатого-полосатого, от одного запаха которого мыши в ужасе эмигрируют.

В Китае и Японии, между тем, мышка считается символом богатства. Даже на денежных купюрах изобразить их не считалось зазорным. Как же, станут мыши в таком доме жить, где рисовых зернышек на полу не валяется! И мужчин на Дальнем Востоке котиками тоже никто не зовет.

Но это о практическом применении кошек. То есть о людях, озабоченных охраной собранного урожая, книг и прочего. Что до людей не столь практических, то есть аристократов и аристократок, то они содержали кошек просто потому, что находили их



весьма приятными. И при этом держали их на поводке — чтобы не сбежали. Верный аристократической привычке переводить любой феномен этого мира в любовный ряд, Уэмон-но Ками, персонаж «Повести о Гэндзи», вдохновляется нежным мурлыканьем своей кошки и сочиняет:

Тебя лаская,
Мечтаю о той, что владеет
Сердцем моим.
Отчего ты так жалобно плачешь?
Может, жалеешь меня?

Перевод Т. Соколовой-Делюсиной

Аристократке и писательнице XI века Сэй-Сёнагон тоже нравились кошки: «Красиво, когда у кошки черная спина и белоснежная грудь». Следует, однако, иметь в виду, что на самом деле самый распространенный окрас у японских кошек — это смесь пятен рыжего, белого и черного, он так и называется — «трехцветный».

Эта же писательница сообщает нам, что при дворе государя проживала кошка, которой был даже присвоен достаточно высокий пятый ранг. Всего же рангов насчитывалось восемь, самым высоким был первый.

Сказанное о ранге может показаться шуткой или же каким-то аристократическим капризом. Отчасти это так и есть. Но все-таки следует иметь в виду и то, что практика предоставления животным рангов была реально распространена в Японии. При этом никто, разумеется, и не думал отягощать животное какими-то заседаниями государственной важности. Просто японцы стремились к упорядоченности в самых мелких проявлениях этой жизни.

И если уж животное проживает при дворе и находится, таким образом, при исполнении определенных обязанностей (в данном случае — веселить взгляд), то этому животному положен прокорм, который и предоставлялся исключительно в соответствии с рангом.

Кроме того, нахождение в государевом дворце лиц (существ) без ранга не допускалось. Так, в 1728 г. в Японию из Вьетнама, через Китай, были завезены два слона. Не перенеся тяжести морского путешествия, самец вскоре скончался, а самку из порта Нагасаки отправили своим ходом в Эдо, к восьмому сёгуну из дома Токугава — Ёсимунэ (1684—1751), известного своим интересом ко всякого рода иноземным диковинкам. По дороге поглазеть на слониху собирались целые толпы. Когда она добралась до Киото, поглядеть на слониху выразил желание сам император Накамикадо (1710—1735). Тогда перед посещением дворца слонихе в соответствии с ее популярностью, а также размерами и, следовательно, аппетитом, был пожалован уже четвертый ранг.

В простонародной Японии кошек часто считали за существ необычайных. Кошек, как показала историческая практика, никакими поводками удержать дома нельзя. Их долгое отсутствие в связи с их кошачьими делами родило множество поверий: мол, и острова особые есть, где только кошки живут, и общаться с потусторонними силами они умеют... Рыбаки же верили, что кошки умеют предсказывать непогоду — будто бы с приближением грозы кошка начинает свои ушки чесать.

Одно из самых распространенных украшений в витринах японских магазинов — статуэтка кошки, запечатленная в момент умывания. Мы, русские, считаем, что кошка «гостей намывает», а японские торговцы полагают, что она намывает клиентов. То есть приносит владельцу вполне ощутимый доход. А потому и называют такую статуэтку (она может быть сделана из дерева, глины и даже папье-маше) *манэки нэко* — «кошка приглашающая». При такой инверсии термин этот звучит вполне по латинско-научному, почти что отдельный подвид получается. В связи с «кошкой приглашающей» бытует такая легенда. Будто бы в годы средневековых усобиц один самурай спасался бегством от другого по извилистым улочкам Эдо. И тут увидел, что из проулочка кошка лапкой его манит — приглашает. И вот побежал он туда и спасся от верной смерти. А потому впоследствии основал на том месте храм, посвященный кошкам. И кладбище кошек при том храме тоже имеется.

До той степени обожествления кошек, как это было в древнем Египте, в Японии, впрочем, дело не доходило, и кошачьих мумий там не обнаружено, но кошачий храм все-таки тоже был построен.

В так называемых гуманитарных науках наряду с некоторыми «объективными» подходами до сих пор в общем и целом господствует ход мыслей «субъективный», оценочный. Поэтому-то в области исторических наук Нобелевских премий пока что не присуждают. Это и понятно — критерии чересчур размыты. Несмотря на усиленное внедрение математическо-статистических методов в исторические исследования, слишком многое оказывается из разряда необъяснимого: все-таки есть в человеке некоторая свобода воли, обмерить которую никак не удастся.

Пожалуй, единственная из исторических дисциплин, стоящая на более-менее твердой почве — это археология. Она не имеет дела с письменными источниками, в которых эта самая «свобода воли» явлена с наибольшей полнотой. А потому историк, работающий с письменными памятниками, всегда располагается где-то посередине между наукой и искусством. Археологи же в силу «не-разговорчивости» обнаруженных ими предметов вынуждены не только скрупулезно подсчитывать количество обнаруженных ими черепков или отщепов, но и привлекать возможности естественных наук для собственных нужд. Ну, скажем, химию — на основе анализа экскрементов древнего человека можно составить себе представление о том, чем этот человек питался. Анализ же ископаемой пыльцы растений может подсказать, как уже говорилось, на какие деревья, кустарники и цветы любовался человек того времени.

Одной из таких «приглашенных» в археологию дисциплин стала историческая генетика, которая на основе исследования ДНК ископаемых останков может сделать весьма неожиданные и,

самое главное, объективные выводы. О ее возможностях красноречиво свидетельствуют, в частности, последние разыскания в области этногенеза.

Одной из самых запутанных проблем в области происхождения народов давно считается вопрос о происхождении японцев. Несмотря на многолетнюю дискуссию о том, откуда эти самые японцы на этом свете взялись, все усилия и выводы антропологов и лингвистов были до сих пор все-таки не слишком убедительны. Из одних и тех же данных зачастую следовали совершенно противоположные выводы. Конечно, исследования отечественного лингвиста С. А. Старостина вроде бы убедительно доказали выдвинутую еще в XIX веке гипотезу Рамстеда, что японский язык является ближайшим родственником корейского, но все же находилось немало ученых, которые с этим соглашаться никак не желали. Кроме того, как это хорошо известно наиболее усидчивым студентам, иностранный язык выучить все-таки можно. А это означает, что его можно попросту заимствовать, а свой язык — забыть. Все-таки такой «предмет изучения», который нельзя пощупать руками, является не «настоящим» предметом, а некоторым умственным конструктом, лишенным окончательной убедительности.

Нечто похожее происходило и с антропологами, хотя их-то обвинить в беспредметности довольно трудно. Прежде всего следует отметить, что антропологи располагают крайне ограниченным материалом для своих обобщений. Дело в том, что почвы Японского архипелага имеют ярко выраженный кислотный характер. В связи с этим и сохранность любой органики в них (включая костные остатки) оставляет желать много лучшего. Кроме того, следует иметь в виду, что вместе с распространением в VI в. буддизма все большее число людей в Японии не хоронили в земле, а предавали сожжению, так что от их брэнного тела вообще ничего не оставалось. Вот и получается, что в условиях крайней ограниченности исходного материала получить сколько-нибудь достоверную статистическую выборку оказалось невозможно. А потому одни и те же данные трактовались то в пользу преобладания местного элемента, предков современных и практически ассимилированных айнов, обитающих на Хоккайдо, то в пользу каких-то племен, пришедших с континента.

Однако и тут обнаружилась спасительная соломинка. Дело в том, что на протяжении достаточно долгого времени (приблизительно с X тысячелетия до н. э. до III в. до н. э.) люди древности имели привычку устраивать «раковинные кучи». Они названы так потому, что основной массив обнаруживаемого там материала —



это створки съеденных предками современных японцев моллюсков, до которых они были весьма охочи. В сущности, однако, эти «раковинные кучи» было бы более правильно называть помойками древнего человека, ибо наряду с раковинами там обнаруживается все то, что не было нужно тогдашним обитателям архипелага. Это не только кости съеденных ими животных и рыб, но и костяки людей и собак, которые, по истечению их земного пути, предавали земле далеко не всегда — трупы иногда выбрасывали прямо на помойку. Находясь не в кислой почве, а среди раковин, костяки подвергались известкованию и потому стало возможным их детальное обследование археологами, антропологами и примкнувшими к ним специалистами по исторической генетике. Тем не менее, захоронений людей в раковинных кучах оказалось слишком мало.

И тут оказалось, что недостаток антропологических данных может быть восполнен за счет... собак. И здесь свою роль сыграли чрезвычайно остроумные исследования биолога Танабэ Юити. В сущности, он исходил из простого соображения, которое, казалось бы, противоречит «здравому смыслу», утверждающего, что

уж кто-кто, а собаки спариваются с любыми себе подобными особями. Но оказалось, что это совершенно справедливое житейское наблюдение нынешнего городского собаководладельца применительно к истории будет не совсем верным. Это люди склонны к межплеменным бракам. Что до собак, то, являясь существами одомашненными и «ведомыми», они путешествуют вместе со своими хозяевами и круг их брачных знакомств реально ограничивается собаками соседей хозяев. Т. е. оказалось, что определенной популяции соответствуют определенные породы собак.

В связи с этим на основе «собачьего фактора» становится возможным моделировать и некоторые процессы этногенеза.

Танабэ Юити удалось доказать сходность генетического кода собак Хоккайдо и Рюкю, т. е. крайнего севера и крайнего юга Японского архипелага. Как это ни парадоксально, но и те, и другие по своим генам восходят к одному и тому же корню — тому собачьему типу, который господствует в Юго-Восточной Азии, например, на Бали и Борнео. Встречается он и на Тайване. Что до собак Центральной Японии, то они оказываются родственниками североазиатских собак, обитавших (и обитающих), в частности, в Монголии и на Корейском полуострове.

Вкупе с лингвистическими и чисто археологическими данными исследования Танабэ Юити позволяют с очень большой долей вероятности решить, как в реальности происходил процесс этногенеза на Японском архипелаге. Первоначально здесь обитали племена, говорившие на языке, близком австронезийским (языки ряда народов Юго-Восточной Азии), т. е. их очень далекие предки добрались до Японии откуда-то из района нынешней Индонезии, имея одной из промежуточных остановок Тайвань. Где-то около III в. до н. э. начинается процесс переселения в Японию людей с Корейского полуострова. Сначала они приплыли на своих лодках-долбленках на север острова Кюсю, а затем стали распространяться к северу. Будучи носителями гораздо более высокой культуры (они знали рисосеяние и металлургию, в то время как



местное население занималось охотой, собирательством и рыбной ловлей), они сумели в результате вытеснить предков айнов на Рюкю и Хоккайдо, «разрезав» тех на две части, которые отныне были обречены вести сепаратную историческую жизнь и забыть как о существовании друг друга, так и о своих общих корнях.

Вот такой собачий этногенез получается, хотя собаки в истории японского народа играли гораздо меньшую роль, чем в Европе и России. С собакой охотятся, собака охраняет стада коров и овец. Но скотоводство на архипелаге было развито слабо, пригодных для охоты животных истребили тоже достаточно давно. Поэтому-то и собаководство особого распространения не получило. Так, шавки какие-то по улицам бегали.

Но получить собаку в подарок было все-таки весьма лестно. И европейцы в начале XVII века (когда иностранцев из Японии еще изгнать не успели) этим пользовались и дарили князьям мастифов и спаниелей, надеясь получить более благоприятный режим в своей «исторической» миссии — распространении христианства. Чуть позже, когда начались гонения на иностранцев, народные лубки не забыли про это, прочно связав образ европейцев именно с собаками: европейцев стали изображать в минуту отправления нужды в виде собак, поднявших заднюю ногу.

Как уже говорилось, в Японии издавна существовало буддийское убеждение в недопустимости лишения жизни любого живого существа. Этот запрет соблюдался далеко не всеми и далеко не всегда, но все-таки в некоторые эпохи он оказывал на жизнь страны весьма существенное влияние. Так, в этом отношении широко известен пятый сёгун из дома Токугава по имени Цунаёси (1648—1709). В 1685 году он выпустил первый указ, предписывающий гуманное отношение к животным. В результате ряда развивающих этот указ распоряжений объектом его действия стали лошади, коровы, собаки, кошки, курицы, черепахи и даже змеи. Сфера действия указа распространялась также на рыбу, которой отныне запрещалось торговать на рынках, что входило в решительное противоречие с привычной японцам рыбной диетой (аналогично достопамятным антиалкогольным указам советской власти). Исключение было сделано только для моллюсков. Чтобы обладатели декоративных золотых рыбок ненароком не сожрали бы своих питомцев, их владельцам было приказано сообщить, сколько рыбок у них имеется.

Современникам Цунаёси эти распоряжения запомнились прежде всего потому, что они имели последствия для собак домашних и бродячих. Простой народ считал, что Цунаёси запретил

жестокое обращение с собаками потому, что он сам родился в год собаки и прозвал его «собачьим сёгуном». Доподлинно известно, что в каждом околотке был составлен список имевшихся там домашних собак с описанием их собачьей внешности. Поскольку время от времени представители властей сверяли этот список с фактическим наличием живности, хозяин потерявшейся собаки прилагал все усилия для того, чтобы найти ее, а если это не удавалось, пытался отловить похожую бродячую собаку или же своровать собаку еще у кого-нибудь. Собаковладелец был обеспокоен не даром, поскольку указ соблюдался строго. Так, вроде был документально зафиксирован такой случай: когда одного самурая покусала собака, и он, не долго думая, зарубил ее мечом, суд приговорил его к самоубийству посредством харакири.

В этих античеловеческих и собакофильных условиях люди реагировали единственно возможным способом: поголовье домашних собак сокращалось, поскольку никто не желал иметь лишних неприятностей. Бродячих собак тоже старались больше не подбирать и их число заметно увеличилось, в связи с чем сёгун распорядился создать сеть собачьих приютов, в которых содержалось до ста тысяч животных (как сук, так и кобелей, добавлю я, исходя из требований политкорректности).

Разумеется, такое положение не могло сохраняться сколько-нибудь долго. И хотя находившийся при смерти Цунаёси завещал, чтобы его распоряжения относительно собак выполнялись бы вечно, они были отменены ровно через десять дней после его кончины.

После «обновления Мэйдзи» начался крупномасштабный импорт породистых собак из Европы. Называли их довольно своеобразно — *камэ* (от английского «come here»). Владельцам таких собак казалось, что теперь они ведут передовую и шикарную жизнь.

Нынешние японцы к собакам привыкли. Они их любят, кормят на убой концентратами, моют шампунями до полного исчезновения псиного запаха и собачьих инстинктов...

Вот живу я себе в городе Киото. И с моего третьего, последнего, почти что птичьего, этажа открывается этот совершенно нетипичный для нынешней Японии вид, а именно: полкилометра круто уходящей вниз, никак не утилизированной унылыми строениями, земли — любимое место променада местного собаколюбивого населения. Из-за странного экзотического каприза здесь пытаются выгуливать по этим почти что родным для меня сорнякам даже модных ныне лаек, которые, ввиду своей непокорности

местному отнюдь не сибирскому климату, оканчивают свою жизнь в пятилетнем возрасте — самое время с каким-нибудь пропойцей Васей медведя травить. Несмотря на то, что прямо за моим домом встает на дыбы обросшая лесом гора, медведей здесь не видели, боюсь, уже давно. Думаю, что счет пошел на тысячелетия.

А вообще-то собаки у японцев совсем не скандальные. Это они у своих хозяев так научились по причине их национального характера. И как они лают — тоже очень редко можно услышать. При встрече на улице они не рвут поводок, не лезут с объятиями, поцелуями и обнюхиваниями, но только слегка наклоняют морду вниз, сдержанно приветствуя друг друга.

Правда, известно мне и исключение из этого общего правила. Для того, чтобы дойти до него, мне понадобилось взобраться по специальному приглашению на довольно высокую гору. Хорошим шагом часа два дорога занимает. А на вершине горы живут художники. Лет двадцать назад их сообщество закупило там землю по причине ее дешевизны и отдаленности от городских глупостей. Ваяют, рисуют, лепят, живут «по-людски». Я встал рано и добрался туда еще до обеда. И внутренне ахнул, поскольку все там было не так, как в «нормальной» Японии: улицы не метены, асфальт дыбится, люди вполне себе веселы и одеты вовсе не с иголочки. Некоторые даже навеселе. В общем, вполне узнаваемая родная сторона. И такая ностальгия меня одолела тогда от этой похожести... Отчасти и потому, что собаки бежали за мной и лаяли, лаяли, лаяли... Счастье?

У «нормального» японского крестьянина не было в хозяйстве коровы и, потому он не считал ее своей кормилицей-поилицей и не испытывал по отношению к ней никаких особенно теплых чувств. Отсутствие привычки к скоту настолько вошло в японскую кровь и плоть, что разводить коров было запрещено и европейцам, прибывшим в страну во второй половине XVI в. — японцам казалось, что от коров и их мяса с молоком «воняет» (обращаю внимание, что сказать по-японски «воняет рыбой» — нельзя).

Однако в древности дело обстояло несколько иначе. В отличие от последующих эпох в начале периода Нара скотоводство все-таки получило некоторое развитие, поскольку государство предпринимало определенные усилия для поощрения разведения коров.

Сравнительно широкое распространение разведения коров в эпоху Нара было непосредственно связано с волной переселенцев с Корейского полуострова в VII—VIII вв. Они обеспечили страну не только квалифицированными кадрами для разведения коров, но и для производства молочных продуктов (коров разводили не столько «на мясо», сколько «на молоко»). Изданный в правление Момму в 700 г. указ о производстве сыра был адресован прежде всего этим переселенцам. Поскольку молочные продукты входили в диету буддийских монахов, некоторые монастыри также держали коров.

Однако следует иметь в виду, что потребление молока и молочных продуктов (сыр и кефир) было в период Нара привилегией весьма ограниченного круга лиц — прежде всего придворных и монахов. Таким образом, молокопродукты были товаром «пре-

стижной экономики». В значительной своей части они использовались в качестве лекарства или же «пищевой добавки». Доставка молока непосредственно к государеву столу находилась под контролем Аптечного ведомства. Ежедневно к государеву столу доставляли 2 литра 300 миллилитров молока, которое, как было сказано в инструкции, следует кипятить и подавать охлажденным.

Производство молочных продуктов осуществлялось главным образом благодаря наличию специальных государственных пастбищ, расположенных во многих провинциях. Крестьянам, занимавшимся там скотоводством, вменялось в обязанность доставлять ко двору сыр. Эта практика продолжалась по крайней мере в течение двух столетий, однако официальные документы свидетельствуют о том, что сыр мог доставляться нерегулярно, а его качество зачастую оставляло желать лучшего — властям приходилось наказывать провинившихся. При этом продажа коров в частные руки была ограничена — это нанесло бы ущерб основному виду сельскохозяйственного производства — выращиванию риса. Кроме того, сами крестьяне не были особенно заинтересованы в разведении скота ввиду крайне ограниченных наделов, которыми они обладали. Эта незаинтересованность хорошо видна на данных более позднего времени, когда с развитием частного землевладения часть государственных пастбищ переходит в частную



собственность, то эти территории превращаются в возделываемые поля, а выпас коров прекращается. Уже в период Нара зафиксированы случаи, когда по требованию крестьян государственные пастбища переводятся в категорию обрабатываемой земли. Так, согласно сообщению за 716 год, два пастбища в провинции Сэццу были отданы местным крестьянам «для прокорма» — по сравнению с мясом и молоком с единицы площади можно получить намного больше «рисовых» калорий.

Так что разведение коров имеет историческую тенденцию к сокращению. При постоянно растущей на рисо-рыбном рационе численности населения оно себя не оправдывало. Разведение коров в качестве мясо-молочной продукции практически прекращается в конце периода Камакура.

В то же самое время некоторое распространение в Японии получили волы. Их использовали для пахоты и в качестве тягловой силы. Если аристократов не несли в паланкине, они, бывало, передвигались в повозках, запряженных волами. Нечего и говорить, что эти путешествия совершались весьма медленно, а их маршрут не выходил, как правило, за пределы столицы.

Кроме того, использовались волы и в качестве вьючных животных.

Известен также пример использования быков в военном сражении, когда 500 голов крупного рогатого скота атаковали лагерь противника. Однако такую тактику следует считать все-таки экзотикой, а не повседневными военными буднями.

Как это ни странно, но почти полное отсутствие скота в стране сыграло большую роль в оборонных делах. Дело в том, что когда в 1274 и 1281 гг. в Японию вторгались монголы, перед ними возникала серьезнейшая проблема прокорма: в стране не было мяса, а рыбу они считали существом «нечистым». Эта «диетическая катастрофа» послужила одной из причин, почему монголы оба раза свортывали свои боевые действия очень быстро.

Разведение коров и употребление в пищу молока и мяса получило некоторое распространение только после периода «обновления Мэйдзи». Те немногие люди, которые молоком не брезговали, считали себя приобщившимися к цивилизации, остальные (и их было большинство) находили молоко откровенно «вонючим».



Хотя практическое значение крупного рогатого скота в хозяйственной жизни Японии было невелико, «коровья» символика все-таки получила некоторое распространение. Каждому японцу корова известна по году быка. Каждый японец прекрасно знает предание о смерти знаменитого государственного деятеля и литератора Сугавара Митидзанэ (845—903), который считается ныне покровителем школьников, студентов и ученых. Когда он умер и повозка, на которой покоилось его тело, находилась на пути к месту захоронения, волы вдруг встали, как вкопанные и никакими силами их было невозможно убедить сдвинуться с места. Это сочли за божественное указание, и тело Митидзанэ погребли там, где остановились волы. Поэтому в святилищах, посвященных Митидзанэ, всегда помещается скульптурное или живописное изображение коленопреклоненного вола. В древних и средневековых буддийских произведениях довольно часто рассказывается невеселая история о человеке, который за свои прегрешения переродился волком.

Японцы стали широко употреблять в пищу говядину, молоко и животное масло только в последние десятилетия. Благодаря этому они стали выше ростом и шире в плечах. Однако если до этого сердечно-сосудистые заболевания в стране распространены не были, то теперь их количество стремительно растет. Вместе с кальцием, на рекламу которого налегают производители, в организмы японцев поступает и холестерин.

Поголовье лошадей в Японии демонстрирует следующую закономерность: во времена смут и гражданских войн оно увеличивалось, во времена мирные — стремительно сокращалось. В сельском хозяйстве для обработки земли лошади использовались мало — японцы предпочитали ручной труд.

Таким образом, место лошади в японском хозяйственном комплексе определялось прежде всего военными и, отчасти, транспортными нуждами.

Впервые о широком распространении лошади можно говорить в так называемый курганный период (IV—VI вв. н. э.). В это время формировалось раннеяпонское государство, возводилось множество погребальных курганов, в которых хоронили знать. Становление государственности, как это бывает всегда и всюду, сопровождалось ожесточенными столкновениями между многочисленными мини-государствами. В связи с этим возрастает роль военных людей и воинских культов — погребальный инвентарь курганов пополняется оружием и конской упряжью. Находят археологи и костяки коней, которых хоронили вместе с хозяевами.

Когда же государи Ямато одержали победу в борьбе с конкурирующими кланами, в стране настал мир, и теперь власти были больше всего озабочены стабильностью. Указы VIII в. ограничивают количество коней, которые могли находиться в частной собственности. Одновременно с этим выпускались указы, накладывавшие ограничения и на владения оружием.

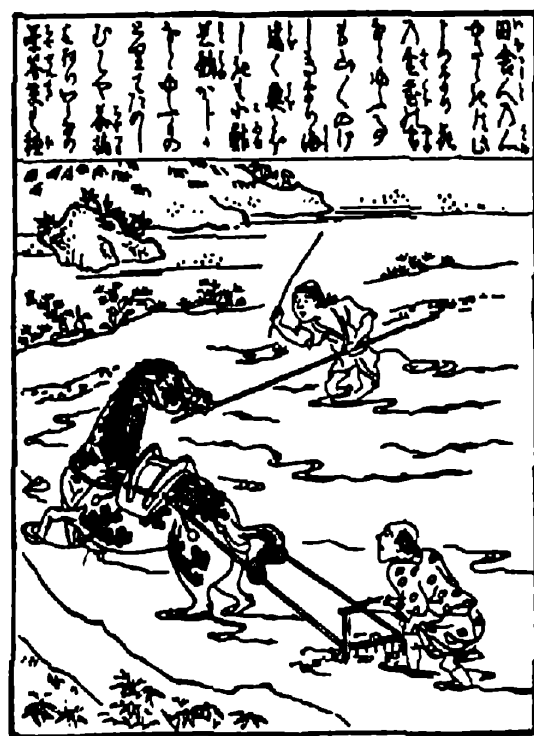
Вместе с введением ограничений на поголовье лошадей в частном владении в период Нара создаются государственные пастбища. Выращиваемые там лошади были призваны обеспечивать армию

и сеть почтовых дворов, расположенных вдоль достаточно разветвленной сети дорог. Государевы гонцы путешествовали по ним, донося до провинций распоряжения центрального правительства и отчеты местных администраций об исполнении — до столицы. Для этой цели использовалось более четырех тысяч лошадей.

В те времена, когда страна погрузилась в пучину гражданских войн и к власти пришло воинское сословие самураев, поголовье лошадей резко увеличивается. Все больше и больше воинов пересаживаются на коней. Однако после объединения Японии сёгуном Токугава Иэясу, поголовье лошадей вновь сокращается. Теперь даже почту во все концы страны стали доставлять пешие гонцы. Хотя лошади и использовались для перевозки грузов, но вплоть до XIX в. их не запрягали в повозки — в ходу были исключительно выючные лошади, что было в значительной степени связано с обилием горных дорог.

Первые японцы, которые попали в Европу были поражены, увидев лошадей, запряженных в телеги, повозки и экипажи. Только тогда, в середине XIX в., на улицах крупных японских городов появились конные экипажи, а чуть позднее и конка.

Находившиеся в Японии христианские миссионеры отмечали в XVI—XVII вв., что японские кони низкорослы (всего-навсего 135—140 см), некрасивы, не умеют ходить в строю. Кроме того, они были даже не подкованы — копыта обматывали соломой. В то же самое время европейцы писали, что самураи крайне дорожат своими конями и содержат их в великолепных конюшнях.

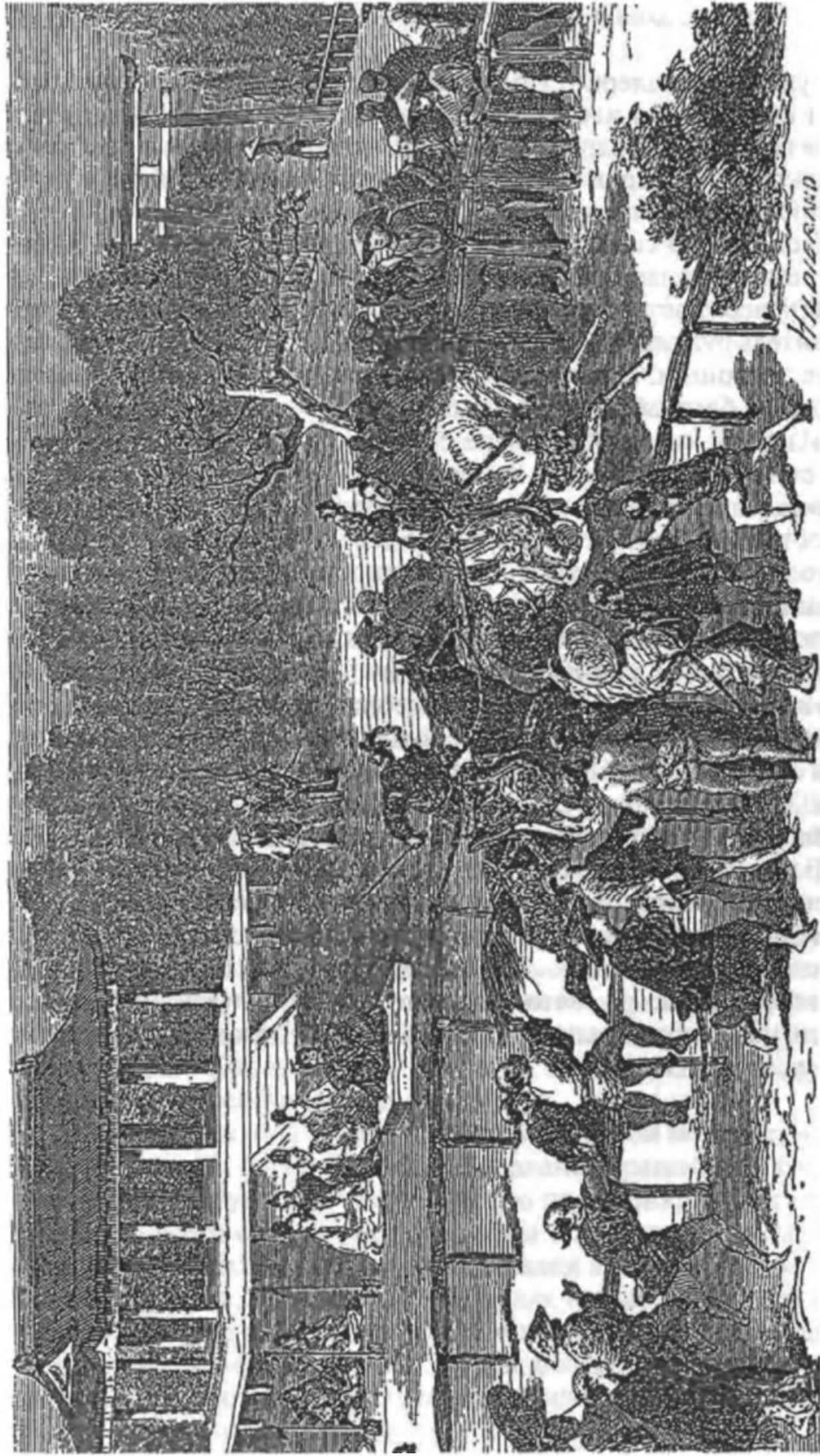




Это понятно: в среде военных всегда существует культ оружия и всего того, что помогает им в битвах.

Замечание же о неумении ходить строем объясняется как отсутствием традиции парадов, так и военной тактикой, господствовавшей в те времена. В Японии процветала тактика индивидуального боя. Поэтому при вторжении в Японию XIII в. монгольских войск японцы были столь поражены строжайшим порядком маневров неприятельской конницы. Самураи же вообще не любили массовых сражений, поскольку в таких битвах трудно обрести индивидуальную славу. Они не желали, как это тогда называлось, «сражаться в куче». Так, во время сражений с монголами были зафиксированы случаи, когда прибывшее на помощь японским войскам самурайские отряды немедленно покидали поле боя: начальник отряда решал, что здесь уже и так слишком много воинов, и потому на его личные умение и отвагу никто не обратит внимания. По этой же причине часто срывалось одновременное и внезапное нападение нескольких частей на неприятеля: начальник каждого отряда старался первым выкрикнуть свое имя (ритуал самопредставления был обязательным) и ввязаться в схватку первым.

Однако монголы из Японии быстро ушли, не успев привить японцам вкуса к передовым методам ведения войны. Но вот в период Мэйдзи правительство было обеспокоено военным отставанием Японии от западных стран самым серьезным образом. В связи с этим государство предприняло множество усилий для поднятия боеготовности: закупка самых современных вооружений, приглашение иностранных инструкторов и т. д. Эта стратегия



Скачки в Киото. С гравюры сер. XIX в.

коснулась и кавалерии. При этом тогдашние руководители мыслили системно: в частности, правительство стало поощрять и строительство ипподромов, надеясь, что это приведет в конечном результате к усовершенствованию подготовки наездников и улучшению породности лошадей.

Конь — это сила и быстрота. Поэтому символика, связанная с конем, считалась исключительно благоприятной. Недаром легенда утверждает, что знаменитый государственный деятель и покровитель буддизма — принц Сётоку-тайси (574–621) — родился возле конюшни. Это предзнаменование должно было доказать потомкам богоизбранность принца.

Издавна, по крайней мере с VIII в., в государевом дворце и при синтоистских храмах проводились скачки. Зачастую они сопровождались конной стрельбой из лука, что считалось угодным божествам-покровителям военного дела. К тому же самому VIII в. восходят и истоки новогодней обрядности, связанной с конем. В седьмой день нового года перед императором проходила процессия из белых коней. Их проводили, держа за уздечку, — садиться верхом на такого коня было запрещено. Считалось, что если увидеть в этот день белого коня, то злые духи будут обезврежены в течение всего предстоящего года. Подарить белого или же вороного коня синтоистскому святилищу считалось делом весьма богоугодным. Жрецы же приносили этих коней в жертву, полагая, что этот акт способен прекратить проливные дожди или же прервать засуху.

В настоящее время древний культ коня более всего обнаруживает себя в обычае продавать в святилищах деревянные таблички с изображением коня. На этой табличке верующий пишет свое пожелание, обращенное к божеству. Такие таблички вывешиваются перед входом в святилище и периодически сжигаются. Считается, что вместе с дымом от костра молитвы попадают прямо по адресу, то есть на Небо.

Олень является животным, которое среди всех млекопитающих Японии несет, пожалуй, наибольшую символическую нагрузку. Иными словами, олень — это животное священное, хотя японцы никогда к олениводам не относились. Протояпонцы на оленя охотились — это правда, но никакой существенной роли в жизнеобеспечении народа олень не играл. Тем не менее...

Миф осмысляет оленя в контексте культа плодородия. В одном из мифов повествуется о богине Тамацухимэ, которая поймала оленя, распорола ему брюхо и на крови оленя посеяла рис, давший ростки всего за одну ночь. Тамацухимэ высадила рассаду в поле. Ее брат, бог Онамутти, был очень удивлен. Он сказал: «Как ты за одну майскую ночь вырастила и высадила рассаду?»

Изображения охоты на оленя имеются на древних бронзовых колоколах — *дотаку*. Вслед за китайцами японцы также гадали по лопатке оленя. Кость нагревали на огне, а затем по характеру образовавшихся трещин судили о будущем.

Одна из песен «Манъёсю» представляет собой монолог, написанный от имени оленя. В этой песне олень обращается к государю и демонстрирует свою безграничную преданность — он отдает правителю всего себя без остатка: мясо идет в пищу, рога — на украшения, роговица копыт — на накладку для лука, шкура — на кожаные сундуки, шерсть — на кисти для письма. При этом анонимный автор не забывает и про те органы, которые не годятся для практического применения, но для полноты картины все-таки указывает, что из ушей оленя якобы изготавливали тушечницы, а из глаз — зеркала.

Последнее утверждение устанавливает символическую связь между оленем и священным зеркалом. И, действительно, такая связь в японской культуре существовала: на средневековых иконах — *мандалах*, посвященных святилищу Касуга в Нара, олени изображались очень часто. В особенности почитались белые олени (как, впрочем, и другие животные-альбиносы). На одной из таких мандал изображен белый олень со священным синтоистским деревом *сакаки* на спине. Причем на верхних ветвях дерева укреплено именно зеркало, которое символизирует небесные силы.



Изображение оленя на бронзовом колоколе

Буддизм наследует синтоистскую традицию поклонения оленю. С приходом буддизма олень стал считаться посланцем как богов, так и будд. Так, с помощью оленя боги и будды могли извещать людей о том, кто похитил одежду или деньги. И до сих пор в городе Нара олени считаются почти что «индийскими коровами» — они преспокойно разгуливают по городу в окрестностях Касуга, довольно нахально тыкаясь носами в прохожих и выпрашивая у них чего-нибудь съедобного.

Ввиду сакральности оленя буддийские подвижники старались подружиться с этими животными. О знаменитом святом Куя рассказывают, что он водил дружбу с оленем, но охотник убил его. Выпросив у него шкуру, Куя сшил себе из нее одежду и продолжал свое подвижничество — уже никогда не снимая ее.

Уж сколько раз я этого неблагозвучного святого Куя на фотках видел, уже и наглядеться мог бы. Нет, поперся в киотосский храм. Прихожу. «Платно у вас тут, наверное?» — «Отчего же, так проходите. Вот только если на Куя поглядеть захочется, тогда с вас 500 иен». — «Его самого», — и тянусь за кошельком.

Прохожу в отдельный павильончик. И вправду — он. Сгорбленный такой, в сандалиях соломенных, на плечах — шкура оленя. Доподвижничался до того, что с оленем дружбу завел. А охотник — возьми его и застрели в X веке. Куя же шкуру выпросил и больше с ней не расставался. А изо рта у него — шесть будд вылетают, по числу иероглифов его молитвы сокровенной: «О, Будда-Амида!»

И молитва-то простенькая, и будды эти крошечные без затей на торчащую изо рта проволоку наворачены — а до костей пронимает. Как будто в первый раз увидел. Или вспомнил.

*Один тебе был товарищ —
олень. Пронзили стрелой.
Шкура давит плечи.
Кормился сладони.
Танцуют слова.
В каждом — по Будде,
поднятом на рога.*

А охотник тот, передают, стал потом у Куя учеником. Но это уже литературица какая-то получается.

Кроме своей священной ипостаси, олень обладает и другой, светсколюбивой. Олень — едва ли не единственное млекопитающее, которое воспевалось японскими поэтами на протяжении столетий. Поскольку гон у оленей падает на осень, олень считался в японской поэзии «сезонным» животным, то есть одно упоминание о нем сразу же говорило о том, что речь в стихотворении идет именно об осени. Призывный крик самца символизировал любовное томление и самого поэта. В данном случае составителя «Манъёсю» Отомо Якамоти (?—785):



*Зовет жену олень,
И эхо катится
От горы к горе.
Один и я
Среди гор.*

Японцы, бывало, употребляли черепаху в пищу. Японские художники довольно часто рисовали ее. Но вовсе не потому, что находили черепаший суп вкусным. Дело в том, что черепаха — один из наиболее значимых для всего Дальнего Востока символов. Еще в доисторические времена в Японии (вслед за Китаем) панцирь черепахи использовался для гадания: на нижней стороне панциря вырезали сетку, состоявшую из вертикальных и горизонтальных черт, при нагревании на огне панцирь трескался и по образовавшимся на лицевой стороне трещинам предсказатели судили о будущем.

Для обитателя Японии черепаха обладает двумя исключительными особенностями. Во-первых, черепаха живет очень долго и потому является счастливым символом долгожительства и связанной с ним мудрости. В этом смысле черепаха не слишком отличается от того, что о ней думали в Европе. Вспоминается мудрая в силу своих преклонных лет черепаха Тортилла. Но о второй ипостаси черепахи у нас известно не так широко. Согласно китайскому мифу, на панцире черепахи, всплывшей в незапамятные времена на поверхность реки Ло, имелись некие странные знаки, которые и послужили прототипом первых иероглифов. То есть речная черепаха ассоциируется с письменностью и, следовательно, с той же самой мудростью. Поэтому и обнаружение такой черепахи (при этом она должна быть священной для Японии белого цвета) сулит перемены к лучшему. Ибо «лучшее» — это культура, а культура — это прежде всего письменность. В связи с этим и должность чиновника, то есть человека письменной куль-

туры, была на Дальнем Востоке столь почетна. Поэтому и послед новорожденного захоранивали вместе с монетами (это понятно) и кистью для письма — символом-обещанием успешной карьеры на государственной службе.

Неудивительно, что иероглиф «черепаха» являлся весьма популярным в древности — он присутствует в названиях многих девизов правления.

Приведу указ 715 г., связанный с обнаружением «чудесной» черепахи, вслед за которым был принят девиз правления «Рэй-ги» — «Чудесная Черепаха».

«Длиной она в семь вершков, шириной — в шесть. Левый глаз у нее белый, правый глаз у нее красный (сочетание белого и красного цветов считалось исключительно благоприятным, ибо белый цвет в такой комбинации обозначал ритуальную чистоту, а красный — жизненную энергию — *Авт.*). На шее у нее изображены три звезды (оберегающих Полярную звезду — небесное соответствие земного императора — *Авт.*), а на панцире у нее — семь звезд (ковша Большой Медведицы — созерцание ковша Большой Медведицы приносит удачу — *Авт.*). Низ живота ее испещрен красными и белыми точками, которые соединяются в цифру восемь (обозначает множественность, всеохватность, счастливое предзнаменование — *Авт.*)».

В другом указе VIII в. сообщалось об обнаруженной в столице черепахе, на панцире которой были начертано семь иероглифов (небо — владыка — почтенный — мирный — управлять — сто — лет), которые можно интерпретировать как «пусть мирное правление почтенного небесного владыки продлится вечно».

Древние хроники Японии довольно часто сообщают о том или ином счастливом знамении: пятицветные облака или обнаружение золота и меди, которые были необходимы для изготовления буддийских статуй и т. д. Предполагалось, что в правление добродетельного государя всемогущее Небо посылает знамения для того, чтобы подданные могли убедиться в превосходных качествах их императора. Все такие знамения были ранжированы на «малые», «средние» и «великие». Только обнаружение «великого» знамения предполагало и изменение девиза правления. Несмотря на свой небольшой размер (около 25 сантиметров в длину), именно к таким «великим» знамениям относилась и речная черепаха-альбинос. Не слишком «великие» знамения (скажем, два колоса на одном рисовом стебле) оставались без таких радикальных календарных последствий.

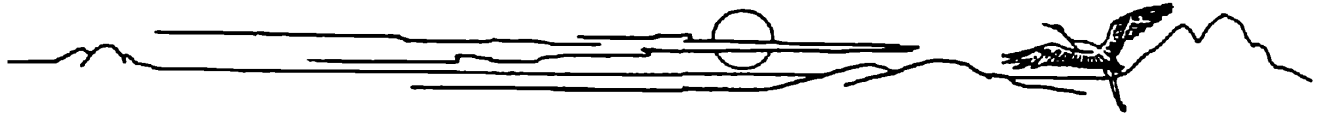
Легко догадаться, что политическая элита использовала все в своих сиюминутных целях. Своевременное обнаружение счастливого предвестия укрепляло положение действующего правителя, а весть о дурном знаке могла способствовать его «добровольному» уходу в отставку. Поэтому-то и интерпретация знамений находилась в монопольном ведении специального учреждения, работники которого обладали уникальным правом «входа» к императору. Контроль над этим учреждением служил предметом раздора для наиболее могущественных родов. Самовольное же занятие наукой прорицания в древности категорически запрещалось. Ибо знамение — оно и есть знамение: толковать его можно совершенно по-разному.

В отличие от других символов долголетия (сосна, журавль) черепаха не считалась животным поэтическим и стихов о ней слагали мало, хотя такие прецеденты все же имеются:

Пусть же сердце твое
Усталости не повинясь,
Век счастливый продлит
До предела, что недоступен
Журавлю и черепахе!

«Кокинсю», перевод А. А. Долина

Наибольшую известность черепахе принесла в Японии легенда об Урасима Таро, которая была впервые записана еще в VIII в., а затем неоднократно подвергалась литературной переработке. Согласно этой легенде, рыбак Урасима Таро, благодаря помощи отпущенной им на волю черепахи (японский эквивалент пушкинской золотой рыбки), совершает путешествие ко двору повелителя моря, где ему так хорошо, что он не замечает бега времени. И лишь только вернувшись на родину, он обнаруживает, сколько с тех пор прошло земных лет... Правда, речь в этом сказании идет не о речной черепахе, а об океанской. Исследователи видят в этой легенде воспоминание о тех временах, когда дальние предки японцев еще не боялись преодолевать морские просторы.



КОШКИ-МЫШКИ

Кошачья история неотделима от истории мышиной. Из одного дневника доподлинно известно, что в 1602 году был обнародован указ, согласно которому владельцам кошек в столичном городе Киото было предписано прекратить пользоваться поводками. Автор дневника ничего не сообщает о мотивах этого распоряжения, но вряд ли он был вызван какими-то абстрактными соображениям типа «Свободу кошкам и котам!» Дело, наверное, в другом: невероятно расплодившиеся мыши и крысы. Анонимный автор из сборника «Отоги-дзоси» сделал «кошачий указ» предметом своего остроумного рассказа. В нем он посмеялся и над кошками, и над мышами, и над буддийскими монахами, и над официальной трескотней того времени, объявлявшей, что нынешние власти — верх мудрости и совершенства.

Все живые существа — будь то люди, птицы или же звери — прекрасно знают, что мир и порядок в Поднебесной имеют своим источником добродетельное управление. И мы действительно можем утверждать, что нынешние времена — намного лучше, чем даже далекое и блистательное прошлое — правления китайских первоимператоров Яо и Шуня.

В середине восьмой луны 1602 года был обнародован указ, согласно которому все кошки в столице должны были быть спущены с поводков. В связи с этим на углу 1-ой улицы было повешено распоряжение городских властей, в котором говорилось нижеследующее: «Предписывается спустить всех котов и кошек с поводков. Коты и кошки подлежат полному освобождению и им дозволяется гулять там, где им того пожелается. Кроме того, предписывается торговлю кошками упразднить. Нарушившие данное распоряжение подлежат суровому наказанию».

Согласно этому распоряжению, каждая милая сердцу своего хозяина кошка должна была быть снабжена биркой с его именем, освобождена от поводка и отпущена на все четыре стороны. Кошки пришли в неопиcуемый восторг и разбежались по всему городу, празднуя обретенную свободу. Радость их объяснялась тем, что отныне они могли ловить мышей, где угодно в полное свое удовольствие.

И теперь замученным бесконечными преследованиями мышам стало прятаться негде. Теперь они уже не могли вольготно разгуливать по коридорам и чердакам, а когда они выбирались наружу, мышам приходилось красться по улицам без всякого попискивания. Горожане же, напротив, пребывали в надежде, что указ будет строго исполняться и в дальнейшем.

К северу от города жил один досточтимый отшельник, который отринул все греховное и прилепился к добродетели. Утром он молил о том, чтобы Небо и Земля существовали бы вечно, а вечером просил, чтобы мир пребывал в покое, а сам он вознесся бы в рай, и чтобы все сущее было бы благодетельствовано учением Будды. Этот отшельник был прекрасно осведомлен в Учении и способах медитации, а его добродетельность восхищала и трогала до слез монахов и мирян, мужчин и женщин. И был он таков, что его можно было назвать воплощением самого Будды. Даже птицы и животные знали о его непревзойденных достоинствах. И вот однажды ночью был ему удивительный сон. Будто бы пришел к святому мыш, который прилепился к Учению.

«Простите меня за смелость, но только хочу сказать, что, проживая под полом, днем и ночью внимаю я вашим проповедям. И когда я слышал, что можно скостить свои прегрешения посредством покаяния, я решил последовать вашим советам. Могу ли рассчитывать на ваше напутствие после того, как принесу покаяние?»

Святой был тронут тем, что какой-то там мыш способен рассуждать с такой вот степенью утонченности. «Сказано, что даже лишённые органов чувств растения и деревья способны достичь состояния Будды, — отвечал он. — А что уж говорить о вас, мышах! Вы, безусловно, способны немедленно избавиться от ваших бесчисленных прегрешений — при условии, конечно, что вы без лишних вопросов уверуете в священного Будду! Согласно Учению, и рай, и сам Будда пребывают не где-нибудь, а именно в сердцах. Но достичь просветления не так легко. Однако даже птицы с животными, если они, конечно, прилежат к вере, могут стать буддами».

Мышь перестал ронять слезы и сказал: «В таком случае я поведаю вам о своих грехах. Поскольку всех кошек в столице отпустили на волю, мыши частью попрятались, а некоторых из них сожрали кошки. Осталось нас в живых не так много, да и последние мыши вскорости сгинут. Мы скрываемся под полами и террасками, не зная ни одной спокойной минуты. Мы прячемся в норках, но через пару дней там становится так душно, что оставаться там невозможно. Когда же мы выбираемся наружу, эти проклятые кошки нападают на нас и рвут на части. Какова же должна быть наша мышинная карма, чтобы мы терпели такие мучения!»

Святой отшельник отвечал: «Конечно же, условия вашего существования заслуживают сожаления. Но теперь, когда я поделился с тобой своим знанием, и ты стал моим учеником, я должен поведать тебе, почему вас, мышей, ненавидят столь люто. Когда я, одинокий монах, переклеиваю бумагу на зонтике и оставляю его сохнуть, я вдруг обнаруживаю, что ручка зонта уже обглодана. Когда я жарю бобы и готовлю угощение, чтобы оказать почтение своим сотоварищам, еда вдруг улетучивается. Вы ухитряетесь прогрызть дырки не только в моем монашеском одеянии, но и в моем веере, в моей ширме, в моих лепешках и в моем соевом твороге! И сколь терпимым люди ни считают меня, все равно — и это так естественно — мне хочется разделаться с вами. Как можно ожидать, что люди обычные станут относиться к вам по-иному?»

Мышь сказал: «Полностью разделяю ваше мнение. Смею уверить: я делаю все возможное, чтобы убедить молодое поколение вести себя по-другому. Но следует иметь в виду, что, как говорится, от умного совета уши вянут, а настоящее лекарство — горько на вкус. Юные мыши никак не хотят прислушаться к моим увещаниям. Наоборот — они ведут себя все наглее. Сколько раз я говорил им, чтобы они не испытывали человеческого терпения, прекратили грабеж домов и воровство фартуков, носков и иной одежды. Следует прекратить безобразие, когда из всего этого тряпья устраиваются теплые гнездышки в коробках, узлах и корзинках. Я повторял им, что следует отказаться от обглаживания того, от чего нет никакой питательности и пользы для здоровья, отказаться от привычки шнырять возле кастрюль. Я говорил это несмысленным младенцам и подросткам, но они творят, что хотят, и устраивают себе спальни в подушках и матрасах, на чердаках и на обветшавших крышах. Они все время творят непотребное. О, эти ужасные создания!»



И тут святой отшельник открыл глаза и обнаружил, что уже настал день.

На следующую же ночь ему привиделся полосатый — вроде тигра — кот, который поведал ему следующее.

«До моего слуха дошло, что благолюбие ваше достигло даже подлого сердца некоего грызуна, которого совершенно справедливо ненавидят человеки. В связи с этим я и набрался смелости, чтобы прийти к вам и поведать о том, как обстоят дела на самом деле. Этот ничтожный мышь нагло врет вам в глаза! Не успеете вы облагодетельствовать его своим состраданием, как он тут же что-нибудь сопрет у вас! Так позвольте мне поведать вам нашу славную кошачью родословную! Выслушайте меня! Говоря так, я рискую быть понятым в том смысле, что я пытаюсь соревноваться с этим мышем, но — поймите меня правильно! — не зная всех обстоятельств, вы можете подумать дурно о нас, кошках».

Тут кот выгнул спину и его глаза засверкали.

«Мы — потомки тигров, которые наводят ужас в Индии и Китае. Но Япония — страна крошечная, и мы, переправившись через море, были вынуждены приспособить свои размеры к ее малости. Вот почему в Японии нет тигров. В правление императора Дайго (897—930) государь относился к нам с предельным вниманием. Одна из наших сестер была обласкана самим принцем Касиваги, который не расставался с нею. Позднее, в правление императора Госиракава (1155—1158), нас стали держать на поводке, чтобы мы были поближе к хозяевам. И теперь получилось, что мы, бедные кошки, могли поймать мышку только в том исключительном случае, если она пробежала под самым носом! А когда нам хочется пить, приходится мурлыкать и вопить — только для того, чтобы нам ответили полным равнодушием. Это ужасно! Люди полагают, что мы не знаем никаких иностранных языков, но на самом-то деле мы разговариваем на священном санскритском наречии, которого никто не понимает в этой стране. Вот и получаются, что наша судьба — поводок и побои. Но боги не оставили своим состраданием даже кошек — точно так же, как лунный свет не забывает проникнуть даже в жалкую лачугу. Мы так благодарны, что наша участь была облегчена в последнее время! Каждое утро мы приветствуем светило и мурлычем молитву о том, чтобы нынешнее правление продлилось бы вечно!»

Подвижник отвечал: «Твои речи поистине заслуживают внимания. На ум мне приходит история про святого Нандзэна из Китая, который разрубил кошку надвое, чтобы показать, что и ее половинку все равно можно назвать только кошкой. Тем не менее, возникает законный вопрос, как я, монах, могу остаться безучастным к вашей судьбе? Согласно учению о карме, убийца обречен сначала на смерть, а потом на новое рождение. Потом он должен снова умереть, снова

родиться — и так без конца. Только осознав бренность этого мира, можно избавить себя от бесконечной цепи рождений и смертей, только тогда ты можешь достигнуть освобождения! Перестаньте убивать, перестаньте пожирать мышей! Почему бы вам, кошкам, не перейти к более разумной диете? Не подойдут ли вам блюда из риса? Разумеется, иногда можно будет позволить себе сушеную сардинку, селедочку или же горбушу...»

«Готов согласиться с вами, но вы должны принять к сведению, что люди питаются рисом с целью улучшения работы внутренних органов, для того, чтобы внешние органы получили возможность беспрепятственно дергаться, а языки — болтать. Вкус риса обогащается с помощью добавления вкусоностей, которые добываются в море и в горах. Точно так же и наши блюда из мышатины, посылаемые нам самими богами, дают нам здоровье и возможность прыгать и прямо-таки летать — словно какие-нибудь птички. Не забудьте и самое важное — ожидание ночного лакомства из мышатины позволяет нам забыться сладким дневным сном. Подумайте об этом и согласитесь, что ни одна кошка не согласится на ваше предложение!»

Всесострадательный подвижник затруднился с ответом, но лицо его оросили немые слезы — он был потрясен. И тут он проснулся.

Ближе к рассвету ему привиделся новый сон. На сей раз это был давешний мышь, который заявил: «Мы больше не можем оставаться в столице. Мы, городские мыши, собрались на совещание, во время которого все жаловались на чудовищное состояние дел. Однако самый мудрый из нас сказал: «Получается, что, ввиду ужасных обстоятельств, спасти свои серые шкурки мы вроде бы не можем и у нас якобы не остается другого выхода, как покончить жизнь самоубийством. Но это не так». Тут мыши зашумели. Мудрый же мышь продолжал: «Прошло уже пятьдесят дней с тех пор, как кошек спустили с поводков. И с тех пор нам не досталось ни одной рыбной косточки, ни одной горошинки, ни одного кусочка курочки! Некоторые полагают, что даже если мы не попадемся в лапы кошек, нам все равно грозит голодная смерть. Все это так. Тем не менее, до меня дошло, что крестьяне из провинции Оми не сжали свой рис ввиду того, что не хотят платить эти ужасные налоги. Так давайте же перезимуем там! Матери и дети выроют норки прямо под колосьями, и так мы спасемся от холода. Когда же холода закончатся и наступит весна, мы найдем укрытие в горах, долинах, храмах и городах. Если мы раздобудем лодку, переправимся на острова посреди озера Бива. Мы будем выкапывать дикий батат, подъедать корни папоротника и так, возможно, нам удастся продлить свою жизнь. Мне, разумеется, очень жаль, что на новый год мне не удастся отведать рисовых лепешек — круглых и в

форме цветочков, печеньица и конфеток. А как хорошо было бы понежиться в доме, когда весенний дождичек каплет с крыши! Как ужасно, что мы вынуждены уходить отсюда из-за этих мерзавок — кошек! Меня утешает лишь то, что и кошкам досталась несладкая жизнь — собаки станут травить их. Я прямо вижу, как они валяются на обочине или под мостом, промокшие и грязные. Они получают по заслугам!»

После этой пламенной речи мыши набрались смелости и разбежались кто куда. Некоторые особо изысканные особы, которые проживали раньше в домах аристократов, сложили на прощанье неуклюжие стихи.

Ну, например, такие:

За кошкой,
Что ловит мышь,
Тенью встала собака.
Вот и охотник
Сам жертвою пал.

Или вот такие:

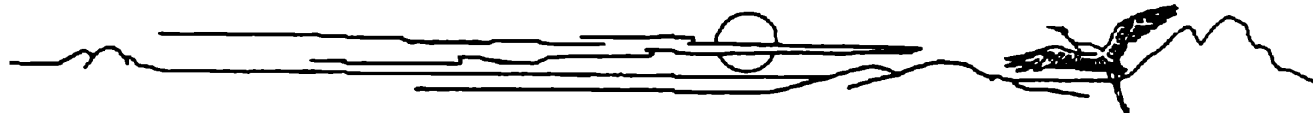
Недолго жить
Осталось в этом мире...
В последний путь
Беру воспоминанья, в которых
Кошки след простыл.

Или же вот такие:

Только пискнешь —
Наострятся ушки у кошки,
Глаза засияют.
О, этот страшный
Блеск зрачка!

Монах решил никому не рассказывать об увиденном им во сне, ибо побоялся, что его сочтут выжившим из ума. Но видения были столь яркие, что он все-таки поведал о мышах и кошках своему близкому другу, который нашел рассказ подвижника весьма забавным. В любом случае, как это и явствовало из вещей снов монаха, количество мышей в домах заметно уменьшилось. Уменьшилось и число краж, мыши больше не резвились по матрасам.

Со времен древних и до дней нынешних люди всегда испытывали чувство благодарности, когда общественный порядок поддерживался на должном уровне. С мудрым правителем и зажиточным народом счастье навечно поселяется в домах, а сердца наполняются радостью.



Про собаку канцлера и гадателя Сэймэя*

Давным-давно это было... После того как канцлер Фудзивара-но Митинага** воздвиг храм Ходзёдзи, он ежедневно посещал его. Поскольку имел он любимую белую собаку, то и она неотлучно находилась при нем.

И вот однажды по обыкновению взял ее Митинага с собой. На обратном пути, когда приблизились они к воротам усадьбы, бежавший впереди пес вдруг завертелся на месте и преградил дорогу. Митинага удивился, сошел на землю и попытался пройти. Но пес схватил его за полы одежд и дальше не пускал. «Наверное, есть тому причина», — решил Митинага, велел принести себе сидение и послал за гадателем Сэймэем. Сэймэй явился незамедлительно.

«В чем дело?» — спросили его. Сэймэй поколдовал и ответил: «Здесь на дороге закопано нечто злодейское. Эта вещь заговорена против вас и если вы перешагнете через это место, будет беда. Собака же знает божественное — вот она и предупредила вас». Митинага спросил: «Где же зарыт этот предмет? Найди мне его!» — «С легкостью», — ответил Сэймэй. Поколдовав, он указал место: «Здесь!»

Стали копать там, где указал Сэймэй. Когда разрыли землю на пятнадцать вершков вглубь, добрались до предсказанного. Это были два глиняных горшка, связанные крест-накрест желтой бумажной бечевой. Развязали бечеву, посмотрели в горшки — нет ничего. Только на дне одного из них киноварью начертан некий знак. «Кроме меня, — сказал Сэймэй, — никто таким колдовством не владеет. Разве что монах Дома смог додуматься. Сейчас выясним».

Сэймэй достал из-за пазухи лист бумаги, сложил из нее «птичку» и, произнеся заклинание, подбросил вверх. Тут бумажная птичка вдруг превратилась в белую цаплю и полетела к югу. «Следите за тем, где усядется цапля», — велел Сэймэй слугам. Птица же провалилась внутрь ветхого дома с двустворчатыми воротами. Этот дом стоял на перекрестке Шестой улицы и переулка Мадэ. Хозяином дома оказался престарелый монах Дома. Его схватили, приволокли к Сэймэю, стали пытаться — зачем колдовством занялся? Тот ответил: «Меня

* Из сборника «Удзи сюи моногатари».

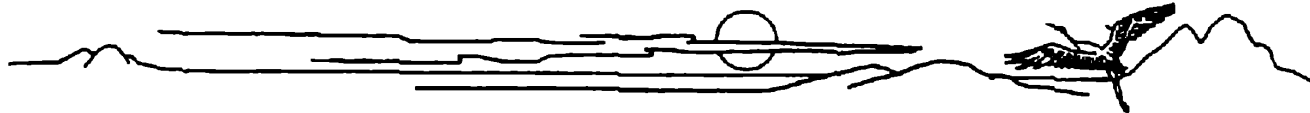
** 966–1027.

попросил о том князь Акимицу, его еще левым министром Хорикава кличут». Сэймэй сказал: «Вообще-то за такие дела ссылать положено, но только вижу я, что ты не виноват. Впредь больше так не делай». После этого Дома отправили в его родную провинцию Харима.

А дело было в том, что князь Акимицу после смерти превратился в гневного духа и стал насылать напасти на Митинага. Оттого покойного Левого министра и прозвали Гневным духом.

А Митинага с тех пор привязался к своей собаке еще больше.





Кавабата Ясунари

Черный пион

«Кличка — Черный Пион. Отец — Телий. Мать — Тин. Место рождения — город Токио, район Акасака-Аояма, квартал № 5, дом № 15, дом Ватанабэ Юкико».

— Почему это белую собаку называли Черным Пионом?

— Из-за ушей. Посмотри внимательно. Видишь? У него левое ухо похоже на черный пион.

— Ну-ка?

Он приподнял щенячью мордочку. Щенок стал карабкаться по груди. И вдруг стал лизать его в губы.

— Смотри-ка, какая умненькая. Первым делом до мужских губ добралась. Да ты прямо развратница какая-то.

— Это мальчик.

— Мальчик?

Юкико зарделась. Он вспомнил, как она целовала его. И теперь щенок, который своим шершавым языком прикоснулся к его губам, показался ему симпатичным.

«Я специально не стала писать, что это мальчик!» — сказала она, вновь доставая свидетельство о рождении из пакетика, привязанного к ошейнику. «У него прекрасная родословная», — сказала она и осеклась. Потому что у сына, которого она родила от этого мужчины, такой родословной не было. «Какая разница — мальчик это или девочка? Пусть это будет просто счастливая собака. Поэтому я не стала указывать пол. Понимаешь, Пиончик?»

— Ухо у него, может, и правда на пион смахивает. Только у твоего Пиона всего один лепесток.

— Что же, тогда у него ушко на пион и не похоже вовсе?

— Да, имя у него славное. Только одним махом его не выговоришь. Черный Пион, Черный Пион... Не выговаривается. «Черный» здесь как-то ни к чему. Может, просто Пион?

— Пиончик, Пиончик!

— Да не Пиончик, а Пион-Пион!

— Ну что, возьмешь его?

— Возьму, что поделаешь. Мы же уже выбрали двух бездомных дворняг. Сейчас спят, наверное, под верандой. Недавно жена пошла в табачную лавку, ее еще такая чистенькая старушка держит.

А собаки за женой тоже увязались. А старушка ей и скажи: какие симпатичные, вы уж, мол, обращайтесь с ними по-человечески. А жена и говорит: я их каждый день кормлю. Старушка тогда ей поклонилась, спасибо, говорит. Тут и другая бабушка из-за прилавка вышла, стоят обе и кланяются. Оказывается, хозяин собак этих бросил, когда в Камакура переезжал. А они тут по помойкам слонялись. Грязные, худые, глаза злыми стали и жалкими. Их отовсюду гоняли. И другие бездомные собаки тоже их не жаловали. У них ведь в стае свои порядки. И все они на наших собак скалились. А когда мы их к себе взяли, то им на улицу уже и не выйти стало. Мальчишки стали в них камнями бросаться. С самыми отпетыми жена чуть не подрались. А та старушка из табачной лавки тоже жалела их, вот потому и растрогалась.

— Ладно, про тебя я знаю, что ты собак любишь. А жена-то твоя как?

— Да и она, вроде, тоже любит, только у нас дворняги, а не аристократы.

— Она дома сейчас?

— Кто, жена? Она сейчас должна в дансинге быть. Уговаривает одного старого клиента мою картину купить. Я ей сказал, что вы в Китай работать уезжаете, она и всполошилась — надо, говорит, долг отдать. Вообще-то и я целый день бегал, чтобы денег раздобыть.

— Она что, совсем не понимает, что происходит? Конечно, я к тебе сегодня в первый раз за два года пришла, когда ее дома нет. Причем ведь без всякого приглашения. Вот мы с тобой в мастерской и порисовали...Ну, и вообще...

— Да ты знаешь, она ведь тогда и деньги на нашу свадьбу от тебя с радостью взяла. Хвалила тебя. Хоть и знала, что ты моей любовницей была. С тех пор ничего не изменилось.

— В любом случае, у вас времени вернуть долг, уже нет. Я же завтра утром уезжаю. Если она щеночка возьмет — и на том спасибо.

Щенок спал у него на коленях. Он погладил его по голове. Щенок приоткрыл щелочки своих глаз и взглянул на него, недовольно твякнул — не мешайте, мол, мне спать. От прикосновения к длинной шелковистой шерсти сердце его дрогнуло — любовь большого к маленькому. Наверное, Юкико принесла этого щенка, чтобы он помнил об их ребенке.

— Ладно, пошли в дансинг. Может, ей удалось хоть сколько-то денег раздобыть.

— Я не против увидеть ее. Только мне о деньгах говорить не хочется.

— Понимаешь, она же сейчас себя ощущает бездомной собакой, которая к кухне подошла и хвостом виляет. Пойдем уж.

Он поднялся. Достал из кармана целый ворох каких-то ненужных бумажек и положил их на птичью клетку. «На Новый год обязательно куплю мусорную корзину».

Сброшенный с коленей щенок спросонья пошатывался. Потом вдруг подпрыгнул и уцепился ему за рукав.

— А что с этим делать? Одного жалко оставить, а в электричку не пустят. Может, раскошелишься на такси?

В машине щенок занялся тем, что стал грызть сумку Юкико.

— Ты должен твердо сказать своей жене, что вы расстаетесь. И все будет хорошо. Такой исход все теперь считают за самый лучший.

— Все? Что означает теперь?

— Она же все время чувствует свою уязвимость, вот что я имею в виду. Когда мы с тобой жили, ты работал, а я дома сидела. Вот поэтому мы с тобой и расстались.

— Ты хочешь сказать, что лучше было бы, чтобы не работал я, мужчина?

— Да нет. Мне с тобой хорошо было. Просто я чувствовала себя чересчур зависимой, потому и злилась. Я ведь собак в постель беру. Каждый вечер. И этого Пиончика, и его мать. Вот и я была как эти собаки, которых в постель берут.

— А как они у тебя на горшок ходят?

— Когда этому писать надо, Тин меня будит, за ночную рубашку зубами дергает.

— А с сыном нашим ты тоже навсегда рассталась?

— Нет.

— А мужу о нем рассказала?

— Нет. Он все обо мне знает, кроме этого.

— Да, у меня от жены тоже только этот секрет остался.

— Да, может, даже лучше, что он в деревне растет. Может, сильным станет. Давай мы с тобой уговоримся. Если кто-то из нас — ты или я — все-таки признается, и его простят, тогда ты или я — неважно кто — усыновит его.

— Давай лучше пообещаем, что если никто из нас не усыновит его, тогда другой не будет в обиде.

— А если ребенок станет потом упрекать меня? Если я сама себя стану упрекать? Что мне тогда делать?

К счастью, они уже подъехали к артистическому входу. Открыли стеклянную дверь зала. Джаз-банд оглушил его. Он почувствовал робость перед бешеным танцем и различал только некий бьющий в глаза водоворот. Они уселись где-то сзади. Он сразу увидел жену — в этой яркой толпе танцовщиц она одна была в белом. На ее юных партнершах были красные юбочки. Волосы были забраны в пучок на

уровне худых плеч. Впрочем, он вскоре перестал ощущать неловкость и какой-то покой лег ему на сердце.

Музыка смолкла. Танцовщицы и зрители разделились по двум проходам — красное и черное. И только его жена оказалась в черном потоке. Увидев мужа и Юкико, она покраснела до шеи.

— Ну что, испугались? А мне снова танцевать захотелось — прямо как раньше. А партнерша-то моя все меня за руку ухватить норовила — уймись, мол. Юкико, у тебе все в порядке? Что-то вид у тебя какой-то несчастный.

— Юкико подарила нам щенка.

Он достал Пиона из рукава кимоно.

— Симпатичный какой!

Жена взяла щенка на руки и, не обращая внимания на окружающих, стала тереться о него щекой. Тут заиграли вальс. Жена радостно предложила: «Ну что, Юкико, станцуем?»

Ответ Юкико удивил его: «Я вообще-то не танцую. Но я уезжаю, так что давай. Когда в следующий раз встретимся, может, уже бабками станем, тогда уж не до танцев будет».

Юкико охотно встала. Жена приобняла Юкико за плечи и воскликнула: «Ох, и горячая я!» Потом передала щенка мужу и бросилась к танцорам, которые уже разбирали своих партнерш.

И в этот самый момент щенок спрыгнул с рук и вбежал в круг танцующих пар. Муж опустился на четвереньки и попытался схватить его, но запутался в чужих ногах и никак не мог приблизиться к Пиону. И тут, находясь в плотной толпе, Пион присел на задние лапы и наделал лужу. От неожиданности ближние к нему девушки заверещали и отпрянули. Мужчины же разразились хохотом. Щенок от испуга забрался на диван. В зале было четыре десятка пар. Почти все они остановились. Музыканты вытянули шеи, но продолжали играть. Жена опрометью бросилась к луже и стала вытирать ее рукавом платья. Смех стих. Танцовщицы окружили щенка венком своих нарядов. Жена выбежала через боковую дверь. Принесли воду и тряпки. Танцы продолжались. Покинули зал только трое — муж, жена и Юкико.

Когда они сели в машину, он расхохотался.

«Извините, я поставила всех в такое неловкое положение. А ты, Пиончик, должен чувствовать свою вину». Юкико тыкала щенка носом в испачканный рукав.

«Перестань, платье от этого только красивее стало», — ответила жена, беря щенка на руки. «Но только из-за тебя мы ничего не заработали. Мне обещали некоторую сумму по окончании».

Когда они высадили Юкико, жена стала тискать щенка уже без всякого стеснения. Она подставила ему шею. «Даже щенки — и то

вон какие милые. А что уж про детей говорить. И почему мы с тобой ребеночка не родили? Все боялись чего-то».

— Сравнила — собака и ребенок. Ответственность-то какая!

— Держу на руках щенка, а думаю-то про ребеночка.

— И Юкико подарила щенка, потому что о ребенке вспоминала.

— Хотела, чтобы мы с тобой тоже ребеночка сделали?

— Нет. Я давно хотел тебе сказать — у нас с ней есть сын. Мы его в деревню отправили. Четыре годика исполнилось.

— Ничего себе! Я готова его хоть сейчас усыновить. Правду говорю. И у меня, между просим, тоже дочка есть.

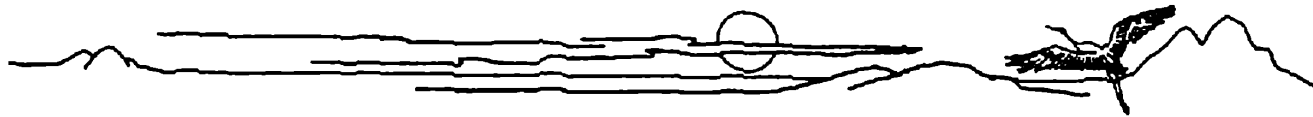
— Ну, ты даешь!

Они рассмеялись.

— Тогда с твоей и начнем. Твою дочку сначала взять — это даже как-то приятнее. Чужой ребенок дороже своего будет. Все равно, что вот этого щенка взяли.

— Ты скажешь! А как Юкико его назвала?

— Пиончик. Цветок такой есть, знаешь? Черный пион называется.



Слово о том, как отец присвоил зерно сына и переродился быком *

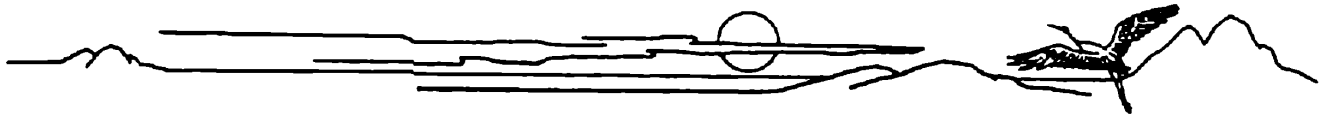
В давние времена в деревне Ямамура, что в округе Соу-но Ками земли Ямато, жил-был муж по имени Кура-но Иэгими. Как-то раз в двенадцатой луне он решил читать сутры Великой Колесницы, дабы замолить свои грехи. Он велел слуге: «Приведи монаха». Слуга спросил: «В какой храм я должен пойти?» Иэгими ответил: «Мне все равно. Приведи первого, кого увидишь».

Как ему и было велено, слуга вернулся домой с монахом, повстречавшимся ему по дороге. Иэгими благоговейно совершил перед ним приношения. Вечером, после окончания службы, монах собрался спать и лег в приготовленную хозяином постель. Тут монах подумал: «А не лучше ли взять одеяло и уйти сейчас, не дожидаясь завтрашних подарков?» Вдруг он услышал голос: «Не смей брать одеяло!» В великом страхе и испуге монах оглядел дом, но никого не нашел. Только вол стоял под навесом кладовой. Монах подошел к волу, и тот заговорил: «Я — отец Иэгими. В прошлом рождении я отдал людям десять снопов риса, не спросившись у сына. В наказание за грех я в нынешней жизни переродился быком. Как ты, монах, можешь с легкой душой взять одеяло? Если сомневаешься в моих словах, постели мне завтра соломы. Я приду и лягу туда. Тогда убедишься, что я вправду его отец».

Монах устыдился нечестивых мыслей и лег спать. Наутро, после окончания службы, монах сказал: «Отошлите чужих подальше». Собрав родичей хозяина и без утайки поведал им о случившемся. Хозяин опечалился, подошел к волу, постелил ему соломы и сказал: «Если ты и вправду мой отец, ляг сюда». Вол лодогнул колени и лег. Родственники запричитали и заплакали в голос, приговаривая: «Воистину — отец Иэгими перед нами». Иэгими встал, поклонился волу и сказал: «Прощаю тебе твой долг». Услышав его слова, вол вздохнул и заплакал. В тот же день, в час обезьяны, он умер. А хозяин одарил монаха одеялом и деньгами, искупляя тем самым грехи отца.

Как можно не верить в возмездие?

* Из сборника «Нихон рёики».



Слово о том, как монах присвоил дрова, предназначенные для кипячения воды, и переродился быком *

Сака Эсё был монахом из храма Энгодзи. Однажды он взял вязанку хвороста, предназначавшуюся для того, чтобы согреть воду для мытья монахов. Присвоил ее себе да так и умер.

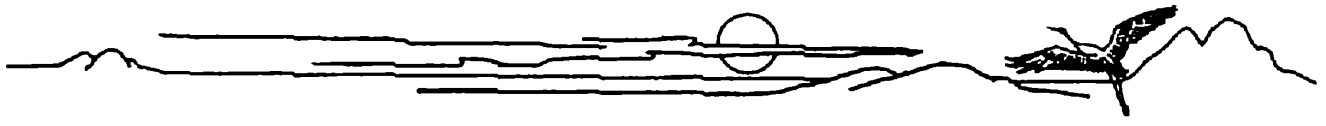
У монахов была корова. Она родила бычка. Когда тот подрос, его каждый день стали впрягать в повозку, на которой он возил дрова в храм. Как-то раз бычок тащил повозку. Какой-то монах, стоявший у ворот храма, сказал: «Хотя Эсё хорошо читал «Сутру нирваны», он плохо возит тележку». Услышав его слова, вол заплакал, испустил глубокий вздох и умер.

Погонщик обвинял монаха: «Ты проклял вола, и он сдох». Он схватил монаха и доставил властям. Чиновник хотел было допросить монаха, но его поразили необычайное благородство лица монаха, совершенство тела и сияние, исходившее от него. Чиновник скрытно провел монаха в покои, позвал живописцев и сказал им: «Нарисуйте монаха с тщанием». Живописцы выполнили повеление и принесли картины чиновнику. На всех была изображена бодхисаттва Каннон. А сам монах исчез.

Верно говорю — сама Каннон обернулась монахом.

Да не отнимет голодный у монаха — пусть лучше глотает песок и землю. Поэтому в «Изборнике сутр» говорится: «Я спасу того, на ком четыре тяжких греха: убийство, воровство, распущенность, ложь. Я спасу того, на ком пять смертных грехов: убийство отца, убийство матери, убийство отшельника, повреждение тела Будды, раскол общины. Но не спасу я того, кто отнимет у монахов».

* Из сборника «Нихон рёики».



Про то, как мужчина, храм Хасэдэра посещавший, чудесной милости удостоился *

Давным-давно жил-был молоденький самурай. Ни отца с матерью у него не было, ни хозяина, ни жены с детьми. Совсем один он был. И ничего-то не мог с этим поделаться. Вот пришел он в храм Хасэдэра, надеясь, что Каннон поможет ему. Лег он перед образом ничком и говорит: «Чем так в этом мире жить, лучше умру перед образом голодной смертью. Не уйду отсюда, пока не увижу сон о том, что должна мне быть явлена сама собой поддержка». И вот так вот и улегся. Увидели его монахи, спрашивают: «Кто это здесь улегся? И еды у него никакой нет. Ежели так лежать станет, храм осквернит. Дело серьезное. Кто его наставник? Где он?»

Самурай отвечает: «Поддержать меня некому, наставника человеческого у меня никакого нет, пропитаться нечем. И нет никого, кто пожалел бы меня. А ем я то, что дает мне Будда, и Будду считаю своим наставником». Собрались монахи, говорят: «Весьма досадно это! И для храма плохо. И Каннон позорит. Лучше-ка позаботимся о нем». И по очереди стали кормить самурая. Он ел то, что ему приносили. Но от образа не отходил. Так прошло тридцать семь дней.

Вот минуло тридцать семь дней. И перед рассветом видел самурай сон. Будто бы появился из-за занавески человек и говорит: «Ты не ведаешь о воздаянии за грехи в своем прежнем рождении. Нехорошо роптать на Каннон. Но мне тебя жалко, так что помогу тебе. А сейчас уходи отсюда поскорее. Уходя же, обязательно возьми первое, что под руку подвернется, и держи при себе, не выбрасывай. Уходи же скорее, сейчас же». Так он гнал самурая прочь. Самурай проснулся и отправился к монаху, который обещал накормить его. Поевши, решил уйти, но споткнулся у ворот и упал.

Когда самурай стал с земли подниматься, увидел, что пальцы его сами собой соломинку схватили. И тогда он подумал, что эту соломинку пожаловал ему Будда. Никчемная вещь, подумал он. Но все же, верно, это Будда сам так распорядился. И пошел самурай, вертя соломинкой. А тут овод жужжит, вокруг головы кружит, докучает. Обломил самурай ветку с дерева, отгоняет его. А тот все так же жужжит,

* Из сборника «Удзи сюи моногатари».

надоел совсем. Поймал его самурай, привязал соломинкой за кончик ветки. Овод улететь не может, жужжит, вокруг летает.

А в это время экипаж направлялся в храм Хасэдэра. За бамбуковыми шторами сидел маленький мальчик, очень хорошенький. «А что у этого мужчины за штучка? Попроси-ка, пусть мне отдаст», — сказал он сопровождавшему его верховому слуге. Слуга и говорит: «Эй ты, отдай-ка, что там у тебя! Молодой господин просит». — «Эту вещь пожаловал мне сам Будда. Но раз молодой господин изволит просить, пусть возьмет». И самурай отдал соломинку с оводом. «Этот мужчина — очень добросердечный. Он с легкостью отдал то, что попросил молодой господин», — подумал слуга и подарил ему три завернутых в превосходную бумагу мандарина, сказав: «Съешь-ка, когда в горле пересохнет».

«Вот одна соломинка превратилась сразу в три мандарина», — подумал самурай. Привязал их к ветке, перекинул через плечо и пошел. И вот видит он: тайно путешествует некая знатная дама, окруженная множеством самураев. Дама измучилась в пути и повторяла: «В горле пересохло, дайте пить». Казалось, что дыхание ее вот-вот прервется. Свита была в замешательстве. «Есть ли поблизости вода?» — бегали, кричали и суетились слуги. Но воды нигде не было. «Что же делать, может, на вьючной лошади есть?» — спрашивали они. Но вьючной лошади не было видно — она сильно отстала. Даме же становилось все хуже и хуже. Поднялась настоящая суматоха, дама находилась на пороге смерти.

Самурай увидел, как беспокоятся люди оттого, что у госпожи в горле пересохло. Самурай неспешно приблизился к ним. «Этот мужчина должен знать, где здесь вода. Есть ли в окрестностях питьевая вода?» — спрашивали они. — «Поблизости питьевой воды нигде нет. А в чем, собственно, дело?» — «В пути госпоже стало плохо, пить захотелось, а воды-то и нет. Дело нешуточное, вот мы и спрашиваем». — «Да, вот незадача. Вода далеко, пока наберешь и притащишь, время пройдет. А как насчет этого?» С этими словами самурай подал три мандарина, завернутые в бумагу. Люди обрадовались, зашумели. Дали их госпоже. Съела она их и стала понемногу глаза открывать. «Что случилось?» — спрашивает. «У вас в горле пересохло. Вы говорите: «Дайте воды!» И тут же без чувств упали. Мы воду ищем, а чистой воды и нет. Но здесь самурай оказался, сообразил как беде помочь, подарил три мандарина, и мы дали их вам».

Дама сказала: «Я так пить захотела, что в обморок упала. Помню только, как воды просила. А дальше ничего не помню. Если б не мандарины, умерла бы прямо в поле. Как хорошо, что этот самурай по-

близости оказался. Он здесь еще» — «Здесь», — ответили ей. — «Скажите, чтобы подождал немного. Счастье-то счастьем, да если бы я умерла, как это было бы ужасно! Чем же могу, находясь в чистом поле, отблагодарить этого самурая? Да хоть накормите его. Пусть подождет немного. Когда подойдут выучные лошади, дайте ему поесть». — «Будет исполнено».

Пока ждали, подошли навьюченные корзинами лошади. «Почему так сильно отстали? Лошади с поклажей должны идти впереди. Разве ладно, что они так отстают, что-нибудь нехорошее случиться может!» Поставили шатер, вытащили ширмы, расстелили циновки. «Вода далеко, но вы устали и я хочу обязательно накормить вас». Послали носильщиков, те набрали воды, разложили еду и накормили самурая. Ест он, а сам думает: что же теперь ему достанется за мандарины? Если здесь замешана Каннон, вряд ли просто так дело закончится. Тем временем вытаскивают три штуки хорошего белого полотна. «Передайте тому самураю. Мою благодарность за те мандарины не выразить словами. Но чем еще могу я, находясь в дороге, выразить свое расположение? Возьмите в знак моей признательности. А в столице я живу там-то и там-то. Непременно приходите».

Так получил самурай три штуки полотна. Обрадовался он и думает: вот, одна соломинка превратилась теперь в три штуки полотна. Зажал полотно под мышкой и ушел. Тем день и кончился.

Заночевал самурай в доме одного человека, жившего при дороге. Как рассвело, поднялся вместе с птицами. Тем временем взошло солнце. И в час дракона* повстречал он человека верхом — на неопишимо красивом коне. И так самурая этот конь понравился, что помчался он за ним, не разбирая дороги. Этот конь, верно, тысячу монет стоит! Но тут конь внезапно свалился на землю — вот-вот дух испустит. Хозяин с потеряннм видом слез с него и стоял рядом. В смятении слуги сняли седло, спрашивают: что делать? Но конь умирал скоростижной смертью, хозяин заламывал руки, обезумев от горя — вот-вот заллачет. Но делать нечего, сел на простого коня, какой рядом был.

«Хоть я и здесь, да ничем помочь не могу. Я уезжаю. Ну, а коня куда-нибудь спрячьте». И хозяин уехал, оставив на месте одного простолюдина. Смотрит самурай и думает: а ведь этот конь будет моим, хотя бы и мертвым. Соломинка превратилась в три мандарина. Три мандарина превратились в три куска полотна. А это полотно, само собой, превратится в коня. Подошел поближе и говорит простолюдину: «Что это за конь?» — «Этого коня господину доставили из

* Час дракона — время между 7 и 9 утра.

провинции Муцу*. Десять тысяч охотников желали его купить, платили любую цену. Но хозяин не хотел с ним расставаться. Но вот сегодня он пал, а хозяин не получил ничего. Вот я и думаю: не снять ли мне с него шкуру, да только что я с этой шкурой в дороге буду делать? Вот сижу, присматриваю за ним». — «Неужели? А я вот смотрю — замечательный конь, а пал безвременно. Поистине печальна участь обладающего жизнью. Правда твоя — если в дороге освежете коня, шкуру не выделать. Я-то сам здесь неподалеку живу, смогу шкуру выделывать. Уступи ее мне». И дал простолюдину штуку полотна. Тот подумал: вот нежданный прибыток! Опасаясь, как бы самурай не передумал, как взял полотно, так убежал, не оглядываясь.

А наш самурай выждал несколько времени, помыл руки, обернулся лицом в сторону храма Хасэдэра**, где Каннон находится. «Пусть конь оживет», — молился он. Тем временем конь открыл глаза, поднял голову, привстал. И самурай, поддерживая его, помог ему подняться. Радости его не было предела, но только самурай опасался того, что могут появиться припоздавшие слуги или же тот человек, что был оставлен присматривать за конем. А потому он отвел коня в укромное место и дал ему отдохнуть до времени. Когда же конь поправился, самурай отправился к некоему человеку и поменял одну штуку полотна на уздечку и простое седло. И взобрался на коня.

Отправился самурай в столицу. Когда он переплыл реку Удзи, солнце зашло. На ночь остановился он в доме одного человека и поменял штуку полотна на сено для коня и еду для себя. Как рассвело, он поспешил в столицу. Остановившись возле какого-то дома в районе Девятой улицы на самой окраине города, самурай решительно постучался. Ехать дальше было опасно, поскольку если бы кто-нибудь узнал коня, самураи могли счесть за вора, а потому следовало без лишнего шума коня продать.

И вот самурай подъехал к дому, надеясь, что здесь сыщется покупатель. «Не купите ли коня?» — спросил он. Хозяин оглядел коня, и он понравился ему. Он возбужденно сказал: «Как же быть? Сейчас у меня шелка на покупку коня нет. Может, уступите коня за поле в Тоба? Я еще и риса впридачу дам». Самурай подумал, что это получше шелка будет, но сказал так: «Вообще-то я предпочел бы шелк или деньги. Я ведь все время путешествую — что мне с полем делать? Ну уж так и быть, пусть по вашему будет». Сел покупатель на коня, чтобы испытать его. Хорош конь!

* Провинция на северо-востоке Хонсю, славилась своими конями.

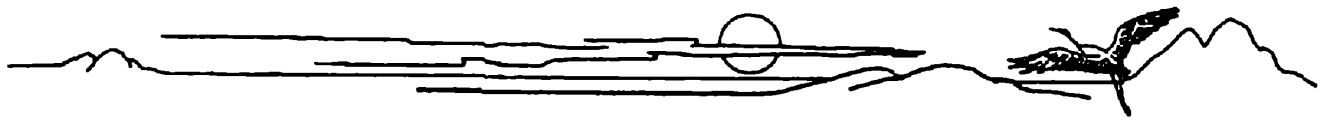
** Имеется в виду храм в Камакура. Считалось, что находящаяся там статуя Каннон обладает особенно чудесной силой.

Вот так получил самурай поле в три тѣ* близ Тоба, несколько риса на корню и в зернах. Отдал ему хозяин и дом, сказав так: «Если живым в столицу вернусь, тогда дом обратно отдашь. А если суждено мне умереть, то и живи тут, как в своем доме. Детей у меня нет, никто и слова против не скажет». С этими словами он покинул столицу.

Перебрался самурай в этот дом, засыпал зерно в амбар. И вот стал он так в одиночестве жить. Еды было вдоволь, нанял он на службу окрестных простолюдинов. Да так и жил.

Однако хватило ему зерна на два месяца. И тогда половину поля отдал самурай возделывать одному человеку. А половину сам засеял. И у того человека урожай неплохой был, а у самого самурая на редкость богатым выдался. Много он рису сжал. И с того времени стал он добро наживать, будто ветер его к нему в дом гнал. И стал самурай очень богат. А про прежнего хозяина больше не слышать было. Так что и дом к самураю отошел. Дети у него народились, потом внуки. Преуспевал он, говорят, необычайно.

* тѣ = 0,9918 га



Слово о воздаянии в этой жизни за веру в Три Сокровища, почитание монахов и чтение сутр*

В девятой луне четвертого года эры Божественной Черепахи** государь Сёму охотился со своей свитой на горе Ямамуре в уезде Соуно Ками. Преследуемый ими олень скрылся в одном крестьянском доме в деревне Хосомэ. Не зная, что к чему, его обитатели убили оленя и съели его. Потом это стало известно государю, и он отправил своих слуг, чтобы они схватили крестьян. Они схватили и мужчин, и женщин, всего числом более десяти. Те дрожали от страха, и некого им было попросить о помощи. Они уповали лишь на божественную силу Трех Сокровищ — она одна могла помочь им в беде.

Услышав, что статуя Будды высотой в один дзё и шесть сяку*** из храма Дайандзи часто откликается на молитвы, они послали некоего человека в храм и попросили монахов читать сутры. И еще они просили так: «Когда нас поведут к чиновникам, откройте южные ворота храма, чтобы мы могли с жаром возносить молитвы. И просим еще: когда нас приведут в государев дворец, звоните в колокол».

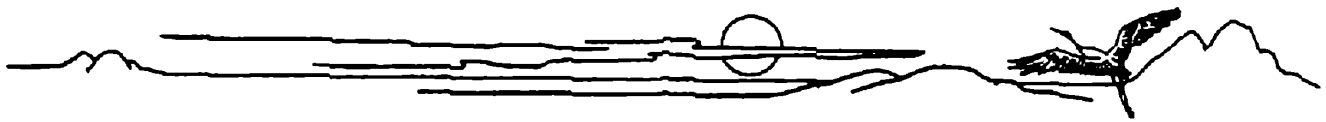
Монахи сделали так, как их просили: звонили в колокол, читали сутры и открыли ворота, чтобы крестьяне могли молиться. В сопровождении государевых слуг их повели во дворец. Их заточили в комнату для стражников. И в это время родился принц. Государь возрадовался и всех преступников в Поднебесной помиловал, наказывать не стал. Вместо этого чиновники раздавали людям подарки, и ликованию не было конца.

Верно говорю — крестьян помиловали благодаря заступничеству статуи и добротворящему чтению сутр.

* Из сборника «Нихон рёики».

** 729 г.

*** 1 дзё = 10 сяку; 1 сяку = 30,3 см.



Слово о том, как бодхисаттва Мёкэн чудесным образом обернулся оленем и указал на вора *

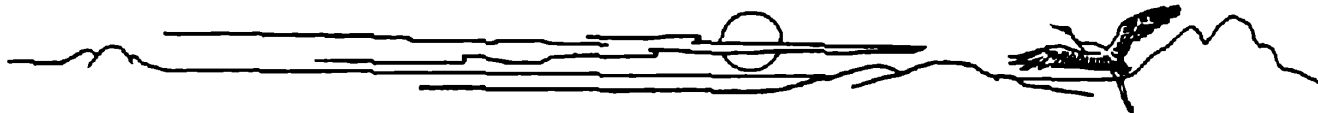
В уезде Асука провинции Кавати был горный храм Сидэхара. Здесь совершали приношения светильниками бодхисаттве Мёкэн. Их доставляли сюда каждый год из внутренних провинций.

Однажды в правление государыни Абэ ** община верующих, как обычно, преподнесла светильники бодхисаттве, а также одарила монахов храма. И тогда ученик одного монаха похитил пять мер монет из числа принесенных и спрятал их. Позднее он вернулся, чтобы забрать их, но денег не обнаружил. На том месте лежал только мертвый олень с вонзенной в него стрелой. Тогда ученик отправился в село возле храма Иноуэ, чтобы позвать кого-нибудь помочь принести тушу. Когда же он привел людей на место, там не было оленя, но только пять мер монет. Так обнаружили вора.

Верно говорю — то был не олень, но воплощение бодхисаттвы. Такие вот чудеса.

* Из сборника «Нихон рёики».

** Взошла на трон дважды под именами Кокэн (749–758) и Сётоку (764–770).



Урасима Таро*

В старину в провинции Танго жил человек по имени Урасима. Его сына звали Урасима Таро, это был мужчина лет двадцати четырех-двадцати пяти. С рассвета до заката он ловил рыбу и тем кормил отца с матерью. Вот однажды он отправился рыбачить. Бухта за бухтой, остров за островом, залив за заливом — не было места, куда бы он ни заплыл. Он ловил рыбу, собирал раковины, срезал водоросли. И вот у берега Эносима он поймал на удочку черепаху. Урасима Таро сказал черепахе: «Журавль достигает возраста в тысячу лет, а черепаха в десять тысяч лет. У тебя долгая жизнь и так жаль лишать тебя ее. Я пожалею тебя. Помни о моей доброте!»

Урасима Таро отпустил черепаху в ее родное море.

День уже клонился к закату, поэтому Урасима Таро решил домой не возвращаться, а утром на следующий день отправиться в сторону бухты и там поудить. Вдали на поверхности моря плыла маленькая лодка. Урасима Таро долго вглядывался. Удивительно: в лодке, что покачивалась на волнах, сидела красавица, совершенно одна. Немного погодя лодка причалила к тому месту, где стоял Таро. Урасима Таро спросил: «Кто ты? Как могло случиться, что ты оказалась в лодке одна? Неужели море не страшит тебя?»

Женщина ответила: «Я плыла вместе с другими на корабле, но неожиданно разыгралась буря, поднялись волны, задул ветер. Многие утонули. Но нашлись добрые люди, они посадили меня в эту лодку. Страшно подумать, ведь я могла бы попасть на Остров демонов! Я не знала, куда плыву, и вот сейчас встретила человека! Это предопределение из прежних жизней! Даже если родишься тигром или волком — сохранишь эту связь!» Она зарыдала.

Урасима Таро пожалел ее — ведь не каменный же он, не деревянный! Он бросил ей веревку, подтащил лодку к берегу.

Женщина сказала: «Проводи меня, несчастную, в родную сторону. Не оставляй меня здесь, я не знаю, куда идти, что делать. Покинуть меня здесь — все равно что бросить в море!»

Она горько плакала.

* Из сборника «Отоги-дзоси».

Урасима пожалел ее, они вместе сели в его лодку и на веслах вышли в открытое море. Женщина поведала, что через десять дней плаванья они причалят к ее родному берегу. Урасима Таро гадал, что это за земля, куда они плывут? И вот они причалили к серебряной ограде. Урасима увидел дворцы и ворота, крытые золотой черепицей. Даже великолепные жилища небожителей не сравнятся с этими! А дворец, в котором жила женщина просто невозможно описать словами.

— Если укрылись в тени одного дерева, если черпали воду из потока одной реки — все это связь из прошлых жизней. А ты, провожая, проделал вместе со мной долгую дорогу по волнам. Конечно, это предопределение из прежних существований. А раз так, какие бы горести не случились, дадим клятву супругов и станем вместе коротать рассветы и закаты, — сказала женщина, и слова ее были от самого сердца.

Урасима Таро ответил: «Что ж, пусть будет так, как ты говоришь».

Они дали друг другу глубокую клятву, что вместе состарятся и будут вместе похоронены. «Так быть вместе навеки, чтоб нам в небесах птиц четой неразлучной летать. Так быть вместе навеки, чтоб нам на земле раздвоенною веткой расти», — сказали они, произнося глубокую клятву уток-неразлучниц. И так стали вместе коротать рассветы и закаты.

Как-то женщина рассказала: «Это место называется Дворец дракона, здесь можно увидеть травы и деревья сразу четырех времен года. Хочешь посмотреть?»

Они вышли в сад.

Сначала они открыли дверь на восток и посмотрели: они увидели весенний пейзаж. Слива и сакура в полном цвету, ветви плакучей ивы колышутся на весеннем ветру, из легкого тумана, где-то под крышей, раздается голос камышовки. Все ветви деревьев усыпаны цветами.

Когда посмотрели в сторону юга, то увидели летний пейзаж. От весны его отделяла живая изгородь из цветущего кустарника дейции зубчатой. Лотосы в пруду, а в росе, в освежающей мелкой ряби у кромки берега резвится множество птиц. Деревья густо покрыты новыми побегами. В воздухе висит стрекот цикад. Когда спускается вечер, в разрывах облаков кукует кукушка, давая понять, что пришло лето.

На западе — осень. Везде на ветвях красные листья, за низкими плетеными изгородями — белые хризантемы, на краю окутанных туманом полей покрыты росой кустарники двуцветной леспедецы. Звук мрачных оленьих голосов дает понять, что это настоящая осень.

И, наконец, если посмотреть на север, то там виден зимний пейзаж. Ветви увяли, первый иней покрыл опавшие листья, горы — в белых нарядах. У входа в долину, занесенную снегом, чуть заметен одинокий дымок печи для обжига угля. Да, таким бывает лишь зимний пейзаж.

Сердце Урасима Таро радовалось тем необыкновенным вещам, что ему довелось увидеть, трепетало при виде цветов. Рассветы сменяли закаты, шли годы и месяцы. Незаметно минуло три года.

Как-то Урасима Таро сказал: «Ты когда-то говорила мне о тридцати днях. Когда я покидал отца с матерью на родине, думал, что уйду совсем ненадолго, а прошло уже три года. Наверняка, отец с матерью беспокоятся обо мне. Хочу поехать навестить их, успокоить».

— Три года мы были вместе, как утки-неразлучницы, делили ложе, дав клятву вечной любви. Три года прошли как миг, и все же ты говоришь, что твое сердце неспокойно. Если теперь расстанемся, доведется ли свидеться вновь! Говорят, что связь супругов сохраняется на две жизни. Что ж, пусть в этой жизни наша связь была мимолетной, как сон, но в будущей жизни родимся на одном цветке лотоса», — сказала женщина и горько заплакала.

Потом она продолжила: «Хочу сказать еще: я кое-что от тебя скрыла. Знай, я — черепаха из этого Замка дракона. Ты спас мне жизнь у берега Эносима и сказал, чтобы я отплатила тебе за добро, вот мы и стали супругами. Вот это, посмотри, мой прощальный подарок тебе, — из левого рукава она вытащила красивую шкатулку. — Никогда не открывай этой шкатулки!» — сказала она и протянула ему.

Говорят, встретившиеся расстаются. Это надо понимать так, что те, кто встретился, обязательно расстанутся. И все же, это всегда тяжело.

Женщина прочла:

Ушел год за годом,
Когда коротали мы ночи
С тобою вдвоем.
Теперь расстаемся. Как жалы
Когда повстречаться придется?

Урасима ответил:

И вот — расстаемся.
Сказать не могу, как печально!
Но клятва, что дали
С тобой мы, она глубока.
Я знаю, мы встретимся вновь!

Обоим было жаль расстаться, но Урасима Таро не мог остаться. Что ж, он взял шкатулку — прощальный подарок — и отправился в родные края. Он никак не мог забыть о черепахе, и всю обратную дорогу, преодолевая долгий путь по волнам, думал о ней. Урасима Таро сочинил:

Поклялся любить я,
И облика женщины той,
Которой поклялся,
Забыть ни на миг не могу.
Что делать? О, горечь разлуки!

И вот Урасима вернулся в родные места. Огляделся. Кругом — равнина, с которой исчезли даже следы человека, живут на ней лишь тигры. Урасима, увидев это, подумал: «Как странно!» Когда он посмотрел по сторонам, увидел хижину из хвороста. Он подошел.

— Есть здесь кто-нибудь?

Из хижины вышел старик лет восьмидесяти.

— Кто здесь?

Урасима спросил:

— Не знаешь ли, где Урасима, что здесь жили?

В ответ старик сказал так:

— Не знаю, кто ты. Очень странно, что ты спрашиваешь, где Урасима. Говорят, эти Урасима жили здесь лет семьсот назад.

Таро очень удивился, снова подумал: «Как странно!» — и рассказал старику свою историю, все, как было. Старик тоже подумал: «Как странно!» — у него текли слезы, он сказал, указывая пальцем:

— Посмотри, там старый могильный холм и старый надгробный памятник. Говорят, это могила тех самых людей.

Таро, плача и плача, пересек равнину с густой росистой травой, подошел к старому могильному холму, и, проливая слезы, сложил:

Ушел ненадолго,
Теперь возвращаюсь домой.
Кругом осмотрелся:
Равнина, где тигры живут.
О, как не грустить мне! Печально!

Урасима Таро сел в тени сосны, он был крайне изумлен. Тут он вспомнил о шкатулке, прощальном подарке черепахи. Она велела ни за что не открывать шкатулку, но теперь он решил открыть ее.

Когда он открыл шкатулку, из нее тремя ниточками поднялось фиолетовое облако. Урасима увидел это и мгновенно постарел, от его молодости не осталось и следа.

Потом Урасима превратился в журавля и взлетел в небо. Выходит, годы Урасимы по распоряжению черепахи были заперты в шкатулке. Поэтому-то он и прожил семьсот лет. Ему было сказано не открывать шкатулку. Как досадно, что он не послушался!

Ради ночи любви
Урасиме шкатулку дала,
Но открыл он ее,
Пренебрег он советом моим.
Мои слезы об этом. Как жалы!

Есть такое стихотворение.

Не все живые существа безжалостны, но люди, которые видят добро, и не помнят добра, подобны деревяшкам и камням. Говорят, что сострадательные супруги дают клятву на две жизни. Это, воистину, желанно. Урасима стал журавлем на горе Хорай*. Черепаха же под своим панцирем прожила десять тысяч лет.

Когда нужен пример того, что радостно, рассказывают о журавле и черепахе. Людям говорят: будьте сострадательны, ведь сострадательный человек в будущем обретет счастье. Урасима Таро явился милостивым божеством Урасима в Танго, спасает души людей. Черепаха тоже стала в том же самом месте божеством — покровителем супругов. Это пример того, чему радуются!

* Гора на острове, где обитают бессмертные.

Рыба, как я уже говорил, имела колоссальное значение в обеспечении населения архипелага пищевыми ресурсами. Но вот значимость рыбы в японской «духовной» культуре — намного меньше, чем можно было бы ожидать. Дело в том, что культура, которую мы называем «японской» — это культура земледельцев, которые считали рыбаков людьми второсортными. Потому-то земледельцы и их правители мало интересовались рыбаками, японские писатели тоже почти не писали о них. Правда, торговцы рыбой становились предметом изображения и насмешек. Сами же рыбаки плохо владели грамотой и предпочитали передавать свои верования и рассказы устно. Так сложилось, что морскую рыбу в Японии ели весьма охотно, но общенациональных символов из нее не получилось. Символами стали пресноводные рыбы — карп и сом, например. В более позднее время к ним добавились золотые рыбки, прародители которых тоже плавали в недосоленной богами воде.

Карп

Карп считался в Японии рыбой особой. Когда обитатели далекого от моря средневекового Киото говорили просто «рыба», они всегда имели в виду именно пресноводного карпа. По своему вкусу, а главное по связям с национальными обрядами и особому отношению к персоне императора, карп занимал исключительное положение. Кэнко-хоси с иронией и почтением свидетельствовал: «В тот день, когда мы едим суп из карпа, наши волосы не бывают растрепаны. Это очень липкая рыба — ведь из нее делают клей. Карп очень благороден, так как из всех рыб только одного карпа можно разделять в высочайшем присутствии» (перевод В. Н. Горегляда).

Дело в том, что поведение японского императора определялось множеством обычаев и табу. Так, в частности, императору не было разрешено видеть (не путать с кушать!) умерщвление живых существ. Но, как мы видим, карп оказался исключением.

Среди океанских рыб в старину больше всего ценился морской окунь, карп считался «королем» пресноводных. До сих пор карп является украшением изысканного праздничного стола. Причем зачастую слово «украшение» следует понимается буквально, поскольку в продолговатой тарелке выставляется тушка только что выпотрошенного карпа, который смотрится совершенно живым. Время от времени этому карпу наливают в рот несколько капель сакэ, от чего он начинает шевелить губами. Чувствительным европейцам такая трапеза кажется малоприятным варварством, однако многие японцы находят это шевеление вполне забавным и приличествующим празднику. Что до блюд, приготовленных из карпа, то их принято подавать в самом конце — перед уходом гости должны отведать самое вкусное и самое «благопожелательное».

Японцам слово «карп» нравилось и фонетически. Дело в том, что *кои* — это не только карп, но еще и «любовь». Связь «любви» с «карпом» имеет и легендарные основания. Мифологическо-летописный свод «Нихон сёки» сообщает, что государь Кэйко (71—130) решил взять в жены девушку по имени Отохимэ и отправился к ней домой. «А Отохимэ, прослышав о государевом выезде, спряталась в бамбуковых зарослях. Тогда государь, желая, чтобы она пришла, поселился во дворце Кукури-но Мия. Он пустил плавать в пруду карпа и утром и вечером смотрел на него и забавлялся. Отохимэ решила посмотреть на резвящегося карпа, прокралась потихоньку поближе и стала смотреть на пруд. Государь тут же удержал ее и призвал к себе» (перевод Л. М. Ермаковой).

То есть получается, что карп выступает в этой легенде как некое приворотное средство.

Как это ни странно на наш русский взгляд, но карп на Дальнем Востоке считается годным не только на жаркое. Он олицетворяет собой стойкость и мужество. Поэтому любители татуировок часто изображали его на своем теле (нечто вроде орла в европейской татуировочной традиции). Вслед за китайцами японцы верили, что карп умеет очень ловко плавать против течения и даже преодолевать пороги. Это любимый мотив японской и китайской живописи. Поднявшись же к самым истокам горной реки, он превращается там в дракона. Средневековая легенда повествует также о том, что в древние времена, когда императрица Дзингу предприняла поход против Кореи, карп выпрыгнул из вод пролива и указал ей верный путь.

Мужество и хладнокровие, приписываемое карпу, имеет бытовые и легендарные основания. Японцы обратили внимание на

то что, в отличие от других рыб, карп совершенно бесстрастно ожидает своей участи на разделочном столе. Этот стоицизм был настолько почитаем, что именно карп стал символом «праздника мальчиков» (некое подобие обряда инициации), который отмечался пятого дня пятой луны, а ныне — просто 5-го мая. Над домами полагалось поднимать на шестах матерчатые или бумажные изображения карпов — *коинобори*, которые, будучи полыми, мужественно развевались на ветру к полному удовольствию их изготовителей. Сколько в доме мальчиков, столько должно быть и коинобори. И чем выше реет карп, тем более высокого положения достигнет в будущем мальчик. Для достижения успехов в жизни мальчик должен был предварительно пролезть сквозь матерчатого карпа. Самурайские традиции средневековья живы и сейчас: в день праздника мальчикам полагается дарить куклу — самурая в полном воинском облачении.

Кроме того, следует помнить, что праздник мальчиков — это праздник будущих мужчин, то есть он связан и со способностью к детопроизводству. Учитывая сказанное о связи карпа с любовными похождениями Кэйко, можно сделать такой вывод: карп и его изображение в виде коинобори являются и фаллическими символами тоже. Это подтверждается и другим, еще более древним обычаем: пятого дня пятой луны полагалось вырывать с корнями ирисы — чтобы потом хвастаться, у кого этот ирис длиннее, а луковица — толще. Интересно, что первоначально в Китае пятый день пятой луны считался чуть ли не самым опасным и несчастливым во всем году и ему сопутствовали различные ритуалы магии оберегающей и прогоняющей злых духов. Например, сожжение кукол, сверченных из полыни. Однако со временем этот день превратился в настоящий праздник ожидания будущих успехов. Теперь этот день объявлен в Японии общенациональным праздником и выходным, то есть днем во всех отношениях замечательным не только для мальчишек, но и всех остальных, включая даже девчонок. Вот такая получилась политкорректность на японский манер.

В настоящее время почти в каждом прихрамовом пруду можно увидеть резвящихся разноцветных карпов (белых, красных, синих и т. д.). Первоначально это было связано с буддийским ритуалом отпущения на волю живых существ — сначала их ловили торговцы, а потом покупали ревнители заповедей. Рядом с прудом обычно можно купить и корм, чем непременно пользуются посетители храмов. Так что японские карпы не только очень красивы, но и отменно упитанны.

Еще одна рыба, с которой связаны верования японцев, тоже водится исключительно в пресной воде. Вернее, всюду она водится в пресной воде, но в Японии она живет и в реке, и в море. Эта рыба — сом. Японцы верили, что, двигая своим хвостом и усатой головой, сом вызывает землетрясения. Это убеждение имеет определенные ихтиологические основания: эксперименты показали, что несмотря на свой несколько «снудый» вид, сом оказался почти чемпионом чувствительности. В 80 процентах случаев поведение сома перед землетрясениями резко менялось. Однако чувствовать еще не означает вызывать...

Япония, как известно, расположена в исключительно сейсмоопасной зоне, и землетрясения там случаются практически каждый день. Настолько часто, что толчки балла в три, от которых раскачивается люстра, даже не становятся предметом для кухонных пересудов. Другое дело — настоящее землетрясение. Таким было землетрясение 1 сентября 1923 года, случившееся в районе Токио, жертвами которого пало около ста тысяч человек. В этот день было уничтожено шестьдесят четыре процента жилого фонда Токио. Сила толчков составила 7,9 балла. Высказывались мнения о необходимости переноса столицы. «Под шумок» националисты и полиция нападали на корейцев, по некоторым данным погибло около шести тысяч человек, среди невинно убитых оказались и анархисты с социалистами.

Нынешние японцы живут, зная, что ужасное землетрясение может случиться в любой момент. Несмотря на колоссальные

усилия ученых, предсказывать землетрясения они пока что не умеют. А уж тем более предотвращать их. Поэтому рядовые японцы проводят регулярные тренировки (их пик приходится на годовщину землетрясения 1923 года), запасают воду, консервы, веревки и дизельные движки. У всех в памяти жуткое землетрясение 1995 года, унесшее жизни около пяти тысяч человек. Оно поразило крупнейшие города страны — Осака, и, в особенности, — Кобэ. Его последствия не ликвидированы до сих пор. Несмотря на прошедшие годы, многие люди до сих пор продолжают существовать в бараках: от этого вида стихийного бедствия не страхуют, и потому стоимость разрушенной недвижимости может быть компенсирована только домовладельцами. А недвижимость эта покупалась, между прочим, в долг, который еще отдать нужно перед тем, как снова строиться.

Первое мое землетрясение застало меня в студенческом общежитии подтокийского университета Токай 7 февраля 1974 года. Как и положено молодому человеку в свой день рождения, он (т. е. я) выпивал со своими друзьями — такими же новоиспеченными выпускниками МГУ, присланными на стажировку. Нам тогда очень нравился итальянский «Вермут», время для которого в советском быту еще не настало. Тот «Вермут», которым торговали в московских гастрономах, отличался от других видов бормотухи только этикеткой, и интенсивность же головной боли после его приема была такой же. В общем, нравился нам итальянский вермут, купленный в Японии. Вкус — отменный, кайф — ненавязчивый. И тут, находясь в чудесном настроении, я вдруг с ужасом почувствовал, как меня резко повело — потолок и стены поехали в сторону. «Снова обманули!» — горько подумал я, имея в виду, что никаких тяжелых последствий от приема этого напитка реклама не обещала. И тут увидел перекосившиеся лица моих товарищей. Потом они признавались, что в мыслях у них было то же, что и у меня. Типа: «Все, допился!» А оказалось все гораздо прозаичнее — обычное землетрясение в 4 балла.

Однако в древности, похоже, землетрясения не слишком волновали японцев. По той причине, что землетрясение наносит

главный ущерб тем людям, которые проживают в городах. Вот там-то они и погибают: под обломками зданий, задыхаясь в дыму пожаров. Но такие условия жизни — реалии не столь давнего времени. В древности же городов было ничтожно мало, большинство из них напоминало большие деревни: высоких зданий, за исключением буддийских храмов, не было. Мало было и водохранилищ, разрушение которых приводит к затоплению селений.

Японское древнее государство VIII—IX веков было социально ориентированным, и в случае недорода открывало свои рисовые амбары для нуждающихся. Самая частая причина неурожая, сколь странным это бы ни показалось, — засуха. Это сейчас построены дамбы, плотины и водохранилища, которые полны водой. Во времена стародавние таких сооружений было мало, и потому летняя жара, от которой пересыхают короткие и мелкие японские речки, имела катастрофические последствия. А вот землетрясения, за исключением каких-то уж совсем немыслимых случаев, никакой особой опасности не представляли. Ну, несколько домов повалит, фонарь масляный опрокинет — жилище у кого-то сгорит... А на соседний дом пламень не успеет перекинуться, потому что не вплитык стоит. Так, мелочь, в масштабах страны не слишком заметная.

Однако люди при дворе императора землетрясений все равно боялись. Но не из-за возможного ущерба, а потому, что в соответствии с китайской политической наукой содрогание земли указывало на скорые беды правящему дому — болезнь или смерть кого-то из семьи императора или же вульгарный заговор. К людям не столь приближенным к особе правителя эти опасения особого отношения не имели.

Но вот когда население страны выросло, и японцы стали жить кучнее, тогда и появился настоящий массовый ужас перед землетрясениями. Так что настоящая социальная история японских землетрясений начинается сравнительно недавно.

Убежденность в то, что именно сом является причиной землетрясений отмечается с XVII столетия. Но еще намного раньше сому стали приписывать особые свойства. Так, в средневековом сборнике рассказов «Удзи сюи моногатари» говорится о том, что употребление сома в пищу — опасно (кость встает в горле едока, и он умирает). Да и является этот сом вовсе не по-рыбьи, а с крыши храма под аккомпанемент ураганного ветра с ливнем. То есть японцы связывали с этой рыбой крупные неприятности.

Вера в связь сома с землетрясениями родилась в святилище Касима, расположенном в современной префектуре Ибараки. В

этом святилище первоначально почитались божества грома, а также боги, «ответственные» за благополучное судоходство. Поскольку в древности святилище Касима располагалось в «прифронтовой зоне», откуда японцы предпринимали походы против эмиси (предки айнов), то этим божествам стали приписывать и военные функции. Однако главной достопримечательностью Касима остается камень, расположенный на территории святилища. Камень, надо сказать, совсем небольшой (около 25 сантиметров в диаметре, возвышается над землей на 10–15 сантиметров), но японцы верили в чудодейственные свойства камней вне зависимости от их размера. Камень в Касима не оказался исключением. На схематической карте Японии 1624 года изображен дракон, обвивающий своим телом страну. Эта карта носит название «Карта землетрясений Великой Японии». Считалось, что своими телодвижениями дракон вызывает землетрясения. На картах этого типа довольно часто рисовался и камень из святилища Касима. Японцы полагали, что с помощью этого камня можно разбить голову дракона и тем самым избавиться от бедствия. Несколько позднее, когда ответственность за землетрясения пала уже на сома, стали думать, что камень из Касима своей тяжестью придавливает сома так, что он не может двигаться и вызывать трясение земли. Это убеждение отражено в народной песне:

Пусть дрожит земля —
Пока бог Касима здесь,
Камню нашему на месте быть!

Наиболее зримо эта вера проявилась сразу после разрушительного землетрясения в десятой луне 1855 года (так называемое «землетрясение годов Ансэй» — «мирное правление»), когда были выпущены картинки, живописующие ужасы землетря-

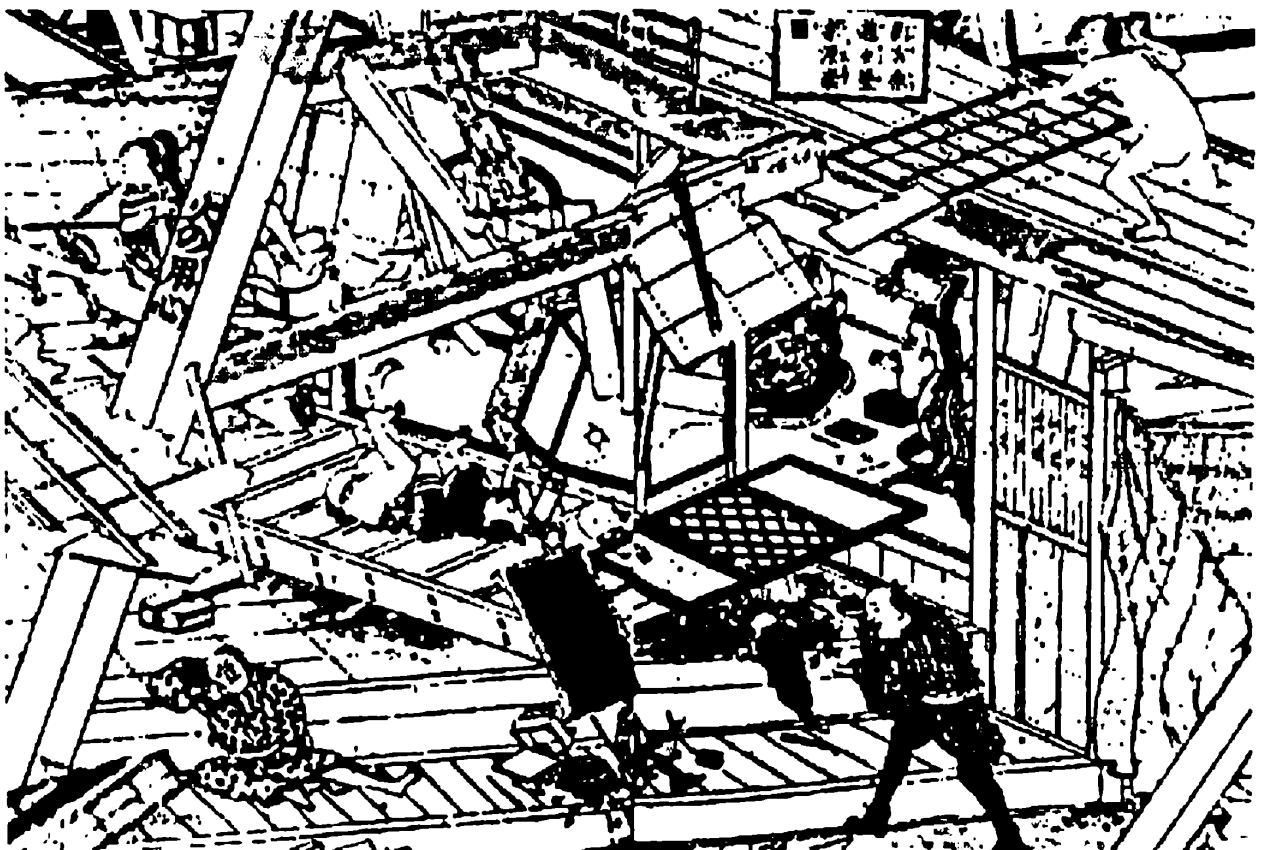


Сом и святилище Касима

сения. Эти картинки получили название *намадзу-э* — «картинки с сомом».

Дата землетрясения произвела на японцев особенно сильное впечатление. Дело в том, что десятая луна традиционно считалась временем, когда все синтоистские божества отправляются на свой «съезд» в провинции Идзумо (префектура Симанэ). Оттого-то этот месяц и называют люди *каннадзуки* — «безбожным». Таким образом, когда божества Касима отправились в «командировку», сом воспользовался их отсутствием для нанесения страшного удара своим хвостом, в результате которого, по оценкам источников того времени, погибло более ста тысяч человек, правда, современные исследователи находят эту цифру сильным преувеличением.

Но, похоже, не всех японцев землетрясение привело в ужас. Бедствие воспринималось ими как небесная кара, направленная против владельцев сокровищ, нажитых бесчестным путем. Действительность давала определенные основания для такого заключения: ведь наибольшие потери в абсолютном исчислении понесли именно богатеи... А потому многие полагали, что вслед за бедствием наступит коренное улучшение их быта, ибо землетрясение якобы разрушает не только города, но и условия, когда одним — все, а другим — ничего. Для этих людей землетрясение было



Землетрясение годов Ансэй

«исправлением, обновлением жизни» — *ё-наоси*. Поэтому-то и на картинках *намадзу-э* часто изображались ликующие люди (неудивительно, что правительство приняло все меры для конфискации тиражей). Так находила выход завистливая энергия масс, которая, однако, к «настоящим» революциям не приводила. Так что если бы и моя родная сторона находилась в сейсмоопасной зоне, глядишь, и революционные порывы типа «взять все да и поделить» случались бы пореже. Может быть.

И уж совсем смешным выглядит еще одно объяснение причин землетрясения. На одной из картинок в уста (усы?) сому вкладываются такие слова: хотел я, мол, по Америке хвостом ударить, да только по ошибке в Японию угодил. Японцы были возмущены действиями американского командора Перри, который потребовал открытия Японии для развития взаимовыгодных торговых отношений. Не рыба сом получается, а какой-то неудачливый террорист.

Золотая рыбка — существо довольно живучее. Она не так требовательна к условиям своего содержания и не слишком болезненна по сравнению со своими современными аквариумными собратьями, очень многие из которых ведут свою родословную из теплых тропических вод. Но, тем не менее, японцы считают золотую рыбку символом слабости и хрупкости.

История выращивания золотых рыбок в Японии насчитывает уже пять столетий. Золотая рыбка занимает в японской культуре совершенно уникальное место — в том смысле, что золотых рыбок, в отличие от всех других мыслимых пород рыб, не подают к столу. Они предназначены исключительно для любования.

Золотых рыбок стали выращивать в Китае полторы тысячи лет назад. Тогда под влиянием буддизма входит в моду обычай выпуска живых существ на волю. Как я уже говорил, он заключался в том, что в специально устроенные при буддийских храмах пруды отпускали пойманных ранее рыб. Попадал в пруды и так называемый китайский золотой карась (*Carassius auratus*), привлекавший золотом своего окраса древних натуралистов. В результате естественной гибридизации, а затем и целенаправленного разведения была получена «золотая рыбка», которая, однако, отличается от предшественников красноватым цветом чешуи.

Существует огромное количество видов золотых рыбок (только основных видов, не говоря уже о подвидах, насчитывается не меньше пятнадцати). Если европейцы потратили много сил и времени, чтобы вывести диких пород птиц, собак и кошек, то японцы с китайцами с неменьшим энтузиазмом занимались

выведением новых пород золотых рыбок.

Вот описание процесса появления одной из пород. В резервуар с водой помещают рыбок, а поверхность воды закрывают деревянной крышкой, оставив в нем только одно маленькое отверстие. Рыбки, естественно, ищут его, чтобы получить хоть немного солнечного света. У наиболее биологически гибких рыб глаза буквально «вылезают на лоб», что передается и их



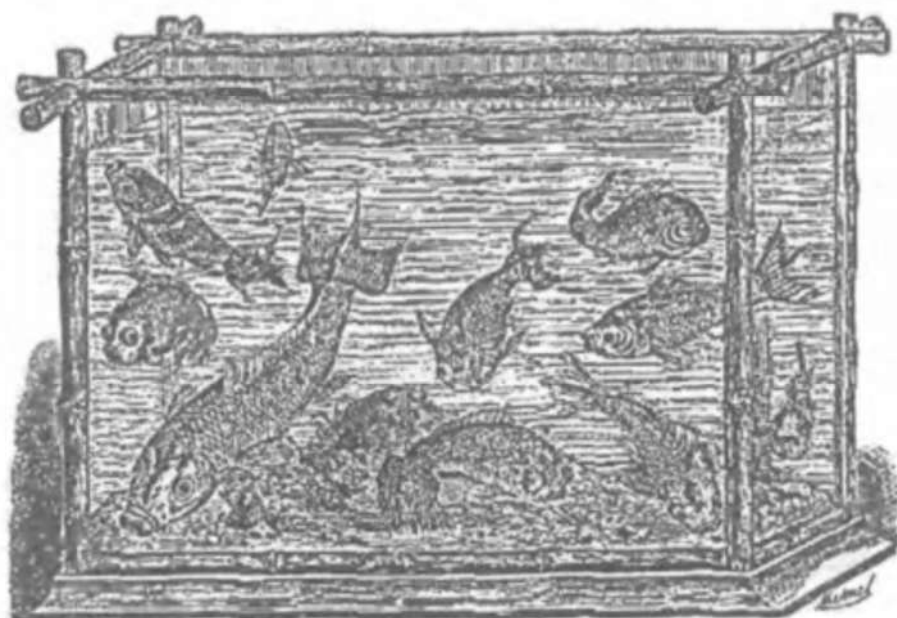
потомству. То есть получается золотая рыбка с выпученными глазами, как бы вытянувшимися по направлению к небу. В Европе эта диковинная порода получила название «звездочета».

В Японию золотые рыбки были впервые завезены из Китая в 1502 году, но в стране, раздираемой гражданскими войнами, не находилось много охотников содержать их в качестве твари, совершенно бесполезной с точки зрения обыденной калорийности. Так что в XVI веке золотые рыбки в Японии не прижились. Повторно золотые рыбки попали на архипелаг уже в начале XVII века, когда в стране наступил мир, и там уже находилось некоторое количество европейцев, весьма охочих до всяческих диковинок. И, как показывает дневник англичанина Ричарда Кока, который был главой британской фактории в Хирадо на Кюсю, даже дарили их японцам ради поддержания дружественных отношений.

«7 марта 1616 года. Узнав про то, что у меня есть золотые рыбки, Тономо, младший брат Мацуура Таданобу, князя Хирадо, прислал ко мне человека с просьбой дать их и ему тоже. Я подарил нескольких рыбок Тономо, а в ответ он подарил мне черную собаку».

«19 июня 1616 года. Мацуура Таданобу, князь Хирадо, попросил, чтобы я дал ему двух золотых рыбок. Мне было жаль расставаться с подарком моего знакомого капитана из Китая, но поскольку я уже подарил рыбок младшему брату князя, мне ничего не оставалось сделать, как только откликнуться на его просьбу».

Япония стала страной закрытой, но Китай был закрыт еще больше. Китайцы всегда считали себя выше всех «варваров» и не



Японский аквариум. С гравюры сер. XIX в.

считали нужным пропагандировать свои достижения. И так получилось, что обстоятельное знакомство европейцев с золотыми рыбками произошло через японцев. Потому и названия пород золотых рыбок в европейских языках имеют не китайское, а японское происхождение. Тот же самый «звездочет» имеет альтернативное научное название «шотенган» — искаженное от японского *сётэнган*, т. е. золотая рыбка с обращенными к небу глазами.

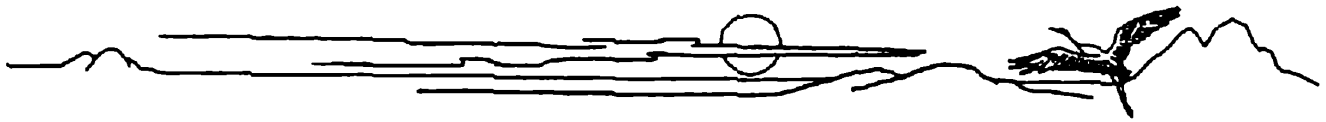
И каратэ, и дзен-буддизм, и бонсай — изобретения китайские. Однако японских заимствований в европейских языках больше, чем китайских. Можно говорить о том, что пиццевод японской культуры очень физиологично устроен — на выходе получается лучше, чем на входе. Но вообще-то это оттого происходит, что японцы за последние столетия научились хвастаться лучше китайцев.

Когда в 1274 году монголы напали на японцев в первый раз, то последние были очень возмущены невоспитанностью первых. Вот, предстоит битва, японский воин выезжает на своем коне и произносит такой монолог: «Я — Дзиро Тахасигэ, правнук Нагасаки, в монашестве Энги, из рода Такатоки, бывшего правителем в Сагами, потомка в тринадцатом колене Садамори — главы рода Тайра, потомка в третьем поколении принца Кацурабара — пятого сына...»

И тут из-за кустов монгольская стрела вылетает и — бац! — прямо в сердце.

Поэтому, когда монголы в 1281 году напали на японцев во второй раз, со стороны самураев никакой похвалы уже не наблюдалось. Они оставили ее для гражданских войн.

В конце XVII века в Эдо появились магазины, специализировавшиеся на торговле золотыми рыбками. Они стоили весьма дорого. Знаменитый бытописатель этих времен Ихара Сайкаку сообщает, что за одну рыбку размером около 30 сантиметров провинциальные самураи, желавшие привести на родину нечто выдающееся, платили цену, эквивалентную стоимости 5—7 коку риса (1 коку риса весит около 150 килограммов).



Слово о рыбах, которыми хотел полакомиться монах и которые обернулись «Сутрой лотоса», дабы защитить его от мирян*

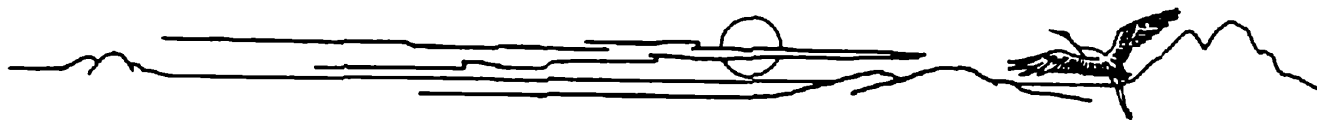
На горе Ёсино стоял храм. Он назывался Амабэ-но Минэ. В правление государыни Абэ в этом горном храме жил досточтимый монах. Он ревностно шествовал путем Будды. Когда тело его устало и силы покинули его, так что он не мог ни встать, ни сесть, ему захотелось поесть рыбы. Он сказал ученику: «Хочу рыбы. Принеси и напитаю меня». Ученик выслушал его, отправился на берег моря в провинции Кии, купил там восемь свежих кефалей, положил их в ящичек и пошел обратно.

По дороге он встретил трех знакомых ему дарителей храма. Они спросили: «Что ты несешь?» Отрок отвечал: «Это «Сутра Лотоса». Но из ящика капала вода и пахло рыбой. Миряне усомнились, что там сутра. Вскоре они расположились на отдых неподалеку от рынка Ути, что в провинции Ямато. Миряне настаивали: «У тебя не сутра, а рыба». Отрок отвечал: «Это не рыба, а сутра». Тогда миряне заставили его открыть ящик. Справиться с ними отрок не смог. Когда открыли ящик, там оказалось восемь свитков «Сутры лотоса». Увидев сутру, миряне испугались и скрылись в недоумении.

Один из мирян затаил подозрение, и, желая узнать истину, незаметно прокрался вслед за учеником. Отрок же пришел в храм и рассказал учителю все как есть. Выслушав его, монах удивился и возликовал — ведь само Небо защитило его. Потом монах съел рыбу. Тогда увидевший это мирянин распростерся на земле и сказал монаху: «Даже рыба превратилась в «Сутру лотоса» — ведь она предназначалась святому. Я глуп и зол, не знаю закона кармы, доставляю людям беспокойства и страдания. Прошу тебя: отпусти мне грехи. Теперь я буду почитать тебя за своего учителя, стану преклоняться перед тобой и совершать приношения». После случившегося он стал главным дарителем храма и совершал монаху приношения.

Верно говорю — закон Будды спасает тело. Что до еды, то даже яд он превращает в сладкую росу, даже поедание рыбы грехом не становится. Рыба превращается в сутру, Небо откликается, Путь приходит в порядок. Случаются и такие вот чудеса.

* Из сборника «Нихон рёики».



Про то, как настоятель храма Идзумо убил отца, хотя и знал, что он превратился в сома*

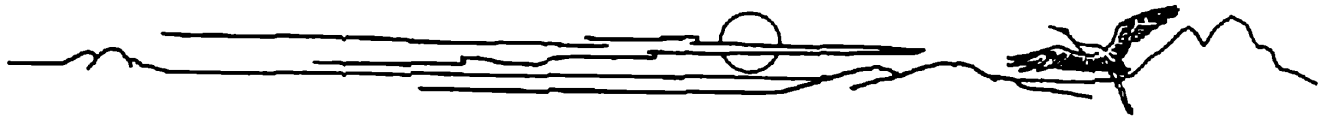
Давным-давно, через много лет после того, как был построен верхний храм Идзумо, что к северу от дворца государя, главная молельня храма покосилась, но только никто и не думал поправить ее. Настоятель храма проживал неподалеку. Звали его Дзёкаку. Он был сыном прежнего настоятеля. Поколение за поколением здесь сменялись настоятели, которые женились и заводили детей. Мало-помалу храм разрушался и пришел в ветхость. Когда великий учитель Дэнгё находился в Китае и выбирал место, чтобы основать школу Тэндай, ему послали картину с изображением этого места. Он спросил: «Какое из трех мест предпочтительнее — гора Такао, гора Хиэй или же этот храм?» Ему ответили: «Место храма Идзумо — превосходное. Но монахи там, похоже, круты нравом». И потому Дэнгё отказался от своего намерения. Место это было очень почитаемым. Но как-то так получилось, что оно пришло в запустение.

И вот привиделось Дзёкаку во сне, как пришел его отец, прежний настоятель. Был он очень стар, опирался на посох. И сказал отец: «Послезавтра в час овцы подует страшный ветер, храм разрушится. А я сам переродился в теле сома трех локтей длиной и обитаю под черепицей этого храма. Не пошевелиться, воды мало. Место узкое, темное. Пришлось мне хлебнуть горя и страданий. Как храм станет разваливаться и рухнет, я выползу на двор. Мальчишки захотят меня убить. Тогда я подползу к тебе. Не дай мальчишкам бить меня, а выпусти в реку Камо. Там мне будет привольно. Стану плавать в большой воде и наслаждаться». Проснулся Дзёкаку и рассказал людям про сон. Но никто ничего не понял. Тут и солнце зашло.

Настал означенный день и в конце часа быка небо внезапно заволокло тучами, поднялся ветер. Да такой, что деревья ломало, дома рушило. Люди в страхе дома латают, да только ветер все сильнее и сильнее. Все дома в деревне разрушило. В поле и в горах бамбук и другие деревья поломало. А храм и вправду в час овцы под ветром рухнул. Столбы сломались, крышу сорвало. На досках под крышей скопилось за много лет дождевая вода, в ней плавало немало боль-

* Из сборника «Удзи сюи моногатари».

ших рыб. Люди стали рыбу по бадейкам раскладывать. Тут на двор и сом выполз. Как и обещал, подполз к Дзёкаку. Да только Дзёкаку, увидев огромную рыбину, обо всем от радости позабыл и мотыгой его по голове оглоушил. Потом позвал старшего сына, чтобы сома забрал. Но мальчишке было не поднять огромную рыбину. Тогда Дзёкаку разрубил ее серпом вдоль жабер. Сын куски завернул и отнес домой. Затем Дзёкаку разделался и с остальными рыбами. Сложил их в бадью, отдал женщинам и вернулся к себе в обитель. Жена огорченно сказала ему: «Не иначе это и есть тот сом, которого ты видел во сне. Зачем ты его сгубил?» — «Не я, так другие. Покойный отец только обрадуется, что потомки, а не сторонние люди, его кушают». Рыбину разделали, сварили и стали есть. «Какой-то странный вкус. Отчего бы? Вкуснее, чем другие сомы. Оттого ли, что это мясо покойного настоятеля? Подлей-ка супчика!» Дзёкаку уплетал рыбу за обе щеки. Но тут большая кость встала у него в горле — никак не достать. Дзёкаку мучился-мучился, да и помер. А жена перепугалась так, что никогда уж сома не ела.



Гэндзи-обезьяна *

Случилось это давно. Тогда в провинции Исэ на побережье Акого жил торговец сельдью. Его настоящее имя было Эбина Рокуродзаэмон, и был он самураем из Канто. Его жена умерла, а единственную дочь он выдал за человека по прозвищу Гэндзи-обезьяна, который служил у него в то время. После этого он передал ведение дел зятю, а сам ушел в столицу, сбрил волосы, стал называться Эбина-буддой и сделался известным отшельником. Его принимали даже в домах князей и аристократов. Однажды его зять, Гэндзи-обезьяна, торговец сельдью, приехал в столицу. Он стал торговать на улицах Киото, покрикивая: «Эй, подходи, покупай сельдь-иваси! Беги, не жалея ноги, лучшая сельдь-иваси у Гэндзи-обезьяны из Исэ с побережья Акого!» Услышав это, люди восклицали: «Да, занятный торговец!» — и покупали его товар. Торговля у Гэндзи-обезьяны шла хорошо, и скоро он разбогател.

Однажды Гэндзи-обезьяна шел по мосту Годзё, как всегда расхваливая свою сельдь. Вдруг ему навстречу попался легкий паланкин. Ветер с реки дул довольно сильный, порыв ветра приподнял бамбуковую штору, и в этот просвет Гэндзи на мгновение увидел красавицу, и тут же в нее влюбился. Время шло, но он не мог забыть ее, его душа томилась. На рассвете он шел на мост Годзё, и оставался там дотемна. Его больше не интересовала торговля. Как-то вечером, ложась спать, он вспомнил стихотворение:

Нет боле никого,
Кто б так страдал,
Как я, —
Считала я, а вот —
Здесь под водой еще...

Он сложил:

Я знаю: с тобою
Нам свидеться вновь суждено
Покуда мы живы.
Иначе зачем существует
Влюбленных связующий бог!

* Из сборника «Отоги-дзоси». Гэндзи — имя главного персонажа средневекового романа «Повесть о принце Гэндзи». Герой рассказа назван обезьяной потому, что он «обезьянничает» — выдает себя за другого.

Гэндзи заболел, да так сильно, что было непонятно, останется ли он в живых. Об этом прослышал Эбина-будда. Он пришел к Гэндзи, увидел, в каком тот жалком состоянии и сказал сердечно:

— Обычно, когда человек болен, чередуются озноб и жар, болит все тело. Но по твоему лицу я вижу, что дело тут в другом: тебя мучает какая-то мысль. Это недуг, который ты должен победить сам.

Гэндзи-обезьяна подумал, что Эбина — человек изобретательный, и если ему все рассказать, он сможет подсказать какой-нибудь выход.

— Мы ведь с вами родственники. Стыдно в этом признаться, но я ведь могу умереть, так никому и не открывшись. Это меня погубит. Меня неожиданно сразила болезнь, которая зовется любовью. Как-то я шел, неся на плечах корзины с сельдью, по мосту Годзё и повстречал там паланкин. С того мгновенья, как я увидел красавицу в паланкине, мне редко удается забыться хоть на миг, — сказал Гэндзи-обезьяна, преодолевая стыд.

Эбина выслушал и расхохотался:

— До сих пор никогда не слышал о том, чтобы торговец рыбой влюбился! Ни в коем случае нельзя, чтобы об этом стало известно.

Гэндзи-обезьяна обиделся:

— Не ожидал от вас таких слов! А если вы не знаете, как торговец рыбой влюбился, то слушайте.

«Один человек приехал в столицу с побережья Катата, что в Оми, торговать серебряными карасями. Однажды он принес рыбу в императорский дворец, чтобы продать там. Только поднял глаза, как увидел прекрасную даму, которую называли во дворце госпожой Имадэгава. Торговец растерялся, но быстро совладал с собой и обратился к служанке, сопровождавшей госпожу: «Я — низкий человек, мне не подобает обращаться к вам с просьбой, и все же мне хотелось бы поднести госпоже Имадэгава рыбу. Соболаговолите взять ее у меня, приготовьте и поднесите госпоже. Я буду вам несказанно благодарен». Госпожа Имадэгава, услышав его слова, подумала: «Как странно, но у этого простого человека, кажется, благородная душа!» Когда карася стали готовить, в нем нашли записку, написанную мелкими знаками. Госпожа прочла, прониклась любовью и благодарностью к торговцу, и несмотря на разницу в положении, дала любовную клятву этому торговцу рыбой, потому что в стихотворении она прочла его душу.

Когда-то в Катата
Был пойман чудесный карась.
В листья завернут,
Он будет теперь запечен,
А в нем драгоценность: письмо.

Ну, разве не рыба была всему причиной!»

Эбина выслушал историю и сказал:

— Да уж, ты мастак давать примеры! Но, согласись, любовь возникает, только когда как следует рассмотришь женщину. Ну что это за любовь, когда видел ее лишь мельком!

Гэндзи-обезьяна ответил:

— Я не первый, кто влюбился с первого взгляда, есть тому примеры. Принц Гэндзи любил Нёсан-но мия, но вдруг перестал о ней думать и отдал свое сердце Аои-но-уэ. Все, что случилось, было неожиданным. Однажды вечером Гэндзи прибыл в экипаже во дворец поиграть в мяч. Приехал и Касиваги-но Эмонноками. Нёсан-но мия сидела за бамбуковой шторой, наблюдая за игрой. В какой-то момент ее любимая кошечка, которая была привязана красным шнурком, вдруг выскочила на площадку для игры. Натянувшийся шнурок приподнял штору. Эмонноками бросил всего один взгляд на Нёсан-но мия, но его сердце замерло. Его любовное послание было подобно дуновению ветра, и он получил ответ, сердца этих двоих были отданы друг другу, и потом у них родился ребенок. Когда Гэндзи увидел младенца, он сочинил:

— Кем и когда
Сюда было брошено семя —
Станут люди пытаться.
И что им ответит сосна,
На утесе пустившая корни?

После этого Гэндзи перестал посещать Нёсан-но мия, и она стала монахиней. А Эмонноками вскоре умер, должно быть, причиной смерти была эта любовь. Вот, что рассказывается в «Повести о Гэндзи».

Мало того, есть и другие примеры.

Однажды в заливе Нанива по случаю завершения строительства моста Ватанабэ служили молебны. Саэмон Морито возглавлял эту церемонию. Собралась целая толпа знатных и простых людей, все слушали молебны. И вдруг одинокая лодка в форме хижины с крышей из мисканта подплыла к месту церемонии. Неожиданно сильный порыв ветра с залива приподнял низ бамбуковой шторы, Морито лишь мельком увидел красавицу за шторой и влюбился. Он не вернулся в столицу после молебна, а сразу же отправился на гору Отокояма и произнес там такую молитву: «О, божество, укажи мне, где находится та, что встретила меня в заливе Нанива!» Бог Хатиман милостиво изволил предстать у его изголовья: «Та, которую ты полюбил, — дочь женщины по имени Ама Годзэн из Тоба, зовут ее Тэннё, она жена Саэмона из Ватанабэ», — так открыл Хатиман. Морито проснулся.

Он пошел и встал на колени у ворот дома Ама Годзэн в Тоба. Ама Годзэн увидела его и спросила:

— Откуда вы, что за человек? Почему вы стоите на коленях у ворот моего дома?

— Дело тут вот в чем. Пусть стыдно об этом говорить, но если промолчу, то это станет для меня преградой на пути к Желтому источнику*. Поэтому я откроюсь вам. Недавно во время молебна на мосту Нанива я случайно мельком увидел вашу дочь Тэннэ. Я и хотел бы забыть ее, да не могу. Поэтому я решил остаться у ворот в надежде, что смогу вновь ее увидеть.

Потом он добавил:

— Если я умру раньше, передайте Тэннэ то, что я сказал.

Ама Годзэн пришла в ужас от его слов. Этот человек постоянно томится о ее дочери! Если она ответит на его любовь, то пойдет против закона добродетельной женщины, а если он умрет, и она будет тому причиной, тогда ее ждет вечное раскаяние. Что теперь делать? Помогать людям — таков завет Будды, решила Ама Годзэн, она послала за Тэннэ, сказав, что простудилась, и попросила, чтобы та обязательно приехала. Ама Годзэн потихоньку провела Морито в комнату, куда вскоре вошла и Тэннэ. Морито был как во сне. Он подробно рассказал Тэннэ все с самого начала. Тэннэ выслушала его. Ей хотелось растаять, как тает роса на лепестках вьюнка. Она мучительно решала, что ей делать: если поступить так, как говорит мать, значит пойти против законов добродетельной женщины, ну, а если пренебречь материнским советом, значит нарушить дочернюю почтительность. Обдумав все это, она сказала так:

— Послушайте, что я вам скажу, господин Морито. Если вы и вправду отдали мне свое сердце, то убейте моего мужа Саэмона. После того, как вы это сделаете, я дам вам клятву на две жизни. Если мы с вами однажды разделим ложе, думаю, вам будет этого мало, вы будете по-прежнему думать обо мне. Я же, обманывая Саэмона и отдаваясь вам, перестану быть честной женщиной. Только когда вы убьете мужа, я с легким сердцем смогу дать вам любовную клятву.

Она говорила нежно, и Морито обрадовался:

— Так значит, если я убью Саэмона, ты будешь принадлежать мне? Я согласен. Но как мне его убить?

Тэннэ ответила:

— Я напою его сакэ. Когда он опьянеет и уснет, вы потихоньку проберетесь в комнату и убьете его.

* Источник, который находится в потустороннем мире. «Уйти к Желтому источнику» означает «умереть».

На том и сговорились. Тэннэ вернулась домой. В унынии она повторяла: «Нет, нет, я всегда буду тебе верна!»

Саэмону было как-то не по себе.

— Ну, как там Ама Годзэн? Должно быть, простудилась? В сезон дождей всегда как-то грустно и беспокойно. Да еще кукушка, то и дело, кукует. Давай-ка мы с тобой развлечемся.

Они приготовили разных закусок, обменялись чарками с вином. Когда настала ночь, они улеглись рукав к рукаву в полном согласии. Саэмон, опьяненный сакэ, заснул, ничего не подозревая. Тогда Тэннэ потихоньку встала, взяла одежду Саэмона, надела на себя и улеглась, будто она — Саэмон. Морито, как они условились, потихоньку проник из темноты, осмотрел комнату, слабо освещенную масляным светильником. Кажется, вон заснул Саэмон, пьяный, ничего не подозревая... Морито вытащил меч, отрубил голову взял ее, считая, что это голова Саэмона, и крадучись, вернулся к себе.

Тем временем Саэмон, муж Тэннэ, проснулся, осмотрелся, и не увидев Тэннэ, удивился. Он прошел в другую комнату, и увидел там мертвую Тэннэ, залитую кровью. Охваченный горем, Саэмон обнял ее труп: «Тэннэ, ты ли это? Кто мог такое сделать! Если бы я мог предвидеть, такого горя никогда не случилось бы! Что это, сон или явь?!» Саэмон плакал от тоски и горя.

Весть о случившемся дошла до Морито. Что это значит? Ведь он убил Саэмона, а все говорят о Тэннэ. Неужели такова небесная кара? Нет, он не мог вообразить, что убил Тэннэ. Он посмотрел на голову, сомнений не было, это была голова Тэннэ. Как он мог позволить Тэннэ обмануть себя! Морито хотел тут же вспороть себе живот, но тут ему в голову пришла мысль о муже Тэннэ: что сейчас происходит у того в душе? Морито решил умереть, но так, чтобы его убил Саэмон собственной рукой. Морито взял голову Тэннэ и отправился к Саэмону.

— Господин Саэмон, выслушайте меня спокойно. Это я убил Тэннэ, своими руками. Как это вышло... Недавно, во время молебна на мосту Нанива, я лишь мельком увидел Тэннэ и влюбился. Потом мне удалось с ней поговорить. Я сказал: «Раздели со мной изголовье один раз, а если не согласишься, ты станешь причиной моей смерти. Пусть жизнью следует дорожить, я умру прямо здесь». А Тэннэ ответила: «Если я вам отдамся, я нарушу супружескую верность, а если отвечу "нет", то стану причиной людской злобы и смерти, ведь вы сказали, что тут же умрете. Не знаю, что мне делать. У меня есть муж, как я могу принадлежать вам? Вот если вы убьете моего мужа Саэмона, то тогда мы сможем дать друг другу клятву супругов». И я поверил ей. Я считал, что убиваю вас. Как ужасно, что я позволил ей обмануть себя! Скорее отрубите мне голову, а когда будете служить заупокойную

службу по Тэннэ, пусть погаснет в вас пламя ненависти ко мне, которое сейчас горит в вашей груди!

Морито наклонил голову и ждал удара. Саэмон в страшном гневе был уже готов снести ему голову, но, уже замахнувшись, передумал.

— Господин Морито, даже если я отрублю вам голову, Тэннэ все равно не вернется ко мне, ведь она уже ушла к Желтому источнику. И кто, если не мы станем молиться о ее будущей жизни, кто ее спасет?!

Обнаженным мечом Саэмон срезал пучок волос со своей головы, переоделся в монашеское одеяние и стал молиться о Тэннэ. Морито тоже срезал пучок своих волос, сказал, что станет молиться о просветлении Тэннэ и тоже стал монахом. Морито было тогда девятнадцать лет, Саэмону — двадцать, он взял имя Монсё. Морито стал зваться Монкаку, и позже стал знаменитым монахом.

Ну, разве не любовь с первого взгляда здесь причина всего? Эбина выслушал.

— Что ж, ты и вправду привел хорошие примеры, но то была любовь, когда известно, что это за женщина, где она живет. А твоя любовь? Ты ведь даже не знаешь, кто она. И где живет, тоже не знаешь. Может, та женщина просто заблудилась, и случайно оказалась на мосту Годзё. Искать женщину, которую мельком видел через преподнявшуюся штору, все равно, что кинжалом пропарывать воздух. Пустота! Ничто! Вот какова твоя любовь.

На эти слова Гэндзи-обезьяна ответил:

— Я расспросил у людей, и узнал, что красавицу зовут Кэйга, она живет в квартале к востоку от Годзё.

— Известнейшая в столице куртизанка! — воскликнул Эбина. — Когда заходит солнце, эта женщина сверкает как пламя, поэтому ее зовут Кэйга — Огонек-светлячок. Ты еще мог бы как-нибудь добиться этой женщины, если бы она была дочерью придворного или даже принца крови. Но она — знаменитая куртизанка! Да она ни к кому не пойдет, только к князю, или к знатному самураю. А ты здесь всем известен как торговец сельдью. Как же тебе помочь? Придется тебе изобразить из себя князя!

Гэндзи-обезьяна почтительно поклонился.

— Я и сам так думал.

— Выдать тебя за князя из ближайших провинций будет трудно. Буэй, Хосокава, Хатакэяма, Иссики, Акамацу, Токи, Сасаки, — все они слишком хорошо известны. А вот господин Уцуномия... Он до сих пор еще не приезжал в столицу, но я слышал, что он должен в скором времени прибыть. Воспользуемся случаем и попробуем выдать тебя за Уцуномия!

— Согласен с вами, — сказал Гэндзи-обезьяна. — Кстати, среди слуг господина Уцуномия у меня есть родственник, так что я смогу узнать привычки этого господина.

— Что ж, решено, — сказал Эмина. — Только такой князь как Уцуномия — он ведь настоящий господин, он не может обойтись без множества помощников, прислужников и слуг.

— Не беспокойтесь об этом. У нас в гильдии торговцев сельдью человек двести-триста. Я их всех созову и попрошу изобразить из себя моих самураев и слуг. А мой сосед, он с востока, по имени Рокудзаэмон — настоящий красавец, он будет главным вассалом.

— Отлично! — решил Эмина.

Прежде всего Гэндзи-обезьяна пошел на Пятую улицу и рассказал там, что слышал, будто господин Уцуномия едет в столицу, что он уже совсем недалеко и остановился в горах Кагамимори в Оми.

Слух о приезде самого князя Уцуномия облетел город. Столичные куртизанки считали, что он их непременно посетит, поэтому украшали свои гостиные и с нетерпением ожидали его прибытия. Прошло дня два-три. Гэндзи-обезьяна рассказал на Пятой улице, что будто бы господин Уцуномия уже прибыл в столицу и утром уже был принят сёгуном.

И этот слух тоже разлетелся тут же.

Эмина отправился в то заведение, где служила Кэйга. Хозяин вышел его встретить.

— Что вас привело? Вы ведь здесь редкий гость. Что вам угодно? Может, вы просто заблудились?

Тут высыпали с десятков молодых девушек, предлагая чарки с вином. Хозяин спросил:

— Не знаете, правда ли, ходят слухи, будто господин Уцуномия в столице. Так ли это?

— Как раз поэтому я и здесь. Мы с ним встречались в Канто, и он, конечно, будет моим гостем. Это совершенно точно, что он приезжает в столицу. Его приезд — неофициальный, ему нужно будет пристанище, вот я и хочу пригласить его к вам, сюда. Вы все приготовьте, украсьте гостиную, выставьте угощений побольше, он ведь большой военачальник, с ним будут слуги, молодые самураи, оруженосцы, соратники. Приготовьте им комнаты. Да готовьте угощения повкуснее, будет много гостей, и всем захочется развлечься.

Хозяин ответил:

— Конечно, конечно, все сделаю. Осмелюсь спросить вас, господин Эмина, кого из женщин пожелаете пригласить? Посмотрите всех и выберите.

Вышли примерно тридцать женщин. Эмина оглядел их, все — красавицы. Он выбрал десятерых. В этот момент у ворот показался

всадник лет двадцати двух-двадцати трех, он сидел верхом на лошади золотистой масти, в лакированном седле с рисунком, покрытом золотым порошком, в руке он держал лук некрашенного дерева, из колчана на поясе вытаскивал стрелы, собираясь подстрелить собак у забора. Всадник повернул лошадь и тут Эмина воскликнул:

— Вот он — сам господин Уцуномия!

Все выбежали поглазеть на него. Тот самый Уцуномия! Эмина воскликнул:

— Наконец-то! Хозяин, не обижайтесь, позвольте мне самому встретить его, — с этими словами он взял стремя и мнимый Уцуномия, дрожа от страха, спешился.

— Помните, мы с вами говорили, хотели обсудить мой неофициальный визит. Но возникли некоторые обстоятельства... Меня неожиданно пригласил сёгун. Я так хотел с вами встретиться, но пару дней назад я должен был быть у сёгуна. Прошу прощения, что еще не был у вас. Я непременно навещу вас дома.

Уцуномия хотел снова забраться на коня, но тут появились Кэйга, Усугумо, Харусамэ и еще с десяток куртизанок:

— Что вы, это невозможно! Только появились и тут же собираетесь нас оставить!

Они вцепились в рукава Уцуномии и потащили его в дом. Делая вид, что сопротивляется, Уцуномия вошел в гостиную. Только сейчас Уцуномия понял, как стыдно то, что он сейчас делает, он не ожидал ничего подобного. Как бы ему хотелось сейчас оказаться на месте какого-нибудь торговца сельдью на улице столицы! Ему было даже страшно представить, что еще могло быть у Эмина на уме.

Хозяин внимательно наблюдал за Уцуномия, и решил, что хотя тот был самураем из далёкой провинции, но все же он хорошо сложен, и вполне походит на столичного жителя. Хозяин поставил черную лаковую чарку на лаковый, покрытый золотой пылью, поднос.

— Господин Уцуномия, выпейте чарку. А если желаете какую-нибудь из девушек — передайте чарку ей.

Уцуномия взял полную чарку и осмотрелся. Которая из девушек Кэйга, та, что иссушила его сердце? Все куртизанки были так же красивы, как Кэйга. Конечно, он-то влюблен в Кэйга, но девушек так много, и каждая из них кажется той самой. «Протяну чарку и наверняка ошибусь. А если уж ошибусь, точно стану потом всеобщим посмешищем!» Расстроенный этой мыслью, он посматривал то на одну девушку, то на другую, и в конце концов протянул чарку той, что была самой уверенной. И это оказалась Кэйга. Кэйга с интересом взглянула на него.

— Восхитительная чарка, не правда ли, — сказала она, подняв чарку и несколько раз повернув ее.

Остальные девушки с завистью смотрели на Кэйга, некоторые вышли из комнаты, а те что остались, стали на все лады расхваливать ее.

В это время Эмина сказал:

— Господин Уцуномия, когда темнеет, на улицах столицы становится беспокойно, не желаете ли направиться к себе, а уж завтра снова прийти сюда?

— И вправду, я так много выпил сакэ, что забыл о времени, пора уходить. Прощайте, — ответил Уцуномия и ушел в свой дом.

Вскоре пришел и Эмина.

— А ты совсем неплохо изобразил князя. Уж теперь вечером Кэйга обязательно придет к тебе. Ты должен приготовить комнату как то следует. Смотри, чтобы все эти люди, которые якобы тебе служат, не начали говорить, когда их не спрашивают, что-нибудь вроде «Пропа-ла моя сегодняшняя торговля, всю выручку потерял!» Стыда не оберешься. Да и сам, что-нибудь такое скажешь во сне и покажешься ей грубияном! — предупредил Эмина и ушел.

Как они и думали, лишь только спустились сумерки, Кэйга пришла в дом мнимого князя. Они стали развлекаться. Кэйга думала: «Что-то тут странно. Ведь Уцуномия — князь, но он совсем не такой человек, как я про него слышала. Детей не видно, в комнате он один, грубый какой-то. Слуги говорят громко голосами, будто они — ровня хозяину. Очень странно». Она лежала без сна, обдумывая то, что увидела. Уцуномия же, напившись сакэ, как только пришла ночь, тут же заснул, широко зевнул во сне и сказал: «Эй, подходи, покупай сельдь-иваси. Беги сюда, не жалея ноги, лучшая сельдь-иваси у Гэндзи-обезьяны из Исэ с побережья Акого!»

Тут Кэйга все поняла. «Так вот в чем дело! Недаром все это с самого начала показалось мне странным! Не иначе, как я дала клятву торговцу сельдью! Что же теперь со мной будет! Ведь скрыть невозможно, все станут говорить, что у меня связь с торговцем сельдью, что я грязная, воняю рыбой. Кто теперь пригласит меня! Придется мне постричься в монахини и уйти, куда глаза глядят!» Она залилась горькими слезами. Слезинки упали на лицо Уцуномия, спросонья он подумал, что это дождь и пробормотал: «Что это, дождь? Эй, слуги, несите циновки!» Сказав так, он проснулся и огляделся кругом. Лицо женщины было красным от горьких рыданий. Какой стыд! Уцуномия вспомнил, что бормотал что-то во сне.

— Я выпил лишнего, заснул не помню как, кажется, я что-то говорил во сне. Почему ты не спишь?

Кэйга ответила:

— Что ты там бормочешь? Ты же торговец сельдью! Что я теперь стану делать? О, этот проклятый Эмина! Это он во всем виноват!

— Я — Уцуномия, и я не знаком ни с одним торговцем сельдью. Первый раз слышу такие обвинения!

После этих его слов Кэйга хотела выложить все, что было у нее на сердце, но, желая, чтобы он испытал настоящий стыд, стала выпрашивать его.

— Сначала ты сказал во сне «побережье Акоги». Отчего это? Уцуномия ответил:

— Ах, вот оно что! Понимаешь, я в столице впервые, поэтому сёгун милостиво повелел всячески развлекать меня. Нет ничего редкостного ни в собачьих бегах, ни в стрельбе из лука или в игре в мяч. Самое любимое развлечение в наше время — сочинение рэнга*. Сёгун, к тому же знает, что я люблю поэзию. Вот и устроили турнир по рэнга. Сасаки Сиро и Ханкай Сиродзаэмон разослали сообщение о турнире, и многие решили принять в нем участие. А записывать стихи попросили младшего брата настоятеля храма Токудайдзи, тринадцатилетнего послушника, ученика настоятеля Сёрэньина, всех превзошедшего изяществом письма. Ну так вот, сёгун первым сложил трехстишие, а дальше все один за другим стали прибавлять свои строчки, и когда прошли круг, последние строчки были такие:

В этой бухте опять и опять
Собирают дрова, варят соль.

Я сочинил так:

На побережье Акоги
Варят соль, собирают дрова.
И забрасывать сети
Рыбаки, как всегда, здесь готовы
И вытаскивать снова и снова.

Понимаешь, мне хотелось схватить самую суть этих строк, и я постоянно думал об этом, наверное, поэтому я и говорил во сне «побережье Акоги».

Выслушав это объяснение, Кэйга стала спрашивать дальше:

— Кроме этих слов, ты еще сказал во сне «мост» — «хаси»**. Ну, а это почему?

* «Нанизанные строфы» или «стихи-цепочки». Первоначально так назывались стихи в 31 слог (танка), сочиненные двумя поэтами: один складывал три первые строки, а второй добавлял еще две. Впоследствии в этом поэтическом действе стало принимать участие несколько поэтов, которые по очереди складывали некое подобие поэмы на заранее определенную тему.

** В словах Гэндзи-обезьяны, сказанных во сне, нет слова «хаси». «Хаси» означает «мост» или «палочки для еды».

— Ах, вот как! Что ж... Там были строчки:

Кто не знает этот мост,
Что связует берега.

Есть стихотворение, в котором говорится так:

Тот мост в Митиноку
Хотелось бы мне перейти,
Но сгнили подпорки,
И прервана связь берегов,
И больше не будет тех встреч.

И еще есть такое:

Как смогу повстречаться
Здесь я скрытно с тобой, в Митиноку,
Как смогу перейти
Отонаси — Безмолвную реку
По мосту Сасаяки — Шептанье.

Я сначала собирался взять строчки одного из этих стихотворений, но решил, что всем столичным знатокам они известны, в них нет ничего редкого. И я вспомнил такую историю. Когда-то красавицу по имени Идзуми Сикибу* посещал мужчина, которого звали Хосё. Они дали друг другу глубокую клятву. Потом монах по имени Домэй тоже стал к ней ходить, и она и с ним обменялась любовной клятвой. Хосё узнал об этом и сказал как-то Идзуми Сикибу: «Напиши записку, как я тебе скажу». Идзуми Сикибу спросила: «Какую записку ты хочешь, чтобы я написала?» «Такую: «Домэю от Идзуми Сикибу: я больше не встречаюсь с Хосё, приходи ко мне немедленно». Идзуми Сикибу покраснела и сказала: «Нет, то, что ты просишь, совершенно невозможно». Хотя она так и ответила, но Хосё настаивал, и Идзуми Сикибу не могла больше сопротивляться, она написала записку, но, улучив момент, разломила палочку для еды — хаси — на пять частей и послала их вместе с письмом. Домэй посмотрел и подумал: «Странно, говорится, чтобы я тотчас же пришел, но к записке приложена палочка-хаси, разломанная на пять частей, это странно. Помню, есть такое стихотворение:

* Прославленная поэтесса, автор прославленного лирического дневника «Идзуми Сикибу никки». Жила в середине периода Хэйан, точные даты жизни неизвестны.

Ах, этот мост!
И вправду мост.
Бывает случай на мосту:
Погибнуть можно на мосту,
Оплакать можно на мосту.

Уж точно, здесь должен быть какой-то смысл. Все ясно! Там Хосё!»
Поняв это, Домэй не пошел на свидание, и тем спас свою жизнь.
А помогло ему то, что он разбирался в поэзии. Я хотел придумать что-то малоизвестное, вот и думал об этом, поэтому вполне мог сказать во сне слово «хаси».

После этого его рассказа Кэйга спросила:

— Пусть все так, но отчего вдруг ты мог бы сказать во сне «Гэндзи-обезьяна»?

Мнимый князь ответил:

«Что ж, это тоже вполне могло быть. Недавно в одном доме я был поражен темами стихов в рэнга: японские боги, учение Будды, любовь, непостоянство всего живого, воспоминания. Так вот, были там такие строки:

Как печально место это —
Обезьяний пруд.

В связи с этим я вспомнил такую историю. Когда-то в древние времена император поклялся в любви женщине по имени Унэмэ, однако очень быстро забыл о ней. Унэмэ так страдала, что однажды в полночь вышла незаметно из дворца и бросилась в пруд Сарусава — Обезьянье болото и утонула. Император был очень расстроен, когда вскоре, совершенно случайно, подошел к пруду Сарусава и вдруг увидел там мертвое тело Унэмэ. Тело подняли, император взглянул на Унэмэ, она была несказанно красива: заколка из зеленой яшмы украшала ее прекрасные волосы, ее подведенные брови были как два юных месяца, а изящную фигуру покрывали водоросли из пруда. Глядя на нее, совершенно изменившуюся, император изволил милостиво сочинить стихотворение:

Любимой моей
Эти спутанные волосы
В Сарусава-пруду
Драгоценными водорослями
Кажутся, и как это печально!

Это стихотворение было взято темой. Известно, что позже принц Гэндзи, совершая паломничество к пресветлому божеству Касуга,

посетил пруд Сарусава и вспомнил эту старинную историю о том, как утопилась Унэмэ. Там он процитировал это стихотворение, а потом, когда молился, прочел еще одно, автора которого не знал:

Ветви ивы сплелись
У пруда Сарусава,
И напомнили мне
Как во сне у любимой моей
Были спутаны длинные пряди.

Я думал про это, сочинял, поэтому вполне мог сказать и «Гэндзи», и «обезьяна». Знаешь, ты слишком надоедлива, перестань думать об этих глупостях, и засыпай.

— Ну, нет. Это еще не все. Ты сказал: «Покупай сельдь-иваси!» Отчего ты говоришь такое во сне, объясни!

Произнося эти слова, Кэйга не могла удержаться от смеха.

Уцунумия покраснел, «покупай сельдь-иваси», это и вправду было слишком. Он постарался успокоиться и стал объяснять.

— Я вполне мог сказать это во сне. Я думал о самом последнем стихе в рэнга:

Молился на горе,
Там, где чиста вода в скале,
Родник — Ивасимидзу.

То, что придумывали на эту тему, было вовсе неинтересным. Я только что рассказывал тебе об Идзуми Сикибу. Так вот, однажды она ела иваси. Вдруг пришел Хосё. Идзуми Сикибу стало стыдно, и она торопливо спрятала рыбу. Хосё заметил, что она что-то прячет, но, конечно, он не мог представить, что это рыба, и решил, что это письмо от Домэя. «Что это ты так стараешься спрятать от меня?» Он допытывался очень настойчиво, и тогда она ответила стихотворением:

Во всей Японии
Не сыщешь человека, кто б не видал
Ивасимидзу —
Праздник бога Хатимана,
И кто не ел бы рыбы иваси.

Услышав это, Хосё успокоился и сказал так: «Рыба — настоящее лекарство, согревает кожу, у женщин улучшает цвет лица, нельзя осуждать того, кто ест рыбу». После этого случая они полюбили друг друга еще крепче.

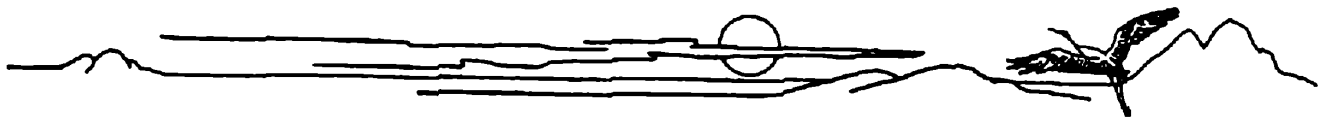
Вообще-то эта тема и вправду необычна. Я много думал о ней, поэтому вполне мог сказать во сне «иваси». Знаешь, милая, твоя настырность меня раздражает. Больше ни на какие твои вопросы я отвечать не стану.

Кэйга задумалась. Если этот человек действительно торговец сельдью, откуда он может так разбираться в поэзии! Нет, конечно, он — настоящий Уцуномия, просто он первый раз в столице, впервые во дворце, думает, что все, что говорится вокруг — очень важно. А когда что-то такое есть в мыслях, бывает, правда, и во сне их выскажешь. Объяснив себе все таким образом, Кэйга поверила ему, и они по-настоящему полюбили друг друга, и дали друг другу клятву: так быть вместе навеки, чтоб нам в небесах птиц четой неразлучной летать, так быть вместе навеки, чтоб нам на земле раздвоенною веткой расти.

Потом они рассказали обо всем Эмину. Глубокое понимание поэзии было причиной того, что Гэндзи-обезьяна не только сумел избежать позора, но познал истинный смысл безграничной любви, да еще приобрел репутацию мудреца. Кстати, Конфуций говорил: «Те сокровища, что хранятся на складах, могут сгнить, зато те, что в нас — вечны». Об этом стоит поразмыслить.

Потом Гэндзи-обезьяна открыл Кэйга свое настоящее имя, и что он — торговец сельдью. Но ведь любви хотят и знатные, и простые люди. Все дают эту лучшую в мире клятву. Гэндзи-обезьяна и Кэйга вместе отправились на берег Акоги, их богатство умножалось, потомки процветали. Причина тому — их взаимная искренняя любовь, и еще — глубокое знание поэзии.

Еще и еще раз, помните: поэзия, вот то, что действительно стоит изучать!



Кавабата Ясунари

Рыбки на крыше

В изголовье постели Тиёко стояло большое зеркало в рамке из красного дерева. Распустив волосы и лёгши щекой на белую подушку, Тиёко каждый вечер смотрела в него. Через какое-то время в зеркало всплывали десятки редкостных золотых рыбок — красные искусственные цветы в аквариуме. Иногда в зеркале вместе с ними отражалась и луна.

Но это была не та луна, свет которой проникает через окошко. Тиёко видела отражение той луны, которая освещала аквариумы на плоской крыше дома. Зеркало было для нее серебряным занавесом, который отделяет наш мир от мира снов и привидений. Видения были так ярки, что ее душа истиралась о них, словно игла граммофона о пластинку. Тиёко не могла расстаться со своей кроватью и некрасиво старилась на ней. И только в раскинутых по белой подушке черных волосах оставалась прежняя красота.

Однажды ночью Тиёко увидела, как тонкокрылая бабочка медленно карабкается по рамке зеркала. Тиёко вскочила с постели и отчаянно забарабанила в дверь отцовской комнаты.

— Папа! Папа! Папа!

Вцепившись побелевшими пальцами в отцовский рукав, она потащила его на крышу.

Одна рыбка всплыла на поверхность. Она была мертва. Ее живот вздулся, как если бы она была беременна каким-то диковинным существом.

— Папочка, прости меня! Не сердись! Ну прости же! Я ведь и ночами не сплю, сторожу их!

Отец молчал. Он смотрел на свои аквариумы так, как если бы перед ним стояло шесть гробов.

Отец завел аквариумы и стал разводить золотых рыбок после того, как вернулся из Пекина. Долгие годы он прожил там с наложницей. Тиёко была ее дочерью. Он вернулся в Японию, когда ей было шестнадцать лет.

Была зима. В обшарпанной комнате стояли как попало стулья и столы, привезенные из Пекина. Сводная сестра Тиёко сидела на стуле. Она была старше Тиёко. Тиёко сидела перед ней на полу.

— Я скоро выйду замуж, здесь жить больше не стану. Но хочу, чтобы ты твердо запомнила: ты — не дочь моего отца. Тебя привели к нам, мать о тебе заботится. Но это все.

Тиёко уставилась в пол. Сестра положила ноги ей на плечи, носком приподняла подбородок, заставила смотреть в глаза. Тиёко обняла ее ноги и заплакала. Сестра просунула ступни ей за пазуху.

— Какая у тебя грудь горячая! Сними-ка носки, погрей меня!

Плача и не вынимая ног из-за пазухи, Тиёко разула сестру, прижала к груди холодные ступни.

Дом вскоре переделали на западный лад. Отец устроил на крыше шесть аквариумов и пропадал там с утра до вечера, ухаживал за рыбками. Он приглашал специалистов со всей страны, ездил с рыбками за сотни километров на выставки.

Через какое-то время ухаживать за рыбками стала Тиёко. Она становилась все подавленнее, одни рыбки плавали у нее перед глазами.

Мать Тиёко вернулась в Японию, жила отдельно, мучалась от жутких истерик. Когда отходила от ни, вся чернела, не говорила ни слова. Красота ее ничуть не померкла с пекинских времен, но кожа как-то неприятно потемнела.

В дом приходило немало молодых людей, многие из них пытались ухаживать за Тиёко. Она отвечала им так: «Принеси-ка мотыля. Рыбки его любят».

— А где я его тебе найду?

— Поищи на болоте.

Вот так, уставившись в свое зеркало, она и старилась. Ей было уже двадцать шесть.

Отец умер, вскрыли конверт с завещанием. Там было сказано, что Тиёко ему не дочь. Она ушла плакать к себе. Взглянула в зеркало и с воплями взлетела по лестнице к рыбкам.

Откуда здесь ее мать? Она стояла возле аквариума. Лицо ее было черным, щеки — оттопыривались рыбками. Изо рта высовывался порядочный хвост. Он шевелился, словно язык. Хотя мать увидела Тиёко, она продолжала сосредоточенно жевать.

— Папа! — закричала Тиёко и ударила мать. Мать упала на облицованный плиткой пол и умерла. Рыбка торчала у нее изо рта.

Теперь Тиёко была свободна от родителей. Прекрасная молодость вернулась к ней, она отправилась в путешествие за счастьем.

Вещи

Японцы обживают ближнее пространство с тщанием. В отличие от русских они неважно видят, что там — вдали, за горизонтом, страшатся просторов, но зато пространство около-телесное греет им душу. Это пространство наполнено самыми разными вещами. Можно сказать, что ближнее пространство — это овещенное время. Японцы любят вещи не только за их полезность, но и за то, что, трогая вещь, ты пальпируешь саму историю...

Зеркало

Удивительное дело: в японском антикварном магазине все что угодно встретить можно, но вот зеркала — никогда. Никто не продаст, никто и не купит. Не продадут потому, что в зеркале остается душа хозяина, и новый владелец может ей навредить. Не купят — по той же самой причине: старый хозяин тоже может навести порчу. Вот вам и суперсовременная Япония, в которой больному человеку тоже в зеркало поглядеться не дадут — умереть ненароком может... Поскольку именно в нем сконцентрировано множество верований, обычаев и предрассудков, зеркало является излюбленным предметом японских писателей, с помощью которого они двигают свои сюжеты.

История зеркального дела в Японии уходит в глубь веков. Первые зеркала были завезены на архипелаг еще во II—I вв. до н. э. из Китая и с Корейского полуострова. Были они круглыми и делались из бронзы. Потом такие зеркала стали отливать и в самой Японии. В диаметре зеркала составляли от 10 до 50 сантиметров. Несколько выпуклая форма их поверхности позволяла отражать достаточно широкую панораму. С обратной стороны зеркала делалась «шишечка» с отверстием, через которое продевался шнур для подвешивания.

Подавляющее большинство бронзовых зеркал находят в захоронениях, что было связано с верой в то, что зеркало освещает путь в стране мертвых. Положить зеркало за пазуху перед опасным

делом еще в совсем недавние времена считалось действенным средством против разного рода неожиданностей. На некоторых из древних зеркал имеются надписи. Однако было бы опрометчивым говорить о распространении письменности в это время. Все обнаруженные на японских зеркалах надписи имеют прямые соответствия с зеркалами китайскими, а неверное начертание многих иероглифов можно объяснить только тем, что их создатели совершенно не понимали, что было написано в оригинале — они воспринимали иероглифы как часть декора.

Надписи на древних бронзовых зеркалах представляют собой, как правило, род заклинательных текстов даосского по своему происхождению содержания. Поскольку зеркало представляет собой модель солнца, то многие из них украшают надписи, солнце прославляющие. Например: «Если солнце будет светить, то в Поднебесной будет очень светло».

Трудно не согласиться с этим утверждением.

Зеркало считалось в Японии тем предметом, в которое «вселяется» божество, если его призвать туда с помощью соответствующих ритуальных действий. Один из синтоистских мифов повествует о том, что после того, как Сусаноо оскорбил свою сестру Аматэрасу, она скрылась в пещере, и в мире настала тьма, то есть, выражаясь современным языком, богиня умерла. Другие боги стали выманивать Аматэрасу из пещеры с помощью различных магических ухищрений. И танцы исполняли, и петух перед входом призывно кукарекал. Один из приемов состоял в следующем: перед входом в пещеру повесили зеркало, в котором Аматэрасу могла видеть себя в том, другом мире, мире живых, где ей надлежало исполнить свой божественный долг, то есть освещать мир. Увидев свое отражение, Аматэрасу удивилась — ранее она полагала, что в Поднебесной может быть только одно солнце. Чтобы лучше разглядеть зеркало, она вышла из пещеры, и природный порядок был восстановлен, поскольку обратно в пещеру ее уже не пустили.

Посылая своего внука Ниниги на покорение земли (читай: Японии), Аматэрасу вручает ему именно зеркало — в качестве оберега и символа власти, которая отныне должна принадлежать ее потомкам. Неудивительно, что после всего случившегося зеркало стало главной святыней правящего японского рода в синтоистском святилище Исэ.

Изначально круглая форма зеркала (а круг в любой культуре обычно является символом вечности) привела к тому, что и традиционная новогодняя еда — круглые лепешки из рисовой муки

мотии — называется «лепешки-зеркало». Это должно подчеркнуть священность праздничной пищи. Поскольку считалось, что божественное зеркало отражает реальность полностью и без малейшего изъяна, составители средневековых исторических сочинений довольно самонадеянно вносили в название слово «зеркало», что, впрочем, свойственно и для Европы.

В средневековом историческом сочинении «Великое зеркало» («Окагами») два мудрых старца, от имени которых и ведется повествование, обмениваются такими стихами, в которых отождествляют свой беспристрастный рассказ именно со всеведующим, всевмещающим зеркалом:

Пред светлым зеркалом
Все, что минуло,
Что есть сейчас
И что грядет,
Прозреваю.

О, старое зеркало!
В нем заново прозреваю
Деяния императоров,
Министров — чередую,
Не скрыт ни один!

Перевод Е. М. Дьяконовой

С течением времени зеркало, не теряя своих магических функций, превращалось и в предмет повседневного обихода. Период Эдо славен многим, в том числе и распространением зеркал в деревенской глуши. В одной из комедий этого времени такая ситуация находит свое отражение: муж привозит из города жене в подарок зеркало, а она глядится в него, приходит в ярость и ломает зеркало, полагая, что муж привел с собой в дом любовницу. Этот мотив неузнавания был чрезвычайно популярен. Сказки, легенды и предания неоднократно обыгрывают его.

В это время бронзовые зеркала уже стали покрывать ртутной амальгамой, что обеспечивало большую четкость отображения. Такая поверхность требовала не только ежедневного протирания, но и периодического подновления быстропортящегося верхнего слоя покрытия: оно растворялось с помощью гранатового сока и сливового уксуса, затем наносилось новое покрытие. Процедура эта была доступна только профессионалам. В одном Эдо насчитывалось около двух тысяч человек, которые занимались ремонтом зеркал.



Женские покои



Изготовление зеркал. С гравюры сер. XIX в.

Кроме того, появилось зеркальце с ручкой и зеркала на подставке. Эти два типа были сведены в набор: прихорашивающаяся красавица смотрится в зеркало на переносной (передвижной) подставке, приводя в порядок волосы на затылке с помощью ручного зеркала, которое она держит за спиной. Подобные зеркала считались необходимым атрибутом при подготовке невесты к свадебной церемонии, а также важнейшей частью приданого. Обычно их украшал родовой герб, который должен был послужить напоминанием невесте, кто она есть на самом деле. Поскольку зеркало служило, в основном, предметом женского обихода, стали считать, что в него чаще всего вселяется божество, покровительствующее женщинам. Будущие матери прикладывали его к животу в надежде, что это магическое действие в состоянии обеспечить благополучные роды.

В связи с тем, что зеркало было связано с множеством религиозных представлений, испортить его означало вызвать несчастье. Поэтому оно было окружено в доме аурой почтительности. Это касается и стеклянных зеркал, пришедших вместе с европейцами в XVI в. Чтобы история стеклянных зеркал не выглядела слишком короткой, их обод и обратная сторона обычно изготовлялись из более долговечного материала — металла. Этому спо-

собствовала и вера в то, что металл отгоняет злых существ, из которых главную опасность для девушки представляет, конечно же, змей-наильник. Отсутствие у японцев технологии изготовления стеклянных зеркал привело к тому, что в течение длительного времени эти предметы были чрезвычайно дороги, а их недостаток ввиду «естественного боя» восполнялся за счет не слишком массового импорта. Отечественный производитель потеснил иностранного только в 70-х годах XIX в.

В XIX в. главным потребителем стеклянных зеркал были парикмахерские, т. е. лица юридические, а не физические. Поскольку японцы привыкли к тому, что в круглом зеркальце можно отразить только незначительную часть своей внешности, огромные стеклянные зеркала парикмахерских действительно поражали их воображение.

Популярности парикмахерских, а значит и зеркал, весьма способствовал правительственный указ, запрещающий мужчинам носить средневековые прически — власти пытались пустить страну по европейским рельсам. Бывшие самураи, лишившиеся своего бритого лба и косички, настолько стеснялись своего нового облика, что цены на головные уборы стремительно пошли вверх.

Что до женщин, то многие «столичные штучки» возомнили, что теперь им все позволено и стали делать короткую стрижку. Это вызвало немедленную реакцию мужчин, и мэрия города Токио такие прически запретила. За короткую стрижку стал налагаться штраф. Тем же, кто успел постричься до введения запрета, выдавалась справка, дающая возможность избегать штрафа за чересчур уж короткие волосы в течение срока в 100—150 дней.



Зонтик в Японии имеет большее значение и распространение, чем в любой европейской стране. Это и понятно: дожди в Японии выпадают намного чаще. Метеорологи подсчитали, что в среднем дождь в Японии идет один раз в четыре дня. А если принять в расчет и ночные дожди, то дождь идет через день или через ночь. Есть даже такие места, где среднегодовое количество осадков составляет 5000 мм! В среднем же в Японии выпадает 1700—1800 мм (в среднеполосной России — 600—700 мм), перекрывая общемировые средние показатели в два раза. Недаром наряду со «слезами» наиболее популярное слово японских эстрадных песен — «дождь». Поэтому-то и стало возможным возделывание в этой стране заливного риса. Дождь в Японии можно ожидать почти всегда, но есть сезоны, когда он приходит, словно по расписанию сверхточной японской электрички.

Например, *байю* — «сливовые дожди», которые ежегодно и ежедневно идут над архипелагом с последней декады июня по середину июля. Свое название эти муссонные дожди ведут из Китая, где в это время поспевают сливы.

Поэтому и вся жизнь японцев была всегда рассчитана на дождь и влажность. Отсюда — длинные выносы крыш, предназначенные для защиты от потоков дождя. Отсюда — обилие покрытых лаком домашних вещей: деревянной посуды, палочек, мебели, шкатулок и т. д. — лак предохраняет их от влажности и гниения. Ныне практически любая упаковка с пищевым продуктом снабжена поглотителем влаги, а сами упаковки — всегда небольшого размера, поскольку продукты на открытом сверхвлажном воздухе портятся чрезвычайно быстро.

И если русский бесшабашный человек берет с собой зонт только тогда, когда на улице дождь уже идет или же собираются грозовые тучи, то для японца зонт — нечто вроде носового платка или же заменяющих его бумажных салфеток. И зонт, и платок должны быть всегда при себе. Неудивительно поэтому, что зонтик является тем предметом, который, согласно статистике, японцы чаще всего забывают в электричках и автобусах. Если потерянный предмет так и остается не востребуемым, то такой зонтик довольно часто выставляют перед выходом со станции, чтобы другой незадачливый ездок взял его и спокойно дошел до пункта назначения.



Зонты «напрокат» имеются и в гостиницах. Впервые такая идея была реализована в XVII в., когда владелец магазина одежды «Этиго» в Эдо выставил перед входом зонтики, которые в случае внезапного дождя мог взять с собой клиент или же просто прохожий. Услуга — бесплатная. На полях этого зонтика красовались иероглифы с названием магазина. Несмотря на риск невозврата, а зонтик тогда стоил намного дороже, чем сейчас, владелец шел на это — лучшей рекламы и не придумаешь.

О том, что такой обычай был взят на вооружение и буддийскими храмами, свидетельствует знаменитый бытописатель Ихара Сайкаку. С некоторой иронией он писал: «Широко разлилось милосердие Будды в нашем мире, и посему люди тоже стремятся вершить добро на благо ближним. Пример тому — двадцать зонтиков, каковые можно одолжить в храме богини Каннон в селении Какэдзукури в области Кии. Давным-давно некий человек пожертвовал те зонтики храму, с тех пор каждый год их заново обтягивают промасленной бумагой, и так висят они в храме и по сей день. Каждый, кого застигнет здесь внезапный дождь или снег, может, не спрашивая разрешения, взять себе зонтик; когда же непогода утихнет, зонтик, честь по чести, возвращают в храм, и ни разу не случилось, чтобы хоть одного недосчитались» (перевод И. Львовой).

Практически перед каждым японским магазином, гостиницей или рестораном имеется приспособление: высокая корзинка

или прямоугольный ящик, его верхняя крышка — решетка, в ячейки которой вставляются зонтики. В крупных универмагах, где такое приспособление заняло бы столько же места, сколько и автомобильная стоянка, вам выдается узкий длинный полиэтиленовый пакетик, куда вы и вкладываете свой зонтик.

Япония считается родоначальницей портативных складных зонтиков, но в самой этой стране они распространены менее, чем это можно было бы подумать. Большей популярностью пользуются зонты-трости — сильные ветры, часто сопутствующие дождям, хлипкие складные зонтики выворачивают наружу, ломают спицы. Так что портативный зонтик — это скорее предмет изобретательской гордости и экспорта, чем всеобщей потребительской любви японского народа.

Если же перевести разговор в историческую плоскость (вернее было бы сказать — в историческую глубину), то окажется, что зонтик был изобретен в совершенно незапамятные времена, по всей вероятности, в Индии, откуда он попал в Китай, а затем и Японию.

«Вещная» сторона дела такова: зонтик — это головной убор, чаще всего — соломенный, к которому приделана ручка. Собственно говоря, в древности «шляпа» и «зонтик» обозначались в Японии одним и тем же словом — *каса*. Причем, похоже, древние зонтики предназначались для защиты как от дождя, так и от солнца. Они изготавливались из обычной материи, шелка и, несколько позднее, из промасленной бумаги (первое свидетельство относится к 894 г.). Зонтики, если верить мифологическим рассказам,





были привилегией китайского императора и имели, вероятно, магическое значение — защищать «сына Неба» не только от атмосферных явлений, но и от сопутствующих им злых сил и врагов. Китайский миф повествует, что во время сражения плывшее над императором Хуан-ди пятицветное облако вдруг превратилось в цветок и опустилось над его головой, закрыв императора наподобие зонта. После этого ход битвы был переломлен, и войска Хуан-ди одержали победу. Это чудесное знамение и послужило якобы первопричиной для начала изготовления зонтов в Китае. Небесная природа зонта подчеркивается и его круглой формой — ведь согласно традиционным китайским представлениям Земля — квадрат, а Небо — это именно круг.

Первое упоминание о зонтике в Японии относится к 552 году — это был подарок корейского государства Пэкче императору Киммэй. Начиная по крайней мере с VIII в. японские высшие придворные также обладали зонтами, причем каждому рангу предписывался зонт определенного цвета. Письменные источники сохранили сведения и о том, что император и высшая аристократия выходили из своих дворцов и усадеб под прикрытием зонтиков. Нечего и говорить, что несли они их не сами — их держали шествовавшие вслед за ними слуги, (индивидуальные зонтики вошли в обиход только начиная с периода Камакура). Таким образом, столь обычный ныне зонтик был в древности одним из показателей социального положения того, над кем его несли.

Даже с появлением индивидуальных зонтиков они были весьма велики размером. Пользователи накрывали зонтами не только

самих себя, но и тот заплечный скарб, который они имели обыкновение носить за спиной.

Особое значение имеет зонтик и в буддизме, который получает в Японии распространение с середины VI в. Под покровом зонтика находились монахи, буддийские статуи, а также гробы с покойниками, которых предавали, согласно буддийскому ритуалу, сожжению. В самом общем виде наличие зонтика символизирует защиту от всякой нечисти.

Древние зонтики не были раскрывающимися. Точно известно, что первые «раскрывающиеся-закрывающиеся» зонты были ввезены в Японию с Филиппин в 1594 г. Остается неизвестным, кто такой зонти изобрел. Что касается нынешнего складного зонта, то промышленным образом он стал производиться не где-нибудь, а в Японии, в начале 50-х годов XX в. Лишнее доказательство того, что в экономии пространства мало кого можно сравнить с японцами.

Несмотря на давнее и широкое распространение зонтов, вплоть до 60-х годов XX в. все-таки господствовал принцип «одна семья — один зонтик». Так что одной из обязанностей добропорядочной (а где тогда вы могли сыскать другую?) японской жены была встреча на железнодорожной станции возвращавшегося в дождливую погоду после окончания работы мужа — с зонтиком в руках, с улыбкой — на губах, с добрыми словами заботы — на языке.

Бумага — одно из величайших изобретений человечества. Она хороша прежде всего тем, что на ней можно писать. В качестве носителя информации бумага вытеснила все до нее бывшее: камень, металл, папирус, кору дерева, кожу и т. д. Кроме того, из бумаги можно делать множество вещей.

Начнем с писчей бумаги, ибо без нее была бы невозможна современная культура. Перед тем, как перейти к Японии, нам придется совершить экскурс в китайскую историю, поскольку бумага была изобретена именно в Китае. Однако до изобретения бумаги древние китайцы использовали совсем другие материалы. Наиболее древние из них — кости оленей и панцири черепах.

Первые надписи на костях и панцирях были обнаружены в 1899 г. китайскими крестьянами во время пахоты. Они приняли находки за «кости дракона» и использовали их для приготовления лекарств. К настоящему времени обнаружено более ста пятидесяти тысяч таких надписей. Обычно они называются «эпиграфикой Инь-Шан» — древнейшей династии на территории Китая. Письменные знаки наносились резцом на кость или панцирь, в бороздки втиралось красящее вещество. Затем кости подогревались на огне. По образовавшимся трещинам гадатели определяли будущее. Надписи носят форму вопросов и ответов. Например, будет ли вскорости дождь? Или — стоит ли напасть на соседнюю область? Кроме того, записывалось, сбылось ли предсказание.

Свидетельствами дальнейшего развития материала для письма являются надписи на бронзовых сосудах эпохи Чжоу (XII—III вв. до н. э.). Эти надписи часто служили в качестве «юридического»

документа — они фиксируют земельные владения того или иного клана. На одном из таких сосудов имеется надпись из 248 иероглифов, повествующая об истории рода Вэй. Его представители были наследственными гадалками и хронистами. Обнаружены и более протяженные надписи на бронзе — в 400—500 иероглифов.

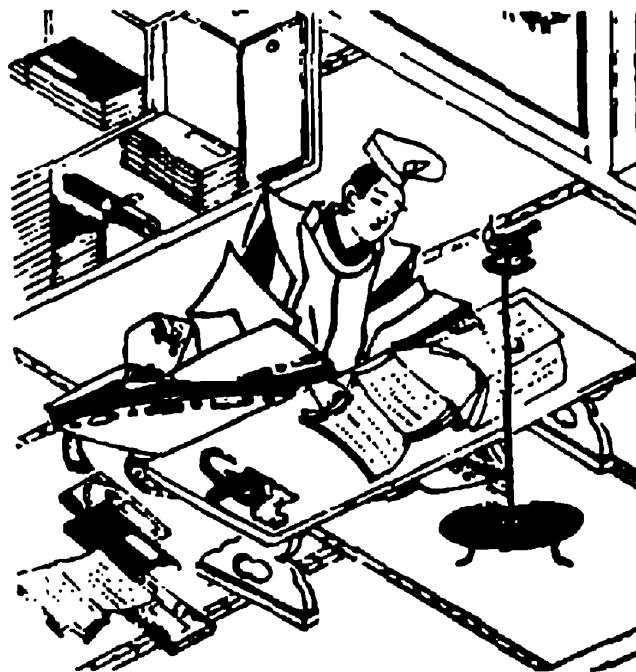
Начиная с V в. до н. э. в качестве материала для нанесения иероглифов стали использоваться бамбуковые планки прямоугольной вытянутой формы. Это позволило записывать достаточно длинные тексты. В верхней части такой планки проделывалось отверстие, сквозь которое пропусклся шнур. Соединенные вместе, дощечки образовывали страницы древней «книги». Обнаружены тексты, имеющие отношение к законодательству, военному делу, медицине, правилам поведения чиновников. Сохранилось упоминание об одном видном государственном деятеле, который в начале своей карьеры носил такие «книги» в коробе на плече.

Одновременно с текстами на дереве, бытовали и надписи на шелке. Они имели форму свитков и хранились в шкатулках. Именно на шелку записана первая дошедшая до нас копия знаменитого философского трактата Лао-цзы «Даодэцзин». С этого времени в качестве главного инструмента письма начали использоваться волосная кисть и тушь (основным компонентом которой является сажа). Тогда же была проведена работа по унификации написания иероглифов. До этого в каждом царстве бытовали различные варианты написания одного и того же знака.

«Настоящая» бумага была изобретена в последние века старой эры. Честь ее изобретения традиционно приписывается евнуху Цай Луню, доложившему двору о своем изобретении в 105 г. н. э., однако археологи обнаружили и более ранние образцы. В состав бумажной массы, придуманной Цай Лунем, входила конопля, кора деревьев, ветхие тряпки и рыбацкие сети. Начало широкого употребления бумаги в Китае относится к III в. н. э. Именно тогда образуется классическая триада письменных принадлежностей, использовавшаяся на всем Дальнем Востоке: кисти и туши добавляется бумага. Вплоть до конца первого тысячелетия главной формой рукописи был свиток. И только позже возникает существование свитка, «книг-гармоник» и склеенных из согнутых пополам листов книг-тетрадок. В Европе же употребление бумаги начинается только в XII веке.

Хотя о достижениях китайцев в области бумагоделания японцы знали достаточно давно, пользоваться бумагой у них особого желания не было. Никаких текстов они еще не сочиняли. В случае крайней надобности использовалось железо (надписи на мечах) и

бронза (надписи на зеркалах). Однако количество обнаруженных надписей на этих материалах крайне невелико. И только с развитием государственности, расширением подведомственной царям Ямато территории и увеличением налогооблагаемого населения появляется необходимость в письменных сообщениях. Управление страной начинают вести с помощью письменных приказов. Поступление налогов также начинает фиксироваться на бумаге — ни один мытарь не мог уже упомянуть лица всех людей, которые внесли или же не внесли налог. И тогда вместо «вечного» материала (железо, бронза) входят в употребление сравнительно недолговечные — дерево и бумага.



Несмотря на свою непрочность, эти материалы предоставляют совершенно другие возможности в смысле легкости нанесения письменных знаков и тиражирования. Сохранность той или иной информации во времени определяется отныне отнюдь не прочностью исходного материала, а особенностями его бытования: частота переписывания, условия хранения готовых текстов. С течением времени именно бумага становится основным носителем письменной информации. Однако на первом этапе жизни государства, управление которым осуществляется с помощью письменности, значительная роль принадлежала дереву.

Я имею в виду надписи на «деревянных табличках» — *моккан*, которые были изобретены в Китае. Но ко времени распространения письменности в Японии они уже почти вышли из употребления. То есть и в древности наблюдается та же ситуация, что и сегодня: передовая страна отказывается от устаревшей технологии, а страна отсталая с удовольствием ее заимствует.

Такая табличка представляет собой дощечку, размер которой колеблется в пределах 10–25 см в длину, 2–3 см — в ширину и нескольких миллиметров в толщину. Эти размеры определяют и длину текста. Сообщений, переходящих с одной таблички на другую, в Японии не зафиксировано.

Раскопки, проводившиеся с 1961 года в г. Нара, позволили сделать заключение о весьма широком распространении этого

типа эпиграфики. К настоящему времени обнаружено более 200 000 табличек, причем мест находок около 250. Самые ранние таблички датируются второй четвертью VII в. При строительстве магазина в Нара в 1988 г., были обнаружены остатки усадьбы принца Нагая (684—729). При ее раскопках было открыто наиболее масштабное скопление табличек — около 50 тысяч, которые датируются 711—716 гг.

Подавляющее большинство из моккан так или иначе связаны с деятельностью государственного аппарата: переписка между центральными ведомствами, между центром и местными органами власти — управлениями провинций, уездов, почтовыми дворами.

Изготовители моккан использовали по крайней мере четыре свойства дерева: относительную легкость, прочность (моккан перевозились на большие расстояния), возможность повторного использования (прежняя запись соскабливалась и наносилась новая) и доступность (лесами Япония обижена не была).

Поскольку моккан использовались чиновниками очень широко, их нередко называли «служителями ножа и кисти», имея в виду основные «письменные» принадлежности, которыми они пользовались чаще всего.

Однако бумага по своему удобству и практичности не шла ни в какое сравнение с деревом. Поэтому вместе с расширением производства бумаги она вытесняет дерево практически полностью. Самые ранние из сохранившихся в Японии документов на бумаге датируются VIII веком. Наиболее впечатляющим связанным с бумагой достижением этого времени было издание ксилографическим способом одного миллиона (!) экземпляров *дхарани* — буддийского заклинательного текста.

То, что именно буддийский текст был издан таким невероятным тиражом, безусловно, не случайно. Дело в том, что государственные ведомства заботило в те времена, чтобы документ был вручен по назначению. Синтоизм с его устным способом передачи традиции письменность и книги вообще заботили мало. Что до буддизма, то его проповедники старались приобщить к вероучению возможно большее число людей. В этом отношении буддизм похож на другие мировые религии — христианство и ислам. Поскольку вероучение буддизма опирается на письменные священные тексты, то их распространение и переписывание считаются делом богоугодным. В связи с этим понятно, почему рукописи и ксилографы именно буддийского содержания получили такое широкое распространение.

Бумага — это хлеб историка. К сожалению, время редко щадит ее. Сохранившиеся древние тексты — буквально наперечет. Открытие новых — близко к фантастике. Но вот сравнительно недавно (первая находка пришлась на 1973 г.) историки довольно неожиданно получили новые письменные источники. Я имею в виду обнаружение так называемых «текстов на лакированной бумаге». И хотя



во влажном японском климате бумага сохраняется очень плохо, будучи покрыта или пропитана лаком, она приобретает способность к сохранению в течение длительного времени.

В Японии VIII в. лак, как уже говорилось, считался чрезвычайно ценным материалом в качестве средства борьбы с влажностью и гниением. Использовался в строительстве буддийских храмов и дворцов для покрытия опорных столбов, деталей интерьера, для производства предметов роскоши. Поэтому законодательно крестьянам было вменено в обязанность выращивать лаковые деревья. При хранении же лака в сосудах для предохранения его от высыхания, от попадания туда пыли и грязи эти сосуды, как теперь выяснилось, нередко затыкали бумагой. Причем, в силу ее дороговизны, не чистой, а уже исписанной. После использования лака скомканную бумагу выбрасывали, но, будучи пропитанной лаком, она хорошо сохранилась в земле. Среди «лаково-бумажных текстов» имеются фрагменты самого разного содержания. Наиболее массовый материал — это обрывки календарей, подворных списков, упражнения учащихся в письме и счете.

Японская бумага — *васи* — отличается особенной крепостью. Из нее даже изготавливали одежду. Окна и двери в традиционном японском доме затягивались белой бумагой. Первоначально японцы, как и китайцы, изготавливали бумагу из конопли, но ее волокна весьма тонки, и к тому же в такой бумаге легко заводился жучок. Впоследствии сырьем для бумаги стал служить луб бумажного дерева — *кодзо* (*Broussonetia kazinoki*), дикорастущего кустарника *гамби* — семейство дафны душистой, а с XVII в. и дикорастущего кустарника *мицумата* — (*Edgeworthia papuifera*). Длина и толщина

волокон этих растений обеспечивали японской бумаге ее непревзойденную прочность. Как-то раз, получив новогоднюю открытку на «японской бумаге», я по юношеской страсти к эксперименту пытался оторвать от нее хоть кусочек, но опыт вышел неудачным...

Даже не в столь отдаленную пору, когда мы еще находили время, чтобы писать их своим друзьям и родственникам, обмен новогодними поздравлениями никогда не имел у нас такого размаха, как в Японии. Ведь среднестатистический японец каждый год посылает более ста новогодних открыток! Но удивительна не только приверженность традиции с сопутствующими ей затратами времени, но и то, что наибольшей популярностью пользуются отнюдь не многоцветные изображения высочайшего полиграфического качества. Большие всего в ходу самые обычные почтовые карточки без всяких художественных выкрутасов. Но эти почтовые карточки имеют одно несомненное достоинство: на каждой из них напечатан присущий только ей одной номер, который одновременно является и номером общенациональной лотереи. То есть чем больше у человека партнеров по новогодней переписке, тем больше у него шансов выиграть солидный денежный приз.

Дорогие сорта бумаги изготавливали также из коконов шелкопряда: коконы варили, промывали, перетирали в однородную массу. После этого выкладывали на циновки и сушили. Потом проглаживали — получался лист бумаги. Однако этот способ не нашел широкого применения ввиду его трудоемкости и дороговизны.

Прибывшие в Японию европейцы с удивлением отмечали, что там имеются более пятидесяти сортов бумаги против четырех-пяти, распространенных в Европе. По недоразумению тонкую японскую бумагу они называли «рисовой», но на самом деле к рису она не имеет никакого отношения (разве что цветом). Именно изготавливаемая из бумажного дерева бумага и носит название японской. Ее текстура достаточна груба, но зато игра видимых глазу простого смертного волокон сообщают ей растительную орнаментальность и замечательную художественность.

Помимо текстуры, художественность бумаге могла придать следующая процедура: поверх бумажного листа накладывали

тонкий слой клеящего вещества, а уже на него наносился золотой или серебряный порошок. Рисунок мог быть как вполне абстрактным, так и узнаваемым. Обычно это были или облака или купы деревьев. Иногда в незастывшую бумажную массу вдавливали золотую или серебряную фольгу, кусочки перламутра.

На японской бумаге удобно было красиво писать от руки тушью, но вот для массового воспроизведения типографским способом такая бумага подходила не слишком. Поэтому после введения всеобщего начального образования во второй половине XIX в., когда для производства учебников потребовалось огромное количество бумаги, японцы заимствовали современные машинные технологии. Что до традиционной «японской бумаги» — васи, то ее производство значительно сократилось, а цена на нее поднялась. В настоящее время такую бумагу используют, в основном, каллиграфы. Кроме того, из нее изготавливают различные вещи, бывшие когда-то вполне функциональными, но приобретшими теперь сувенирные свойства: куклы, веера, зонты, оригами...



Ах баня, баня! Всем ты хороша, японская баня! Вот только при входе в помывочный зал очень строгое предупреждение висит о категорическом запрете вносить... Как вы думаете, чего? Конечно, водки с пивом! — ответит русский человек. И будет неправ. Потому что правильный ответ таков: «Категорически запрещается приносить с собой газеты и журналы». Потому что бумага имеет обыкновение отсыревать, падать в горячую воду, оставлять свинцовые разводы на бортике бассейна.

Под словом «веер» мы разумеем складывающийся предмет — несколько скрепленных у основания пластинок с натянутой между ними бумагой или шелком. Такой веер, завезенный в Европу XVII века, был предназначен для спасения модниц от театральной духоты. В русском языке слово «веер» впервые фиксируется в 1724 г. Народный гибрид немецкого «Fächer» и старославянского «веять».

Однако первоначальный веер не был складывающимся. Это был лист бумаги, шелка, вклеенный в бамбуковую (деревянную) круглую (с закругленными краями) рамку. Несколько походил на ракетку для игры в пинг-понг. Самой ранней формой такого веера было, видимо, опахало. Такой веер называется *утива*, в Китае он известен по крайней мере две тысячи последних лет.

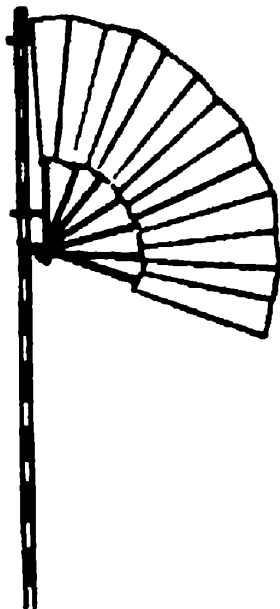
И предназначался он не только для «вентиляции», но также для защиты от солнца, комаров и сокрытия женского лица от посторонних взглядов — японский вариант паранджи. В средневековые японские женщины из высшего света полагали, что выставить свое лицо напоказ — неприлично и даже опасно. Открытое лицо — все равно, что открытие собственного имени, делает тебя беззащитным — как перед мужчиной, так и перед недобрыми духами. Точно также считалось недопустимым обладать загорелой кожей. Одним из признаков «настоящей» красавицы, которая никогда не работала в поле, была белая кожа. Это должно было отличать ее от обычных женщин, т. е. опаленных солнцем крестьянок. Таким образом, веер обладал по крайней мере тремя основными предназначениями в ежедневной жизни:

заслонять от солнца, направлять поток воздуха и прятать лицо.

В Японии он появился не позднее VIII в., о чем и имеются письменные свидетельства: в 762 году одному ветхому старику в виде особой милости было разрешено являться ко двору с посохом и веером. Помимо указанных целей, веер с металлической ручкой и



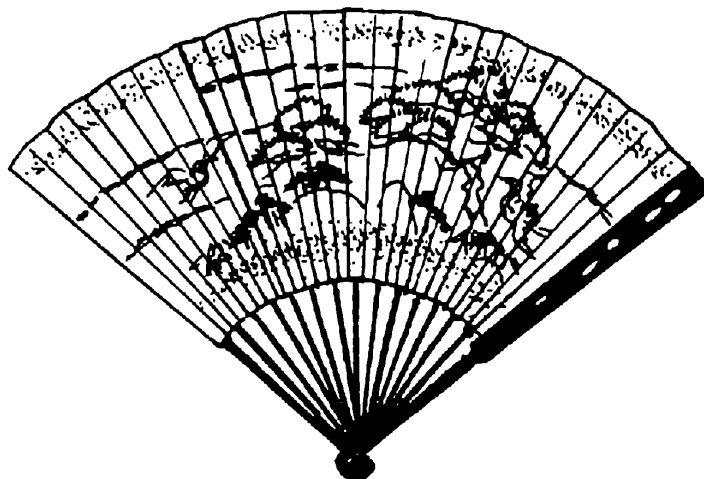
металлической окантовкой (при этом сама лопатка делалась из покрытого лаком дерева) использовался военачальниками самураев для руководства сражениями. В настоящее время такими веерами пользуются судьи в борьбе сумо — веером утива судья указывает на победителя схватки. В средневековом эпосе «Сказание о доме Тайра» повествуется о том, как могущественный военачальник Тайра Киёмори, застигнутый на переправе темнотой, взмахом веера заставил солнце вновь подняться на небосклон. Одна из многочисленных легенд о знаменитом полководце Такэда Сингэн (1521—1573) рассказывает, что с помощью взмаха веера Сингэн оборонился от теснивших его вражеских войск. В японских сказках вееру также отводится роль волшебной палочки. Веер — неременный атрибут демона *тэнгу* — гибрида собаки и птицы, длинноносого демона, который обитает на вершине дерева, обычно сосны. С помощью взмаха круглого веера *тэнгу* мог удлинять и укорачивать людские носы.



Кроме утива, в Японии получил распространение и складной веер (*ооги* или *сэнсу*). Считается, что веер *ооги* был изобретен в Японии, а затем был заимствован Китаем — редчайший для древности и средневековья случай. Обычно поток технологической информации был направлен прямо в противоположную сторону. Поэтому веера (наряду со знаменитыми японскими мечами) служили предметом экспорта в Китай.

Складывающийся веер *ооги* появляется в период Хэйан. С этих пор он сосуществует с

веером утива. Складывающийся веер украшали живописью и стихами. В «Окагами» говорится, что «придворные делали разные веера и преподносили государю. Многие покрывали планки вееров золотым и серебряным лаком, некоторые инкрустировали планки вставками из золота, серебра и ароматического дерева дзин, пурпурного сандала, наносили резьбу, писали на несказанно красивой бумаге японские песни и китайские стихи, перерисовывали картинки с изображением знаменитых мест из книг...» (перевод Е. М. Дьяконовой).



Использовался веер и для церемониальных целей — император жаловал веера особо приближенным и отличившимся придворным. Обмен подарками получил в Японии широчайшее распространение. И одним из самых популярных подарков был веер. Считалось, что он приносит счастье и процветание. Веер, прикрепленный к древку, воткнутому в землю, указывал на местонахождение коня военачальника.

Использовался веер и для церемониальных целей — император жаловал веера особо приближенным и отличившимся придворным. Обмен подарками получил в Японии широчайшее распространение. И одним из самых популярных подарков был веер. Считалось, что он приносит счастье и процветание. Веер, прикрепленный к древку, воткнутому в землю, указывал на местонахождение коня военачальника.

Форма веера, казалось бы, мало подходит для игр. Тем не менее, в период Эдо японцы увлекались игрой с веерами. На поверхность стола ставилась мишень в виде дерева *гинкго*. В нее кидали раскрытым веером. По тому, как упало дерево и в какой степени открытости оказался после этого веер, бросавший получал определенное количество очков.

Идея — веер сокрывает лицо, а значит и душу, находит свое выражение в том, что при встрече с человеком более высокопоставленным, чем ты сам, использование веера по его прямому



назначению запрещалось правилами приличия: лицо подчиненного должно быть открыто всегда.

Веер является также неременным аксессуаром актера. В представлениях средневекового театра Но, который дожил и до сегодняшнего дня, каждый персонаж обладает присущим только ему веером. Если это китаец, у него в руках будет круглый веер утива. Веера с черными пластинами (их должно быть пятнадцать) предназначаются для муж-



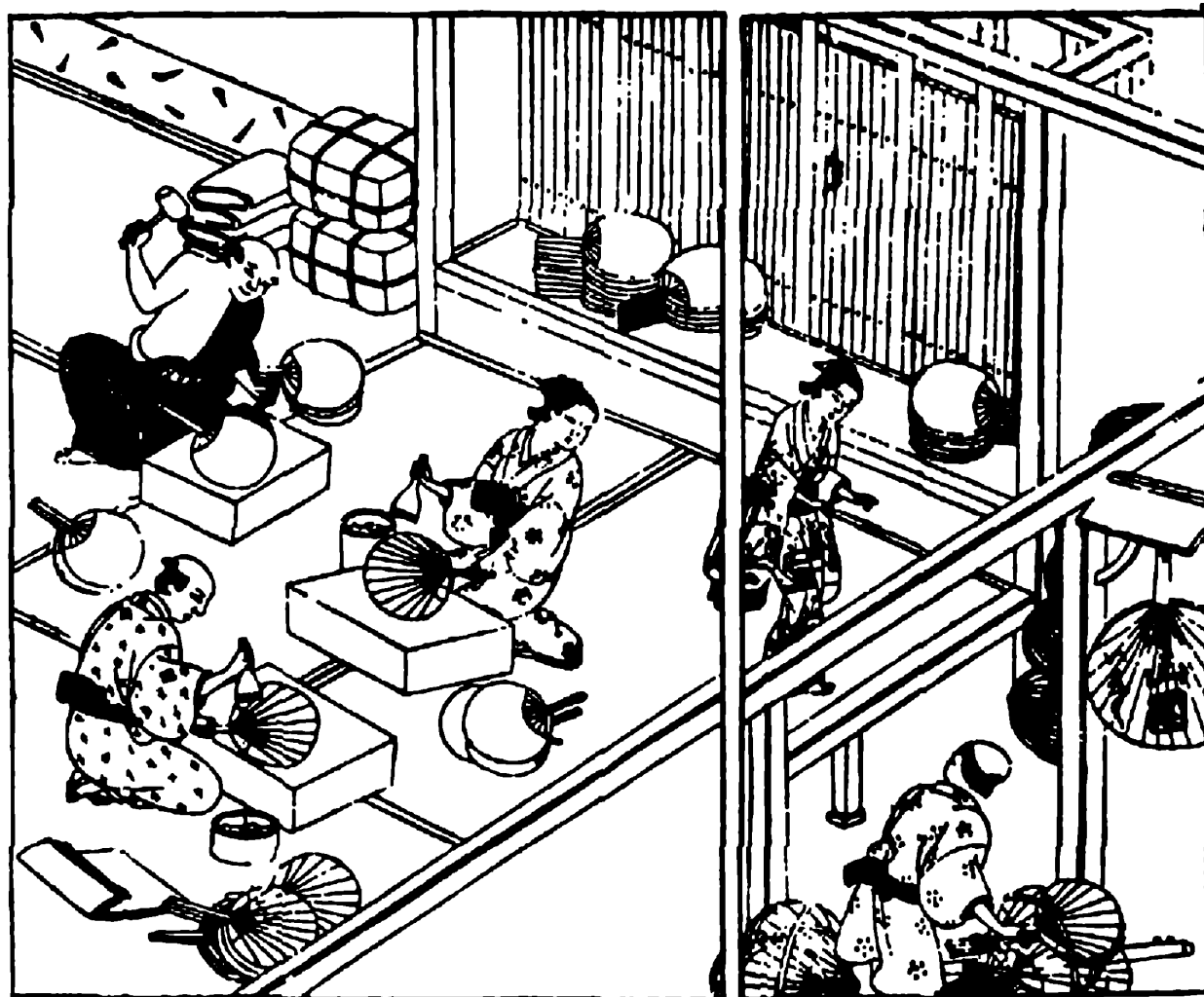
ских и женских ролей, со светлыми — для стариков и монахов. На веере старцев-рассказчиков изображаются символы долголетия — сосна, журавль и черепаха, воины-победители появляются на сцене с веером, на котором изображено солнце на фоне сосновой ветки, а у побежденных солнце рисуется над бурлящими волнами (намек на морское поражение клана Тайра от воинов дружины Минамото в морской битве при Данноура в 1185 г.). И так — с каждым персонажем. Получается, что с помощью веера обозначается та роль, которая отводится данному персонажу в театральном действе.

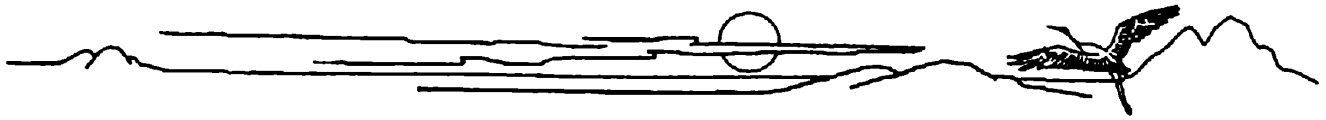
Поскольку при обмахивании совершаются движения, направленные как к себе, так и от себя, в ритуалах веер используется с двоякой целью. С одной стороны, он способен прогонять злых духов, а с другой — акцентированное движение веера к себе предназначено для вызывания божеств. Веер широко используется в ритуальных танцах, исполняемых в синтоистских святилищах. В связи с этим неременным атрибутом жреца является веер. Зафиксированы также случаи, когда он почитается за главную храмовую святыню, в которой обитает божество.

Одним из терминов, обозначающих общину верующих, является именно веер. То есть скрепленные штифтом планки складывающегося веера символизируют единство его бамбуковых составляющих — членов религиозной общины.

В представлении японцев загробный мир управлялся буддами, а не синтоистскими божествами. Поэтому для удачного перерождения в буддийском раю следовало разорвать свои связи с божествами, хотя при жизни практически для каждого японца было (и остается) совершенно нормальным посещение как буддийских храмов, так и синтоистских святилищ. Кроме того, следовало предотвратить возврат духа покойного в мир живых и устроить так, чтобы душа усопшего полностью ушла из этого мира. В противном случае злые духи могли через наиболее близкие к нему вещи нанести ему непоправимый вред. Способов разрыва с богами и жизнью было несколько. Можно было вывернуть наизнанку одежду покойного. Можно было разбить его чашку. А можно было после смерти разломать веер и забросить его на крышу дома или же перекинуть через ее конек.

Из аристократической культуры в культуру горожан веер перекочевывает в период Эдо. Он становится достаточно популярным товаром и отчасти теряет свое сакральное значение. Рисовались на веерах даже географические карты — такие веера брали с собой в дорогу путешественники.





Об основании Зеркального храма

Этот рассказ входит в анонимный «Сборник синто» («Синтосю», середина XIV в., свиток VIII, № 45), в котором собрано 50 легенд и преданий, имеющих отношение к синтоизму: рассказы о богах, ритуалах, основание святилищ. Повествование относит время действия к правлению Анко (453–456), когда, разумеется, не существовало ни постоянной столицы, ни деления страны на уезды, ни лавочников. Показательно, что хотя прошло почти тысячелетие с тех пор, как зеркало перестали класть в погребение, связь зеркала с иным миром остается для культуры по-прежнему актуальной.

1

Расскажу об основании Зеркального храма.

Во времена правления двадцать первого государя Анко в горной деревне Ямагата, что в уезде Асака, который был одним из пятидесяти четырех уездов провинции Муцу, жило крестьян более шестидесяти человек. И вот выбрали они среди себя старика посметливее и отправили его в столицу, чтобы налог доставить. И был этот человек очень умен. Доставив же управляющему именем все, как полагается, собрался старик возвращаться домой.

Вот стоит он на Четвертой улице, думает, каких бы ему гостинцев домой привезти. И тут видит, что в одной лавке зеркало выставлено. Спрашивает тогда: «А это что еще за штука? И что там за старик виден? Лет пятьдесят пять, пожалуй, ему будет».

Лавочник же тогда подумал: вот деревенщина-то, даже зеркала никогда не видел, продам-ка я ему его с обманом. И говорит старику: «Это такая драгоценная вещь, в которой сама великая богиня Аматэрасу отражалась. И бог небесный Осихомими ей это зеркало преподнес. Очень вещь драгоценная. И во дворце государевом такое же висит — охраняет его. И во всех землях точно такое же зеркало перед божествами в святилищах для защиты провинций выставлены. Женушке вашей лучше всего будет такое ясное зеркало

подарить, которое «зеркалом небесной пещеры»^{*} называют. Размером-то оно небольшое, но только благодаря ему разные диковинки увидеть можно. Пойдемте-ка вместе, сами сейчас и увидите. Только уговор такой — в зеркало смотри, а ни на что другое не отвлекайся».

«Вот это то, что надо!» — подумал старик, и они отправились вместе с лавочником гулять по городу.

Взял торговец зеркало с собой, стал по городу водить и показывать старику в зеркале такие мастерские, где и доспехи делают, и луки, и мечи, и упряжь конскую, и шелк ткут. И даже экипаж самого государя повстречать на пути случилось. И все это время держал торговец перед стариком зеркало и с видом важным дорогу прокладывал — самураев распахивал, аристократов разных, а уж о простолюдинах и говорить нечего. Показал старику и отправлявшихся на поклонение придворных дам в дорогих нарядах, и дома разные, и свиту государеву. А после и говорит: «Приедете к себе в деревню и вот на все эти чудеса полюбоваться сможете. Вот здорово-то! Ладно, хватит, а то я уже вам и так слишком много напоказывал».

И вот вернулись они в лавку. Смотрит пристально старик на зеркало и говорит: «Очень замечательные сокровища видел. Покупаю! Только сначала хочу спросить: а отойдет ли мне вместе с зеркалом все то, что ты мне показал? Ну, там золото с серебром, одежды, лошади, экипажи, повозки?»

«Само собой», — отвечал лавочник. А повременив несколько, осведомился: «Вот вы зеркальце купить надумали, а денег-то у вас сколько будет?»

«У меня золотого песку с собой 150 мер», — отвечает старик.

У лавочника аж дух перехватило. Цена этому зеркалу — 150 монет, ну от силы 200, а тут такие сокровища дают! Очень он обрадовался, да только решил еще разок старика ошельмовать. И говорит будто бы с обидой: «Я-то думал... Да если я это зеркало хоть за полцены отдам, все равно тебе денег не хватит».

Огорчился тогда старик: «Нет у меня таких денег». И собрался было уходить, да только лавочнику уж так не хотелось его без покупки отпускать. А потому окликнул он старика: «Может, у вашего друга какого-нибудь деньжонок хоть немного сыщется? Сложите со своими, тогда и продам».

«Это ты хорошо придумал, погоди только немного», — ответил старик и вернулся в дом, где он останавливался на ночлег. Там он

^{*} Имеется в виду то зеркало, с помощью которого выманивали Аматаэрасу, когда она скрылась в пещере.

вытряс у своего приятеля последнее, и стало у него теперь 260 мер золота.

Радости лавочника не было предела: «Хорошо, очень хорошо! Жаль, что даже на полцены денег не хватает, но я добрый, забирай зеркало. Только с уговором: по дороге домой в него не смотри и чужим людям не показывай. В мешочек шелковый тебе его кладу, повесь на шею, да так и иди».

2

Очень старик своей покупкой утешался. Как и было ему велено, повесил на шею зеркало и заспешил из столицы в деревню. Быстро дошел, подходит к своему дому и громко так говорит: «К вам гости важные пожаловали, стелите циновки немедленно».

Обрадовалась жена мужу, циновки постелила, усадила. Тут достаёт хозяин зеркало, на циновку его ставит, смотрит — а в нём ни сокровищ не видать, ни людей знатных. «Что-то здесь не так!» — думает. Пригляделся получше — а там только старик какой-то — лет пятьдесят пять ему будет. И больше ничего. Посмотрела жена — видит старуху пятидесятилетнюю. Тут она — в слезы: «Что ж ты делаешь? Пока я здесь тебя ждала-дождалась, ты себе подругу нашёл?»

Рассердилась, разгневалась, плачет.

Стали трое их сыновей в зеркало по очереди заглядывать — видят мужчин крепких. Стали их жены в зеркало смотреть — увидели молодок. И тоже подумали, что мужья им замену нашли и в один голос заплакали.

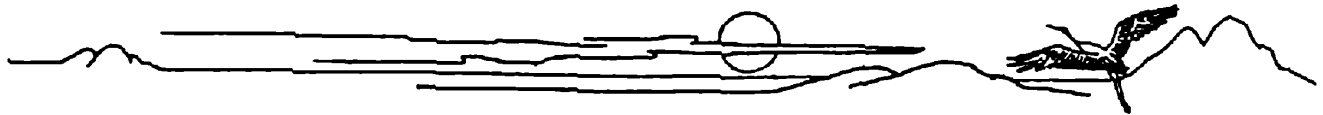
Тут приходит к ним одна монашенка. Посмотрела, что там творится, и говорит: «Эй, люди, да что вы в самом деле? Нечего плакать! Эта вещь зеркалом зовется, кто в него посмотрит, тот и отражается. Так что каждый из вас самого себя в зеркале увидел. Когда-то у хозяина лицо было молодое, да только потом отдал он его своим сыновьям. Вот он теперь таким страшным и сделался. И хозяйка тоже была когда-то красива, да только дети ее всю красоту на себя забрали — старухой сделалась, волосы — седые, спина — сгорбилась. В этом мире все так и бывает, да только мало кто о том задумывается. А потому даны вам знаки, чтобы помнили о мире ином, ибо все там будем. А если в зеркало смотреться, будешь видеть-удивляться, как твой облик меняется. Тем зеркало и драгоценно: сразу же о смерти вспоминаешь, хочешь перерождение получше получить. Так что зеркало — это такое сокровище — заставляет о будущем задуматься».

Кончила монахиня говорить, а старик слезами залился. «Да все сокровища в мире с этим зеркалом не сравнятся! Потому что теперь мы увидели, как состарились. И только зеркало подало нам знак, что скоро придет за нами посланец из того мира. Это зеркало — словно монах премудрый, что наставляет на путь истины и Будды».

Так сказал старик, а потом вскорости отстроил молельню и повесил в алтаре это самое зеркало. Время от времени смотрел в него и плакал. Поплавав, снова смотрелся. А после принял постриг, стал имя будды Амиды возглашать, никогда не ленился. Когда пробил его смертный час, умер с сердцем незамутненным, достойно скончался. И стали они с женой божествами, стали людям этого мира помощь всяческую оказывать.

А сейчас та молельня Зеркальным храмом зовется, а зеркало тамошнее весь уезд Асака охраняет. Это зеркало божеством обращивается, людям восьми восточных провинций страны является.

Купил зеркало чистосердечный старик, заплатив за него песка золотого несметно. И стал благодаря ему божеством на вечные времена, многим людям помощь оказал. И сейчас зеркало в святилище пребывает, хранят его люди и поклоняются.



Кавабата Ясунари

Зеркальце

Из окна моей уборной виден туалет похоронной конторы Янака. Узкий проход между домами использовался под помойку. Там валялись засохшие цветы и пожухшие венки.

Середина сентября, крики цикад с кладбища стали заметно громче. Обняв за плечи жену с ее сестрой, я с заговорщеским видом провел их к уборной. Ночь. В коридоре было прохладно. В его конце располагалась уборная. Когда я открыл дверь, в нос ударил резкий запах хризантем. Мои женщины в удивлении высунули головы в окно над умывальником. И увидели эти хризантемы. Там стояло два десятка венков. Они остались после сегодняшних похорон. Жена протянула к ним руки, будто бы собираясь взять их с собой. И сказала, что давным-давно не видела столько хризантем сразу. Я включил свет. Серебряная упаковка венков засияла. Когда я работал ночами, то частенько путешествовал в уборную и каждый раз, вдыхая аромат цветов, чувствовал, как проходит усталость.

Когда наступило утро, хризантемы стали еще белее, засверкали серебряные обертки. Занимаясь своими делами, я обратил внимание, что среди цветов угнездилась канарейка. Наверное, ее купили, чтобы отпустить на вчерашних похоронах на волю, а она с усталости забыла дорогу в свой зоомагазин.

Смотреть на цветы из окна уборной было, безусловно, приятно. Но мне приходилось наблюдать, как они вянут. И вот сейчас, в начале марта, когда я пишу эти строки, уже несколько дней я вижу, как на одном из венков блекнут розы и колокольчики.

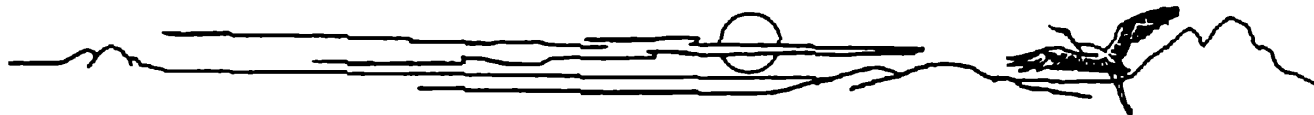
Ладно, с одними цветами я бы как-нибудь смирился. Но мне приходилось смотреть и на людей. Чаще всего это были молоденькие девушки. Мужчины заходили в туалет реже. А у бабушек редко возникало желание подолгу вертеться перед зеркалом в туалете похоронной конторы. Они уже и на женщин-то больше похожи не были. Но почти все девушки останавливались перед зеркалом, чтобы привести в порядок свое лицо. Меня это пугало. У них делались такие отчаянно красные губы — будто бы они только что из покойника всю кровь выпили. Даром что в траурных платьях. И при этом такие спокойные. Они думают, что их никто не видит. Но вид у них все равно такой, будто они что-то нехорошее делают.

Мне совсем не хочется наблюдать эти отвратительные сцены. Но что поделать — из окна моей уборной виден туалет похоронной конторы. И потому эти неприятные встречи случаются довольно часто. Я всегда поспешно отвожу глаза. Было бы неплохо разослать приятным мне женщинам письма, предупреждающие их о том, что никогда не следует заходить в туалет в похоронной конторе. Чтобы они не превратились в таких же кровопийц.

Но вот вчера я наблюдал за девушкой лет восемнадцати. Она вытирала слезы белым платочком. Она все вытирала и вытирала, а они все текли и текли. Ее плечи сотрясались от плача. Потом горе заставило ее прислониться к стене, и она зарыдала, уже не заботясь о том, чтобы вытереть слезы.

Я подумал: вот она, та единственная женщина, которая скрылась в туалете не для того, чтобы накрасить губы. Она скрылась там, чтобы выплакаться. Я вдруг ощутил, что своим платочком она стерла из моего сердца недоброжелательство к женщинам — чувство, вскормленное наблюдениями из окна уборной. Но тут девушка вытащила из сумочки зеркальце, улыбнулась в него и тут же вышла. На меня будто ушат воды вылили — я чуть не закричал.

И чего это она улыбалась?



Кавабата Ясунари

Слепец и девочка

Каё не понимала, зачем она ведет за руку этого человека по совершенно прямой улице по направлению к пригородной железнодорожной станции — ведь он был в состоянии вернуться домой совершенно самостоятельно. Понимать-то не понимала, но только в какой-то момент эти проводы сделались ее обязанностью.

Когда Тамура пришел к ним в первый раз, мать сказала: «Каё, проводи его до станции».

Они вышли из дому. Через какое-то время Тамура переложил свою длинную палку в левую руку, стал шарить правой, чтобы найти руку Каё. Когда она увидела, как он беспомощно водит рукой где-то сбоку от нее, Каё покраснела и ей пришлось взять его за руку.

«Спасибо. Ты еще такая маленькая», — сказал он тогда.

Каё подумала, что ей еще придется сажать его в поезд, но, взяв купленный ею билет, Тамура решительно направился прямо в сторону контролера, оставив в ее ладони монетку. Подойдя к поезду, он пошел вдоль него, легко постукивая пальцами по окнам, пока не дошел до дверей. Его движения говорили об уверенности. Каё облегченно вздохнула. Когда поезд тронулся, она улыбнулась. Ей показалось таким удивительным, что его пальцы были зрячими.

А вот еще. Ее старшая сестра Тоё сидела на постеле возле окна, ее освещало заходящее солнце, она красилась. «Догадайся-ка, что там отражается в зеркале?» — спросила она Тамура.

Даже Каё было понятно, что она сказала какую-то глупость. Что там может отражаться, кроме ее же лица?

Тоё спросила так потому, что залюбовалась своим отражением. Ее голос обвивал мужчину. На самом-то деле она хотела сказать: посмотри, хоть я прекрасна, а ведь как добра с тобой!

Тамура молча подошел к ней, кончиками пальцев провел по зеркалу. Потом вдруг обеими руками взялся за зеркало и чуть повернул его.

— Что ты делаешь?!

— Посмотри, в зеркале отражается лес!

— Лес?

Сестра, словно зачарованная, нагнулась к зеркалу.

— Видишь, солнце освещает лес.

Тоё подозрительно оглядела водившего пальцами по стеклу Тамура. Резко рассмеявшись, Тоё вернула зеркало в прежнее положение и стала вновь сосредоточенно прихорашиваться.

Но вот Каё удивилась по-настоящему. Лес в зеркале привел ее в изумление. Тамура говорил правду: верхушки деревьев плавали в дымчатом лазоревом свете, исходящем с запада. Свет падал на подвяленные осенью крупные листья снизу, и они просвечивали теплом. Тихий вечер бабьего лета. Но его отражение в зеркале было совсем другим. Из-за того, что зеркало не могло передать мягкость света, будто бы рассеиваемого тонким шелком, отражение пугало глубоко затаившимся холодом. Будто смотришься в озеро. Хотя Каё привыкла смотреть на лес из окна, она его не видела по-настоящему. Слепец открыл ей глаза. Неужели Тамура и вправду может видеть лес? Ей хотелось спросить его, видит ли он разницу между лесом и его отражением. Его пальцы, водившие по стеклу, вдруг испугали ее. А потому, когда по дороге на станцию он взял ее за руку, ей стало еще страшнее. Но потом страх забылся — ведь ей приходилось провожать Тамуру всякий раз, когда он приходил к ним.

— Где мы? Это лавка зеленщика?

— Это уже похоронная контора?

— До магазина одежды еще не дошли?

Пока они шли этой привычной дорогой, Тамура — то ли в шутку, то ли всерьез — задавал ей такие вот вопросы. Слева были: табачная лавка, стоянка рикш, обувной магазин, лавка корзинщика, едальня. А справа — пивная, магазин носков, забегаловка с горячей лапшой, заведение, где подавали суси, посудная лавка, парфюмерия, зубной врач...

Со слов Каё Тамура сумел в точности запомнить очередность всех этих заведений на их пути, проходившем через несколько кварталов. А потом это превратилось в их игру — угадает ли он, мимо какого магазина они сейчас проходят. А когда открывалось что-нибудь новое — мебельный магазин или ресторан — Каё обязательно о том извещала. Каё догадывалась, что Тамура придумал эту не слишком интересную игру для того, чтобы развлечь ее во время их невеселой прогулки. Но все-таки ей было удивительно, что слепой может знать, где они находятся. Но потом она привыкла и к этому.

И все-таки... Это было, когда ее мать уже заболела. По дороге на станцию Тамура спросил: «Это ведь похоронная контора? Скажи мне — есть ли в витрине искусственные цветы?» Каё будто кипятком ошпарили. Она пристально взглянула на Тамура.

Он же, как ни в чем ни бывало, спросил: «У твоей сестры глаза красивые?»

— Да, красивые.

— Самые красивые на свете?

Каё промолчала.

— Красивее, чем у тебя?

— Почему вы спрашиваете?

— Почему? Потому что муж твоей сестры был слепым. Потому что после его смерти она имела дело только со слепыми. Потому что ваша мать — тоже слепая. Поэтому Тоё и решила, что ее глаза — самые красивые.

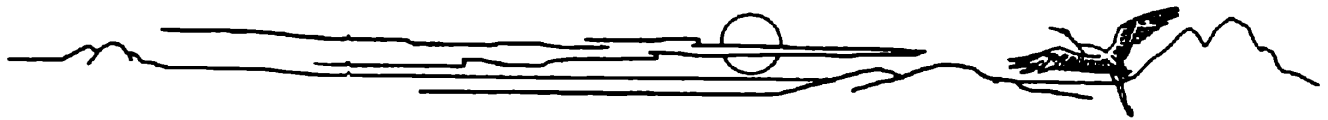
Почему-то Каё запомнился этот разговор.

«Проклятие слепоты падает на три колена», — частенько со вздохом повторяла Тоё так, чтобы мать могла слышать ее. Она боялась рожать от слепого. Вряд ли ее ребенок будет слепым, но она боялась того, что если это будет девочка, она выйдет замуж за слепого. Сама она вышла замуж за слепого потому, что ее мать была слепой. Зрячих знакомых у нее не водилось. А потому она боялась, что ее зять окажется зрячим. После того, как муж Тоё умер, мужчины зачастили к ней. Но все они были слепыми. Слух о ней передавался только между слепыми. Все в доме думали, что если продать тело зрячему, это станет тут же известно в полиции. Деньги на содержание слепой матери должны были приходить только от слепых.

Один из них и привел с собой Тамура. Он был не как все — молодой богач, пожертвовал уйму денег на школу для слепоглухонемых. Так получилось, что Тоё стала принимать только его одного. Она считала его за полного идиота. Он же, пребывая во всегдашней меланхолии, любил поговорить с ее слепой матерью.

И вот мать умерла. Тоё сказала: «Ну вот, слепых больше нет. Мы свободны».

Вскоре в доме появился повар из европейского ресторана неподалеку. Он был ужасен. Видя его, Каё сжималась от страха. Потом Тоё распрощалась с Тамура. Каё пошла провожать его в последний раз. Когда поезд стал набирать ход, Каё ощутила пустоту — будто жизнь ушла из нее. Она дождалась следующего поезда. Она не знала, где живет Тамура. Но она столько раз держала его за руку и шла вместе с ним! Ей казалось, что она знает дорогу к его дому.



Эндо Сюсаку

Зеркало

... января

Бреясь утром перед зеркалом, я обратил внимание на то, что над правым ухом стало больше седых волос.

Мне хотелось еще побыть молодым, но за последние четыре-пять лет во всем теле начали стремительно проявляться признаки старения.

Как-то я купил на станции билет и, случайно взглянув на него, в ужасе понял, что совсем не могу разобрать, что там написано. Это было три года тому назад. После этого я стал надевать стариковские очки, чтобы найти слово в словаре, и начал отчетливо ощущать боль в глазах. С тех же примерно пор часто случалось, что человек при встрече поздоровается со мной, а я никак не могу вспомнить его имени.

Когда, стоя перед зеркалом, я рассматривал свое потускневшее лицо, в памяти вдруг воскрес фильм, который я видел лет двадцать назад.

Название фильма было то ли «Весенние звуки», то ли «Весенний гром». Точно вспомнить не могу, но, кажется, там было слово «весна».

Содержания я тоже толком не помню. Это было мрачное военное время, вдали слышался грохот военных сапог, а я был студентом подготовительного курса университета и не знал, когда и мне придет повестка.

В районе Синдзюку в Токио, в кинотеатре «Тоондза» время от времени демонстрировались старые европейские фильмы. В промежутках между трудовой повинностью на заводе и военной муштрой настоящий отдых мне приносили только те часы, когда в этом маленьком кинотеатре я смотрел «Нашу компанию», «Белую новь», «Ночное танго»... Тогда же я случайно посмотрел и этот чешский фильм.

Я уже сказал, что содержание помню плохо. Стареющий мужчина влюбляется в молодую девушку. Когда эта самая девушка купалась в реке, лошадь стянула с дерева ее одежду и поскакала. Совершенно нагая девушка пускается догонять лошадь. Ветер в поле, вереница облаков, их тени — эта сцена запечатлелась в памяти.

Так вот, сегодня, когда я брился, я вдруг вспомнил этот фильм — верно оттого, что там есть сцена, когда стареющий мужчина, тот, что

влюбился в девушку одного возраста с его собственной дочерью, стоит перед зеркалом, точно так же, как я сейчас, и пристально всматривается в свое старое лицо. У глаз — морщины, дряблые щеки и губы, мужчина дотрагивается до них пальцами и усмехается.

Когда я смотрел этот фильм, я был студентом. Теоретически я понимал переживания героя, но насколько глубоко — весьма сомнительно. В фильме этот мужчина застрелился.

... января.

Когда я перелистывал старый альбом с фотографиями, мое внимание привлек снимок Гималаев, я видел их с самолета, когда в 1962 году участвовал во встрече писателей стран Азии и Африки в Советском Союзе, мы тогда летели из Индии в Ташкент.

Вместе со мной были писатель Н., женщина-критик М. и детский писатель К. Этот снимок Гималаев сделал, должно быть, К., а после отдал мне.

Я смотрел вниз через иллюминатор, перед глазами тянулись цепи вершин, словно зубы земного шара. Облака, вершины покрыты снегом, ни домов, ни дорог. Несомненно, на многие из этих вершин еще никогда не поднимались люди. Я смотрел на серебряные вершины, и отчетливо представлял себе, что там, внизу, завывает ветер, заостренные, как ножи, вершины, поодиночке стойко сопротивляются напору одинокого ветра — я это отчетливо чувствовал.

Я ощутил дыхание смерти, исходящее от гор, но моя соседка М., думала, казалось, совсем о другом.

Когда, уже прилетев в Ташкент, я разговаривал с ней в отеле, я спросил, о чем она думала, глядя на Гималаи, и она ответила: «Когда я смотрела на горы, я думала: вот бы вдруг еще раз страстно полюбить».

Я все еще помню ее слова.

Когда я думаю об этом сейчас, мне кажется, что дыхание смерти, которое почувствовал я, и страстная любовь, о которой говорила М., не так уж далеки друг от друга.

Когда я увидел свое усталое лицо в зеркале, я почувствовал, как постарел, и в то же время ощутил непреодолимое желание задержать старость. И тот стареющий мужчина из «Весенней мелодии» влюбился как сумасшедший в девушку наверняка потому, что он хотел отсрочить старость. Но все равно год от года проявляющееся во всем теле — что бы ни делал! — жестокое и явственное старческое уродство — отвратительно. Плешь, седина, пятна на коже, жир на животе... Каждый раз, когда я ложусь ванну, и вижу, что этой грязи на

теле все больше, я думаю о собственном уродстве. Я чувствую себя уродливым и одиноким, похожим на обветшалые и пожелтевшие фотографии из альбома, который я сейчас держу в руках.

Листая альбом, я вдруг вспомнил совсем о другом.

Очень давно я как-то встретил в баре одного отеля в Осака пожилого известного писателя. Мы с моим спутником бросились было к нему, но тот, пряча глаза, уселся где-то в углу. Время от времени он ходил к стойке, набирал номер на телефонном аппарате, который там стоял, и говорил с кем-то тихим голосом. За два часа это повторилось несколько раз.

— Он звонит своей любовнице в Токио, — чуть подмигнув, сказал журналист, вместе с которым мы пришли в бар. — Ну и вид у него, похоже, она ему отказала.

Не знаю, было ли то, что он говорил, правдой или нет. Но после его слов я стал украдкой наблюдать: старый известный писатель снова держал телефонную трубку, у него на лбу выступил пот, к потному лбу прилипли несколько тонких седых волос, а женщина из Токио, с которой он договаривался, не хотела ехать в Осака, и его нервно-злость, злоба, досада и печаль были видны отчетливо.

— Снова звонит, — журналист криво усмехнулся, глядя в пол. — В его-то годы так старается... Молодец. Не как все.

— Да, правда.

Я согласно кивнул, сказав: «Да, правда», — но про себя подумал, что потное лицо старого писателя, тихим голосом в отчаянии кого-то уговаривавшего в телефонную трубку, было просто безобразным. Лицо с обвинившими лоб потными седыми волосами досадливо искривилось. Наверное, непонимание и эгоизм, свойственные молодым людям, толкнули меня к мысли о его уродстве, мне тогда было чуть за тридцать.

И все-таки даже сейчас я не могу думать, что лицо старого известного писателя, державшего телефонную трубку, было еще красивым.

Я вовсе не осуждаю этого человека, который давно умер, но если когда-нибудь в старости, как он, в каком-нибудь далеком городе, уговариваемая мной женщина не придет, и я сделаю у телефона укоряющую гримасу, — мои чувства смешаются с отвращением к пятнам старости на моем теле, отвисшему животу, седым волосам, — я в любом случае не смогу не думать о своем уродстве.

... января.

Сильный дождь.

В этот сильный дождь, под зонтом, я никак не мог найти дорогу, Н. показал мне дорогу, я вошел в грязноватую комнату.

Несколько мужчин примерно одного со мной возраста или чуть старше пили виски и смотрели вниз на те глупости, которые вытворяли на грязном ковре девушка с юношей. Сейчас женщина была сверху, из-за тусклого освещения ее лицо было видно плохо. Можно было лишь различить, что вокруг глаз у нее наложены густые тени. С улицы слышался монотонный шум дождя.

Тут я проснулся. Проснулся, но эта сцена запечатлелась где-то в глубине души.

В темноте я открыл глаза и стал думать, почему мне приснился такой сон.

Должно быть, причиной был когда-то давным-давно прочитанный рассказ Грина. То ли в Камбодже, то ли во Вьетнаме, во всяком случае в каком-то отеле какого-то города Юго-Восточной Азии старые супруги сидят взаперти из-за сильного дождя.

Дождь продолжается целыми днями. Делать нечего. Однажды вечером в дождь старые супруги идут смотреть подпольный фильм в каком-то зальчике. В грязноватом помещении демонстрируется изношенный фильм под изношенные звуки. На экране проступает: юноша с родимым пятном на спине соединяется с женщиной. Отчетливо видно лишь родимое пятно на спине юноши.

На этом фильм кончается. На улице по-прежнему дождь. Под дождем старые супруги молча возвращаются. Когда они входят в комнату, жена зевает и бубнит: «Давай ложиться спать». Старик молча снимает одежду и поворачивает к ней свое усталое тело. У него на спине отчетливо выделяется родимое пятно, точно такое, как у юноши в фильме.

Не могу понять, почему этот рассказ, который я читал так давно и из которого не могу ясно вспомнить больше ни одной сцены, как раз сейчас так странно предстал в моем сне.

... февраля.

Какой-то литературный вечер.

Отказавшись от приглашения на банкет, я сел в машину А. Потому что на станции у дома А. можно взять такси. Последнее время поймать такси в центре города трудно.

В машине вспоминали о нашей давно минувшей литературной молодости.

Теперь мы и стали лауреатами разных премий, а тогда время было не то, что сейчас: никто не спешил публиковать наши рукописи, мы по очереди печатали в женском журнале рецензии на нашумевшие новинки, тем кое-как и зарабатывали на жизнь. Вот о чем мы вспомнили сейчас.

Сколько воды утекло! Раньше мы уж раз в неделю обязательно встречались, выпивали, спорили, сейчас ничего такого больше нет.

— Не хочется выходить на улицу. Ничего не интересно, — говорит А. — Жить стало скучно.

— А чего бы тебе хотелось?

— Иногда мне хочется скоропостижно скончаться.

Такое чувство понятно и мне.

— А тебе не хотелось бы еще раз страстно полюбить?

Здесь его голос, как когда-то, оживает.

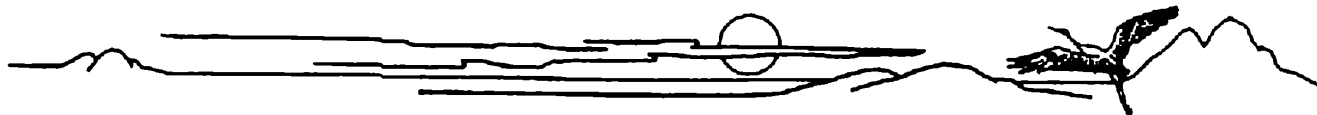
— Страстно полюбить? Хотел бы, если такое возможно.

Когда я вернулся, все домашние уже спали, не было слышно ни звука.

По холодному коридору я прошел в холодную ванную. Когда дотронулся до выключателя, свет не зажегся — наверное перегорела лампа дневного света. Потом она замигала — как неоновая реклама.

— Страстно полюбить? Хотел бы, если такое возможно.

Бормоча под нос эти слова, я всматривался в свое темное лицо в темном зеркале. В волосах прибавилось седых волос. Вокруг век и рта расползлись морщины, пожелтевшие и мутные глаза...



Про то, как монах получил из храма Камо бумагу и рис *

Давным-давно жил на горе Хиэй некий монах. Он был очень беден. Как-то раз отправился он на семидневное поклонение в храм Курама. И хоть рассчитывал он увидеть сон вещий, но все никак он ему не виделся. Пришел он на семидневное поклонение, но сна нет как нет — стал он срок поклонения продлевать, до ста дней дошел. А на сотую ночь были ему во сне слова: «Знать ничего не знаю. Иди-ка ты на поклонение в храм Киёмидзу».

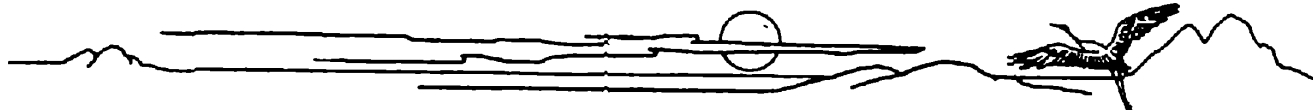
Со следующего дня начал монах стодневное поклонение в Киёмидзу. И снова было ему во сне сказано: «Ведать ничего не ведаю. Иди-ка ты на поклонение в Камо». Стал теперь он поклоняться в Камо. Думал — семь дней там пробудет, только сна все нет и нет. А на сотую ночь были ему слова: «Ты, монах мой, пришел сюда и молишься с усердием. А потому будет тебе и бумага, и рис».

Проснулся монах, очень загоревал, опечалился. Столько ходил-бродил, поклонялся, а тут на тебе — пожаловали всего-то навсего бумаги да рису. А ведь вернешься к себе на гору, так со стыда сгоришь. «Эх, утоплюсь-ка я в реке Камо!» Но топиться все-таки не стал. Стало ему любопытно: как же ему рис с бумагой доставят?

Вернулся монах в свою прежнюю келью на горе и жил там. Вот пришел некий человек. «Хозяин дома?» — спрашивает. Вышел монах к нему, видит: принес тот на спине большой белый ящик, поставил у веранды, а сам ушел. Очень удивился монах, кличет посланца, а его и след простыл. Открывает ящик и видит — белый рис и хорошая бумага туда доверху положены. Подумал монах: «Вот мой сон и сбывается. Не слишком-то щедро». Опечалился очень, да только что здесь поделаешь? И стал он рис на всякие нужды пускать, а его меньше и не становится. То же и с бумагой — не кончается. Так что не стал он первым богачом, но какое-то состояние все-таки приобрел.

А чтобы паломничества совершать, надо терпения набраться.

* Из сборника «Удзи сюи моногатари».



Кавабата Ясунари

Дождь на станции

Жены, жены, жены... О, женщины, скольких из вас называют этим именем! В том, что некая девушка становится чьей-то женой, нет ничего необычного. Но, друзья, видел ли кто-нибудь из вас толпу, состоящую исключительно из жен? Зрелище не для слабонервных — сравнимо с лицезрением толпы преступников.

Видевший толпу студенточек или же фабричных работниц вряд ли себе представит, что это такое — толпа жен. Дело в том, что и студенток, и работниц что-то объединяет. И вот это что-то заставило их покинуть свой дом и собраться вместе. Но каждая жена — это законченная индивидуальность, она соединяется с толпой, имея пунктом отправки больничный изолятор своего дома. На благотворительном базаре или же на пикнике бывших однокурсниц вполне представима ситуация, когда каждая из присутствующих жен на некоторое время снова становится школьницей. Но когда сбиваются вместе жены, каждая из них любит по отдельности именно своего мужа. Впрочем, мы говорим совсем не о базарах...

Вот, например, пригородная железнодорожная станция. Пусть это будет станция Омори. Пусть утро было солнечным, но пусть к вечеру стал накрапывать дождик.

К великому сожалению, жена писателя не обитала в больничном изоляторе — она была танцовщицей в театре Сигэно. Этим все сказано: она никогда не встречала его на станции. Поэтому когда в грудь писателя Нэнами уткнулось нечто твердое, и когда он услышал, как соседская жена говорит ему: «Здравствуйте, вот вам, пожалуйста, зонтик,» — он ощутил скорее не некий предмет, но концепт жены. Его соседка Тиёко покрылась краской и улыбнулась. Это было так естественно — многослойная толпа жен, у каждой — по два зонтика, каждая жадно вглядывается в толпу мужчин, выходящих со станции.

«Спасибо, спасибо. Я вижу, вы здесь как на первомайской демонстрации», — небрежно сказал писатель, хотя на самом деле он был взволнован еще больше ее. Словно только что закончивший свою речь оратор, он поспешно сбежал по ступеням каменной лестницы. Выбравшись из толпы, он раскрыл зонтик. Он оказался женским — ирисы в зеленой воде. То ли она дала ему не тот зонтик, то ли принесла свой... Неважно. Только эта добрая женщина пришла на станцию

под осенним дождем и будто обволокла его. Из своего кабинета на втором этаже писатель часто наблюдал, как Тиёко качает насосом воду из колодца — привстав на цыпочки, между разошедшимися полами одежды белеют коленки. Когда их глаза однажды встретились, она засмеялась — будто осенний ветерок погладил созревшее яблоко. Вот, кажется и все. Идя под ее зонтом с ирисами, он вспомнил о своей жене — ее безумный танец в мужских объятиях. Вспомнил — и ему стало по-привычному одиноко.

Писателя атаковала армия жен — сосредоточившаяся на всех трех улицах, что вели к станции. Армия, положившая все свои ресурсы чрезмерной семейной любви на то, чтобы вооружиться зонтами. Торопливая походка жен, неприученные к солнечному свету землистые лица, незатейливость чувств заставляли вспомнить о заключенных и солдатах.

«Толпа жен на первомайской демонстрации — неплохая метафора», — подумал он, направляясь против нескончаемого потока женщин с мужскими зонтиками в руках. «Они вышли ненакрашенными из своих кухонь — слепок со своих ненакрашенных семей. Выставка семей мелких служащих».

Писатель слабо улыбнулся — под стать этому морозящему дождю. Но женщины не улыбались. Наоборот — некоторые из них, обессиленные от напряженного ожидания, были готовы расплакаться. И Тиёко тоже еще не успела вручить своему мужу причитавшийся ему зонт.

Читателю уже, наверное, стало ясно, что станция расположена в пригороде — будь это в Омори или где-нибудь еще, что мужья служат в фирмах и не разъезжают в автомобилях, что жены в хлопковых кимоно не имеют служанок, что живут в этом пригороде молодые супруги. Это, разумеется, вовсе не означает, что в этом Омори невозможно увидеть мать с младенцем на закорках и с бумажным зонтиком в руках, или старуху с широким мужниным зонтиком, который она использует как посох, или же только что выскочившую замуж девушку в зимнем темнокрасном пальто вместо положенного дождевика...

После того, как каждая жена высмотрела на станции своего возвращающегося с работы мужа, они мирно бредут — зонтик к зонтику или же под одним общим зонтом, покрытые медовомесячной радостью возвращения домой. Жены все подходят и подходят, склоняя вас к мысли о женском рынке, где каждая из них дожидается своего мужа, выскивает себе хозяина. И рынок этот лишен всяких косметических прикрас и романтики.

Однако соседка Нэнами хотела совсем другого — она надеялась, что она останется единственной, которая не дожидется своего

хозяина. Она боялась той минуты, когда появится ее жалкий муж. После того, как Тиёко отдала зонт писателю, она увидела, как ее давняя соперница поднимается по каменным ступеням.

— Привет! Давненько тебя не встречала. А я и не знала, что ты живешь в Омори.

— А, это ты!

Университетские подруги улыбнулись друг другу так, как если бы только что увидели друг друга.

— Это ведь был Нэнами, писатель?

— Да.

— Вот ведь как. Я ревную. И когда ты вышла за него замуж?

— Я...

— Противная! Не помнит даже, когда замуж вышла. Тебе такое счастье привалило, что про время забыла?

— Я вышла замуж в прошлом июле, — выпалила Тиёко. Она пришла сюда вовсе не за тем, чтобы встретить Нэнами. Но как только она заметила свою старую соперницу, ей захотелось раззадорить ее — вот она и сунула зонт в руки модного писателя.

— То есть прошло уже больше года! Что же ты краснеешь, словно школьница?

— Как хорошо, что мы встретились!

— Я тоже рада. В самое ближайшее время ты должна пригласить меня к себе. Я ведь поклонница таланта Нэнами. Газетки сплетничают, что он очень хорош собою, но он оказался еще красивее, чем я думала. Я тебе завидую. Должна признаться, что я давно наблюдаю за тобой, Тиёко. Может быть, лучше бы было оставить тебя в покое. Я никак не могла решить — подойти к тебе или нет. Но когда я поняла, что Нэнами — это твой муж, я абсолютно успокоилась. Ведь именно тебе достался счастливый билетик. И это произошло только благодаря тому, что мне выпало тянуть первой, но только мне достался несчастливый. Поэтому не смотри на меня с ненавистью, лучше скажи спасибо. Забудем про то, же было — это вода, она ушла в песок. Это было наваждение, про которое счастливые люди тут же забывают. Так что давай возьмемся за руки и подружимся снова. Ты облегчила мне душу, я приношу тебе свои поздравления, я счастлива. Потому и подошла к тебе.

«Нет, ты лжешь, я — выиграла», — подумала Тиёко, захмелев от счастья.

— Ты кого-нибудь еще ждешь?

— Да, я послала за покупками в универмаг «Мацуя» его ученицу. Голос Тиёко звучал теперь уверенно.

Прибегнем теперь снова к столь любимой Нэнами метафоре и вспомним, что вход на станцию — это ворота тюрьмы, огромной тюрьмы, в которой томится мужская часть общества, которая после отбытия ею трудовой повинности выходит через ворота и попадает в объятия больных женщин. Соединившись, они разбредаются — каждая пара отправляется в свой семейный изолятор. Но только две женщины боялись выхода своих мужей из тюрьмы. С прибытием каждого поезда каждая из них содрогалась от ужаса — а вдруг ее муж выйдет первым?

Тиёко любила своего мужа — поэтому она не могла вернуться домой в качестве жены Нэнами. Как совершенно верно заметила ее соперница, за новой любовью она совершенно позабыла свою прежнюю. Но увидеть, как ее подруга встретит человека, которого она когда-то любила, было так же мучительно, как и сорвать с себя маску жены писателя. А, может быть, вернее было бы сказать, что цепи ежедневного ритуала вечерней встречи накрепко приковывали Тиёко к этой станции под морозящим дождем. А ее соученица совсем не хотела, чтобы Тиёко увидела ее мужа, который из розовощекого студента, которого они обе любили и который именно таким остался в памяти Тиёко, превратился в потертого жизнью служащего с жалким окладом. В карманах его костюма, который он носил четыре года кряду со дня свадьбы, не было денег даже на такси, промокший пиджак липнет к телу — отвратительно. Но только его жена не желала вернуться домой и признать свое поражение.

— Да, правду говорят: осеннее небо — женины слезки. Сегодня это не так, но обычно здесь и такси не поймаете — все разъехались. А мы — словно соревнуемся на конкурсе верности мужьям. Все это похоже на вещевой рынок.

Поняв, что она проиграла по мужской части, соперница Тиёко перенесла свой боевой задор на женщин. «Ты только посмотри! Пусть мы ходим в старой одежде, но ведь мы могли бы хоть немного подкраситься — совсем другое дело. А так мы похожи на каких-то партизанок...».

— Муж сказал, что мы напоминаем ему первомайское шествие.

— Точно сказано, именно так. Мужья должны нас стыдиться. В глазах мужчин мы должны выглядеть просто ужасно!

На подруге Тиёко были ярко-желтые сандалии, одежда тоже радовала глаз своей яркостью, на лице — свежая пудра. Тиёко же пришла прямо с кухни. Ее соперница прихорашивалась даже когда она выходила с зонтиком встретить мужчину — в этом и состояла ее сила, отнявшая у Тиёко ее любовника. Но сейчас Киёко нарумянила щеки супружеской причастностью к писателю. Эти румяна сделали ее счастливой, она победила.

— У меня нрав робкий, я боюсь привлекать внимание.

— В этом твое счастье. Мало кто знает, что Нэнами — это твой муж. Если хочешь, я раззвоню о тебе по всему свету, — сказала подруга, превосходя пределы того, что хотела услышать Киёко. Следуя своей стратегии, она стала снова подкрашивать губы. Она была должна соответствовать званию знатока музыки и театра.

И вот в этот момент над шляпами служащих поплыл белоснежный лоб проживавшего в Омори знаменитого актера Накано Такахико — он шествовал по пешеходному мосту перекинутому через железнодорожные пути. Киёко знала его, поскольку видела раньше, как он возвращается поздно вечером, держа под руку настоящую жену Нэнами. Про соученицу же ее поговаривали, что она состоит с этим Накано более чем в дружеских отношениях.

— Смотрика-ка, это Накано! — воскликнула Тиёко.

И тогда накрашенная подруга бросилась ему навстречу.

— Ну вот, наконец-то, я тебя заждаюсь. Забирайтесь ко мне под зонтик, будто бы мы любовники, — игриво зашептала она.

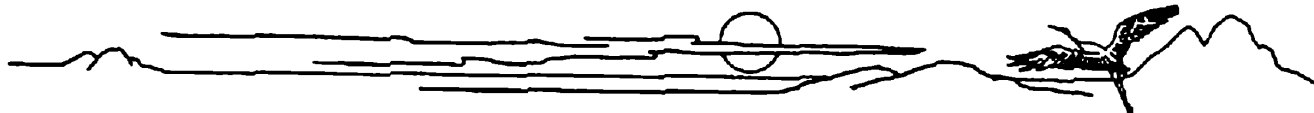
Накано видел эту женщину в первый раз в жизни. Но на ее счастье он привык играть роли любовников. Небрежно раскрыв зонтик одной рукой, она покрыла им спину актера и оглянулась. «Позвольте нам пройти», — сказала она, победоносно врезаясь в море зонтов. И эти зонты на привокзальной площади довольно злобно заколыхались в ответ — словно полевые цветы под порывом ветра. В мгновение ока они превратились в армию крестоносцев, армию благопорядочных жен. Однако Киёко была слишком упоена своей косметической победой, чтобы влиться в ее ряды. Может быть, Накано и вправду любовник подруги, но ведь не муж же он ей. А я, Киёко, — жена писателя Нэнами. И потому белая пудра со щек любовницы непременно осыпется, а вот моя — настоящего, как и положено верным женам, телесного, цвета — так нет. Разумеется, Киёко никогда не изменит своему мужу. Зато она может рассказать ему под зонтом о сегодняшней схватке на станции. Сегодня можно будет признаться ему в своей прошлой любви, можно и поплакать. И хотя она опьянела от своей победы, это ничего не значило. Теперь, когда ее соперница была уже так далеко, Киёко могла дожидаться своего мужа со спокойной душой.

Напоминала ли косметическая победа Киёко яблоко на дереве? В отличие от своей подруги Киёко не была акробаткой, привыкшей карабкаться по косметическим деревьям. Хотя она и вкусила от плода и вроде бы даже уселась погонщицей на спину своего врага, присвоив

себе звание жены знаменитого писателя, этот враг вдруг взмахнул крыльями супружеской неверности и взмыл с ветки в высокое небо. И теперь если никто не протянет ей спасительной руки, она окажется не в состоянии спуститься на землю и присоединиться к армии верных жен. Она ждала, но муж не шел к ней на помощь. Другие жены дожидались своих мужей и исчезали, стены станции белели руинами. Мелкий дождь падал на ресницы, сжимал глаза холодом. Никакого грима не осталось, только страшно хотелось есть. У Киёко не было сил покинуть станцию, нервы — взвинчены, она ощущала себя изгнанной на остров чудовищ. Ей оставалось только ждать.

Настало девять часов — пять часов ожидания. И вот из выхода со станции, которая буквально всасывала Киёко, словно невесомую тень, показался вовсе не ее муж, но тот самый давний ее любовник, то есть муж, но только не муж Киёко, но муж ее подруги. У Киёко не было сил, чтобы возвратиться к самой себе, — кипящая досада обжигала ее. И тогда она не говоря ни слова протянула ему свой зонтик — этому мужчине, который выглядел на этой лестнице таким усталым и жалким, как если бы он только что вернулся из тюрьмы и лихорадочно выискивал глазами свою жену. У нее полились слезы. Но он ничего не понял.

А наш писатель со второго этажа своего особняка, в который его артистка еще не вернулась, до самой ночи подозрительно поглядывал в сторону темных окон соседского дома. Моросило. И вот слова сурового предупреждения всем мужам мира пришли ему на ум. «Мужчины! Когда вечером идет дождь, особенно если дело происходит под мелким осенним дождиком, вам следует торопиться на ту станцию, где жены дожидаются вас. Ибо я не могу дать вам никаких гарантий, что их сердца, подобно их зонтикам, не будут вручены другому».



Кавабата Ясунари

Зонтик

Весенний дождичек, больше похожий на туман... Он не промочит тебя насквозь, но кожа от него все равно становится влажной.

Увидев юношу, девушка выбежала из лавки на улицу. В руках он держал зонтик. «Что, дождик идет?»

Юноша открыл зонтик не потому, что боялся промокнуть. Просто он стеснялся той минуты, когда их увидят из окна лавки, где работала девушка.

Юноша молча держал зонтик над девушкой. Но все равно одним плечом она шла под дождем. Юноша тоже начинал промокать, но никак не мог отважиться сказать ей: «Прижмись ко мне». Ей же хотелось взяться за ручку зонта вместе с ним, но она отодвигалась от нее все дальше.

Они зашли в фотостудию. Отца юноши перевели на работу в другой город. Так что юноша с девушкой решили на прощанье сфотографироваться.

«Садитесь сюда», — сказал фотограф, указывая на диван. Но юноша робел. Поэтому он встал позади девушки, но, чтобы их тела стали хоть чуть ближе, слегка оттопыренным пальцем той руки, которой он держался за спинку дивана, он коснулся ее платья. Теперь впервые он дотронулся до нее. Слабое тепло, которое передалось его пальцам, заставило его подумать о жаре ее нагого тела. Глядя на фотографию, он до самой смерти будет вспоминать это тепло.

— Хотите, еще один кадр сделаю? Крупным планом? Только тогда вам следует стать поближе.

Юноша кивнул.

«Что с твоей прической?» — шепнул он девушке. Она посмотрела на него и покраснела. Глаза ее засветились радостью. По-детски послушно она побежала к зеркалу. Дело в том, что когда она увидела юношу из окна лавки, она тут же выскочила к нему, не успев причесаться. Всю дорогу она корила себя, поскольку выглядела она так, как будто только что сняла купальную шапочку. Но девушка была столь застенчивой, что никогда не позволяла себе в присутствии мужчин даже подправить упавшую прядку. Юноша же не чувствовал себя вправе сказать ей привести себя в порядок.

Когда девушка бросилась к зеркалу, у нее был такой радостный вид, что юноша тоже просветлел. После того, как она привела себя в порядок, они спокойно уселись на диван, как если бы это для них делом привычным.

Покидая студию, юноша стал искать глазами свой зонт. И тут увидел, что девушка уже вышла с ним на улицу. Она поймала его взгляд и поняла, что вышла на улицу с его зонтом. Она удивилась тому, что, сама того не зная, повела себя так, как если бы уже принадлежала ему.

Юноша не просил отдать ему зонт. Она же не решалась вернуть его. Что-то случилось с тех пор, как они отправились к фотографу. Они уже стали взрослыми, и обратный путь был дорогой супругов.

А вы говорите — зонтик, зонтик...

Отдохновения

Японцы почитаются в мире людьми серьезными и работающими. Не стану с этим спорить, потому что так это и есть на самом деле. Однако и японцы — отдыхали. И отдыхают. Поэтому расскажем и о тех вещах, с помощью которых они развлекались, а развлекаясь — отвлекались от ежедневных забот.

Чай

Чай пришел в Россию из Китая еще в XVII столетии, но сейчас почти любой из московских водохлебов предпочитает по утрам заварку с плантаций Индии или Цейлона. И вряд ли помнит о том, что эти чайные плантации были созданы там вовсе не индийцами или тамилами, а англичанами, и при этом сравнительно недавно — в XVIII веке. Китайцы отказывались торговать с англичанами, а вот Индия была их колонией. И из этой колонии они выкачивали не только золото с изумрудами, но и так полюбившийся им чай. Предварительно окультуриив дикорастущие растения.

В Китае чай известен по крайней мере с рубежа новой эры в качестве лекарства, но широкое распространение он получает там где-то с VIII века. Именно в это время был написан и первый трактат о чае. Самыми активными потребителями были буддийские монахи из школы *чань* (на Западе она более известна под японским названием *дзэн*). Эти монахи предавались бесконечным медитациям. Всякий, кто пытался подражать им в этом, прекрасно знает, что медитация чрезвычайно располагает к крепкому сну. Так вот: такой же крепкий чай был призван эту сонливость побороть. И помочь монаху избежать нешуточного удара бамбуковой палкой, которым награждал наставник соню за его нерадивость.

«Некий человек пожаловался высокому драму Хонэнгу: «Во время молитвы «Поклоняюсь будде Амитабха» меня клонит ко сну, и я пренебрегаю молитвой. Как мне от этого избавиться?»

— Как проснешься, твори молитву, — ответил ему святейший» (Кэнко-хоси, «Записки от скуки». Перевод В. Н. Горегляда).

Именно бодрящее свойство чайного напитка нашло отражение в легенде о происхождении чая. Она гласит, что основатель школы дзэн Дарума (Бодхидхарма) во время сеанса медитации заснул. Открыв глаза, он пришел в такую ярость, что вырвал свои ресницы и швырнул их за спину. И вот, попав в землю, ресницы выросли в самые настоящие чайные кусты. Между прочим, на профессиональном жаргоне чаеделов чайники до сих пор именуются «ресницами».

Дарума — любимая игрушка детей и взрослых. На Новый год продавцы выставляют в витринах статуэтки Дарумы из папье-маше или дерева. О святости Дарумы свидетельствует отсутствие у него ног. Дело в том, что в результате бесконечных медитаций в «позе лотоса» ноги у него попросту отсохли. Дарума напоминает нашего «ваньку-встаньку» или «неваляшку» — центр тяжести находится внизу и его нельзя повалить. Предшественником такой куклы считается волчок, который затускали на пирах. Человек, против которого он останавливался, должен был выпить чарку. Потом из волчка образовалась кукла, которая не падает ни при каких жизненных обстоятельствах, включая и изрядный прием спиртного. А такая «несгибаемость» — весьма важное качество, которое пригодится каждому. Однако Дарума — не просто «неваляшка», он отличается от нее тем, что у новогоднего Дарумы нет глаз. Вернее, есть белые глазницы, но в них не прорисованы зрачки. Получив Даруму в подарок, следует прорисовать ему один черный зрачок и загадать при этом заветное желание. Когда (если!) желание исполнится — тогда нужно сделать его по-настоящему зрячим и прорисовать Даруме второй зрачок.

Как и многое другое, Япония заимствовала чай из Китая. Это случилось во второй половине XII в. Семена чая привез из китай-

ского путешествия дзэнский монах Эйсай (1141–1215). По возвращении он занялся усердной пропагандой «здорового образа жизни». Эйсай утверждал, что японцы слишком часто страдают от сердечных заболеваний, поскольку не употребляют в пищу горького. А горькое считалось основным средством для поддержания работы сердечной мышцы. «Посмотрите на китайцев,» — говорил Эйсай, — «Они пьют горький-прегорький чай и оттого с сердцем у них все в порядке».

Эйсай обратил в свою дзэнско-чайную веру не только многочисленных монахов и обывателей, но и самого сёгуна Минамото Санэтомо (1192–1219), который был известен как большой любитель спиртного. Посетив его в тяжелое похмельное утро, Эйсай прописал тому чай в неограниченном количестве. Когда Санэтомо заметно полегчало, тот распорядился, чтобы его вассалы поступали точно таким же образом. И с тех пор чаепитие становится неотъемлемой частью японского образа жизни.

А какой же стиль жизни без выявления наилучших чайных знатоков? И в Японии стали регулярно проводиться турниры, участникам которых предлагалось определить, какой же сорт чая им подносят в чашках-пиалах. Доходило до ста чашек за раз! И в каждой — свой вкус. Ведь каждый склон горы (как это известно нам по сухому вину) дарит свой неповторимый букет.

Есть и еще одна черта, которая объединяет столь непохожие на первый взгляд (или вкус?) жидкости. И во время пиров, и во время коллективных чаепитий китайцы с японцами сочиняли стихи. Потому что и вино, и чай считались напитками священными — с их помощью можно было общаться с богами, облакая свои мысли и чувства в божественные слова. Оттого чай всегда подносили статуям будд, а возле храмов концентрировались чайные лавки.

Наибольшее распространение в Японии получил зеленый чай, имеющий весьма своеобразный вкус. Японцы пьют его после каждого приема пищи. Часто и до него. Первое, что вам предложат в любой едальне до того, как



будет подано основное блюдо, — это холодная вода или чай. При этом зеленый чай никогда не пьют с сахаром. Большинство моих знакомых, впервые попробовавших зеленый японский чай, утверждают, что он «воняет рыбой». Однако все дело в привычке — после нескольких дней регулярного приема такой чай покажется вам напитком с совершенно естественным вкусом. Так и есть на самом деле, поскольку, по сравнению с черным, зеленый чай подвергается менее интенсивной термической обработке, так как исключаются процессы завяливания чайного листа и его ферментации.

Различают несколько разновидностей зеленого японского чая. Это и обычный листовой, и эдакий супчик с добавлением обжаренных зерен злаков, и, наконец, *маття* — порошкообразный чай, который употребляется во время знаменитой на весь мир чайной церемонии.

Когда я выступаю с публичными лекциями, меня всегда спрашивают про чайную церемонию. Полагаю, что нашему человеку знать про чайную церемонию весьма желательно, поскольку у нас-то никакого ритуала не осталось. А это, как всякому японцу известно, означает хаос.

Сам же я, когда попадаю на эту чайную церемонию, всегда надеваю пиджак, несмотря на нелюбовь к официальным одеждам. Дело в том, что подаваемые там «сладости» сделаны из соевой пасты, совершенно несладки, а консистенцией своей напоминают дерьмо. В связи с тем, что отказываться от них — неприлично, я норовлю записать эту гадость себе в карман. Может быть для этого случая и пылится костюм в моем шкафу.

Считается, что особенно большой вклад в разработку чайной церемонии внес монах Рикю (1522—1591). Когда его спросили о том, в чем состоят секреты «Чайного Пути», он в свойственной дзэнскому монаху манере смешивать обыденное с аллегорическим, отвечал так: «Есть семь секретов. Заваривай чай так, чтобы твой гость получал от него удовольствие. Раздуй уголья, чтобы вода закипела. Поставь цветы как надо. Пусть в комнате будет прохладно летом и тепло зимой. Опережай время. Пусть твой зонтик будет всегда наготове — даже если не идет дождь. Пусть твое сердце чувствует сердце твоего гостя».

Для правильного проведения чайной церемонии требуется целый садово-парковый комплекс с чайным павильоном. Основным героем действия является чайный мастер, который приглашает на церемонию 4—5 гостей. Первое, что они делают, пройдя через ворота, — это осмотр местного туалета, который тщательно убирается перед их приходом. Поощрения заслуживает тот, кто воспользуется им непосредственно (церемония требует оставить все «грязное» за пределами чайного павильона), но и простой осмотр этого сооружения должен продемонстрировать, что в этом мире от «высокого» до «низкого» — всего один шаг, что человеческое тело постоянно меняется.

Далее гости проходят по «росистой дорожке» (роса — это символ чистоты). Она образована якобы хаотически разбросанными камнями и расположенными по обеим сторонам светильниками. Промежуточной целью посетителей является умывальник — выдолбленный в форме раковины камень с проточной водой. Путешествие по «росистой дороге» трижды напоминает об идеале самопожертвования: камни ложатся под ноги, масло в светильнике сгорает, чтобы осветить путь, а вода испытывает страстное желание, чтобы с ее помощью была бы смыта грязь.

После омовения вы имеете право на вход в чайный павильон. Собственно говоря, «павильоном» он называется по недоразумению — на самом-то деле это хижина, которая своей скромностью напоминает жилище горного отшельника. Вы входите, а скорее вползаете через низенькую дверцу, забывая про чины и звания, считалось, что вы возвращаетесь в материнскую утробу, чтобы после чайной церемонии вернуться в мир полностью очистившимся от скверны. А внутри этого крошечного крытого тростником строения вас ожидает сам чайный мастер...

Вьются дымки благовоний — всему земному должно устремляться к небесному. В полу покрытой циновками комнаты площадью около восьми квадратных метров устроен очаг, на котором в котелке кипятится вода. Насыпав в вашу чашку чайного порошка, мастер нальет туда немного горячей воды (но не кипятка!) и взобьет эту смесь бамбуковым венчиком. Расход порошка — 200—250 граммов на один литр воды. Получается крепчайшая смесь изумительного изумрудного цвета. Подползая к гостю на коленях, мастер с поклоном подает чашку, держа ее обеими руками. С таким же поклоном вы должны принять ее и отпить три глотка. И так — с каждым гостем.

Кроме чая, гостям предлагаются легкие закуски и сладости. Основным видом закусок являются кусочки сырой рыбы. Бывает,

что подается суп из растертой заквашенной сои и приготовленный на пару рис. Западные люди обычно не находят истинно японские сладости сладкими, поскольку собственно сахара туда не добавляется (его заменяют подсластители, приготовленные из дикорастущих растений). Главным сырьем для сладостей служит соевая паста. Используется также мука и крахмал. Потакая современным сладкоежкам, добавляют и сахар. Хотя настоящие ценители японского находят это вульгарным. В прозрачном мармеладе присутствует и агар-агар. И никаких взбитых сливок или животного масла! Нужно сказать, что выглядят эти сладости чрезвычайно привлекательно — нежный окрас: весенние цветы и осенние листья. А каковы названия! «Снег в горах», «Весенняя дымка», «Летняя роса», «Светлячки». Ну и так далее по временам года. Недаром говорят: «Японские сладости — это съедобные стихи». Японское кулинарное искусство вообще заключается не только в создании вкуса, но и в создании вида — в гораздо большей степени, чем это было принято на Западе. «Есть глазами» — это сказано о японцах.

Угощение на чайной церемонии носит занятное название *кайсэки* — «запазушный камень». Дело в том, что монахи клали подогретые камни себе на живот во время бесконечных молитв и медитаций. Теплое, как известно, подавляет секрецию желудочного сока — чувство голода уменьшается. Использование этого термина по отношению к угощению на чайной церемонии должно подчеркнуть, что еда эта — не совсем настоящая, а символическая. А для настоящей еды — здесь не время и не место. Поскольку главное «блюдо» — это чай.

После вкушения порошкового чая наступает перерыв, во время которого посетители выходят в сад. Потом подается обычный чай. Мастер рассказывает гостям об истории каждой чашки, они беседуют о поэзии, наслаждаются свитком с живописью или каллиграфией, который непременно висит в комнате.

Все проделывается завораживающе неспешно, спокойно и артистично. Несмотря на краткость моего рассказа полный цикл чайного действия длится четыре часа. Есть, разумеется и сокращенные варианты (около часа) для нетерпеливых туристов.

Когда в результате открытия Америки табак был впервые завезен в Европу, он был воспринят не как зелье, пригодное для извлечения из него удовольствия, но как невиданное дотоле лекарство. Европейцы думали, что табакокурение способно победить болезни.

Португальские и испанские миссионеры, прибывшие в Японию в XVI в., познакомили аборигенов со многими заморскими диковинками: с Библией, огнестрельным оружием, глобусом, игральными картами, арбузами, кабачками, кайенским перцем, картошкой, помидорами, шпинатом, капустой, хлебом, печеньем, конфетами, крепкими спиртными напитками...

Нельзя, конечно, упустить из виду и табак. Документально известно, что возвратившийся из филиппинской командировки португальский миссионер отец Иероним де Кастро привез в 1601 г. будущему сёгуну Токугава Иэясу множество подарков. В числе преподнесенного были листья табака и его семена. И уже через десяток лет количество табакокурящих японцев стало статистически значимым.

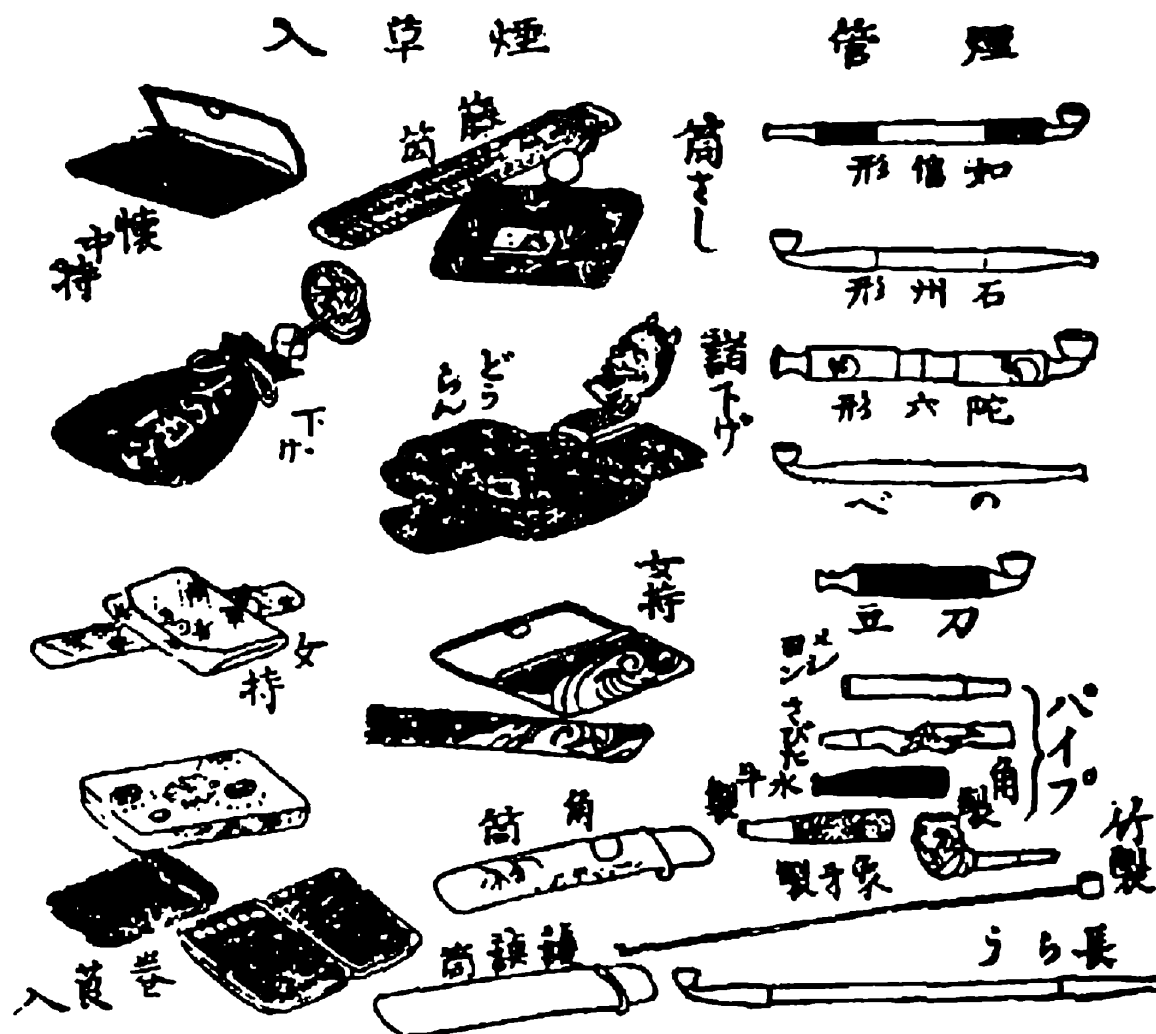
Вслед за европейцами японцы полагали, что курение продлевает жизнь и излечивает от всех мыслимых болезней. Португальцев же в особенности беспокоил сифилис, от которого в то время стала сильно страдать Европа. Так же, как и табак, он был вывезен из Америки. Довольно быстро его довели до Индии и Китая, откуда он в 1512 году проник уже и в Японию (поэтому японцы называли сифилис «китайским прыщом»). Так что к прибытию табака условия для его применения созрели: шанкр в стране уже был. И при этом считалось, что нет от него зелья лучшего, чем

табак. Сами португальцы пользовали табачок, то же они советовали и доверчивым японцам. Кроме того, японцев очень вдохновил антикомариный эффект курения, и они стали заодно думать, что табачный дым отгоняет змей и разных неприятных духов. Если человеку мерещилось, что его за нос водит лиса, он закуривал и немедленно избавлялся от наваждения. Здесь, безусловно, сказалась вековая привычка японцев и японок к воскуриванию в буддийских храмах благовоний, которые тоже считались первым средством при разных жизненных неприятностях.

Однако сёгунат не дремал. Быстро раскусив, что табак не имеет никакого отношения к сифилису, скорый на запреты сёгунат Токугава в 1612 году ввел запрет на табакокурение. Это аргументировалось двумя причинами, весьма далекими от нынешнего антитабачного движения с его здоровым образом жизни. Во-первых, бичом деревянно-бумажной Японии были пожары. Во-вторых, правительство трогательно заботилось о материальном благополучии своих подданных и считало, что деньги следует тратить на что-нибудь более для организма питательное. Для нарушивших же запрет была предусмотрена ни больше ни меньше как конфискация имущества. Аналогичный запрет, вышедший в России в 1649 г., предусматривал порку, отрезание носа и ссылку. Но, похоже, даже сёгунат не смог справиться с пагубными привычками, подпольная торговля табаком процветала и запрет вскоре был фактически отменен. В 30—40-х годах того же XVII века маховик табакокурения набрал новые обороты, по всей стране появились крестьяне, которые занимались возделыванием табака.

Первоначальный способ употребления табака японцами заключался в следующем: высушенные и порезанные листья приклеивали к кусочку бумаги, а затем скатывали в трубочку. Получалось нечто вроде самокрутки. Некоторые японцы набивали табаком коленце





Куриательные принадлежности

бамбука или же тростник. Среди знати, а потом и людей попроще, распространились длинные металлические трубки.

Сигареты европейского образца — измельченный табак, заклеенный в бумагу — появляются в Японии только с повторным приобщением ее к мировой цивилизации во второй половине XIX в.

В 1904 году, сразу после начала русско-японской войны, в стране была введена государственная табачная монополия, что, естественно, было связано с резко увеличивавшимися военными расходами. Мгновенно были выброшены на рынок и четыре новых сорта сигарет: «Сикисима» (одно из древних названий Японского архипелага), «Ямато» (древнее название Японии), «Асахи» («Утреннее солнце») и «Ямадзакура» («Горная сакура»). Всякий, кто был знаком с классической литературой, немедленно вспоминал стихотворение знаменитого ученого и идеолога всяческого японизма Мотоори Норинага (1730–1801):

Если спросят тебя
О сердце Ямато-страны
На островах Сикисима,
Ответь: запах сакуры
Под утренним солнцем.

Так что люди, ответственные за состояние политики и табачной промышленности продемонстрировали, что и прекрасное, и поэтическое им не чуждо. Сам же Мотоори Норианага (кстати говоря, не кутивший) вряд ли предполагал, что слова из его стихов через столетие после его смерти станут красоваться на упаковках сигарет...

На сегодняшний день среди «развитых» стран Япония является одной из самых курящих. Отчасти за счет того, что послевоенное поколение мужчин курит почти поголовно, а живет на удивление долго. Среди молодежи курящих все-таки явно меньше.

Точно так же, как и почти все другие товары, включая спиртное, сигареты в Японии можно купить в бесчисленных автоматах. Разумеется, автомат не спрашивает тебя о возрасте. В Японии курение и винопитие разрешается с 20 лет. Но подвижки в этом направлении уже есть. Под напором ревнителей здорового образа жизни разработаны, но пока что еще не внедрены, автоматы, которые будут считывать удостоверение личности (вид на жительство, права автомобилиста и т. п.), где указывается год рождения его обладателя. Исполнилось тебе двадцать — получай свою порцию дыма вирджинского табачка, мал еще — отворот поворот. Но на пачках японских сигарет нет угрожающей надписи о том, что курение — вредно.

Меленькими значками там сказано менее решительно: «Для пользы вашему здоровью не курите слишком много».

Японцы вообще не склонны слишком драматизировать — ни жизнь, ни смерть. Как-то раз мне пришлось переводить японскому врачу, приехавшему в Россию себя пока-



зять и попрактиковать. Во время приема один из пациентов стал ему жаловаться: «Вот, доктор, никак курить бросить не могу. Сколько раз бросал, а все без толку. Что делать?»

Ответ доктора был высшей самурайской пробы: «Если не можете бросить курить, по крайней мере не думайте, что это вредно для здоровья».

Японские игроки в большой теннис никогда при подаче не берут в карман шорт второй мяч, поскольку исходят из самурайского представления о том, что обладатель двух стрел мало ценит первую попытку и потому редко попадает в цель. На международной арене, однако, японские теннисисты выступают слабо, и их представления о том, как правильно подавать, а как — нет, пока что не получили никакого распространения.

Азартные игры имеют шанс на распространение там, где есть, что проигрывать. Прежде всего я имею в виду деньги. В России XIX в. играли, конечно, и на поместья, но в древней Японии это было вряд ли возможно. Там в VIII—X веках господствовала система наделного землепользования, когда вся земля находилась в собственности государства. Подданные же считались не владельцами земли, а лишь ее пользователями. Однако и после того, как все больше земли переходило в частную собственность, на кон она почти никогда не ставилась. Дело в том, что земля фактически была коллективной собственностью: рода, клана, семьи — так что один человек, даже если это был ее номинальный владелец, в реальности не имел права на ее отчуждение.

В японской древности из настольных игр наибольшее распространение имели *го* и *сугороку*.

Го — это род облавных шашек. Они были изобретены в Китае около 3000 лет назад. Народная легенда утверждает, что го завез в Японию знаменитый знаток всяческой китайщины Киби-но Макиби (695—775), однако на самом деле игра была известна по крайней мере с VII века. На игровой доске изображено 19 вертикальных и 19 горизонтальных линий, образующих 361 пересечение. Партнеры играют 361 «камнем» (фигурой) — 180 «белых» и 181 «черных». Лишний «черный» камень компенсирует преимущество первого хода «белых». Играющие поочередно выставляют «камни», стараясь «огородить» сплошной линией часть доски. Окруженный со всех сторон «камень» соперника снимается с доски. Победителем считается тот, кому удалось занять своими

фигурами большее пространство на доске. Шашки го не считались в древности азартной игрой, и даже монахам, согласно законодательству, разрешалось играть в нее. Однако в более позднее время играть на деньги стали и в го.

«В императорском дворце Годзё водились оборотни. Как рассказывал вельможный То-дайнагон, однажды, когда в зале Черных дверей несколько высокопоставленных особ собрались поиграть в го, кто-то вдруг приподнял бамбуковую штору и посмотрел на них.

— Кто там? — оглянулись придворные.

Из-под шторы выглядывала лиса в облике человека.

— Ах! Это же лиса! — зашумели все и лиса в замешательстве бросилась наутек.

Должно быть, это была неопытная лиса, и перевоплощение ей не удалось как следует» («Записки от скуки», перевод В. Н. Горегляда).

Доска для игры в сугороку представляет собой разграфленное на квадраты поле. При этом доска разделена на две половины поперечной линией, являющейся «границей» своего и чужого полей (12 квадратов по вертикали в каждом из них). Поочередно бросая по два кубика из бамбукового (деревянного) цилиндра, партнеры передвигают фишки (числом 15, они называются «конями») по клеткам поля в соответствии с выпавшим числом. Максимально возможное число равняется двенадцати. Отсюда и происходит название сугороку — «дважды по шесть» или «дюжина». Выигравшим считается тот, кто



быстрее достигает переднего края поля противника максимальным количеством своих фигур. Эта игра была изобретена в Индии, потом перекочевала в Китай и переплыла в Японию. Игра считалась азартной — первые запреты на игру в сугороку встречаются уже в конце VII в. Одна-



ко, похоже, эти запреты не возымели должного воздействия. В хронике VIII в. «Сёку нихонги» сообщается о том, что между разгоряченными игроками случались ссоры и даже убийства. Неудивительно, что в 757 г. был выпущен очередной запрет на эту игру. В указе утверждалось: нерадивые чиновники увлекаются сугороку до такой степени, что дети перестают слушаться родителей чем наносится ущерб Пути сыновней почтительности.

Однако справиться с азартными игроками было не так-то просто. Более того, сама игра стала расцениваться наиболее философски мыслящими людьми своего времени как некая модель реальной жизни. Кэнко-хоси писал: «Когда я спросил однажды у человека, слывшего искусным игроком в сугороку, о секрете его успеха, он ответил: «Не следует играть на выигрыш; нужно стремиться к тому, чтобы не проиграть. Заранее обдумай, какие именно ходы могут оказаться самыми слабыми и избегай их — выбирай тот вариант, при котором проигрыш можно было оттянуть хотя бы на один ход. Руководствуясь этими же принципами, ты постигнешь Учение. Таковы же приемы усмирения плоти и обороны государства» («Записки от скуки», перевод В. Н. Горегляда).

Игральные карты, сделанные из бумаги, были изобретены в Индии или Китае. Широкое распространение в Европе они получают с конца XIV века. Как это ни странно, японцы заимствовали карты не обычным для себя путем — непосредственно из Китая, но через португальских купцов — в XVI веке. Поэтому и



Игроки. С гравюры сер. XIX в.

японское слово для обозначения карт — *карута* — португальского происхождения (*carta*).

Карты привились в Японии хорошо. Но не потому, что японцы стали активно играть в европейские карточные игры (хотя случалось и это). Карты полюбились японцам прежде всего ввиду их бумажной компактности. Играть же они стали по собственным правилам — бумажные карты были приспособлены для тех игр, которые пользовались популярностью в более раннее время.

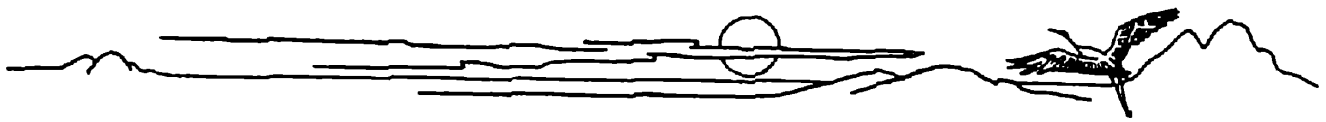
В период Хэйан среди аристократов получила распространение игра в раковины. Поначалу смысл состязания состоял в том, чтобы участники предъявили наиболее красивые и экзотические раковины. У кого раковины диковиннее — тот и выиграл. На следующем этапе развития игры стали использоваться двустворчатые раковины съедобного моллюска — *хамагури* (*Meretrix meretrix* L.). После того, как содержимое было уже съедено, верхнюю створку отделяли от нижней. Потом нижние и верхние створки (обычно их было по двенадцать) складывали особняком в середину круга. Затем каждый игрок по очереди тянул одну из верхних створок.

Его задача сводилась к тому, чтобы угадать, какая из нижних створок — парная с его верхней. Если выбор был совершен верно, вся раковина отходила к нему.

Несколько позднее эта нехитрая игра была усовершенствована: к раковинам прибавилась поэзия. Теперь на нижней створке писалось окончание стихотворения, к которому было нужно подобрать его начало, начертанное на верхней створке.

С появлением же бумажных карт японцы стали использовать их на свой «раковинный» лад. То есть набор карт делился на две полуколоды — с началом стихотворения и его концом. Наибольшей популярностью пользовался знаменитый средневековый поэтический сборник «Сто стихов ста поэтов». То есть полный игральный набор состоял из двухсот карт. Бывали карты и со стихотворениями из других классических произведений.

Аристократы в свои раковины на деньги не играли — они были выше этого. Но вот в период Эдо, когда деньги приобрели настоящую стоимость, азартные горожане стали играть на деньги и в поэтические карты. То есть поэзия в это время стала обладать денежным эквивалентом. Существовали профессиональные игроки, которые зарабатывали поэзией на жизнь. Состязание проводилось следующим образом: его участники были должны максимально быстро и ловко завершить начало предлагавшегося им стихотворения.



Про то, как Дарума за монахами в Индии наблюдал *

В давние времена был в Индии один монастырь. И было там монахов видимо-невидимо. И вот отправился Дарума в этот монастырь, чтобы посмотреть, чем там монахи занимаются. В одной келье имя Будды возглашают, в другой — сутры читают. В общем, — всюду по-разному делают. А вот в одной келье увидел Дарума двух монахов — лет им по восемьдесят или девяносто, — которые в го играли. Ни изображения Будды, ни сутр там не было. И ничего такого они не делали, только фигуры переставляли.

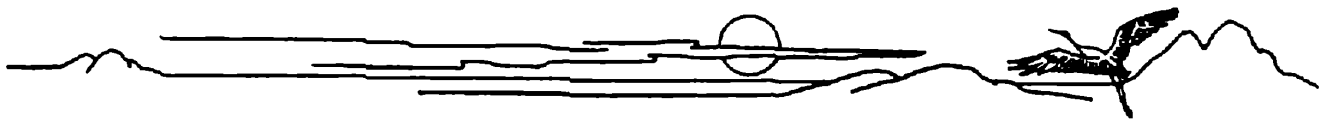
Ушел Дарума из их кельи, стал какого-то монаха расспрашивать, отчего так. Тот отвечал: «Эти старцы с юных лет в го играют, больше ничего делать не желают. Даже одного-единого словечка о Будде от них не дождешься. Другие монахи их за это не любят, дружбы с ними не водят. Потому что подношения-то они получают, а взамен что? Не по тому пути идут».

Услышал это Дарума и решил: что-то тут не так. Уселся рядом со старцами, стал смотреть, как они играют. Один — стоит, другой — сидит. И тут первый из них исчез. Очень озадачился Дарума. Но тут монах, которому надлежало ходить, снова встал у доски, а тот, что сидел, вдруг исчез, а потом снова явился. Вот оно как!

Дарума сказал: «Жалуются на вас: мол, вы только и делаете, что в го играете. Но я-то вижу, что вы просветления достигли. Могу ли я спросить вас, зачем вы в го играете?» Старцы ответили: «Многие годы за доской сидим. Когда выигрывают «черные», значит победили мирские страсти — печалимся. Когда выигрывают белые, значит победило просветленное — радуемся. И всегда мы ждем, что черные, то есть мирские страсти, проиграют, а белые, то есть просветленное, выиграют. И вот потому-то мы и достигли просветления».

Дарума оставил их келью и рассказал другим монахам, чему его научили, и теперь каждый из монахов сожалел, что в течение стольких лет пренебрегал он двумя старцами и стали теперь монахи оказывать им уважение глубокое.

* Из сборника «Удзи сюи моногатари».



Про то, как две тысячи поклонений в храме Киёмидзу были проиграны в сугороку*

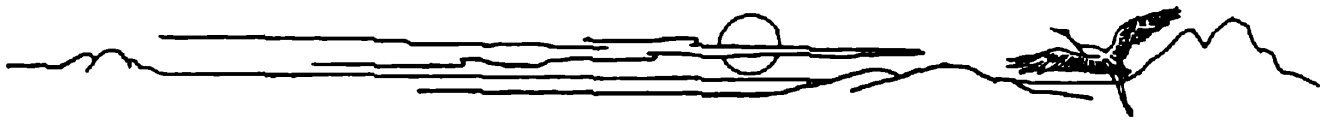
Давным-давно жил-был молоденький самурай, служивший некоему человеку. Дел у него было немного, и, как положено всем людям, дважды совершил он тысячедневное поклонение в храме Киёмидзу. Вскорости после этого сел он играть в сугороку с таким же самураем, жившем в доме хозяина. Сильно проигрался и нечем было ему заплатить. Но его крепко прижали, и он с горя сказал: «Нет у меня ничего. Только и накопил, что две тысячи дней, что молился в Киёмидзу. Берите-ка это». Присутствовавший при том человек подумал по глупости, что это надувательство, и захохотал. А вот выигравший самурай сказал: «Очень хорошо. Готов получить, коли отдашь. Но с одним условием. Три дня будешь поститься, поведашь об этом богам с буддами, напишешь записку, что передаешь поклонения мне. Вот тогда я твои поклонения и возьму». — «Договорились», — пообещал молоденький самурай.

Стал он поститься, а на третий день выигравший сказал: «Ну, а теперь — в Киёмидзу!» На самом-то деле молоденький самурай забавлялся в душе: есть же на свете такие болваны! И, обрадованный, отправился в храм. Как ему и было велено, написал записку и, позвав монаха, перед статуей Будды поведал о случившемся. А потом отдал выигравшему записку, в которой говорилось: «Две тысячи поклонений проиграны такому-то в сугороку». Тот взял записку и, обрадованный, простерся ниц. А потом ушел.

Вскорости после этого проигравшегося самурая вдруг схватили и бросили в темницу. А вот выигравший самурай так же вдруг удачно женился, разбогател, стал начальником и жил себе в достатке.

Кто-то о случившемся сказал так: «Хотя глазом эти поклонения и не видно, но если с сердцем принять их, Будда тебя пожалеет».

* Из сборника «Удзи сию моногатари».



Игра в раковины *

Девятая луна была на ущербе. Куродо-но Сёсё, сопровождаемый юным слугой, шел по предрассветной улице, подобрав концы своих шаровар. Сгустился утренний туман — никто не видел Куродо. Куродо обронил: «Вот бы найти сейчас какой-нибудь приятный дом, да такой, чтобы и ворота были не заперты...» Не успел он сказать так, как из утопавшего в зелени особняка слышались слабые звуки цитры-кото. Сердце Куродо забилось быстрее, и он обошел вокруг ограды, пытаясь найти лаз, но глинобитная стена повреждена нигде не была. Куродо подумал в волнении: «Что за дама играет столь превосходно?» И тогда он велел своему слуге, который обладал приятным голосом, прочесть стихотворение:

На рассвете
Звуки цитры
Зачаровали меня...
Остановился —
И дорогу забыл.

Ожидая появления обладательницы цитры, Куродо совсем обмер, но только никто и не подумал выйти к нему и потому он направился дальше. И вскоре очутился возле особняка, перед которым сновали туда-сюда прехорошенькие девочки, куда вбегал юные и взрослые слуги — кто-то бережно держит на поднятых вверх руках прелестные коробочки, у кого-то из широких рукавов торчат очаровательные письма.

Куродо стало любопытно и он, избегая людских глаз, прокрался в сад — встал посреди метелочек густо разросшегося мисканта. И тут увидел спешившую в его направлении прелестную девочку лет восьми-девяти — из-под темно-сливовой верхней накидки виднелась нижняя, бледно-лиловая, в руках — лазуритовый кувшин с ракушками.

* Рассказ приводится в сборнике «Цуцуми-тюнагон моногатари». Он фиксирует реалии того времени, когда игра в раковины еще не приобрела своего законченного вида — на створках раковин еще не писали стихов. В рассказе не описывается процесс игры, но из контекста понятно, что речь идет о состязании, в котором побеждает тот, кто предъявит более красивые раковины и оформительские проекты (например, упомянутый в рассказе макет морского побережья).

Куродо наблюдал за ней со смущением, и тут, заметив рукав его одежды, она вскрикнула: «Здесь кто-то есть!»

Застигнутый врасплох Куродо произнес: «Не шуми так! Мне надо с тобой поговорить, поэтому я и спрятался здесь. Подойди-ка поближе!»

«Завтра у нас такое важное дело, мне совсем некогда с вами разговаривать», — произнесла девочка скороговоркой и совсем было уже

собралась убежать, но только любопытство Куродо распалилось, и он сказал: «Чем же это ты так занята? Расскажи мне — и тогда я сумею помочь тебе». Тут девочка переменила свое намерение скрыться и встала, как вкопанная. «Наша молодая хозяйка Химэгими и ее сводная сестра госпожа Хингаси решили устроить игру в раковины, они собирали их последние несколько месяцев. Хингаси помогают важные придворные дамы — Тайфу и Дзидзю, а Химэгими приходится справляться в одиночку, она очень волнуется. И потому она велела мне найти кого-нибудь, кто отправился бы к ее старшей сестре за подмогой».

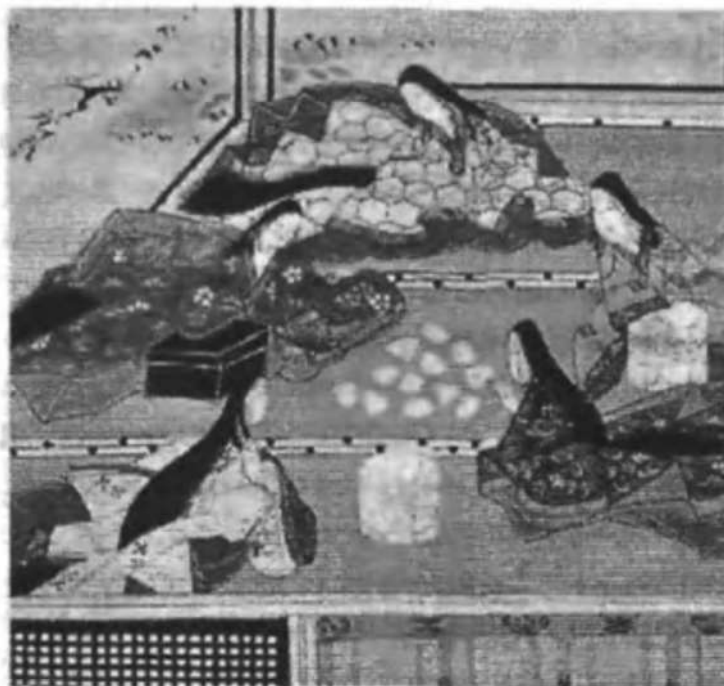
— А можно было бы мне взглянуть хоть в щелочку, что там поделяет твоя госпожа? — спросил Куродо.

— Лучше вы об этом с кем-нибудь другим поговорите. Матушка запрещает мне такие штучки проделывать.

— Что за глупости! Уж я-то умею держать язык за зубами! Выиграет твоя хозяйка или проиграет, зависит целиком от тебя. Ну, так что? Проведи-ка меня поближе.

Девочка забыла про свои опасения: «Хорошо, я согласна. Я придумала, где вам спрятаться. Только поторопитесь, пока не поднялся шум». С этими словами она отвела его к боковому входу на западной стороне дома — там, где были навалены грудой ширмы.

«Да, попал я в переделку — доверился какой-то девчонке. А что, если меня обнаружат?» — с беспокойством думал Куродо. Всмотревшись в глубь дома, он насчитал там более десятка девушек лет четырнадцати-пятнадцати. Были там и совсем малышки — вроде той, что привела его сюда. Одни раскладывали раковины по ящичкам, другие закрывали их крышками. Было шумно. Затем из-за полога возле бам-



буковых занавесок показалась сама Химэгими. Ей было не больше тринадцати лет. Волосы спадали ей на лоб. Она была настолько очаровательна, что казалась существом из какого-то иного мира. Ее накидки представляли собой сочетание багряного, зеленого и лилового цветов. Химэгими подперла щеку рукой и выглядела весьма подавленной. Куродо стало жаль ее.

Тут появился мальчик лет десяти. Одет он был как-то небрежно — накидка окраса опавших листьев, штаны — какого-то неопределенного цвета. Он подошел к мальчику одних с ним лет и показал ему чудесные раковины, которые он извлек из прелестного — чуть меньше коробки для тушечницы — ящичка из сандалового дерева. Мальчик разложил раковины и сказал: «И где я только не был! Весь дворец обошел! Пошел к госпоже Согёдэн, и она дала мне вот эту... Дзидзю сказала мне, что Тайфу получила в подарок много раковин от госпожи Фудзицубо... Всех обошел. На обратном пути все беспокоился, как вы тут...» Лицо мальчика покрылось краской смущения.

Услышав слова своего братика, Химэгими огорчилась еще больше. «И зачем только я затеяла эту глупость? Почему из-за этих раковин поднялся такой шум?»

«Почему, почему... У тебя самой ведь ничего не получается! А мать Хингаси, говорят, послала людей к жене самого Внутреннего министра! Ах, если бы была жива наша матушка... Все было бы по-другому». Мальчик был готов разрыдаться.

Куродо наблюдал за происходящим с сочувствием. Тут его знакомая девочка сказала: «Сюда направляется госпожа Хингаси! Прячьте скорее раковины!» Раковины попрятали в кладовку. Присутствующие расселись с самым невинным выражением на лицах.

Вошла Хингаси. Она была чуть постарше Химэгими. Сочетание цветов ее одежд было выбрано неудачно — ярко-желтый, красный и коричневый. Волосы Хингаси были превосходны и чуть-чуть не достигали пола. Но Куродо показалось, что ее внешность не шла ни в какое сравнение с Химэгими.

Хингаси сказала: «Почему вы не показываете мне тех раковин, которые добыл младший брат Химэгими? Вообще-то мы договорились не предпринимать ничего заранее, и я твердо держалась этого, не приготовила ни одной. Теперь полагаю, что была неправа. Может быть, все-таки дадите мне несколько раковин, тех, что покрасивее?»

Куродо был неприятно удивлен ее оскорбительным тоном и решил, что должен помочь Химэгими.

Химэгими сказала: «Мы тоже ничего не предпринимали. Мне непонятно, о чем это вы говорите?» При этом она сидела совершенно неподвижно — Куродо еще раз оценил ее красоту.

Хингаси огляделась вокруг и ушла.

Знакомица Куродо, окруженная несколькими девочками, уселась прямо напротив Куродо и начала молиться: «О "Сутра Каннон", которой поклонялась матушка! Сделай так, чтобы моя госпожа победила!» Куродо при этом ощущал себя статуей Каннон. Он боялся, что девочка помянет в молитве и его самого, но только остальные девушки вдруг повскакивали и скрылись, кто куда. Куродо вздохнул с облегчением и тихонечко прочел:

Плачут и плачут:
Раковин нет.
Волны катят,
Сердце мое несут
Прямо в ваши объятья.

Тут одна из девочек сказала: «Слышите? Кто-то спешит нам на помощь!»

Другая спросила: «Кто там?»

— Это сама Каннон!

— Вот радость-то! Надо Химэгими сказать!

Радость радостью, но только девочки от страха разбежались.

Куродо забеспокоился, поскольку глупое стихотворение могло выдать его. Однако девочки подбежали к Химэгими и сказали только следующее: мы молились о том-то и о том-то и тут нам был голос Каннон — такой-то и такой-то.

Химэгими весьма обрадовалась и спросила: «В самом деле? Сама Каннон обещалась помощь? Даже страшно как-то!» Тут вся ее печаль куда-то улетучилась, глаза заблестели — хороша!

Девочки говорили так забавно: «А что, если Каннон свою доброту окажет, и раковины так и станут с потолка падать!»

Куродо решил было немедленно возвратиться домой и придумать нечто такое, что могло бы помочь Химэгими победить, но при свете дня он не мог сделать этого без опасности быть обнаруженным, и потому ему пришлось провести в своем укрытии целый день. И только когда стало смеркаться, он незаметно исчез.

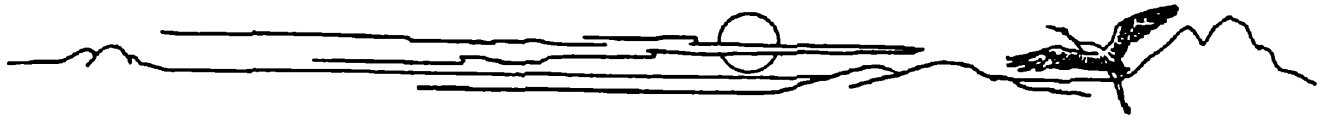
Вернувшись домой, Куродо взял имевшийся у него великолепный макет извилистого морского берега, сделал в песке углубление и поставил в него чудесную коробочку, наполнив ее самыми разнообразными ракушками. Поверх них он положил створки раковин, сделанные из золота и серебра. После этого он начертал мелкими знаками:

Если доверитесь
Волнам синим,
Подойдите поближе:
Увидите сердце мое,
Что раковинами полно.

Привязав стихотворение к своей посылке, Куродо вручил его юному слуге. Они прибыли к дому Химэгими еще перед рассветом. К ним выбежала давешняя девочка. Весьма довольный своей придумкой, Куродо сказал: «Я не обманул тебя и пришел на помощь!» С этими словами он достал из-за пазухи изумительную коробочку и продолжал: «Никому не говори, откуда она взялась. Положи ее вместе с другими. Но ты должна мне предоставить возможность увидеть, что случится сегодня».

Девочка радовалась безмерно. «Спрячесь в том же месте, что и вчера. Никто вас там не увидит». Оставив подарок у южной лестницы, Куродо проследовал в свое укрытие. Он увидел два десятка девушек в праздничных одеждах. Когда они подняли деревянные решетки перед окнами, то увидели подарок. «Откуда это? Откуда?» Кто-то сказал: «Это не дело рук человеческих! Это вчерашняя Каннон послала нам подарок! Вот ведь добрая какая!»

Они кричали так радостно и так громко, что Куродо наблюдал за происходящим с нескрываемым удовольствием.



Кавабата Ясунари

Приближение зимы

Он играл в шашки-го с монахом из горного храма.

— Что случилось? Ты сам не свой, ничего у тебя не получается.

— Когда наступают холода, я жухну, словно травинка, все у меня из рук валится.

Он был совершенно подавлен, не мог даже взглянуть на своего соперника.

Вот и прошлым вечером он и она разговаривали в заброшенном флигеле гостиницы, разговаривали под шорох стремительно опадающих листьев.

— Когда начинают мерзнуть ноги, каждый год я хочу обзавестись семьей. Только о том и мечтаю.

— С тех пор, как похолодало, мне стало казаться, что я тебя не стою. Ни одной женщины не стою. Я думаю об этом все больше и больше.

Теперь они уже перестали понимать друг друга. Поэтому он добавил: «Когда зима близко, мне хочется молиться. Но это не от покорности, а от слабости. Я думаю: вот бы жить одним богом, и тогда я был бы счастлив тем, что просто ем свой рис. Мне хватило бы одной плошки».

На самом-то деле они каждый день заказывали себе шикарные блюда, чересчур шикарные. Но они не могли оставить эту гостиницу на горячих источниках. Если бы все шло, как им хотелось, они бы сняли на лето тот дом, который она потеряла уже давно. Но полгода назад они сбежали именно сюда, скрылись здесь. Уж так получилось. Хозяин знакомой гостиницы не говоря ни слова отвел им комнату во флигеле. Денег у них не было, уехать было нельзя. За это время постоялец забыл, что такое надежда и стал фаталистом.

— Ну что, сыграем еще одну партию? Я разведу огонь.

Когда он уже подумал, что в этот раз наверняка выиграет, монах бесцеремонно продвинул шашку в самый угол доски. Этот маневр хорошо удавался деревенскому монаху, нужно было всегда опасаться его. Постояльцу вдруг стало неинтересно, азарт покинул его.

— Пока спал, ничего не придумал против моего приемчика? В этом ходе заключена судьба.

Но его противник только беспомощно уронил шашку на стол. Монах громко рассмеялся.

— Ну кто же так играет? Прежде чем в атаку идти, надо руку набить.

Шашки монаха полностью оккупировали неприятельский лагерь. Конец близился, монах был беспощаден. И тут вдруг погас свет. Монах заохал: «Ой-ой-ой! Напугал! Ты превзошел самого основателя! Ну и силища у тебя, куда основателю до тебя! Оставил меня в дураках! Ох, страшно мне, ох, страшно!»

В полной темноте монах поднялся, чтобы пойти за свечой.

Это маленькое происшествие впервые заставило постояльца рассмеяться.

Присловья вроде «Пока спал, ничего не придумал?» или «Ну кто же так играет?» были обычными для их сражений. Они перекечевали из легенды об основателе храма, легенды, которую рассказал ему монах.

Этот храм был построен в то время, когда сёгунами были Токугава. Основателем храма был некий самурай. Его сын страдал слабоумием. Местный князь издевался над ним. Самурай зарубил его, убил своего сына и покинул пределы княжества. Когда он скрывался в горах возле этих самых горячих источников, ему привиделся сон: во сне он сидел под расположенным поблизости водопадом и медитировал. Тут появился сын князя и одним ударом меча — наискось от левого плеча — рассек самурая надвое. Самурай проснулся в холодном поту. «Какой странный сон!» — подумал он. Во-первых, он никогда и не думал сидеть под водопадом. Во-вторых, совсем не в его натуре было спокойно сидеть и ждать смерти от отточенного клинка. Ну не мог он, он, который гордился своим умением сражаться на мечах (хотя его способы ведения боя и отличались от того, чему учили в его княжестве), позволить какому-то молокососу рассечь себя одним ударом, даже если этот удар застал его врасплох. Однако именно потому, что сон его был столь далек от действительности, самурая одолело беспокойство. А может, это его судьба? Если считать, что рождение сына-идиота было предначертанием судьбы, почему бы не посчитать за таковое и собственную смерть у водопада? Может, во сне ему и открылась судьба? Может, это был вещий сон?

Вот так весьма странным образом и получилось, что этот сон приковал его мысли к водопаду. «Хорошо», — подумал он. — «Теперь сражусь со своей судьбой. Посмотрим, чья возьмет».

И теперь он стал каждый день ходить к водопаду. Подставив свое тело под его струи, он затем важно восседал на скале и каждый день видел сны наяву. Ему продолжал грезиться матовый клинок, рассека-

ющий его надвое. Нужно было хоть как-то спастись от него. Нужно было отвести его от плеча и направить в скалу. Целый месяц он готовился к этому и вот, наконец, меч лишь скользнул по плечу и ударился о камень. Самурай заплясал от радости.

Само собой разумеется, что наяву случилось то же самое, что и во сне. Даже когда княжеский сын вызывал на поединок своего заклятого врага, даже когда он обзывал его скотиной, самурай спокойно сидел с прямой спиной и медитировал — его не существовало. Он растворился в грохоте водопада. Глаза его были плотно закрыты. Но он все равно увидел матовый клинок. Враг обрушил на него меч, но он ударился о скалу. Сын князя поранил себе руку. Самурай открыл глаза.

— Ну кто же так делает! Полагаешь, что раз научился махать мечом, ты можешь победить богов неба и земли? Я набрался у них сил, чтобы отвести твой меч. Я набрался у них силы — вот и отвел меч судьбы на самую малость.

После того, как монах рассказал эту историю, он частенько с задором повторял «Ну кто же так делает!» и живот его сотрясался от смеха.

Монах принес свечу. Но его гость сказал, что пора уходить. Поставив свечу внутрь бумажного фонарика, монах проводил его до главных ворот храма. Луна обдавала их холодным сиянием. Ни на горе, ни в долине не было видно ни одного огонька. Оглядывая горы, гость произнес: «Мы перестали понимать радость, которую приносит лунная ночь. Только когда никаких фонарей не было, люди по-настоящему умели радоваться луне».

Монах тоже посмотрел на горы. «Да, это так».

— Когда сейчас поднимаешься в горы, часто слышен призывный рев оленей. Брачный сезон настал.

«А как там моя самка?» — спросил он себя, спускаясь по каменным ступенькам лестницы, ведущей к храму. «Наверное, как всегда, лежит на матрасе, подложив руку под голову».

В последние дни горничная стелила рано. Но он не ложился спать. Ему не хотелось завертываться в одеяло, он растягивался прямо на матрасе, прятал ноги в длинных полах своего кимоно, лежал на локте. Эта привычка передалась и ей. И вот теперь каждый вечер они растягивались — каждый на своем матрасе — в одинаковых позах и старались не смотреть друг на друга.

Выйдя из ворот храма, он подумал, что вот эта ее поза и есть его судьба. Он решил, что с этой судьбой бороться бесполезно.

«Поднимайся-ка! Сядь прямо! Что сказал?» — закричал он ей. Потом увидел, как пляшет фонарь в его дрожащих руках. На веках был ночной холод приближающейся зимы.

Люди

Как я стал японистом и им же остался

Я родился в 1951 году. Нужны ли еще пояснения? Война кончилась шесть лет тому назад. Половина моих соклассников не знала своих отцов в лицо. Отцы победили Германию. А какой спрос с победителей? Их осталось немного, а оттого они жили по законам послевоенного времени, когда женщин осталось в живых больше.

Мне повезло — я родился в семье, где я мог пару лет видеть лицо отца. Но я все равно не помню его, потому что мужчин было меньше, чем женщин. И мужчины знали это.

Безотцовское воспитание имело для меня свое последствие — некоторую женственность образа чувств. Хорошо ли это? Я не отвечу. Я получился таким, каким стал.

Мои соклассники тоже стали, какими они стали. Они утробно смеялись, когда на школьном вечере я читал ломающимся голосом: «О подвигах, о доблести, о славе...», но потом я полюбил их просто за то, что они на этом вечере были. Мои мучения не были чрезмерными, потому что помимо стихов я любил мячик сильнее их. И мою быстроноготь крыть было нечем — они прощали мне мою «Незнакомку». Я был капитаном школьной гандбольной команды, и мы выиграли третье место по Москве. С тех пор я не поднимался выше. Голы, которые я забил тридцать пять лет назад, я и сейчас оживляю в памяти, когда сон не идет ко мне.

Предварительный итог: к окончанию школы я знал немыслимое число стихов и ничего не знал про Японию. Для юноши моего поколения ничего в том особенного не было. Япония тогда еще не была на слуху. Миф о Японии еще не успел превратиться в заразу.

В общем, из моего 10-го «Б» почти никто не пожелал заниматься чем-то гуманитарным, т. е. человеческим. Шел 1968 год. Страна платила свои подачки за то, чтобы люди определялись по военной линии. В военные не пошел никто, но зато столько светлых голов захотело придумывать что-нибудь разрушительное. Бомбы, ракеты, подводные лодки... В августе этого самого 1968 года советские войска оккупировали Чехословакию.

А что я? Я хотел сочинять что-нибудь замечательное. Никакого creative writing'a для пацанов тогда предусмотрено не было, и потому у меня родилась шальная фантазия сдавать экзамены на факультет журналистики МГУ. По полному незнанию жизни профессия журналиста казалась мне тогда авантажной. Меня спас мой дядька. Он был китаистом. Дядя Витя сказал: «Ты что, с ума сошел? Ты же честный человек! Тебе ремесло нужно. А ремесло — это язык. Попробуй-ка японский — не пропадешь».

Вообще-то говоря, была мне прямая дорога на филфак или же на исторический. Это все-таки как-то логичнее — интересоваться родной словесностью и такой же историей. Но после дядиных слов что-то запало в мою подсознанку, потому что в результате усиленного штудирования доступных мне пособий и отечественная словесность, и отечественное прошлое перестали вдохновлять меня: классовая борьба с матом-диаматом выжрала из предмета самое существенное — человека.

Словом, дядя Витя спас меня от позора и дисквалификации. По его наущению я подал документы в Институт восточных языков при МГУ. И никогда не жалел об этом.

И не в том дело, что учителя или же студенты были там особенно хороши. Исключения встречались, но большинство учителей-профессоров были деятелями на ниве просвещения, замученными советско-партийными кошмарами. Большинство студентов ввалились в институт из приличных семей советских деятелей среднего пошиба, и в голове у них не оставалось места на глупости. В голове у них были зарешеченные окна советских учреждений за пограничными рубежами и какой-нибудь доппак за знание сверхсекретных материалов (впрочем, по мировым понятиям ничтожный — видимо потому, что никаких секретов на самом-то деле не было). Детки совсем уж отпетых родителей предпочитали Институт международных отношений — их папочки любили своих отпрысков и желали им не костоломной партийной карьеры, а чего-то более европейско-парижского.

Но сам предмет изучения был выбран правильно. Это я понимаю задним числом. Этот предмет, при всех издержках заведения,

для поступления в которое требовалась рекомендация райкома комсомола, открывал инаковость мира. Сам японский язык говорил: есть буквы и есть иероглифы, писать можно слева направо, а можно — справа налево. Не говоря уже обо всем остальном: можно пить черный чай, а можно зеленый, можно сидеть на стуле, а можно и на циновке. То есть получалось, что жить можно и так, и эдак. И это было потрясающее открытие. Так я обрел вторую родину.

Страна гналась за Америкой, и Восток к тому времени в фантазиях советских пропагандистов был идеологической обочиной. А на периферии, как известно, хватка «большого брата» всегда слабеет. В особенности если заняться такой бесполезной штукой, как древность. Не имея желания растрачиваться в борьбе с превосходящими силами противника, я предпочел древне-средневековую Японию. Задача формулировалась так: спрятаться в коридорах востоковедения.

У меня были славные предшественники: Н. И. Конрад, Н. А. Невский, Н. Фельдман, В. Н. Маркова, И. Львова, А. Е. Глускина, Н. А. Иофан... И по уровню концентрации компетенции и порядочности на один квадратный метр маленькое сообщество знатоков старой Японии, равно как и старого Востока вообще, сильно превосходило остальную часть отечественного востоковедения. «Он занимается современностью», — так пренебрежительно аттестовали мы людей, которые казались нам никчемными. Еще бы: нас не жаловало премиями начальство, но зато и не особенно неволило в части выбора тематики исследований. Я хочу сказать, что врать приходилось меньше. Нас печатали с неохотой, но печатали — у коммунистов было представление о том, что наука — это хорошо. Потому что на самом-то деле больше всего на свете они хотели быть принятыми в «высшем» обществе, где негр открывает вам дверцу автомобиля и подает что-то вроде манто. А высшее общество — это высшее общество, там никчемное знание ценится.

Книги и статьи про древне-средневековую Японию были наперечет, но зато каждая публикация становилась событием. Моя первая книжка переводов была составлена из средневековых буддийских рассказов. Пользуясь случаем, в предисловии я писал, в частности, о причинах тяги читателя к японской литературе эпохи Хэйан: «Возможно, именно в откровенной “непубличности” произведений аристократок и заключается секрет популярности их творчества среди значительной части западной интеллигенции, пресытившейся тоталитарными формами мышления XX в.». Книга вышла в свет в 1984 году. Мои коллеги, читавшие книгу в рукописи, единогласно утверждали, что цензура эту фразу не

пропустит. Книга вышла в свет под названием «Японские легенды о чудесах». Цензура и вправду вычеркнула из заголовка слово «буддийские», но за «тоталитарные формы мышления» никто не уцепился. Мускулы режима сделались дряблыми. Но искушенный советский читатель понимал — что к чему. Тираж в 70 тысяч экземпляров был распродан мгновенно. На черном рынке за книгу давали 10 рублей, а стоила она 80 копеек. Я знаю человека, который своровал мои «Чудеса» из библиотеки. Я этим горжусь.

Так же как и книги про древне-средневековую Японию, и мы тоже были наперечет. Мы, спрятавшиеся в библиотеках за свои фолианты, так спасали себя от нравственного и интеллектуального вырождения. Мы, часть страны. И, как часть страны, мы получали свою долю общенационального богатства — зарплату. Как и во всех мыслимых уголках страны, доля эта была невелика, но достаточна, чтобы восполнить энергетические расходы научного организма полуотравленной колбасой по два двадцать. Доллар тогда стоил шестьдесят копеек.

С перестройкой и распадом Союза нам померещилось, что мы, наконец-то, окажемся действительно востребованными. Все, что копилось-отлеживалось в письменном столе, было вывалено на книжный прилавок. Это вызывало иллюзию благополучного состояния дел в отечественной японистике. Когда я дарил коллеге свой очередной перевод, он, будучи по стечению непонятных мне обстоятельств сторонником общественной собственности на средства производства, с некоторой горечью заметил: «Ничего мне в нынешней жизни не нравится, но только переводов японской классики за последнюю пару-тройку лет вышло больше, чем за все годы советской власти».

Но довольно быстро стало понятно, что имевшиеся в письменном столе запасы — конечны. В связи с переходом читателя на детектив и телевизор наши книжки попадали теперь в категорию «интеллектуальных бестселлеров» — тиражи стали стремительно падать. Падают тиражи — падают и гонорары. За книгу, на которую ты потратил пару полновесных лет, ты получаешь в лучшем случае 500 у. е. Неплохо, конечно, для доктора наук с зарплатой в 50 ежемесячных долларов, но и при такой прибавке прожиточного минимума не получается.

Иными словами: нам было предложено сменить стратегию выживания. И теперь речь пошла о выживании физическом. Если руководители СССР заботились о витрине, одним из экспонатов которой является и гуманитарная наука, то люди, пришедшие им на смену, никаких сверхидей, похоже, не имели и не имеют.

Если руководители прежние затыкали нам рот, то руководители нынешние бросили клич: спасайся, кто как может! Интеллектуальные ресурсы японистики и так не были чересчур велики, сейчас они тают с головокружительной быстротой: люди умирают, уезжают, переквалифицируются. А новое поколение выбирает в силу вполне уважительных причин что-нибудь поближе к банковской сфере. Что, возможно, совсем неплохо для банков.

Что значит сегодня быть японистом, т. е. человеком, который желает изучать Японию? Я говорю об оставшихся. О тех, кто не бросил свое дело на полпути, не стал заниматься коммерцией или чем-нибудь еще.

Есть три стратегии выживания.

Стратегия первая: уехать в Японию. Довольно многие выбрали этот путь. Однако в Японии иностранные японисты не нужны — слишком велика конкуренция, слишком разнятся подходы к предмету. Японцам нужно совершенно конкретное знание (в школе чайной церемонии такой-то принято наливать воду в котелок левой рукой так, чтобы мизинец был оттопырен), и мы с нашими культурологическими идеями там совершенно не ко двору. Так что переехавшие в Японию российские японисты отдаются преподаванию русского языка и литературы, что повышает уровень знания японских студентов о России, но зато сами преподаватели русского в области японистики работать в полную силу не в состоянии. Потому что надо готовиться к занятиям.

Стратегия вторая. Преподавать в нескольких университетах в России. Мне известны случаи, когда люди вырабатывают до 40 часов лекционной нагрузки в неделю — при том, что 8 часов — это почти что предел. Если, разумеется, ты хочешь заниматься и наукой тоже.

Стратегия третья. Время от времени уезжать в Японию, зарабатывать там денег — грантом или же преподаванием, а в России постепенно проедать их, занимаясь наукой и воспитанием следующего поколения японистов. Это мой случай.

Несмотря на вышеперечисленные гримасы истории, я ощущаю себя вполне счастливым. Потому что занимаюсь любимым делом, в котором нет предела совершенству. Потому что временами ощущаю себя полным неучем. Потому что история — японская и российская — научила меня, что времена, как и страны, бывают разные. Бывали и много хуже. Твоя же задача — ежедневно проверять свой почтовый ящик, в который ветер истории доносит весточки с обеих твоих родин. Ну а ты, как можешь, отвечаешь на них.

Гуманитарии всех стран, соединяйтесь!

Путешествуя от Москвы до дачи, поневоле вступаешь в разговоры. И, конечно же, твой собеседник желает не просто раздавить с тобой бутылку или же перекинуться в карты, но и узнать — чем ты на жизнь зарабатываешь. Вопрос — простой, а ответить на него — сложно. По юности лет я отвечал честно — историк я, мол, что ни спроси про японскую историю — все тебе без заминки отвечу. И встречал полное непонимание, потому что за первым вопросом регулярно следовал второй: а на кой это нужно?

Утомившись отвечать на второй вопрос, я придумал себе такую «отмазку»: переводчик я. А с переводчиком — все понятно. Ну, переводит себе человек, что ему начальство скажет — что-нибудь про мирное использование атома или еще про что такое в народной жизни употребимое. Все таким пробавляемся.

Улучив минуту для откровенности, поинтересовался у американских японистов насчет общественного резонанса в оценке их общественной полезности. Ответ получил сходный: налогоплательщик озабочен тем, как бы поскорее сбросить нас со своей трудовой загорелой шеи.

А вот в Японии народ совсем другим озабочен. На публичную лекцию по древнейшей истории по тысяче человек приходит. Слушают тщательно и вопросы со смыслом задают. Случаются, правда, и исключения. Вот читаю я там лекцию — про японские же древности. И вполне остаюсь доволен связностью своего рассказа. «Есть ли вопросы?» Есть, разумеется. Там находка какого-нибудь самого паршивого курганчика на первых страницах общенациональных газет печатается!

«Я — человек рабочий» (нутро у меня холодеет — сейчас скажет: «а на фига?»). «И как человек рабочий, хочу вас прямо и откровенно спросить. Вот вы, профессора, всю японскую страну перерыли своими раскопками, каждый день в органах массовой информации светитесь. А кто эти курганы, горшки керамические и мечи непосредственно находит? Вы, что ли? Нет, не вы, а мы — простые, как мычание, землекопы. А почему это только вас в телевизоре показывают?»

Недоумение, прямо говоря, не совсем по адресу — я хоть ученый, но землю японскую лопатой тревожить не пришлось. Но тут ведущий инициативу отважно на себя взял, стал говорить, что важно не только найти, но и интерпретировать, к периоду отнести... Ну, и так далее. Срезал, в общем. Но чувство неудовлетворенности во мне все-таки осталось.

Лично я никакую профессию сомнению не подвергаю. Даже жрицы любви и налетчики в мою картину мира вписываются. Но если у вполне разумных людей возникают ко мне вопросы принципиального свойства, значит что-то не так мы (я, мои коллеги по цеху) делаем. По мне так: раз такие обидные вопросы у отдельных представителей самых разных этносов возникают, что-то мы перемудрили... Мычим только, а сказать-то и не умеем.

Пожив в Японии, знаю, что местные кошки, в отличие от людей, по-русски замечательно понимают.

Ну вот, например. Живу я себе на самой окраине Киото. Зима, но снега, конечно же, не наблюдается. Как-то не по себе, организм холода требует. Но однажды просыпаюсь, жалюзи открываю — на подоконнике лужа от излишней разницы температур, а в поле — белым-бело. Выбежал, стал воздух морозный ртом ловить. Снежок скрутил, запустил в *Cereidiphyllum japonicum*, багряник японский по-нашему. А по-ихнему — *кацура*, по которой и вся гора, на которой дом стоит, называется. Смотрю, и серенькая кошка моя знакомая аккуратненько так и несколько боязливо по снежку ступает. Очень женственно к помойке направляется. Не тут-то было — пластмассовую крышку бака так снегом придавило, что пришлось ей без завтрака остаться. Не желая вмешиваться в суверенный природный процесс, помогать ей не стал. Зато сказал ей совершенно русским языком: «Главное — терпение. Важно без обеда не остаться. Жди. Здесь тебе не Россия — солнышко снег в этой стране побеждает быстро». Послушалась, возле дома уселась, где снега поменьше. И вправду — к полдню денек разгулялся, снежная шапка на баке стояла — вот тебе и обед поспел.

Но лингвистические способности и русских кошек тоже не хуже.

Одна моя знакомая японская бабушка несколько лет назад выдала замуж в Москву свою дочь. И здесь она от неизлечимой болезни умерла. Бабушка потому часто в Россию навещалась — на могилу. В связи с частыми приездами обросла знакомствами.

А надо сказать, что кошатница она такая, каких мало. Но мне говорила: «Все, кошку никогда больше не возьму. Когда умру, кто ж ее пригреет? Котенка еще может быть кто-нибудь и возьмет. А взрослой кошке на улице пропадать».

Но жизнь, однако, по-другому повернула. В той квартире, где она привыкла останавливаться, появился сначала огромный пес, а потом и трехцветный котенок — рыже-бело-черный. И вроде бы не враждовали они, но только от неумеренных собачьих игр появились на кошачьей шкурке следы песьих зубов. Тут японское сердце не выдержало — договорилась бабушка с хозяевами и, пройдя всех ветеринаров и таможни, увезла русского котенка в Страну восходящего солнца.

Навещал я их там. Котенок вырос, округлился, стал кошкой по имени Суси (это рисовый колобок такой с наверху из рыбы). Живут они с бабушкой душа в душу, очень хорошо друг друга понимают. Похоже, что Суси по своей исторической родине тоски не испытывает, японский телевизор смотрит с удовольствием. Включая новости. Особенно нравятся ей передачи о животных.

А что бабушка? Рядом с кошкой она обрела некоторое душевное равновесие, но временами хочется кое-кого из своих московских друзей к себе в гости пригласить. Сама-то она невыездной сделалась — на кого же ей, одинокой, Сусечку свою оставить?

И вот решила она приглашение одному своему знакомому оформить. Ответ же такой пришел — куча бумаг на заполнение: кто ты таков, да сколько у тебя денег с недвижимостью, ну и так далее.хлопотно, конечно, но терпимо. Но, кроме того, вменялось еще в обязанность предоставить документальные свидетельства знакомства. Под которыми разумеются совместные с приглашаемым фотографические изображения плюс оригиналы писем, которыми им положено обмениваться. Причем в примечании указано, что если вы желаете письма для памяти сохранить, то, мол, сделайте-ка себе с них ксерокс. Потому что оригиналы в архиве навечно оседают.

Бабушка возмутилась и позвонила в свой родной МИД. Там ей ответствовали, что все это оттого происходит, что между Россией и Японией мирный договор до сих пор не заключен. И, разумеется, еще северные территории в подтексте.

Не стану в политику вдаваться (сам-то я считаю, что чужое возвращать все-таки в приличном обществе принято). Но скажу, что кошкой все-таки спокойнее быть. На нее, по крайней мере, не распространяются последствия неурегулированных межгосударственных проблем. И особого приглашения для пересечения государственной границы тоже пока не требуется. Только справка о здоровье и добрая воля хозяина.

Пока худшие (то есть мужские) представители цивилизованного человечества наблюдали по «телеку» битвы лучших футбольных дружин Старого Света на чемпионате Европы, ваш покорный слуга гонял мячик на самой окраине города Киото, который, между прочим, был основан в 794 году. Проведя за переводом древней хроники год в Японии, я вполне освоился и с нынешними обычаями и даже вступил в местный футбольный клуб, где и предавался беготне с киотосскими подростками и их папашами. И ничуть не пожалел о том, что пропустил чемпионат Европы, который, ввиду явной периферийности его в узких глазах обитателей архипелага, освещался весьма скупо. Не пожалел потому, что опыт вышел поучительным.

Выйдя на поле в первый раз, я довольно быстро забил две «банки». Что и неудивительно: подростки есть подростки, а взрослые мужики играли когда-то в своей школе в более бейсбольные игры. Я же прожил свое детство со сбитыми коленками, совершая подкаты в асфальтированных московских дворах.

Очень довольный собой, я уселся в перерыве на землю и стал потягивать свой сок в ожидании похвал моему мастерству. Подошел тренер. «Устал?» — «Немного». — «А ты не носись так». С этими словами он отправился раздавать советы другим игрокам.

Будучи знаком с японской манерой выражаться в течение трех десятков лет, я обреченно расшифровал его message: больше забивать нельзя, потому что это нарушает принцип справедливого распределения голов на среднестатистическую душу. И потому после перерыва встал в глухую защиту. Что, впрочем, не было

чересчур обидно, потому что счета не велось. То есть победитель не определялся. Игрокам был важен процесс, который и являлся главным результатом, что в моих выпученных глазах уравнивало его с вечерней пробежкой перед сном, от которой есть польза здоровью, но вот удовольствия — никакого. Я же, разумеется, хотел выиграть. Но оказалось, что выигрывать было не у кого. То есть победить можно было только самого себя. Получалось вполне по-дзенски.

После окончания тренировки тренер добродушно похлопал меня по плечу: молодец, умеешь неизреченное понимать.

Однако радость по поводу собственной сообразительности была преждевременной. На следующей тренировке тренер восхищенно (о, это знаменитое японское двуличие!) сказал: «До чего же ты футболом увлечен! В обыкновенных трусах играешь!» И скрылся на необъятном футбольном поле.

Я обреченно оглядел себя в направлении сверху вниз. На мне были сатиновые пляжные шорты, которые не имели ничего общего с нижним бельем. Даже карманчики, между прочим, у этих шорт были. Однако *message* есть *message* — предстояло покупать специализированные футбольные трусы долларов за пятьдесят. И хотя в шортиках я чувствовал себя вполне комфортно и отсутствие фирменных трусов никак не влияло на мою результативность, следовало соответствовать тренерской установке, которая, в свою очередь, вполне соответствовала местному представлению о том, что все (будь то офис или футбольное поле) должны быть одеты по форме.

В силу разных причин к следующей тренировке купить футбольные трусы мне не удалось. Тренер, похоже, предвидел и это. Поэтому перед тем, как попрощаться, он протянул мне трусы, сказав одно-единственное: «Дарю».

Трусы оказались ношенными. При этом тренер явно не хотел обидеть меня. Наоборот — он хотел помочь мне. Чтобы я не выглядел уж полным идиотом на фоне прекрасного единообразия. Понимая это, я поплелся в спортивный магазин. В силу специфики нашенского национального менталитета я не мог играть в чужих трусах.

На следующей тренировке тренер встретил меня ласковым взглядом. И я подумал, что теперь-то ко мне уже не придерешься. Однако чуть позже я снова попал впросак. Пошел вульгарный дождь. Что делает русский человек в таком случае? Он плюет на дождь и снимает майку, потому что в мокрой майке бегать ему неприятно. Японцы тоже наплевали на дождь, но майку снял только

я. И тут же услышал за спиной: «Ишь ты, разделся!» Сказано это было таким тоном, который не заставлял сомневаться в том, что народ меня осудил.

Насмотревшись на нескромные средневековые картинки и на нынешних отцов семейств, прилюдно справляющих малую нужду, я до этого момента пребывал в наивной уверенности, что японцы относятся ко всем проявлениям телесного без лишней ажитации. Однако оказалось, что я неправ. Из послетренировочных бесед с ученой японской братией мне удалось выяснить: времена нестеснительности более-менее канули в Лету. И если помочиться на улице до сих пор не считается предосудительным, то обнажение, даже по пояс, в последнее десятилетие стало восприниматься как нарушение общественных приличий. А потому и многие молодые люди теперь уже не ходят в баню, хотя баня для Японии — институт с тысячелетней историей. Мои собеседники валили все на американцев. Вот, мол, средний американец в баню ходить стесняется, предпочитая свою душевую кабинку (принимая во внимание ее скромные размеры и закрытость со всех сторон света, вполне можно было бы назвать ее и душегубкой), и мы тоже за ними потянулись...

Я так и не узнал, кто стал чемпионом Европы. Человеку с пристрастием к культурным шокам эта информация вовсе не обязательна.

Окунуться ненадолго в заграничную жизнь полезно хотя бы уже потому, что вдруг у тебя появляется время на чтение заграничной же газеты. Вот я еду в электричке из токийского аэропорта Нарита и перелистываю газеты. И по первой же странице каждой из них с удивлением обнаруживаю: страну сотрясает жуткий скандал. Археолог Фудзимура Синъити оказался человеком нечестным, а его эпохальные палеолитические находки — обыкновенная подделка. Оказывается, он тихонечко брал из запасников музеев каменные орудия древнего человека вполне недавнего времени (возрастом всего-навсего в 10—20 тысяч лет), подкладывал их в свой раскоп в максимально удаленные от нашего времени слои, а потом счастливо обнаруживал их с немыслимой частотой. И так — много раз. Конечно, прославился, интервью раздавал. Публика ликовала, ибо вопреки всем ожиданиям древний человек заселил Японский архипелаг аж 600 тысяч лет назад. То есть прапра...предки японцев — чуть ли не самые древние на нашей земле. Серьезные ученые испытывали сильные сомнения по поводу непрекращающихся сенсаций, но, не в силах противостоять этому палеолитическому угару, помалкивали годами. Результаты «открытий» Фудзимура вошли в школьные учебники, одобренные министерством образования. И вот тебе — такой конфуз на весь белый свет, который, правда, не обратил внимания ни на находки Фудзимура, ни на его разоблачение.

В окне электрички мелькала нынешняя серо-бетонная Япония, а я думал: как же нужно любить свою страну с ее историей, чтобы такое пустяковое мошенничество могло произвести такой

фурор. Чай, не серийный убийца обнаружился. Но оказалось, что японцам есть дело до какого-то там палеолита. Купленные мною газеты захлеб писали про подлог, хотя новизна этой сенсации должна была быть полностью исчерпана — скандалу пошла уже не первая неделя. Археологические подлоги, как это хорошо известно профессионалам, довольно регулярно случаются во всех странах, но абсолютно невозможно себе представить, чтобы доисторические кремешки обсуждались с таким жаром и превращались в общенациональную драму.

Погруженный вот в такие смешанные думы я вышел на своей остановке. Было весьма прохладно, а потому я тут же захотел надеть свою куртку. Увы, она уехала вместе с той же самой электричкой, в которой я впервые узнал про скандальную новость...

Я подошел к железнодорожному служителю, который обосновался в своем офисе на выходе из станции, и обрисовал ситуацию. Он мгновенно выдал мне бланк, в котором я указал цвет куртки и скудное содержимое ее карманов: перчатки (коричневые), шерстяная шапочка (черная), носовой платок (не очень белый). Потом служитель выпросил, в каком вагоне и на каком месте я ехал. Потом посмотрел в сводное расписание и выяснил, на каком перегоне должна находиться в данный момент электричка. Потом позвонил на станцию, куда через пару минут прибывал поезд. Потом с участием посмотрел на мое раздосадованное на самого себя лицо и сказал: «Нужно подождать минут пять». Через пять минут снова снял трубку. Повесив ее, сказал: «Ваша куртка находится на станции Синагава. Сейчас поедете или на дом прислать? Услуга платная». — «Сейчас поеду!» — ответил я. «Вообще-то за проезд туда вам следует доплатить, но, учитывая чрезвычайные обстоятельства, я разрешаю вам проехать бесплатно».

Через полчаса я снова подошел к нему. Теперь уже в своей зелененькой курточке. «Большое спасибо!» — сказал я с чувством. «А вы чем, между прочим, занимаетесь? Бизнесом?» — вполне неожиданно для сдержанного японца спросил он. «Нет, я занимаюсь изучением Японии», — гордо ответил я. От удивления он привстал со стула. «Что-что? Изучением Японии? Зачем? Ничего хорошего у нас нет!» — сказал он вполне искренне. «Слышали, наверное, про этого Фудзимура? Совсем люди совесть потеряли!»

Я вышел под осеннее серое японское небо. Накрапывал дождь. Я набросил капюшон на голову.

При русских расстояниях, скоростях и вытекающем из них менталитете поезд — идеальное место для знакомств и разговоров «за жизнь». Недаром железнодорожное перемещение служит мотором сюжета в столь многих произведениях русской литературы. Чего только одни «Москва-Петушки» стоят! А ведь были еще и «Крейцера соната», и «Анна Каренина», и «Хождение по мукам», и «Доктор Живаго»... Список открыт до бесконечности.

Кто из нас не вовлекался в неспешную беседу в электричке, в поезде дальнего следования? Под пиво да под водочку... Да хоть до самого Владивостока! Потому что спиртное — это тоже движитель. Сюжета не только литературного, но и жизненного. Алкоголь с электричкой как-то подходят друг к другу. Соединяясь вместе, они открывают тебе чужие сердца и родной язык.

Вот я стою в тамбуре электрички Москва-Калуга. Там люд уже не пригородный, а особый. Мои попутчики тянут из горлышка пиво.

— Ваньку знаешь?

— Ну.

— Болел, помнишь?

— Ну!

— Пошел к дохтуру — велел полстакану спирту натошак принимать (это «натошак» — верное свидетельство, что лекарь был настоящий, не нам, неучам, чета).

— Ну?

— Раньше на бабу взлезть не мог, а теперь газету без очок читает.

В японских поездах, даже самых переполненных, не услышишь: «На следующей остановке сходите?» И потому при длительном перемещении рекомендуется занимать место подальше от выхода: на остановке пугающе безмолвная толпа просто выметет тебя из вагона. В японских поездах не заговаривают с попутчиком: каждый охраняет свое и чужое *privacy*.

Герои японской художественной литературы не проводят в вагоне много «художественного» времени — поезда ходят по расписанию, расстояния не катастрофические, крушений случается до обидного мало, поговорить тоже не с кем. Так зачем герою в поезде ездить? Так, если только во время передвижения героя мысли какие-нибудь его одолеют.

Всякий японский транспорт, включая электричку, — это средство передвижения, а не что-нибудь там еще. Но подсмотреть и подслушать все-таки кое-что можно. Случается это тогда, когда японцы заводят свой спиртопотребляющий движок.

Удобнейший скоростной поезд с «самолетными» креслами. Десять часов утра. Ряд передо мной занимают трое крепко выпивших мужчин. Слегка за пятьдесят. Судя по количеству пустых бутылок из-под пива и сакэ, они едут уже довольно давно. Скорее всего, из Хиросимы, которая и значится в расписании пунктом отправления. Судя по несвойственному для японцев громкому разговору, они направляются в Токио как следует оттянуться. Наиболее частотные слова в их разговоре — гостиница, гольф, девушки. Все ясно: коллеги по работе собрались на заслуженный своими трудами отдых. Я отвожу взгляд к окошку, за которым мелькает Япония.

Наступает полдень — время общеяпонского отделения желудочного сока. В воюющих африканских странах на время сиесты объявляется перемирие. Мусульмане расстилают коврики и обращаются лицом к Мекке. Где бы ни находился в полдень японец, он немедленно приступает к перекусу и ланчу. Потому и пассажиры достают свои сухие пайки, покупают съестное у курсирующей взад-вперед лотошницы.

Мои попутчики к этому времени задремали — даже рефлекс обеденного времени не сработал. Но были все равно один за другим разбужены звонками их мобильных. Двоим позвонили мамочки, привыкшие в обеденный перерыв поинтересоваться, как обстоят дела у сыночков. Матери, похоже, отнеслись к утреннему пьянству сыновей вполне спокойно. Что тут такого? Здоров, ну и ладно. «Пока». — «До скорого».

Третьему, самому пьяненькому, позвонила жена. Она была явно недовольна развитием событий. Реконструирую их разговор по репликам мужа.

— Ты что, пьешь, подлец?

— Как можно?!

— Я так и знала!

— Да говорю же тебе — ни грамма!

— С кем ты?

— Я же тебе говорил — вот Накагава здесь и Кимура.

(Кимура важно кивает и наливает себе в пластмассовый стаканчик сакэ)

— Ох, уж эти мне твои дружки!

Здесь Кимура не выдерживает и перехватывает трубку.

— Алло, Митико? Это я, Кимура. Мы в поезде едем, вот уже и Йокогама скоро. Погода-то такая чудесная!

— Что вы там пьете?

— Как что? Лимонад. Один лимонад и больше ничего.

— А отчего у моего мужа язык заплетается, хотела бы я знать?

— Да нет, Митико, просто жарко очень. А что насчет языка, так это он у него всегда заплетается, не бери в голову.

Тут Кимура отключает мобильник и цинично оповещает дружка: «Все, вошли в зону неустойчивого приема. Как в Токио приедем, нужно будет пивка взять. А то жарко очень».

Через пять минут я вышел на платформу станции Йокогама. Действительно, было жарко и душно.

Любовь к пространству

У японцев я научился многому. Японский язык — не самое главное в этом ряду (на самом деле, этому языку в свое малоинтернациональное время я научился не столько непосредственно у японцев, сколько у российских аборигенов, в дипломе которых в графе «специальность» значилось «референт-переводчик со знанием японского языка»). Не то чтобы японцы открыли мне поэтический мир — у нас самих он вполне достоин уважения, но все-таки во многих моих стихах Япония служит фоном и художественным средством. Предупреждаю, ибо знаю по опыту общения с отечественным читателем его сомнения: стихи — русские, японец их за свои никогда не признает. Но все-таки в моих стихах есть такая малость, которая заставляет меня думать о себе, используя агрономический термин. «Прививка» — вот это слово. Я попытался привить на могучее дерево русской поэзии японский «дичок» — чтобы дерево это, несколько подзасохшее немалыми стараниями постмодернистов, политиков и иных пересмешиников, имело бы шанс на выживание.

Письма средневековому другу

Кэнко-хоси
Иосифу Бродскому

1

Как дела, дружище? Так же все печально?
Вижу: кисть твоя летает над бумагой рыхлой.
Будто бы слезинка пробежала,
На скуле соляной развод оставив.

О тебе немало знаю. Ты же
В чашке сберегаешь лишь чайники,
В чарке же — губами ловишь
Лунный свет, настоенный на туши.

II

Тихо ты живешь теперь — никто не знает —
Дома ты или скончался. Помнишь, как
Холодной ночью забредали мы погреться к гейшам?
(Да, ты прав, не к гейшам — к куртизанкам).

«Я велик, — кричал спросонья,
Обнимая деву, — Ни к чему мне дети.
Научить их видеть дальше носа — невозможно.
На иголку паясь, а не в сосны».

III

Год велик, — сказал ты, — если жить неслышно».
Лень я одобряю. Каждый стих —
Последний. Каждый день впервые
Свет меня ласкает. Есть ли смысл

В любовном деле? Отвечаю: счастье — есть.
И слезы. В смысле — сомневаюсь.
Вместе с дымкой над худою крышей
Я растаю. Зацветет шиповник. Это — знаю.

IV

Голову обрил. В гору поднимаясь выше, выше,
Бормотал: «Все вам оставляю. Забираю небо».
Я не стану спорить, друг мой,
Что милее — осень или лето.

Мы в Московии не подбираем слово —
Дело нас находит.
В горы тоже не уходим.
В евроазиатском коридоре — все бездомны.

V

Шапка Мономаха, держава, скипетр;
Яшма, меч и зеркало Амата́расу.
Давит грудь державный воздух Рима.
Легче выдох на окраине Китая.

Заросли бурьяном храмы Будды,
На кремлевский камень льют чухонским клеем,
Мы в своей стране — лишь чужестранцы,
Оттого камнями бьем купцов заезжих.

VI

Коротка судьба мотылька. Но дня
Хватает на смерть, любовь, полет.
Человек спешит обзавестись потомством
И не успевает разлюбить себя.

Мы с тобой богаты только светом.
Жаль, не видел ты моей равнины.
Ты со мной делился сакуры цветеньем.
На снегу тебе оставляю посвящение.

Киото

Века, просиженные на циновках
в беседах о погоде.
В итоге — деревянный город,
погруженный в горы
и стон колоколов,
призывающий душу
в разреженные высоты
Бога, Будды, неназванного кого-то.
Куда мы уходим,
поднимаясь с пола?
И кого накликаем
в наш одноразовый дом?



Вороны на шпиле храма Ниннадзи.
Залетели повыше,
проводят солнце
и зеваку заезжего,
поставленного чьей-то силой
на одну с ними землю.



Влажный ветер и твоя липкая кровь на
острие, вываливающем потроха.
Сухой скрип цикады над остывшей
золою. Вот таков путь самурая,
рожденного научиться
разворачивать меч от врага.
Дорог рис, но и жизнь дорога.



Окружен:
горами, плоскими лицами,
лепетом трав,
лепестками облетающей сакуры.
Чего тебе? Воли?
Выйти из окружения —
как зерну остаться
наедине с собой.

Накамуре Утаэмону VI

Гортанному горю
на карточной сцене —
тысяча лет.
Никак не утешится мать,
потерявшая сына —
привидением бродит.
Призрачно счастье,
призрачно горе.



Каменистая земля Исэ,
куда слетаются боги
и не ступала нога человека.
Мальчик смеется — знает:
кто жертвует — тот свободен.

Храм Тодзи в Киото

Кто строил храм,
тот умер.
Ветер столетий
пронзает душу.
Падаю в мох
вместе со снегом.



Четверть века читаю по вертикали
японскую вязь. Тридцать четыре
года наслаиваю горизонты
линейного письма славян.
Этой сетью, вуалью
выпрямляются финно-угорско-татарские
скулы. Землю топчу
пятый десяток. Куда б ни пришел —
родная земля и вкус пищи знаком.

Старая рукопись

Путь книжного червя извилист
и прихотлив — как кисти путь.
Вязь веков. Погоня
времени за словом,
загнанным в переплет.
Волна настигает волну.
Пена уходит в песок.



Натрудив глаза манускрипом,
гляну в зеркало: что
там в остатке? Водяные
разводы речи и жизни
чужой на щеке желтее
пергамента. Дождались,
проявлены, ожили.



Набравшись по горло
осеннего света,
цикады гуляют
ночь напролет.
Да и я припозднился —
спотыкаюсь, но подпеваю.
И как они еще меня терпят?



Жить на горе, что на острове,
слепленном парой божеств
из спермы вулканов и глины
наскоро, накрепко, за день — всюду
море видать, отовсюду
рукой до небес достаешь,
в тебя погружаясь.

Кацурадзака

Дни здесь всегда
короче ночи —
не та широта,
горы застыли очи.
Ну и с подъемом
у нас — не очень.

Стали волглыми облака,
налился багрянцем склон
холма и лет. У богов
пейзаж неплохо весьма выходит.
Не говоря о прочем.
Это я о жизни с тобой
и о том, как воздух прочен.



Обложил тайфун облаками,
закружил склоны листьями,
сон из дома дочиста вымел.
Это зерна риса набухают
во влажной подушке
и в землю обратно хотят.



Вспоминай меня телом —
а чем же еще? Если слеплены
мы из глины одной. Вспоминай.
Налегают с гор небеса.

Вспоминай меня вздохом —
а чем же еще? Если словом
связаны мы из одного словаря.
Вьется нить. Вспоминай.

Глядя на ночь, густеет
дождевая вода. А пока
вспоминай то словом, то телом.
Мы уйдем. Останутся облака.



Распалились клены.
Стынет земля под ногами.
Упала хурма.
И колокольный стон
покатился в гору.



Вот и в Киото пришли холода —
помни, откуда родом ты.
Пот ледяной стекает с окна,
и с моей горы видно
дальше, чем было вчера.



Просыпаешься утром — бела земля.
Через поле к помойке
кошка бежит. Придавило шапками
крышки у баков — не выцарапать
объедков. Терпеливо ждет часа обеда,
пока солнце снег не расплавит.



В декабре
из японского дома
лучше не выходить.
Возвращаешься — выстудило,
будто и не жилец.
Включаю обогреватель —
не то коченеют пальцы
от перелистывания
полученных когда-то писем.



Страна рыбы и риса —
вылетаю пробкой
рейсом «Аэрофлота».
Куда б ни упал —
снежное счастье
впереमेжку с картошкой.



Возвращение из зимы,
проведенной у теплого моря,
оборачивается Масленичным
таянием снега.
Не успела душа закалиться
Рождественскими морозами,
лыжней и водкой со льда.
Больше не щурюсь на солнце.

Кто ни разу не умер,
ни разу не жил.

Мацуо Басё

Никакого мяса —
только кости и кровь,
только гора и вода.
Пусть города
вздываются плотью
и дымится в котлах жратва,
только дымка туманит глаза.
Хотел стать камнем —
превратился в слова.



И так здесь было почти всегда
(т. е. последние тысяч эдак пятнадцать лет,
протянувшихся с последнего оледенения):
сентябрьская жара, которую здесь радостно
именуют остаточной, под аккомпанимент цикад
и свирепеющего дождя, пятнающего склон
красным, рыжим и желтым,
смывающего дома, стариков под откос.
Карабкаюсь по корням и камням.
Это не облака. Это туман стелется по глазам.



Полуденный обет молчания.
Лишь беглые тени стрекоз
на земле, насиженной
людьми и богами,
выдают, что ты жив.



Северная привычка — натянуть
валенки, шапку-ушанку, пальто.
Словом, идти гулять. В наших
широтах вся жизнь — гульба. Оттого
и в этих киотосских проулках —
никого, на ком остановится
взыскующий праздности взгляд.
Никого, кроме редких собак,
склоняющих поводыря
к внеплановой вязке,
но получающих только
потoki шампуня в заплаканное лицо.
В общем, нам повезло —
как с климатом, так и с
национальным характером.
Выходя на простор, проверь
крепость пуговиц, не забудь
варежки и расположение звезд.



Перебравшись за Японское море,
не узнаешь земли:
в шесть пополудни уже ни зги,
сколько ни топай ногами,
ни единой плоскости не найти,
за исключением доброжелательных лиц,
подающих безмолвный знак —
у нас здесь свои замесы,
лучше уйди.

Перебравшись за море,
не узнаешь себя:
вымыт, выбрит, богат и трезв.
Не шарахаешься от тени и фонаря.
когтя зарплату, железно уверен —
жизнь прошла зря.



Надышавшись испареньями Великого Тихого,
дочь моя предпочитает
японский говор.
Это значит,
что жизнь моя
далеко зашла
за пределы земного.
Что ни шьет мне портной,
все не впору.
Материк подо мною
на звезды несет.



В этой стране, если хочешь болтать,
лопочи по-японски. Даже растения
здесь любят в скобках добавить —
Ярописа. Даже выкройка листьев
у дуба здесь сработана так, что
приходится выбросить мысли
о слиянии в будущем всех рек
и народов. Ибо прошлое надвигается
неумолимей. Не говоря уже
о чем-нибудь более одномоментном —
вроде узких глаз, посаженных
для всматривания в себя.
Что поделаешь — острова...
За улыбкой девчушки — тоска
по залитым океанским рассолом
сухопутным мостам.

Камакура

Вырубая ступени,
поднимаешься в гору.
Одышка на круче.
Взглянешь вниз,
и дух замирает.
Старость.
Назад не вернуться.
Падает, падает
сливовый цвет.

Серебряный храм

Храм летит — ежедневное
воспарение балок и досок.
Серебрится песок, намытый
Кроносом. Знаю: у первостроителя
были глаза бомжа,
намозоленные морозом и солнцем.
Крепок чай с Восточной горы —
шумит голова верхушками сосен.



Здесь кобеля не отзываются
на кличку «Бля!». Это — верный
симптом, что годы труда
не проходят зря, и счет в банке
оттягивает карман. Иногда
кажется, что события типа «Пли!»
уже отгремели. Бегущая
волна вишневого цвета — ах! —
покрывает архипелаг. Под сошедшей
пенной открываются города
с их парламентами, кладбищами,
солдатней и прочими
атрибутами подзабытого эпилога.



Невиданные цветы, вроде магнолии,
бьют свои чашки о землю.
Впрочем, речка местной весной весьма
мелка, ибо этой воде
агрегатное состояние снега
неведомо. Нужно дожждаться
дождя. Еще раз впрочем, аборигены
плюют на это дело с моста.
Подлезая под сакуру, восполняют
сухость русла умеренным градусом.
Еще раз впрочем, настроение
их весьма приподнято, словно
бьющий наотмашь флаг
в огромной стране,
где кончается пост
перед вскрытием льда.



Море рябит, лужи побеждены,
Речки слишком быстры.
То есть Нарциссу не произрасти,
ибо окна здесь слишком чисты,
а твои мешки под глазами
налиты горечью пива и чая.
В зеркалах — впечатаны души
предков, в том числе и твоих.
Их глаза все добрее
с приближением смерти.



Когда горят на горе японские клены,
сама собою бледнеет кожа белого человека.
Сколько б ни прожил — не позабудь,
что все рукотворное — только слепок
с прижизненной маски
раскаленной растительной массы,
раздуваемый местным Бореєм.

Интерпретации

Развесистая сакура, или Япония в свете застоя

Человек не может без идеала. Не может без него и общество. Временное воплощение идеала различно. Одни общества почитают за таковой некий «золотой век», другие провидят идеал в будущем (коммунизм), третьи настойчиво предлагают считать «золотой век» уже наступившим (сталинизм, современные западные общества). Существуют и утопии, переносящие идеал в другие страны, туда, где жизнь устроена богато и «по справедливости». Таков остров Утопия Томаса Мора, такова Полинезия в восприятии европейцев XVIII в., таковы США в глазах значительной части нынешнего населения России. Долгое время «пролетарии всех стран» обращали свои взоры к СССР.

Профессионально занимаясь Японией, я не мог не ощутить постоянно растущего интереса широкой публики к этой стране. Особенно заметно этот интерес стал проявляться в брежневские «годы застоя». Столкнувшись с невозможностью реализовать свои трудовые и творческие возможности, в свободное от очередей время люди переключали свое внимание на заграничье, предпочитая мишурный блеск собственной серости. Мода же именно на Японию имела под собой и некоторые другие основания — стремительное превращение этой страны из поверженного противника в суперсовременную технико-экономическую державу. Но дело отнюдь не исчерпывается экономикой — ФРГ поднялась из послевоенных руин не менее быстро. И хотя японцам удалось несколько потеснить США на некоторых направлениях экономического и научно-технического прогресса, уровень жизни на Японских островах еще сильно отставал от американского.

Тем не менее, статус Японии в структуре мировидения позднесоветского человека был совершенно необычен. Резко увеличилось число желавших изучать (но так и не изучивших) японский язык, возникали кружки икэбаны и каратэ, редкие публикации по культуре Японии и более многочисленные переводы художественной литературы (особенно поэзии) пользовались невероятным успехом, по рукам ходили доморощенные переложения не слишком профессиональных западных изданий по дзэн-буддизму. Слова «ваби» и «саби», «сатори» и «хайку» стали знаком приобщенности к некоему духовному ордену. Массовому интеллигентскому сознанию Япония представлялась территорией, покрытой бесконечными садами камней, в которых аборигены под сенью сакуры предаются размышлениям о мимолетности жизни и — чуть что — слагают стихи.

И это при том, что пресса и телевидение планомерно информировали о забастовках и милитаризации. Но вера в беспристрастность газеты «Правда» была уже окончательно подорвана, и «минус-информация» (в которой, между прочим, далеко не все было ложью) проходила мимо ушей. Люди твердо знали, что им лгут относительно порядка в их доме, и распространяли свое недоверие на все заграничные вести.

К тому же недоброжелательство пропаганды по отношению к Японии никогда не достигало степени накала, свойственного разоблачению других «империалистических акул» — США, Великобритании, ФРГ. А ведь был еще и Китай! Так что на Японию идеологических сил оставалось мало. Кроме того, советским правителям Япония нравилась лично — потому, что они видели в ней неосуществленный на родине идеал: экономика процветает, но в то же самое время граждане слушаются приказаний правительства, чтут пожилых людей и не грубят им, ставят общественное выше личного, а автомобилисты неизменно следуют правилам дорожного движения. Проституция запрещена, но существует практически легально, напиваются японцы с малой дозы, но часто, и песни деревенские позабыть еще не успели. Милое дело — коммунизм, да и только! Да и ядерного оружия в запасах нет, и пока что не предвидится.

И все это привело к тому, что вполне прикормленным и партийным людям, писавшим о Японии, позволялось прилюдно признаваться в любви к ее культуре и народу. Такова «Ветка сакуры» В. Овчинникова, выпущенная в свет отдельной книгой в 1971 г. Годом раньше корреспондент «Правды», вполне добросовестно отрабатывавший свою партийность в ежедневных выпус-

ках, вдруг разразился на страницах полуопального «Нового мира» сочинением о национальном характере японцев. И это в стране, которая объявляла себя совершенно вненациональной! Необычайный успех книги свидетельствовал не только о литературных дарованиях автора, но и об ожиданиях публики, которой хотелось, чтобы хоть где-то все было бы хорошо. К тому же читатель прекрасно знал, что японцы невелики ростом и не боялся их. А вот какие-нибудь англосаксы... Совсем другое дело.

Еще одним фактором, способствовавшим возникновению и закреплению представлений о сказочной стране, было практически полное отсутствие личных контактов с японцами и Японией. Мы слушали «Голос Америки», «Свободу» и Би-би-си, наши соотечественники уезжали на Запад. В радиосообщениях и письмах чужая жизнь обретала бытовые подробности, которые лишают действительность ореола таинственности. И несмотря на то, что «дома» нам твердили о глобальном противостоянии двух социально-политических систем, мы имели пересекающееся прошлое и общую культуру. Запад казался нам понятным (считаю это убеждение иллюзией, но многим действительно так казалось).

Да, были ведь умные люди во всех учреждениях нашего руководства. Кроме того, отзывчивые и добрые. В гости к нам, правда, всякая шваль ездила. Вот прибыл в белокаменную один прогрессивный японец с визитом в ВЦСПС. И решили тогда профсоюзные лидеры для поощрения демократических убеждений сделать ему скромный подарочек. Купили палехскую шкатулку с изображением кремлевских неприступных стен, а для того, чтобы сувенир вышел поувесистее, набухали туда с килограмм шоколадных конфет «Красная шапочка и серый волк». Так вот, японец, по своей дурацкой японской привычке избавляться от упаковок, конфеты с собой в самолет взял, а шкатулку в мусорный бак выкинул. Чтобы, значит, самолетного перевеса не вышло.

И тогда руководству КГБ, обследовавшему мусорный бак на предмет скрытой антисоветчины, пришлось шкатулку из урны достать, протереть хорошенько и отдать на списание в МИД для подарка какому-нибудь буржуину.

Япония же была другой — таинственной и загадочной. Людей, побывавших там, почти не было. И эти люди, обладавшие свойствами средневековых визионеров, торжественно подтверждали: да, есть такая страна, стоит себе и очень она таинственна.

Будучи невольным слушателем разговора рыбачек, В. Овчинников сетовал: «Много ли толку было понимать их язык — вернее, слова и фразы, если при этом я с горечью чувствовал, что сам их строй мыслей мне недостижим, что их душа для меня пока что потемки».

Эта фраза — ключевая не только для книги, но и для тогдашнего мировоззрения. В непонятом автором разговоре рыбачек — тоска по инаковости, надежда на то, что все может быть по-другому...

Книга В. Овчинникова — вполне серьезная и благородная попытка разобраться в японской душе. Вот как сам автор понимал стоящую перед ним задачу: «Об этом соседнем народе наша страна с начала нынешнего века знала больше плохого, чем хорошего. Тому были свои причины... Однако если отрицательные черты японской натуры известны нам процентов на девяносто, то положительные — лишь процентов на десять. Приходится признать, что мы в долгу перед цветущей сакурой, которую японцы избрали символом своего национального характера».

Как это часто бывает, яркое произведение (хотя и не лишенное фантазий и фактических неточностей) вызвало к жизни лавину ухудшенных подражаний. Каждый, кому довелось побывать в Японии, считал своим долгом внести свою лепту в миф о Японии. Апофеозом «япономании» явилась книга В. А. Пронникова и М. Д. Ладанова «Японцы» (1983), претендовавшая на научное освещение вопроса (в аннотации сказано, что «это первая в нашей стране работа по социальной психологии японцев»).

В данном случае меня не волнуют многочисленные ошибки авторов, которые можно было бы обратить в разговор об уровне компетенции отечественной японистики. Свою задачу я вижу в другом — понять, почему сочинения такого рода оказались близки читателю, книга выдержала множество изданий, т. е. уяснить некоторые черты советского интернационального характера времени «застоя».

Для начала читателю предлагалось усвоить, что понять японца может только японец. В. А. Пронников и И. Д. Ладанов утверждают: «Пока подают кушанья, гейша шутит, играет, поет, танцует. Все это создает непринужденность и поднимает настроение. Иностранцы между тем не могут ощутить в полной мере всех нюансов

ситуации, так как не способны понять тонкостей японского языка и скрытого смысла высказываний».

Непонятное же, которое на самом деле является не непонятным, а непонятым, естественно, обретает статус иррационального. «Для японского сада характерна атмосфера таинственности, что и положено в основу паркового искусства... Если попытаться перенести японский парк в какую-либо другую страну, то ничего не получится. Дух, атмосфера — вот что главное в японском парке».

Однако этого благоуханно-мистического японского духа оказывается все-таки недостаточно, и авторы замешивают его на религии, справедливо полагая, что объяснение таинственных реалий с помощью таинственной же для непосвященного причины придают повествованию дополнительную пикантность. «Любопытность японца детерминирована конкретностью мышления. В этом несомненно сказалось и влияние буддизма». Замечу, что всякий, кто хоть сколько-нибудь знаком с религиозно-философскими построениями буддизма, вряд ли сможет согласиться, что буддизм как таковой располагает к конкретности мышления. Однако поиски «интересненького», отличающегося от скуки здешней жизни, которая превратилась в эквивалент медленного умирания, вели не к трезвым оценкам и вскрытию причинно-следственных связей, а к огульному «мистифицированию» чужих реалий и обману собственного читателя.

Вышеприведенные высказывания авторов книги «Японцы» свидетельствуют о признании ими уникальности японской культуры. Выбор объектов описания определяется поэтому прежде всего по признаку «то, чего у нас нет»: икэбана, харакири, сад камней, бусидо, чайная церемония, дзэн-буддизм и т. п. А раз японцы другие, то и женщины должны быть у них другими. Сами же японцы, думается, не без удивления восприняли бы обобщения типа: «Японская женщина не теряет своего достоинства даже во сне — скромная, благовоспитанная, она спит в красивой позе, лежа на спине со сложенными вместе ногами и вытянутыми вдоль тела руками». Ну где, скажите на милость, возможно такое? И где еще народ исповедует идею «подсознательного как ведущего принципа жизни»? На такие заключения могут отважиться только представители очень сознательного народа.

Но «то, чего у нас нет» — это не только экзотика и мистика, это еще и наличие фундаментальных основ жизнеустройства, которые оказались в советский период нашей истории деформированными в катастрофической степени. К ним относятся прежде

всего следующие качества: приверженность традиции, трудолюбие, дисциплинированность, стремление к согласованным действиям в группе, чувство долга, вежливость, бережливость, ответственность, сохранение семьи как основной ячейки общества.

Все эти свойства действительно присущи японцам и составляли тогда особенно резкий контраст по сравнению с советским человеком. Если бы «советский человек» принципиально отвергал вышеупомянутые ценности, то разговор можно было бы закончить, констатируя, что мы — разные.

Однако дело обстоит намного сложнее. Качества, столь рельефно проявленные у японцев, представляли собой и цель позднесоветского общества, его идеал — потерянный и находящийся одновременно в «светлом будущем». Япония же в освещении уловителей этого идеала являла собой осуществленную мечту в реально существующем пространстве, которое, однако, имеет ясно выраженные сказочные (утопические) смыслы — рисуются японцы исключительно положительно.

Япония — страна островная, а островное (или близкое к нему) положение «обетованной земли» в народной российской утопии — вещь обычная. Это и Китеж, и «рахманский остров». Более того, легенда XVIII в. располагает благочестивую страну Беловодье в «окияне-море», омывающем берега «Опоньского государства».

История парадоксальна. Применительно к Японии парадоксальность заключается в том, что в XVIII в. «бегуны» действительно надеялись убежать туда от кабалы. Что же касается «эпохи застоя», то физически достигнуть страны счастья не мыслил никто. Япония мыслилась как страна, предназначенная для «внутренней эмиграции».

Если суммировать те черты, которые присущи жизнеустройству в многочисленных российских народных исканиях «правды», то мы обнаружим недвусмысленное сходство ее с представлениями о Японии недавнего (а отчасти и сегодняшнего) времени. Помимо островного положения легендарной страны, она должна располагаться на востоке, ее обитатели предаются обязательному коллективному труду. Приверженцев утопических идеалов воодушевляли регламентированность жизнеустройства (этикетность поведения), скромность, отсутствие роскоши, общность имущества (корпоративная собственность современного японского капитализма), социальный мир, устойчивость и вечность установлений («традиционность» японцев), примат коллективных ценностей над индивидуальными, единение в условиях единоначалия.

Социальный идеал российского крестьянина переносился (подсознательно, разумеется) в современную Японию, для которой свойственно бросающееся в глаза всем наблюдателям сочетание элементов традиционного уклада, сумевшего адаптироваться к современной технологической культуре. Но именно первый компонент этого сочетания обладал для советского человека наибольшей притягательной силой, ибо социально-экономическое развитие СССР привело к гигантскому несоответствию между провозглашенными идеалами, которые в значительной степени проистекали из утопических народных чаяний, и реалиями жизни. Этот разрыв, характерный для всех стран, находящихся на первичной стадии индустриализации и накопления капитала, принял у нас особенно болезненные формы в силу длительности этого процесса. Межеумочное положение, когда традиционные ценности уже разрушены, а новые еще не выработаны, диктует повышенный интерес именно к традиционным сторонам жизни японцев, а современные индустриальные структуры, безусловно оказывающие разрушающее влияние на традиционный городской уклад, воспринимаются с недоверием.

«Новое», «городское» во всем мире приводит к весьма противоречивым последствиям, которые не могут быть однозначно описаны с помощью категорий хорошо — плохо. Однако в глазах советского человека, окончательно лишившегося в XX в. привычной среды обитания (социальной, экологической, исторической), идеалом осталось полунатуральное хозяйство с полупатриархальным образом жизни и мыслей.

Идеальный образ японца в сознании советского человека включал в себя не только черты, которые в той или иной мере действительно свойственны японцам. Глубоко народная подоснова этого идеала диктовала и ряд черт, любезных российскому человеку, но которые никакого отношения к японцам не имеют. Так чрезвычайно законопослушный народ становится у авторов книги «Японцы» почти анархистом: «Большинство японцев недолго любит юридические правовые нормы. Закон для них — наподобие дубинки. При упоминании слова «закон» (хо) многих прямо передергивает. В народе считают, что от закона лучше держаться подальше». Человек же, родившийся в год змеи, характеризуется уже в связи с критериями, присущими исключительно советскому человеку, стоявшему в нескончаемой очереди за «дефицитом»: «Змея невероятно везуча. Она может достать все, что угодно».

Словом, в сознании читателя создавался образ такой земли и такого жизнеустройства, в котором каждый мог подыскать нечто

подходящее своему умонастроению. «В Японии есть все», — таково было убеждение советской аудитории.

Особое место занимала в сознании советского интеллигента японская поэзия. Чрезвычайно много сделала для ее внедрения на русскую почву В. Н. Маркова. Популярность ее «мо(а)рковок» была неопиcуемой. И дело здесь не только в достоинствах самой японской поэзии и не только в таланте переводчицы. Вряд ли нужно доказывать, что при переводе любых стихов происходит грандиозная трансформация исходного текста. В случае с японской поэзией в него вчитывались еще больше, чем при переводах с других языков. Это было обусловлено незнанием реалий японского пейзажа, которому нет соответствий в России. Это было связано с незнанием историко-культурного контекста, из которого рождалось стихотворение и которое оно дополняло. Это было подчинено закоренелой привычке переводить в стиле «избранного» — переводчик переводит те стихи, которые кажутся ему «лучшими», но на самом деле на родине этого стихотворения оно бытует, как правило, только в цепочке (в личном собрании, которое может быть организовано совсем не по хронологическому принципу; в антологии или поэтическом турнире, где поэтические смыслы высвечиваются только на фоне соседних произведений). Мы эти стихи читаем про себя, а изначально они подлежали обязательному оглашению, полупению.

Однако эти обстоятельства никого не волновали, потому что задача состояла совсем не в том, чтобы понять японскую поэзию.

Чем же была любезна читателю японская поэзия в ее русском переложении? Иными словами, каким потребностям, которые не могли быть удовлетворены домашней словесностью, она отвечала?

Не знаю, кому — как, но мне-то кажется, что литературный гений русского народа нашел блестящее выражение в анекдоте и частушке. Эти формы, никогда не признававшиеся официальной культурой, требуют афористичности и краткости. Японские стихи отвечают этим критериям и переводят краткость в серьезное измерение, то есть легализуют лаконичность в качестве уважаемой литературной формы. Принципиальная невозможность подробного описания объекта в таком стихотворении предоставляла читателю привычную возможность читать между строк, но возвышала эту унизительную потребность до акта сотворчества. В. Н. Маркова писала: «Каждое стихотворение — маленькая поэма. Оно зовет вдуматься, вчувствоваться, отворить внутреннее зрение и внутренний слух. Чуткие читатели — сотворцы поэзии.

Многое недосказано, недоговорено, чтобы дать простор воображению».

Русские переводы наделили японскую поэзию большей степенью индивидуальности, чем та, что ей свойственна. Этим обслуживались местные потребности в чистой лирике. Русская (а тем более советская) поэзия никогда не была обильна в части разработки микрокосмических тем (следует учитывать и малодоступность многих лирических текстов в советское время), увлекаясь эпосом — политикой, социологией, «гражданственностью». Показательно, что эпическая струя японской поэзии не вызвала никакого энтузиазма ни у переводчиков, ни у читателей. Переводы из японской поэзии не были отягощены никакими идеологическими и культурными коннотациями и воспринимались как чистая лирика. Русский перевод «Манъёсю» — лучшее тому доказательство: весьма архаическое полуфольклорное слово VIII столетия превратилось в «нормальную» поэзию XX века.

Работа талантливых переводчиков не пропала даром. Советского Союза нет как нет, а переводы японской поэзии все выходят и выходят... Так что дело не только в вульгарной «социалке». Может, и вправду — японские стихи хороши сами по себе?

Мифологическая любовь и ее последствия

Японские мифы были записаны в начале VIII века в сводах «Кодзики» («Записи о делах древности», 712 г.) и «Нихон сёки» («Анналы Японии», 720 г.), которые были составлены по прямому указанию императоров.

Одними из основных идеологических целей «Кодзики» и «Нихон сёки» было обоснование легитимности власти правящего рода и «склеивание» воедино мифологических представлений различных социальных и этнотерриториальных групп, входивших в состав древнеяпонского государства. При этом едва ли не главным средством формирования общегосударственной версии мифа являлось установление родственных отношений между богами, принадлежащими к разным традициям. Получается, что известный нам сегодня «японский миф» представляет собой продукт волевой деятельности правящей элиты. Тем не менее, эти мифы оказали очень большое влияние на формирование японского менталитета.

В настоящее время обычно принято делить мифы «Нихон сёки» и «Кодзики» на три основных группы.

1. Мифы о разделении Неба и Земли. Они имеют прямые параллели с мифами Центрального и Южного Китая (неразделенность первоначальной субстанции, подобной яйцу), Полинезии (порождение земли из моря).

«В древности, когда Небо-Земля были не разрезаны и Инь-Ян не были разделены, мешанина эта была подобна куриному яйцу, темна и содержала почку. И вот, чистое-светлое истончилось-растянулось и стало Небом, а тяжелое-мутное удержалось-застряло и стало Землей... Говорят, что в начале, когда происходило разделе-

ние Неба-Земли, страна-твердь плавала и двигалась, как плавает на поверхности воды играющая рыба. И тогда между Небом и Землей возникло нечто. По форме оно напоминало почку тростника. И оно превратилось в божество. Имя его — Куниното Токотати-но микото... Затем еще явились боги: Идзанаги-но Микото, Идзанами-но Микото... Став на Небесном плывущем мосту, друг с другом совет держали и рекли: «А нет ли там, на дне, страны?» И вот, взяли Небесное Яшмовое Копье, опустили его и пошевелили им. И нащупали они синий океан. Капли, падавшие с острия копья, застыли и образовался остров. Имя ему дали Оногоро-сима. Два божества тогда спустились на этот остров и восхотели, заключив брачный союз, породить земли страны» («Нихон сё-ки», перевод Л. М. Ермаковой).

При этом между Идзанаги и Идзанами происходит такой диалог. Идзанаги спрашивает свою сестру:

— Как устроено твое тело?

— Мое тело росло-росло, но есть одно место, что так и не выросло.

— Мое тело росло-росло, но есть одно место, что слишком выросло. Потому, думаю я, то место, что у меня на теле слишком выросло, вставить в то место, что у тебя не выросло, и родить страну. Ну как, родим?

Когда так произнес, богиня Идзанами «Это будет хорошо!» — ответила». («Кодзики», перевод Е. М. Пинус).

Это безыскусное «Хорошо!» определяет на многие века вперед одну из основных тем-доминант японской культуры. «Творить» (т. е. любить и рожать детей) — хорошо. Очень важно при этом, что собственно любовь и ее материальные следствия (потомство) оказались оценочно не разведены. Как это случилось, например, в христианской культуре — во многом потому, что в ней доминирует концепция единого Творца, которому не требуется партнер по Творению.

Породив острова Японии, т. е. после того, как месторазвитие японской культуры и истории было определено, Идзанаги и Идзанами рожают «все десять тысяч вещей», а также множество божеств, в том числе Аматэрасу (богиню солнца), Цукиёми (бога луны) и Сусаноо (бога бури) и отправляют их по Небесному Столпу на небо. При рождении бога огня Идзанами опалает свое лоно и скрывается в Стране Мертвых (Ёмоцукуни). Идзанаги преследует ее, но сестра приходит в ярость из-за того, что он увидел ее в Стране Мертвых и решительно изгоняет его оттуда. На этом деяния Идзанаги и Идзанами прекращаются.

2. Мифы о богах Равнины Высокого Неба (Такамагахара).

В этом цикле основными героями повествования становятся Амата́расу и Сусаноо. Поначалу отношения между братом и сестрой складываются благополучно, и они продолжают дело, начатое Идзанаги и Идзанами — рождение детей. Однако затем, находясь на Равнине Высокого Неба, Сусаноо совершает ряд тяжких преступлений: разрушает межи на полях Амата́расу, испражняется во время отправляемого ею ритуала нового урожая, подбрасывает ей шкуру освежеванного им жеребенка, когда Амата́расу ткет священные одежды. И тогда от нанесенных ей оскорблений, Амата́расу, подобно Идзанами, скрывается. Она прячется в Небесной Пещере, и тогда в мире наступает тьма. Другие божества Равнины Высокого Неба вынуждены предпринять основательные меры для ее вызволения. После отправления ими ряда ритуалов по вызыванию солнца Амата́расу покинула пещеру, и в мире снова настал свет. Однако в наказание за совершенные им безобразия Сусаноо был изгнан богами с Неба. По пути в подземную Страну Корней (Нэ-но куни) он задерживается на земле в Идзумо и спасает от гигантского восьмиголового змея девицу Кусинада-химэ, с которой он сочетается браком. Потомки Сусаноо и Кусинада-химэ (в первую очередь, Оокунинуси) становятся божествами, особо чтимыми в Идзумо (совр. префектура Симанэ). После сокрытия Сусаноо в Стране Корней его земные деяния заканчиваются.

Чрезвычайно значимым представляется следующее обстоятельство: соперничество между Амата́расу и Сусаноо (точно так же, как и между Идзанаги и Идзанами) разворачивается не между разными поколениями божеств, а внутри одного и в обоих случаях между братом и сестрой. В исторической перспективе это приводит к прочному осознанию того, что поколение является не столько разъединяющим, сколько соединяющим элементом.

3. Миф о схождении на землю прародителя императорской династии.

Ниниги-но Микото, внук Амата́расу, получает повеление управлять Срединной Страной Тростниковых Равнин (одно из древних названий Японии). Однако поскольку в этой стране было множество «дурных божеств», и «всякая трава, и все деревья были наделены речью» (т. е. земля находилась в состоянии неупорядоченности и хаоса), следовало покорить ее. После нескольких неудачных попыток посланцы богов Высокого Неба умирят непокорных земных божеств, Ниниги-но Микото, именуемый «царственным внуком», покинул Небесный Каменный Престол,

раздвинул Небесные Восьмислойные Облака и спустился с Неба на пик Такатихо на острове Кюсю. После брака с дочерью местного божества и рождения детей Ниниги-но Микото умирает. Их внуком является Камуямато Иварэбико Хоходэми-но Сумэрамикото — легендарный японский первоимператор, более известный впоследствии под своим посмертным именем Дзимму.

Таким образом, японский миф представляет собой рассказ о последовательном появлении на свет божеств — именно акт брачного соединения с последующим рождением является основным системообразующим элементом японского мифа. Вне зависимости от деяний божеств и приписываемых им функций каждое из них «обязано» обладать некоторым потомством. После деторождения основное предназначение божества считается исчерпанным и очень часто за ним следует ссора супругов, после чего один из них совершает «божественный уход», т. е. умирает, или, точнее сказать, переселяется в мир иной, бытие в котором остается за рамками повествования. Идзанами так и говорит Идзанаги, пришедшему за ней в Страну мертвых: «Мы уже породили страну. Зачем же ты требуешь, чтобы я снова жила? Я останусь в здешней стране. Обратно с тобой не пойду».

Постоянная озабоченность богов в мифе и людей в «исторической» части «Кодзики» и «Нихон сёки» количеством и качеством порожденных ими детей, соперничество из-за невест показывают, что основной составляющей «исторического процесса» (т. е. того, что происходило в прошлом — будь то «дальняя» история мифа или же история «ближняя») было наращивание всеяпонского генеалогического древа. Произрастание его невозможно без задействования брачного механизма вселенского или по крайней мере общепонского масштаба. Первое, что сообщают хроники в начале правления того или иного императора — это имена его многочисленных жен и детей. А чем больше детей, тем мощнее род и тем выше его шансы на выживание — биологическое и социальное. Отсюда те трогательные, порою душераздирающие легенды и предания о любви государей, той любви, которая считалась достойной фиксации, как дело общегосударственной важности.

Цикл деторождения в мифе может быть описан в виде цепочки. Встреча → ухаживание → соединение → рождение детей → ссора → расставание. Удерживая в поле своего внимания всю эту единую мифологическую цепочку, культура исторического времени дробит ее на составляющие. В значительной степени благодаря этому процессу в более позднее время появляются отдельные жанры

словесности. Так, японская классическая поэзия огромное внимание уделяет ухаживанию и расставанию влюбленных, а все стороны жизни, связанные с деторождением, отходят к прозе.

Язык любви оказывается в результате столь всепроникающ, что с его помощью становится возможным иносказательное описание и истолкование ситуаций, совершенно, казалось бы, посторонних по отношению к оригиналу.

В хронике «Нихон сёки» приводится стихотворение, которое, по мысли составителей, имеет предсказательную силу:

Не знаю лица,
Не знаю и дома того,
Кто повел
Меня в рошу
И спал там со мной.

Ситуация, которую описывает это стихотворение, вроде бы предельна ясна: она имеет непосредственное отношение к любовному (эротическому) происшествию. Эта песня — некоторое послесловие к распространенным в древней Японии брачным играм *утагаки*, когда запреты обычного времени переставали действовать.

Какое же истолкование предлагает сама хроника? Оно — чисто политическое и замешано на интригах придворной жизни (не вдаюсь здесь в ее хитросплетения): «Песня указывает на Ирука-но Оми, который был неожиданно убит во дворце руками Сазэки-но Мурадзи Комаро и Вакаинукаи-но Мурадзи Амита».

Еще одна песня, первоначально предназначавшаяся для исполнения во время брачных игр, гласит:

Пусть возьмет мою руку
Мягкая рука
Мужчины, что стоит
На горе напротив.
Чья же грубая рука,
Грубая рука
Берет мою руку?

Хроника толкует песню так: «По прошествии нескольких лет стало понятно, что эта песня обозначала, что Сога-но Курацукурри окружил принцев Камицумия на горе Икома».

Таким образом, язык любовных переживаний становится языком описания событий, которые не имеют к любви абсолютно никакого отношения.

В Европе и в России по сравнению с синтоизмом более известен японский буддизм. Споры нет: он внес огромный вклад в японскую культуру, привнеся в нее, в частности, печаль неизбежного расставания. Не следует забывать, что рядом с буддами существовали и податели жизни — синтоистские божества. И мощный творительный, деторождающий потенциал мифа никогда растрочен не был, то есть буддизм заполнил ту нишу печали и расставания, занять которую синтоизм не хотел или же не смог. Но энергия роста растений, но плодотворная энергия размножения людей, всегда оставались во власти синтоистских божеств и почитавших их людей, так что конкурирующие (взаимодополняющие?) эмоции оказались разведены ситуативно. И сложилось так, что буддизм стал обслуживать похороны (в обиход вошло кремирование), а синтоистские жрецы были признаны специалистами по части радости рождения и свадеб. При этом «аудитория» первого и последнего обрядов жизненного цикла совпадала.

Но так было в жизни, в реальном круговороте ритуала. Литература же, польстившись на заморско-буддийское пренебрежение к радостям жизни, стала «интересничать», что, впрочем, отнюдь не помешало ей создать великие памятники тщетности отдельно взятой человеческой жизни.

Японская литература предпочитает описывать не саму любовь, а прощание. Совершенно естественно, что прощанию предшествовала любовь, даже если она (по законам жанра) и не сумела попасть на страницы поэтических или же прозаических произведений. В то же время прекрасно известно, что численность населения Японии до самого последнего времени увеличивалась весьма успешно. То есть жизнь продолжалась и не знала перерывов, несмотря на бесконечные рассуждения о ее неизбежной бренности.

Современный человек склонен преувеличивать уникальность времени, в котором ему выпало жить. Владелец компьютера с гордостью называет нынешний век «веком информации». Такая формулировка предполагает, что раньше никакой информации не было. Разумеется, это не так, хотя — спору нет — информационные технологии продемонстрировали в последние десятилетия осязаемый прогресс.

Управление в Японии VIII века, а это была эпоха расцвета древнеяпонского централизованного государства, осуществлялось с опорой на письменность. Писцы заносили на бумагу все распоряжения центральных ведомств и все отчеты нижестоящих учреждений. Согласно японскому законодательству, устные распоряжения даже государя не имели юридической силы и не должны были быть принимаемы к исполнению. В связи с таким уважительным отношением к письменному слову до нашего времени дошло не так мало древних документов.

Совершенно понятно, что массовый обмен письменной информацией мог быть обеспечен только при условии организации планомерного процесса обучения. Действительно, школы чиновников создаются в Японии достаточно рано: столичная — в 670 г. (около 450 учеников), провинциальные — в 701 г. (с числом учеников от 24 до 60, количество провинций составляло около 60). Кроме того, существовали специализированные школы медицины и астрологии (общее число учеников — около 110). Совокупное число чиновников составляло около десяти тысяч человек, и все они были грамотными. Если учесть, что какое-то количество

буддийских монахов получало образование при монастырях, станет понятно: система образования для своего времени была поставлена весьма неплохо.

В самом общем виде партнеров по «бюрократическому» общению можно подразделить на две категории: центральные ведомства (т. е. учреждения, располагавшиеся во дворце императора в Нара) и местные органы власти (управления провинций, управления уездов и села). Властная вертикаль была выстроена строго иерархически, закреплена законодательно и поэтому ни один орган не обладал свободой выбора. Центр имел своим партнером провинцию, провинция — уезд, уезд — село. При этом обмен документами не мог, как правило, осуществляться по горизонтали — скажем, между отдельными провинциями или уездами.

Приказы и донесения доставлялись по достаточно разветвленной сети дорог с устроенными на них почтовыми дворами. Расстояние между островом Кюсю и столицей Нара покрывалось государевыми гонцами за четыре-пять дней, а между северо-восточными районами Хонсю и столицей — за семь-восемь дней.

Над перепиской деловой документации напряженно трудились писцы. В столице, которая к этому времени была уже перенесена в Хэйан, их число составляло 152 человека в начале VIII в. и 390 человек — в X в. Сохранившиеся данные по переписчикам буддийских сутр позволили историку Сакаэхара Тобао прийти к выводу, что каждый из них переписывал в день около 3800 иероглифических знаков. Я исхожу из допущения, что переписчик на государственной службе выполнял тот же самый объем работы, что и переписчик сутр. Отклонения, безусловно, возможны, но вряд ли они носят принципиальный характер.

Каждый писец на государственной службе работал в среднем 20 дней в месяц, т. е. 240 дней в году. Получается, таким образом, что количество письменной информации, производимой двором, составляет следующие цифры. Для VIII в.: 577 600 знаков в день, 11 552 000 знаков в месяц и 138 624 000 знаков в год. Для начала X в. соответствующие цифры составляют 1 482 000, 29 640 000 и 355 680 000 знаков. Эти данные впечатляют. При этом в наши расчеты входят только «беловые» документы центральных учреждений на бумаге — не учитывается объем информации многочисленных моккан, документы управлений провинций, уездов и буддийских институтов, индивидуальные сочинения, переписка и др.

Чтобы лучше представить себе объем производимой государственными учреждениями информации, сравним его с количеством знаков, содержащихся в хронике «Сёку нихонги» — «Продол-

жение анналов Японии» — основным историческим источником VIII в. Согласно моим подсчетам, оно составляет около 359 000 знаков. Таким образом, еще в VIII в. объем ежедневно производимой только столичными чиновниками информации намного превышал объем хроники, охватывающей события в 95 лет (с 697 по 791 гг.). Это, в частности, показывает, какой активной была работа государственного аппарата по продуцированию письменной информации и какая ничтожная ее часть (всего около 0,003 процента!) находится ныне в нашем распоряжении.

А что же происходило в провинциях? В начале VIII века число писцов составляло там двести три человека, что сопоставимо с количеством переписчиков в столице Нара, но даже несколько превышает его. По всей вероятности, это свидетельствует о том, что количество информации, вырабатываемой в провинциях, приблизительно соответствовало ее объему в Центре. В принципе так и должно быть: сбалансированный обмен документами между Центром и Провинцией свидетельствует о наличии обратной связи в государственном организме.

Что касается X века, то в провинциях имелось 256 переписчиков, что значительно уступает на сей раз их количеству в столице. Получается, что при общем увеличении количества переписчиков как в Центре, так и на местах, их число намного больше увеличилось в столице (256,6%), чем в провинциях (126,1%).

Таким образом, все больше и больше информации производилось в самой столице. Но, одновременно, все больше информации потреблялось там же. Концентрация всех сведений в столице была важнейшим условием формирования блестящей аристократической хэйанской культуры, однако страна: провинции, уезды и села — все больше выходили из-под контроля Центра. В период Хэйан организация высокоцентрализованного государства предыдущего периода приходит в упадок — большинство начинаний правителей Нара не находят своего продолжения, дороги зарастают, налоги собираются хуже. Приведенные нами данные показывают, что государственные институты Центра превращались в политическую (говоря шире — культурную) систему без обратной связи. А такие образования, как это известно из общей теории систем, обречены на распад, что и произошло в Японии с приходом к власти сословия самураев.

Японцы, как известно, очень любят учиться и их успехи в приобретении знаний общеизвестны. Если говорить о знании гуманитарном, то, без всякого сомнения, японцы знают Запад намного лучше, чем Запад знает Японию. Вплоть до самого последнего времени основным источником знаний о Западе была для японцев книга. Любое мало-мальски значительное произведение западной (включая русскую) литературы переводится на японский. Многие классические произведения были переведены по многу раз (например, «Евгения Онегина» в японском переложении имеется около десятка). А потому Японию часто называют «раем письменных переводов».

Переводчик — всегда продукт собственной культуры. Поэтому он — всегда соавтор. При переводе на японский язык ворон Эдгара По превратился в петуха. А Крылов сделал из цикады стрекозу. Муравья, правда, пощадил.

Рай — раем, но средний японец, при всем его несомненном трудолюбии, владеет иностранными языками довольно плохо. В особенности это касается языка разговорного. Многие эксперты бьют тревогу — ибо в нынешнюю эпоху, когда государственные границы стали такими прозрачными, когда потоки людей и информации пересекают их без всяких сложностей, знание иностранного языка становится первейшей необходимостью не только для специалистов, но и для всякого «современного» человека.

Достаточно сказать, что львиная доля информации в интернете может быть освоена только при знании английского языка, и практически во всех японских школах в качестве иностранного языка изучается только английский. Дело дошло до того, что улучшение процесса преподавания английского языка признано одной из приоритетных общегосударственных задач. Общественность оживленно обсуждает проблему, газеты печатают материалы, посвященные проблемам изучения иностранных языков на первых полосах, выпускаются монографии и научно-популярные книги.

Изучение иностранных языков в Японии (как в школе, так и в университете) ведется с упором на овладение грамматикой. При этом тесты по грамматике настолько сложны, что зачастую ставят в тупик даже носителей языка. Однако воспользоваться своими знаниями на практике зачастую оказывается для выпускников непосильной задачей. Поэтому, говорят ученые, следует больше внимания уделять развитию навыков разговорной речи.

Было бы легко списать плохое знание иностранных языков на несовершенство учебного процесса. Однако не только в этом дело. За недостатками учебных программ и неумением общаться на иностранном языке стоят также исторические и культурные обстоятельства.

Во-первых, японцы с трудом вступают в неформальные контакты. Как в самой Японии, так и за границей. Национальный характер японцев таков, что его обладатель страшно стесняется своей некомпетентности. В данном случае — недостаточного знания языка. Говорить с ошибками — это «потерять лицо». Однако овладение иностранным языком требует определенной степени раскованности и даже нахальства. Если ты, пусть даже и с непростительными ошибками, не начнешь трепаться, научиться разговору иностранному у тебя нет никаких шансов.

Для выяснения второй причины невладения японцем иностранным языком следует обратиться к истории. Островное положение страны, своеобразие исторического процесса (практическое отсутствие внешней угрозы в древности и средневековье) привели к тому, что японцы достаточно редко контактировали с представителями других национальностей. Их общение с ними было всегда опосредованным — через книги. Немногочисленные дипломатические миссии и буддийские монахи, путешествовавшие в Корею и Китай, в качестве одной из основных задач ставили перед собой не развитие международной торговли и контактов между людьми, а приобретение книг. Будучи доставлены в Япо-

нию, эти книги тщательно переписывались и изучались. Изоляционизм Японии отчасти преодолевался вот таким вот «книжным» способом. И японцы полагали, что они вполне могут обходиться без непосредственного общения с иностранцами.

Этот путь оказался достаточно плодотворным. Уступая Корее в части непосредственных контактов с Китаем, японцы VIII века не уступали ей в знании принципов устройства китайского государства. И, надо признать, что образовательный процесс, организуемый и направляемый государством, был поставлен на достаточно высоком уровне.

Вот что писал по этому поводу Кэнко-хоси: «Если не считать лекарств, то мы вполне могли бы обойтись без китайских изделий. Так как в нашей стране широко распространены китайские сочинения, то и их мы могли бы переписывать сами. То, что множество китайских судов в свой нелегкий путь к нам грузятся одними безделицами — глупость чрезвычайная» (перевод В. Н. Горегляда).

Под «безделицами» Кэнко-хоси имел в виду товары так называемой «престижной экономики», которые не имеют значения для жизнеобеспечения страны, но рассчитаны на потребление правящей элитой. Поскольку в Японию в те времена китайцы ввозили роскошную одежду, фарфор, благовония, изделия из слоновой кости, попугаев и тому подобное, с мнением монаха трудно не согласиться.

Что касается овладения китайским письменным языком, то достаточно много японцев читали произведения китайской классики и буддийские сутры (известные в Японии исключительно по китайским переводам), сочиняли по-китайски и сами. Но при этом особого желания говорить на иностранном языке они не демонстрировали.

Точно так же обстояло дело и в то время, когда в Японию XVI века прибыли европейские миссионеры. Японцы предпочитали выучить латынь, но особой тяги к разговору на португальском, испанском или же итальянском не испытывали. Итальянец Алессандро Валиньяно отмечал необычайную тягу японцев к овладению письменным словом: «Даже несмотря на то, что латынь столь непривычна для них и хотя такие трудности таятся... ввиду несоответствия порядка слов и отсутствия терминологии... по своей натуре они настолько способны, искусны, обучаемы и прилежны, что это вызывает удивление, поскольку даже дети находятся в классе по три или четыре часа на своих местах не шелохнувшись, как если бы то были взрослые люди...»

Успехи, сделанные японцами в усвоении сначала латыни, а потом и других иностранных языков были налицо — японцы вполне свободно читали Библию и научные трактаты, но вот в разговорном языке особого прогресса замечено не было.

И вот так был сформирован стереотип отношения к иностранному языку, который жив и сейчас: знать язык — это уметь читать на нем, ибо именно чтение обеспечивает овладение важной информацией, до которой невозможно добраться иным способом. Этому принципу следует и Министерство образования и рядовой японец. И одними призывами к усовершенствованию образовательного процесса здесь не отделаешься.

Профессия толмача предполагает знакомство с самыми страшными государственными секретами.

Вот приехал японский премьер Танака в Кремль. Обо всем с Брежневым договорился, настало время для прощального приема. Дипломатическим этикетом заведено речи говорить в самом конце. А придумано так с простой целью: чтобы высокие договаривающиеся стороны себя блюли и не пришли бы к финишу с заплетающимися языками. В тот раз, однако, Леонид Ильич пребывал в таком превосходном расположении духа — северные территории в который раз не отдали! — что предложил Танаке сначала соблюсти протокол, а потом уже журналистов из Грановитой палаты выгнать и посидеть теперь уже по-человечески.

Так и сделали, сели за стол. Наливают по первой. Тут Танака из заветного карманчика какие-то кристаллики, завернутые в общенациональную газетку «Майнити», достает. Брежнев, естественно, интересуется. «Понимаешь, Леонид, это толченый желудок медведя. От всех болезней помогает, а в особенности от похмелья». — «Да ну? А я вот пивом оттягиваюсь!» — «Никакого сравнения! На, попробуй». И с этими словами протягивает Генеральному Секретарю всей КПСС свой кулечек. «А сколько съесть-то надо?» — «Да кристаллика три-четыре проглотить — за глаза хватит».

Брежнев бумажку взял, кристаллики внимательно сосчитал, да как закричит Косыгину: «Видал, Лешка? На три пьянки нам с тобой хватит». Обрадовался очень, но все равно ни одной северной территории стране восходящего солнца так и не отдал.

Переводчику же того приема выписали премию за отменный перевод и знание термина «толченый желудок медведя», но одновременно отобрали загранпаспорт. За знание государственных секретов и чтобы лишнего за бугром не сболтнул. Пришлось ему эту быль мне в Москве рассказывать.

Общественные сверхзадачи японской археологии

У нынешнего западного человека знакомство с японскими масс-медиа вызывает культурный шок. Ему, привыкшему к тому, что первополосные материалы газет и модулируемые приятными голосами телеведущих новости первой важности составлены из политических дразг, вооруженных конфликтов, убийств и вестей с финансовых рынков, кажется предельно абсурдным, когда японские газеты на тех же первых страницах смакуют подробности находки какого-нибудь ржавого меча, которому исполнилось полторы тысячи лет, а телерепортеры сломя голову несутся к месту обнаружения треснутого горшка еще большей давности. На самом-то деле ничего удивительного с западным человеком здесь не происходит: общий модус современной западной (и условно приравниваемой к ней российской) культуры таков, что она с предельной (и довольно скучной) определенностью ориентируется на «здесь и сейчас». В связи с этим все связанное с историей, а уж тем более с историей дальней, например, археологией, становится достоянием профессионалов и немногочисленных «интересантов».

Хочу заметить, что мои рассуждения лишены публицистического накала, и я, будучи историком, вовсе не желаю (желаю, конечно, но не позволяю себе желать) вербовать себе корпоративных сторонников или что-то там хвалить-осуждать. Мною движет лишь желание разобраться в том, за что японцы так любят свое прошлое, которое, как и у всякого народа, было и у них «неоднозначным».

Всем вроде бы известно, что японцы, несмотря на провозглашенную ими же в последние годы «интернационализацию» и

«глобализацию», сильно привержены традициям и традиционным ценностям. Свойственный синтоизму развитый культ предков сформировал трепетное отношение к старшим по возрасту (они скорее тебя станут предками), прошлому вообще — ведь это время предков. В связи с этим как раньше, так и теперь, профессия историка — весьма и весьма престижна, а об исторических проблемах вполне компетентно можно порассуждать не только с «яйцеголовыми», но и «человеком с улицы». И так было со времен незапамятных — японцы гордились своими предками уже хотя бы по такой «простой» причине, что эти предки вслед за мифологическими первобогамися выполнили свое главное предназначение — обзавелись потомством. Поэтому-то и синтоистом может быть только японец. В этом убеждении есть и вызывающая на себя критические стрелы многих иностранцев какая-то узость взгляда на мир и на себя, но последовательность, с которой оно проводилось (и — в других формах — проводится) в жизнь не может не вызывать уважения.

У японцев господствует порядок и в уважении к старшим. После научного семинара всегда организовывается фуршет. У одного края стола стоят профессора, у другого — аспиранты. С профессорского края очень быстро исчезают банки с пивом, с аспирантского — бутерброды. Далее профессора меняют бутерброды на пиво. С исчезновением запасов все расходятся.

У нас со всех сторон такого же стола процесс идет очень интенсивно и абсолютно равномерно. Никакой сегрегации не наблюдается — возрастные группы не формируются. И на этом этапе фуршета побеждают идеи равенства. Потом откуда-то появляются стулья. Потом профессора скидываются и посылают аспирантов за жидкой и твердой добавкой. На этом этапе и у нас торжествует иерархия.

Однако в нынешней ситуации есть и новый элемент, а именно — признание обществом первостепенной важности не только «привычной» истории, но и археологии. Широкий общественный интерес к ней стал проявляться сразу в послевоенное время, но достиг своего максимума в 60-е годы. Внешним образом он был связан с бурным промышленным развитием этого времени,

сопровождавшимся не менее бурным строительством. Поскольку японский закон требует при возведении построек тщательной археологической экспертизы, то и количество обнаруженных памятников древности стало стремительно возрастать. К началу 60-х годов их насчитывалось 90 тысяч, сейчас — более 300 тысяч. Их раскопками занимаются как университеты (зарегистрировано около пяти тысяч профессиональных археологов), так и местные власти вкупе с многочисленными любителями. Общепризнанным в научном мире фактом является то, что археологическое дело в Японии поставлено на самом высоком уровне. На зависть археологам всего остального мира археологические исследования в Японии финансируются в достаточном объеме, сами раскопки и анализ находок ведутся с применением самых последних достижений научно-технической мысли и не знают сезонных перерывов. Объем выполняемых археологических разысканий впечатляет: каждый год работы ведутся на 9—10 тысячах объектов (в 1961 г. — 408), ежегодно выпускается около трех тысяч (!) монографий, посвященных непосредственным результатам археологических обследований. Количество новой информации в этой области настолько превышает операциональные возможности отдельно взятого человека, что появились специалисты не просто по археологии, не просто по-какому нибудь периоду, а по отдельным стоянкам.

Законы о «новостроечных экспедициях» существуют во всем мире. И хотя японские археологи и примкнувшая к ним общественность сетуют на несовершенство своих законов и на окончательно погибающие под асфальтом следы деятельности древнего человека (считается, что уже в ближайшее время будут безвозвратно утеряны около 40 тысяч уже открытых памятников), по строгости соблюдения археологического законодательства Япония вряд ли имеет себе равных. Это, безусловно, создает некоторые бытовые неудобства для ныне живущих. Полевые впечатления ведущей отечественной исследовательницы японских древностей Л. М. Ермаковой свидетельствуют о том, что жители Нара, ставшей на весь VIII век первой постоянной столицей древнеяпонского государства, сильно остерегаются работ на собственных участках, связанных с перекопкой земли, перестройкой жилища и усовершенствованием быта: слишком велика возможность наткнуться на какой-нибудь черепок. Будучи гражданами законопослушными, в случае обнаружения чего-то древнего они обязаны донести (и доносят!) о том местным властям. Являются археоло-

ги, и тогда на целые годы прости-прощай чаемые улучшения в организации околотелесного пространства...

В случае же особенно замечательных находок территория признается археологическим заповедником и становится «музеем под открытым небом». А такие музеи пользуются широчайшей популярностью у простых японских граждан.

Хороший пример являются собой раскопки поселения Ёсиногари в префектуре Сага (остров Кюсю). Это поселение было обнаружено в 1982 г. на территории, предназначавшейся для постройки технопарка. К 1986 г. стало понятно, что на этом месте располагалось крупное поселение, датируемое I—III вв. н. э. За три года полномасштабных раскопок выяснилось, что это было крупнейшее из обнаруженных поселений этого времени: около 350 жилищ и 2000 могил. Под давлением общественности и местных властей территория поселения площадью в тридцать гектаров была объявлена заповедником. К началу 1995 г. билеты на его посещение приобрели 8 миллионов человек!

И такие археологические заповедники разбросаны по всей стране. При тесноте, в которой проходит жизнь японцев, выделение таких территорий под немыслимые древности является нагляднейшим свидетельством, что эти древности зачем-то японцам нужны.

При этом следует иметь в виду, что японские археологические памятники — это не римские руины и не египетские пирамиды. Поскольку основным строительным материалом в Японии всегда было дерево (деревянные строения намного лучше переносят землетрясения), то никаких толп туристов со всего света эти музеи-заповедники обеспечить не могут, хотя у человека «понимающего» музеологическая организация дела в этих заповедниках вызывает восхищение. Но несмотря на равнодушие иностранцев, сами японцы посещают заповедники с отменной охотой.

Тщательная и масштабная работа японских археологов принесла свои блистательные плоды. Следует признать, что именно археология внесла в последнее время наиболее весомый вклад в процесс осмысления японской древности.

Набранные японскими археологами темпы исследований представляют собой серьезный вызов мировой археологической науке. Дело в том, что в настоящее время на Дальнем Востоке наблюдается существенная региональная неравномерность в освоении археологического материала. Скажем, для ранней Японии наиболее существенное значение имеют результаты работы археологов на Корейском полуострове ввиду чрезвычайно тесных

контактов древних японцев (протояпонцев) именно с этим регионом. Явное отставание в этом отношении Южной Кореи (а про Северную и говорить не приходится) создает не только чисто научные проблемы, но и чревато рождением новых социальных мифов о прошлом. Так, упоминавшиеся в разделе о бумаге деревянные таблички моккан были заимствованы японцами у корейцев. Однако в настоящее время на Корейском полуострове их зафиксировано лишь чуть более сотни, а в самой Японии — около двухсот тысяч! На основании одного лишь этого факта можно было бы сделать вывод о несравненно более широком распространении письменности в древней Японии. Однако мы всегда должны иметь в виду, что археологические изыскания проводятся в Японии с гораздо большим размахом, с чем, возможно, связано и большее число находок.

Как уже было сказано, по-настоящему широкие археологические изыскания начались в Японии непосредственно после окончания войны. Отчасти это было связано с тем обстоятельством, что только в это время был обеспечен доступ археологов ко многим археологическим памятникам, стала возможной свободная от идеологической заданности их интерпретация. Однако отклик, получаемый на работу археологов, свидетельствовал в первую очередь об общественных потребностях в разысканиях такого рода.

Это было связано с тем, что в результате поражения во второй мировой войне и последовавшим за ним крушением всей идеологической модели, строившейся вокруг «священной» фигуры императора, остро ощущалась потребность в чем-то другом. Для очень многих людей публичное признание императором Хирохито своей человеческой, а не божественной, природы явилось экзистенциальным крушением. Отсюда — идеологический разброд нации, сопровождавшийся болезненным поиском того, что является для страны наиболее важным и значимым. В это время получают широкое распространение коммунистические и социалистические идеи, появляется громадное количество самых немыслимых «новых религий». Мучительный поиск «новой» модели национального сознания включал в себя и вполне бессознательное обращение к прошлому. И в этом процессе не было бы ничего нового ни для Японии, ни для остального мира — такие конструкторы всегда имеют в своем составе что-нибудь «историческое», отвечающее главному критерию всякой этногосударственно ориентированной идеологии — уникальности. Это и понятно — история приятна своей уютностью: любое событие прошлого уже

состоялось, его невозможно ни отменить, ни повторить в любой другой временной и пространственной точке.

Однако в послевоенной японской модели прошлого «непропорционально» большое место заняла именно археология. Дело в том, что в предыдущий период господства «японского фашизма» самоидентификация государства и этноса осуществлялась прежде всего с помощью памятников письменности, причем в первом ряду стояли, естественно, самые ранние произведения — «Кодзики» и «Нихон сёки». При этом тогдашнее государство полностью монополизировало право на их интерпретацию, и честные исследователи этих произведений подвергались безжалостным гонениям. Достаточно вспомнить хотя бы блестящего исследователя древних текстов Цуда Сокити, подвергнутого суровым преследованиям по всем законам военного времени. Открытое и циничное использование правящими кругами произведений древней словесности оставило горькое послевкусие: эти вполне «нормальные» для своего времени памятники стали восприниматься в качестве неременного атрибута авторитарной и крайне агрессивной власти, хотя дело было, разумеется, не в них самих, а в том, как они использовались.

Однако традиция самоидентификации с помощью обращения к прошлому была слишком укорененной, чтобы в одночасье полностью отказаться от нее. Поэтому в послевоенное время место писаной истории в значительной степени заняла археология. При этом происходило постепенное «отшелушивание» конкурирующих идеологий, т. е. всего того, что не отвечало глубинным основам японской культуры — ныне и коммунистические идеи, и сладкие голоса новоявленных религиозных лидеров свою аудиторию либо уже потеряли, либо стремительно ее теряют.

Одно из свойств чисто археологического материала, которое в данном случае было подсознательно сочтено за безусловное достоинство, заключается в том, что археология ничего не в состоянии сообщить нам о «событийной истории». Иными словами: нам не известны ни имена творцов археологических культур, ни их поступки. И если критический ум всегда способен предъявить любому из «исторических» деятелей определенные претензии как этического («а вот эту казнь вряд ли можно признать гуманным поступком»), так и прагматического свойства («а вот реформы эти носили половинчатый характер»), то археология в силу бесписьменных свойств материала, который ей достался в наследство, про все это не знает ничего. Поэтому как сами археологи, так и примкнувшие к ним «обыватели» озабочены совсем другими

проблемами: как осуществлялась выплавка металла, как выглядело жилище древнего человека, что он ел на ужин и т. п. И каждая новая находка утверждает археологическую аудиторию в мысли, что этот вполне абстрактный человек соображал весьма неплохо, умел многое, отправлял свои ритуалы, т. е. в чем-то был похож и на нас. Ну и вообще — человек этот был вполне неплохим парнем со своими сложностями в жизни («Мамонты вымерли, а что тогда есть? Надо сельским хозяйством начать заниматься»). Словом, между ним и нами устанавливается контакт весьма интимного свойства, не отягощенный излишними подробностями о его представлениях о добре и зле.

Для того, чтобы эта схема стала бы движущейся моделью, надо было сжиться с мыслью, что «мы» и «они» имеем что-то общее. И тут «обычная» история, имеющая дело по преимуществу с реалиями государственно-этнического сознания («они жили в государстве Япония, и мы в нем живем — значит, все мы японцы, и культура у нас тоже — общая на всех»), оказывалась бессильна. Очень показательно, что блестящая в своей экспрессии древнейшая культовая керамика, связанная своей глиной со всеми духами японской земли, не была до войны предметом специального искусствоведческого внимания на том основании, что создатели этой керамики еще не были японцами. Это утверждение невозможно оспорить с научной точки зрения и сегодня: ни антропологически, ни культурно этих людей невозможно считать даже протояпонцами. Однако сейчас этот ограничитель перестал быть хоть сколько-нибудь действующим, поскольку в общественном сознании произошел важнейший перелом: взамен этнически ориентированной истории утвердилось «история территориальная». И теперь учебник по «сквозной» истории Японии — это, в строгом смысле, не история государства Япония и японского этноса, сколько история населения, обитавшего с палеолитических времен в определенной географической зоне, которая в настоящее время носит название «Японский архипелаг».

Однако осознание этого действительно нового подхода является предметом по преимуществу научного осмысления, не выходящего за пределы страниц специализированных изданий. Массовое сознание вполне уверенно считает, что люди палеолита — это и есть (культурно и антропологически) непосредственные предки нынешних японцев.

В массовом сознании остается и другой продукт археологической науки: периодизация, которая применима исключительно по отношению к самой Японии. Даже по отношению к палеолиту,

термину, достаточно прочно вошедшему в научный и околонуучный оборот, наблюдаются непрекращающиеся попытки назвать его каким-то «уникальным» способом — например, периодом Ивадзюку (по названию первой, обнаруженной в 1949 г. стоянки, которая была определена как палеолитическая). Все остальные археологические периоды вообще никогда не имели и не имеют международных соответствий. Так, все японцы знают, что такое «период дзёмон» (назван так по керамике с характерным «веревочным орнаментом»), но мало кто знает, что такое «неолит». Каждый скажет, что «период яёй» назван так по району Токио, где была впервые обнаружена свойственная для этого времени керамика, но словосочетание «бронзово-железный век» может вызвать лишь вопросы. Японские археологи-теоретики утверждают при этом, что номенклатура археологической периодизации была разработана европейскими исследователями, которые не принимали в расчет японский материал. А этот материал никак не вписывается в предлагаемую.

Спору нет: поскольку любая культурная и археологическая региональная традиции безусловно обладают определенной спецификой, то и никаких формальных претензий к такой периодизации предъявить нельзя. Следует лишь иметь в виду, что и сами ученые (включая, разумеется, и вашего покорного слугу), несмотря на заявляемую ими «объективность», являются продуктом своей национальной культуры — со всеми ее плюсами и ограничениями, которые она налагает. Не следует забывать и о том, что японская периодизация, вкуче с другими археологическими фактами и артефактами, вне зависимости от интенций археологов и их широкой аудитории, объективно решает не только чисто научные проблемы: весьма успешно она выполняет и важнейшую задачу по самоидентификации японского этноса.

Когда во второй половине XIX века японцы стали приобщаться к достижениям Запада, первыми книгами, которые они бросились переводить, были «Всеобщая история» Г. Гудрича, «История цивилизации в Англии» Г. Бокля, «История европейской цивилизации» Ф. Гизо и т. п. Потому что нет истории — нет и страны, нет и культуры. После того, как были переведены исторические сочинения, японцы приступили к переводам работ по военному делу, социологии, юриспруденции, естественным наукам, произведениям художественной литературы. Ну, и так далее.

Пока японцу незнакома «история» человека, с которым ему предстоит общаться, он тоже чувствует себя не в своей тарелке. Отсюда — непрерывный обмен визитными карточками при начале знакомства. И даже на инструкциях по применению лекарств в первых строках довольно часто пишут, когда и кем это лекарство было изобретено. Лишенное истории не имеет право на существование и на доверие.

«Первый министр Хорикава был красивым и богатым. И еще его отличала любовь к роскоши. Сына своего — влиятельного Мототоси — Хорикава определил управляющим сыскным департаментом и, когда тот приступил к несению службы, заявил, что китайский сундук, стоявший в служебном помещении сына, выглядит безобразно, и распорядился переделать его на более красивый. Однако чиновники, знающие старинные обычаи, доложили ему: «Этот сундук переходил здесь из рук в руки с глубокой древности, и неизвестно, откуда он взялся: с тех пор прошли уже сотни лет. Когда во дворце от старости приходит в негодность какая-либо

вещь из тех, что передаются из поколения в поколение, она служит образцом для изготовления новых, так что лучше бы его не переделывать». («Записки от скуки», перевод В. Н. Горегляда). Нечего говорить, что после такого убедительного обоснования в пользу древности распоряжение Мототоси было отменено.

В этой истории заключена самая суть отношения японцев к истории: если что-то было начато, оно должно быть продолжено, ничто не должно исчезнуть в потоке времени.

Японский писатель Хотта Ёсиэ, прибыв в столицу СССР из Испании в испанском же «высокохудожественном» берете, очнулся на секунду в автомобиле после самолетных возлияний, бросил мутный взгляд на московскую толпу, сказал: «Ничего путного у вас не будет, пока косоворотки носить не станете», — и снова заснул.

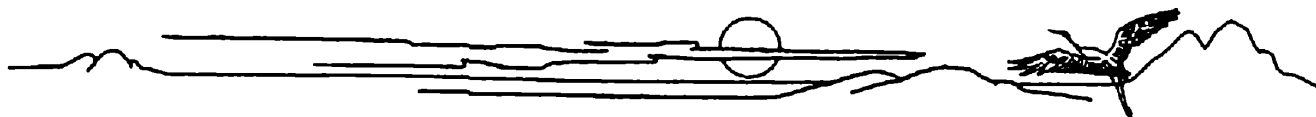
Удивительно, но в нынешней Японии сохранились образцы древней деревянной архитектуры. Даже сегодня мы имеем возможность наблюдать некоторые синтоистские святилища в их первозданном виде. Дело в том, что главные храмы (такой как, скажем, родовой храм правящего рода в Исэ, префектура Миэ) было заведено перестраивать раз в двадцать лет. Этот обычай ведет свое начало с конца VII в. Рядом со старым храмом отстраивали точно такой же новый, а прежний после этого сносили. В этом действе нашли отражение как практические соображения (через двадцать лет дерево в японском климате приходит в ветхость), так и ритуально-магические — циклическое обновление миропорядка один раз в поколение. Кроме того, играло свою роль и соображение о технологической преемственности: перестройка раз в двадцать лет обеспечивала передачу мастерства от одного поколения строителей к другому.

В Японии никто не станет похвастаться, что он сделал что-то первым. Скорее он сошлется на то, что продолжил начатое кем-то дело. А потому реформаторы там всегда рядятся в одежды консерваторов. Европейцы часто именуют широкомасштабные реформы периода Мэйдзи революцией — за три десятка лет Японии удалось шагнуть из феодализма в современное индустриальное общество. В Японии же утвердился термин «обновление». Под этим обновлением мыслится возврат к старому — к тому старому доброму времени, когда еще не было никаких сёгунов, которые затем отняли у императоров принадлежавшую им когда-то власть.

Что ни начнешь исследовать и всегда окажется, что перво-текстнам неизвестен. Традиция всегда утверждает, что перед первым известным текстом существовал какой-то иной, с нулевым, что ли, номером. Первые в Японии сочинения исторического содержания — «Кодзики» и «Нихон сёки». Но они же утверждают, что первая история Японии была написана намного раньше, но потом была, к сожалению, утеряна. Такие сочинения, судя по всему, отсутствовали, но составителям «Кодзики» и «Нихон сёки» было важно показать, что они — продолжатели, а не основатели. И такое утверждение сильно поднимает авторитетность самих «Записей о делах древности» и «Анналов Японии». Отсюда и названия последующих хроник: «Продолжение «Анналов Японии», «Последующие анналы Японии». И так — во всем. Первая поэтическая антология на японском языке «Манъёсю», то есть «Собрание десяти тысяч поколений». Составители антологии хотели сказать, что собрали воедино стихи, которые были написаны давным-давно и совсем недавно людьми разных поколений. А в противном случае они не имели бы никаких оправданий для своей работы.

Деление на «историю» и «литературу» — вполне условно. В любом случае основные идеи литературных сочинений не слишком отличаются от того, что говорится в сочинениях исторических. Да и само отношение общества к литературе и литераторам тоже определяется его представлениями об истории. Ки-но Цураюки, знаменитому составителю знаменитой поэтической антологии X в. н. э. «Кокинсю» («Собрание старых и новых песен») в 1905 г. было даровано очередное повышение в придворном ранге. Этот акт был приурочен к тысячелетней годовщине указа, согласно которому Цураюки приступил к работе.

Японские писатели XX в. обращались к произведениям классической средневековой литературы весьма часто. Так, Акутагава Рюноске черпал свое вдохновение не только из современной жизни, но и из средневековой литературы. Ниже следует предисловие к «Удзи сюи моногатари» вместе с рассказом из этого сборника (XI-6, перевод Г.Г. Свиридова) и рассказ Акутагава, который показывает, как прославленный писатель взял без зазрения совести и блестяще использовал материал, доставшийся от дальних литературных предков.



«Рассказы, собранные в Удзи» («Удзи сюи моногатари»)

ПРЕДИСЛОВИЕ

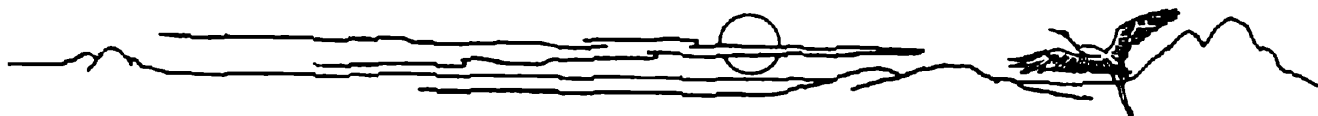
Есть на свете такая книга — «Рассказы, собранные старшим государственным советником из Удзи». Этого советника звали Такакуни. Он был внуком господина Нисиномия, вторым сыном старшего советника Тосиката.

Когда советнику Такакуни минуло уже немало лет, стал он мучаться от жары. А потому, испросив позволения, взял он за обыкновение проводить время с пятой луны по восьмую в уединенной обители под названием «Южный источник», что была расположена у подножья горы к югу от хранилища сутр при храме Бёдоин в Удзи. Оттого и прозвали его «Старшим советником из Удзи».

Советник Такакуни имел обыкновение сплести волосы в пучок и вид имел чудаковатый. Постелив на досчатый пол циновки, обмахивался веером и наслаждался прохладой. Зазвав прохожего, не спрашивал про звание, но зато понуждал рассказывать старые сказки. Сам же при этом лежал и записывал рассказы в толстую тетрадь.

Люди рассказывали ему и про Индию, и про Китай, и про Японию. Рассказывали про серьезное и смешное, про страшное и печальное, про срамное и про... Встречались рассказы и пустые, и полезные. В общем, разные.

Люди читали записи Такакуни с удовольствием. И было в той книге четырнадцать свитков. Передают, что подлинная книга хранилась дома у некоего Тосисада, что прислуживал государю. А вот что с этой книгой случилось, спрашивается? Люди умные ее переписывали по своему — историй стало еще больше. Так случилось, что в книге появились и истории, которые случились уже после смерти советника. А потом и вовсе — нынешнее приплелось. Вот так и вышло, что в книге собрались и рассказы, миновавшие ушей советника, и рассказы о том, что случилось после его смерти. Имя же книге дали такое: «Рассказы, собранные в Удзи». Это потому, что в ней собраны те истории, которые были записаны в Удзи. Но, быть может, название «Удзисюи» происходит оттого, что слово «сюи» означает, не только «собранное», но и «прислуживающего государю». Трудно сказать, где тут истина.



Про монаха Эин и про дракона из пруда Сарусава

Давным-давно жил в городе Нара поднаторевший в Учении монах Эин, состоявший ранее на службе у государя. Нос у него был такой большой и такой красный, что называли его Большеносым Проповедником-придворным. Только очень уж длинное имя оказалось, и стали его именовать Носатым Проповедником. А еще позже — просто Носатым.

В молодости как-то поставил Эин у пруда Сарусава табличку. «Такого-то месяца и такого-то дня из этого пруда поднимется на небо дракон». Прохожие — молодые и старые, и даже люди весьма влиятельные перешептывались: «Вот бы посмотреть-то!» Большеносый же про себя забавлялся: «Вот потеха! Расшумелись, а ведь это я все подстроил. Дураки-то какие!» Однако рта не раскрывал, и делал вид, что совершенно тут ни при чем.

Но вот настал означенный месяц.

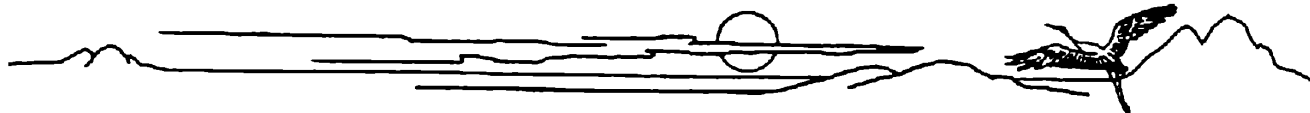
Слухи о драконе дошли до провинций Ямато, Кавати, Идзуми и Сэццу, и стали собираться оттуда в Нара люди. Эин же подумал: «И зачем они пришли? Что-то здесь не так. Чудно!» Но сам по-прежнему прикидывался, что ничего не знает.

Наконец настал означенный день. Людей собралось столько, что ни пройти-ни проехать.

И вот настал означенный час. Эин подумал: «Не так все просто. Хотя я сам все подстроил, но, может, и вправду что-нибудь случится? Пойду-ка сам посмотрю.» Закутал лицо платком и отправился к пруду. Только близко не подойти ему было. Тогда Эин забрался на южные ворота храма Кофукудзи и стал ждать. Вот сейчас увижу дракона, вот сейчас... Да где там! Вот и солнце уже садиться стало.

Наступили сумерки. Не оставаться же здесь? Эин отправился обратно и по дороге повстречал на мосту слепого. Эин сказал: «Эй, кто там есть, осторожно! Темно перед глазами!» Слепой же без промедления ответил: «Что ты там говоришь? Да у тебя самого под носом темно!»

Слепой не знал, что Эина кличут Носатым придворным. Но когда он на «темно перед глазами» ответил «темно под носом», это звучит точно так же, как и «Носатый придворный» — ханакура. Вот смешно-то!



Акутагава Рюноскэ

Дракон

1

Старший советник Такакуни, пребывавший в земле Удзи, сказал: «Охо-хо! Поспал я днем, очнулся — еще жарче стало. Даже цветы глицинии, что в ветвях сосны запутались, неподвижны сделались — ни дуновенья. Даже всегда прохладное журчание ручья смешалось сейчас с жарким пением цикад — тяжело. Позвать что ли послушников — пусть они веерами помашут...

Эй вы, зеваки уличные, собрались уже? Давайте-ка я к вам выйду. А вы, мальчишки, опахало не забыли? Будете меня сзади охлаживать.

Слушайте! Звать меня — Такакуни. Разделся я от жары догола — уж простите меня как-нибудь.

Есть у меня дело к вам — оттого и позвал вас сюда к себе в Удзи. Хоть и случайно здесь очутился, а хочу — как люди — книжкой собственной обзавестись. Но подумал я хорошенько — а написать-то мне не о чем. Сколько голову не ломай, а такого лентяя, как я, ничто не спасет. А потому, рассудил я, лучше сделать так: вы мне разные сказки старые рассказывайте, а я уж из них книжечку составлю. И тогда мне, привыкшему слоняться вокруг императорского дворца да около, всяких небылиц со всех сторон нанесут — ни на воз не навалить, ни на корабль не нагрузить. Извините, конечно, но может не откажитесь?

Правда расскажете? Вот удача! Ну давайте прямо сейчас хоть одну сказку послушаем.

Эй, ребята, только давайте про опахало не забывайте — чтобы как будто ветерком обдавало. Чтобы мне хоть чуть попрохладнее стало. Кузнеца и горшечника прошу не стесняться. Оба к столу подходите. Как солнышко повыше встанет, хозяйке свою кадку с соленьями лучше в тень поставит. Вот и я, монах, гонг свой монашеский в сторонку отложу. На этой циновке места хватит и самураю, и отшельнику.

Ну как? Если все приготовились, начнем со старшего — с деда-горшечника.

2

Старик-горшечник:

«Уж как вы обходительны... Люди мы вовсе незнатные, а вот поди ж ты — желаете из сказок наших книжицу наладить. Прямо страшно

делается. Но противиться вашему желанию никак не смею и потому с вашего высокого позволения расскажу одну вздорную сказочку. Скучная она, конечно, но вы уж потерпите как-нибудь.

В годы наши молодые в Нара-городе жил-был один добродетельный послушник. А имя ему было — Эин. Нос же у него очень даже огромный был. Мало того — самый кончик у него всегда такой красный был — будто осой ужаленный. А потому жители этой самой Нары прозвали послушника добродетельного «Монахом-длинноносом». И раньше-то над его носом крошечным подсмеивались, а теперь как-то само собой стали его «Длинноносом» величать. Нос-то у него опадать и не думал, так что через время какое-то только и слышалось — «Длиннонос» да «Длиннонос». Сам я раз или два в храме Кофукудзи в Нара самой был, видел, что и вправду — нос его багровый красив как у черта — только Эина того «Длинноносом» и обзывай. Длиннонос да Длиннонос... Вот ночью как-то Эин этот с носом своим длинным отправился один-одинешенек к пруду Сарусава, никого из учеников с собой не прихватив. На берегу же, как раз в том месте, где в давние времена утопилась от любви несчастной дама придворная — Унэмэ-янаги, поставил дощечку, а на ней жирно так и видно написал: «Третьего дня третьей луны увидите как дракон из этого пруда на небо вознесется». На самом-то деле Эин не ведал — живет в пруду Сарусава дракон или нет. А говорить о том, что он на небо вознесется, да еще в третий день третьей луны — это уж совсем ерунда какая-то. Всякий сказал бы — нет, не будет никакого там вознесения. Так зачем же Эин такую нелепицу написал? А в том дело, что надоело ему, что монахи с мирянами над его носом смеются и решил он устроить им розыгрыш и теперь уже самому ему, длинноносому, над ними от души посмеяться.

Вот вы меня все слушаете, да думаете, наверное, — что это он там мелет? Да только рассказываю я о временах давних, а тогда такие вот проделки каждый день случались.

Ну вот. А наутро надпись его первой увидела одна старуха — она каждое утро в Кофукудзи на поклонение к целительному Будде приходила. Вот ковыляет она, палкой бамбуковой по земле стучит, на руке четки намотаны. Глядь — возле пруда, дымкой утренней еще подернутого, прямо под той самой ивой — дощечка вкопана. А ведь не было ее еще вчера! Удивляется: для объявления о службе в храме — место странное. Но грамоты-то она не понимает... Так простояла она, пока не увидела проходившего мимо монаха. Спросила — а что это здесь написано? Прочел: «Третьего дня третьей луны увидите, как дракон из этого пруда на небо вознесется». Каждый бы тому удивился — вот и у старухи тоже — дыхание перехватило, даже спина сгорбленная

распрямилась. «Разве ж в этом пруду дракон водится?» — спросила монаха, снизу глядя ему в лицо.

Монах же отвечал ей весьма спокойно: «Рассказывают, что в давние времена в Китайской стороне у одного ученого мужа на лбу шишка вскочила. И очень она у него зудела. И вот однажды небо вдруг все заволочло облаками, и на землю обрушился ливень. И тут шишка его прорвалась, и на небо, разрывая облака, в один миг вознесся черный дракон. Если уж в шишке дракон уместился, то что уж хитрого, если на дне такого пруда дракончики эти кишмя кишат?» Вот так вот монах тот старушку и просвещал.

Она же точно знала, что монахам вера врать не позволяет и потому отважно рассудила: «Коли это так, то, наверное, и вода здесь должна будет по особому перекраситься.» И хоть день назначенный еще не наступил, оставила она монаха, а сама быстренько так поковыляла прочь со своей палкой, призывая в одышке имя Будды. И тут наш монах-озорник — да-да, ведь это именно Эин длинноносый был — живот от смеха надорвал. Ведь это он бродил здесь вокруг пруда с самым невинным видом не в силах отойти от своей вчерашней надписи — будто курица привязанная — и все высматривал: а что из его затеи выйдет?

После того, как старуха исчезла, увидел он еще женщину, которая с самого утра на рынок собралась. Ношу свою она взвалила на товарку рода явно простого, а сама разглядывала надпись из-под полей своей дорожной шляпы. Тут Эин напустил на себя важности, губы закусил — чтобы не рассмеяться, подошел к надписи и стал делать вид, что читает ее. Хмыкнул своим багровым огромным носом как бы от удивления, а потом отправился неспешно обратно к храму.

И встречает он тут нежданно-негаданно у южных ворот Кофукудзи монаха по имени Эмон, который проживал в одной с ним келье. Эмон же, пряча от мирских соблазнов глаза под строгими бровями, которые у него на сороконожку похожи были, и говорит: «Рано сегодня встать изволил. Видать погода переменится». Эин же с полной готовностью победоносно отвечал, ухмыляясь во весь свой нос: «Да, погода, должно быть и вправду переменится. Говорят, в нашем пруду Сарусава, третьего дня третьей луны вознесение дракона состоится.» Эмон же с некоторым подозрением уставился было на нашего монаха, но тут же помягчал, рассмеялся и сказал: «Да тебе хороший сон приснился! Говорят, если дракон возносящийся привиделся, то это к добру». Сказав так, хотел уже, вполне довольный собой, свою тыкву-голову дальше нести, да только Эин и скажи, как бы вслух размышляя: «Да, маловерам-то, конечно, вряд ли спастись удастся». Хоть и пробормотал он это, а все слышно было. Тогда Эмон остановился,

закачался на пятках, обернулся в злобе и сказал с воодушевлением, вполне приличествующим диспуту по вопросам веры: «А есть ли у тебя твердые доказательства того, что дракон на небо поднимется?» Вот так он спросил. Тогда Эин спокойно указал на пруд, освещенный уже утренним солнцем, и сказал снисходительно: «Если сомневаешься в том, что говорю я, глупый монах, скажи, читал ли ты то, что написано возле той ивы?».

И тут даже непреклонный Эмон поумерил свой пыл. Сверкнув разок взглядом, он обреченно сказал голосом, из которого весь задор вышел: «Вот оно что... Там так написано...». Тут он снова зашагал, но только голова его была уже опущена — видно, задумался о чем-то. Эин проводил его взглядом — можете себе представить радость Длинноносого! И такое его нетерпение сразило — будто бы в носу зазудело. Чинно поднялся он по каменной лестнице, ведущей к Южным Вратам, а там уж сдержаться не сумел — со смеху покатился.

Даже в самое первое утро извещение о вознесении дракона такой успех имело. А уж через пару дней весь город слухами о драконе из пруда Сарусава полнился. Хоть кто-то и говорил поначалу, что все это проделка чья-то, да только было известно, что в столичном саду Божественного Источника и вправду дракона возносящегося видели, и потому хоть люди и сомневались, но все-таки думали, что и такие чудеса на свете случаются. А тут еще одно чудо приключилось. Девочке одной, что в храме родных богов Касуга прислуживала, девять годочков исполнилось. Не успело пройти и десяти дней, как ночью привиделось ей, когда спала она рядом со своей матерью, что спустился облаком с небес черный дракон и сказал человеческим голосом: «Близок уже третий день третьей луны и назначено мне тогда на небо вознестись. Не хочу жителям вашего города беспокойства причинять, а потому говорю вам: будьте спокойны». Здесь девочка глаза-то открыла и все как есть своей матушке и поведала. Сами понимаете — весть о том, что дракон из пруда Сарусава во сне ей явился тут же по городу разнеслась. Тут, конечно, к ее рассказу хвост приделали — наутро уже стали говорить, что девочка эта одержима драконом стала, песни чудесные распевает, что явился он тут одной жрице с прорицанием — словом, голова дракона над поверхностью пруда уже виднеться стала. Да что там голова — мужчина один утверждать стал, что глазами собственными даже спину его углядел. Бабка же, что утро каждое рыбой речной на рынке торгует, стала рассказывать, что когда пришла она на самом рассвете к пруду, то вода, которой положено быть в это время черной — сла-абенько так светится, причем только в одном месте — там, под ветвями ивы, под той насыпью, где надпись сделана. А поскольку толки о драконе у нее уже в ушах навязли, то

она и подумай: «Наверное, это дела дракона божественного». Сердце у нее затрепетало — то ли от радости, то ли от страха. Рыбу свою она на землю положила, а сама остороженько так к иве той подобралась и пруд внимательно оглядела. И вот в том месте, где вода светилась, увидела она, что на дне будто свернутая цепь железная лежит. И была эта вещь диковинная в кольцо свернута, а тут, видно, человека почуяла, развернулась сама собой, а по пруду волны пошли. И исчезла. Бабка тогда вся потом покрылась, хотела поклажу свою забрать, глядь — а два десятка ее карпов с карасями, что она продать хотела, куда-то исчезли. Сначала она подумала было, что это проделки многоопытной выдры, но потом сказала себе так: «А ведь дракон этот пруд оберегает, и потому никакой выдры здесь быть не должно. К тому же дракону наверняка рыбку-то жалко стало и потому он ее в свой пруд призвал.» И много еще чего она передумала.

От того, что каждый о его надписи говорить стал, Эин нос свой еще выше задрал и в душе посмеивался. Когда же до назначенного дня оставалось всего несколько дней, то и ему пришлось призадуматься. Тетка его — монахиня, проживавшая в Сакураи, что в провинции Сэццу, приехала к нему, проделав путь немалый, и сказала, что непременно желает на вознесение дракона сама поглядеть. Эин не знал уже, куда ему и деваться. Что только ни делал — и ругал ее, и уговаривал — только чтобы она домой вернулась. Тетка же так отвечала: «Годы мои немолодые уже. Очень хочется перед смертью хоть глазком одним на дракона этого взглянуть.» Твердо так на своем стояла и племянника слушать не желала. И поскольку Эин в своей проказе признаваться никак не хотел, пересилила она его и заставила пообещать не только до означенного дня за ней присматривать, но и пойти с ней вместе на вознесение дракона поглядеть. Если уж до тетки-монахини весть о драконе докатилась, то что уж говорить о людях других — из мест ближних, да и дальних тоже. Так вот и случилось, что в проделку эту, предназначавшуюся для жителей Нара, оказалось вдруг замешано великое множество людей отовсюду.

И как подумает о драконе Эин, не то что смешно — страшно ему становится. И когда с утра до вечера он тетке своей храмы местные показывал, как увидит стражника, так ему тут же хочется куда-нибудь спрятаться, словно преступнику какому. Когда же от случайных прохожих слышал он, что дощечке его приносят и цветы, и благовония, становилось ему вроде бы и жутковато, но и радовался он, что все так ловко устроил.

Вот так и катились дни, пока третий день третьей луны не наступил. Что Эину было делать, если уж он обещание своей тетке дал? Хоть и не хотел он, а пришлось отправиться к каменной лестнице, ведущей

к Южным Вратам храма Кофукудзи, откуда пруд был как на ладони виден. На небе в тот день не было ни облачка, маленькие колокольчики на воротах под ветром недвижны оставались. Но зрелище-то было назначено именно на сегодня, и потому очень многие пришли поглазеть на него не только из самого города Нара, но и из Кавати, Идзуми, Сэццу, Харима, Ямасиро, Афуми и Тамба. Взглянешь с лестницы — со всех сторон море людское, волны шапок и шляп, тающих где-то там в утренней дымке, окутывающей главную улицу, что делит город на две половины. И только кое-где в это сплошное море были вкраплены запряженные быками изящные экипажи — светло-зеленые, красные, с выступающими над ними козырьками. В ясных лучах весеннего солнца, в отраженном свете золота с серебром государева дворца все это великолепие слепило глаза. Мало того: расправленные зонты, натянутые навесы, богато изукрашенные сиденья вдоль улиц... Словом, открывавшийся с лестницы вид на пруд и толчея вокруг него превосходили даже то, что можно наблюдать во время знаменитого праздника в храме Камо. И ведь все это наблюдал и Эин, сделавший свою надпись всего несколько дней назад. В самом страшном сне не могло ему привидеться, что поднимется такой шум. И когда, поворачившись к своей тетушке, спрашивал как бы в удивлении и недовольно: «И что это столько людей сюда привалило?» — то был он на самом деле растерян — только и мог, что носиком своим по сторонам водить. Будто бы из-под рухнувших столбов ворот этих выбраться не мог.

Но тетушка его совсем не догадывалась, что у Эина на душе делается, головой вертела так, что платок ее монашеский чуть с головы не сваливался, глядела туда-сюда, все норовила Эина за руку схватить — вот смотри какой это пруд чудесный, где дракон живет, а людей-то — тьма просто, а дракон-то вот-вот объявится... Тут и прислонившийся к воротам Эин тоже — усидеть не смог, поднялся на ноги как бы нехотя и увидел море шляп, принадлежавших простолюдинам и самураям, и еще увидел затесавшегося среди них Эмона — голова его по-прежнему высоко поднята была, а на пруд он смотрел как баклан, когда он рыбу поймать хочет. Тут Эин сразу про задумчивость свою позабыл и не в силах сдержать свой зуд — над ним посмеяться, закричал: «Эй, брат!» и тут же издевательски спросил: «И ты, брат, на вознесение дракона поглядеть пришел?» Эмон же повернулся в его сторону, и, сохраняя против всякого ожидания, полное достоинство, отвечал: «Да, пришел. А ты, кажется, так и горишь от нетерпения?» При этом гусеничные брови его не пошевелились. Тут Эин решил, что чересчур далеко зашел — даже голос каким-то не своим сделался, и тогда снова изобразил на лице печаль и обратил взор в сторону пруда, окруженного морем зевак. Поверхность слегка нагретой воды пруд-

да, подсвечиваемая достигшими дна лучами, отражала кроны сакур и ив, и ничто не предвещало явления дракона даже в самом отдаленном будущем. Со всех сторон пруд был окружен плотным людским кольцом, и оттого его размеры казались меньше обычного, так что всякие рассуждения о том, что в нем живет дракон, казались невероятными.

Однако зрители не замечали течения времени и, затаив дыхание, терпеливо ожидали появления дракона. Людское море возле пруда только прибывало, а через какое-то время экипажи кое-где встали так тесно, что сталкивались осями. И тут почти что прирожденное спокойствие Эина сменилось нетерпением. Ему стало казаться, что дракон и вправду появится. Нет, не совсем так — вначале он почувствовал, что есть вероятность вознесения дракона. И это было действительно странно — ведь надпись-то сделал сам Эин. Но когда он смотрел на эти бурные волны голов и шляп, ему стало казаться, что чудо возможно. Видно надежда этой огромной толпы передалась и ему, длинноносому. Ему было горько оттого, что пустячная надпись может наделать столько напрасного шума, но Эин как-то незаметно сам для себя захотел, чтобы дракон и вправду вознесся. И хотя он прекрасно знал, что дощечку поставил он сам своими собственными руками, желание позабавиться постепенно убывало, и он стал напряженно всматриваться в поверхность пруда вместе со своей тетушкой. Теперь ему было уже не все равно, и он ждал появления дракона, который без всяких помех должен был подняться на небо. И теперь — хотелось ему того или нет — он был должен весь день пробыть здесь, возле Южных Ворот.

Но, как и прежде, поверхность пруда была совершенно гладкой и отражала лучи весеннего солнца. Небо тоже — сияло чистотой: ни облачка, будь оно размером хоть с ладонь. Однако зрители — находились ли они под зонтами, навесами или же за поручнями бесконечных помостов — ждали появления дракона. Сначала — утром, потом днем — забыв про удлинняющиеся тени. Только приговаривали: «Вот сейчас, вот сейчас...».

С тех пор, как Эин пришел сюда, минуло уже полдня. И тут он вдруг заметил, как в небе появился дымок — как если бы зажгли ароматическую палочку. Прямо на глазах он становился больше, больше, и небо, бывшее за минуту до этого таким чистым, разом потемнело. И в этот миг над прудом Сарусава поднялся ветер, и зеркальную поверхность его зарябило. И от этого зрители заволновались, стали восклицать: «Наконец-то! Наконец-то!», и тут же небеса опустились ниже, разразившись прозрачным дождем. Мало того — вдруг раздался ужасный раскат грома, а по небу, словно челноки, запрыгали молнии. Одна из них распоролла под прямым углом тучи и со страшной силой ударила в пруд, подняв водяной столп. И тут Эин смутно увидел, как

в пространстве между водяными брызгами и облаками сверкнули золотые когти и как черный дракон величиною в десять сажений в мгновение ока поднялся на небо. Все это случилось так быстро... А потом было только видно, как цветы с деревьев сакуры, окружавших пруд, полетели в кромешно-черное небо. Обезумевшие зрители бросились врассыпную — в свете молний волны их были столь же бурные, что и поднявшиеся на поверхности пруда. И описать все это невозможно.

Но тут ливень прекратился, в прорывах туч выглянуло синее небо, и Эин стал таращиться окрест с таким видом, будто бы он позабыл про свой длинный нос. Сначала он подумал было, что дракон, только что им увиденный, ему померещился, но тут же решил, что вряд ли стал бы он являться только тому, кто сделал надпись, возвещавшую о драконе. И чем яснее он понимал, что увиденное им и вправду случилось, тем более удивительным оно ему казалось. Когда его теткамонахиня поднялась на ноги со своего места возле воротного столба, где она сидела ни жива, ни мертва, то он, не в силах скрыть своего смущения, нерешительно спросил: «Ну что, дракона видела?» Она же только глубоко вздохнула и стала испуганно кивать головой, как если бы язык проглотила. Потом же ответила дрожащим голосом: «Видела, видела. Когти золотые, горят, а сам черный весь из себя». Получается, что дракон и вправду был и не только Эин длинноносый его видел. Да что там — все, кто там в тот день были — и стар и млад — говорили, что видели возносящегося на небо дракона, окутанного облаком.

Через какое-то время Эин признался в своей проделке, но только ни Эмон, ни другие монахи ему, похоже, не поверили. Вот и решай теперь: достиг он своего этой проделкой или нет. Спросить бы о том самого Эина, монаха-Длинноноса... Да, пожалуй, и он бы не ответил.

3

Старший советник Такакуни сказал: «Вот уж сказка, так сказка. Значит, в давние времена и в пруду Сарусава дракон водился. А впрочем, неизвестно это. Нет, он там точно жил. Тогда люди все в Поднебесной от души верили, что на дне дракон живет. И тогда получается, что он между небом и землей летать должен, и, словно божество, время от времени тело свое чудное предъявлять. Впрочем, чем мою болтовню слушать, пусть лучше кто-нибудь другой сказку расскажет. Монах Ангё у нас на очереди.

Тоже про монаха с длинным носом? По имени Дзэнти из Икэноо? После нашего Длинноноса в самый раз будет. Ну давай, рассказывай, не томи душу».

КНИГА ЯПОНСКИХ ОБЫКНОВЕНИЙ

или как японцы

смотрят, считают время и деньги,
выращивают рис, едят, пьют, моются,
ходят в туалет, татуируют свое тело,
влюбляются и занимаются любовью,
совершают преступления, сидят в тюрьме,
а также совершают множество других
сколь обычных, столь и важных дел.

Предисловие

Одно из прельщающих меня свойств японской культуры состоит в том, что к телесному она относится со спокойствием, справедливо считая, что без него сама жизнь стала бы невозможной. Оттого и эти бесконечные разговоры японцев о еде, болезнях, банях, утреннем «стуле», ну и так далее. В литературе этого полно, а уж про телевизор и говорить нечего: с утра до вечера что у кого где и как болит в деталях показывают. Или же пищевые цепи в подробностях расписывают. То есть кто кого кушает к обеду-завтраку. Или кто как детей делает. В объектив попадают и рыбы, и кенгуру, и насекомые всякие. Тоже в деталях и в самое лучшее время, когда в иных странах боевики крутят. Японцам это важным кажется.

В иноземную культуру можно вникать по-разному. Традиционно советский подход заключается в задирании головы и пристальном вглядывании в «высокое» (будь то картина или памятник архитектуры), в чтении памятников классической литературы, которых японская культура породила действительно много. Я ничего не имею против такого любования, но все же осмелюсь сказать, что японская культура состоит не только из буддийской иконографии и «Повести о Гэндзи». В ней есть и нечто иное, не менее важное.

Никто не станет носить творения «высокой моды» семь дней в неделю — люди могут восхищаться ею, но их повседневный гардероб состоит из совсем других вещей, ибо положение «здрав голову» не может обеспечиваться шейными позвонками сколько-нибудь долго.

Впрочем, советский подход — не совсем советский. Если копнуть хоть чуть поглубже, окажется, что его истоки скрываются в христианском миропонимании, когда все телесное — будь то само голое тело или же то, что это тело из себя исторгает — сопли и разные прочие отделения, — оказывается по меньшей мере недостойным изучения и размышлений «в приличном обществе» (медики — не в счет). За исключением, естественно, слез.

Я хочу сказать, что высокую культуру должно что-то подпирать — иначе она отрывается от земли и улетает, словно воздушный шарик, туда, где становится нечем дышать.

Итак, я попытаюсь рассказать о «низком» в жизни японцев. Другими словами — об их телесном и околотелесном пространстве. Весь строй жизни японцев и их культура к тому подталкивают. Я бы определил дисциплину своих рассказов как «культурную физиологию». Отсюда и некоторые особенности изложения — через предметы, привычки и пристрастия я пытаюсь показать, как «работают» японский глаз, рот, руки-ноги и более интимные части тела. Ну и, естественно, голова тоже, потому что все, о чем я стану рассказывать, из нее и взялось.

Конечно же, предлагаемые читателю очерки не претендуют на всеохватывающую полноту, но все-таки кое-что важное мне, кажется, зафиксировать удалось. При этом я старался не трогать общих мест и по возможности отмежеваться от японских садов, дзэн-буддизма, харакири, Фудзиямы и иных вещей, о которых можно прочесть и без моей скромной помощи.

Считая себя достаточно близко знакомым как с Россией, так и с Японией, я не мог иногда сдержатъ искушения сказать по поводу обеих что-нибудь озорное. Что отнюдь не отменяет, но, наоборот, предполагает — определенную интимность отношения к ним и является неловкой попыткой признания в любви по отношению к этим особам женского пола.

Зрение

ВЗГЛЯД НА ПРОСТРАНСТВО И ПРОСТРАНСТВО ВЗГЛЯДА



Начнем наш осмотр японских достопримечательностей с японских черных глаз. Ведь именно с помощью зрения и получает человек свои главные представления о мире. Недаром, когда японцы говорят: «Пока глаза черны», это означает: «покуда человек жив». Но несмотря на то, что у разных народов физиологически глаза устроены более или менее одинаково (за исключением, пожалуй, формы их века), видят они совершенно по-разному. Поэтому и японское выражение «сузить глаза» обозначает радость, а «раскрыть глаза» — гнев (по-русски же говорится: «его зрачки сузились от ярости», а «раскрывают глаза» только от удивления). Каждая культура зряча по-своему и создает вещи, институты и тексты (одинакового, казалось бы, предназначения!) тоже на свой лад.

О становлении японской национальной культуры можно говорить века с шестого. Именно тогда по-настоящему формируется государственность, а вместе с ней начинает постепенно проявляться и этническое самосознание. И, подобно людям во всем остальном древнем мире, японцы смотрят в это время на мир как бы через увеличительное стекло. Потому наиболее зримым свидетельством той эпохи являются гигантские погребальные курганы, предназначенные для захоронений знати. Достаточно сказать, что самые большие из ныне известных курганов имеют более ста метров в диаметре, а длина погребального сооружения, приписываемого императору Нинтоку, составляет 486 метров.

Расчеты дотошных археологов показывают, что для возведения кургана Нинтоку были проделаны земляные работы общим объемом в 1 405 866 кубических метров. Если предположить, что

переноска земли осуществлялась на расстояние в 250 метров, и один человек был в состоянии перенести один кубический метр за один день, то для выполнения этого объема работ потребовалось бы около 1 406 000 человеко-дней. При допущении, что каждый день на постройке кургана трудилась тысяча человек, сооружение кургана заняло бы приблизительно четыре года. Для перевозки такого объема грунта требуется 562 347 рейсов пяти-тонного грузовика.

- Стремление государства увековечить себя в чем-нибудь исключительно крупномасштабном продолжается вплоть до IX века. Лучшим тому подтверждением служит построенный усилиями самого государства гигантский буддийский храм Тодайдзи («Великий храм Востока»), занимавший в столичном граде Нара площадь в девяносто гектаров. Размеры же основного храмового помещения («Золотого павильона») — ныне самого большого в мире деревянного сооружения (он сохранился со значительными перестройками и в масштабе два к трем по отношению к первоначальной постройке) — составляют: высота — 49 метров, длина — 57 и ширина — 50 метров. На выплавку шестнадцатиметровой статуи Будды, помещенной в этом храме, пошло около четырехсот тонн меди. Она тоже оказалась самой большой бронзовой статуей в мире. Вот вам и лишенная всяких ресурсов «крошечная» Япония!

И, конечно же, исполнение подобных гигантских проектов (а среди них — прокладка общенациональной сети дорог, размножение ксилографическим способом текста буддийской молитвы тиражом в один миллион экземпляров и т. д.) требовало напряжения всех сил этой в общем-то не слишком большой страны с тогдашним населением в 5 600 000 человек.

Однако этот приступ государственной гигантомании заканчивается довольно быстро, и японцы начинают смотреть на мир почти теми же «близорукими» глазами, что и сегодня. Происходит это приблизительно в десятом веке. Отчасти это связано с бедностью архипелага минеральными ресурсами и его не слишком большими размерами (вступает в свое законное право принцип минимизации потребностей), отчасти с тем, что государство утратило былую мощь (а с нею и самомнение) и прекратило свою территориальную экспансию (север Хонсю, Хоккайдо и Окинава не входили тогда в его состав), потеряв интерес и к событиям на материке (командирование посольств в Китай и Корею было прекращено). Однако в тот же период впервые проявилось труднообъяснимое для науки стремление японской души упираться взглядом

во что-нибудь малюсенькое. Ведь даже в японском мифе (а миф, как известно, склонен к сильным преувеличениям) мы не встречаемся ни с какими великанами или гигантами....

Одним из символов «перемен к меньшему» может считаться прекращение составления в X веке официальных исторических хроник, работа над которыми велась по прямому указанию правителя. А хронист — это именно тот человек (вполне условный, разумеется, — хроники на самом деле составлялись «редакционной коллегией», то есть множеством людей), который обладает широтой взгляда, достаточной, чтобы обозреть всю страну. Вместо хроник теми же самыми императорскими указами предписывалось создание поэтических антологий. И вот поэзия становится тем видом творчества, по которому мы и судим о японской душе и о японском взгляде.

В сверхкоротких (31 слог) японских стихах этого времени нет никаких необъятных просторов. Смена времен года, наблюдаемая на цветах и растениях, любовные переживания — вот основные темы японских поэтов. И потому пространство страны как бы «свертывается» до пределов столицы, или государева дворца, или собственного дома и тела.

Первыми (как то и было положено им по социальному статусу) начинают вглядываться не в большое, а в малое высокообразованные и утонченные хэйанские аристократы, но потом все больше и больше японцев перенимает эту манеру. Все чаще они вглядываются не в даль, а себе под ноги, обживая пространство прежде всего телесное и околотелесное.

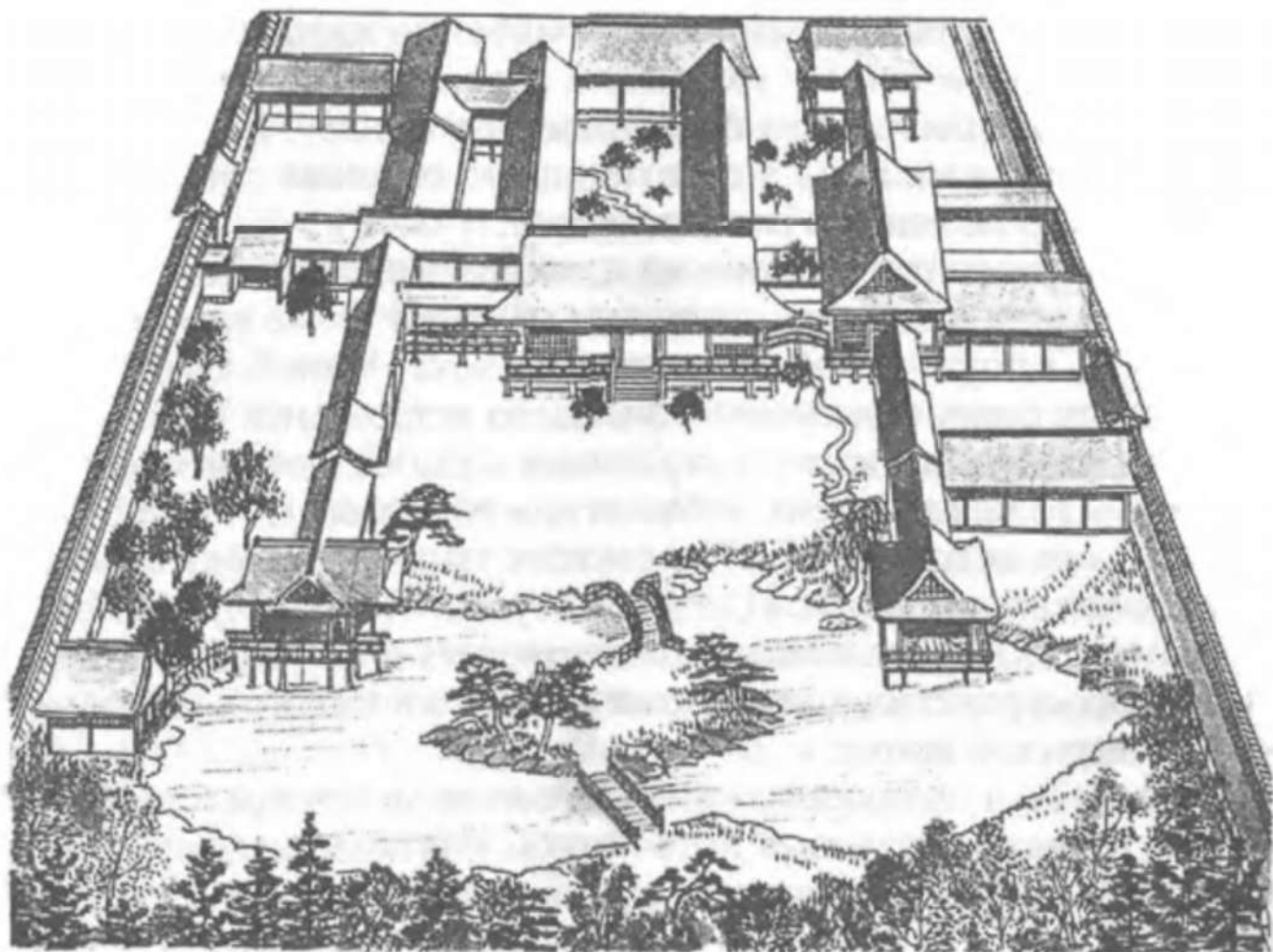
~~Очень хорошо это видно на примере той же самой поэзии,~~ которая всегда считалась японцами намного более важной, чем проза. Так, в поэтической антологии VIII века «Манъёсю» («Собрание десяти тысяч поколений») мы часто встречаемся с упоминаниями о различных животных, птицах и рыбах, которых вряд ли можно было каждый день наблюдать в густозаселенной (по различным оценкам — от ста до двухсот тысяч человек) столице Нара. Скажем, с оленем. Или диким гусем. Поскольку японцы в то время еще не разлюбили путешествовать и по-пионерски покорять пространство, то и добрый конь тоже входит в поэтический словарь той эпохи.

Что же до чуть более позднего времени, то эти представители фауны перестают служить источником поэтического вдохновения. И не даром: аристократы прочно обосновались в столице Хэйан, а крестьяне — сели на покрытую прямоугольниками рисовых полей землю. И те и другие почти перестали путешествовать.

За полной ненадобностью или невозможностью: аристократам было в столице спокойно и комфортно, а крестьянину свое рисовое поле, требующее постоянного ухода, бросать тоже было не с руки.

Что же это такое — оседлый народ, в который теперь превратились японцы? Это народ, занимающийся одомашниванием ближнего пространства. Вся жизнь его проходит внутри четко ограниченного пространственного круга, где каждая вещь находится на положенном ей месте — внутри, а не вне его — в страшном, неупорядоченном хаосе, от которого никогда не знаешь, чего ждать. Вот и проводили японцы целые века на своих циновках, беседуя о погоде, или же в поле, до которого рукой подать.

Поэтому и современные японские здания оказываются внутри намного больше, чем они кажутся снаружи (у русских наоборот: строение может быть и большим, а внутри него — не повернешься). Этот поразительный зрительный эффект достигается чрезвычайно продуманной организацией интерьера, его умелым использованием: каждая вещь находится на своем месте и предельно функциональна.



Усадьба аристократа

Аристократы же, вместо того чтобы с помощью длительных и утомительных путешествий искать физического контакта с дикой и страшной природой, решили приблизить ее к собственному дому. И здесь они поступили в соответствии с одним из своих древних мифов. Когда божество земли Идзумо поняло, что управляемая им земля чересчур мала, оно решило увеличить ее пределы. Но не за счет столь привычного европейцам завоевания, военного похода в дальние земли с последующим их заселением; оно просто взяло и притянуло своей мифологической веревкой другие территории.

Хэйанские аристократы поступили похожим образом: они как бы «притянули» к своему жилищу часть природного мира. Но при этом сильно уменьшили его размеры. И тогда на свет появились знаменитые японские декоративные сады — миниатюрный слепок с живой природы (я не говорю сейчас о появившихся чуть позже и на самом деле не слишком многочисленных дзэнских «сухих» садах камней). В этих садах есть и море и острова, горы и реки, и леса. Только очень маленькие и, к тому же, целиком окруженные стенами усадьбы.

В саду бывал устроен даже буддийский рай. Дело в том, что крошечные островки в «океанском» пруду нередко соединялись с сушей горбатыми мостиками. И только к одному из островов, называемому «Райским», никакого моста не вело, потому что и в «настоящий» рай попасть не так просто.

Именно в этих садах, а не в настоящих лесах и чащобах, и произрастают многочисленные виды воспеваемых японцами растений, именно туда приле-

出雲國風土記

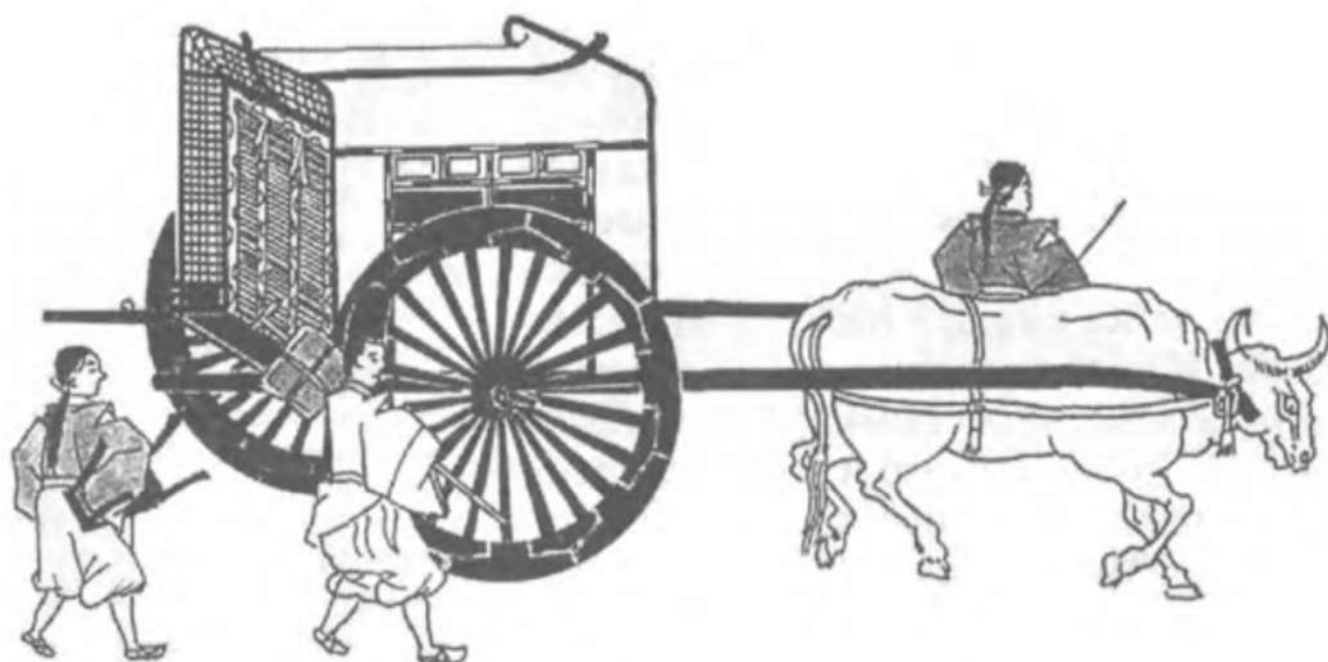
«Бог Яцука-мидзу-омицуно изрек: “Страна облаков Идзумо, где, клубясь, поднимаются восьмیارусные облака, — юная страна, узкая, как полоска полотна. Она была создана маленькой, поэтому хочу присоединить к ней другие земли. Если взглянуть на мыс Мисасаки в корейской стране Силла, то увидишь, что мыс этот — лишний”. И тогда он взял заступ, широкий и плоский, как девичья грудь, вонзил его в землю, как вонзают острогу в жабры большой рыбы, отрубил землю, колыхавшуюся, словно камыш, набросил на ту землю крепкую веревку, свитую из трех прядей, и начал медленно-медленно, словно лодку, тянуть-подтягивать ее. Он перебирал веревку руками и приговаривал: “Земля, иди сюда, земля, иди сюда!”»

«Идзумо-фудоки»,
перевод К. А. Попова.

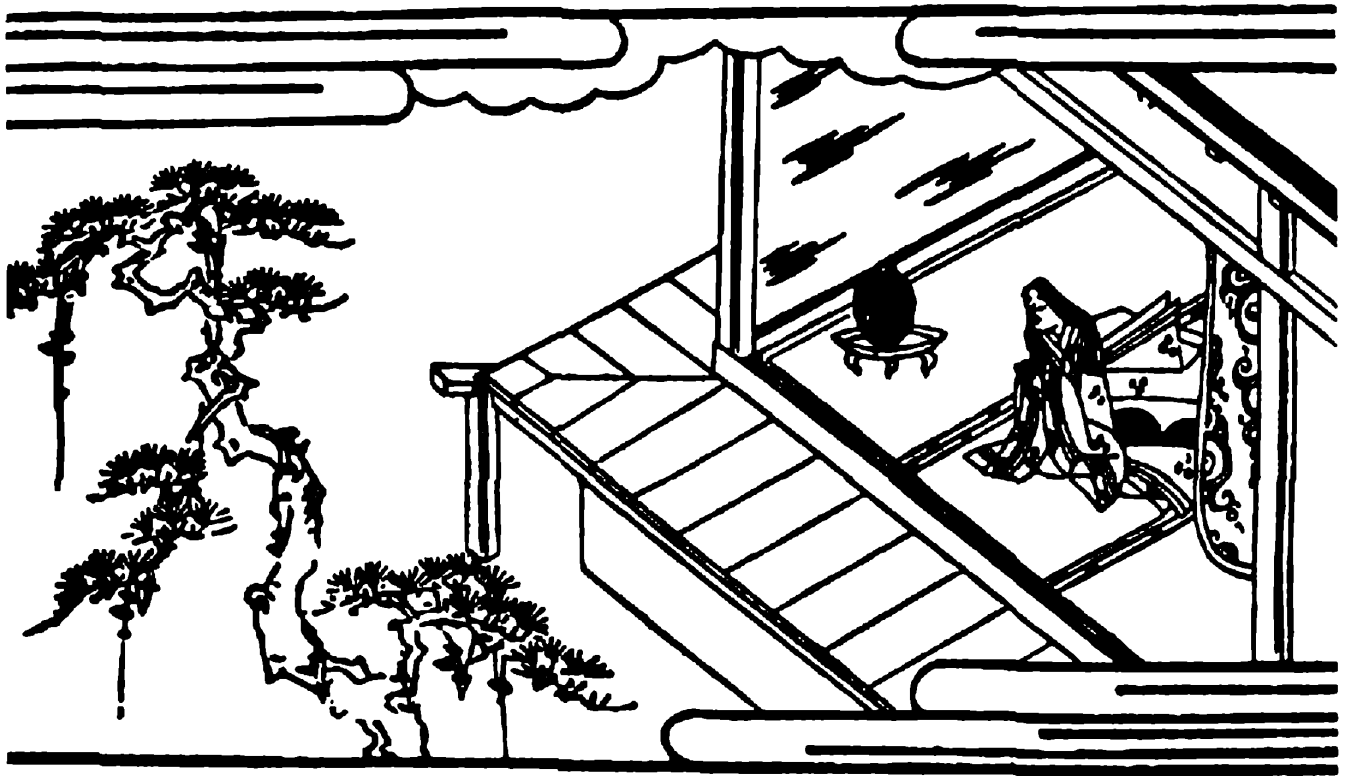
тают и птицы, возвещающие приход весны. А если в саду закуковала кукушка (которая, может быть, на самом-то деле никогда туда и не залетала) — значит уже и лето пришло.

Но никаких «крупных» животных или рыб (за исключением карпа) в этих садах с прудами не водилось. Конь тоже исчезает из быта аристократов. Передвигались же они — по преимуществу в пределах столицы — пешком, в паланкине или же в повозке, в которую впрягали медлительных волов. И уехать хоть сколько-нибудь далеко за город на них было нельзя. Да не очень-то и хотелось — хлопотно, суетно, страшно.

Кроме одомашнивания и миниатюризации дикой природы стоит отметить еще одно свойство японского взгляда на мир. К тому времени уже было понятно, какие места красивы, а какие — не очень. Самыми же поэтичными и замечательными считались пейзажи, о которых говорилось в стихах древности, когда стихотворцы еще имели желание, энергию и потребность покидать пределы своего дома. И хотя эти пейзажи (в основном горы, где, как считалось, обитали бесчисленные синтоистские божества) располагались далеко от столицы, аристократы очень любили, не покидая ее границ, воспевать их красоты, оставаясь на вполне приличном и безопасном расстоянии. Так что если мы встречаемся в стихотворении хэйанского аристократа с каким-нибудь топонимом — названием горы, реки или острова, то это отнюдь не обязательно означает, что стихотворец на самом деле бывал там. Просто он обладал достаточной начитанностью и доподлинно знал



Экипаж хэйанского аристократа



о существовании такого уже не раз воспетого другими поэтами пейзажа, помянуть который лишний раз считалось делом эстетически правильным.

Итак, человек Хэйана неподвижно пребывал в центре искусственного садово-паркового мира, со вниманием наблюдая из своего окна за природными переменами. Немудрено, что пространство, охватываемое в это время взглядом человека Хэйана, решительно сужается. Он даже перестал замечать звезды — столь необходимый компонент поэтического мира всех времен и народов. О звездах не писали стихов, а тогдашние астрономы даже разучились предсказывать время солнечного затмения.

И теперь мир этого человека можно назвать «свертывающимся»: японцы становятся «близоруки» на всю оставшуюся часть истории. Обозреваемый ими тип пространства не развертывается, а сворачивается вместе с их взглядом. Поэтому в их поэзии даже столь любимый японцами ветер ничего вдаль не уносит — он приносит (в основном запахи); взгляд, а вместе с ним и все другие органы чувств, отслеживает не удаление ветра, но его неминуемое приближение.

Вот, например, вполне показательный пример из более близких времен — известное стихотворение знаменитого поэта Иси-кава Такубоку (1886–1912), дающее представление о том, в каком направлении — вслед за взглядом — пристало двигаться и литературному слову — издалека-далека к автору, но не наоборот.

В восточном море,
На берегу островка,
На белом песке,
Промокши от слез,
С крабом играю.

Несмотря на свою неоспоримую любознательность, средневековые японцы не имели хоть сколько-нибудь точного представления об общих очертаниях архипелага, на котором они обитали. И потому карты того времени не могли служить серьезным подспорьем ни путешественникам, ни мореплавателям. Зато их взгляд был в состоянии фиксировать самые мельчайшие детали, даже травинки и цветы, росшие рядом с домом. Потому и планы дома, земельного владения или окрестности были очень точны.

Привычка глаза фокусироваться на малом и близком видна не только в способе зрительного освоения природного мира, но и в том, как люди Хэйяна видели самих себя.



Поземельный план.
VIII в.

Для того чтобы было лучше понятно, о чем идет речь, приведу наудачу какой-нибудь пассаж из своего перевода дневника прославленной писательницы Мурасаки-сикибу (автора «Повести о Гэндзи»), в котором до утомительности подробно рассказывается об одеяниях придворных дам, состоявших из многих слоев накидок, надеваемых одна на другую. При этом в запахе и рукаве каждый нижний слой чуть высывался из-под верхнего. Эстетическая задача «модницы» состояла в том, чтобы эти слои максимально гармонировали друг с другом по цвету. Итак:

«Я заглянула за бамбуковую штору и увидела там нескольких дам. На них были, как то и полагалось, нижние накидки желто-зеленого или же алого цвета с узором по белому полю. Верхние накидки были из темно-алого шелка... В нарядах дам перемешались все оттенки осенних листьев; нижние же одеяния выглядели по обыкновению весьма пестро: густой и бледный шафран, лиловый на голубой подкладке, шафран — на голубой, на иных — в три слоя... На дамах постарше были нижние накидки желто-зеленые или темно-алые с пятислойными обшлагами из узорчатого шелка. От яркости их подолов с изображением морских волн рябило в глазах, а пояса были украшены вышивкой. Нижние одеяния в три или пять слоев были окрашены в цвета хризантемы различных оттенков».

После этого пассажа читателю, может быть, станет понятнее, почему и современные японцы способны различать своим глазом



Хэйанская дама
в парадном одеянии

и словом намного больше оттенков цветов, чем европейцы. И потому не случайно, что японские дизайнеры признаны сегодня лучшими в мире.

Интересно, что подавляющее большинство названий японских цветов по своему происхождению восходит к названиям растений. Что же до названий, берущих свое имя из царства животных и минералов, то их в Японии, в отличие от Европы, практически нет. А ведь растений в Японии заведомо больше, чем животных и минералов в Европе...

Но еще больше японцы любили цвета смешанные. Чтобы продемонстрировать зрителю или читателю их очарование, они прибегали к различным композиционным ухищрениям. Классическими примерами могут послужить пейзаж, полускрытый туманом, вид, открывающийся через бамбуковую штору, лицо собеседника, расплывающееся от слез, проливаемых автором поэтического дневника.

А у знаменитого писателя XX века Танидзаки Дзюньитиро есть даже блистательное (в соответствии с японскими критериями красоты я должен был бы, наверное, сказать — «неяркое») эссе, которое называется «Похвала тени». Как это явствует из самого названия, произведение посвящено эстетике сумерек, полупрозрачности, тумана.

«В последнее время хрусталь в больших количествах импортировался из Чили, но чилийский хрусталь по сравнению с японским имеет один недостаток: он чересчур прозрачен». Или о японской пастиле «ёкан»: «Эта матовая полупрозрачная, словно нефрит, масса, как будто вобравшая внутрь себя солнечные лучи и задержавшая их слабый грезящий свет; эта глубина и сложность сочетания красок — ничего подобного вы не увидите в европейских пирожных». Или о доме: «Красота японской гостиной рождается из сочетания светотени, а не из чего-нибудь другого... Наши гостиные устроены так, чтобы солнечные лучи проникали в них с трудом. Не довольствуясь этим, мы еще более удаляем от себя лучи солнца, пристраивая перед гостинными специальные навесы, либо длинные веранды. Отраженный свет из сада мы пропускаем в комнату через бумажные раздвижные рамы, как бы стараясь, чтобы слабый дневной свет только украдкой проникал к нам в комнату» (перевод М. П. Григорьева).

Теперь становится понятнее историческая привычка японцев к вещам блеклым, неярким, «захватанным» временем.

У японцев, которые любят думать о себе как о людях, во всех отношениях особенных (отчасти это так и есть, но не до такой же

степени!), существует даже целая физиологическая теория, «оправдывающая» такой изощренный способ видения. Согласно ей, в силу своего черного окраса зрачок японца обладает способностью к более точной фокусировке, нежели светлое око европейца. Посему японцы якобы и оказываются способны к более тонкому «цветоделению».

Эта теория, правда, не отвечает на простой вопрос о том, почему, скажем, у других монголоидов отсутствует столь богатый колористический словарь и весьма своеобразный цветовой вкус, как и у японцев. Нет, скажу я, дело здесь к одной физиологии, конечно же, не сводится.

Умение японцев называть произрастает из того же корня, что и умение видеть. Ибо для того, чтобы назвать, надо сначала увидеть. Лингвисты давно обратили внимание на то, что и в памятниках классической словесности, и в современной литературе, и в бытовом общении японцы употребляют намного больше слов, чем европейцы. Каждая вещь, любое действие или свойство должны по-японски быть названы своим особенным именем. Получилась очень интересная вещь: заимствовав иероглифическую письменность, японский язык (который по своему грамматическому строению не имеет ничего общего с китайским) вобрал в себя китайскую лексику, но одновременно сохранил и свой собственный словарный запас. То есть произошло как бы удвоение этого словаря и за счет этого — развитие богатейшей синонимии.

При общей любви не только к слову вообще, но и в особенности к слову письменному, такая «привязанность» звука к предмету приводит иногда к курьезам.

Как-то раз я был свидетелем переезда некоего учреждения. Как и у нас, к каждому столу и пишущей машинке была прикреплена металлическая бляха с инвентарным номером. И вдруг объявился бесхозный стул — без оной. В нашей (да, пожалуй, и в любой другой) стране этот стул был бы без лишних слов погружен в кузов. Здесь же произошло следующее. Служитель конторы отрезал ножницами аккуратную полоску бумаги, вывел на ней фломастером «стул» и повесил ее на спинку... Так этот стул и совершал свое путешествие — уже будучи назван по имени.

Впрочем, опрометчиво я назвал этот эпизод курьезным. Ведь японцы восприняли бы как курьез, если стул в такой ситуации не был бы назван стулом...

Да, японцы видели в ближнем пространстве очень много. Отсюда — постоянный «крупный план» их средневековой литературы и обилие в ней детальных описаний: природы, душевных

состояний, самых пустяковых действий персонажей. Западная литература в лице Пруста или Джойса пришла к этому только в двадцатом веке.

Оттого и в любом произведении японской литературы с такой назойливостью повторяются грамматические конструкции типа: «он увидел, что...». Словно кто-то обязательно должен присутствовать при том, как герой ходит, вздыхает, сочиняет стихи. Получается, что условием описания чего бы то ни было становится присутствие некоего «соглядатая» — будь то сам автор (если повествование от первого лица) или же какой-нибудь персонаж. Оттого хэйанская литература, уделяющая столь много места изображению любви, как бы чурается «нескромных» сцен. И это происходит не столько по причине стыдливости, сколько потому, что в этот момент никто тебя не видит, а значит, и не может написать об этом.

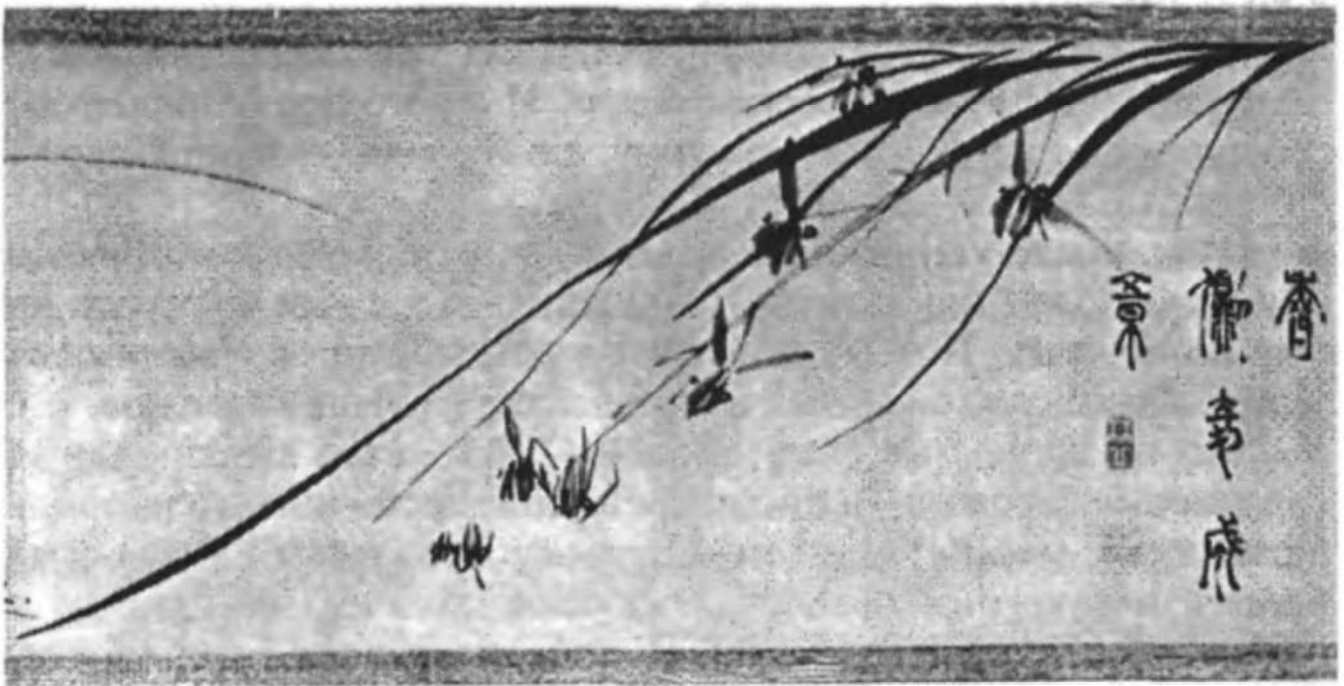
Подобное утверждение может показаться парадоксальным, но даже нынешние наэлектронизированные японцы не слишком «доверяют» современным средствам связи — телефону, например. В отличие от Америки, в Японии ни один действительно важный вопрос по телефону не решается. Телефон служит лишь для того, чтобы назначить встречу — в этой стране не проводятся «селекторные совещания». Нахождение собеседника в поле зрения считается неременным условием для решения дел. Именно по этой причине Япония — наверное, первая в мире страна по количеству ресторанов и конференц-залов на душу населения. Так получается, что древняя литература идет рука об руку с нынешней деловой жизнью, ибо обе они произрастают из одного культурно-зрительного корня.

Наблюдаемые в литературе «мелочность» и «близорукость» ограничивают возможность «отлета», отвлечения мысли от изображаемого автором, что является неременным условием развития абстрактного мышления. Пожалуй, это свойство японского взгляда — одна из причин неразвитости японской философской традиции, не подарившей миру мыслителей первой величины. И здесь, как это ни странно, Япония оказывается (при всей их непохожести) в одной упряжке с Россией: и здесь и там — множество превосходных писателей, поэтов и художников, а вот с философами — как-то не слишком густо. Потому что в России мысль с неизбежностью разливается по необъятной равнине, а в Японии — с такой же фатальностью упирается в гору.

Только в отличие от своих российских коллег, японские писатели с художниками видели не лес, а дерево. Не дерево, а ветвь.

Не ветвь, а листок. И даже не листок, а прожилку на нем. Японские художники предпочитали изображать не рвущийся за раму пышный букет полевых васильков или ромашек, а один-единственный цветок.

Притча о знаменитом мастере чайной церемонии монахе Рикю повествует о том, что он владел замечательным садом, в котором выросли прекрасные повилики. Некий знаток цветов прознал про это и пожелал навестить мастера. Тот же к приходу гостя срезал все цветы в саду, оставив для любования лишь один, который он поместил в бронзовую вазу.



Логика его поступка была такова: целое, даже если это сама Вселенная, намного лучше постигается через малое и единичное. А в этом единичном уже заключена вся Вселенная.

Японский способ видения заключается в расчленении целого на составляющие его части и фокусировании своего взгляда на чем-то одном. Символом такого способа видения можно считать дзэнского монаха, пребывающего в состоянии медитации: он сидит, обративши свои полузакрытые глаза на стену, буквально упершись в нее взглядом. Дзэнский монах Хакуин даже разработал в восемнадцатом веке целое учение о «внутреннем взгляде»: истинным взглядом он объявлял не тот, который устремлен в пространство (хоть в дальнее, хоть в ближнее), а тот, который направлен внутрь самого себя...

Теперь ясно, почему японцы чувствуют себя совершенно комфортно в закрытом и ограниченном пространстве. Вспоминаю,

как мне пришлось жить в одной японской гостинице. Стекло в комнате было непрозрачным, затуманенным — такое обычно используют в туалетах или ваннах. На раме — грозная предупреждающая надпись: «Ваше окно выходит на юг. Просьба не открывать окно, поскольку рядом находятся частные дома». И японцу в таком вот номере с такими вот окнами, через которые ничего не видно, вполне уютно. Мне же, воспитанному в совсем другом зрительном измерении, на необъятных и плоских российских равнинах, становится как-то не по себе. И это чувство исчезает только после того, как я, вопреки всем запретам, открываю окно — чтобы хоть ненадолго увеличить зрительное пространство, в котором нахожусь. При этом не телу моему тесно, но взгляду.

У японцев же — все наоборот. Открытое пространство улицы вызывает у них чувство беспокойства. И оттого провинившегося ребенка у нас не пускают на улицу, а в Японии — домой, держа его перед запертой дверью.

Итак, после VIII века японцы ощутили, что строить большое они уже вполне научились. Научившись же, стали смотреть на мир по-другому. Потому и вещи, которыми они окружают свое тело, меняют свой масштаб, становясь все меньше и меньше.

Это и крошечные сады, и *бонсай* (искусство выращивания карликовых деревьев), и стихи, состоящие всего-навсего из тридцати одного (*танка*) или семнадцати слогов (*хайку*). Уже в семнадцатом веке они пользовались телескопическим шестом и разборной переносной лодкой. И даже складным светильником, сделанным из бумаги. И складной веер, похоже, придумали тоже японцы (очень удобен для ношения в широком рукаве японских одежд), да и складной зонтик — тоже. И умещающийся на ладони телевизор, и самую маленькую видеокамеру. И это при том, что ни один из вышеперечисленных предметов не был изобретен ими. Но именно японцы сумели сделать их предельно компактными. И традиционная живопись у них — не «настенная» (огромное полотно в золоченой раме), но «свертывающаяся», загнанная в свиток, в складывающуюся ширму.

Вещи, которыми пользуются японцы, всегда кажутся нам игрушечными. И несмотря на то, что молодое поколение уже почти догнало европейцев по росту, размеры этих предметов остаются прежними. Ну хоть бы кукольные сиденья в автобусе или электричке. Но, в отличие от нас, даже молодые японцы не испытывают при этом никаких неудобств.

Японское «экономическое чудо» — на самом-то деле никакое не чудо, а явление, обусловленное целым комплексом причин.

Одна из главных — умение японцев осуществлять микроманипуляции с микропредметами. А микроэлектроника, как известно, составляет основу нынешнего научно-технического прогресса.

Японский опыт свидетельствует о том, что своих наибольших, признанных всем миром достижений страна достигла, осваивая «науку малого» — будь то поэзия, живопись или микросхема. Иероглиф — изобретение тоже не японское, однако оно пришлось ко двору: сначала императорскому, а потом и крестьянскому. Выучившись «китайской грамоте», в которой любая черточка способна кардинально изменить весь смысл, японский народ сумел



применить ее ко всему строю жизни — в самых мельчайших ее проявлениях, из которых, собственно, этот строй и образуется.

От иероглифов, правда, вышел и один побочный эффект — энтузиазм, с которым японцы изучают свою письменность, приводит к тому, что почти все обитатели архипелага вынуждены носить очки. И это уже близорукость не символическая, а вполне медицинская.

Легкость, с которой японцы овладели достижениями западной цивилизации, обусловлена, среди прочего, и точным глазомером. Скажем, их наименьшая мера длины — один «волос» — составляет всего-навсего 0,0333 миллиметра, а веса — 0,037 грамма. Получается, что процедура тотального измерения (с которой, начиная с Нового времени, Запад связал свое материальное благополучие) была освоена японцами очень давно и прочно, что, в частности, находит свое выражение в тщательно разработанной

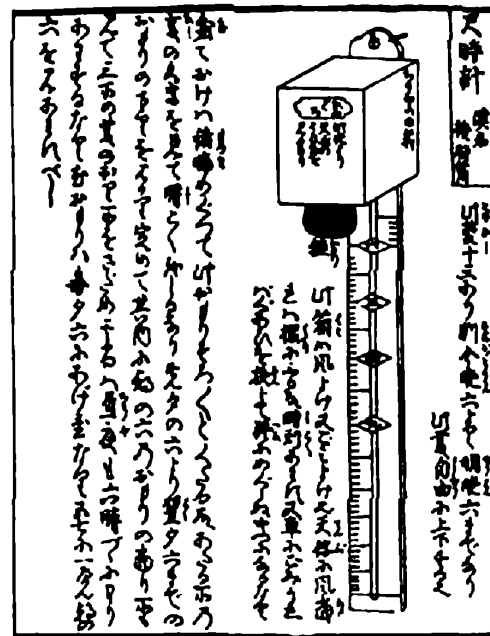
шкале измерений с удивительно малой для «донаучного общества» ценой деления. И хотя эта шкала измерений была заимствована у китайцев, японцы настолько прочно овладели ею, что она стала неотъемлемой частью их культуры и быта. Давнее и воплощенное в каждодневной деятельности стремление к точности и порождает известное всему миру стремление японцев достичь совершенства в любом деле.

Как тут не вспомнить проявленную еще в средневековье эстетическую любовь этого народа к малому! Вот что писала знаменитая писательница Сэй-сёнагон в XI веке: «Детское личико, нарисованное на дыне... Трогательно-милы куколки из бумаги, которыми играют девочки. Сорвешь в пруду маленький листок лотоса и залюбуешься им! А мелкие листики мальвы! Вообще, все маленькое трогает своей прелестью».

И потому наивысшие достижения в миниатюрном письме принадлежат тоже японцу Ёсида Годо: шестьсот иероглифов на зернышке риса, сто шестьдесят — на кунжутном семени, три тысячи — на соевом бобе. В Японии есть целый Музей микроискусства, где собрано около двадцати тысяч образцов миниатюрного письма, для рассмотрения образцов которого требуется по меньшей мере лупа.

Время

ЧАСЫ НА СТРАЖЕ ДЕНЕГ



Японцы известны своей пунктуальностью. Когда японец говорит: «Встретимся около семи вечера», — будьте уверены, что без пяти семь он будет на назначенном месте. Что же до нашей «широкой» души... Умолкаю перед Вячеславом Пьецухом. Героиня его повести «Государственное дитя» сообщает: «Вот как-то договорились мы с пастухом Егором, что я в такой-то час зайду к нему домой за поливным шлангом, захожу-то я захожу, а Егора нет: час его нет, другой нет, третий нет, ну я убралась несолоно хлебавши. На следующий день встречаю его и спрашиваю: “Что же ты, Егор, обманул?” А он говорит: “Чудная ты, ей-богу, да разве можно что-нибудь загадывать наперед?! А если бы я в Африку уехал?!”»

Между тем именно пунктуальность, то есть способность совершать определенные действия в заранее назначенное для того время, является одним из основных требований, предъявляемых к нынешнему «человеку экономическому» (как бы мы к этому типу ни относились — Лесков-то вон еще когда говорил, что за границей жить лучше, а в России — занятнее). И именно на таком «человеке пунктуальном» зиждется благополучие «развитых» западных (и некоторых не очень западных) стран. Принцип «время — деньги» был сформулирован в Европе, но и среди японцев он нашел самое широкое понимание.

Этот «человек экономический» (или же «считающий») не просто пунктуален — он вообще ставит процедуру измерения (чего бы то ни было — длины, объема, температуры, кровяного давления, дохода и т. д.), а значит, и предсказуемость мира, выше всего. Человек экономический непременно ведет расходно-доходную книгу.

«Человек экономический» знает расписание своей жизни на год вперед. Все это вместе взятое сильно помогает ему в достижении завидного уровня благосостояния, но, с другой стороны, любая «нештатная» ситуация вышибает его из седла.

Вспоминаю, как еще в советском городе Ташкенте пришлось мне переводить один околonaучный симпозиум. Жили мы на загородной «даче» местного ЦК партии, которая представляла собой небольшую гостиницу с очень усиленным питанием-выпиванием (по этой-то части никаких нареканий ни у кого не было). Приехали, поселились, отобедали. Тут прибегает ко

мне в полном ужасе один из моих подопечных: «В ваннах затычки отсутствуют!» Я — к комендантше. Она мне: «Были когда-то эти затычки, да все куда-то подевались». Захожу в задумчивости в свой совмещенный санузел. Примериваюсь к сидячей ванне. И тут же выясняю, что дырка в ней очень естественно моей пяткой затыкается. Как будто созданы они друг для друга. После того как я продемонстрировал это научное открытие японским участникам симпозиума, они меня чуть не за героя считали. «Такой молодой, а из кризисной ситуации выход нашел».

На самом-то деле любой советский (да и российский) человек сообразил бы то же самое даже и без всякого примеривания (никаких кулуарных жалоб на отсутствие затычек среди советских участников симпозиума я что-то не слышал — наверняка делали, как я).

На Западе этот несколько зарегулированный (с нашей, разумеется, колокольни, определить высоту которой мы все никак не соберемся) своими измерениями человек формируется веке в XIV—XV. Именно тогда, в преддверии промышленной революции, часовые механизмы начинают поработать Европу. В Японии же, чересчур в это время увлеченной самурайскими баталия-



Японские женщины за счетами
и хозяйственными книгами

ми местного значения, начинают по-настоящему считать и ценить время несколько позже — в мирных XVII—XVIII веках.

В Японии в то время самым обычным занятием сделалось ведение дневников. Причем занимались этим не только люди с положением, но и крестьяне — потребность в «личной истории» и грамота проникли даже в деревню. Из этих дневников мы узнаем, что люди были весьма внимательны не только к тому, что произошло, но и к тому, когда это случилось. Причем кроме года, месяца и дня они имели обыкновение указывать и час. Скажем, с какого часа и по какой шел снег или продолжался прием пищи.

Записывали даже час рождения ребенка. Правда, здесь исходили уже из нужд сугубо практических — ведь эти данные были совершенно необходимы при обращении к прорицателю. А без визитов к нему японцы не были бы самими собой. Ведь нужно было знать все наперед — какой у ребеночка характер будет, чего ему остерегаться нужно. Интересно, что на всем Дальнем Востоке только что появившееся на свет дитя новорожденным как бы и не считалось — в день его появления на свет младенца объявляли уже сразу годовалым, поскольку ему приплюсовывался целый год за девятимесячное (а по лунному календарю — десятимесячное) нахождение в материнской утробе.

Японцы не были оригинальны в том, что ставили свою жизнь в зависимость от космоса. В той или иной форме вера в «подзвездность» наблюдается почти у всех народов, в том числе и у европейцев. Ведь и в средневековой Европе полагалось знать, под каким созвездием ты был зачат. Отсюда и распространенный тогда обычай класть в комнате новобрачных зеркало, в которое они время от времени поглядывали, отправляя свои супружеские обязанности. В самый ответственный момент нужно было не позабыть поглядеть, какое же из созвездий в нем отражается.

Рассуждая об особенностях устройства японской души, немецкий врач Зибольд писал в XIX веке: «Благородный японец должен всегда знать, что ему следует делать в сношениях с человеком, каковы бы ни были порода, чин и семейство особы, с которой он имеет дело. Он обязан знать и точно исполнять кодекс приличий. От него требуется прежде всего полное знание календаря: нет ничего глупее и опаснее, по мнению японцев, как жениться, или пуститься в путешествие, или предпринять какое-нибудь важное дело в несчастный день».

Да и сегодня посещение прорицателя — чтобы узнать, стоит ли жениться, поменять место работы и т. п. — вещь в Японии чрезвычайно распространенная даже среди образованных людей. И если



Прорицатель и его клиенты

на улицах вечернего Токио вы видите редкую в этом городе очередь перед каким-то слабо освещенным столиком непонятного назначения — будьте уверены: очередь эта стоит к прорицателю.

Так что же такое японский «час» и для чего он был нужен? Чтобы разобраться в этом, придется несколько занудно описать всю традиционную систему счета времени.

За свою историю японцы использовали несколько систем датирования тех или иных событий. Можно было указывать год по имени императора. Скажем, сейчас на японском троне находится император Хэйсэй (что буквально означает «становление мира»). Он стал императором девять лет назад. Так что нынешний 1999 год является для японцев и одиннадцатым годом Хэйсэй (в газетах и официальных бумагах именно так и пишут). Тронное имя императора стало совпадать с так называемым «девизом правления» только после 1867 года. До этого каждый правитель выбирал для себя какое-то особенно благоприятное сочетание двух иероглифов и называл свое правление, например, «бесконечная радость» или же «созидание человеколюбия». Это оптимистичное словосочетание-заклинание и называлось девизом правления. Если же посреди правления случалось какое-нибудь безобразие (неповиновение

там или мор), то девиз правления можно было и сменить. Ибо прежний себя оправдать не сумел. Точно таким же образом поступали и на исторической родине этих девизов — в Китае.

Разумеется, имена императоров и девизы их правления в разных дальневосточных странах (Китае, Корее, Японии и Вьетнаме) были разными, так что создание универсальной (или же просто — дальневосточной) хронологии было связано с известными трудностями. Получается, что летосчисление по имени императора или девизу правления воспринималось за границей (даже близкой) с некоторым трудом. Там свой император и свой девиз. Но зато эта система отвечает требованиям поборников всего отечественно-национального, для которых важнее всего, чтобы твоя страна не была похожа ни на какую другую (одиннадцатый год Хэйсэй может быть таковым только в самой Японии). А без этой непохожести, как известно, государственная жизнь как-то не склеивается. Это-то и давало основания утверждать, что у твоего народа ни на кого не похожий национальный характер — раз уж в твоём царстве-государстве даже время какое-то особенное.

Получается, что время «по императорам» (и их девизам) — линейное (то есть имеет начало с концом и никогда не повторяется) и не желает иметь дело с хронологическим (хроническим?) круговоротом. Впрочем, японцы умели считать время и по-другому.

Наиболее ранняя и универсальная система, которая нивелировала частности национального времени и потому была распространена по всему Дальнему Востоку, — заимствованный японцами из того же Китая счет годов по шестидесятилетнему циклу. Согласно этой системе, для обозначения нужного года используется комбинация из двух иероглифов. Первый из них — один из десяти циклических знаков («стволы»), второй — относится к ряду двенадцати знаков зодиака («ветви»).

Летосчисление это — весьма почтенного возраста. Символы «ветвей» и «стволов» обнаружены на панцирях китайских черепах, открытых на стоянках, относящихся еще к династии Инь (до 1100 года до н. э.). По трещинам, образовавшимся в панцире при нагревании, осуществляли гадание. Предполагается, что десять «стволов» первоначально служили для счета дней в месяце (три декады), а двенадцать ветвей — для счета месяцев в году. Становление счета времени в нынешнем виде относится к началу китайской династии Поздняя Хань (25—220 годы н. э.). Японцы в это время еще и японцами не были, и потому ничего такого позаимствовать, конечно, не могли. Но вот веке в V—VI они уже доросли и до этого.

В более позднее время преподнесение японскому императору составленного астрологами календаря следующего года считалось важным событием придворной жизни. После этой церемонии календари от имени императора рассылались по всем государственным учреждениям. Император считался властителем всего в стране, в том числе и хозяином времени. И все подданные должны были соотносить свою жизнь именно с его временем, а не с чьим-нибудь еще.

Итак, циклические знаки называются *дзиккан* (буквально — «десять стволов»). Согласно древней китайской натурфилософской традиции, к ним относятся пять основных элементов, из которых и образуется все сущее: *ки* (дерево), *хи* (огонь), *цүти* (земля), *ка* (сокращение от *канэ* — металл), *мидзу* (вода). Каждый из стволов, в свою очередь, подразделяется на два — «старший брат» (*э*) и «младший брат» (*то*). При этом «ствол» и его «ответвление» соединяются между собой с помощью указателя притяжательности *но*. Получается, что каждый элемент может выступать в двух сочетаниях. Например, *киноэ* (дерево + *но* + старший брат) и *киното* (дерево + *но* + младший брат).

Общее название знаков зодиака — *дзюниси* («двенадцать ветвей»). Это — *нэ* (крыса, мышь); *уси* (бык); *тора* (тигр); *у* (заяц); *тацу* (дракон); *ми* (змея); *ума* (лошадь); *хицудзи* (овен, овца); *сару* (обезьяна); *тори* (петух, курица); *ину* (пес, собака); *и* (свинья).

Год обозначается последовательным сочетанием «стволов» и «ветвей». Поскольку ветвей, естественно, больше, то при упоминании одиннадцатого знака зодиака (собаки) счет «стволов» снова начинается с *киноэ*. Таким образом, новое совпадение первого «ствола» и первой «ветви» наступает через шестьдесят лет. Это — полный шестидесятилетний цикл, согласно которому и шел отсчет годов в древности.

В настоящее время достаточно часто употребляют также малый, двенадцатилетний цикл — только по названиям животных зодиака. Это уже, конечно, идет от забавы и для бойкой торговли новогодними сувенирами — настоящие прорицатели такими сокращениями брезгуют. Ничего путного по одним только животным не напрогоришь.

Такое понимание хода времени, когда оно образовывается ограниченным и заранее известным набором бесконечно повторяющихся элементов, отражает идею нелинейного, циклического и абсолютно неисчерпаемого природного времени — никакого конца времен и Страшного Суда в нем не предусмотрено. А раз время повторяется, то можно предугадывать и те события, кото-

рые в нем потенциально уже заложены. Ведь мы знаем (или думаем, что знаем), на что способен тот или иной ствол, ответвление или же зверь.

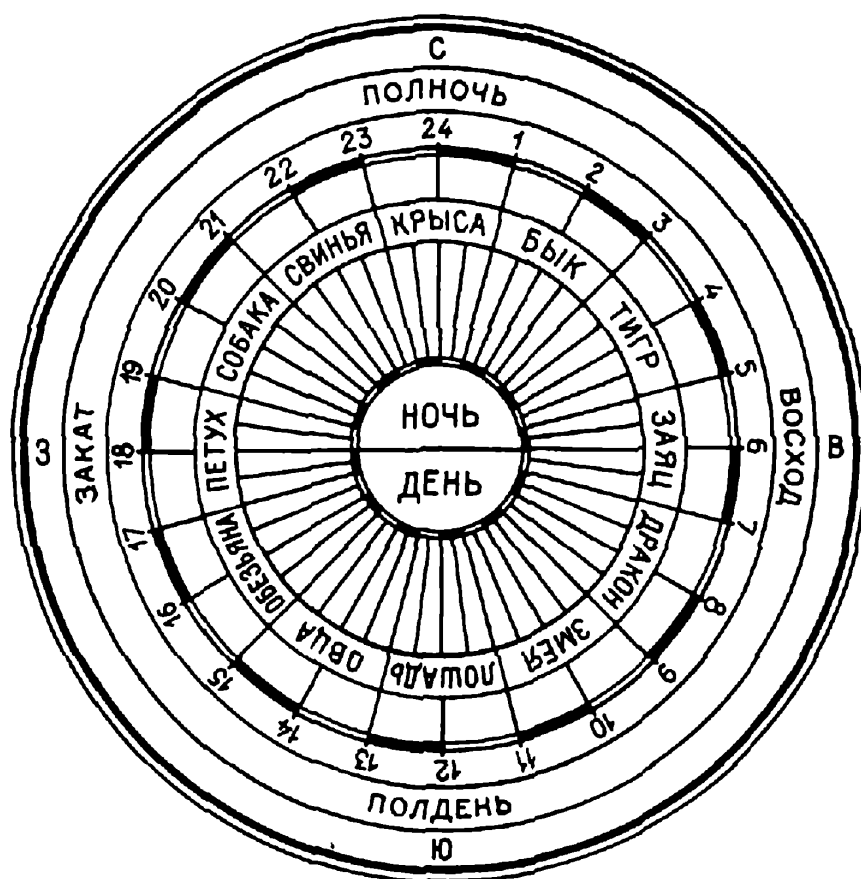
Лунные месяцы календаря обозначались (и обозначаются до сих пор) порядковым номером — от первого до двенадцатого. «Вставные» (или «дополнительные») месяцы, образующиеся ввиду несоответствия протяженности лунного года солнечному, носят номер предыдущего месяца. Так и говорили: пятая вставная луна. Дополнительные месяцы вставляли, когда для этого набегало уже достаточное количество дней.

Кроме того, существовали и описательные названия месяцев, отражающие приметы сезонов, взаимосвязь природного и человеческого миров. Первая луна называлась *муцуки* («дружественный месяц», поскольку празднование нового года сопровождается застольем и пирушками с участием многих людей). Вторая луна именовалась *кисараги* («месяц переодеваний» — имеется в виду переход на «весеннюю форму одежды»), третья — *яёй* («месяц почек»), четвертая — *удзуки* («месяц цветения»), пятая — *сацуки* («месяц пересадки рисовой рассады»), шестая — *минадзуки* («сухой месяц», поскольку в это время редко идут дожди). Название седьмой луны — *фумидзуки* («месяц писем») связано со старинным обычаем сочинения стихов в 15-й день этой луны, когда, согласно китайской легенде, на звездном небе встречаются разлученные в течение всего остального времени возлюбленные — Волопас и Ткачиха (Вега и Альтаир). Восьмая луна — *хадзуки* («месяц листьев») — называется так потому, что в это время листья на деревьях покрывает осенний багрянец, а именование девятой — *нагацуки* («длинная») связано с удлинением ночи. Особняком стоит десятая луна (*каннадзуки* — «месяц без божеств»): считалось, что японские божества в этот месяц покидают пределы своего постоянного обитания и собираются на свой «съезд» в провинции Идзумо. Далее все просто: одиннадцатая луна (*симоцуки*) — «месяц инея» и двенадцатая — *сивасу* («последний месяц»).

Как и в Европе, каждому времени года соответствовали три месяца. С наступлением 1-го дня 1-й луны начиналась весна. Это обычно случалось в конце европейского января — начале февраля. Каждый год немного по-разному (вроде нашей масленицы или Пасхи).

Кроме обозначения лет, двенадцать знаков зодиака применялись для указания часов (или, как еще говорят, «страж») в сутках. Таким образом, продолжительность китайско-японской «стражи»

составляет около двух часов. Каждой из страж были приписаны определенные качества («достижение», «успех», «беспорядок» и т. д.). Стражи, расписанные кругом («по циферблату»), служили также для обозначения направлений. Например, мышь, соответствуя страже «полночь», являлась одновременно указателем северного направления.



Японский «комбинированный» календарь

Со счетом времени, основанном на сочетании «стволов» и «ветвей», было связано множество верований и обычаев. Доходило и до смешного. Один средневековый автор с видимым удовольствием повествует о женщине, которая попросила монаха составить для нее личный календарь-гороскоп. Что ж — дело самое обычное. Каждому знать полезно, какой день ему удачу сулит, а когда лучше дома затвориться и носа за дверь не высовывать. Монах же оказался большим шутником и, наряду с совершенно обычными предписаниями, с самым что ни на есть серьезным видом обязал ее в какие-то дни — голодать, а в какие-то — есть «от пуза». Самым экстравагантным указанием был запрет справлять большую и малую нужду по определенным числам целыми днями. И ведь слушалась его, бедняга.

Или вот еще. Японцы твердо (и справедливо, конечно же) полагали, что еда бывает более и менее полезная. Это ее свойство они связали с течением времени. В результате появилось великое множество «диетическо-хронологических» трактатов, в которых указывалось, когда какой продукт потреблять можно, а когда — нежелательно. В одном из этих трактатов (автор, похоже, попался с изрядным чувством юмора) запреты формулировались так: в первой луне нельзя есть сырой лук и мясо кабана; во второй — зайчатину и рыбу, выловленную в день «тигра»; в третьей — маленькие головки чеснока; в четвертой — большие; в пятой — траву *нира* (идет на приправу) и фазана, в шестой не рекомендовалось пить воду из пруда, в седьмой — есть мед, в восьмой — имбирь, в девятой — мясо кабана и заиндедевевшую тыкву, в десятой — имбирь и заиндедевевшие овощи, в двенадцатой (в одиннадцатой вроде бы все позволено было) — подьедать за мышами.

И вот представьте себе ситуацию, когда японцам со своими годовыми и часовыми «собаками» и «быками» пришлось вписываться в мировую хронологию, диктуемую Западом. Поначалу, правда, держались они молодцами и печатали всяческие переводные таблицы для запутавшегося населения. Были и такие, кто серьезно утверждал, что «наше японское время — лучшее в мире». Но потом все-таки не выдержали — решили, что японской плетью европейского обуха не перешибешь. Животных, таких привычных, домашних и почти что ручных, жаль было, конечно, но что тут попишешь, если хочешь быть принятым в мировую геополитику с мировой же торговлей.

Итак, первого января 1873 года лунный календарь был официально отменен — на смену ему пришли календарь солнечный (григорианский) и европейская система лето- и часосчисления. Но все-таки держались отчасти и родной традиции — с 1873 по 1945 год официальные солнечные календари публиковались исключительно родовым храмом правящего императорского рода — не в последнюю очередь потому, что его прародительницей является богиня солнца — Аматаэрасу («Светящая с неба»). К тому же это было правильно и с той традиционной точки зрения, что именно император является «хозяином» времени и устанавливает его ход.

Логика эта была всем понятна — ведь и самые ранние японские правители не стеснялись издавать указы относительно того, когда с постели вставать надо. Ну вот хоть такой, из VII века исходящий: «Всем чиновникам, обладающим рангом, ежедневно собираться в час тигра (то есть около четырех утра) с внешней стороны южных ворот государева дворца. Вместе с восходом солнца

пройти в сад дворца и поприветствовать государя. После чего приступать к работе. Опоздавшие во дворец не допускаются. Уходят же пускай после того, как услышат удар колокола, возвещающий час быка (около полудня)».

И в последующие времена ранний подъем рассматривался как одна из основных добродетелей. В широко распространенных средневековых наставлениях сыновьям отцы неизменно подчеркивают необходимость быть на ногах как можно раньше. Даже присловье такое в ходу было: «Встать пораньше — все равно что три монеты заработать» (чем, собственно, это от «время — деньги» отличается?). Да и князья регулярно распоряжались, чтобы «народ» по утрам ни в коем случае не залеживался. Настоящей печи с лежанкой в японском карточном домике предусмотрено, правда, никогда не было — так что этому народу подъем все-таки полегче давался.

Вот так вот — где собственным разумением, а где и палкой княжеской воспитывалось японское трудолюбие. Именно благодаря ему и «вписалась» Япония в западный мир, когда в том настала нужда (она же — историческая необходимость). И часов наклепала — уже и не сосчитать. Причем не в последнюю очередь потому, что к тем годам японцы сами были приучены ценить время.

«Настоящие», механические часы появляются в Японии только с приходом европейцев в XVI веке. Первые такие часы были подарены иезуитом Франциском Ксавье князю Оути. Конечно, не просто так, а за разрешение проповедовать христианское вероучение. Небольшая японская делегация, побывавшая чуть позже в гостях у папы римского, не преминула обзавестись еще одним экземпляром заморской диковинки. Интерес к часам, конечно же, был велик, но с запрещением христианства и полным закрытием страны для въезда-выезда в 1637 году на подарки или на покупки особенно рассчитывать было нечего. Разве что совсем уж по особому случаю.

Однако, покопавшись в уже имевшихся часовых механизмах, японские мастеровые люди довольно быстро сообразили что к чему и стали делать часы сами.

Как тут не вспомнить наше присловье: «Бей русского — часы сделает»? Сделать-то, конечно, сделает, да только потом посмотреть на них поленился.

Вполне контрастный по отношению к Японии пример представляет собой соседний Китай. Вот уж казалось бы — и идей там родилась уйма, и искусных мастеров было не меньше. И клепсидру (водяные часы) придумали, и огненные часы. Столько всего

наизобретали, что скучно, может, им потом сделалось? Нет, не привились там тогда механические часы — чужое это, с имперскими привычками несообразное. Что от этих «белых варваров» путевого ожидать можно? Завозили, разумеется, часы и в Китай, но стояли они в домах людей побогаче для украшения и экзотики. И у китайского императора во дворце их было больше четырех тысяч, и у некоторых особо приближенных особ — десятками. Но ценилась при этом не столько точность, сколько богатство экстерьера. Сокровище это было и прихоть. Потому что, видать, торопиться им в их вечной империи было некуда.

Японцы же стали мастерить не просто копии, а часы с радикальными усовершенствованиями, которые, правда, главную идею европейских часов в расчет брать не хотели. А суть этой идеи состоит в простом надприродном соображении: чтобы сутки всегда делились на совершенно одинаковые отрезки, будь то зима или лето, день или ночь. Между тем у японцев, как уже было



Одна из моделей японских механических часов

сказано, насчитывали в сутках двенадцать страж: шесть днем и шесть ночью. В один и тот же день в одном и том же месте ночные стражи были одинаковыми, дневные — тоже. Но в связи с тем, что день равняется ночи только дважды в году по равноденствиям, ночные стражи равнялись дневным тоже только дважды в год. В остальное же время их продолжительность бывала разной: зимой ночные часы были длиннее дневных, летом — наоборот. Не говоря уже о том, что длина страж в разных местах тоже была разной — ведь точками отсчета для начала дня и ночи были, естественно, восход и заход солнца.

Собственно говоря, точно так же считали время и в Европе до распространения механических часов. Только сутки делили не на двенадцать отрезков, а на двадцать четыре.

В начале XVII века мастерскому человеку Цудасукэ Саэмону пришлось чинить часы, подаренные дому Токугава. При царившей тогда строгости начальственных нравов задание было весьма ответственным. Мастер же часы не только починил, но в придачу сделал и новые, на японский лад. Только получились они не с одним маятником, а с двумя, и эти маятники нужно было два раза на дню в одно и то же время перевешивать. Зато теперь сутки делились на привычный японский манер: дневные часы были одной длины, ночные — другой. В общем, мастер почти что блоху подковать сумел. Часы, правда (в отличие от обездвиженной блохи), все-таки тикали, но требовали очень тщательного присмотра. Так что сколько-нибудь широкого распространения они, конечно же, не получили. Но в истории часового дела все-таки остались.

И еще одно изобретение было сделано тогда японцами — на сей раз предельно простое. Может быть, даже чересчур. Эти «часы», больше всего напоминающие по виду безмен, вешались на стену. Стрелка была закреплена на грузе, который под собственной тяжестью потихоньку опускался вниз мимо рисок с обозначением часов (см. их изображение на заставке к этой гла-



Японка заводит часы-безмен

ве). Нечего и говорить, что точно так же, как и безмен, они годились только для весьма приблизительного определения времени. «На глазок», может быть, и точнее получалось.

Довольно широкое распространение получили и очень компактные складывающиеся солнечные часы, сработанные из сверхпрочной японской бумаги (тень отбрасывалась бумажными полосками на разграфленную соответствующим образом бумагу). В чем в чем, а в умении пространство экономить японцам никогда отказать нельзя было.

Поименованные типы часов предназначались сугубо для личного использования. Что же до оповещения широкой общественности, то время, бывало, и барабаном по-военному отбивали. Но все-таки колокольный звон (сначала в буддийских храмах, а потом и в специальных городских башнях-звонницах, напоминающих каланчу) был распространен намного больше. Колокольный звон повсеместно привился с середины XVII века — торговцы колоколами радостно потирали руки. Как сказал знаменитый поэт Басё,

Эдо. Весенние дни.
Ни одного —
Без колокола на продажу.

Но это, конечно, поэтически сказано, приблизительно. Согласно же современным изысканиям дотошных ученых, число колоколов в тогдашней Японии составляло от тридцати до пятидесяти тысяч (тоже, впрочем, не слишком точно исчислено). Звонили в них не как у нас — языком изнутри колокола, а с помощью подвешенного с внешней стороны бревна на веревке.

Все это, конечно, замечательно. Но с чем эти самые колокола сверять и как определить хотя бы время восхода? Ведь и погода не всегда подходящая, да и в очень многих местах гористой Японии солнце появляется уже намного позже восхода. Очень простой, но и очень неточный способ: в полной темноте держать перед собой вытянутую руку. Чуть кончики пальцев посветлели — значит, уже утро началось, можно в колокол бить. Точно так же — «на глазок» (или на палец?) определялись полдень и время захода солнца.

Более сложный и точный способ измерения времени состоял в использовании японского аналога китайских «огненных часов». Измельченная в порошок древесина (ароматическое вещество) укладывалась в желобок с отметками часов и поджигалась. Ввиду более или менее равномерного тления можно было делить день или ночь на одинаковые отрезки. По достижении огнем отметки, скажем «крыса», подавался знак звонарю.

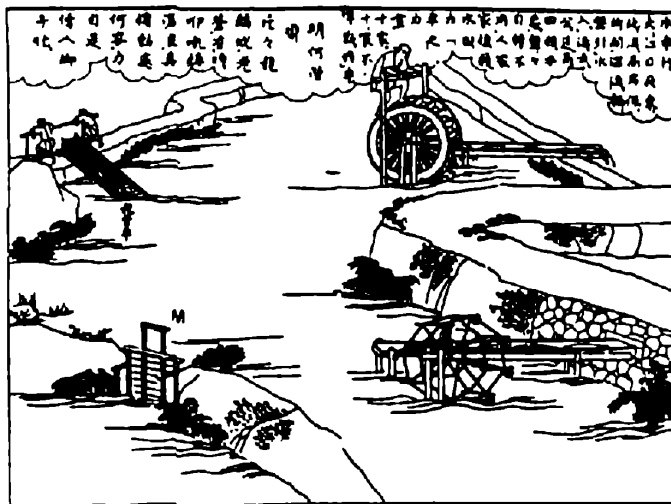
Были и прямые подражания европейским часам. Немногочисленные их экземпляры, находившиеся в Японии, тщательно изучались и воспроизводились. Но с наиболее совершенным и точным механизмом — пружинными часами — японцы в то время справиться так и не сумели. Так что ни о каких минутах и речи быть не могло. В Европе же к середине XVII столетия на четверти часа считать выучились, и часы стали делать уже не с одной стрелкой, а с двумя. Погрешность их хода составляла всего пять минут в сутки.

Нам, однако, может быть, важнее даже другое — само желание справиться с трудностями, поскольку часы показались японцам изобретением нужным (городов было много, а городам с их искусственной средой обитания по часам жить, выходит, как-то сподручнее). И подражать кому-то (а при некоторых усовершенствованиях, сделанных японцами, основная идея, конечно же, была заимствованной) они не считали для себя зазорным. Очень японцы стремились к упорядоченности жизни.

Результаты — налицо. Японская часовая промышленность начала с «безменов», а с 70-х годов XX века завалила полмира сверхточными электронными часами, внутри которых, правда, никакого часового механизма уже и нет. Так, микросхемки одни.

Рис

ИНДИКАТОР НАЦИОНАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ



Каждый знает, что японцы любят рис. Не каждый, правда, знает, что японцы любят именно свой рис, японский. И точно так же, как русский человек всякому хлебу предпочитает отечественный, так и японец фыркает носом (по-своему, конечно, почти что и не слышно), когда ему поневоле приходится отведать иностранного риса. Так было несколько лет назад, когда он вдруг не уродился. В страну хлынул поток дешевого (намного доступнее японского!) риса из Америки, Таиланда и бог весть откуда еще, но перед лавками, где торговали рисом, выращенным в родной Японии, выстраивались очереди, для бытовой жизни этой страны совершенно не свойственные.

За рубежом с японцами регулярно случается культурный шок, если им подадут рис. Скажем, прекрасную молочную рисовую размазю на завтрак. С сахарком да с маслом. Они смотрят на нее с некоторым ужасом: мол, это что еще за диковина? И это вы называете рисом? И считаете, что это можно есть?

Конечно же, здесь есть и толика национальной гордости («наш — лучше всех»), но тем не менее японский рис и вправду несколько особенный. По сравнению с другими сортами в нем больше амилозы и амилопектина, которые и сообщают ему большую клейкость и столь ценимую японцами текстуру, которую довольно трудно описать словами — попробовать надо.

Сортов риса на свете — очень много (больше ста тысяч!). Но подразделяются они на три главных вида: индийский (*indica*), японский (*japonica*) и яванский (*javanica*).

Зерна первого — продолговатые, «длинненькие», при варке не слипаются. В нашем обиходе именуется как «рис рассыпчатый». Плов из него выходит просто замечательный. Растет в тропической и субтропической зонах.

Второй (именно к нему, как можно догадаться из названия, и привыкли японцы) — лучше подходит для более суровых температурных режимов Восточной Азии, обладает укороченными зернами с изрядным содержанием крахмала, которые при варке слипаются. Очень удобен для еды палочками. Оба этих сорта также хорошо растут в Китае, Корее и США (в основном в Калифорнии).

Родина третьего — Ява, но выращивают его также и в Италии. Зерна у него продолговатые и уплощенные. Вроде бы вкусные. Но японцам все равно не подходят.

Японцы привыкли варить свой рис «на пару», без сахара, соли или молока (существуют и самые разнообразные рисовые «блюда» с добавлением других компонентов, но все-таки они сильно уступают в популярности самому распространенному способу приготовления). И употребляют его практически всякий день — вроде нашего хлеба. Но не как хлеб — одновременно с каждым блюдом, а обычно отдельно и в самом конце трапезы (если, конечно, все по правилам подается). Часто — с чем-нибудь маринованным. Скажем, редькой или сливой. И если риса за обедом или ужином не поел, то нет самого главного: чувства желудочного удовлетворения. Вроде бы и за стол не садился. Поэтому и всякая еда называется «гохан», что означает просто-напросто «вареный рис».

Рис занесли на архипелаг «иностранцы» (я беру это слово в кавычки, потому что никаких этносов и стран тогда еще и в помине не было), которые этот рис возделывать уже умели. Я говорю о переселенцах с Корейского полуострова, начавших переплывать в Японию в III веке до н. э. Сейчас полагают, что в составе нескольких волн переселенцев (корейцев и китайцев), бежавших с материка в виду различных неблагоприятных обстоятельств (то кочевники налетели, то нехватка земли, то гражданская война), с III века до н. э. и до VIII века н. э. насчитывалось около 1,2 млн человек (общая численность населения Японского архипелага на конец VIII века — 5,6 млн человек).

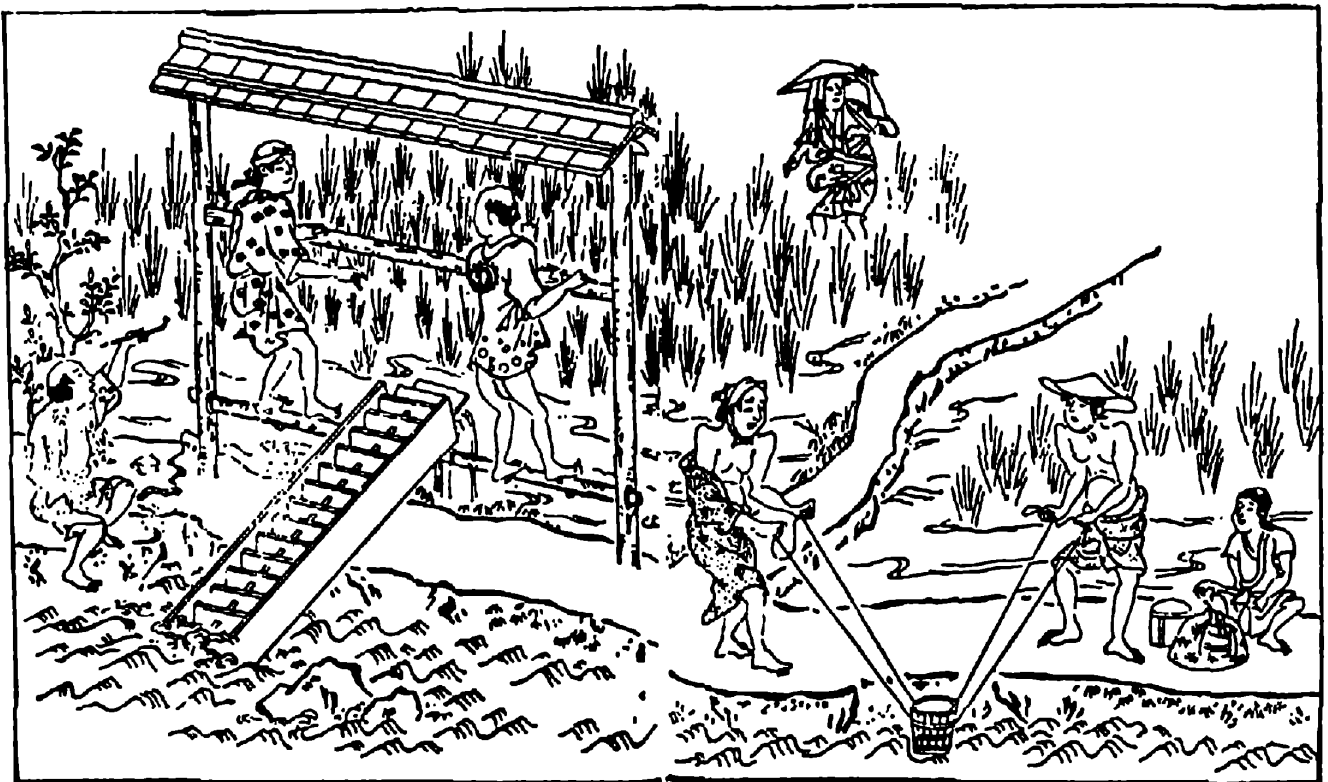
Если даже эти цифры и не совсем точны (согласитесь, что переписать сегодня тогдашнее народонаселение с точностью до человека довольно трудно), в любом случае можно смело утверждать, что переселенцев было очень много. Вполне достаточно,

чтобы научить рисосеянию аборигенов, которые пребывали в нормальном каменном веке. И перебивались потому с раковин на желуди, с желудей на каштаны, а с кабана — на лосося, довольно сильно подорвав тем самым природную экосистему архипелага. Попросту говоря — сами все съели, а детям ничего не оставили. Настолько, что уже народонаселение даже убывать стало.

И тут — вот удача! — с рисом общее улучшение питания вышло, и население снова стало понемногу прибавляться. И тогда, научившись рисосеянию от иноземцев, стал тот народ мало-помалу превращаться из каких-то там протояпонцев в японцев настоящих. В частности, рисоедающих. Одновременно и корейский язык с местным (скорее всего, аустронезийского происхождения) перемешался, и получился тогда от их слияния язык японский.

Однако рис выращивать — не картошку сажать. И даже не рожь с пшеницей. Хлопотное дело. Заливать поле водой нужно? Нужно. Значит, рой каналы и орошай. Рассаду нужно растить? Нужно. А пересаживать кто будет? Это же не огурчики на приусадебном участке. Сколько их там под пленочкой уместится? С рисом-то счет идет уж по крайней мере на десятки миллионов растений, чтобы вся страна насытилась.

И все это — по колено в воде, в эпоху, когда о резиновых сапогах и слыхом не слыхивали. Традиционно считается, что для работы в этом то ли поле, то ли помеси пруда с болотом была



Способы орошения рисового поля

специальная придумана такая обувь — *гэта* — деревянные сандалии, на подошве каждой из которых имелось по две деревянных же подставочки, чтобы не так пачкать босые ноги (потом в *гэта* стали и по городским улицам расхаживать). К тому же патриоты утверждают, что в те времена ни о какой мокнущей экземе японцы понятия не имели. Это безобразие якобы началось уже после внедрения европейских ботинок.

Но работу-то все равно нужно было одними голыми руками делать: только в последние пару десятилетий машины здесь сильно потеснили человека. Правда, даже теперь трудозатраты по выращиванию риса в сравнении с другими зерновыми культурами несопоставимы — в настоящее время на единицу площади они превышают трудозатраты на выращивание кукурузы в США в сорок раз!

Знаменитый идеолог всяческого «японизма» Хирата Ацутанэ в XVIII веке говорил так: поклонение богине еды Тоёукэ состоит не только в соблюдении регулярного ритуала и подношении ей того-сего, но и в тяжелом труде с *пóтом*, который проливает крестьянин на своем обычно довольно-таки крошечном поле. Между прочим, больше, чем 15 соток, никогда ему в исторические безлошадные и бестракторные времена поднимать не удавалось. Но и с этого малоземелья не только семья кормиться могла, но и весь эксплуататорский класс — вот что совершенно удивительно.

А у Ацутанэ вполне, надо сказать, протестантская трудовая этика получилась. Вот вам и пресловутое японское трудолюбие!

Трудно рис выращивать. Особенно с исторической непривычки. Однако, как показывает многовековой японский опыт, если все делать агротехнически безупречно да еще и с завидным японским усердием, все будет хорошо. Даже лучше, чем замышлялось. Потому что тогда при неленивом оптимистическом мировоззрении («терпение и труд все перетрут») кажущиеся недостатки технологии оборачиваются сплошными плюсами.

Ведь крошечный участок, предназначенный для выращивания рассады, можно хорошо защитить от холодов (для юга Японии — не такая уж и проблема, а вот на севере их уже остерегаться надо), сорняков (с ними — беда), насекомых (это — катастрофа) и воробьев (для этого использовали как пугало, так и японский вариант колотушки — два деревянных бруска).

Перекопка такого участка не требует особых усилий (маленький), для удобрения не нужно большого количества органических веществ (по той же причине). Поскольку на основное поле сажаются не юные семена, а вполне сформировавшиеся подростки, да

еще тогда, когда заморозков ждать уже не приходится, то, значит, и урожай можно пораньше собрать, а на том же самом месте, воду отсюда спустив, можно посадить еще что-нибудь озимое и полезное для насыщения организма.

После риса любая агрокультура семечками покажется. Что японцы и доказали, ввозя с континента (в основном из Китая) семена (своих окультуренных растений в Японии практически нет) и выращивая из них такие урожаи, которые там и не снились.

Еще то хорошо в заливном рисосеянии, что не надо землю всякий год поглубже перепахивать. Зачем? После того как водой поле залил, она сама собой делается мягкой. Сажают-то не в землю, а в грязь. И удобрений особых не надо — вода сама собой принесет и комочки земли и траву полусгнившую. К тому же японцы имели обыкновение не все растение серпом срезать, а только колосья. Стебель же благополучно переходил в состояние удобрения. И чем старше рисовое поле, тем более, как это ни странно, плодородным оно делается. А уж если удобрять его, то еще лучше будет — усвоение-то в растворе происходит. Так что это даже не удобрение получается, а вечная подкормка.

Поэтому-то японскому земледельцу, в отличие от его европейского собрата, и коровы с лошадьми не слишком нужны были. Мог он и без навоза прожить, и без савраски, в плуг впряженной. Тяжело, конечно, но мог. Если и впрягал кого, так только ленивых (по сравнению с самими японцами) волов. Вместо навоза же использовал и «зеленое удобрение» и рыбешку мелкую. Да и фекалиями в последние восемь веков не брезговал.

Кроме того, для почв, используемых под рисоводство, гораздо меньше опасности представляет ветровая эрозия. Откуда ей взяться, когда поле залито водой? А это для Японии с ее тайфунами было очень важно. Так что ветер в Японии только волну морскую гнал, а пыли особенной не наблюдалось.



В борьбе с птицами

И климат тоже навстречу рису пошел: раз он влажный, значит, и вода не испаряется, как у нас на Кубани. А значит, и засоления почвы здесь тоже не происходит.

Есть и еще один плюс: на рисовых полях можно даже и рыбу разводить.

Получается, что ради всего этого стоило и постараться. И совершенно не случайно, что на всем Дальнем Востоке (в Китае, Корее, Вьетнаме и Японии), где возделывали рис, плотность населения получилась высокой. А чтобы он кормить народ досыта перестал, нужно было сделать что-нибудь из ряда вон выходящее. Например, придумать себе Ким Ир Сена какого-нибудь. Ведь это за пределами всякого понимания — чтобы лучшие в мире огородники себя прокормить не могли...

Таким образом, оказывается, что заливному рисоводству (если вообразить для сравнения другие имеющиеся в мире зерновые) погода не так сильно навредить может. Засуха, конечно, страшна, но все-таки при местных муссонах она случается не так часто. Так что даже в древности рисовый урожай неплохой брали. Повертев в руках окаменевшие древние колосья, археологи считали, что урожайность риса в период начала распространения его на Японском архипелаге составляла около шести центнеров с гектара (сейчас — 60—70). По-моему, совсем неплохо. Если же сравнить нынешний рис с нынешней же интернациональной пшеницей, то получится, что калорий с одного рисового гектара можно получить в два раза больше!

С приходом риса изменилась не только жизнь всего населения, которая стала, во-первых, сытнее и, во-вторых, радостнее ввиду неизбежного урожая уже в следующем календарном году. Стали изменяться и пейзаж с природой. Дело в том, что раньше в японском развесистом лесу произрастали в основном широколиственные вечнозеленые породы вроде лавра. И вот их-то и стали потихоньку сводить, превращая природную землю в аккуратненькие рисовые чеки прямоугольной формы. Из иллюминатора самолета вся японская деревня видится как будто из ровных заплаток сшитой. И для того чтобы ее вот так вот поровну поделить, требовалась определенная геометрическая сноровка. Потому-то и планы местности в Японии появляются очень рано. По крайней мере с VII века, когда государство стало крестьянам наделы нарезать.

Но так стало потом. Первые же японские рисовые поля очень часто разбивались не на равнине, а на не слишком высоких, но очень крутых японских горах с холмами. Террасное земледелие,

как это ни абсурдно звучит для обитателей равнин, оказалось доступнее. Ведь в любом случае воду на поля-ступенечки надо сначала запустить, а потом с них же и спустить, а это намного проще сделать, находясь наверху и следуя физическим законам, которые велят воде бежать вниз. К тому же внизу почва легко заболачивается, если не лелеять ее соответствующим ирригационным способом. А эта наука не сразу постигалась.

Чтобы устроить поля на склоне горы, надо было сначала свести лес. Его и выжигали. Это имело не только пространственный, но и агротехнический эффект: кислые японские почвы переводились с помощью золы в более нейтральное и пригодное для плодородия состояние. А уже после этого земледельцы начинали спускать с горы поля очень ровными (а иначе вода убежит) ступенечками.

Так и до равнин потихоньку под гору докатились. Там же — свои проблемы: надо, чтобы вода на все поля поступала не бурным потоком, а равномерно, и, значит, для нее должен быть обеспечен уклон. Но — предельно маленький. Причем следовало не просто канав накопать (дно мгновенно заилится), а канав со смыслом — с дном, покрытым досками. И положены были эти доски две тысячи лет назад. Очень точная работа требовалась. В одном из раскопанных поселений того времени перепад высоты составляет всего тридцать пять сантиметров на сто метров. И так — на протяжении целых двух километров.

Но и этими полями, вытеснявшими широколиственные леса, дело отнюдь не кончилось. Ведь рис-то пришел не сам по себе, а вместе с производством металла (какое же сельское хозяйство без лопаты с серпом?) и «нормальной» керамики, производимой при высокотемпературном обжиге.

И до этого, разумеется, население архипелага горшки лепило, обжигая их в ямах, на дне которых разводился самый обычный костер. Конечно, получались они кривоватыми и влагу толком держать не умели (за сутки десять процентов через стенки в землю просачивалось). Так вот, гончарные печи (так же как и кузнечные) топить надо как следует. Японские археологи не поленились и посчитали, что гончарная печь обнаруженного ими типа пожирает в сутки десять тонн дров! А ведь такая печка не одна на архипелаге была.

При таком топливном расходе первичные широколиственные леса быстро пошли на убыль, и их место, как считают японские палеоботаники, заняли леса вторичные — теперь уже хвойные. Так что знаменитую японскую сосну, искривленную ветрами,



Гончарный комплекс

воспетую поэтами, рисованную-перерисованную художниками, увидеть когда-то было не так просто. Еще в VIII веке про нее стихов не слагали, на картинах не рисовали.

Рис всегда считался в Японии основой благосостояния государства, и поэтому налоги собирались прежде всего именно им. Жалованье чиновникам в древности тоже выплачивали частично рисом. А частично — столь необходимыми в быту мотыгами и древней мануфактурой. Богатство князей и их авторитет определялись по тому, сколько риса они получают в своих владениях.

Собрав с крестьян рисовый налог, они отправляли его на продажу. Больше всего известна «рисовая биржа» в Осака, где в далеких XVIII—XIX веках ежегодно продавалось более четырех миллионов мешков риса в год. Поскольку цены на Осацкой бирже определяли стоимость риса повсюду, то по всей стране купцы и потребители должны были их знать. Для этого повсеместно была устроена система сигнальных костров, расположенных на вершинах гор. В зависимости от используемой древесины и травяных добавок к ней эти костры могли давать дым разного цвета. Каждый цвет обозначал ту цену (то есть столько-то монет плюс или минус от вчерашнего), которую сегодня дают за рис в Осака. Получалось довольно оперативно.

Трудно переоценить роль риса в японской культуре. И не только по своему воздействию на желудок или трудовую этику. Осмелюсь утверждать, что именно ввиду занятий рисосеянием японцы практически всю свою историю (за исключением последних ста с лишним лет) предпочитали отсиживаться дома, с военными задумками на материк не ходили, территориальных претензий почти никогда никому не выдвигали. Это они уже с приходом европейцев в XIX веке решили пушки делать, чтобы сдачи давать и вообще — жить «как все». Для чего необходимы минеральные ресурсы, которых у самих японцев никогда не было.

Вот тогда только они по-настоящему сообразили, что этот мир воевать можно. За что, правда, и поплатились. А до тех пор новая земля японцам была не так уж и нужна. Во всяком случае, не до такой же степени, чтобы надолго отлучаться от хозяйства. Например, за освоение Хоккайдо с Окинавой они взялись по-настоящему только во второй половине прошлого века.

Дело в том, что, как известно, наибольшей страстью к пространственной экспансии отличаются народы, которые кормят себя либо скотоводством, либо подсечным земледелием. Для скотоводства требуются все новые и новые пастбища, а сами скотоводы не сильно привязаны к одному месту. Не говорю уже об отгонных скотоводах — монголах и других кочевых и полукочевых народах, наводивших страх как на Европу, так и на рисосеющий Китай (в XIII веке Хубилай-хан даже в Японию захотел переправиться, но его корабли разметало бурей, которую японцы называли тогда «божественным ветром» — *камикадзе*). И обитатели Британских островов (которых почему-то японцам принято в этнопсихологический пример ставить) тоже продемонстрировали миру, что вполне, казалось бы, пасторальное занятие по выращиванию овец с коровками может привести в движение громадные массы людей, которые в результате расселились по всему миру, обложив его для начала со всех сторон английским языком, а потом ему же и свои законы мирового общежития диктовать начали. В общем, не выдержала великобританская земля с пастбищами демографического давления на себя.

А вот жители необъятных российских равнин вплоть до XV века все лес сводили и на его месте сеяли пшеницу с рожью. Пару-тройку лет на одном месте посидел — и дальше почти что по-кочевому двинулся. И ведь с урожайностью очень даже удачно до поры до времени получалось: до шестнадцати центнеров собирали (в Европе же до того, как по-серьезному коров разводить стали, с одного посадочного зернышка всего-навсего три-четыре в колос

попадало, то есть ниже, чем в России, раз в пять-шесть). Когда же сводить уже нечего было, тогда Российское государство окончательно расширяться стало, Казань с Астраханью воевать и много еще чего. И пошло-поехало — до Тихого океана докатилось.

Японцам, напротив, совершенно не за чем было куда-то там идти или плавать. Рис растет, только орошай его. К каналам своим сердцем прикипели — разве их бросишь? Скота нет, пастбищ не надо. Рыбы в океане — пруд пруди (о ней в подробностях написано в нашей главе про еду).

Вот и получилось, что до второй половины XIX века никуда японцев особенно и не тянуло. Всего хватало — дерева, воды, глины, камня, воздуха. И риса тоже. Не до отвала, но голодали мало. Ведь неспроста в 1721 году, когда прошла первая всеяпонская перепись, японцев было уже 31 миллион, что превышало население Британских островов в несколько раз.

Вот такие не предугадываемые наперед последствия происходят из некоторых хозяйственных пристрастий...

В начале этого очерка я недаром приравнивал рис к хлебу. Ведь и хлеб, и рис являются не просто продуктами питания, но и определенными символами. Символами государства и целого народа (недаром в советский герб для комплекта были приплетены и колосья тоже). В гербе японском риса, правда, нет, но вот на монетах — есть (читаем главу про деньги).

Когда предыдущий японский император Хирохито чувствовал себя уже неважно, он тем не менее не посчитал зазорным поинтересоваться о видах на урожай риса. И это в благополучной Японии, где проблема физической выживаемости ввиду недостатка калорий совершенно неактуальна (считается, что японцы выбрасывают на помойку около половины того, что покупают в гастрономе). А император нынешний каждую весну по-прежнему (по-древнему!) пересаживает рассаду риса на свое императорское поле. И газеты с телевидением считают это важным событием, о котором всякому знать нужно.

Однако есть еще и проблема самоощущения народа. А оно не может быть комфортным, если рис колосится только на дензнаках. Поскольку если есть рис, то и с душой все в порядке — от одного вида рисовых чеков национальные силы тут же прибавляются. И это притом, что нынешний «белый рис» (то есть рис обрубленный) отнюдь не является самым полезным продуктом питания, ибо лишен многих витаминов.

Потому-то во время второй мировой войны японских солдат на фронте потчевали именно белым рисом, хотя для поддержания

их физических кондиций намного полезнее был бы «коричневый» (необрушенный), который к тому же и дешевле обходится. Чтобы они брюхом ощущали, как о них родина с генералами заботится. Тогда же вошли в моду прямоугольные коробочки, наполненные белым рисом с положенной посреди него столь любимой японцами красной маринованной сливой, что должно было символизировать государственный флаг (красное солнце на белом поле). Детям в столовых подавали в то время почти что настоящую Фудзияму — другой символ Японии (насыпанный горкой рис с воткнутым на вершине флажком). Получалось нечто вроде Волги с кисельными берегами.

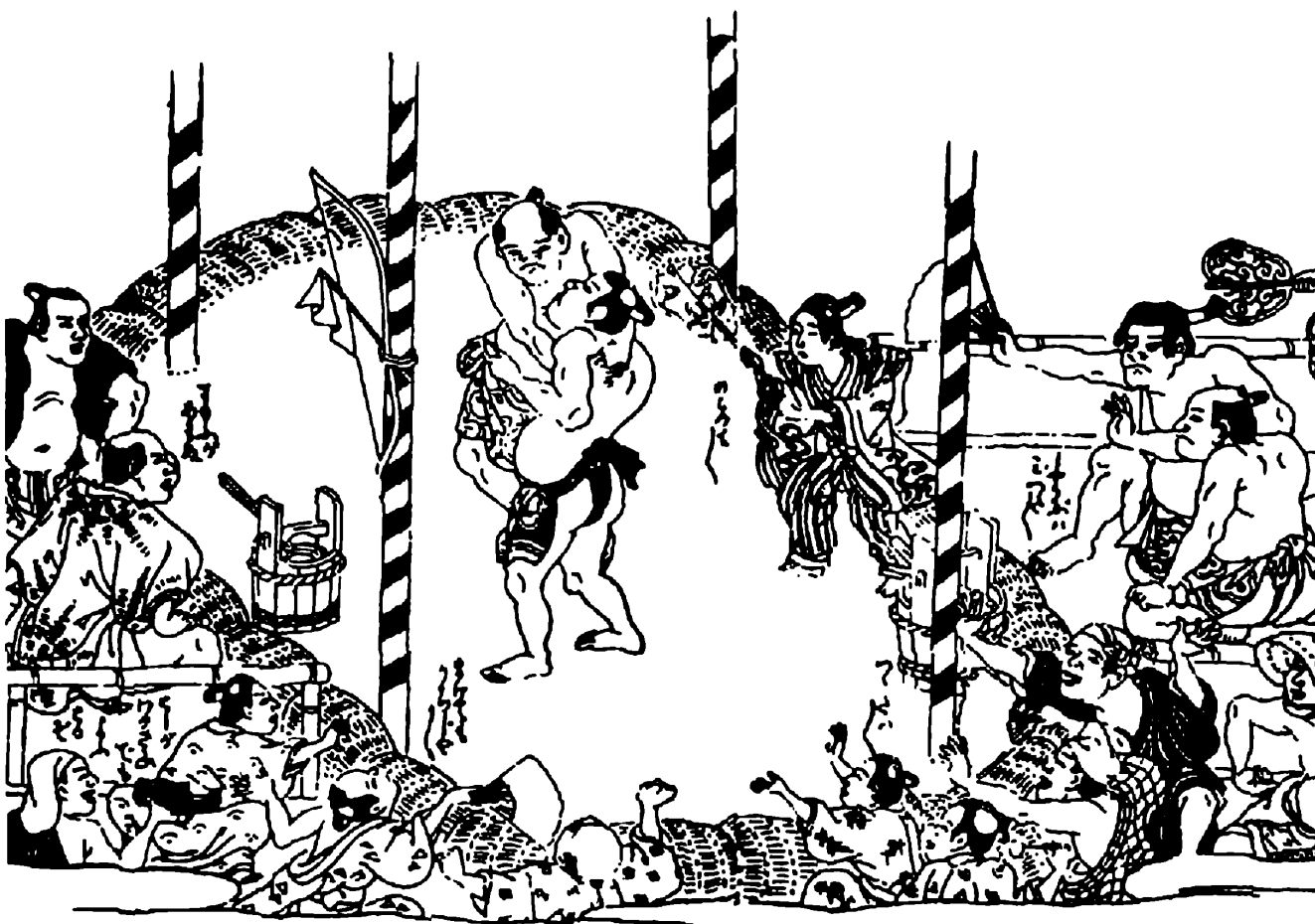
Государство в данном случае довольно беззастенчиво (как, впрочем, ему и положено) использовало те простые чувства, которые питает простой японский человек по отношению к рису. Ведь рис повсеместно представлен в народных обрядах, которые проводятся на самом низовом уровне. Он, например, является основным подношением душам усопших (вроде нашего кулича на Пасху). В семье передача полномочий от одной хозяйке другой (от свекрови к невестке) происходит только тогда, когда она отдает *сямодзи* — плоскую лопаточку для накладывания риса (бывает, что к этому времени «молодая» уже два десятка лет в этом доме лямку тянет).

Одним из главных божеств, которому все те же самые простые японцы поклонялись, всегда было божество рисового поля. Помимо общепринятых подношений ему, существовало и действо, предназначенное для того, чтобы повлиять на него самым действенным образом. Некоторые читатели, может быть, видели по телевизору борьбу сумо — два почти что голых и часто до безобразия раскормленных силача пытаются выпихнуть друг друга за пределы земляного круга. Так вот, эта национальная борьба родилась совсем не из прихоти, а из самой настоящей жизненной необходимости. Считалось, что чем сильнее топчешь землю, «встряхиваешь» ее, тем более высокий урожай она даст. Боролись же силачи из разных деревень. И деревне победившего в схватке был обеспечен вполне приличный урожай.

А раз так, то рисом, этой божественной едой, разбрасываться было, разумеется, никак нельзя. В одной мифе рассказывается о человеке из рода Хата, который собрал богатый урожай и решил позабавиться: слепил из вареного риса лепешку и не придумал ничего лучшего, как стрелять в нее из лука. Попал. И тут, конечно же, мифологическая неприятность вышла. Лепешка превратилась в белую птицу и улетела на гору, которую за то окрестили

Рисовой. Но только у Хата рис больше никак родиться не желал, и вскорости род захирел.

Не забывают японцы и о том, что именно из риса изготавливается их любимый алкогольный напиток — *сакэ* (о нем можно



Борьба сумо

прочитать в специальной главе). Он тоже входит в число обязательных приношений божествам. Ибо именно рисовое сакэ — это то, что любят и люди, и боги. Недаром именно собранным со специальных «божественных» полей (по старинной технологии, без всяких машин, минеральных удобрений, пестицидов и т. д.) рисом и сакэ совершает новый император приношения божествам при ритуале восхождения на престол.

Рис не только ели. Не только пили изготовленное из него сакэ. Ему не только молились. Рисовая солома использовалась для производства многих обиходных вещей. Самый наглядный пример — рисовые циновки-*татами*, которыми выстилались полы в доме.

Но из соломы делали также плащи, шляпы и обувь. И на удобрение ее мельчили, и веревки вили... Словом, не пропадало ни одной рисинки, ни одной соломинки (но знаменитая «рисовая бумага», между прочим, делается совсем не из риса, а из так называемого бумажного дерева).

И, конечно, рис служит наилучшим подтверждением тому, что и в нынешней Японии, несмотря на стремительные изменения в диете, происходившие в течение последних почти что уже полутора веков, живут пока настоящие японцы. Ведь себестоимость 15 миллионов тонн риса (седьмое место в мире после Китая, Индии, Индонезии, Бангладеш, Вьетнама и Таиланда), производимого в самой Японии, настолько велика, что он ни по каким рыночным законам совершенно не в состоянии выдержать конкуренции. Тем не менее правительство (при поддержке значительной части населения, разумеется) пока что упорно продолжает дотировать его производство.



Процесс изготовления татами

Исключительно из трогательных престижно-моральных соображений — потому что уж что-что, а «настоящий рис» растет только в Японии. И нигде больше. И хотя граждане едят хлеб с нескрываемым удовольствием, но без осознания того, что рисовые поля колосятся нормально, хлебный кусок им в горло пока никак не лезет.

Еда

РЫБА, ПОБЕДИВШАЯ МЯСО



«Поставили перед нами по ящику... Открываем — конфекты. Большой кусок чего-то вроде торта, потом густое, как тесто, желе, сложенное в виде сердечка; далее рыбка из дрянного сахара, крашенная и намазанная каким-то маслом; наконец мелкие, сухие конфекты: обсахаренные плоды и, между прочим, морковь», — с некоторым недоумением писал И. А. Гончаров, когда ему в 1853 г. довелось побывать в Японии.

Спору нет: Гончаров — большой писатель, а его «Фрегат «Паллада»» — произведение любопытное. Но и Гончарову с его барскими замашками и привычками к сытной русской кухне доверять можно не во всем. Во всяком случае, в нынешнее время трудно сыскать бóльших гурманов, чем японцы. И дело не только в том, что в любом крупном японском городе можно найти рестораны китайские, итальянские, французские и даже русские (последние, пожалуй, самые неудачные, поскольку блюда там — в какой-нибудь «Тройке» или «Волге» — имеют мало общего с местом их происхождения). Дело в том, что японская кухня сама по себе обладает невероятным разнообразием. Японцы повторяют: «На этом свете можно есть все, за исключением отражения луны». И потому в ход идет все — начиная от сушеных засахаренных кузнечиков и кончая змеями.

А уж поговорить о еде... Здесь с японцами только китайцы сравняться могут.

Один мой знакомый московский японец удивлял меня тем, что в условиях продуктового дефицита 70-х годов старательно собирал во дворе своего дипломатического дома на Кутузовском

проспекте практически всю довольно-таки чахлую зелень, которая там произрастала. Это были и одуванчики, и лопухи, и еще с десятков трав, названий которых я не ведаю. И все это, представьте себе, прекрасно шло ему в пищу.

Присловье про луну — китайского происхождения. Тем не менее японская кухня, пожалуй, богаче всемирно (и по справедливости) известной китайской. Но не столько за счет различных способов смешивания продуктов с последующей их термообработкой (здесь-то китайцев не превзойдешь), сколько ввиду невероятного разнообразия «исходного материала».

Кузнечики — это, конечно, нечто особое. А вот что едят обычные японцы в обычный день?

Отвечу коротко: рыбу, овощи и рис. Более того — они хотят есть их еще больше. Все социологические обследования показывают, что на вопрос о том, чего им не хватает в диете, японцы указывают на рыбу и овощи. Потребление риса, правда, сокращается, и утром почти все завтракают с хлебом (весьма бездарно, на наш российский вкус, выпеченным), но жизни своей без риса японцы все-таки не мыслят.

Слышу недоуменный возглас: «Ну хорошо, риса мы и вправду едим мало. С овощами-фруктами по сравнению с застойными годами получше стало, но еще не так, чтобы уж очень. Зато у нас есть хлеб. Да еще какой! А рыба? Какая она бывает? Карась, судак, карп, толстолобик. Ну, ставрида. Ну еще хек. Ну была когда-то эта, как ее там — бильдюга. Помню, в детстве окунь хорошо на червя шел. Разве это разнообразие?»

Скажу так — количество видов рыбы намного больше количества мясных пород (включая птицу), которые употребляет в пищу любой народ. В самом деле: что мы едим из мясного? Говядину. Свинину. Баранину. Курицу. Индейку. Утку. Гуся. Кролика. В общем-то все. Про медвежатину всякий, конечно, слышал, но я еще не встречал ни одного человека, который и вправду бы ее когда-нибудь попробовал. Ибо дичи с ее вольнолюбивым характером надо для прокорма слишком много места, которого люди почти уже не оставили. К тому же пород дичи никогда не было уж очень много. И даже в самые благодатные времена в рационе «примитивных» охотников она составляла не более 20–25 процентов общей массы потребляемого.

Рыбное богатство Японского архипелага выглядит на мясном интернациональном фоне впечатляюще. Поскольку в этом регионе Мирового океана встречаются теплые и холодные течения, то для размножения планктона создаются чрезвычайно благоприят-

ные условия. А где планктон — там и рыба. В прибрежных водах архипелага водится ныне 3 492 вида рыб, моллюсков (которых японцы любят не меньше рыбы) и морских животных. А среди них есть ведь и такие замечательные породы, как лосось и кета, которые особенно удались рыбному богу по части как плодovitости, так и легкости лова. В то же время на «морской ниве» Европы — Средиземном море эта цифра составляет всего 1 322 единицы, а у западного побережья Северной Америки — 1 744.

Теперь, правда, промышленность и гастрономическое рыбное пристрастие японцев дело свое все-таки делают — поменьше стало своей рыбки, привозной — побольше. Но в эту сторону повернуло совсем недавно, когда желудки в результате длительного употребления рыбы к ней приработались. Так что Япония покупает рыбу очень даже охотно, в том числе и у наших рыбаков.

Если же говорить о гастрономической истории, то, находясь посередине моря-океана, то есть в условиях действительно бескрайнего богатства белковой пищи рыбного происхождения, японцы приняли самое разумное решение: мяса не есть. Но не потому, что оно им не нравилось или им это возбраняла религия (пищевые запреты никогда не играли особенной роли в жизни основной части населения), а потому, что для разведения скота требуются пастбища. А вот этого японцы как раз позволить себе не могли — слишком мала годная на то территория. Да и поддерживать эти пастбища в «работоспособном» состоянии — задача очень непростая. Ведь в Японии, с ее влажным и достаточно теплым климатом, никаких естественных пастбищ попросту нет — любой открытый участок на глазах превращается в малопроезжие заросли. Ни одна корова дороги домой не найдет.

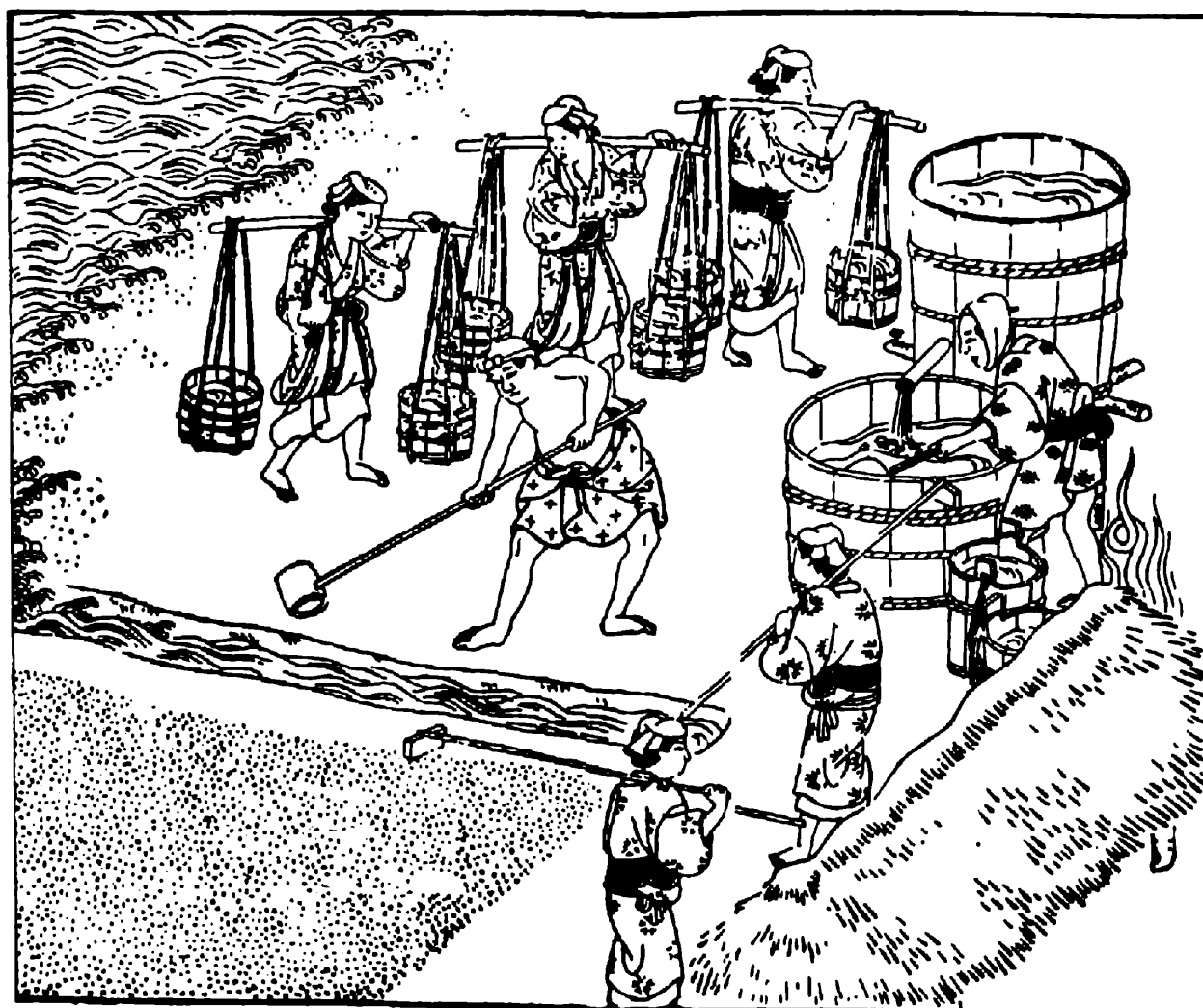
И хотя в VIII веке стали было коров разводить, а с ними и молоко попивать, и масло сбивать, и сыр делать, но очень скоро вместе с ростом беспрерывно и весьма быстро плодившегося



населения дело это забросили. Да так надолго, что только послевоенные поколения снова стали втягиваться в мясную привычку.

Японцы (верней сказать — насельники архипелага) начали ловить рыбу двенадцать тысяч лет назад. В ту пору зверя (в основном, оленя да кабана) в лесах было для пропитания еще вполне достаточно. И всё же с того времени стали употреблять всё морское. Особенно хорошо ракушки разные у них в дело шли. Собственно говоря, даже современная археология началась с того, что в конце XIX века были обнаружены так называемые «раковинные кучи» (говоря проще — помойки древнего человека), в которых, как это легко догадаться из названия, эти раковины — самый массовый материал для изучения.

А ведь есть еще водоросли, до которых японцы всегда были очень охочи. Сегодня в пищу употребляется более десятка видов — как в сушеном, так и в вареном виде. А водоросли — это йод, железо, минеральные вещества, витамин B₁. Нельзя забывать и про обыкновенную морскую воду, из которой выпаривали соль (залежей каменной в Японии не имеется).



Сбор осадочной соли



Выходит, море использовалось японцами на все сто процентов, а за счет его освоения и территория, на которой можно что-то полезное человеку делать, тоже становилась больше. Так что не так мала Япония, какой на карте кажется.

Кроме того, что рыбу можно есть, ее мелкие особи служили превосходным удобрением — потому и навоз японцам оказывался не столь нужен. И ведь каждый сорт рыбы имеет свой особый вкус. Для человека материкового «рыба» — понятие все-таки собирательное (да и ест он ее почти всегда после разморозки). Японец же с закрытыми глазами спокойно отличает пресноводную рыбу от морской, а тунца — от макрели.

Что до мяса (в особенности говядины), то оно было таким редким продуктом, что до поры до времени считалось не столько пищей, сколько лекарственным средством.

В результате, однако, оказалось, что морской способ приобретения белковой пищи совсем не так плох. Ведь кроме собственно белка, в рыбе содержится весь необходимый набор витаминов и микроэлементов (особенно если значительную часть ее употреблять по-японски, сырой). К тому же по сравнению с мясом в рыбе ниже содержание холестерина. Да и вообще по непонятным законам природы все живущее на воле оказывается ненасытному человеку полезнее, чем выращиваемое им самим. И хотя японцы рыбу (в том числе и некоторых морских пород) уже разводят, но все-таки в основном приходится гоняться за нею в море.

И вот на такой морской диете японцы плодились весьма активно, хотя и не жирели (сейчас-то выяснилось, как это хорошо). И, видимо, не случайно в настоящее время они занимают первое место в мире по продолжительности жизни (в затылок им дышат обитатели другого «рыбного рая» — исландцы).

Правда, никто не знает — надолго ли это лидерство. Ведь молодое поколение сильно отошло от диетических традиций своих предков. И мясо ест, и молоко пьет, и масло на хлеб аккуратно по утрам мажет. И потому оно выпрямилось и сильно подросло. Но одновременно пришли и атеросклероз, и болезни сердца, и ожирение...

Наверное, самое популярное в Японии блюдо из сырой рыбы — это *сасими*, то есть нарезанная сырая рыба (к сведению любителей экспериментов на собственном организме: годится только очень свежая, да и то не всякая — не то паразитов подцепить можно). Кусочки рыбы положено макать в жидкую смесь из соевого соуса с разведенным в нем японским хреном — *васаби*. Могу засвидетельствовать: получается и очень вкусно, и какое-то блаженное очищение в организме чувствуешь.

Соевый соус (*сёю*) тоже требует отдельного параграфа, поскольку японцы употребляют его почти со всем, что подается на



Уличная сценка в Эдо



Бесчисленно множество сортов подаваемой рыбы, а еще бесчисленнее способы готовить ее. Некоторые сорта особенно любимы японскими лакомками, и за них платят страшные деньги, особенно в то время, когда нет этих сортов рыбы. Самая любимая — *ака-те*, или красная барыня, обыкновенно называемая японцами *таи* (*sparus-avrata* или *chrysophrys cristiceps*). Японцы особенно любят ее потому, что она посвящена морскому богу Жибис, и потому, что она очень красива и нежна. Часто платят в неблагоприятное время за одну такую рыбу по тысяче *кобангов*.

Ф. Зибольд. Путешествие по Японии. Том 2. С. 21.

стол. До его прихода из Китая примерно в конце XV века основной приправой был соус, приготовляемый из слегка подтухшей рыбы (до сих пор очень популярен в странах Юго-Восточной Азии). Сёю делается из смеси перебродивших бобов сои и зерен пшеницы, причем процесс ферментации занимает около двух лет. Боюсь, русскому человеку долговато покажется.

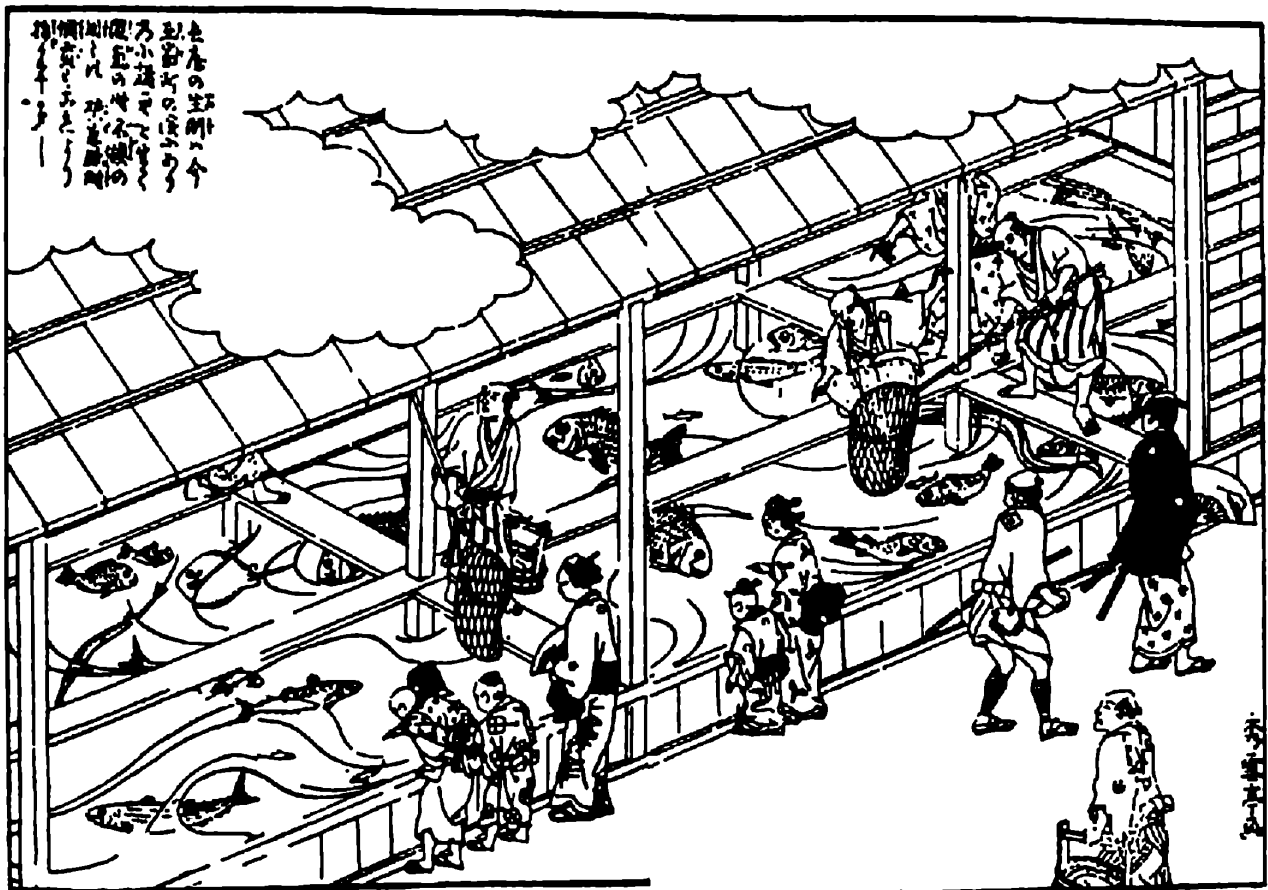
Из японской кухни лучше всего в остальном мире прижилось блюдо под названием *суси* (*суши*), которое издавна пользуется огромной популярностью и в самой Японии — как благодаря своему вкусу, так и дешевизне. Суси всегда можно было купить прямо на улице и тут же съесть.

Своей распространенностью на Западе это блюдо обязано не только приятному вкусу, но и тому, что, в отличие от *сасими*, при его приготовлении используются не только сырые продукты. Такая технология как-то больше подходит европейцам, приученным к тому, что в сыром виде можно есть только овощи и фрукты (и то — еще в XIX веке считалось, что сырая морковь очень вредна для здоровья).

Суси бывают разные. Расскажу о наиболее почитаемой разновидности — *нигиридзуси*. В его состав входят три основных компонента: морепродукт (сырая рыба, креветки, кальмар, моллюски, икра морского ежа), высушенные водоросли и вареный рис с добавлением подслащенного уксуса. На слегка вытянутый рисовый колобок кладется немного хрена, поверх — кусочек рыбы (или еще что-нибудь). В зависимости от вида морепродукта это сооружение может обматываться ленточкой из суше-

ных водорослей. Если водорослей не полагается, тогда вы, взяв палочками этот колобок, обмакиваете его верхнюю часть в соевый соус и отправляете в рот целиком (размеры колобка именно таковы). Если же обмотка из водорослей присутствует — тогда едите его «всухую». Бывают также и «круглые» суси, когда морепродукт упрятывается в середину рисовой палочки цилиндрической формы, обматываемой листочком из водорослей.

Товарное воплощение японского рыбного богатства можно освидетельствовать на токийском оптовом рыбном рынке. Зрелище это — не для «сов», поскольку открывается он около четырех часов утра (именно тогда рыбаки возвращаются с ночного лова),



На рыбном рынке

а уже в шесть-семь утра — закрывается. Зато вы увидите столько того, чему не знаете названия, что для человека любопытного это может послужить прекрасным стимулом пополнения своих знаний. Токийский рынок — настоящее наглядное пособие по ихтиологии.

Первый вопрос, который возникает у европейца, попавшего сюда, — неужели все это можно съесть? Отвечаю: да, можно. Тысячи владельцев токийских продуктовых магазинов и ресторанов

закупают здесь наисвежайшие морепродукты, чтобы к открытию магазинов выставить их на полках супермаркетов и лавочек и быть в любой момент готовыми к прихотям самого требовательного клиента.

А клиентов и вправду много. Это не только домохозяйки, заботящиеся о том, чтобы получше накрыть свой семейный стол. Это еще и армия чиновников и служащих фирм, да и просто охотников до чего-нибудь вкусенького, которые вечерами заполняют едальни самого разного пошиба — от простеньких до шикарных ресторанов.

Объединяет же их то, что там, где угощают настоящей японской кухней, вам непременно предложат морепродукты (рыбу, водоросли, краба, лангуста, каракатицу, моллюска и т. д.), а также подушку на покрытом циновками полу: японская еда требует традиционного способа сидения. Весьма часто блюда будут готовиться поваром прямо на ваших глазах — наверное, чтобы у вас слюнки потекли обильнее. Причем полтора десятка смен блюд (не слишком, разумеется, обильных) ни у кого не вызывает удивления. Но и традиционная повседневная домашняя японская кухня лишена того, что называется «главное блюдо» (main dish). Отсюда такое замечательное разнообразие. Хотя никакого быка или же борова на вертеле никогда в заводе не было.

Я уже сказал, что японцы в общем-то едят все. Но бывали все-таки времена, когда кое-кто из них вспоминал, что учение Будды запрещает убийство и поедание любого вида живых существ. Ну, например, века XI или XII считаются довольно «вегетарианскими» ввиду распространившейся среди аристократии веры в близкий конец буддийского света — мол, построже себя в такой критической обстановке держать следует. И постились они потому, и специальный «ритуал отпущения на волю живых существ» тоже отправляли. Среди осчастливленных таким образом могли быть предусмотрительно закупленные на рынке крабы, птички, а чаще всего — рыбы. Даже специальные пруды при храмах для этой церемонии вырывали. Получалось очень наглядно.

Но когда дело доходило до стола, то странным образом рыба как продукт питания все-таки очень нечасто попадала в разряд «живых существ». Да и птица — тоже. Только совсем отчаянные подвижники от них отказывались.

Все-таки по духу своему японцы — «язычники», синтоисты. А уж синтоизм-то про поедание рыбы с птицей слова худого не говорит. Крестьяне же, особенно те, кто к горам поближе, и вовсе не думали — положено им мясо кушать или нет. И хоть скота и не

разводили (так, курочки если только по двору бегали), но вот кабанчика в темном и влажном японском лесу завалить — за милое дело у них считалось. Так и извели его почти что поголовно.

Но вот тогдашние важные доктора, пользовавшие более разборчивых горожан, рыбу с мясом смешивать действительно не вели. А еще они говорили, что от одновременного употребления молочных продуктов (между прочим, почти отсутствовавших) с рыбой в животе червячок заводится. А если ты рыбу каждый день ешь, то о каком еще молоке речь идти может?

Было у них и такое совсем уж странное указание: «Ежели пьян напьешься, умываться не смей». Сверх того, точно так же, как и нас в детстве, учили во время трапезы не разговаривать. Причем приводили очень убедительный довод: «Если во время еды разговаривать станешь, грудь и спина заболят».

Интересно, что японцы и сейчас в большинстве своем этому правилу следуют. Сдается, правда, мне, что когда палочками ешь, то разговоры разговаривать становится просто некогда — потому что каждое их движение приносит в рот мизерное количество еды. Так что не до разговоров. А вот поговорить о том о сем после того, как поел, — очень принято.

Что бы врачи (и о врачах) ни говорили, но авторитетность их в Японии была и остается чрезвычайно высокой. Это видно хотя бы из такого исторического анекдота. Ведут самурая на казнь. Спрашивают его о последнем желании. Он своим стражникам в ответ: «Дайте воды напиться». — «Нет у нас воды, — говорят, — вот тебе хурма, съешь ее, и жажда твоя пройдет». Самурай же отвечал по-самурайски твердо: «Нет, хурмы есть не стану. Мой врач сказал, что она вредна для моего здоровья».

Каждый знает, что японцы едят палочками. Палочки, однако же, бывали разные — и металлические, и из заморской слоновой кости. Полированные, лаком покрытые (хорошо сохраняет дерево от проклятой японской сырости). В настоящее время и пластмассовые тоже в ходу, в основном — для детей, совсем коротенькие. Но по преимуществу палочки делают, конечно же, из дерева. Благо, раньше его полным-полно было. Теперь же завозить приходится из малоразвитых государств, где в силу отсталости деревья еще расти не перестали. И хотя японские горы по-прежнему покрыты лесами, но, конечно, они уже не те, и, к тому же, японцы, похоже, держат их в уме на черный день.

Совсем в древности японцы ели руками. Но после того, как веке в седьмом познакомились с палочками, никакой другой столовый прибор стал им не нужен. В традиционной японской кухне



Кулинар с большими «поварскими» палочками

даже ложка отсутствует, не привилась. «Нормальные» домашние японские палочки (дерево, покрытое лаком) — короче китайских прототипов (22 и 26 сантиметров соответственно). Корейские — еще короче (19 сантиметров). Если все уж совсем по правилам, то тогда на столе должна быть и подставка для палочек (обычно керамическая). По форме — нечто вроде крошечной седловины. В нее и «сажают» палочки так, чтобы их «рабочий конец» пребывал в воздухе, причем считается воспитанным, если при этом концы палочек не будут направлены в сторону вашего визави. Теперь, правда, такая подставка превратилась в аксессуар шикарного общественного питания: в доме ее встретишь редко.

Но сами палочки, разумеется, есть в каждом доме. Причем наряду с чашкой для риса и чашкой для чая каждому члену семьи предлагается иметь свои собственные палочки, ни для кого больше не предназначенные.

Следует иметь в виду, что для разных целей используются палочки разной длины. Для личной еды — одни, для раскладывания с общего блюда — другие, побольше. Бывают и совсем длинные — поварские, сработанные обычно из бамбука (поскольку он прочнее и не впитывает влагу). Такие палочки в большом почете и у хозяек: ими удобно цеплять содержимое даже из банок, в горлышко

которых рука не пролезает. Для того чтобы покрасивее разложить еду на блюдах, профессионалы прибегают к деревянным палочкам с острыми металлическими наконечниками.

В общественных заведениях в настоящее время предлагаются почти исключительно деревянные палочки одноразового использования. Они обычно упакованы в бумажный «конвертик» и представляют собой расщепленный (но не до конца!) брусочек. После того как вы его совершенно самостоятельно разломали (и таким образом убедились, что ими никто никогда для обеденных целей не пользовался), можно приступать к трапезе.

Для ресторанов одноразовые палочки, конечно же, удобны — мыть не надо. Для клиента тоже получается очень гигиенично. Только каждый год таких палочек используется около восьми миллиардов! Прикидываю хозяйским глазом — много понапрасну древесины зря пропадает. Представляете, во что бы наши леса превратились, если бы мы свои деревянные ложки каждый раз после сытного обеда в помойку выбрасывали?

Но вот керамическую посуду, понятное дело, никуда не выбрасывают — очень уж хороша. И в приличном едальном месте ее должно быть много, поскольку не только каждая тарелка предназначена для вполне определенного сорта кушанья, но и ее раскрас (точно так же, как и цветовая гамма подаваемых кушаний) должен соответствовать сезону, которых, как известно, четыре. Метафора «есть глазами» имеет для японцев вполне гастрономический характер.

Еще один принцип «торжественной» еды — это максимальное разнообразие как «исходного материала», так и способов его при-



готовления. Ну вот что, например, подают во время японской свадьбы? Ну хотя бы примерно? Перечисляю в порядке поступления на стол (любому гостю каждый раз в небольшой тарелке-плошке в строго фиксированном порядке, и никаких «я этого не буду» или «а добавочки можно?»). Закуска; «прозрачный» бульон с добавлением кусочков креветки, грибов и японского лимона-мандарина *юдзу* (подается в «пиале» с крышкой, чтобы при открытии аромат был острее); сасими (сырая рыба, см. выше); рыба, жаренная без масла на углях или на металлическом листе; что-нибудь варёное или какое-нибудь блюдо, приготовленное на пару (например, нечто вроде супа-поташа — желеобразная горячая масса, получающаяся в результате томления на пару в отдельной чашке бульона с добавлением обмазанных яйцом кусочков рыбы, креветок, курицы); что-либо обжаренное в растительном масле (очень хороша *тэмпура* — рыба, креветки и овощи в кляре); салат с подслащенным уксусом.

Что и говорить — долгое сидение получается, но очень вкусное. И хотя каждым блюдом в отдельности не насытишься (правда, и такой цели не ставится — каждого вида еды подается понемногу), но в результате любой обжора наедается до отвала.

Интересно вот что: в отличие от русской очень вкусной, но «тяжелой» кухни с обилием теста в самых разных его видах (блины, пироги, пельмени и т. д.), от японского стола не отваливаешься с единственным желанием — упасть в постель, но вскакиваешь вполне готовым к другим видам жизнедеятельности.

Для того чтобы читатель получил хоть какое-то представление, откуда в современной кухне появилось такое разнообразие, перечислю и то, что подавалось на одном пиру аристократов в XII веке. Перечисляю в том же порядке, как зафиксировано в историческом памятнике, но переводя хоть в сколько-то привычные нам понятия: соус, приготовленный из слегка подтухшей рыбы; сакэ; уксус; соль; рис; мелконаструганные и совершенно сырые (но с добавлением уксуса) морской судак и окунь (тоже морской); карп в соевой пасте; жаркое морского окуня; овощное рагу; рыба на вертеле; суп из ракушек; жареный осьминог; вареные ракушки; шашлык из курицы; вымоченная в сакэ медуза с уксусом и имбирем; трепанги; моллюски с соевой пастой; вода; фрукты.

И все эти блюда, помимо вкуса, должны были обладать еще одним свойством — выглядеть красиво. Именно аристократы придумали «блюда для глаз», несъедобные, но на вид крайне аппетитные. Расположилась, например, на блюде тушка якобы

карпа. Но на самом деле это лишь кожа с головой. Лежит такой «карп» очень высокохудожественно, но есть его нельзя. Можно только время от времени подливать этому карпу в рот сакэ, и тогда он начинает весьма натурально шевелиться (договоримся — о вкусах не спорить).

Как видим, основу аристократического торжественного стола составляли морепродукты — мясо (за исключением курицы, которая, как известно, не совсем даже и птица) полностью отсутствовало.

Но вот после аристократов, утонченных и сильно изнеженных (потому и постоять за себя не сумели), к власти пришли военные — самураи, которые, как это бывает везде и всюду, в качестве социальных лидеров и правящего сословия в сильной степени стали влиять на вкусы общества и в еде, и во всем другом. Легко догадаться, что они были нравом попроще, а прежнюю знать за ее утонченность, «развратность» и неумение обращаться с мечом очень по-военному осуждали. И даже ставку свою сёгуны убрали подальше от ненавистных им аристократов и императорского двора в Хэйане (Киото), обосновавшись в Камакура (неподалеку от Токио).

Полагая, что они лучше других знают, как надо жить, сёгуны из дома Минамото охотно издавали указы, призывающие к скромности в быту и запрещающие то одно, то другое. Ну хоть сладости на пиру. Или продажу сакэ на рынках — чтобы рис, значит, напрасно в жидкое состояние не переводился.

Сами же самураи питались без изысков и особенно не разбирая — где скоромное, а где — нет. Дело-то боевое, походное, разбираться некогда, а на пустой желудок особенно не развоуешься. Бывало даже, что рис просто в воде замачивали и так ели. Обычный же походный паек состоял из уже сваренного, а потом высушенного риса, маринованных слив (очень острых — использовались как приправа и желудочный антисептик), высушенной соевой пасты, кусковой соли, кунжутного семени, сушеной и соленой рыбы, водорослей (тоже сушеных). Соли многовато, конечно, да что поделать — в войну ее роль всегда растет.

Источники того времени сообщают, что даже в праздничные дни самураи вполне могли удовлетворяться чашкой приправленного чем-нибудь риса. Обычным и нормальным считалось двухразовое питание. Нужно, правда, сказать, что когда военные пришли к власти (1192 год), страна находилась в критическом состоянии — неурожаи как назло следовали один за другим. Вот и приходилось сёгуну командовать таким образом: «Светильников по ночам не

жечь, есть один раз в день, винопитием на пирах не баловаться». Очень, в общем, по-боевому экономические проблемы решал. И посуда в то время у самураев тоже была самая скромная.

Утерявшие всякую реальную власть (но отнюдь не привычки) аристократы пеняли, понятно, военным за то, что те уж совсем себя вести не умеют. Например, кабанье мясо совершенно спокойно уплетают прямо возле буддийского храма.

Правда, и аристократы в итоге все-таки поняли, что конца света как-то не предвидится (назначенный буддийским вероучением срок — 1052 год — уже давно прошел), и к мясной пище стали относиться терпимее. И зайца едали, и другой живностью перестали брезговать. Но про свое историческое предназначение помнили, о былом величии исправно горевали и стихи сочиняли с исключительной регулярностью, чем в мировой культуре и прославились.

Народ же попроще тоже времени даром не терял — на тяготы жизни откликнулся повышением производительности труда. Произошло это первым делом за счет выведения новых районированных сортов риса — более устойчивых и к засухе, и к холодам, и к ущербу, приносимому многочисленными насекомыми (получается, что японцы не только привычный весенний обряд «избавления от насекомых» справляли, но и более практические меры предпринимали тоже). Неглупые же князья запашку расширяли и крестьян «бросали» на ирригацию. В результате урожай риса скакнул раза в два и составляли теперь около 16—17 центнеров с гектара. Совсем не плохо для той средневековой полосы.

Начиная с этого времени и сами крестьяне стали риса есть побольше (а раньше он все-таки барской едой считался, люди же попроще на чумизу с просом налегали). Поэтому-то и рынки стали побогаче. Хорошо там и гречиха шла, которую, в отличие от большинства других стран, в Японии издавна хорошо знают и ценят (остатки первых гречишных полей, располагавшихся в горах, где попрохладнее, датируются на несколько веков раньше Рождества Христова). Правда, употребляют японцы гречиху все равно не по-нашему — на муку мелют и лапшу делают.

К тому же рыбаки завалили рынки рыбой, креветками и крабами. Сетей наизобретали множество, в том числе и для лова в открытом море (раньше только вблизи берегов рыбу ловили). Одна из них называлась *дзикокуама* — «адова сеть» (то ли потому, что рыбы должны были перед ней трепетать, то ли за то, что после массового отлова живых существ самому тебе одна дорожка — прямиком в преисподнюю). Продолжали свое существование и

вполне традиционные способы лова. Самым, наверное, необычным был лов мелкой рыбешки с помощью пеликанов — после окончания «рыбалки» ее доставали из птичьего зоба.

Правда, транспортные средства оставляли еще желать лучшего, так что немалая часть всей этой рыбной снеди продавалась вяленой или соленой. А с другой стороны, сработали законы местного рынка, и это вызвало резкое увеличение спроса на соль. В особенности много солеварен построили там, где этим делом издавна и занимались — на побережье Внутреннего Японского моря. Современники сообщают, что чуть ли не половину корабельных грузов того времени составляла соль.

Среди овощей наибольшей популярностью пользовались баклажан, тыква, батат и множество травок, японские (на худой конец — латинские) названия которых ничего русскому уху не говорят. В большом ходу был имбирь. Ну и, конечно, фрукты — хурма, груши, виноград, персики, мандарины. Каштаны тоже входили в традиционное меню. К ним японцы привыкли еще до новой эры.

В политике, между тем, дело шло своим чередом, то есть военные воевали. Довоевались и до второго сёгуната, которым управлял уже не дом Минамото, а дом Асикага. Этот был явно повеселее, уже не так на экономию нажимал и переехал обратно



Рыбалка с помощью бакланов

в Киото, поближе к аристократам, в район, который назывался Муромати. И стали сёгуны время проводить не так скучно, не так себя голодной диетой утомляли. Один из сёгунов, чтобы руки себе от дел государственной важности развязать, даже отрекся в пользу своего девятилетнего сына, а сам на горной вилле прохлаждаться стал.

Да и то правда — жаркая страна Япония, влажная. Даже было принято соболезнования по поводу ежегодной июльской жары друг другу слать.

В связи с некоторым расслаблением жизни и у самураев стал тогда пробуждаться кулинарный интерес. И на радость историку появляются целые сочинения о том, что и как следует кушать. Ведь до той поры ему приходилось питаться отрывочными сведениями, почерпнутыми из общеисторического котла.

Из таких книг мы, например, узнаем, что, находясь в обществе, неприлично первым братья за палочки, равно как и первым заканчивать еду. Нехорошо складывать рыбы и птичьи кости на общее блюдо. Лучшим куском следует непременно потчевать гостя или старшего по положению: «в супе из морского окуня самое вкусное — голова, особенно от глаз до рта; этим куском и угощать». Это же «правило головы» относилось и ко всем другим видам живности — считалось, что вкуснее и полезнее всего именно она. И далее — по мере продвижения к телесному низу. Поэтому ноги (курицы, зайца или еще там кого) или рыбий хвост никогда не выступали в качестве лакомого кусочка, которым следует угощать почетного гостя.

Уже тогда японцы в полной мере проявляли свои классификационные способности, которыми славятся и теперь. Так, в одном сочинении утверждалось: «Животная пища делится на лучшую, среднюю и наихудшую. Это — морское, речное и горное». Все, как видим, просто, понятно и уложено в схему. Но дальше следует такой пассаж (мне так и видится вытянувшееся от удивления перед своей собственной непоследовательностью лицо автора, водящего в этот момент кистью): «Но лучше всего по вкусу горный фазан. И хоть карп рыба речная, а лучше ее все-таки нет. Даже кита вперед него не поставишь». Другое сочинение тоже ставит на первое место рыбу, но утверждает, что все-таки речная рыба повкуснее морской будет.

Однако считать на нынешний лад эти сочинения настоящими кулинарными книгами или универсальными наставлениями по воспитанию изящных застольных манер было бы все-таки опрометчиво — ни в коей мере они не ставили своей целью просвеще-

ние хоть сколько-нибудь широкой публики. Как это ни покажется странным современному человеку, но эти книги считались тайными и читать их имели право только члены того или иного дома.

Вот такое это было нормальное средневековье, когда недоверие к чужакам распространяется даже на такую, казалось бы, невинную область, как наука о том, что вкуснее всего и как при этом за столом себя держать. Оттого и существовал разноречивый в том, что и как следует есть. Но тенденция все-таки видна хорошо — наиболее вкуснейшие блюда готовятся именно из рыбы.

В кулинарных трактатах приводятся самые тайные сведения, например, такого рода: «Кушать принято тремя парами палочек, которые обычно кладут слева, справа и перед вами. В нашем доме принято сначала брать те палочки, которые лежат перед тобой, потом те, которые слева, потом — справа». И — палец к губам: смотри не проболтайся, враг не только не дремлет, но и сам нечто похожее без передыху сочиняет.

Вот еще один секрет, касающийся на сей раз фазана: «Женщинам следует есть гузку, а мужчинам — ножки». Почему бы это, интересно? Оказывается, согласно древнекитайскому пониманию мира все предметы, явления и существа (и даже их отдельно взятые части) относятся либо к мужскому началу *ян*, либо к женскому — *инь*. Идеал же состоит в том, чтобы женское начало всегда уравновешивало мужское. И если где имеется что-то женское, к нему следует незамедлительно подпустить мужского. Надо полагать, гузка (видимо, в силу своей продолговатой формы) должна быть отнесена к мужскому началу, а ножки (обратно же, в силу несомненной округлости) — к женскому. Или, может, дело в том, что гузка все-таки выше ножек над землей располагается? Не знаю. Но только и при приеме пищи, если подходить к ней с научной точки зрения и с правильного конца, следовало придерживаться золотого правила об уравновешивании мужского женским.

До появления «южных варваров» (именно так именовали европейцев обитатели островов — видимо, потому, что корабли их приплывали не по Севморпути, а с юга) японский кулинарный горизонт ограничивался ближним зарубежьем, попросту говоря, Китаем. Нельзя сказать, что с приходом христианских миссионеров и европейских купцов положение в японской кухне изменилось радикально, но тем не менее кое-какие новшества все-таки появились. В большинстве своем они касались применения тех продуктов, с которыми и сам Запад успел познакомиться совсем недавно. Шестнадцатый век как-никак на дворе стоял, эпоха Великих географических открытий!



Так получилось, что и японцы оказались к ней причастны, хотя сами особенно далеко и не плавали: в крайнем случае, местные пираты до Юго-Восточной Азии доходили. Государственные же структуры предпочитали отечественного крестьянина с его грядками окучивать, а пиратов к ногтю прижимать.

Итак, японцы познакомились в XVI веке не только с Библией и огнестрельным оружием, но и с арбузами, кабачками, кайенским перцем, картошкой, помидорами, шпинатом, капустой, хлебом, кое-какими сладостями (печеньем и конфетами), крепкими спиртными напитками (как легко догадаться, употреблялись они в основном в качестве лекарства) и некоторыми другими заморскими диковинками.

Нельзя, конечно, упустить из виду и табак. Среди знати в ходу были длинные металлические трубки. Когда важные господа покидали свой дом, их слуги тащили за ними этот громоздкий предмет, который сорванцами и уличными хулиганами использовался, бывало, в качестве увесистого аргумента при выяснении отношений. Люди же попроще пользовались трубками, сработанными из бамбука. Табак японцам понравился.

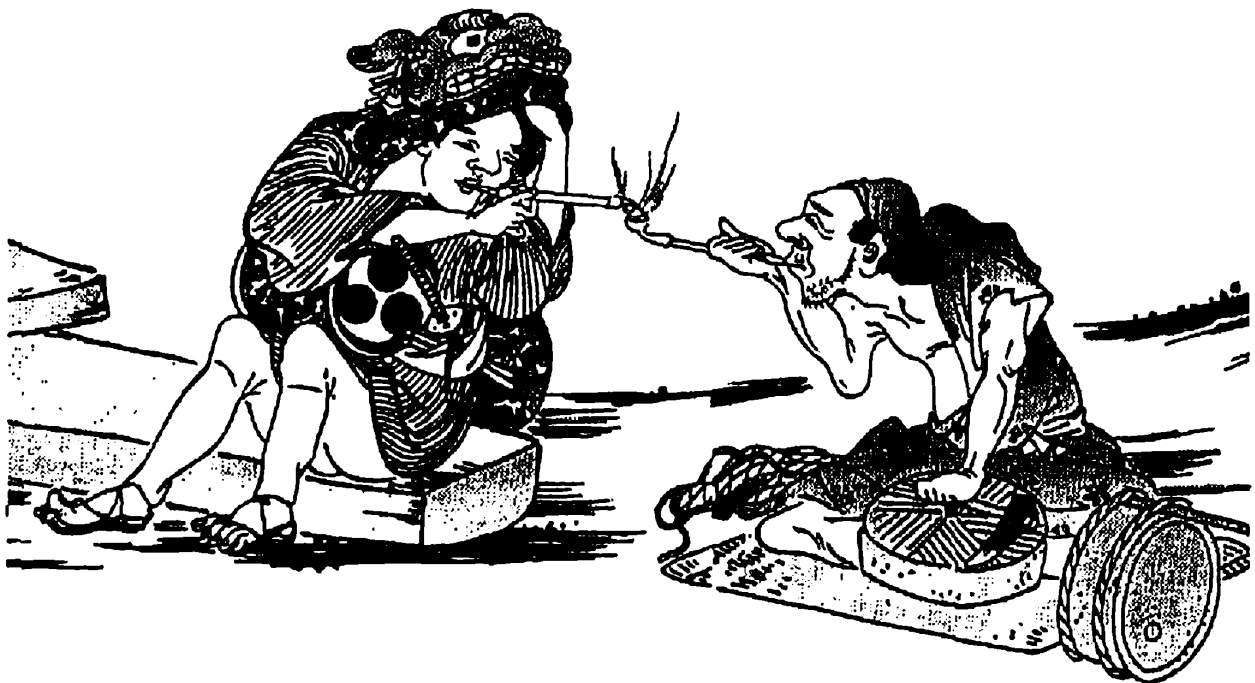
Однако, горделиво повествует один уважаемый автор, «хотя европейцы стали курить раньше нас, но первой запретила куре-

ние все-таки Япония». Скорый на запреты третий по счету сёгунат — Токугава — в 1609 году действительно ввел запрет на табакокурение из-за боязни пожаров, а также из-за не менее трогательной заботы о материальном благополучии подданных (нечего, мол, денежки на ветер и дым переводить). Для нарушивших же запрет была предусмотрена не больше не меньше, как конфискация имущества (и в этом тоже видна отеческая забота властей о кошельках и недвижимости своих верноподданных).

Япония оказалась в достойной компании: с некоторым опозданием ее примеру (правда, о прямом влиянии ничего не известно) последовали Англия (1619 год) и Священная Римская империя (1624 год). Но, похоже, даже сёгунат не смог справиться с пагубными привычками, и запрет вскоре был фактически отменен. В результате на сегодняшний день среди «развитых» стран Япония является одной из самых курящих. Точно так же не подействовали на обитателей островов и запреты пить сакэ. Так что сёгуны все-таки явно переоценили степень своего влияния на умы населения.

Первые европейцы не только приобщили японцев к некоторым непривычным продуктам, но и оставили довольно много сочинений, описывающих их впечатления от всего японского, в том числе и от еды. Что же их поразило, в первую очередь, за японским столом?

Португальский миссионер из ордена иезуитов Луис Фройс писал в 1562 году со смешанным чувством уважения и трепета:



«Мы всякую еду берем руками. Японцы же — и мужчины и женщины — с детских лет приучены брать пищу двумя палочками». Удивлялся он и отсутствию общего стола: каждому едоку подавался крошечный индивидуальный подносик на низеньких ножках.



Тексты о правилах застольного поведения

Необычна для европейцев была и смена посуды с каждой переменной блюд, и идеальная чистота самого стола. А еще они отмечали, что пища на этом столе выглядит очень красиво. В общем, долго можно перечислять. Фройс, к примеру, нашел различия в шестидесяти пунктах.

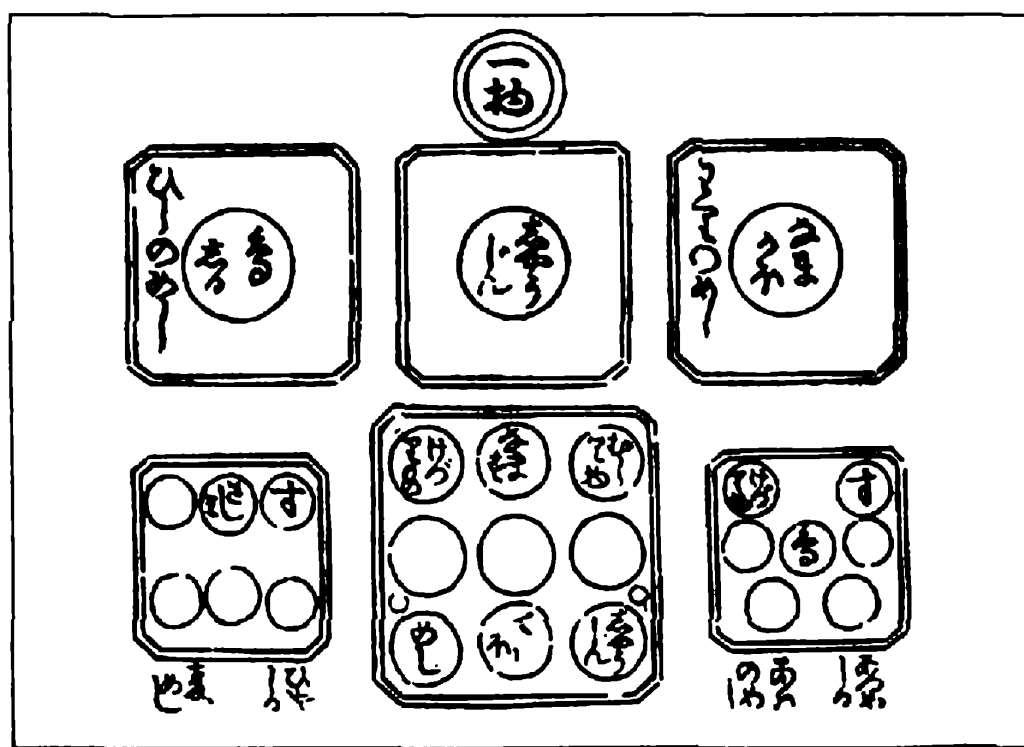
Специальным параграфом проходит церемониальность поведения японцев за столом. «Они даже книги о правилах застольного поведения пишут и изучают их!» — умилялись западные люди. И вправду: сочинений такого рода было немало. В частности, в них строго определялось и место каждого блюда на столике, и порядок их поедания.

Еще бы европейцам не удивляться! Ведь в Европе в эти времена еда подавалась на стол в общих блюдах (причем ни рыба, ни мясо от костей не отделялись), откуда и бралась совершенно голыми руками. Вилки имели весьма ограниченное хождение (они появляются в Венеции в XVI веке, но, скажем, в Англии не получают широкого распространения вплоть до середины века XVII).

Да и сдержанностью манер во время пиров европейцы также похвастаться никак не могли.

Поэтому такое удивление европейцев вызывало то, что на японский стол кушанья подавались уже нарезанными — можно обходиться только палочками и не касаться пищи руками, что избавляло от употребления салфеток и чаши для омовения рук, которая во время европейской трапезы неоднократно пускалась по кругу.

Еще миссионеры единогласно отмечали наличие на столе риса и отсутствие хлеба, обилие разнообразных овощных и рыбных блюд, почти полное отсутствие мясных и неприязнь к молоку. Самое общее впечатление от японской кухни — ее невероятное многообразие. И удивление это, конечно же, закономерно, поскольку западная кухня того времени, как известно, особой изощренностью отнюдь не отличалась. Точно так же, как и разнообразием.



Японский столик с набором блюд (вид сверху)

Это уж потом французы и итальянцы много всякого наизобретали, насмотревшись в своих колониальных странствиях на Восток (в основном, правда, на Ближний).

Поэтому-то купцы всех европейских стран так стремились получить доступ к восточным пряностям (перец, шафран, лавровый лист, корица и т. д.) — чтобы иметь возможность свое меню поострее сделать. И чуть ли не главной заботой было хоть каким-то



Китовый промысел. Охота

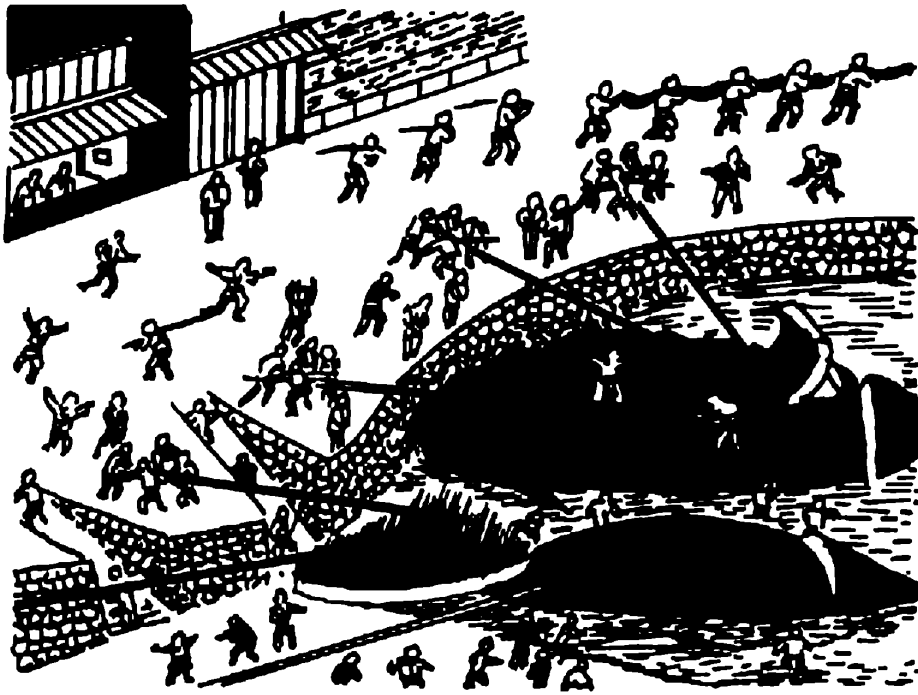
образом избавиться от невыносимо приевшегося вкуса солонины — основного зимнего блюда не только моряков, но и вполне сухопутных жителей.

Надо сказать, что установившийся наконец-то в Японии мир подействовал на пищевой рацион (как и на весь строй жизни) чрезвычайно благоприятно. Городская культура процветала, образование — тоже. Появились сотни агрономических трактатов, ставящих своей целью повысить плодородие почвы — люди стали использовать свою жизненную энергию в созидательных целях. Причем авторами многих из этих трактатов были вполне простые пахари-рисоводы.

Хотя на основных наделах крестьянам было предписано разводить исключительно рис, они ухитрялись выращивать и много другого, без чего этот рис как-то и не в радость будет. В основном это были овощи.

При сельскохозяйственном экспериментировании выяснялись совершенно удивительные вещи: так, для уничтожения личинок саранчи, которая ранее причиняла колоссальный ущерб посевам, замечательно подходит проливаемый в почву китовый жир. С этих пор ордам саранчи в Японии был положен предел. Правда, и китам пришлось от этого нелегко — в год их били по сто плюс сколько-то десятков. Вроде бы и не так много, но это же киты! Жира с них натекало 30—40 тысяч бочек.

Мне совсем не хочется, чтобы у читателя создалось идиллическое впечатление об изобильности тогдашней жизни среднеста-



Китовый промысел. Возвращение с добычей

тистического японца. Нет, жизнь была трудной, с эпидемиями, недородами, иногда — с массовыми голодными смертями (время, когда пищевые проблемы были в Японии действительно решены, исчисляется лишь четырьмя последними десятилетиями). Но нужно иметь в виду вполне положительную динамику Токугавского времени — население несмотря ни на что росло, а территории, как известно, не прибавлялось.

А это значит, что обходились сугубо внутренними ресурсами: производительность хозяйствования росла. Причем росла не столько за счет применения новых механизмов и приспособлений (хотя, конечно, были и такие) и не за счет увеличения эксплуатации домашних животных (наоборот — с наступлением мирного времени поголовье коров, а также лошадей, не нужных более для военных действий, резко сократилось), а ввиду беспримерной интенсификации ручного труда. И с этого времени уж точно можно говорить о знаменитом трудолюбии японцев.

Многое в современной Японии начиналось с Эдо. В том числе и всякие едальные заведения. Сосредоточение в одном городе огромного количества людей привело к настоящему расцвету ресторанного дела. И эта традиция общественного питания оказалась очень живучей.

Возможно, поэтому ресторанов и в современной Японии тоже много. Первое место в мире на душу населения. Дело в том, что японская деловая этика не предусматривает решения мало-мальски важных вопросов по телефону — обязательно нужно посмот-

реть друг другу прямо в глаза. Обсуждение проблем поэтому переносится на вечер, в ресторан. Вот они и процветают, несмотря на регулярно случающиеся экономические спады. А поскольку все знают, что настоящие мужские дела решаются именно таким образом, то очень многим сотрудникам фирм и чиновникам (по достижении, естественно, определенного положения) ежемесячно выплачиваются деньги на представительские расходы, которые они и тратят с немалым удовольствием. Сегодня я тебя угостил, завтра — ты меня.

Вспоминаю такой случай. Еду в последней электричке, читаю японский журнал. Тут ко мне обращается сильно подвыпивший человек (перевожу с пьяненького японского на такой же русский): «Ты чё журнал держишь, по-японски кумекаешь, что ли?» Отвечаю вежливо, но с некоторым недоумением и даже прохладцей (японцы, даже пьяные, с незнакомцем заговаривают в транспорте нечасто): «Да, читаю и, как слышишь, разговариваю». — «Ну, ты молодец! А я домой еду. Видишь, я сытый-пьяный какой?» Тут он вываливает самую важную информацию: «Ты думаешь, я на свои гуляю? Не-ет, на представительские».

Видимо, мой попутчик только-только добрался до уровня, позволяющего ему получать эти представительские, и с назойливостью неопита решил похвастаться своим достижением перед этим красноносым (именно так — с огромным красным носом — японцы частенько изображали первых увиденных ими европейцев). Перед своими-то что похваляться? Представительские — они почти что у каждого, кто в настоящий возраст вошел.

На закуску же скажу, что даже к мясу японцы нашли свой подход — только чтобы ножа на столе не было. *Сябу-сябу* — изобретение сравнительно недавнего времени; впрочем, поговаривают, что родиной его является все-таки Монголия. Говядина (а лучших бычков для нежности мяса даже пивом отпаивают, что уж вряд ли увидишь в Монголии) режется просвечивающими на свет ломтями и бросается в кипящий бульон с разными овощами и грибами. Срок готовности — минута-две. Вынимаете палочками этот ломтик, и он ввиду своей истонченности спокойно умещается у вас во рту. Не забудьте, конечно, обмакнуть его в плоску с сырым яйцом, размешанным с соевым соусом. А не то обжечься можно. Да и вкуснее так будет. Очень советую. С российскими ингредиентами тоже неплохо получается.

Алкоголь

ПЬЯНЫЙ В СОБСТВЕННОМ
АВТОМОБИЛЕ: БЕЗ СТРАХА
ЗА ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА



К алкоголю японцы относятся вполне терпимо. Это вам не нынешняя белая Америка, где рассчитывающий на общественное признание человек на званом вечере не осмелится не то что пропустить рюмочку, но просто взять ее в руки. Если же он и не прочь «оттянуться», то сделает это потом, по возвращении домой. Нет, японцы здесь совершенно не двоедушны. Приезжая в Россию, они абсолютно не осуждают наших подгулявших молодцов, предъявляя к ним одно-единственное требование: не пить в рабочее время. Поэтому памятная поколению постарше антиалкогольная кампания Горбачева производила на них убийственное впечатление. Считается, что распитие алкогольных напитков — личное дело каждого. Желательно, чтобы наутро голова не болела. И не буянить! И с этим — уже довольно строго.

Современный индустриальный мир вообще-то с алкоголем потихонечку завязывает. Здесь и забота о здоровье, и всеобщая моторизация населения. Даже во Франции с Италией выпивать меньше стали. Тем не менее они перепивают японцев больше чем вдвое. Зато у японцев все-таки пока положительная динамика выпивания.

В связи с этим и отношение к пьяным в самой Японии весьма терпимое. Несмотря на то, что на вечерних улицах города встречаешь немало крепко подвыпивших людей, вытрезвителей как таковых в этой стране не наблюдается. Правда, удалось мне узнать про одно исключение. В курортном городке Ондзюку власти, утомленные чересчур шумными отдыхающими, решили так:

если уж ты совсем на ногах не стоишь, забирать в полицейский участок. Там тебя снимут на видеокамеру и будут утром укоризненно демонстрировать вечернюю запись со словами: «Ну нельзя же в самом деле напиваться до такого свинячьего безобразия!» Но денег «за ночевку» не возьмут. Да и лишнее это — для японца хуже нет, чем смешным показаться. Так что такое наказание и без того считается строгим (про преступления и наказания — в последней главе).

Терпимы не только власти, но и среднестатистическое население. Правда, и алкоголь на японский организм все-таки другое впечатление производит. По преимуществу — сильно усыпляющее. Ну не тянет японца на подвиги, что ты тут поделаешь. Завтра на работу все-таки...

Один мой знакомый сдавал экзамены для поступления в очень известную фирму. Лицо у него устроено очень откровенно: всякому тут же видно, что выпить он совсем даже и не против. Не осталось это незамеченным и для его экзаменатора. И тут без всяких наводящих вопросов и околичностей он спросил: «Выпить любишь?» Мой знакомец отвечал честно и утвердительно. Дальше последовал еще один вопрос — на сей раз количественного свойства: «А сколько за один раз “поднять” можешь?» Сбравшись с силами и прикинув свои возможности на умственных счетах, экзаменуемый отвечал: «Под хорошую закуску литр сакэ усижу». Решение было принято незамедлительно: «Будешь у нас работать на селе».

Фирма торговала фотоаппаратами, а уж крестьянин «без разговору» под «это самое» никакой такой диковинки, конечно же, не купит. Было это довольно давно. Сейчас, наверное, знакомый мой поседел и компьютерами таким же манером торгует.

Сам я был свидетелем такой замечательной сцены. Поздняя полупустая электричка. Некий японский джентльмен мирно почитывает газетку. Рядом с ним — другой японец, находящийся, мягко говоря, «не в форме». Принять вертикальное положение — даже сидя — он не в состоянии. И потому с периодичностью в тридцать секунд валится на колени своего попутчика, подминая своим весом его колени и газетку, которой тот весьма увлечен.

Ваши действия, товарищ? Вариант первый, агрессивный: скандалить и пихаться. Вариант второй, миролюбивый: отсесть. Что же делает джентльмен? Находясь на прежнем месте, методично возвращает соседнее тело в исходное сидячее положение. Повторяю: с периодичностью в тридцать секунд. И не говоря ни одного худого слова.

Естественно спросить: а что же японцы из напитков уважают? Их нынешняя алкогольная культура стоит на трех китах: пиво, виски и сакэ. К вину (как сухому, так и крепленому) все-таки японцы не приучились. Почему-то входит оно в противоречие с местными вкусами.

Легко заметить, что первые два напитка были заимствованы японцами с Запада. Традиция пивоварения была взята прямиком из Германии, и потому японское пиво, которое они начали производить в 1873 году, действительно очень вкусное. Но без местной специфики все-таки не смогли обойтись — рис в пиво добавляют. Из 8 литров чистого алкоголя, приходящегося на каждую душу населения старше 15 лет, две трети приходится именно на пиво. Сортов много, больше 150, производителей — тоже, но главных все-таки всего три: «Саппоро» (в переводе не нуждается), «Асахи» («Утреннее солнце») и «Кириин» (животное такое из китайской сказки — нечто вроде единорога). И из всех мыслимых алкогольных напитков в Японии растет только потребление пива, обеспечивая общую положительную динамику алкогольной статистики. Довольно устойчиво — 3–5 процентов в год. И на его питии не сказываются никакие стагнации, спады потребления и иные экономические передряги.

Виски было занесено из Америки. Способ его употребления покажется нашему человеку, безусловно, странным. В стакан совершенно нормальной вместимости наливается на полпальца виски, весь же остальной объем заполняется содовой и льдом. Крепость такого, с позволения сказать, «напитка» — градусов десять (а то и меньше), то есть, с точки зрения российского человека, стремительно приближается к абсолютному нулю.

Тем не менее не отличающиеся особенной стойкостью к алкоголю японцы «косеют» и от этого (многие из них генетически «запрограммированы» так, что у них не хватает фермента, нужного для расщепления алкоголя). Опьянев, они того совершенно не стесняются и лезут к посторонним с самыми добродушными разговорами. Намного большее стеснение испытывают те (и таких по неведомым мне физиологическим причинам насчитывается достаточно много), кто после мизерной дозы почему-то краснеет, становясь похожим на свежесваренного рака. Казалось бы — ну выпил человек немного, ну покраснелся... Нет, этого стесняются. Говорят: нет, я не пью, потому что краснею. Странные люди все-таки.

Долгое время виски (особенно иностранное) считалось прекрасным подарком. Приличным было дарить «Джонни Уокер». Причем непременно с черной этикеткой. То есть которое подоро-

же. Некоторое время тому назад произошло изменение в налогообложении. «Джонни Уокер» сильно подешевел. Его производитель потирал своими шотландскими ручками — сейчас, мол, работаем. Но не тут-то было — никакого увеличения продаж не произошло. Напиток перестал быть престижным, и дарить его перестали, хотя, конечно, он и сейчас намного дороже сакэ. Так, стандартный «огнетушитель» сакэ (1,8 литра) стоит начиная от двух тысяч йен, а тот же «Джонни Уокер» (0,7 литра) — за три зашкаливает.

Сам же японский человек, для себя самого, пьет все-таки не виски, а чаще всего сакэ.

Теперь о нем — самом древнем (и почти что единственном) алкогольном напитке местного происхождения. Делается он, как известно, из риса. Или скажем более осторожно, — должен делаться, ибо около 20 процентов его в настоящее время делают из смеси спирта, воды, сахара и пищевых добавок. Но, разумеется, не про этот «сучок» идет речь. Хотя все-таки интересно, что японцы не пошли здесь за немцами или французами, которые законодательно запретили искусственным образом имитировать свои национальные напитки — пиво и сухое вино. Так что есть еще и у японцев простор для развития национальной идеи.

Чтобы не томить готового к самостоятельным действиям читателя, расскажу, как делается настоящее рисовое сакэ. Не вникая, разумеется, в детали, которых так же много, как и самих сортов сакэ, производимого двумя тысячами компаний.

Самым подходящим для сакэварения временем традиционно считается зима — когда не так жарко и легче уследить за процессом ферментации. Для приготовления сакэ берут крупный рис и обрушивают его. Причем в результате от первоначального количества может остаться совсем немного. В случае приготовления самых элитных сортов — всего тридцать процентов, обычно же — около семидесяти. После этого рис промывают, замачивают, а потом подвергают воздействию пара. Около четверти подготовленного риса идет на создание закваски, которую остужают до 30 градусов, а потом в течение приблизительно 35 часов выдерживают в жарком и влажном помещении — чтобы внесенная туда грибковая культура (для любителей острых лингвистических ощущений привожу ее латинское название — *Aspergillus oryzae*) чувствовала себя вполне комфортно. Затем получившееся сусло смешивают с дрожжами и пропаренным рисом и все это заливают водой. Процесс ферментации занимает около трех месяцев. Потом очищают, фильтруют и пастеризуют.

По экстраполяции у нас частенько считают, что сакэ — это водка, только не из пшеницы или ржи, а из риса. Это, конечно, совсем не так. Обычная крепость сакэ — 15–16 градусов, и более всего оно напоминает самодельную брагу. Но и это — еще не нижний предел. Во время последней войны и сразу после ее окончания, когда население получало сакэ (как и многие другие продукты) по карточкам, оно было настолько разбавленным, что остряки величали бутылки с ним «аквариумом», имея в виду, что любимые японцами рыбки могут без всякого ущерба для здоровья бороздить эту жидкость.

Самое первое упоминание о сакэ встречается в мифе, повествующем о том, как бог ветра и бури Сусаноо победил дракона. Этот дракон на манер своих европейских собратьев имел обыкновение брать себе в жены хорошеньких девушек без их согласия. Родители одной из них сильно по этому поводу опечалились, и тогда Сусаноо решил им помочь. По его указанию перед каждой из восьми голов дракона поставили по бочонку сакэ, и когда во всех этих восьми головах зашумело, Сусаноо их отрубил, прекратив безобразия.

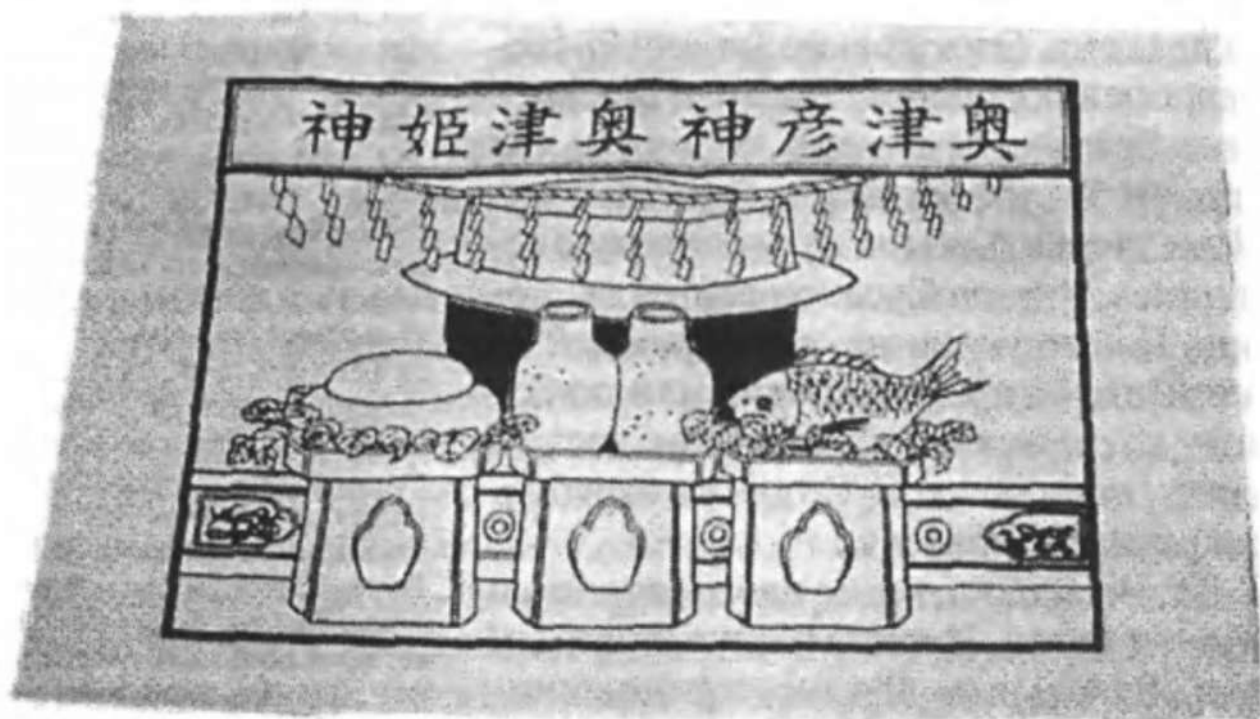
Так что сакэ ведет свое начало со времени богов. И потому служит самым употребительным для них приношением. Памятуя о мифологических временах, синтоистские храмы были в древности основными производителями этого напитка. И в каждом храме изготавливали свой сорт (каковая традиция сохраняется и сегодня), которым очень гордились. А поскольку богов в Японии великое множество, то каждого и угощали его любимым сортом.

И вот спустился Сусаноо с Неба на равнину Идзумо, около верховьев реки Хи-но Кава. И услышал у верховьев рек чей-то голос, будто кто-то рыдает. Пошел он разузнать, что за голос, и увидел старика и старуху, а между ними девушку. Вопросил тогда Сусаноо: «Кто вы такие? Почему так рыдаете?» Старец ответил: «Эта девица — моя дочь. Зовут ее Куси-инадахимэ. Раньше у меня было восемь дочерей, но каждый год Великий Восьмиголовый-Восьмихвостый змей пожирает по одной из них. Теперь он собирается проглотить мою последнюю дочь»... Тогда Сусаноо велел изготовить восемь раз перебродившее сакэ, сделать восемь подставок, поставить на каждую по бочке и налить доверху сакэ. И вот наступил срок, и явился Великий змей. И голов, и хвостов у него было по восемь. Глаза у него были красные, на спине росли сосны и кедры, длиной он был в восемь холмов и восемь долин. Вот добрался он до сакэ, опустил в каждую бочку по голове, стал пить, охмелел и уснул. Тут Сусаноо вытащил меч десяти кулаков, что был у него за поясом, и стал рубить змея на кусочки.

Перевод
Л. М. Ермаковой

До сих пор в синтоистских храмах обязательно присутствуют целые горки оплетенных рисовыми веревками бочонков, на которых написано, что в них хранится самое лучшее и чистое сакэ. При этом указано, что поднесено все это храму каким-нибудь Накамурой. Возникает естественный для русского человека вопрос: и неужели вот это все они (божества и настоятели) выпьют? Во-первых, выпивают, и довольно много. К тому же на самом-то деле довольно часто оказывается, что Накамура вполне по-современному пожертвовал храму деньги. Но намного приличнее — если будет указано, что сакэ.

Кстати говоря, и многие буддийские храмы тоже к производству спиртного относились вполне положительно. Только готовили они его по китайским рецептам — из пшеницы, да с долгой выдержкой (3—5 лет), и оттого получалось оно покрепче. Европейские и православные монастыри тоже, как известно, своими винокурнями были славны. Что и говорить, божественный напиток — он и есть божественный.



Подношения богам

Угощали сакэ и покинувших этот мир. Ведь умирая, человек превращается в божество, которому его потомки обязаны поклоняться и совершать правильные приношения. И сегодня тоже — угощают по-прежнему. Частенько уже и совсем по-современному — из «жестянок» с пивом или с тем же самым сакэ, которые ставят у могил.



В прошлом пили сакэ, конечно же, не так, как сейчас, — когда в голову взбредет, а исключительно по праздникам: отсеялись или, скажем, урожай собрали. По обычаю, человек не должен был сам себе наливать во время пира — обязательно дожидался соответствующего предложения от соседа. Если же у него на дне хоть капелька еще оставалась, обязательно чарку опрокидывал и тогда уже для наливания предъявлял. Делал маленький глоточек и после того уже своему благодетелю таким же образом угождал.

Пир — это всегда радость, с другими людьми разделенная. Поэтому на пиру часто ставили на одну рюмку меньше, чем гостей за столом. Хочешь не хочешь, а с кем-нибудь да поделишь. Ну или вообще — вкруговую чашу пускали. Это, конечно, не новость. Братине в любой этнографии почетное место находится.

Был еще один замечательный способ потребления сакэ. Древне-средневековый.

Вот как это по весне делалось. Испытуемый сидел на камушке у ручья. Человек, располагавшийся сверху по течению, выкрикивал ему тему, на которую он должен был сочинить стихотворение. Одновременно пускали по воде деревянную чарку с сакэ. За то время, пока она до тебя плывет, нужно было успеть сложить стихотворение. Успел — выпиваешь, не успел — вина не наша, шанс у тебя был. Обычай этот — китайский, но и японцам тоже очень ко двору пришелся, потому что из заграничной жизни они всегда старались научиться только хорошему....

Как нетрудно догадаться, японские поэты воспевали не только природу, но и сакэ тоже. Знаменитый поэт VIII века Отомо Табито сочинил целый цикл из тринадцати стихотворений. Ну вот, например:

Как же противен
Умник, до вина
Не охочий!
Поглядишь на него —
Обезьяна какая-то...

Другой источник — на сей раз X века — повествует о соревновании, устроенном при дворе (тогда такие конкурсы были очень в ходу: кто стихотворение лучше сложить сумеет, у кого букет самый красивый, кто угадает, какое благовоние ему понюхать дали, ну и так далее). Так вот, на сей раз восемь мужей (вплоть до одного члена Императорского Совета) собрались для того, чтобы выявить победителя в питейном деле. Пили не по привычной чарке, а сразу большими чашами. В судьи выбрали бывшего императора, который к этому времени уже успел принять монашество (это было в порядке вещей: посидел на троне — дай и другим) и потому оказался совершенно свободен от дел большой государственной важности. Все участники конкурса отвалились после седьмой-восьмой чаши (включая, разумеется, и уважаемого члена Императорского Совета), и только славный гвардеец Фудзивара Ико



Конкурс винопития

из охраны дворца продолжал винопитие в полном одиночестве, пока не опрокинул десятую чашу. Тут голубая кровь бывшего императора закипела, но сказал он — очень по-японски и по-мужски у него вышло — только одно слово: «Хватит». И присудил победителю доброго коня.

Выигравшему же другой подобный конкурс (теперь уже в XVII веке), в котором участвовал тридцать один человек (одному из них было, правда, всего одиннадцать лет), присудили почетное прозвище «Горный дракон». А дракон, как известно, — символ всяческого геройства и мужества. Все-таки замечательно, с каким тщанием японцы регистрировали важные события в истории своей жизни.

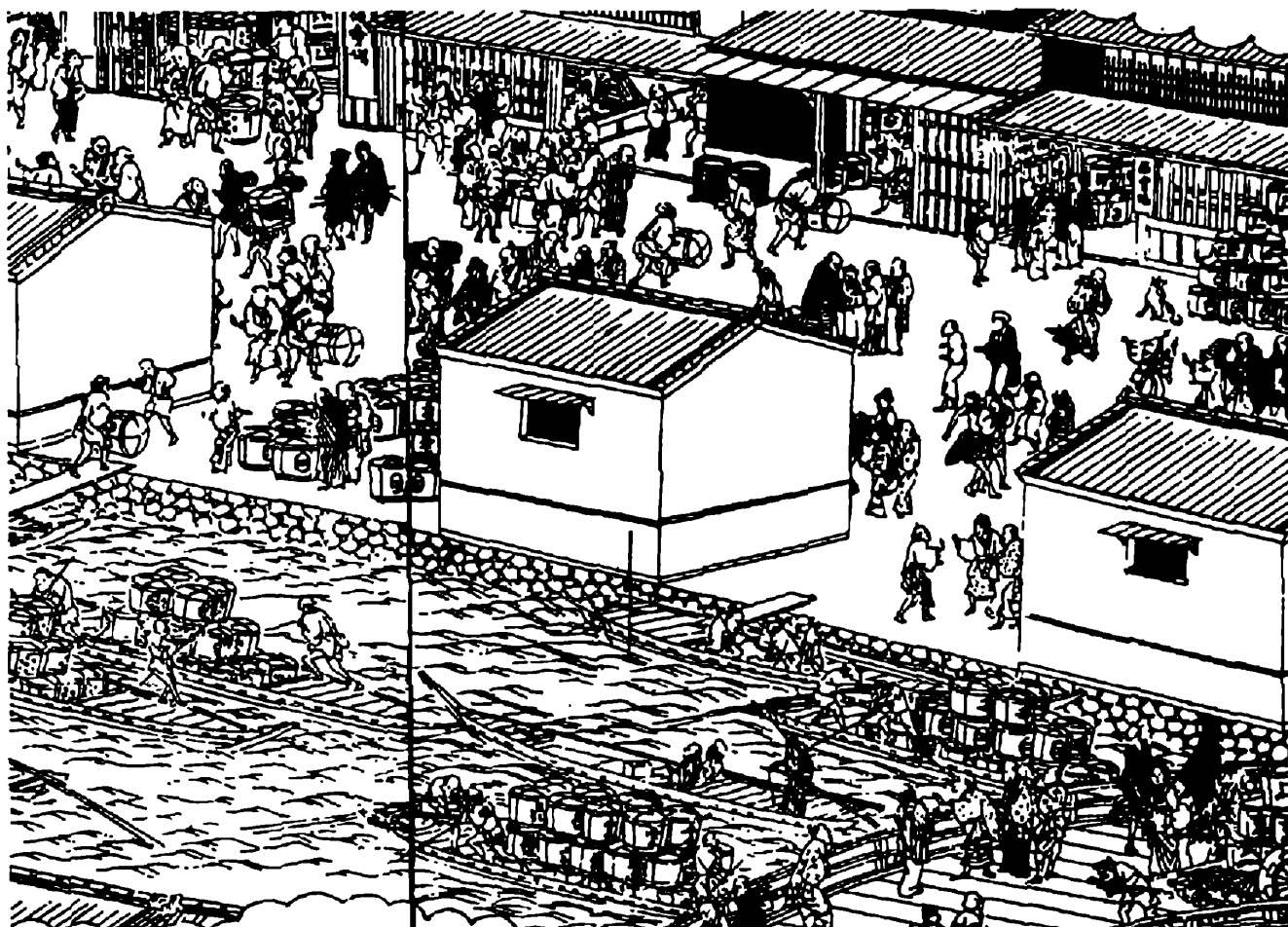
Европейцы XVI века тоже обращали свое просвещенное миссионерское внимание на увлечение японцев спиртными напитками. Один из них писал: «Свое сакэ японцы круглый год пьют подогретым. Для питья же употребляют деревянную или же глиняную посуду. При этом всячески друг друга подзадоривают и напиваются до блевотины и почти что до беспамятства».

Сакэ не только пили по-разному, но и очищали тоже. Традиционно лучшей считалась очистка с помощью золы. Рассказывают, что этот способ был изобретен совершенно случайно. Будто бы жил-был у некоего господина Яманака слуга. И очень они друг с другом не ладили. И вот однажды этот слуга, чтобы насолить своему хозяину, набросал тому золы в бочонок с сакэ. Хотел навредить, а оказалось, что сакэ стало и вкуснее и чище. Так что Яманака в город перебрался, винокурню свою открыл и очень разбогател.

Однако, несмотря на все ухищрения сакэделов, содержание сивушных масел в напитке остается высоким. Ведь это продукт брожения, а не возгонки. Так что не советую особенно увлекаться им, хотя оно и прекрасно «идёт» под японскую кухню (особенно,



Емкости для подогрева и хранения сакэ



Разгрузка сакэ в порту Эдо

говорят, хороша малюсенькая полуживая рыбка, продвижение которой по пищеводу вы ощущаете по ее трепыханию). В противном случае наутро не исключен похмельный синдром, от которого и в самой Японии ничего толком не придумано. Ну, пиво там, или чай — чем больше, тем лучше. Это и мы проходили.

В средневековье сакэ хранили в бочонках, сработанных из японской криптомерии — именно потому, что ее древесина принимает на себя изрядную часть сивушных масел. Особенно чистым (и дорогим) считалось сакэ, которое проделало путь от знаменитых винокурен района Осака до Эдо (Токио). За время путешествия на лошадках или морем оно хорошенько взбалтывалось и приобретало особый аромат. Корабли даже гонки устраивали — кто первым до Эдо доплывет. А в лавках появлялись бочонки, на которых было указано: «Сакэ с первого корабля».

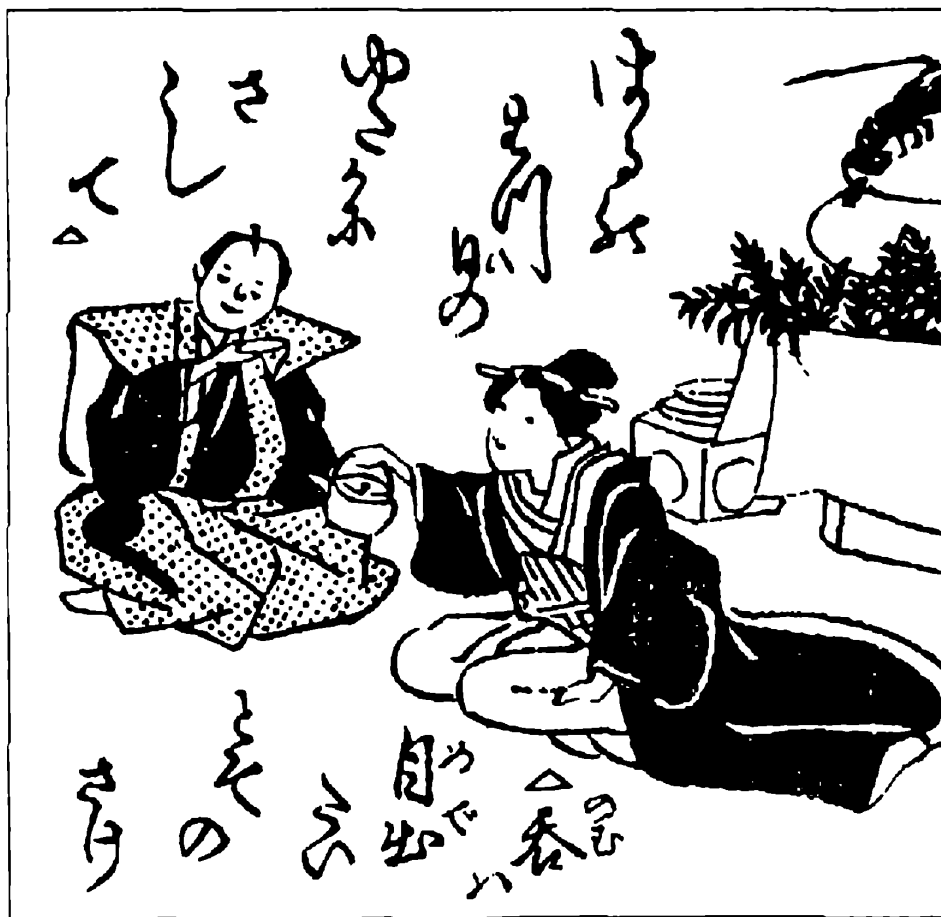
Надо сказать, что выпивали в Эдо очень даже прилично. Выходило около 70 литров в год на каждую душу — всякого пола и возраста (нынешний среднеяпонский показатель по сакэ будет поменьше — 15 литров). Оно понятно — в Эдо находилось одновременно до пятисот тысяч приезжих самураев, семьи которых остались дома (о причинах такого количества командировочных

написано в главе про путешествия). А командировочный он и есть командировочный — за девушками ухаживает и вино попивает.

Хотя сакэ употребляют и холодным, но более принято все-таки питье подогретого. Потому и приближение зимы вы ощущаете по нарастающей агрессивности рекламы горячего сакэ. И вправду — выпив, сразу чувствуешь, как горячая волна начинает перекатываться по всему телу. Емкости при этом предлагаются наперсточные — керамическая стопочка граммов на тридцать, которая пополняется из небольшого графинчика, предварительно подогретого вместе с содержимым в кипятке. Графинчик, естественно, может быть и не один.

В питии подогретого сакэ есть не только гастрономический смысл. Дело в том, что в процессе разогрева частично испаряются сивушные масла, от которых как раз и трещит голова.

Ну, а где пьют японцы? Во-первых, пить совершенно спокойно можно и дома. По-японски даже существует особое слово — *бансяку*, которое означает: «домашний ужин, сопровождающийся выпивкой» (как говорится, «на сон грядущий»). Более конкретно — мужчина возвращается домой, а жена подносит ему не только ужин, что естественно (и с этим строго), но и выпивку, что по



Сакэ в домашней обстановке

нашим понятиям — ни в какие ворота: в одиночку (супруга-то обычно только подносит), из рук жены... Нет, как-то это странно. Получается, что нормальный японец пьет чуть не каждый день из рук своей жены, и она при этом ничуть ему не выговаривает. Впрочем, она твердо знает, что муж на работе и вправду устал и что завтра ему снова на работу, на которой он снова устанет. Почувствуйте разницу. Так что алкоголиков в Японии не так уж и мало, но алкоголизм этот какой-то вялотекущий.

Вариант второй: потребление напитков в «заведении». Здесь есть много возможностей. И заведений много, и способов потребления много. Наиболее распространенным является распитие в компании сослуживцев — похоже на нас и потому не так интересно. Впрочем, разговоры в такой компании — не «за жизнь», а преимущественно о производственных проблемах и поднятии производительности труда, что еще не вошло у нас в окончательную моду. Слушать на самом деле довольно тошно, поскольку основным лейтмотивом являются сетования на глупость начальства. Привитая всем строем жизни привычка «не высовываться» работает и здесь — пить все будут одно и то же, не отвлекаясь на индивидуальные коктейли. Бешеный рабочий ритм, строгая иерархия отношений на производстве приводят к общей защемленности психики и необходимости «оттянуться» и взглянуть друг на друга под другим градусом.

Чокаться не принято. Не принято и произносить каких-либо цветистых тостов русского или грузинского типа. Лишь подняв бокалы (стаканы, стопки, рюмки и т. д.) в первый раз, люди дружно произносят «*кампай!*» (буквально «сухое дно»), на чем официальная часть ужина может считаться законченной. Дальше уже — по потребности, а не до «сухого дна». Если же кто-то и «перебрал», назавтра никто на это ему не укажет. Дело житейское, с кем не бывает.

Хорошенько (и даже не очень) выпив, компания японцев почти непременно начинает петь. Как и во всем остальном мире, голоса и слух участников такой компании бывают самыми разными. Так что особого эстетического удовольствия от этого хорового пения не испытываешь. Но вот что удивительно: довольно твердое знание слов исполняемых песен. Если же со словами выходит заминка, то в заведении почти непременно имеется песенник, который поможет вам с честью дотянуть песню до победного конца. Существует еще входящее и у нас в моду караокэ, когда под твою песню в телевизоре показывают соответствующую видеокартинку, а под ней титрами бегут слова.

Еще можно выпивать недопитое в прошлый раз. Скажем, взял бутылку того же виски. Выпил сто граммов. И пошел домой. А остальное под твоей фамилией — скажем, Ямакава — остается на полочке за стойкой. Хотя через десять лет приди — будет стоять на том же месте. Особенно предусмотрительные могут располагать уже оплаченными запасами спиртного сразу во многих заведениях. Иной раз можно спокойно бродить по городу, пропуская по рюмочке в каждой такой «точке».

Это, конечно, вполне экзотический способ сохранения горячительного. Мы его не знаем, и вряд ли он хоть когда-нибудь будет пользоваться у нас популярностью. По совершенно понятным причинам. Исключительно по праведному незнанию своего юного организма и условий его постоянного обитания однажды я все-таки совершил попытку воспользоваться чужим опытом.

Мне с моим советским (тогда) напарником по японскому университетскому общежитию эта идея откладывания (чуть не сказал «отливания») на черный день очень понравилась. Заходишь — и без всяких денег тебе обеспечен некоторый уровень культурного отдыха. А нам тогда очень вермут по молодости лет нравился. Зашли. Взяли бутылку. Думали хотя бы на донышке оставить, но чувство национальной гордости не позволило. Выпили. Взяли вторую. Намерение было самое благородное — отпить чуть-чуть и на полочке свою фамилию оставить. Для внуков. Чтобы не забыли, как дедушку звали. Еще, помню, препирались, бутылка чьего имени храниться там будет. Но и вторая попытка окончилась с тем же результатом. Допили мы и эту бутылку и больше уже судьбу не испытывали. Да и зачем? Мы и без этого вполне счастливы были. Опять же, наверное, по молодости.

С японцами, однако, не так: оставляют. Бывает, что и на год. Бывает, что и дольше. То есть «тормоза» у них покрепче будут.

Для тех же, у кого тормоза все-таки отказывают, да еще если прибыли они к месту действия на собственном автомобиле, придумана замечательная услуга. Очутившись не в самом удобном положении подвыпившего человека, которому предстоит добираться домой на личном транспорте, вы можете позвонить по известному телефону и вызвать специального человека, который сядет за руль вашего авто и доставит вас прямо в объятия заждавшихся родственников.

Стоит, конечно, недешево, но все же дешевле такси плюс стоимость ночной парковки, которая и вправду чрезвычайно высока. Не говоря уже о ночи в гостинице.

Дороги и ночлег в пути

ПУТЕШЕСТВИЕ БЕЗ ТАПОЧЕК



Общественный транспорт в Японии обездвиживается довольно рано — между одиннадцатью вечера и полночью. И перед загулявшими особями мужского пола во весь рост встает проблема доставки домой тела, утомленного работой и неумеренными развлечениями. Проблема разрешается двояким способом: или ты берешь такси, или останавливаешься в гостинице. И то и другое весьма недешево. Такси очень дорого потому, что цены на него (как и на весь транспорт) напрямую регулируются государством, так что никто не имеет права не только повысить расценки, но и понизить их. Так что непривычного к местным порядкам седока приводит в шок уже только одна плата за посадку (больше шести долларов за то, чтобы водитель открыл дверцу и ты мог проехать чуть больше километра). А гостиницы дороги, потому что все дорого.

Японский сервис — безусловно, самый лучший в мире. И сравнительно недавно — лет десять назад — он откликнулся на этот «полуночный вызов» новой услугой. Появились «капсульные отели», которые сразу приобрели широкую известность благодаря своей фантастической дешевизне (по японским, конечно, меркам). За сумму, эквивалентную 30 или 40 долларам, вам предоставляют нечто похожее на ячейку в автоматической камере хранения багажа. С той лишь разницей, что вы помещаете туда не багаж, а самого себя. То есть получаете спальное место, оснащенное постельными принадлежностями, будильником, светильником и радиоприемником с наушниками. Встать в полный рост нельзя. Оттуда можно только выползти. Душ и туалет — «в кори-

доре», то есть за занавеской, отделяющей запоздалого гуляку от внешнего мира.

Это, конечно, экстренный вариант, которым пользуются по преимуществу молодые и не привыкшие к излишнему комфорту люди. Тем не менее — до этого же додуматься надо было! А такая сообразительность воспитывается только вековыми тренировками.

Первые сведения о такой услуге, как предоставление ночлега путешествуящим, относятся к VIII веку. Именно тогда Японское государство впервые вошло в большую централизованную силу и потому решило всю страну опутать сетью дорог. Чтобы налоги поскорее в столицу доставлять, чтобы указы веселее по стране бегали, чтобы в случае чего армию можно было поставить «в ружье» (или же «в копье») и чтобы самим себе «большими» казаться, чтобы все как в Китае было, на который японцы посматривали со смешанным чувством восхищения и ужаса (вдруг нападет?).

А в Китае о ту пору с дорогами было все в порядке — 120 тысяч километров их проложили. Да каких! До 70 метров в ширину. Правда, больше половины из них сооружалось с одной-единственной целью — чтобы «сын Неба», то есть император, мог страну с генеральной инспекцией объезжать.

Сказано — сделано. Японские дороги были проложены. Целых семь. Начинались они в столице, на юге доходили до Кюсю, на севере немного не дотягивали до северной оконечности самого Хонсю. Реками же государство пренебрегло и речными транспортными путями почти что не занималось. По той простой причине, что японские речки скатываются с гор к Японскому морю и к Тихому океану как с двухскатной крыши. Короткие они у японских богов получились, мелкие и быстрые — далеко по ним не уплывешь.

Народ роптал, но дороги строил. Судя по всему, весьма неплохо. Не асфальт, конечно, но все же. Шириною до Китая не дотянули, но метров по десять выходило. И были они совершенно прямыми. Как и всякое государство, которое лелеет какую-нибудь несбыточную мечту (например, догнать и перегнать Великую Китайскую империю по грандиозности), японские бюрократы обожали прямую линию и такой же угол.

Из столицы Нара до острова Кюсю за пять дней по этим самым прямым дорогам добирались гонцы с указами (сам-то японский государь преспокойненько в своем дворце пребывал и никуда — по ритуальным соображениям — не выезжал). А чтобы им было где лошадей переменить и дух перевести, через каждые шестнадцать километров построили почтовые дворы. Нарочные и

чиновники, отправлявшиеся к месту службы, там и ночевали. Лошади, естественно, были казенные, на станциях их меняли и давали корм.

Людам же с улицы, покинувшем свой дом не по государственной нужде, ни за какие деньги переночевать там было нельзя. Строго-настрога запрещено. Точно так же, как и тем бедолагам, которые обозы с налогами сопровождали. В чистом поле ночевать приходилось. А чтобы самозванцев не развелось, чиновники снабжались специальными колокольчиками, удостоверявшими их принадлежность к государевой службе.

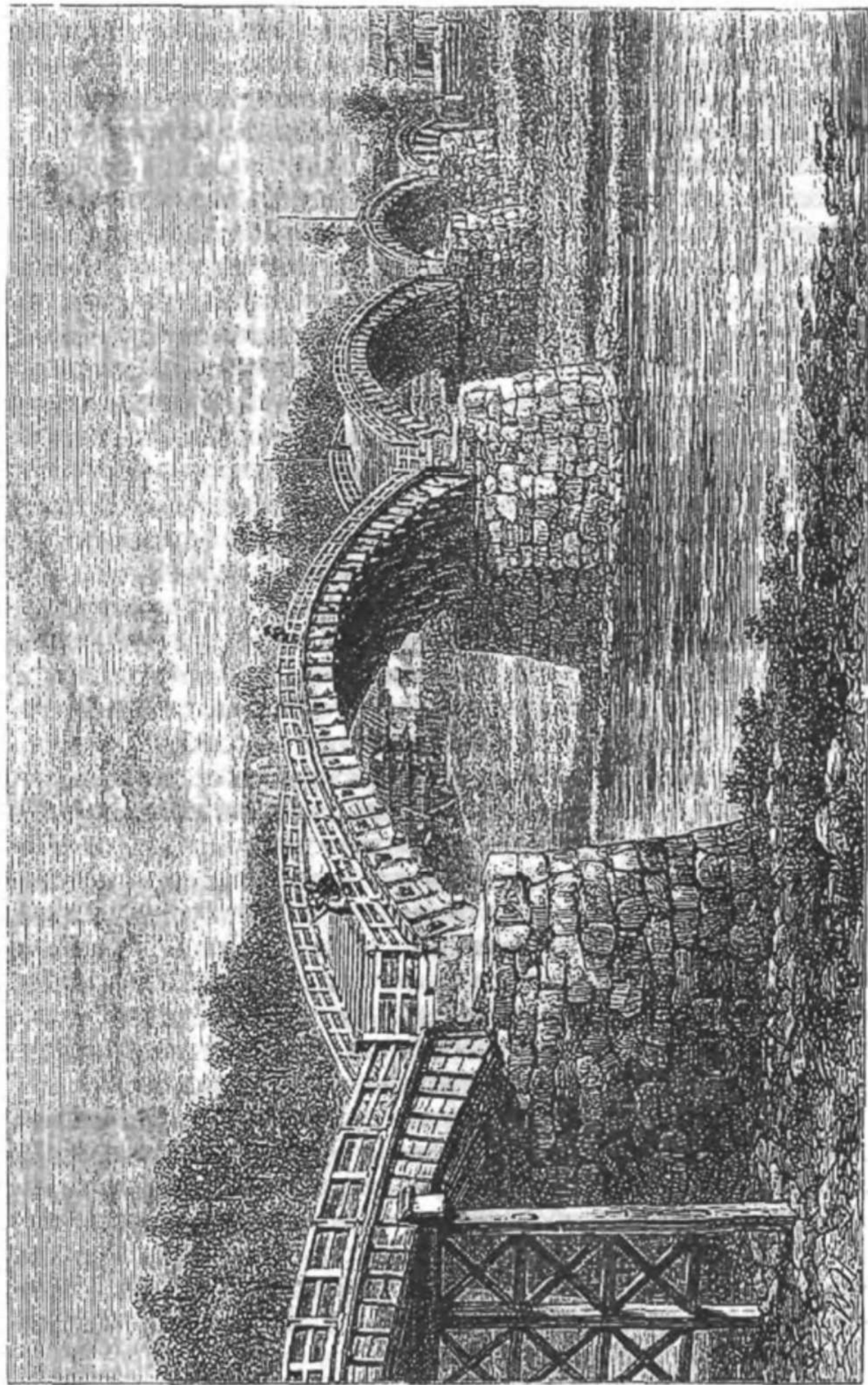
Поскольку путешествия сопровождались такими сложностями, то сердобольные буддийские монахи протянули путникам руку помощи — про Гёги, знаменитого монаха VIII века, известно, что он построил девять приютов для тех, кто нуждался в ночлеге. С тех пор ночлежные дома при буддийских храмах стали делом обычным. И даже сегодня в некоторых буддийских храмах можно переночевать.

Что до почтовых станций, то дороги, на которых они стояли, довольно быстро стали зарастать буйными японскими сорняками (как это обычно и бывает с чересчур много думающими о себе государствами, не желающими даже денег за постой брать). И хотя указы продолжали издаваться вполне регулярно, возили их все медленнее и медленнее. Точно так же, как и налоговые поступления. Да и сами почтовые дворы сначала пообветшали, а потом и совсем исчезли. Нормальное бездорожье настало. На дворе стоял десятый век.

Население смотрело на это запустение вполне равнодушно. Куда по этим дорогам доедешь? Ведь проложены они были по прямой линии, совершенно не имея отношения к населенным пунктам.

Однако эти дороги на всю последующую жизнь влияние все-таки оказали. В очень многих случаях именно дороги были той стартовой (и совершенно прямой) чертой, откуда начиналась раздача рисовых полей. Именно поэтому они оказались нарезаны такими аккуратными прямоугольничками. И это — уже на всю японскую историю так и сохранилось.

И вот приходилось чиновникам Хэйана к своим дальним резиденциям-офисам не ездить с ветерком, а пробираться, останавливаясь у кого-нибудь «на квартире», а то и просто в лесу. Для них, привыкших к столичному комфорту, назначение в провинцию казалось чуть ли не ссылкой. Они в то время совсем изнежились и путешествовать разлюбили. И казалось им намного



Мост в провинции Суво. С гравюры XIX в.

сподручнее не выезжать «на природу», а устроить сад возле самого дома и по нему уже наблюдать, как одно время года другое сменяет. В самой же столице транспортным средством служили повозки, запряженные волами. Передвигаться в них было очень медленно, но зато престижно.

Даже когда в XVII веке после долгого перерыва появилось наконец другое строгое правительство — сёгунат Токугава, оно особо дорогами не занималось. Не до них было: проституток развелось, понимаешь, самураи в бане подрались. До всего сёгунам дело было. К тому же они настолько опасались несанкционированного передвижения войск из многочисленных княжеств (длительные междоусобицы только-только закончились), что и улицы даже в самом Эдо, где располагалась их ставка, распорядились по возможности зауживать — чтобы потенциальному противнику в них было не разгуляться. А что самим не слишком ловко было поворачиваться или горожанам — это ладно, можно и потерпеть.

Поэтому и самые оживленные тракты в период Токугава не превышали в ширину трех—шести метров и были рассчитаны прежде всего на пешее передвижение или езду в паланкине (правда, придорожные камни с высеченным на них объяснением, сколько до какого пункта японских верст осталось, ставились регулярно). И, в отличие от Европы, несмотря на близость гор, плотно камнем не мостили: боялись землетрясений.

С обильными японскими дождями передвигаться по этим проселкам было не самым приятным занятием. Правда, по обочинам были высажены деревья, а участок одной дороги все-таки вымостили камнем. Но вышло очень неудачно, потому что дорога вела через перевал, а сделали ее прямой. Так что носильщики паланкинов за спуск больше брали, чем за подъем. Уж больно круто и скользко получилось. А лошадям там вообще делать нечего было. Словом, ввиду убогости дорог и сложностей рельефа постоянное употребление колесных экипажей было невозможно.

Дорогами правительство Токугава сознательно пренебрегало, а вот с гостиницами дело обстояло много лучше. Дело в том, что еще века с двенадцатого распространилось паломничество к святым местам, то есть к наиболее знаменитым храмам, которые располагались, как правило, в горах (японцы считали, что их божества обитают именно там). Путешествующих было много — вот и появились нормальные постоялые дворы — с постельными принадлежностями и горячей кормежкой.

Не всякий, конечно, мог себе позволить такое путешествие: дом, семья, хозяйство. Поэтому деревня выбирала кого-то в гон-

цы, скидывалась и провожала в путь. Паломник тщательно записывал, кто ему сколько денег дал. Кроме того, что он должен был за каждого селянина помолиться, в его обязанности входила доставка какого-нибудь амулета. Особенно популярны были паломничества в родовой храм правящего императорского рода в Исэ (нынешняя префектура Миэ).

При сёгунате Токугава все стало происходить очень организованно. Для фельдъегерской связи была создана система почтовых станций. Количество обслуживающего персонала постоянных дворов, а также лошадей определялось, как то и положено, специальными распоряжениями. Принцип был такой: сколько лошадей, столько и людей. В зависимости от оживленности дороги их количество было разным. Выходило от двадцати пяти до ста. Сёгунские гонцы лошадей получали бесплатно. Частным же лицам приходилось раскошелиться.

С лошадьми в это время сложилась ситуация непростая. В связи с мирным временем и дефицитом пастбищ поголовье лошадей в Японии стремительно уменьшается. И в это время местное сельское хозяйство начинает отвечать идеалу последователей Толстого — «ручников», которые не хотели по моральным соображениям скотину эксплуатировать. В Японии, правда, безлошадье к этическим категориям не относилось. Принцип тут был простой: когда воевать — тогда и коней пасти. А в остальное время политической истории они в Японии делались ненужными. Настолько, что даже основную часть фельдъегерских, а затем и почтовых отправок стали в результате доставлять менявшие друг друга совершенно пешие бегуны. Они передвигались со скоростью приблизительно десять километров в час — и днем и ночью.

Процветанию гостиничного дела сильно способствовало то, что сёгуны Токугава из-за опасений заговоров и всяческих центробежных безобразий ввели такое правило: семья каждого князя безотлучно пребывает в столице, а сам князь навещает ее раз в год в строго определенные сроки, причем время свидания составляло где-то около полугода. Если же во время нахождения по месту княжения в оставшиеся полгода он предпринимает



Почтальон

что-нибудь нелояльное, то может быть твердо уверен, что его жена с детьми находятся в надежных руках скорой на контрмеры власти. И не дай бог тебе по дороге в Киото завернуть туда, где император проживает!

Таких князей в то время в Японии было около трех сотен. Вот и тянулись они в Эдо со своими богатыми княжескими пожитками, многочисленной свитой и челядинцами. Процессия в несколько сотен или даже тысячу человек считалась делом вполне обычным. Поначалу доходило и до двух тысяч. Потом количество сопровождающих лиц было отрегулировано в сторону уменьшения. Точно так же, как и число лошадей в процессии. Только сам князь и его ближайшее окружение путешествовали конно или в паланкине, а остальные — пешком топали да с поклажей. При узости тех дорог процессии растягивались на несколько километров. Это если все шло нормально. (Для справки: при выездах сёгуна для молебна в свой родовой храм в Никко его свита могла превышать двести тысяч человек!)

Путешествие совершалось весьма степенно: даже если для князя оседлывали лошадь, ее вели под уздцы. Что до паланкина (*норимоно*), то он пришелся по вкусу не только князьям, но и европейцам. В описании одного из них устройство его выглядело следующим образом: «Норимоны — род каретных кузовов из тонких досок и бамбуковых тростей с окнами впереди и по обоим бокам над дверцами. В них можно сидеть свободно и даже лежать, поджав немного ноги. Внутри норимон обит хорошою шелковою материей и бархатом. В глубине его бархатный матрас, покрытый бархатным же покрывалом. Спина и локти покоятся на подушках; а сам сидишь на круглой подушке, в которой сделано отверстие. В передней части — полочки, куда можно поставить чернильницу, книги и тому подобное. Окна над дверцами опускают, если хотят впустить воздух, или закрывают занавесками и бамбуковыми шторами. Не знаю экипажа удобнее этого. Это род переносной комнаты. Чтобы устать, надобно просидеть в ней очень долго. Снаружи кузов покрыт лаком и украшен живописью. Над кузовом тянется шест, за который берутся носильщики. Число их сообразно с чином путешественника, не менее шести и не более двенадцати. Половина идет без дела, готовясь на смену несущим норимон».

При проезде князя люди попроще были обязаны кланяться ему до земли или становиться к паланкину спиной — как недостойные взглянуть на князя.

Каждому князю определили размеры процессии в зависимости от доходности его владений. Причем этот доход определялся



Переправа. С гравюры сер. XIX в.

своеобразно — по потенциальному урожаю риса, который он мог получить со своей земли. Можешь хоть бананы там выращивать, но будет считаться, что рис. А для исчисления этого теоретического урожая были проведены масштабные работы по определению плодородия имевшейся земли. Иными словами, был составлен земельный кадастр.

И каждому из людей в процессиях хотя бы раз в сутки требовалась постель и горячая еда. Для комфортности времяпрепровождения уж очень много людей в свите состояло. Разорительно это было для князей до крайности — бывало, деньги по дороге иссякали, и тогда нужно было дожидаться помощи либо из дому, либо от самого сёгуна, что для гордых князей было весьма унижительно. Уж лучше заранее денег у купцов призанять. Что, собственно, сёгуну и требовалось — на военные приготовления не оставалось ни времени, ни денег.

Правительство составило строгий график пребывания князей в своей ставке — чтобы, не дай бог, они по дороге не повстречались или не случилось неразберихи с лицензированной гостиницей, в которой им в пути надлежало останавливаться (их количество на дорогах, ведущих в Эдо, было установлено специальным указом). Да и вообще — мало ли до чего они между собой по дороге или

в гостинице договориться могли. Но накладки все-таки случались, и тогда оказывалось, что кому-то из князей ночевать оказывалось негде. Известен случай, когда образовавшийся затор из нескольких процессий вытянулся на целых пятьдесят километров. Если же по пути попадалась процессия, идущая навстречу, то уже в те времена полагалось принять не вправо, а влево (в Японии до сих пор левостороннее движение).

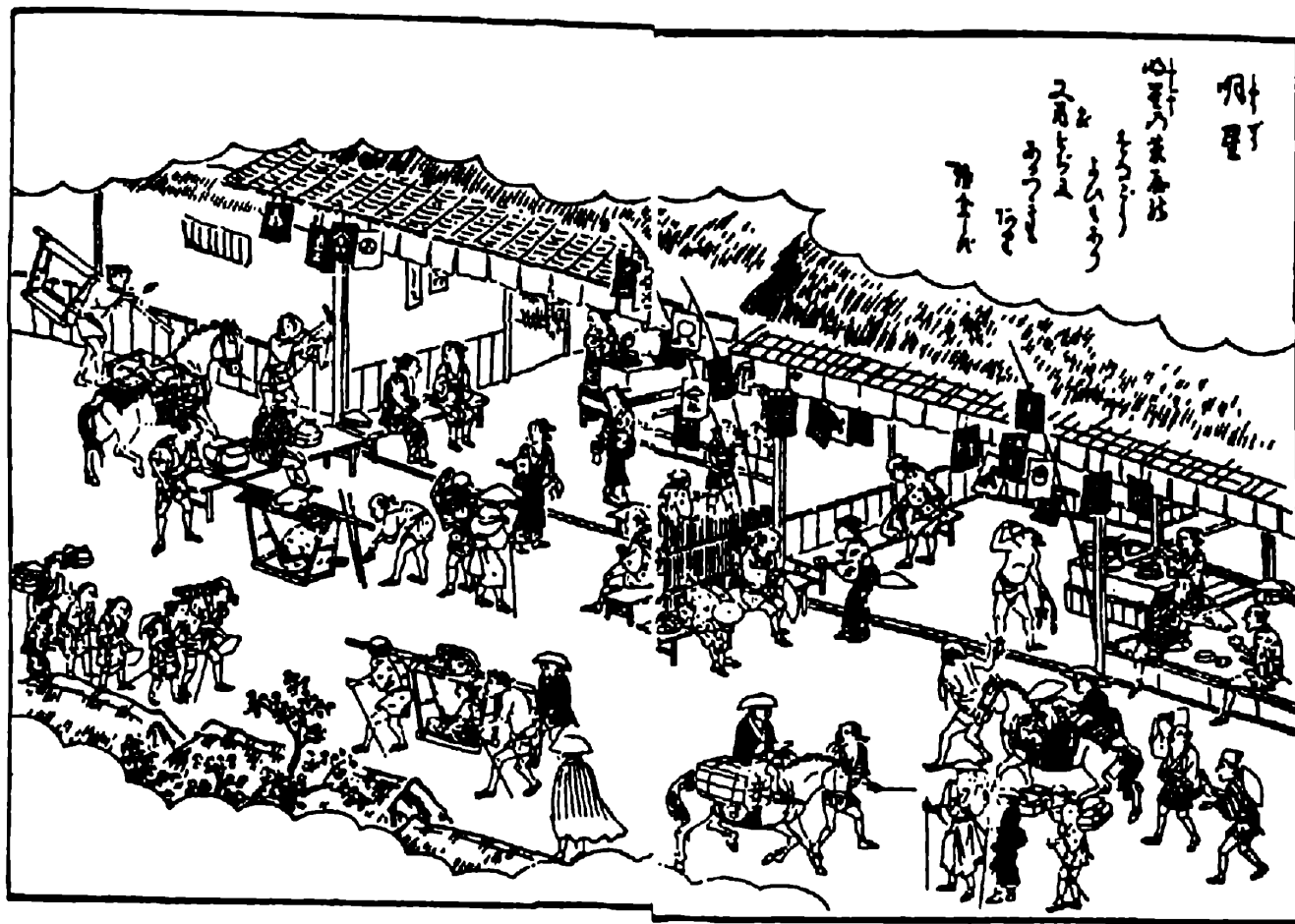
Для таких путешественников поневоле были устроены гостиницы особого типа и без излишних удобств, причем весь инвентарь, кстати, сдавался хозяевами гостиниц напрокат — сами себе еду готовьте и постель стелите. Располагались гостиницы там же, где и почтовые станции. Ночевали там только сами князья и их приближенные. Что же до вассалов князя, то им приходилось останавливаться «на частной квартире».

А между тем другие японцы тех времен, находившиеся не под столь пристальным надзором сёгунского ока, считали путешествие делом во всех отношениях полезным. Дороги теперь были очищены от разбойников и «лихих» самурайских людей. И тогда генетически запрограммированная жажда к передвижению нашла выход. Японцы стали считать, что длительное путешествие не только позволяет приобщиться к святыням и увидеть множество красот и диковинок, но тяготы его также закаляют душу и тело. Даже присказка такая была: «Только любимое дитя в поход снаряжают».

И посмотреть было что: и знаменитые храмы, и красивейшие пейзажи. Одной из целей путешествия могло быть посещение мест, воспетых в стихах знаменитых поэтов. Но все-таки главным пунктом назначения был храм Исэ. Сохранились данные за 1718 год о количестве паломников в Исэ: с начала нового лунного года за два с половиной месяца храм посетили 427 тысяч человек! И даже трогательную историю про одну собаку рассказывали, которая одна, без хозяина, из дальних мест до Исэ с паломническими целями добралась. В общем, в Японии все дороги вели в Исэ.

По дороге к этому храму тоже много красивого и святого можно было посмотреть — в каждой местности поклонялись своему божеству. К тому же всякая местность чем-нибудь да славилась: посудой, «фирменным блюдом», сортом сакэ, лекарством, косметикой и даже благовониями, которые изготавливались только там и нигде больше. И все это нужно было увидеть, попробовать, понюхать и привезти домой.

Эти путешественники останавливались в частных гостиницах. Бывали они разные — подороже и подешевле, с кормежкой и



Богомольцы в Исэ

без. Клиенты, правда, жаловались: утром им выдавали чашку постного супа, чашку риса и чашку чая. И никакой добавки. Если они путешествовали конно, то за постой коня бралась отдельная плата, превышавшая расходы на самого хозяина ровно в два раза — конь-то намного больше самого хозяина съесть может. Ну и, конечно, ни о каком отдельном номере и речи идти не могло. Зато ванная комната обычно имелась. Правда, общая. Расчетный час был принят очень ранний — в четыре часа утра изволь свои пожитки собрать и на дорогу выйти. Ну а если не понравился чем, вообще не пустят, да еще хозяин тут же властям донесет, что вот шатаются по дорогам странные типы.

И все-таки путешествовали много. И гостиниц тоже было немало: на одной только дороге из Эдо в Киото в начале 40-х годов XIX века их насчитывалось не меньше восьмисот. Давали приют и храмы. Спальные места были также предусмотрены во многих чайных домиках и иных предприятиях общепита.

Следует, правда, оговориться: лучшая половина японского народа покидала дом весьма нечасто. Дело в том, что сёгунат был весьма обеспокоен тем, чтобы каждая порядочная женщина знала свое истинное место. А место ее было — у домашнего очага.



У постоянного двора

Кроме того, женщину всегда подозревали в том, что она является женой или дочерью какого-нибудь князя. А им полагалось безвыездно пребывать в Эдо. Поэтому женщине, чтобы отлучиться из дома, следовало получить согласие властей, без которого невозможно было преодолеть многочисленные заставы. В дофотографическую эпоху в женский паспорт тщательно вносился словесный портрет, а осмотр путешественниц проводился с особым пристрастием, вплоть до раздевания — чтобы записочки какой не пронесла. Рассказывают, что одна путешественница умудрилась по дороге разродиться, из-за чего на заставе вышел большой шум. И не только потому, что на девочку не было паспорта, но и потому, что она была одета «не по форме» — то есть без обязательного в случае прохождения заставы кимоно.

Мужчины тоже были обязаны получить разрешение на путешествие, но им этот «пачпорт» выдавался по заявлению почти что автоматически и никакого словесного портрета не содержал. Стоило только сказать, что, мол, отправляюсь на богомолье или по торговым делам. Если же ты ехал в Эдо, а не из него, то вообще никаких проблем не было — правительство считало, что там-то оно владеет ситуацией, а рабочая сила в городе требовалась всегда. Только старшим сыновьям крестьян разрешение на передвиже-

ние получить было затруднительно — считалось, что они безотлучно должны находиться при земле.

Для того чтобы получить разрешение путешествовать, требовалась справка из буддийского храма, подтверждающая, что такой-то и такой-то не является христианином. Власти полагали, что проповедники-иезуиты (а также францисканцы с доминиканцами), появившиеся в стране в XVI веке, были только лишь авангардом той вооруженной армады, которая спит и видит, как бы Японию поработить. И не были далеки от истины. Но, на счастье, Япония располагалась все-таки довольно далеко. И — что еще более важно — была обделена ацтекским золотом, индийскими пряностями или еще чем-нибудь столь же полезным в европейском хозяйстве. В общем, повезло на то время японцам с ресурсами.

Что до женщин, то у них должна была возникнуть действительно серьезная причина для преодоления пространства. Просто осмотр достопримечательностей или паломничество никак не относились к уважительным причинам. Вдобавок к тому и многие храмы запрещали женщинам доступ в свои пределы. Прямо вот такие объявления у ворот вешали: «Женщинам, коровам, кошкам, обезьянам, цаплям и курицам прохода нет».



В связи со столь неожиданно и быстро расцветшей всеобщей мужской страстью к путешествиям самое широкое распространение получили географические карты. Их рисовали и на листах бумаги, и на длинных свитках, и на ширмах, и на веерах. Существовали и чрезвычайно подробные, изданные ксилографическим способом (то есть вполне массовым тиражом для «широкого читателя»), путеводители с указанием расстояний, достопримечательностей, цен на гостиницы и транспортные услуги и даже с перечислением имен станционных смотрителей. Каждый князь считал своей почетной обязанностью издать подробнейшее описание своих владений. Само правительство тоже не отставало. Для того же, чтобы молодое поколение не выросло географически безграмотным, в школах заучивали стишки, в которых перечислялись названия гостиниц, встречавшихся по дороге.

Высокая степень грамотности населения и общенациональная страсть к документированию чего бы то ни было привели также к широчайшему распространению путевых дневников, которые по возвращении читались в назидание и поучение родственникам, соседям и друзьям.

Имея в то время довольно туманные представления о внешнем мире, почти полностью отторгившись от него (как въезд в страну иностранцев, так и выезд из нее местных жителей были запрещены), японцы использовали весь свой запас любопытства для внутреннего употребления. И совершали довольно длительные путешествия — до четырех месяцев мог находиться странник в дороге. Еще и потому, что путешествовать приходилось по преимуществу пешком. Крутой же перевал можно было преодолеть и на некоем подобии носилок, называемом «корзиной».

Если путешественник обладал определенным достатком, то он нанимал носильщиков, тащивших его походные пожитки в «сундучках», которые подвешивались на концы палки. Получалось нечто похожее на коромысло. Если же денег на носильщиков не было, то чаще всего в качестве дорожного «чемодана» выступала скатерка-*фуросики*. Разложил, вещички в нее покидал, завязал узелком — и в дорогу.

Каждому известно, что походный инвентарь должен состоять из вещей легких и маленьких. Японцы знали это не хуже нас и потому напридумывали множество предметиков, которые исчерпывающе отвечали этим требованиям. Ну, например, складывающаяся подушка: точь-в-точь как наш дачный складывающийся стульчик. Только, разумеется, пониже. Или складывающийся веер. Или крючки S-образной формы, которые можно на веревку

цеплять и свои пожитки, промокшие в пути, для просушки развешивать. Множество вещей из соломы: шляпа, заплечная корзина-рюкзак, плащ-накидка, обувь. Ну и, конечно, компактная походная тушечница, без которой твои походные впечатления останутся втуне. А это неправильно.

Врач Зибольд, один из немногих европейцев, которым удалось побывать в токугавской Японии начала XIX века, с большим пиететом отзывался о склонности к путешествиям и подготовленности японцев к перемещениям в пространстве: «Среди азиатских стран нет такой, где бы путешествовали так много. Это и бесконечные процессии князей, направляющихся в Эдо из своих владений; это и обширная торговля внутри страны — теснящие друг друга торговцы и покупатели из разных провинций, собирающиеся в местном денежном центре — Осака; и весьма многочисленные паломники...

Дорожные карты и путеводители в Японии — вещь первой необходимости. Среди путешественников они распространены больше, чем в Европе... Кроме карт местности и дорог, в них приводятся и другие важные для путешествующего по стране сведения, как-то: списки вещей, необходимых в дороге; цены на лошадей и носильщиков; ...названия известных гор и мест поклонения; особенности климата; таблицы отливов и приливов; календари, разные змеи с насекомыми, которые могут покусать зазевавшегося путешественника. И, кроме того, даже таблицы измерений и солнечные часы, сделанные из бумаги».

И все-таки путешествие было (да, впрочем, остается и сейчас) некоторым «испытанием на прочность». Чтобы предупредить ошибки, которых можно и избежать, опытные паломники делились своими наблюдениями с теми, кто отправлялся в дорогу впервые. Довольно много их советов дошло и до нас — мы знаем, как нужно было себя вести в пути и чего стоило опасаться пару столетий назад.



«Контейнерные» переноски

Самурай, автор одного из таких наставлений, настоятельно советует: прибыв на место ночлега, перво-наперво следует разобратся в плане гостиницы, выяснить расположение входов-выходов. Это необходимо сделать на случай пожара, вторжения грабителей или возникновения драки среди постояльцев.

Еще одна важная рекомендация — придерживаться всего привычного (не пробовать незнакомую еду, путешествовать со знакомыми людьми и останавливаться в гостиницах, о которых идет добрая молва). Если же это оказалось невозможным, лучше переплатить, но выбрать место поприличнее. С незнакомцами следует держать себя на дистанции — не пить с ними, не играть в азартные игры, не вступать в разговоры и не принимать от них лекарств. Ну и, конечно, — никаких легкомысленных девушек.

Не следует в дороге забывать и о правилах приличия: всегда уступать право на первоочередную помывку старшему, с почтительностью приветствовать хозяина гостиницы, не покрывать стены храмов своими идиотскими рисунками и изречениями, никогда не смеяться над тем, как говорят местные люди («Если ты думаешь, что кто-то смешон, то совершенно естественно, если он подумает о тебе то же самое»).

Далее автор приводит список вещей, которые необходимо взять с собой. Он весьма разумен (как, впрочем, и остальные советы, похожие больше всего на материнские инструкции сыну-обормоту), и современный человек может вполне ему последовать: ну там нитки с иглками или походная аптечка. Сугубо японской принадлежностью выглядит, может быть, только личная печать, выступающая до сих пор в качестве эквивалента паспорта или удостоверения личности: без нее никто не поверит, что ты — это ты. Но почти точно современный человек не возьмет с собой записную книжку для ведения дневника. Он вполне обходится фотоаппаратом или видеокамерой.

И последнее, сугубо самурайское наставление: беречься горячих источников, поскольку от соляных испарений твой меч может заржаветь. Хотя время было довольно спокойное и с тупым мечом прожить можно было довольно долго и без особых забот, но ведь засмеют же, если ты его по какому случаю вдруг начнешь со ржавым скрипом доставать.

В дорожном деле еще довольно долго особых усовершенствований не наблюдалось. Комиссия западных экспертов отмечала совсем еще по историческим меркам недавно — в 1956 году: «Дороги в Японии находятся в немыслимом состоянии. Среди

индустриальных стран нет такой, которая бы в такой степени, как Япония, игнорировала дорожную инфраструктуру».

С тех пор, однако, положение с дорогами сильно поправилось. Один мой знакомый, переживший последнее страшное землетрясение в Кобэ в 1995 году, тыча пальцем в сторону московской мостовой, с воодушевлением приговаривал: «Вот-вот, именно так во время землетрясения и было!»

Что же до японской любви делиться дорожными впечатлениями... Однажды я ощутил и на самом себе отеческую японскую заботу о путешественниках и в полной мере оценил ее. Дело было в Риме, в начале восьмидесятых. Языка итальянского я не знаю, денег было в самый обрез, и я весьма часто попадал впросак в местных едальнях. То пицца какая-нибудь несъедобная попадетсЯ, то обсчитают за здорово живешь. Пытаешься им что-нибудь на английском втолковать — плечами пожимают: «Твоя моя не понимать». И вдруг я заметил на витрине одного ресторанчика маленькую бумажку с японскими письменами. Прочел. Там было сказано: «Еда вкусная, дешево, хозяин не обсчитывает». Это значит, одни японцы о других таких же приезжих японцах, которых они и до того в глаза не видели и не увидят потом никогда, так вот трогательно позаботились. Заявление о добропорядочности хозяина оказалось чистой правдой, и с тех пор я обедал только там. (А еще сомневаются в пользе изучения экзотических языков!)

Что же представляет собой нынешняя стандартная японская гостиница? В общем-то там есть все, что и положено отелю, плата в котором составляет 150 долларов в сутки (повторяю, это гостиница по вполне средней цене): кровать, телевизор, совмещенный санузел, фен, кондиционер, телефон, термос с кипятком или кипятящее устройство (представляющее собой электрическую плитку, которая срабатывает, если поставить на нее металлический кувшин с водой), холодильник. В общем, в этом наборе нет ничего особенно удивительного или шикарного.

Холодильник, однако, уже сильно отличается от того, к чему мы привыкли. Он заставлен напитками (горячительными и прохладительными), легкими закусками. Что тут такого? Видели мы это и на других континентах. Но скрытый смысл состоит не в этом. Каждая бутылочка или пакетик находятся в особой ячейке. Когда вы вынимаете то, что вам приглянулось, холодильник подает сигнал на центральный компьютерный пункт гостиницы, и к вашему счету автоматически прибавляется соответствующая сумма. Ячейка же при этом сжимает свои створки — захлопывается, так что если вы по ошибке достали не то, что вам нужно, единст-

венный способ отыграть деньги обратно — обратиться непосредственно к портюе, который, естественно, не станет говорить: мол, что упало, то пропало. И пошлет мальчика, который вашу бутылочку поставит на ее электронное место. Большинство клиентов, однако, предпочитают не признаваться в собственной ошибке.

В японской гостинице все устроено так, чтобы путешественник имел возможность передвигаться налегке. Во всех гостиницах (даже не в стандартных, а подешевле) вам выдадут то, о чем в других отелях мира и не помышляют. Я не говорю о мыле, зубной пасте со щеткой, бритве или полотенце. Я имею в виду действительно уникальные для гостиницы принадлежности — тапочки и *юката* — японский эквивалент ночной рубашки. Причем предоставление этих необходимых для привычного быта вещей идет со времен действительно давних — по крайней мере, с конца XVIII века. Лично меня это умиляет намного больше, чем всякие электронно-электрические штуковины, среди которых, правда, встречаются чрезвычайно элегантные выдумки.

Вспоминаю одну гостиницу, хозяин которой решил бороться с забывчивостью клиентов следующим способом. Дверь в номер открывалась с помощью магнитной карточки (начинает входить и в наш гостиничный обиход). Но вот свет зажигался в комнате с помощью этой же карточки: открыв дверь, вы должны вложить карточку в специальный «кармашек», и тогда зажигается свет. Покидая комнату, вы, естественно, забираете «ключи» с собой, то есть вынимаете их из «кармашка», и свет гаснет, а телевизор — если вы забыли его выключить — тоже перестает работать. Есть человек — есть свет. Нет человека — нет и света. Счетчик не крутится, хозяин не платит лишних денег.

Питаются клиенты гостиницы обычно в местном ресторане (их может быть несколько — и все с разной кухней), закусывают — в автоматах, расположенных, как правило, в коридоре. Там есть все самое необходимое: от кофе и чая (как горячих, так и холодных) до лапши (разумеется, горячей). Так что если по какой-то причине у вас случился приступ меланхолии и вы не хотите выходить на улицу, гостиница предоставляет вам «замкнутый цикл» услуг. Для борьбы с той же самой меланхолией можете даже вызвать массажиста.

Но, конечно, наиболее необычны для нашего человека чисто японские гостиницы — *рёкан*. Имеются они и в крупных городах, но больше всего их в горах, на горячих источниках.

Жизнь в «нормальном» *рёкане* происходит в соответствии с традиционным японским укладом. Пол в комнате покрыт слегка



Деревенская гостиница. С гравюры сер. XIX в.

пружинящими и очень приятными на ощупь циновками из рисовой соломы; спят на полу же, на ватных матрасах. Ресторана часто не бывает — всю еду приносят из кухни в номер, и вы наслаждаетесь ею, сидя опять же на полу за низким столиком. Но главное, конечно, это сам источник, на котором стоит гостиница (про помывку — чуть дальше).

Предусмотрительный посетитель этих чрезвычайно горячих по нашим меркам водных процедур уже заказал ко времени их

окончания ужин в номер — начинается долгое пиршество, из яств которого вам знакомо только пиво.

Однако блюстители истинно японской чистоты на подобное обжорство негодуют, утверждая, что эти, нынешние-то, чересчур увлекаются едой, совершенно забывая, зачем, собственно, проделали такой долгий путь. «Если кому деликатесы с комфортабельностями нужны, пускай в Токио едет, “Империял-отель” называется», — довольно-таки раздраженно говорят они.

Приступив к съестной части программы, вы начинаете ощущать, что температура кипятка, в котором вы только что плескались, совершенно уместна. Во-первых, распаренному телу всегда хорошо. Если же в погоне за местными достопримечательностями вы забрались действительно в глубинку, нет гарантии, что этот рёкан будет согрет хоть каким-то центральным отоплением.

Традиционный японский дом не может похвастаться особенным теплом зимой. Это и не удивительно: вся изобретательность японского народа была направлена не на то, как жилище обогреть (зима в Японии короткая), а на то, как сделать его попрохладнее душным, влажным и жарким летом. К такому дому вполне уместно определение «карточный» — окошки состоят из деревянных рам с натянутой на них плотной бумагой, а сам дом насквозь продуваем ветром. Раньше (а кое-где и теперь) выход из положения зимой находили так: сначала очень горячая баня, после которой любой холод в течение какого-то ночного времени покажется приятной прохладой. К тому же вы имеете возможность закутать нижнюю часть своего пунцового от кипятка тела в ватное одеяло так, что его концы прикрывают вас до пояса, и засунуть эту конструкцию под стол, рядом с которым находится жаровня с горячими угольями (современный вариант: электрообогреватель). Пару часов чувствуете себя абсолютно комфортно.

Однажды мне случилось провести ночь в таком рёкане. Укрытый парой ватных одеял, я спал как сурок. Однако пробудившись, я почувствовал настоящий ужас, поскольку в буквальном смысле слова не мог разлепить глаз. Что за кошмар приключился со мной? Довольно скоро, впрочем, понял, что дело обстоит предельно просто: ресницы смерзлись.

Вообще говоря, в определенных температурных пределах (примерно до минус 5 градусов по Цельсию) японцы намного более морозоустойчивы, нежели мы. Сколько раз мне приходилось наблюдать, как японские школьники рано поутру бодро шествуют в школу в шортах. А лужицы, между тем, ледком подернулись. Нация, которой приходится иметь дело с короткой зимой, пред-

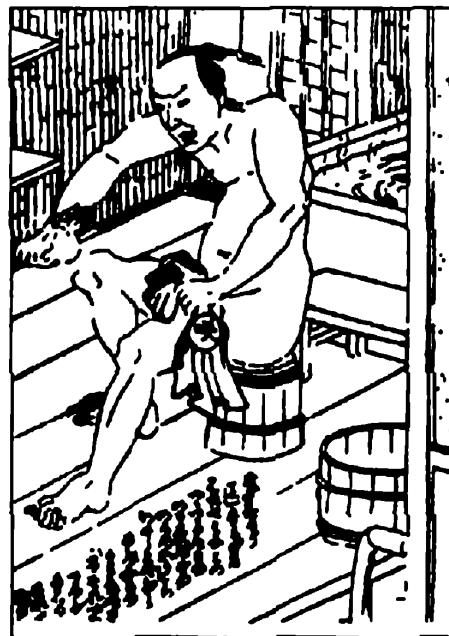
почитает экономить на одежде и отоплении. Как-нибудь парутройку недель и так можно перетерпеть.

Я же в преддверии московской летней духоты каждый раз говорю себе, что пора уже обзавестись кондиционером. Но не обзавожусь. Потому что жизнью этой жары нам отпущено столько же, сколько японцам — холода.

И еще, последнее из гостиничных наблюдений: никаких чаевых, даже если вы будете настойчиво предлагать звонкую монету, в Японии не возьмет никто — ни гостиничная прислуга, ни даже таксист. Вам максимально вежливо откажут, с гордостью заявив, что он (она) за свои труды получает соответствующую и вполне приличную зарплату. Так что не извольте беспокоиться. Платите по счету. Этого будет и так вполне достаточно, чтобы ваш кошелек сильно убавил в весе. Но зато и любое ваше сколько-нибудь разумное желание будет удовлетворено представителями японского сервиса без лишних препирательств.

В давние времена в студенческом кураже мы с коллегами проверяли это утверждение на стюардессе в процессе внутрияпонского перелета. Не в силах справиться с журнальным кроссвордом, мы попросили стюардессу помочь нам. Она склонилась над нами, потратила на нас не менее получаса, но к концу полета все клеточки были аккуратно заполнены...

В самолете, кстати, ваши шлепанцы вам тоже не понадобятся. При сколько-нибудь длительном перелете вам предложат фирменные.



Разговор о банях приходится начинать с того, что и так известно всякому: японцы очень чистоплотны. Еще в средневековье в Японии был распространен самый современный гигиенический обычай — вместо матерчатых носовых платков употреблять одноразовые бумажные салфетки. Или вот, например, обыкновенный японский дом. Можно зайти в любой, и всюду придется снимать ботинки (поэтому у японцев такой популярностью пользуются чистые носки и обувь без шнурков). А по дому — либо в тапочках ходят, либо только в одних носках. В туалете или в ванной — другие тапочки.

Словом, для каждого пространства — своя особая обувь. Потому что с пересечением порога другого мира вы должны каким-то образом на это отреагировать. Это убеждение настолько прочно вошло в японскую кровь, что их самоубийцы, прежде чем перейти в мир иной, обувь обязательно снимают. Это настолько привычно, что если вдруг на трупе обнаружены ботинки, то это считается для полиции достаточным основанием заподозрить, что она имеет дело со случаем насильственной смерти.

Посмотрите на шофера такси или на лифтершу в универмаге — непременно в белых перчатках. Чуть пятнышко посадил — тут же и постирал. Наш мотив приобретения темной одежды «немаркового цвета» — «чтобы не так пачкалась» — здесь как-то не воспринимается. Наоборот, считается, что на светлом фоне каждая пылинка лучше видна и искоренять ее легче.

Возвращаясь со службы, каждый нормальный японец перед ужином идет в ванную комнату, где проводит от тридцати минут до часа. На дистанционном пульте он устанавливает требуемую

ему температуру воды, подогреваемой газом. Сначала он, сидя на крошечной пластмассовой табуреточке, принимает душ, вмонтированный в стену возле опять же пластмассовой ванны. В это время он наводит чистоту, моется с помощью мыла и синтетической мочалки. И только после этого наступает время настоящего удовольствия — отмокания в очень горячей по нашим меркам воде. Откликаясь на любовь японцев читать в любом хоть сколько-нибудь подходящем для того месте, недремлющие издательства даже книги и учебники специально для ванного дела придумали — из пластика, страницы хоть в каком пару — не намокают, а если ненароком прямо в ванну уронил — тоже ничего с ними не делается. Только воду стряхни, и дальше наслаждайся или готовься к экзамену.

Именно вот этой процедурой отмокания японцы почему-то сильно гордятся и считают ее исключительно японским занятием. Мерещится им в этом что-то мистически-национальное. Мытье же под душем не приносит им окончательного удовлетворения — обязательно подавай им ванну. Выливать воду после себя не принято: ведь в ней еще и другому отмокнуть можно, и на стирку годится. Для этого имеются специальные домашние насосы — перегоняют воду из ванны в стиральную машину. Это сильно удешевляет домашний быт — вода в Японии дорогая.

Изначальная причина, по которой тот или иной народ приобретает определенную привычку, очень часто остается загадкой. Ну вот, например, прямо по теме: почему это японцы столь чисто-



любивы? И уже по крайней мере несколько веков. И моются каждый день, и чистота в доме такая — позавидуешь. Лично мне иногда даже не по себе делается — уж очень на больницу похоже.

А когда японцы впервые познакомились с европейцами, то они тоже были культурно шокированы, и после пребывания «варваров» в комнате окуривали помещение всяческими благовониями — все им казалось, что пахнет чем-то несвежим.

Говорят: климат у них на островах жарко-влажный, потеешь много, неприятно все-таки. А то мы не знаем проживающих в жарком климате других народов, которые совершенно спокойно свою чумазость переносят и носа от самих себя совсем не воротят. Свыклись, в общем. И другой судьбы себе нисколько не желают.

Еще говорят: у японцев, мол, синтоистская религия совершенно особенная — предполагает ритуальное очищение водой по всякому случаю, отсюда и в быту такая чистота. Так-то оно так (некоторые японские боги детей себе таких же божественных рожали исключительно после омовения), да только почти всякая религия к ритуальному омовению призывает — то в Ганге (не самая, между прочим, чистая речка), то в Иордане, то ли еще там где, но с намного меньшим очищающим в быту эффектом.

Так что придется японское чистолюбие признать за неотъемлемый факт и обратиться прямо к истории.

Из самых ранних письменных свидетельств известно, что еще в древности (веке этак в VI—VII) японцы уже точно знали о целебной полезности горячих с минеральными добавками ванн и не



отказывали себе в омовениях в естественных горячих источниках. Каковых, между прочим, на территории архипелага (ввиду его геологической молодости) насчитывается более двадцати тысяч! И относительно первоначального использования их в качестве источника омовения существует множество легенд.

Ну, например: отправился некий человек на охоту, стал оленя преследовать, ранил его. И деться тому уже вроде бы некуда, да вдруг пропал, в тумане каком-то растворился, а вместо него откуда ни возмись — старец седобородый. И говорит он охотнику: так-то и так-то, я — бог горячего источника местного значения, в котором олень, тобою подстреленный, омовение уже совершил, раны у него тут же затянулись, снова в горы ушел — и думать о нем забудь. А сам ты лучше домой поскорее возвращайся, в деревне расскажи, какой это источник замечательно целебный. Пусть в нем твои товарищи почаще купаются и хвори тогда никакой знать не будут.

Известно, какое внимание уделял буддизм (а он получил распространение в синтоистско-языческой Японии с середины VI века) «банному делу». Дело в том, что буддийские статуи, несмотря на обилие под небом Японии атмосферных осадков, положено регулярно протирать теплой водой. Поэтому во всех крупных храмах было принято строить специальный павильон для кипячения воды. Это помещение использовалось монахами также и под баню — считалось, что вода, кроме собственно грязи, смывает также и грехи (грехи у них такие специальные были, что ли?).

Получалось, что мыться — дело Будде угодное, очень помогает избавиться от скверны и вознестись прямиком в рай. Недаром поэтому о святых рассказывают, что они, умея в точности предугадать день своей смерти, всегда перед нею омывали свое тело горячей водой. Указывается также, что тело этих святых издавало после смерти какой-то удивительный аромат. Рай их буддийский так прямо и назывался — Чистой Землей.

А уж организация такого замечательного мероприятия, как массовый помыв, и вовсе считалась большой заслугой. И хроники не забывают сообщить, что еще в VIII веке Комё, супруга тогдашнего императора, распорядилась устроить баню сразу для тысячи обитателей столичного города Нара. А уж потом вслед за ней и другие правители устремились добродетели таким образом накапливать.

Легенды повествуют и о существовании несколько курьезной и одновременно трогательной практики. Называлась она «гусиная баня». Происхождение этого термина таково. Дело в том, что

дикие гуси с наступлением осени устремляются с севера на юг. При этом им приходится преодолевать большие водные пространства. Поэтому будто бы летят они с ветками, зажатými в клюве. Когда гусей одолевает усталость, они бросают эти ветки на воду и какое-то время отдыхают на них. Достигнув места зимовки, они оставляют ветки на морском берегу, с тем чтобы снова забрать их весной при обратном перелете. Однако часть их остается неразобранной, а это означает, что некоторые из птиц за зиму все-таки погибли. Поэтому местные жители собирают на берегу эти веточки и топят ими баню, что и приравнивается к буддийской поминальной службе по погибшим птицам. В буддизме ведь что хорошо: он не делает большой разницы между «царем природы» и другими обитателями этой монархии — каждый достоин поминовения.

Нужно сказать, что бани раннего времени, расположенные на территориях буддийских храмов, по своей конструктивной идее несколько походили на русские (в Японии, однако, считается, что на корейские). Правда, в этих банях не столько мылись, сколько парились. При этом пар мог поступать как из огромного чана, расположенного в самом помещении, так и нагнетаться туда по трубам из внешнего источника. Бывало, для получения пара кипятки лили и на камни. Последовательность же действий была такая: сначала париться (то есть дожидаться, когда размягчится грязь, покрывающая кожу), а уже потом «соскребать» ее ногтями, полотняной салфеткой или мешочком, наполненным рисовой соломой. Воды при этом старались использовать по минимуму, и потому такой способ «омовения» назывался «пустым», как бы «безводным», или «сухим».

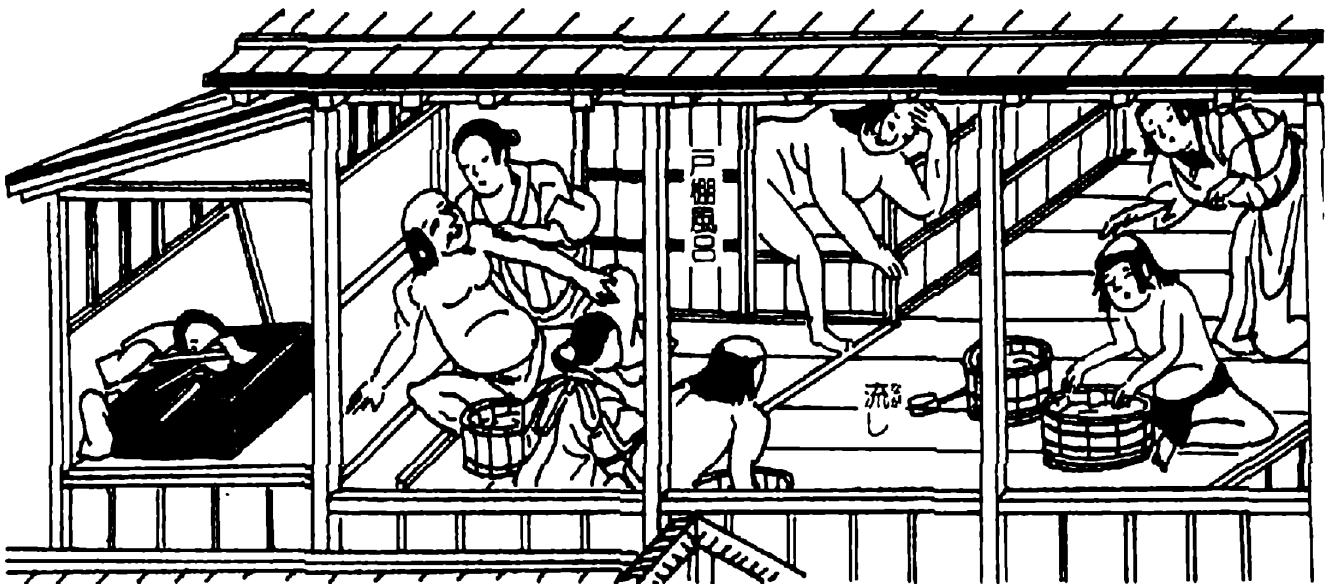
Точно известно, что за это удовольствие люди платили деньги уже в самом начале XIV века. На рисунках этого времени, сделанных на ширмах и веерах, виден крытый соломой дом, изрядно забитый людьми с деревянными шайками. Похоже, «сфера обслуживания», которой так знаменита нынешняя Япония, была достаточно развита и в то далекое время: возле клиентов присутствуют банщицы, трущие им спину. Если читатель приглядится к предлагаемому рисунку, то в глубине помещения можно увидеть и саму парную. Вход (а точнее сказать — лаз) в нее для сохранения тепла был сделан очень маленьким. Такой тип бань назывался «гранатовым».

В этом названии заключены две идеи. Во-первых, в парилку набивалось людей столько, что они походили на зернышки граната, заключенные в оболочку плода. И, во-вторых, в то время с

помощью кислого гранатового сока «отмывали» от патины японские бронзовые зеркала.

Но по-настоящему широкое распространение бани получили уже в XVII веке, когда после бесконечных войн и усобиц наступило мирное время и когда уже можно было спокойно подумать не только о том, как бы спасти свою шкуру, но и о том, как содержать ее в надлежащей чистоте. Именно тогда появляются публичные бани с бассейном, наполненным горячей водой, но зато лишенные парной.

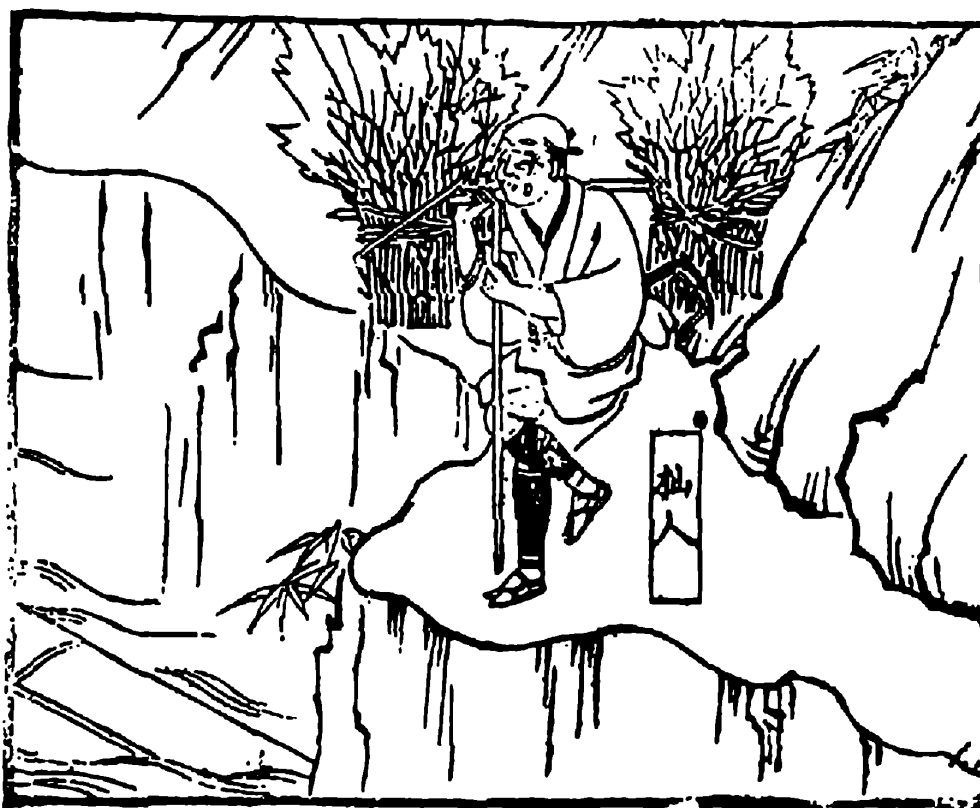
Перед тем как залезть в этот действительно публичный, многолюдный сидячий бассейн с непривычно горячей для европейца водой, посетитель должен был сначала как следует вымыться с помощью тех же самых деревянных шаяк (вот, оказывается, с каких



пор идет этот обычай!). Интересно, что можно было прийти со своей посудиною, а можно было и заказать таковую в бане. После того как она бывала изготовлена, на ней писалось имя клиента. Приходя в баню, он пользовался своей, именной посудиною, которая отныне находилась там на постоянном хранении.

Если же ты захотел помыть не только тело, но и голову, то за это бралась отдельная плата — воды-то, естественно, уходило больше. Дело, правда, было не только в самой воде, но и в ее подогреве. Топили в бане исключительно дровами, а их ведь еще надо было нарубить и с гор привезти.

Что ж, японцы поступали вполне честно: ведь и сама такая баня называлась *сэнтю* — «платный кипяток». Мытье спины банщицей или банщиком тоже требовало дополнительного расхода.



Доставка хвороста

Толковых вытяжек не было, окон — тоже. Над бассейном клубился густой пар, видно ничего не было — ни женщину, ни мужчину, ни того, в чистую ли воду пришлось тебе погрузиться. А меняли ее, между прочим, не каждый день. Однако ее температура кое-какие гигиенические проблемы все-таки разрешала.

С тех пор японские бани не претерпели принципиальных конструктивных изменений. И даже сегодня в многочисленных гостиницах-банных, устроенных на горячих источниках, поступают именно так — сначала из тазика смывают грязь, а потом уже отмокают в общем бассейне. Европейцам это часто кажется мало-гигиеничным. Но, кажется, многое тут зависит исключительно от привычки. Плещутся же они сами из умывальника, заткнув предварительно слив пробкой, — и ничего. В то же время я не встречал еще ни одного русского (а у нас, как известно, с водой довольно напряженные отношения), который бы по своей доброй воле согласился умываться не в проточной воде. Мы уж лучше совсем мыться не будем.

Особенно пристрастились к баням обитатели Эдо. Во-первых, многие из них боялись мыться дома — город был деревянный, скученный (в начале XIX века там жило более миллиона человек), и пожары были его настоящим бичом. Так, при пожаре 1657 года погибло более 100 тысяч человек! (Подробнее о пожарах смотрите, как это ни странно, в главе о татуировках.)

Во-вторых, жилища в Эдо были тесные, так что приходилось экономить на всем, в том числе и на площади, предназначенной для домашней ванны. В-третьих, в городе были большие проблемы с водоснабжением. Ближние водоносные слои там засолены, и до пресной воды приходилось копать очень глубоко. Реки же Эдо, как это и положено нормальному средневековому городу, были полны нечистотами. И хоть в жаркий день предприимчивые торговцы и предлагали речную водичку «холодненькую, с самой серединки», но ее гигиенические, а также моющие свойства оставались под большим вопросом. С ростом города пришлось даже тянуть наземные деревянные водоводы, где вода текла без всякого напора — самотеком. Набрать ее можно было не в собственном доме, а только в специально построенных для того уличных водозаборах. На настоящее мытье — так, чтобы с удовольствием — не наносишься. Легче в баню сходить.

Ну, а в-четвертых, бани Эдо были предназначены не просто для мытья, но и для праздного времяпрепровождения и всяческого «разговору» — нечто вроде клуба. А люди в этом городе были весьма говорливы, веселы и смешливы. Распарившись, они были очень не против поддеть своим острым язычком хоть кого. Отсюда и постоянное брюзжание властей относительно нравов, царивших в банях.

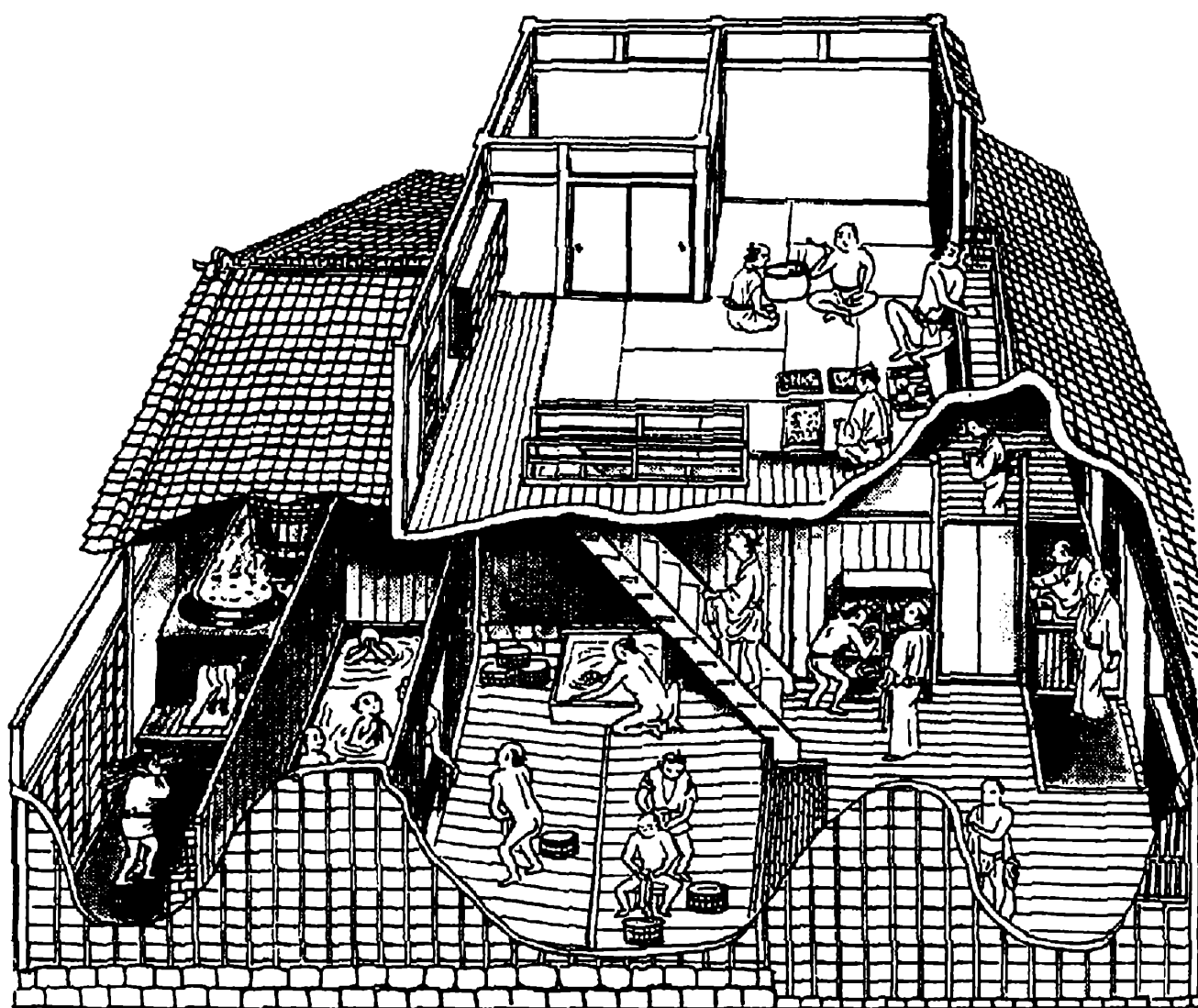
Бани работали с шести утра до шести вечера. В то время они еще не были разделены на мужскую и женскую половины. Сёгуны время от времени издавали сердитые указы, запрещающие такие вольности, но по тому, сколько этих указов было выпущено, можно сделать вывод, что они не производили должного впечатления.

Так, например, поскольку лучшая часть японского общества предпочитала ходить в баню во второй половине дня, когда домашние дела уже завершены, то приткая молодежь к этому времени уже была наготове, предлагая девушкам «потереть спинку». И довольно часто ответ, как это ни странно, оказывался положительным.

Немногочисленные европейцы, которых судьба заносила в Японию, с приличествующим порядочному христианину ужасом перед любым проявлением телесного единогласно отмечали непозволительное бесстыдство, наблюдаемое ими в банях. И еще их неприятно удивляла температура воды. Японцы же, в свою очередь, сильно укрепили свою аргументацию в деле обоснования варварской природы европейцев, когда прознали, что Таунсенд Харрис, первый американский консул в Японии, принимает по утрам холодную (!) ванну.

В России хорошо известно, что в бане перед паром равны все. Сёгунам это было вовсе не по душе. Даже детям известно, что отличительной особенностью самурая являются два меча (длинный — для сражения и короткий — для совершения харакири). Войдя в баню, ты неизбежно лишаешься этого знака мужеско-самурайского достоинства. Не класть же, в самом деле, клинок на бортик бассейна в ожидании подходящего случая. Поэтому самураям мыться в банях поначалу строго-настрого запрещали. Однако потом — скрепя сердце — все-таки разрешили: и самурай должен быть для поднятия военного авторитета чистым. Но из-за этих мечей проклятых все-таки иногда неприятности выходили: подерутся, а там ведь и до клинка рукой подать...

Время, когда сёгуны жили в Эдо, знаменито расцветом купечества, торговли и вообще «сферы обслуживания». Дело в том, что Эдо был городом мужским. Он был наводнен приезжими самураями, прибывшими туда по самым разным делам. А «командировочным», как известно, нужно где-то остановиться, поесть и, конечно, помыться. И хотя купцы и «торговцы кипятком», как



люди, связанные с «презренным металлом», стояли на социальной лестнице чуть ли не ниже всех, именно они предоставляли и горожанам и самураям такие услуги, перед которыми те никак не могли устоять.

После помывки чистые теперь уже клиенты несли свои распаренные и полуодетые тела на второй этаж (туда, в отличие от помывочной, допускались только мужчины). Там к их услугам были чай, сакэ, всяческие настольные игры и, конечно же, собеседники. Городские новости и сплетни — где кого зарезали, где пожар случился, что там на театре новенького — становились предметом оживленных дискуссий. Как такое удовольствие не полюбить?

А если тебя больше устраивало женское общество, то можно было пригласить и «банную девушку», которая умела и петь, и танцевать, и стихи читать, и, в общем, знала, чем развлечь скучающего гостя. Конечно, не во всех банях эти девушки были, но очень во многих.

Получается, что бани предоставляли самый широкий комплекс услуг. И еще не известно, что при чем появилось — то ли баня при знаменитом японском чайном домике, то ли наоборот. Как уже было сказано, в Эдо было много одиноких мужчин. И, конечно, они порождали спрос совершенно определенного рода. Все они, мужчины, одинаковы, даже если и японцы по происхождению.

Баннх «девочек» называли по-разному. Одних, подороже, — «львицами». Подходя к потенциальному клиенту, они обращались к нему так: «Что ж ты с ружьем на охоту вышел, а ни разу не выстрелил?» Среди «львиц» были и такие, что даже позволяли себе отказывать,



«Банщицы моют горячей водой посетителей каждая в свою очередь. Скороговоркой выкликая имена ожидающих, они приглашают их: «Пожалуйста! Пожалуйста», с игривым видом указывают гостям места, усаживают их на подстилки. В предбаннике они подходят ровно и к своим возлюбленным, и к посторонним и вкрадчиво заводят с ними разговоры, так, чтобы все слышали: «Были ли вы сегодня в театре? Может быть, вы пришли к нам из веселого квартала?»... Забава с женщиной из бани похожа на купанье в потоке, который льется, смывая плотскую грязь, и, мутный, утекает куда-то без следа...»

Ихара Сайкаку. Избранное. С. 181–183.



если мужчина по какой-то причине был им не люб. Женщин же поплоше, безотказных, звали «чайной пылью». Они, правда, тоже в долгу не оставались. И если сводник, выискивающий верхом на коне на улицах необъятного города Эдо падкого на плотские удовольствия человека, звался между ними «пастухом», то сам клиент — «теленком».

Не в силах справиться с проституцией вообще, сёгуны решили признать ее как неизбежное зло, но ограничить одним-единственным в Эдо «веселым кварталом» — Ёсивара (смотри о нем в специальном разделе о проституции). Однако до того, пока веселые нравы еще процветали во многих «банных», владельцы публичных домов в Ёсивара очень косо поглядывали на вторые этажи этих заведений и частенько жаловались на спад деловой активности.

Для пресечения подобной конкуренции и чтобы в банях граждане занимались только помывкой, властями были предприняты весьма решительные меры. Во-первых, количество женского персонала сократили — сначала до трех персон, а потом и до полного нуля. Во-вторых, клиентам было запрещено в банях ночевать (именно поэтому и время работы их было ограничено шестью часами вечера). В-третьих, за каждой баней было навсегда закреплено одно-единственное название, и сменить его было нельзя (до этого после закрытия бани по «моральным соображениям» владелец обычно снова открывал ее, но уже под новой вывеской).

За нарушение правил полагался штраф или закрытие. Как пример масштабных разовых акций стоит отметить закрытие двухсот бань в 1657 году или знаменитую облаву 1658 года, когда в банях отловили сразу шесть сотен «львиц» и «чайнок», каковых и препроводили «ввиду нарушения общественной морали» прямиком в Ёсивара к владельцам официально разрешенных публичных домов на принудительные работы сроком на пять лет. Нечего и говорить, что те были весьма обрадованы такому массовому пополнению своего штата.

Люди, причастные к «банному делу», были хитры на выдумки. Например, банщицам по закону три выходных в месяц, и в эти дни они были свободны от служебных обязанностей. А в нерабочее время, согласно другому закону, любая женщина имела право на совершенно свободное и ничем не ограниченное времяпрепровождение с мужчиной, если это происходит «по любви». «Конечно, по любви!» — повторяла такая банная девушка, беря очередной выходной (в случае полицейской облавы у нее, естественно, всегда был «выходной»).

Именно к этому «веселому» времени относится изобретение знаменитого японского *фуру*, деревянной бочки, под дном (или сбоку) которой расположено нечто вроде топки. Такая конструкция не только позволила многим людям установить «ванну» в собственном доме, но и сделала ее переносной. Пользуясь этим ее преимуществом, а также тем, что японцы очень спокойно относились ко всем проявлениям телесного (властям, правда, в конце концов удалось заставить их носить в банях *фундоси* — нечто вроде набедренной повязки), предприимчивые бизнесмены той поры временами ставили переносную ванну прямо на обочине улицы. Отправился на прием к сёгуну, а по дороге заодно и помылся. Ну, или на обратном пути от него же. Ничего не скажешь, ловко придумано.

Рассказывают также, что люди с особо развитым эстетическим вкусом приказывали выносить себя прямо в бочке в какое-нибудь живописное место, чтобы полюбоваться цветением сакуры, свежеснеженным снегом (экая, скажем мы, северные жители, невидаль) или еще чем-нибудь. Помыться можно было и не сходя на берег с прогулочного кораблика — плавучая помывочная чалилась прямо к нему. Так что некоторые пассажиры всходили на борт суденышка еще грязными, а спускались на берег уже вполне чистыми, да еще и полными впечатлений от красоты берегов реки или моря. Не стеснялись пользоваться этой услугой и сами моряки.

Сегодня банное дело переживает в Японии не самые легкие времена. Почти у всех ванны дома есть, да и вообще — некогда. Шутка ли сказать — большинство школьников в бане так никогда и не бывали. Хотя владельцами и предпринимаются значительные усилия для того, чтобы там можно было заняться тем, чего дома ты уж точно лишен: массаж руками и гидромассаж, радоновые ванны, тренажеры, игральные автоматы... Не говоря уж о напитках и закусках там разных.

Поборники традиционности негодуют: по их мнению, именно в бане вырабатываются навыки общения и коллективизма, которых нынешней молодежи явно не хватает. Не растут, мол, настоящими японцами.

Но вот бани, расположенные на горячих источниках, по-прежнему процветают. И если у нас счастливый отдых ассоциируется с теплым морем, то у японца — с поездкой в горы и долгим сидением в общем бассейне.

Японцы, как и русские, любят погреть кости. И здесь молодые горы архипелага служат им добрую службу, поставляя естественный минерализированный кипяток. В гостинице, стоящей на

источнике, непременно имеется список содержащихся в воде элементов. Где-нибудь в недрах этой гостиницы обязательно имеется бассейн, в который непрерывно поступает целебная вода, часто имеющая запах серы и еще чего-то такого же inferнального. Считается, что эта гамма подземных запахов и превращает обычный гигиенический акт в истинно оздоровительное мероприятие. Веников, правда, нет. С березами в Японии напряженно.

Считается, что именно вода из горных источников особенно полезна для общего укрепления организма. В прошлом сёгунам эту воду в Эдо в бочках возили, а они себе из нее славную баньку устраивали. И сегодня относительно этих горячих источников у японцев даже специальный закон имеется. Чтобы помывка не просто так происходила, а с соблюдением правил.

Каким же образом осуществляется помывка в горячем источнике? В общем-то точно так же, как и в обычной бане или ванне. Войдя в предбанник, вы снимаете одежду и складываете ее в пластиковую корзину. Взамен получаете маленькое полотенечко. Затем проходите в собственно «баню». В стены вделаны душевые устройства, под которыми, сидя на скамеечке, вы смываете первую грязь, используя полотенечко в функции мочалки. Затем наступает очередь бассейна. Вода там обычно намного горячее той, к которой привыкли мы. Но японцы переносят ее совершенно спокойно. Российский же человек влезает в нее сантиметр за сантиметром, чертыхаясь, постанывая и побряхывая, пока наконец не уляжется на неглубокое дно. Во время всех этих процедур вы используете полотенечко в другой его функции — как фиговый листок. При общеспокойном отношении ко всему телесному почему-то считается приличным небрежно прикрывать причинное место во время банной процедуры. Правда, хозяева некоторых гостиниц, стоящих на источниках, стали эту практику запрещать, поскольку кипяток эти полотенечки преспокойно разъедает, а оттого и качество воды становится хуже.

Несколько отмякнув, вы возвращаетесь под душ и производите окончательный смыв.

Если же хочешь ублажить нужного человека, то пригласить его на помывку — первое дело. До того дошло, что теперь служащим госаппарата строго-настрого запретили такие двусмысленные предложения принимать. Дома ванна есть? Есть. Вот и мойся там. А в противном случае тебе грозит наказание за неполное служебное соответствие.

Туалеты

ВЗГЛЯД ИСТОРИКА,
ОПЫТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Уж сколько европейцы за последнее время книжек про Японию написали, а про туалеты — нет, молчат. Ведь откровенный разговор про это заведение — принадлежность «низовой» культуры. К сожалению, серьезные исследователи до нее редко снисходят.

А между прочим, в самом столичном Токио имеется не только императорский дворец и музей национальных шедевров, но и музей туалетной истории. И всеяпонское «Общество туалетов» ежегодно проводит конкурс по определению лучших десяти общественных отхожих мест. В расчет принимаются чистота, отсутствие неприятных запахов, дизайн, конструкция здания, гармония с окружающими строениями, отзывы посетителей и даже название. Ну, например, «Рукомойня отшельников», «Морской воздух», «Шум прибоя»...

Увидев такую вывеску, не сразу и догадаешься, что тебя ждет за дверьми. Кроме всяких шуток, газетчиками зафиксированы случаи нарушения общественного порядка прямо возле такого сооружения, выполненного в виде загородной виллы — не поняли товарищи, возле какого храма находятся.

И вправду — почти что храм и есть. В Японии тоже имеются памятники архитектуры, «охраняемые государством». Только называются и ранжируются они несколько по-другому. Самые что ни на есть охраняемые определяются как «национальное сокровище». В этой категории туалетов пока что не зарегистрировано. Но вот ко второму разряду — «важное культурное достояние» — относится целых пять отхожих мест (самое древнее — приблизительно XIV века). А возле общественного туалета в городке

Касивара поставлена никелированная доска, на которой начертано, что чудное сооружение сие было воздвигнуто радениями «Клуба Ротари». Поистине хочется затянуть: «Я другой такой страны не знаю...»

Замечательна лингвистическая разработка туалетной темы — в современном японском языке имеется по крайней мере полтора десятка слов, обозначающих «это». Здесь и ходовое «удобное место», и приспособленный для местной фонетики *тойрэ* (toilet), и «рукомоечная», и «умывочная», и даже — «чистый ящик» (все-таки очень любят японцы первоначальный смысл до полной неузнаваемости засветлить!). Существовал также и весьма поэтичный и древний термин *какурэюки* («скрытое снегами»). Здесь имелось в виду частое расположение отхожего места к северу от усадьбы или буддийского храма, а также физическая отделенность туалета от жилища, далекого, как пики покрытых снегом гор.

Первые сведения, которыми мы располагаем относительно истории японских туалетов, относятся к концу VII века. Именно тогда была построена первая постоянная (хотя и не слишком долговечная — всего шестнадцать лет там двор находился) резиденция императоров — Фудзивара. По прикидкам историков, там могло проживать от 30 до 50 тысяч человек. Поскольку существует несколько предположений о площади территории города и количестве горожан, то и расчеты плотности населения тоже «пляшут». Оценки колеблются в пределах от 1 100 до 4 600 человек на квадратный километр (для справки: в современном городе Касивара, расположенном на территории бывшей Фудзивара, эта цифра составляет 3 045).

В любом случае в Фудзивара должны были возникать проблемы, свойственные любому крупному городу. Одна из них — борьба с отходами. Проблема решалась довольно бесхитростно. По ответвлениям от проложенных на территории города каналов, которые имеют самое непосредственное отношение к теме рассказа, на участки поступала вода. Туалеты того времени представляли собой расположенные в глубине участков прямоугольные канавы, размером приблизительно 150 на 30 сантиметров; вода, поступавшая по отводам из уличных каналов, протекала через эти канавы. Затем туда же, в каналы, она и возвращалась, теперь уже наполненная нечистотами. А оттуда — обратно в реки. Точно так же были устроены туалеты и в следующей столице — Нара. Вот такое было у японцев в VIII веке сливное устройство.

Найдены также и туалеты, устроенные непосредственно на мостках, которые были переброшены через магистральные пяти-

метровые каналы. Они имеют название *кавая* («речной домик»). Такие «скворечники», расположенные над горными ручьями и речками, окончательно исчезли из обихода удаленных регионов только после окончания последней мировой войны.

Сколь бы странным это ни показалось, но в то время вместо туалетной бумаги использовали материал, на котором тоже — как и на настоящей бумаге — писали. Дело в том, что тогда были в ходу небольшие (длиною сантиметров двадцать пять, а шириною в два-три) тоненькие деревянные таблички, служившие для многочисленных чиновников материалом для деловых посланий или использовавшиеся в качестве записной книжки. После того как запись делалась не нужна, ее соскребали ножом. И тогда можно было снова начинать «с чистого листа». Когда же табличка истончалась окончательно, местом ее последней службы становился туалет.

Бытовые отходы выбрасывались либо в те же самые каналы, либо где попало. Сам император был тем сильно обеспокоен. В записи хроники от 706 года приводится указ относительно поддержания в столице чистоты и порядка. «Стало известно нам, что улицы столицы сделались грязны и вонючи. Происходит это оттого, что соответствующие ведомства не осуществляют должного контроля. Отныне и впредь охранники города должны безжалостно хватать и наказывать нарушителей. В случае невозможности вынесения наказания, составлять рапорт об обстоятельствах дела».

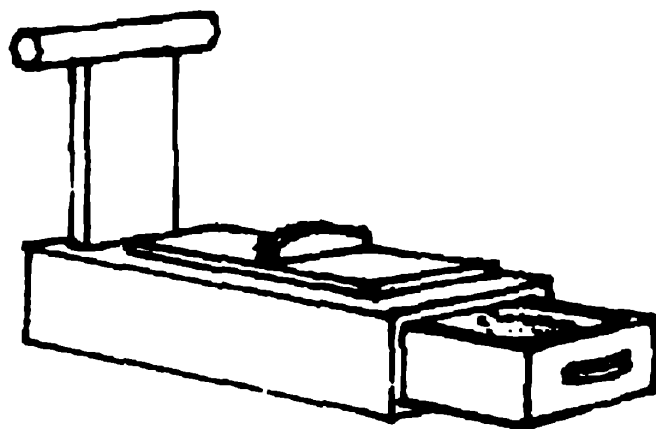
Ну, а что же знаменитые и утонченнейшие аристократы из «Столицы мира и спокойствия» — Хэйана (нынешний Киото), построенной в 794 году? Как у них с этим делом обстояло?

Оказывается, места для постоянного туалета в их жизни предусмотрено вообще не было. Дворцы аристократов представляли собой ряд деревянных одноэтажных помещений, соединенных между собой крытыми галереями. Причем ни одно из этих помещений не обладало капитальными внутренними стенами. Не дом, а пустая коробка. Разумеется, эти помещения перегораживали, поскольку в усадьбах бывало множество гостей, проводились бесконечные праздники и церемонии. Так что для истинно аристократического времяпрепровождения от дома требовалась прежде



всего свобода перепланировки, которая достигалась за счет членения пространства с помощью различного рода занавесей, пологов, экранов и ширм, на которых для общего украшения была изображали что-нибудь пейзажное или каллиграфическое. Никаких постоянных комнат в таком доме предусмотрено не было.

И туалет в этом отношении отнюдь не был исключением. Поэтому использовался японский вариант нашего ночного горшка — прямоугольный деревянный пенал, предварительно заполненный золой или древесным углем. Причем «горшок» этот использовался не только ночью, но и днем, а также обладал вполне приличными размерами (наконец-то удалось обнаружить хоть какую-то вещь, которая была бы у европейцев по размеру меньшей, чем у японцев!). Поэтому с одного конца к нему была приделана рукоять, за которую его и таскали по всему дворцу.



Горшок аристократа

Точно известно, что отдельно стоящий стационарный туалет, содержимое которого можно вычищать по мере наполнения, появился по крайней мере с XIII века. Но речь идет не о русской бездонной выгребной яме на все случаи жизни: очень быстро вместимости для большой и малой нужды стали вести в Японии раздельное существование. Для мочи был приготовлен керамический сосуд. С этим, кажется, все понятно без лишних объяснений — стоит себе и стоит. Когда прямо у входа, когда уже внутри туалетного помещения, к стеночке поближе.

Что же до более серьезных дел, то такое сооружение несколько походило на туалет типа «сортир», какие в немалом количестве встречаются на необъятных просторах нашей Родины. Это было маленькое строение с довольно хлипкими стенами, где в деревянном полу вырезалось отверстие, только не круглое, а прямоугольное, и внизу не бездна, а деревянный ящик (российский

«дачный» вариант — оцинкованное ведро). Видимо, поэтому само действие так и называлось «сделать в ящик».

Но по сравнению с нашими дачами разница все-таки есть — никогда в Японии не пользовались ничем похожим на стульчак. Что же до исторической долговечности такой конструкции — то она дожила почти до наших дней.

Ну хорошо, сделал свое дело. А что дальше? — рука-то ведь сама собой к рулону туалетной бумаги тянется. Рука же японца могла тянуться в те времена к двум вещам: либо действительно к бумаге (но это только у людей богатых), либо к деревянной (бамбуковой) дощечке (теперь уже без всякой записи государственной важности).

Даже отхожее место не могло умерить страсти японцев к написанию инструкций. Вот, например, наставление Догэна, одного из патриархов дзэн-буддизма, которое он адресовал монахам в XIII веке (по своему решительному настрою напоминает суворовские инструкции своему войску).



Средневековый писсуар



«Отправляясь в отхожее место, бери с собой полотенце. Помести его на вешалку перед входом. Если на тебе длинная ряса окажется, повесь ее туда же. Повесив, налей в таз воды до девятой риски и таз держи в правой руке. Перед тем как войти, переобуйся. Дверь закрывай левой рукой. Слегка сполоснув водой из таза суднó, поставь таз перед входом. Встань обеими ногами на настил, нужду справляй на корточках. Вокруг не гадить! Не смеяться, песен не распевать. Не плевать, на стенах не писать. Справив нужду, подтираться либо бумагой, либо бамбуковой дощечкой. Потом возьми таз в правую руку и лей воду в левую, коей хорошенько вымой суднó. После этого покинь отхожее место и вымой руки. Мыть в семи водах: три раза с золой, три раза с землей, один раз — со стручками (стручки дерева *гледичия* ввиду своих бактерицидных свойств использовались при мытье вместо мыла). После чего еще раз сполосни руки водой».

Очень уж этот Догэн был строгий. Делай только так, а не этак. Но смотрел в корень: после восьми помывок руки все-таки почище станут. Кстати, если монах прерывал медитацию ради отправления большого или малого дела, то за это вообще-то полагалось колотить его палкой. Но в свободное от напряженной религиозной деятельности время — полная свобода! И, естественно, в каждом дзэнском храме общественный туалет существовал в качестве одного из предписанных каноном строений монастырского комплекса.

Дзэн не делает разницы между духовным и телесным — оттого и Догэн беззастенчиво смешивал «высокое» с «низким». В более позднее время в дзэнском туалете стали даже устраивать настоящий сад из крошечных камней — сидишь себе и любишь-ся, ни на какие глупости не отвлекаясь.

Это трепетное отношение к отхожему месту докатилось и до нынешнего дня. Последуем вслед за Танидзаки Дзюнъитиро, одним из самых «японских» писателей XX века: «Комнаты для чайной церемонии тоже имеют свои хорошие стороны, но японские уборные поистине устроены так, чтобы в них можно было отдыхать душой. Они непременно находятся в отдалении от главной части дома, соединяясь с ней только коридором, где-нибудь в тени древонасаждений, среди ароматов листвы и мха... Для достижения удовольствия нет более подходящего места, чем японская уборная: здесь человек, окруженный тихими стенами с благородно простыми деревянными панелями, может любоваться через окно голубым небом и зеленой листвой... Поистине уборная хороша и для того, чтобы слушать в ней стрекотанье насекомых и

голоса птиц, и вместе с тем самое подходящее место для того, чтобы любоваться луной... И если уж говорить о недостатках японской уборной, то можно лишь указать на удаленность ее от главной части дома, делающую неудобным сообщение с нею среди ночи и создающую возможность простудных заболеваний в зимнее время... Но я считаю, что приятнее, когда в подобных местах стоит температура не выше температуры внешнего воздуха. Как неприятны европейские уборные в отелях с их паровым отоплением и постоянно нагретым воздухом» (перевод М. П. Григорьева).

Мир древних японцев был буквально переполнен богами. Жили они и в горах, и в реках, и в море... Был свой «домовой» и у отхожего места, которому на каждый праздник Нового года совершались приношения японской лапшой или специально вырезанными для этого случая бумажными фигурками мужчины и женщины, что было призвано охранить человека от злых сил — ведь он действительно совершенно незащищен в момент отправления естественных надобностей.

Еще одна «обязанность», возлагаемая на божество, — забота о плодородии в самом широком смысле этого слова. Это и урожай, и деторождение. Беременной женщине предписывалось дочиста мыть туалеты — тогда ее будущий ребенок будет здоров и красив (в японском языке прилагательное *кирэи* означает одновременно и «чистый» и «красивый»). Первый церемониальный вынос новорожденного за пределы дома имел своими пунктами назначения колодец и туалет — так протаптывалась дорожка туда, куда ему придется ходить пешком всю жизнь по несколько раз на дню.

Связь между туалетом и плодородием, безусловно, не случайна. В условиях отсутствия полноформатного животноводства (о причинах — читаем в разделе про рис) фекалии были важнейшим источником повышения плодородия почвы. А земля в традиционном обществе, как известно, рассматривалась как эквивалент женского лона. Поэтому традиционно в Японии (как и в Китае) гостя всячески благодарили, если он (конечно же, из исключительно дружеского расположения к хозяевам) соизволил посетить отхожее место, внося, тем самым, свой вклад в повышение производительного труда земли.

В связи с этим становится понятно, почему «общественные» туалеты появляются в Японии достаточно рано. Во всяком случае, раньше, чем в Европе. Один из христианских миссионеров с большим удивлением писал в середине XVI века: «Тогда как европейцы стараются по возможности размещать уборные позади своих домов,

уборные японцев расположе- ны перед домом и доступны каждому». И власти тоже трогательно наставляли земле- пашцев: «Крестьяне должны заранее заготавливать удобре- ния. В особенности это каса- ется золы и экскрементов. В связи с чем уборные надле- жит строить большие и кры- тые, чтобы ямы не заливало дождевой водой».

Доиндустриальное обще- ство держится на сельском хозяйстве, а ему без удобре- ний никак нельзя. Так что если случайный прохожий твою уборную посетит, от этого хозяину только радост- но делается. А поэтому надо ее поближе к уличной части выставить. Прохожие ведь в те времена (да, впрочем, и сейчас тоже) были не слишком стеснительны, вполне могли и обочиной обойтись. И тогда ценнейшая органика в песок уйдет. Особенной простотой нравов отличались грубоватые и малооте- санные жители Эдо, на которых обитатели древнего Киото взира- ли несколько свысока. В самом-то Киото на каждом перекрестке бочки для этого дела стояли. И знаменитые киотоские краси- цы пользоваться ими у всех на виду совершенно не стеснялись. Однако мало-помалу и в Эдо пришли к выводу, что сбор отхо- дов деятельности человеческого организма в одном месте — дело намного более практичное. И гигиеничнее так получается, и уро- жайнее.

Дотошные японцы строго следили за тем, чтобы доход от сбо- ра нечистот распределялся «по справедливости». Если уборная была выставлена в доме, где проживал сам его владелец, то все со- держимое ее принадлежало, как правило, одному ему, даже если он пускал к себе жильцов. Если же дом был сдан целиком, то жид- кие нечистоты принадлежали арендатору, а твердые — домовла- дельцу. Причем доход домовладельца от торговли фекалиями пре- вышал арендную плату в полтора-два раза! Фекалиями торговали



Конный золотарь и его пешие клиенты

на рынке, меняли на рис. В первой половине XIX века за право выгребать в течение года фекалии одного взрослого человека давали 36 килограммов риса. Эти данные относятся к Киото, в котором тогда проживало, между прочим, 350 тысяч человек.

Стоит ли удивляться, что при таком отношении к нечистотам японские города были обеспечены общественными туалетами достаточно хорошо? На этот счет имеется статистика 1889 года: в Осака их насчитывалось около полутора тысяч.

Повышенное (с нашей, конечно, точки зрения) внимание, уделяемое традиционной японской культурой туалету и всему с ним связанному, наследуется и современным обществом, которое считает своим долгом самым тщательным образом заботиться об отхожих местах и думать об их совершенствовании. А это совершенствование происходит безостановочно — на протяжении более двух десятков лет, когда я лично имел возможность наблюдать эволюцию туалетного дела, оно постоянно прогрессировало. Одно лишь остается неизменным: никогда и нигде за посещение туалета в Японии не брали денег. Считается, что отправление этих физиологических потребностей так естественно, что брать за него деньги — настолько же странно, как и за пользование воздухом.

На моей памяти туалеты в личных домах японцев всегда были опрятны и чисты. Что же касается общественных, то двадцать лет назад еще вполне можно было встретить нечто привокзальное, входить куда можно было лишь затаив дух.

Ныне же картина изменилась кардинально. Чисто стало почти что повсюду. Даже в поездах, где, в отличие от наших, пользоваться туалетом можно даже на остановках, поскольку уже с 1964 года экскременты не проваливаются на полотно, а аккуратно собираются в специальную емкость где-то там, внизу — что лично у меня создает ощущение путешествия на самолете.

Тем не менее туалет считается японской культурой по определению местом грязным. И в самом частном доме (квартире) перед тем, как переступить его порог, вы обязательно меняете одни тапочки на другие, хотя теперь это переобувание потеряло всякий гигиенический смысл. Если вы находитесь в истинно японском ресторане, где едят, сидя на покрытом циновками полу, — то же самое. Осознание нечистоты этого места до сих пор никак не позволяет японцам (и это при настоящей страсти к экономии пространства) строить квартиры с совмещенным санузелом.

Общественный туалет — институт демократический. В этом смысле он напоминает баню. При всей серьезности японцев и проистекающем отсюда некотором дефиците бытового юмора

(разумеется, если подходить к жизни с нашим зубоскальством) одну из лучших японских шуток я услышал именно здесь.

Это было во время одного праздника, посвященного местному божеству. Хотя дело происходило ночью, все население городка вкупе с любопытствующими туристами находилось на улицах, и туалет возле станции испытывал явную перегрузку. Мужчины находились в умеренном поддатии и раскрепощении. Когда я сам очутился уже у места назначения, то услышал сзади вполне задорный голос: «Эй вы, там, впереди! Нас здесь много, отливай по половине!»

Чистота настолько прочно вошла в повседневный быт, что стандартный японец формирует свои впечатления от зарубежных странствий, отталкиваясь именно от туалетов. И если вы спрашиваете: «Ну как вам понравилась Россия?», то откровенный человек первым делом начинает говорить не о Третьяковской галерее, а отвечает: «Сортиры там грязные». И тут уже Достоевский и Оружейная палата оказываются бессильны.

Стандартный современный японский унитаз представляет собой продолговатую белую раковину, вмонтированную в пол. Говоря русским языком, вы усаживаетесь на этом приспособлении «орлом». В последнее время, правда, стало появляться все больше конструкций европейского типа. Общая приверженность японцев к письменным инструкциям (вечная память Догэну!) сказывается и здесь: в каждом из подобных туалетов обязательно имеются две трогательные картинки с раздельными объяснениями: для большой нужды и для малой (для мужчин пиктограмма настоятельно рекомендует откинутое сиденье).

Однако туалеты европейского типа («сидячие») привились по преимуществу в частных домах (55 процентов) и квартирах (92 процента), где все — свои, и зараза к заразе не пристанет. И поскольку японцы при всей общей своей нестеснительности (справить малую нужду среди бела дня на улице не считается вопиющим нарушением общественного порядка как гражданами, так и полицией) стараются избегать любого рода касаний с посторонними (самый очевидный пример — отсутствие крепкого мужского рукопожатия, заменяемого разной глубины поклонами), то и стульчаку не оказалась места в японском общественном пространстве.

Некоторые нынешние туалеты неподготовленного человека просто пугают. Вы входите в белоплиточный дворец (ну это еще ладно), в котором тихо играет классическая музыка (подумаешь!) и пахнет свежепроизведенным шампунем (эка невидаль). Но

далее вы не можете не содрогнуться: над каждым писсуаром вмонтирован некий красный глаз, горящий неизъяснимым таинственным светом в приятном полумраке. Вы подходите к нему, потом отходите, и вмиг поток воды смывает то, что вы после себя здесь оставили. Ошарашенно приводя себя в порядок, вы медленно понимаете, что загадочный рубиновый глаз — это датчик, который «засекает» ваше приближение к месту действия и после оставления оно приводит в движение систему смыва.

Но даже после этого облегчающего душу открытия чувства остаются в некотором беспорядке, ибо вы (может быть, это относится только ко мне?) явственно ощущаете, что за вами кто-то постоянно наблюдает, и даже в туалете невозможно достичь приватности.

Бывают еще туалеты с воздушным подогревом сиденья. И с омовением при нажатии спускового крючка вашего «телесного низа» теплой водичкой. Зимой в конструктивно холодном японском доме это бывает нелишне. Да и мало ли что еще... Ну хоть бы туалетная бумага с уроками английского языка (важно, чтобы она была действительно персонального употребления — а не то из-за своих домашних придется пропускать занятия). И между прочим, туалетная бумага (не только с уроками, а вообще) изготовлена так, что растворяется в воде. Для очистных сооружений — очень удобно, но не вздумайте бросить вниз хоть что-нибудь другое (даже туалетную бумагу, изготовленную в другой стране, которую вы предусмотрительно захватили с собой, собираясь в дальнейшее путешествие). Иначе вас ждет вульгарный засор и последующий культурный позор. А местный «дядя Вася» (Танака, или как там бишь его?) слупит с вас не на немедленную бутылку (он выпивает, но исключительно вечерами), а намного больше.

Но если честно, то все эти туалетные «штучки» меня больше пугают, чем радуют. На самом деле, воистину глубокое впечатление произвело на меня совсем другое устройство, ибо в нем с наибольшей полнотой нашло прочно укоренившееся в японцах стремление к рационализации околотелесного пространства. Смысл этого устройства в том, что спусковой рычаг бачка имеет два положения: первое рассчитано на малую нужду, второе — на большую. Соответственно этому при спуске обеспечивается поступление разного количества воды. Но это еще не все. Верхняя крышка фаянсовой бачки имеет вид раковины. Над ней расположен кран. В тот момент, когда вы спустили воду в унитаз, из крана начинает литься вода. Поскольку она поступает не непосредственно в бачок, а сначала на его верхнюю крышку в форме раковины,

расположенной на уровне живота, то у вас есть возможность вымыть руки, прежде чем вода поступит в бачок — для уже повторного использования. И руки действительно моют. Но почему-то без мыла, что несколько осложняет доказательство выдвинутого мной тезиса о необыкновенной чистоплотности японцев. Впрочем, все вокруг уже настолько чисто, что прикосновение к чему бы то ни было, возможно, и не требует генеральной уборки «рабочих поверхностей» собственного тела?

Словом, если вы вдруг проснулись среди ночи по нужде и спросонок не можете разобрать, в какой стране находитесь, то, открыв дверь искомого заведения, по конструкции вышеописанного устройства немедленно поймете — это Япония.

Впрочем, пошли разговоры, что WC (water closet), то есть туалет со смывным устройством, уже принадлежит прошлому (воду беречь надо), и что на смену грядет DC (dry closet), «туалет сухой», или же «биологический», где все нечистоты будут уничтожаться прямо на месте с помощью микроорганизмов.

Хорошо бы не дожить до тех времен, когда такая переработка будет вестись с помощью какой-нибудь таблетки непосредственно в организме...

Татуировки

ХРИЗАНТЕМЫ, ДРАКОНЫ
И МОЛИТВЫ



Все европейцы используют для обозначения подкожной инъекции краски чужое слово — татуировка (только некоторые особо важные ученые мужи предпочитают труднопроизносимое «дерматогRAFия»). Впервые этот термин — «татуировка» — был вроде бы зафиксирован капитаном Куком в 1769 году на Таити. Кажется, именно с тех пор морячки и полюбили себя раскрашивать. Когда долго плаваешь (служишь в армии, «мотаешь срок») в исключительно мужской компании, чего только над собой не сотворишь...

У японцев же есть свое слово — *ирэдзуми*. Переводится вполне доступно — «инъекция туши». У многих народов принято украшать себя татуировкой. Но у японцев уж очень замечательно выходит. Не оторвешься. Словарь Брокгауза и Ефрона, к примеру, отзывался вполне восторженно: «Наиболее совершенные образцы представляет Япония, где татуировка носит печать такой же высокой художественности, как и японская живопись; татуировка японского простолюдина по яркости и изяществу производит иллюзию дорогого гобелена».

Это сказано о XIX веке, когда татуировки были распространены достаточно широко. Но заходя в японскую баню теперь, часто можно увидеть грозное предупреждение: «Лицам с татуировкой вход воспрещен». Оно и понятно — сейчас основными «носителями» разрисованного тела являются мафиози (*якудза*). Есть еще и вкрутую захиповавшая молодежь, но она-то как раз пользуется чаще всего не настоящими татуировками, которые на всю оставшуюся жизнь, а их бледным подобием — «переводными картинками»,

которые в той же бане и смыть можно. Как и всюду в мире, татуировка в нынешней Японии воспринимается как нечто ненормальное, чего стоит только остерегаться. Но так было не всегда.

Китайская «Хроника трех царств» (конец III века н. э.) повествует о том, что обитатели Японского архипелага использовали татуировку, которая покрывала все их тело, для того чтобы избежать проклятия бога моря. То есть считали, что рисунок, покрывающий кожу, может охранить от беды. Получалось нечто вроде неснимаемого амулета. На лицах древнеяпонских глиняных статуэток тоже виден некий рисунок, который можно принять и за татуировку.

Скорее всего, это было нечто вроде ритуальных татуировок у полинезийцев, маори и других «примитивных» народов, которые редко обходятся без них. При этом следует помнить, что обычай татуирования более распространен у южных, чем у северных народов, вынужденных покрывать свое тело одеждой чуть ли не круглый год. У чернокожих африканцев (при всей их любви к украшательству своего тела самыми разнообразными способами) татуировка особенно не привилась: не разглядеть ее на темном фоне.

В древности татуировку использовали для двух основных целей. Во-первых, в качестве некоей «визитной карточки» или средневекового герба — сложный рисунок может рассказать о происхождении человека, его родовой принадлежности и даже биографии: женат, трое детей и т. д. Кое-где отказавшегося татуироваться даже строго наказывали — все равно как совершенно беспаспортного гражданина. И, во-вторых, татуировка использовалась также в качестве наказания и для клеймения рабов — например, в Древнем Риме или Китае.

В любом случае татуировка (если она нанесена не просто для украшения) — это некий рассказ о важных событиях в жизни человека. Такая традиция «автобиографической» татуировки распространена как в нынешнем российском преступном мире (известно, что по количеству куполов на вытатуированной церкви можно определить количество «ходов» на зону), так и среди более законопослушных граждан (например, имя свое или возлюбленной).

А у некоторых племен Новой Зеландии была принята очень функциональная «наколка», изображающая карту окрестностей — чтобы ее обладатель всегда мог найти дорогу домой.

В общем, в древние времена татуировка была распространена очень широко. И все-таки сведения древних китайцев о своих

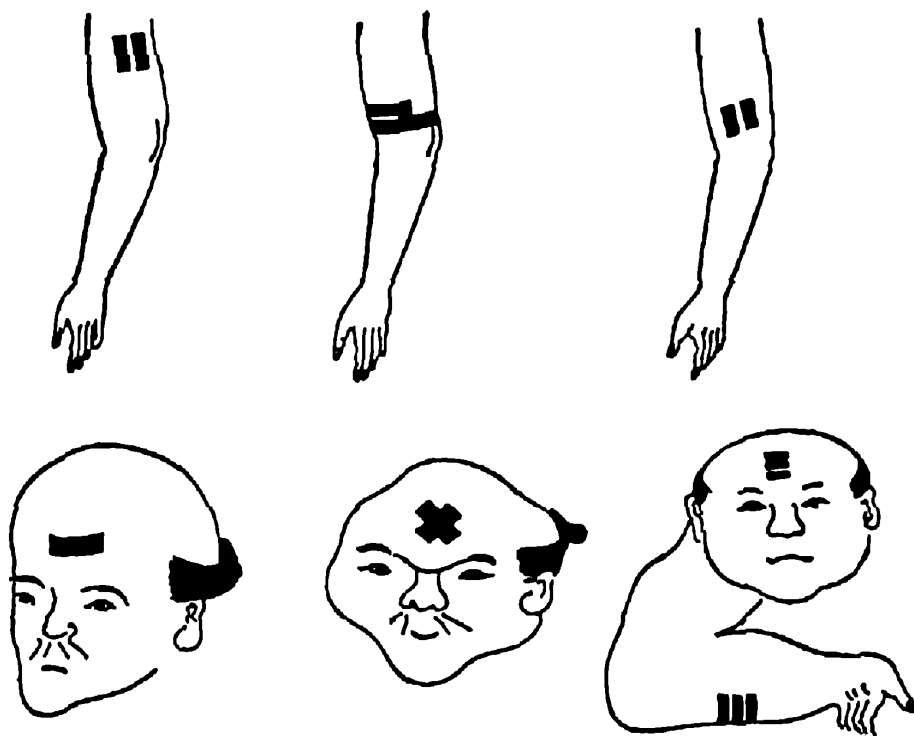
островных соседях следует воспринимать с некоторой осторожностью. Совершенно не исключено, что, отзываясь о японцах как о народе татуированном, китайцы таким образом давали понять (в основном, конечно, самим себе), что народ на Японских островах — весьма некультурен и сильно уступает обитателям настоящей «Поднебесной» по части изящных манер. Клеймить (подходящее для контекста слово, не правда ли?) любых иноземцев именно таким образом было у них в порядке вещей (в самом же Китае до 167 года н.э. было принято татуировать преступников и рабов). Еще китайцы любили повторять о «варварах», что они настолько бескультурны, что даже рис не выращивают и пищу руками хватают без употребления палочек.

Другие ранние письменные данные, теперь уже собственно японские, но VIII века, свидетельствуют о том, что и в японской древности татуировка якобы использовалась как средство наказания преступников. Причем одному из заговорщиков, задумавшему свергнуть законную власть, татуировку нанесли прямо возле глаз: чтобы всякий знал, с каким ужасным преступником ему приходится иметь дело.

Однако более поздние источники относительно татуировок дружно умалчивают. Или действительно такого поветрия не было, или же ревнителям словесности такие мелочи быта населения не казались достойными упоминания. На самом-то деле им многое важным не казалось, а потому и мы об этом многом можем только догадываться.

Достаточно полные сведения о применении татуировок мы имеем приблизительно с XVII века, когда японцы вовсю заговорили не только об «изящном». Источники сообщают, что в это время в разных районах Японии преступников стали отделять с помощью татуировок от остального законопослушного населения. И причем в разных провинциях и княжествах метили по-разному. Это могла быть и собака на лбу (в весьма бедном словаре японских ругательств «собака» — одно из самых страшных); и круг на левом плече; и двойная линия вокруг бицепсов левой руки (за каждое следующее преступление прибавлялось по линии) и иероглиф «аку» — «злодей». Так что сразу же можно было без труда определить, какое и сколько было совершено преступлений. А чаще всего такая татуировка наносилась на внутренней поверхности рук.

Наказание татуировкой почиталось весьма тяжелым, ибо сразу выводило человека за пределы круга нормального законопослушного общества. При той строгости нравов, какая царила в то



Так метили преступников в разных частях Японии

время, с преступником не желал знаться никто. А местные полицейские частенько заглядывали в общественные бани — не моется ли там кто-нибудь из преступного элемента? Так что неприятие нынешними банями татуированных имеет за собой весьма длительную историю.

Однако в скором времени, к концу XVII века, татуировка стала не только средством наказания — она приобрела еще и характер моды. Некоторые ученые предполагают, что это произошло (хотя бы и отчасти) ввиду желания преступников спрятать «клеймо» под другой, более изощренной, татуировкой. По крайней мере достоверно известно, что настоящие «модники» тщательно избегали покрывать татуировкой именно внутренние поверхности рук — для доказательства своей непричастности к криминальному миру.

Татуировка была делом обычным и в среде куртизанок. Причем татуировались не только они сами, но и их любовники, пожелавшие связать с ними свою судьбу. При всей легкомысленности своей профессии японские куртизанки предпочитали мужчин постоянного нрава, и литература того времени частенько повествует о драмах настоящей любви, случившейся между проституткой и одним из ее постоянных клиентов. (Заинтересовавшиеся могут прочесть про это в специальном разделе, посвященном обитательницам «веселых кварталов».) Самой простой татуировкой возлюбленных были «родинки», наносившиеся на руки таким

образом, что при сцеплении ладоней они взаимно покрывались большими пальцами, что было возможно только при одновременном татуировании.

Существовали и любовные надписи. Обычно они сводились к предельно лаконичным выражениям верности: имя возлюбленного (возлюбленной) с последующим иероглифом *иноти* — «судьба», что должно было означать определенную серьезность намерений. Русский эквивалент — «любовь до гроба».

Веселые обитатели Эдо не упускали возможности посмеяться. Так, в одном из романов того времени рассказывается о незадачливом богаче, которому никак не везло в любви. Поэтому для повышения собственного имиджа он вытатуировал несколько десятков женских имен на обеих руках и даже между костяшками пальцев. Для того же, чтобы его амурная автобиография выглядела более правдоподобной, он стал сводить часть этих имен с помощью прижиганий. Чтобы все знали, сколько любовей у него в жизни было. А с этими-то, выжженными, у меня, мол, уже навсегда покончено. При встрече с друзьями он повторял: «Эх, сколько ж боли надо претерпеть, чтобы великим любовником стать!»

Помимо любовных надписей, другим распространенным видом словесного граффити на коже были ключевые фразы буддийских молитв. Люди, разумеется, надеялись, что это им в «другой» жизни сможет помочь. В Европе благочестивые христиане тоже



Татуировка с текстом буддийской молитвы

не пренебрегали случаем, чтобы «пострадать за веру», и всячески истязали по этому случаю свое тело, но до нанесения на кожу «Отче наш» вроде бы не додумались. Разве только распятием могли похвастаться.

Несмотря на то что режим Токугава отнюдь не приветствовал татуировки и неоднократно выпускал гневные указы о необходимости прекращения этой глупой практики, особого воздействия это не возымело. Нравилось это японцам, и все тут.

Середина XVIII столетия отмечена настоящим расцветом культуры татуировок. Именно в это время и складывается тот канон, который известен нам ныне. Помимо помянутых проституток, татуировками стали покрывать свое тело артисты, люди тяжелого физического труда, приверженцы азартных игр.

Не знаю как у кого, но у меня складывается впечатление, что всем им приходилось довольно часто раздеваться. Одним — для выхода на сцену, другим — в случае неминуемого проигрыша, третьим — ввиду общего перегрева организма от мускульного напряжения.

Замечательные художники регулярно запечатлевали обнаженное тело на своих цветных гравюрах. Поэтому о татуировках того времени мы имеем вполне наглядное представление. Что же до самих хозяев тогдашней жизни — самураев, то им как людям военным украшение своего тела казалось делом излишним. Впрочем, понять их можно — им своего выбритого до синевы лба и двух мечей за поясом и так хватало: они уже и так были отмечены.

Предание гласит, что одними из первых приобщились к татуировкам пожарные в столичном Эдо. Пожары были настоящим бичом этого огромного (более одного миллиона жителей!), целиком деревянного города. Люди говорили про Эдо: «Без пожаров да без драк — как без цветиков». Было даже принято поздравлять друг друга с туманной ночью, поскольку пожары при такой погоде не столь часты.

Для того чтобы лучше почувствовать вкус столичной жизни, отвлекусь немного от самих татуировок и расскажу об их обладателях — пожарных.

«Нормальные» горожане в пожарные идти не очень-то хотели, и потому городским властям приходилось поначалу нанимать всякий маргинальный сброд — строительных рабочих или лиц без определенного рода занятий, которые не принадлежали ни к одному из официально признанных общественных классов — самураев, земледельцев, ремесленников и торговцев (остальных же считали социально дефективными). И было этих пожарных весь-



Пожарная команда

ма много — 48 бригад (по числу знаков японской азбуки) общей численностью около десяти тысяч человек.

Нужно сказать, что репутация пожарных была сильно подмочена — люди судачили, что еще неизвестно, что наносит им больший ущерб: сами пожары или пожарники при его тушении. Как это ни странно, но реноме пожарных пострадало не из-за используемой ими при тушении воды. Без воды, конечно же, не обходилось, однако главным способом борьбы с огнем была не она, а возможно более быстрое разрушение как самого загоревшегося дома, так и соседствующих с ним.

И так-то дерево хорошо горит, да еще и правительство построило Эдо не слишком удачно с противопожарной точки зрения. Прошлые столицы воздвигались для жизни мирной: широкие улицы пересекались под прямым углом — так удобнее и путешествовать по ним, и дом нужный искать. Однако токутавских генералов мучила совсем другая забота: как бы от врагов половчее оборониться. А для того улицы в Эдо были специально построены кривыми и предельно узкими — чтобы пуля, стрела и вражеская конница не смогли там разгуляться. Потенциальному противнику это, конечно, не понравилось бы (правда, почти за три века его так и не сыскалось), а вот для бытового пламени вышло очень благоприятно: любая оплошность приводила к катастрофическим последствиям.

И какие только предосторожности не принимались! Даже правительственные вспомоществования раздавали — только чтобы

горожане свои крыши противопожарной черепицей крыли. Потом решили, что и черепица нехороша (под ее тяжестью гибли люди), и издали указ перейти к деревянным крышам, покрытым глиной. Но все было напрасно: в среднем раз в шестьдесят лет случались пожары, носившие характер настоящей столичной катастрофы, раз в двенадцать — вполне опустошительные. Не говорю уже о бедствиях районного масштаба. Тем не менее город упорно отстраивался вновь в расчете на вторжение потенциального неприятеля, обходясь мерами пожарной полубезопасности.

К наиболее экзотическим мерам, призванным хоть как-то смягчить последствия пожаров, следует отнести строительство двух огромных кораблей, которые за их размер и черный окрас окрестили «китами». На каждом из этих «китов» совершенно спокойно могла разместиться тысяча человек. Корабли стояли на приколе на реке Сумидагава. Предполагалось, что в случае пожара обезумевшее население будет искать спасения от пламени именно на них: площадей в городе, по тем же самым оборонным соображениям, предусмотрено не было. Однако деревянные корабли подгнивали чересчур быстро, и их пришлось заменить на множество лодок вместимостью в двадцать-тридцать человек каждая.

Таким образом, сёгунат проявлял о горожанах постоянную заботу, оберегая их не только от врагов, но и от пожаров. «Киты» же его были сродни нашей царь-пушке, которая тоже оказалась великовата для ведения боевых действий.

Так или иначе, но пожарники без работы не оставались. Сами они очень гордились своим истинно мужским занятием (еще бы — на самих борцов сумо с дракой ходили) и в качестве подтверждения своего бесстрашия стали покрывать татуировкой почти все свое тело (работали они, между прочим, по преимуществу голыми). Свободное от татуировки место составляло только лицо, часть рук — от локтя и ниже, и ног — вниз от бедер. В результате получалось нечто вроде купального костюма конца XIX века.

Поскольку пожарные делали свое дело, будучи облачены лишь в набедренные повязки, всякий мог наблюдать, как они были разрисованы. Каждая бригада пожарных имела свой «фирменный» стиль, и по нему одному можно было легко вычислить, кто лучше тушит пожар. Так и слышу столичный пересуд: «Эти-то, в “хризантемах”, никуда не годятся. Вот если бы “драконщики” прикатали — совсем другое дело».

Вслед за пожарниками стали татуироваться и представители других «низких» профессий. Торговцы рыбой рисовали на своем

теле рыбок, гейши — плектр для игры на своем любимом трехструнном *сямисэне*, проститутки — краба (символ цепкости, необходимой при заманивании клиента), профессиональные игроки — кости или карты. С помощью татуировки можно было обозначить и некоторые подробности своей биографии. Так, чарка для сакэ обозначала, что человек с этим делом «завязал».

Проводились и настоящие «конкурсы красоты» татуированных — с определением победителей и раздачей призов. Вот некоторые примеры татуировок, вызвавших особое восхищение зрителей. Паутина, которая покрывала всю спину. Причем одна из паутинок спускалась вниз по правой ноге вплоть до лодыжки, где притаился сам паук. Или «перекинутое» через плечо полотенце с изображением на ягодице кошки с поднятой лапкой: при ходьбе кошка начинала «ловить» конец этого полотенца.

Увлечение татуировками самого разного рода стало настолько повальным, что одной из диковинок Эдо стали считать «трудягу» без татуировки. А когда в 1868 году часть самураев подняла мятеж против официальных властей, то одним из способов остаться целым и невредимым при выяснении твоей подозрительной личности было предъявление полицейскому своей татуировки — поскольку самураи никогда до нее не «опускались».

После падения военно-самурайского режима Токугава, который держал страну закрытой от мира целых два с половиной века, в Японию зачастили иностранцы, дорвавшиеся наконец-то до свободной торговли. Новые же гражданские власти страны были весьма обеспокоены тем, чтобы их народ не выглядел смешным в глазах европейцев и американцев. А посему и все «нецивилизованное» выметалось поганой метлой.

В частности, это коснулось и обычая татуироваться. Гражданский режим Мэйдзи был намного дееспособнее сёгуната в его последние застойные годы. И его запрет татуироваться соблюдался значительно строже. Так что для мастеров этого дела настали тяжелые времена.

Но японцы могли приказывать только японцам. Европейцы же под действие закона не попадали. Конечно, главными клиентами мастеров татуировки были моряки. Однако и гораздо более важные персоны также обращались к их услугам. Известно, что среди них были и будущий король Великобритании Георг V, и посетивший страну в молодости будущий российский император Николай II, и даже королева Греции Ольга...

Однако для японской культуры в целом «эпоха татуировок» была закончена.

Но в Японии то, что было когда-то начато, окончательному искоренению подлежит с большим трудом. И даже сегодня существует Общество любителей татуировок, которое регулярно проводит свои «сессии» (обычно на горячих источниках, где можно без помех продемонстрировать единомышленникам красоты своего «живописного» тела).

Настоящие мастера традиционного татуировочного дела есть и сегодня. Круг их клиентуры ограничен, но это истинные художники: работают они по старинке, никаких ускоренных методов не признают, воротят нос от посетителя «с улицы». Мол, будьте добры, приходите с рекомендацией. Поэтому и количество их «шедевров» весьма ограничено. Один из известных мастеров татуировочного дела признавался, что за всю жизнь ему удалось раскрасить только около ста человек.

А уж если все вышло как надо, тогда мастер оставляет свою подпись на теле татуированного. Как же, профессиональная гордость. И от этой подписи до самой смерти никак уже не избавиться. Причем в компонент его имени (а вернее, артистического псевдонима) всегда должен включаться иероглиф *хору*, означающий: «вырезать, делать татуировку».

Для нанесения татуировки у разных народов используются разные инструменты. Главное требование — чтобы конец у этого орудия был острый. На Таити — это деревянный инструмент, напоминающий острую щепку. У маори — это кость. В Японии — связка игл. Число их колеблется от двух до двенадцати. Делаются они чаще всего из бамбука, но бывают также деревянные и костяные.

Разумеется, всякая татуировка уникальна и не может быть воспроизведена в следующий раз с абсолютной точностью. Однако существуют темы и мотивы, которые стали нормой еще с XVIII века. Таких мотивов на самом-то деле не так уж много. И здесь местные татуировки демонстрируют нерасторжимое единство с культурой в целом.

Виды японских татуировок могут быть сведены к следующим категориям: цветы, животные, религиозные мотивы, кое-какие герои старины.

На первом месте стоят все-таки цветы, воспетые в поэзии и растиражированные в живописи. Пышноцветущий пион олицетворяет собой богатство и удачу. Хризантема как растение, долго цветущее несмотря на наступившие осенние холода, призвана обеспечить ее носителю долгую жизнь (кстати говоря, не к «низменной» татуировке будь сказано, именно хризантема с шестнад-



Торговля изображениями
карпов

цатью лепестками является гербом японского императорского дома). И наоборот: сакура, цветущая по-настоящему только день или два, символизирует быстротечность жизни и спокойное к такой краткости отношение. И, наконец, японский клен — листья его гораздо меньше нашего, но зато алеют много ярче.

Из татуировок животных пользовались популярностью изображения тигра и дракона. Чего уж там говорить — каждый из них страшен по-своему, так что особых объяснений не требуется. Несколько сложнее обстоит делом с обитателем подводного царства — карпом. Как это ни странно на наш европейский взгляд, но карп на Дальнем Востоке считается годным не только на жаркое: он олицетворяет собой стойкость и мужество (нечто вроде татуировки орла в евро-

пейской традиции). Говорят, он умеет очень ловко плавать против течения и даже преодолевать пороги, а если уж его отловили, то будет совершенно бесстрастно ожидать своей участи на разделочном столе. Этот стоицизм был настолько почитаем, что именно карп стал символом «праздника мальчиков» (некое подобие обряда инициации), отмечавшегося 5-го дня 5-й луны (а ныне — просто 5 мая), когда полагалось поднимать на шестах матерчатые изображения карпов, которые мужественно развевались на ветру к полному удовольствию их изготовителей.

Среди религиозных мотивов преобладающими являются буддийские. Это и молитвы, о которых уже говорилось, и полноформатные изображения. Однако сам Будда не является героем этих картин (в отличие от Христа в терновом венце в западной традиции). Японцы изображают Нио — двух мощных божеств довольно страшной наружности, предназначением которых



Охранитель вероучения
Будды



Фудо — охранитель рая

является защита учения Будды от всяческих посягательств.

Другим популярным персонажем этого типа является бодхисаттва Каннон, которое в Индии, на родине буддизма, как и все бодхисаттвы — существо бесполое, но в Китае и Японии приобретшее вид богини милосердия.

Чрезвычайна колоритна фигура Фудо — охранителя буддийского рая, держащего в правой руке объятый пламенем меч, а в левой — веревку. Меч нужен ему, чтобы расправляться с врагами учения, а веревка — чтобы вытягивать с ее помощью из беды тех, кто в том нуждается.

Один из основных признаков татуировки по-японски состоит в том, что она покрывает собой бо́ль-

шую часть тела. Чтобы полностью удовлетворить клиента, мастер тратит около полутора лет. Дело в том, что нормальный человек выдерживает под иглой около часа. Вот и посчитайте — подкожное воспаление проходит через неделю, а для нанесения полноформатного цветного изображения требуется около пятидесяти сеансов. Ну, и всякие непредвиденные обстоятельства тоже бывают. Такие, например, как лето — мастера его очень не любят, поскольку ввиду усиленного потоотделения вводить краску под кожу намного хлопотнее.

Поэтому-то некоторые не слишком терпеливые клиенты заканчивают дело на полпути, когда нанесен только контур, и избегают раскрашивания — процедуры наиболее болезненной. Традиционные цвета для раскрашивания (никакой «химии» — только растительные и минеральные краски) — это черный (под кожей становится синим), красный и коричневый.

Раскрашивание — действительно самый трудный и ответственный этап. Если следовать традиционным канонам обучения, то ученику-татуировщику следует прежде провести долгое время, держа «на игле» не человеческое тело, а *дайкон* — японскую редьку (длиной этот корень сантиметров тридцать, а бывает и больше). Иначе ничему путному не научишься. Рассказывают также (это

такая специальная страшилка), что неумелый мастер татуировочных дел специально подмешивает в тушь кокаин, чтобы притупить боль от своих неловких действий.

Существуют и так называемые «невидимые» татуировки. Для них используются пигменты телесного цвета, которые проявляются только после принятия горячей ванны или в случае общего покраснения кожного покрова при избытке выпитого (для загадочного русского организма такой вариант сокрытия татуировки как-то сомнителен — наш человек или всегда красный, или — никогда).

Конечно, любоваться каким-нибудь пионом на своей коже — дело милое. Следует, однако, иметь в виду, что татуировка нарушает структуру эпителия — татуированными местами человек уже больше не потеет, зато потеет всем тем, что еще не разрисовано. То есть ты как бы находишься в шкуре кошки, которая, как известно, умеет потеть только подушечками на лапках. Нечеловеческое, наверное, ощущение.

А кроме того, наблюдается и еще один побочный эффект. Ведь татуированная часть тела холодна даже в самую невыносимую жару. Так что жены сильно татуированных мужчин знают: находиться с ними в одной постели — все равно, что рыбу под одеялом пригреть. Ну а уж если вся супружеская пара татуирована с ног до головы... Даже подумать страшно.



Богиня милосердия Каннон

Любовь

БОГИ И БОГИНИ,
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ



Миф — это воспоминание о том, как обстояли дела «в Начале». Эти воспоминания входят в плоть общества и очень во многом определяют, каким оно становится. Европейцы (во всяком случае, большинство из них) всю свою историю (за исключением нескольких последних десятилетий) вспоминали, сдается мне, прежде всего о первородном грехе и только и делали, что поплотнее запахивали одежды — не дай Бог кому-нибудь увидеть хоть кусочек никогда не обласканной солнцем кожи.

Не удивительно, что первые миссионеры, приплывшие в Японию в XVI веке, с содроганием писали, что в этой стране потеря девственности до брака отнюдь не считается чем-то греховным, а сама потерявшая ее отнюдь не лишается шансов на полноценный брак с другим человеком. Вот и Фрейд произвел впоследствии на европейцев такое сильное впечатление, поскольку открытые им сексуальные «комплексы» имеют на самом-то деле не только общечеловеческое, но в значительной степени исключительно европейское происхождение. Что и говорить — наболело.

О чем же вспоминают японцы, когда речь заходит о первом мужчине и первой женщине?

Первые мужчина и женщина — это бог Идзанаги и богиня Идзанами. Неизвестно, каким образом они появились на свет. Зато известен воспоследовавший за этим трогательный диалог. Идзанаги: «Как устроено твое тело?» Идзанами: «Мое тело росло-росло, но есть одно место, что так и не выросло». Идзанаги: «Мое тело росло-росло, но есть место, что слишком выросло. Потому, думаю я, то место у меня на теле, что слишком выросло, вставить

в место, что у тебя на теле не выросло, и родить страну. Ну что, родим?» Идзанами: «Это будет хорошо!»

Так родились их дети, оказавшиеся островами Японского архипелага. Получается, что землю созидает не единый Творец (как в христианской традиции), а два божества, причем их соединение совершенно не воспринимается как нечто греховное. Наоборот — результатом вполне плотской любви оказывается космическое созидание. Не «это грешно и постыдно!», а «это хорошо!» — вот основная мысль, возникающая у японских возлюбленных при совокуплении.

Потому вся история отношений мужчины и женщины в Японии очень долгое время (приблизительно до XVII века) не носит никакого налета ханжества. Потребность в любви и интимных отношениях рассматривалась как нормальная потребность нормального организма, а исконная религия японцев — синтоизм — вообще никогда не знала такого важнейшего института европейского общества, как монашество. Следовательно, и о безбрачии тоже говорить не приходится.

Буддизм, правда, пытался навести здесь порядок — буддийские монахи должны были соблюдать целибат, но только, судя по всему, получалось это у них в Японии не очень хорошо. Все-таки синтоистско-конфуцианский идеал постоянно одерживал победу. А идеал этот — семья с многочисленными детьми, продолжателями рода. И потому буддийским монахам время от времени все-таки ставили в укор, что они призывают к разрушению семьи, а значит, и всего общества. В результате японцы выработали способ поведения, который удовлетворял всех. Очень многие из них жили полноценной жизнью в миру, любили, женились, рожали детей, воспитывали их, а уже после всего этого принимали монашество.

То внимание, которое уделяет японский миф взаимоотношениям между божествами женского и мужского пола (а они совокупляются постоянно, чтобы породить все сущее на земле), переходит потом и в художественную литературу (любовь — одна из основных ее тем) и в быт. В том числе и в самый современный. В самых что ни на есть детских телефильмах о животных рассказывается про их половую жизнь совершенно без всяких слюней и прикрас. Крупным планом. И ни у кого это не вызывает нездорового хихиканья.

Именно тщательной разработке любовной тематики во многом обязана своим блестящим расцветом литература эпохи Хэйан, когда любовь и связанные с нею переживания стали занимать выдающееся место в жизни аристократов, в их поэзии и прозе. И для этого

существовали совершенно реальные бытовые основания: безбедное житье, отсутствие войн, праздность. В этом городе «мира и спокойствия» у аристократов были все условия для того, чтобы предаваться любви и эту любовь надлежащим образом описывать. Собственно говоря, прозаических произведений, где бы любовь не была главным объектом внимания автора, почти не существует.

В любовном отношении замечательны и поэтические антологии. Слово «антология» при этом не должно вводить нас в заблуждение. В отличие от европейских антологий, куда попадают самые лучшие стихи самых лучших поэтов, японские антологии были устроены совсем по-другому. В них имелись рубрики, куда включались произведения тоже наиболее достойные. Но только с той существенной оговоркой, что это должны были быть стихи, которые наилучшим образом сочетаются с произведениями, расположенными по соседству с ними. Поэтому стихотворения, где чувства выражены с чрезмерной личностной окраской, туда попасть не могли. Для них существовали «личные сборники», авторитет которых, правда, не был столь высок. Еще бы! Ведь антологии эти создавались не когда и кому вздумается, а по специальному императорскому рескрипту, и поэтому их можно смело считать одним из главных символов тогдашнего государства и общества.

Так что стихи должны были быть не просто хороши сами по себе, но и наилучшим образом сочетаться друг с другом. Задача же составителей состояла в том, чтобы прочно «сцепить» их. Поэтому, между прочим, переводить эти антологии избирательно (как это случается, к сожалению, довольно часто), исходя исключительно из вкуса переводчика («вот это — хорошее стихотворение, а вот это — не слишком») — задача, поставленная изначально неправильно. Если уж переводить, так только целиком (в этом смысле образцовым следует признать перевод на русский язык антологии этого времени «Кокинвакасю» — «Собрание старых и новых песен»).

В различные времена рубрики антологий звучали несколько по-разному. Однако две темы являлись для них абсолютно обязательными. Это природа и любовь. Причем оба раздела были устроены одинаково — действие в них разворачивается от начала к концу. В природном цикле — начиная от весны и кончая зимой. В любовном — от зарождения чувства приязни к неизбежному (в японском аристократическом понимании) охлаждению любовных отношений. Вот, например, три стихотворения разных авторов, взятых из разных мест любовного раздела, но которые в совокупности рисуют динамику любовного чувства.

Ведь обитель моя
не в горных заоблачных высях —
отчего же тогда
в отдаленье тоскует милый,
не решаясь в любви признаться?

Сколько женщин ты знал!
Как шели в плетеной корзине,
их исчислить нельзя —
и меня, увы, среди прочих
позабудешь, знаю, так скоро...

Миновала любовь,
я, как рухнувший мост через Удзи,
никому не нужна —
скоро год, как этой дорогой
через речку никто не ходит...

Перевод А. Долина

Получается, что любовный раздел такой антологии — это нечто вроде поэмы, но только автором ее является не один человек, а целый «авторский коллектив». Да и лирический герой ее тоже не обладает именем. Что-то вроде «поэмы без героя».

Ну, а что касается хэйанской прозы... Почитайте в русском переводе хотя бы всемирно известную «Повесть о Гэндзи» Мурасаки-сикибу (XI век), и вам станет понятно, что японская средневековая литература сильно опережала европейскую по части глубины и психологической точности описания любовных отношений.

Следует иметь при этом в виду, что, несмотря на большую свободу отношений между мужчиной и женщиной, стихи и проза аристократов никогда не отличались чрезмерным натурализмом. Скорее наоборот: «телесные» проявления в этой литературе сведены к самому необходимому минимуму. И когда автор описывает женскую красоту, самое большее, что он позволяет себе — это отметить белый цвет кожи и длину гладко расчесанных волос, ниспадающих до пола. Похоже, этого было вполне достаточно, чтобы признать женщину красавицей.

Вообще говоря, именно красота окружающего мира была тем основанием, на котором строилось все здание хэйанской жизни. И желание наслаждаться этой красотой проявляется даже в самых, казалось бы, неподходящих ситуациях. Вот, например, что говорит Сэй-сёнагон, автор замечательных «Записок у изголовья»: «Проповедник должен быть хорош лицом. Когда глядишь на него не отводя глаз, лучше постигаешь святость поучения. А будешь смотреть по сторонам, мысли невольно разбегутся. Уродливый вероучитель,



Передача любовного послания

думается мне, вводит нас в грех» (перевод В. Н. Марковой).

Отношения между мужчиной и женщиной определялись неписаным кодексом поведения. Прослышав, что в такой-то семье есть девушка, пригожая собой и искусная в сочинительстве стихов (второе — обязательно!), мужчина или юноша направлял ей послание, в котором непременно тоже должны были содержаться стихи. В них высказывалась похвала ее красоте (хотя зачастую автор послания и в глаза не видел адресата) и достоинствам, а также нетерпение по поводу предстоящего свидания. Считалось приличным «привязать» послание к какому-нибудь растению,

напоминающему о том, какое сейчас на дворе время года — например, к ветке цветущей сливы.

В своем ответе девушка обычно писала, что не верит в искренность корреспондента, известного всем ветреника. Если его стихи оказывались неудачны, то это служило вполне весомым основанием, чтобы любые отношения были прерваны.

Такой обмен письмами мог продолжаться довольно долго. Известен случай, когда один аристократ посылал «прекрасной незнакомке» стихи, написанные на бумаге, испещренной каплями киновари, долженствующей означать кровавые слезы, проливаемые им в разлуке. Она же отвечала ему стихами вроде нижеследующего, где используется обычное для тех времен уподобление неверного мужчины кукушке:

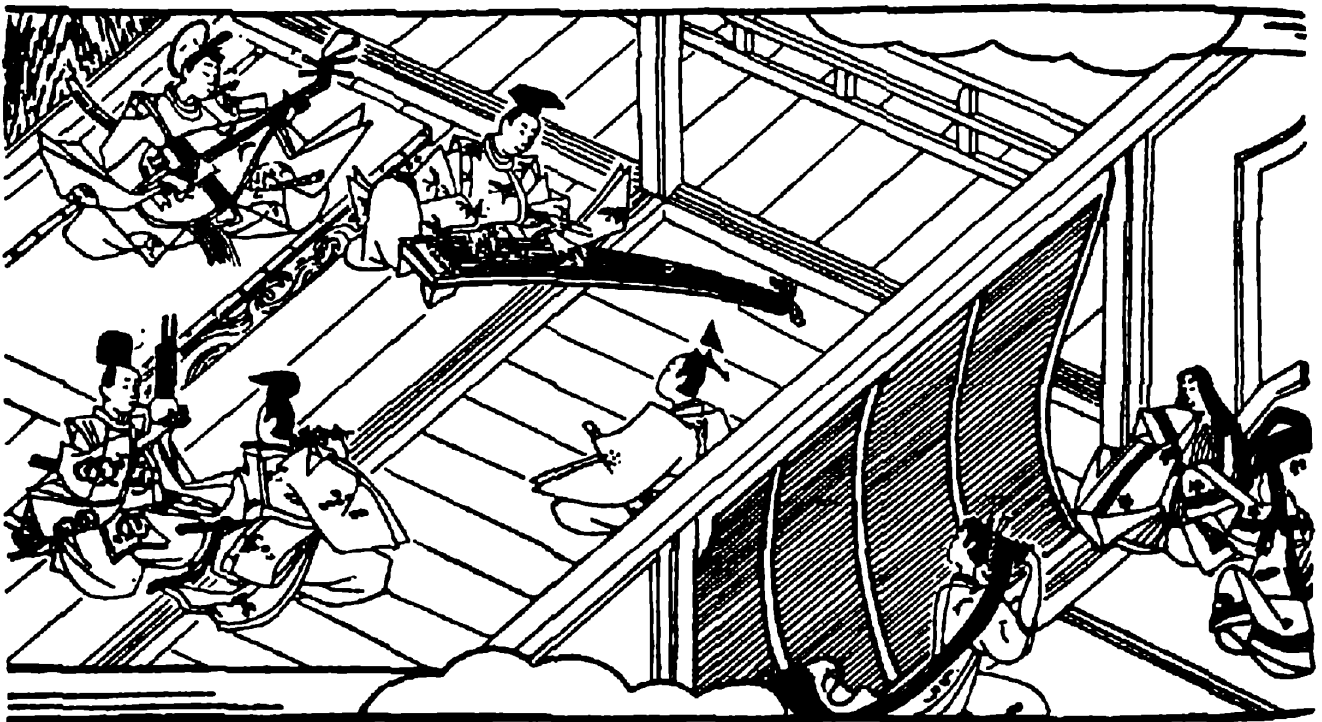
Во всех селеньях
Кукушка побывала, но...
Насколько хватит
Сил сердечных,
Я буду ждать ее.

После того как дама считала, что отвечающий приличиям срок томления выдержан, она соглашалась на свидание. Оно про-

исходило достаточно своеобразно: мужчина и женщина беседовали, разделенные занавеской, отгораживающей внутренние покои женщины. Так что ни о какой любви «с первого взгляда» не могло быть и речи. Зато влюбиться можно было «с первого слова» — лишь заслышав голос. Бывало, мужчина, впервые увидев свою любовь при дневном свете, с некоторым удивлением обнаруживал, что она вправду так же хороша собой, как он и представлял себе в стихах. Случались, разумеется, и разочарования.

Когда участники свидания удостоверились в обоюдной приязни, мужчина проводил ночь в доме своей избранницы и рано утром возвращался домой. Считалось, что он должен вернуться, пока никто не видит, где он провел ночь. Поскольку, однако, подобные посещения были делом обычным, то вероятность встретиться с каким-нибудь таким же гуленой была достаточно реальна.

Вот как описывается в «Записках у изголовья» сцена идеального прощания: «Когда ранним утром наступает пора расставанья, мужчина должен вести себя красиво. Полный сожаленья, он медлит подняться с любовного ложа. Дама торопит его уйти: “Уже белый день. Ах, нас увидят!” Мужчина тяжело вздыхает. О, как бы он был счастлив, если б утро никогда не пришло! Сидя на постели, он не спешит натянуть на себя шаровары, но склонившись к своей подруге, шепчет ей на ушко то, что не успел сказать ночью... “Как томительно будет тянуться день!” — говорит он даме и тихо выскальзывает из дома, а она провожает его долгим взглядом,



Свидание через занавес



Первое свидание при дневном свете

но даже самый миг разлуки останется у нее в сердце как чудесное воспоминание».

По возвращении домой кавалер был обязан непременно отправить поэтическое послание своей возлюбленной.

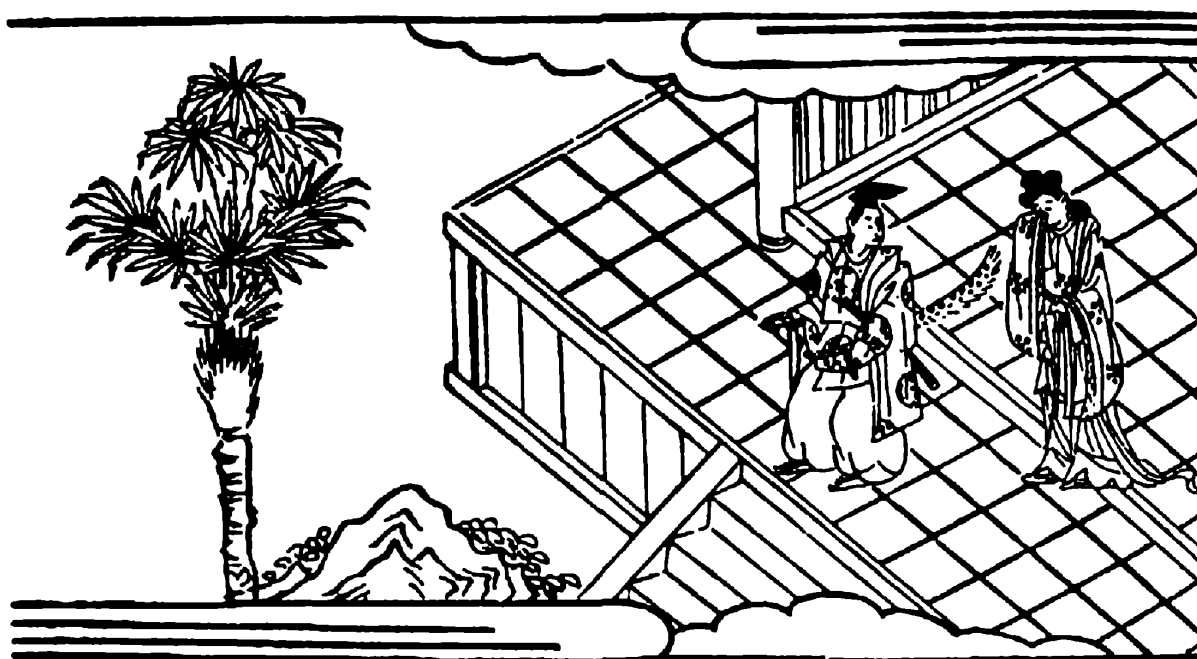
Если его ожидания не были обмануты, то он приходил во второй и в третий раз. В третью ночь для будущих супругов готовили рисовые лепешки — *моти*. Тогда же или несколькими днями позднее в доме невесты устраивалась трапеза, во время которой родители невесты впервые видели жениха. После этого брак считался заключенным. Никакой особо торжественной церемонии, закрепляемой религиозным обрядом с приглашением священников, похоже, не предусматривалось — дело-то житейское. Отныне муж получал право не возвращаться к себе по утрам, а за его гардеробом следили теперь в доме жены. Когда отношения между супругами упрочивались, муж мог переселиться к жене насовсем. А впрочем, мог и не переселяться. Это уж как получится.

Среди хэйанских аристократов ветреных мужчин было немало, и многие из них покидали жену (поскольку не играли свадьбу, то и никакого бракоразводного процесса предусмотрено не было), не прожив с ней и месяца. Во время его редких визитов родители жены спали, трогательно сжимая в руках его обувь, пытаясь с помощью этого нехитрого магического средства удержать мужа от скоропалительного бегства. Если же это все-таки случалось, то, как и в средневековой Европе, приличным выходом из ситуации считалось принятие монашества. Ослабленный вариант — посещение буддийского храма.

Получается, что хэйанские аристократы понимали брак своеобразно. Многоженство было вполне узаконено. Но это совсем не походило на ближневосточный или же древнекитайский гарем с присущими им женскими дразгами — когда женщины содержатся вместе под присмотром всемогущего евнуха. Каждая из жен (любовниц, наложниц — называйте как хотите) жила в своем доме, а муж — в своем. Он посещал их только ночами, причем женщины совсем не обязательно знали о существовании друг друга. Во всяком случае, наверняка. Аристократы шутили, что как бы ни была хороша жена, одной явно недостаточно, ну а если плоха — тогда и двух хватит.

Женщины, впрочем, тоже обладали достаточно большой свободой выбора — а иначе к кому бы тогда могли совершать ночами путешествия мужчины... Рискую вызвать возмущение феминисток, осмелюсь все-таки утверждать, что социальное положение женщины было достаточно высоким. С уверенностью можно говорить лишь о половом разделении в любовных делах и общественных функциях. Да и девочки в аристократических семьях были не менее желанными, чем мальчики — ведь выдав замуж свою дочь за высокопоставленного сановника (а такое случалось), семья могла резко повысить свой социальный статус.

Можно смело утверждать, что в то время именно женщины очень во многом определяли лицо эпохи, ее обыкновения. Мужчины совершенно спокойно предавались плачу, пластика их движений считалась совершенной, когда напоминала женскую.



Утреннее расставание

Назначение в военное ведомство считалось позором, да и прозвища мужчины носили вполне женские — скажем, «Благоухающий» или «Ароматный». Кстати, все прозаические произведения, о которых говорилось выше, написали тоже женщины.

Не слишком многочисленное (около 10 тысяч человек) высшее общество Хэйана вело спокойную и сытую жизнь, в которой получение удовольствия стояло чуть ли не на первом месте. Государственные дела были заброшены (даже хроники перестали вестись), в имениях своих аристократы бывали редко... Словом, все то, что не имело непосредственного отношения к нежным чувствам, интересовало их мало, и это, безусловно, является признаком серьезнейшего кризиса, который возникает там, где на первом месте стоит: «Я хочу!» Дело, однако, изменилось с приходом к власти воинского сословия — самураев.

Господство военных всегда означает общую маскулинизацию культуры, то есть первенство мужчины и открытую дискриминацию женщины. На смену изящным повестям Хэйана приходит воинский эпос, авторами которого были уже исключительно мужчины. В эту эпоху невозможно было даже вообразить, что когда-то, еще в VII—VIII веках, женщина могла, например, стать императрицей. Теперь она начинает рассматриваться по преимуществу в двух ипостасях — как объект сексуального наслаждения (возникают публичные дома) и как лоно, необходимое для продолжения рода.

Особенно заметно это стало вместе с приходом к власти сёгунов Токугава. Предназначением женщины становится безропотное угождение мужчине, а рождение дочери расценивается как несчастье. Вырабатывается и весьма строгий кодекс женского поведения. В одном из наставлений женщине с настойчивостью рекомендуется не терять над собой контроль даже во сне — она должна спать лежа на спине со сложенными вместе ногами и вытянутыми вдоль тела руками. А поскольку привыкнуть к этому не так просто, то следует прибегать к тренировкам, которые заключаются в связывании своих ног куском полотна.

В «официальной» художественной литературе этого времени на первое место выступает функция женщины как хранительницы семейного очага. Идеальная женщина предстает как верная подруга мужчины, готовая переносить вместе с ним любые лишения. Она должна быть предана своему мужу, как тот — своему господину. Главное в ней — верность долгу, а не свободные душевные проявления.

Надо ли говорить, что хэйанская словесность была к этому времени уже прочно позабыта? А если и вспоминалась идеологами «пути воина», то только недобрым словом — как пример преступной развратности, изнеженности нравов, полной утраты чувства долга. Поэтому не случайно, что Ямамото Цунэтомо, один из самых известных поборников «истинно» самурайского отношения к жизни, говорил, во-первых, о сладости любви невысказанной, неразделенной и, во-вторых, о том, что это должна быть любовь мужчины к мужчине (однородная любовь была явлением среди самураев достаточно распространенным).

Именно поэтому Лафкадио Херну, одному из английских первооткрывателей Японии XIX века, его пытливыми (это-то никуда не девалось) японскими учениками, которым он преподавал английскую литературу, был задан несколько обескураживший его вопрос: «Скажите, а почему в английских романах так много места уделяется любви, которая приводит к созданию семьи и в семье же проявляется?» Для мужской культуры Японии того времени этот вопрос был вполне уместен: никакой любви и нежности в семье быть не может, ибо она по определению предназначена для исполнения долга.

Нет, тогдашняя японская городская жизнь пуританством не отличалась (читаем про это в следующей главе), а сама литература была отнюдь не стеснительна — наоборот, намного более раскованна и эротична, чем синхронная ей литература европейская. Однако любовь понималась там скорее не как нормальное чувство, которому подвержены все без изъятия, но как проявление исключительных внесемейных обстоятельств; объектом изображения такой любви были почти всегда куртизанки. Стандартная этика не допускала проявления нежных чувств, а брак заключался по слову родителей. Поэтому когда реальная жизнь все-таки брала свое, в условиях строгих регламентаций и запретов это часто приводило к «двойному самоубийству» влюбленных (нет-нет, да и сейчас такое случается) — явлению, к западу от Японии практически неизвестному. И хотя правительство, заботясь о росте населения и считая причину такого самоубийства оскорблением общественной морали, старалось бороться с этим явлением (трупы выставляли на всеобщее обозрение, а в случае неудачной попытки влюбленных покончить счеты с жизнью их обращали в несвободных), особых успехов такая политика не принесла.

Этикетность женского поведения не исчезла еще окончательно и в наши дни. На европейцев японки производят самое благоприятное впечатление. Причина прежде всего в том, что западный

человек воспитан на превратно понятых идеях равенства полов, в результате которого женщина становится похожа на мужчину (короткой стрижкой, брюками, манерами и ненормативной лексикой), а мужчина — на женщину (длинной прической, серьгами и изнеженными руками). Один путешественник конца прошлого века с восторгом говорил так: «Соедините воедино светлый взгляд сестры милосердия и сердце неиспорченного ребенка — и вы получите представление о японской женщине!»

Готов повторить эти слова и в конце этого столетия.

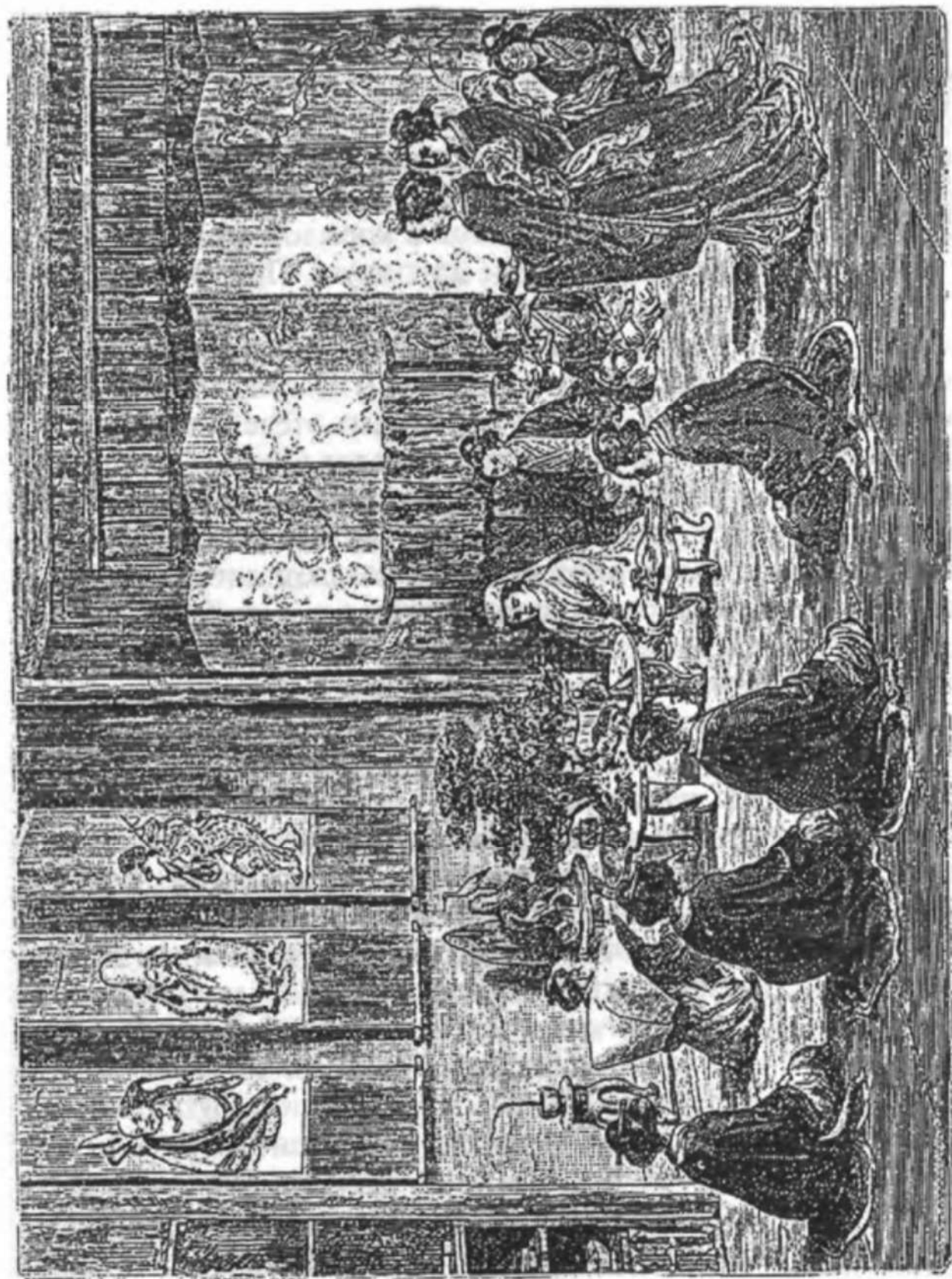
Кстати, почти все западные японисты-мужчины женаты на японках. Очень уж, видно, оказались увлечены предметом исследования. Ну и еще, конечно, она ему книжки иероглифические читать помогает — никакого словаря листать не надо.

Европейского мужчину легко понять — женка тебе и сготовит, и *икэбану* поставит (до сих пор курсы аранжировки цветов среди домохозяек очень популярны). К тому же японке при разговоре с мужчиной положено приветливо улыбаться. Всегда. Иногда, правда, это может поначалу приводить и к досадному непониманию. Когда я впервые очутился в Японии, моя добрая приятельница рассказывала мне об обстоятельствах гибели ее брата, попавшего в автомобильную катастрофу. При этом она улыбалась. Вполне приветливо. Поначалу по молодости лет я воспринял это как душевную черствость, и только потом понял, что правила приличия обязывают ее демонстрировать улыбку при любых обстоятельствах.

Интересна статистика межнациональных браков: европейцы с удовольствием берут в жены воспитанных, улыбчивых, обученных ведению домашнего хозяйства и редко перечаших мужу японок. Да и те, следует заметить, не будучи обласканы «родными» мужчинами какими-либо особыми знаками внимания, с удовольствием откликаются на предложение. Сам я неоднократно наблюдал, как какой-нибудь японский юноша, пригласивший девушку в кафе, развалившись в кресле, расслабленно перелистывает журналчик, в то время как она напряженно ждет от него хоть единого слова. В результате она слышит только одно: «Ну что, пошли отсюда?» Все-таки века, проведенные под пятою сёгунов, до сих пор дают о себе знать.

В то же время белые женщины редко отваживаются на то, чтобы взять себе в мужья японца — так отталкивающе действует на них высокомерное (по-европейски глядя) отношение к женщине.

Но все-таки, разумеется, большинство японских женщин имеют дело с японскими же мужчинами. Встает естественный вопрос: где же, собственно говоря, японцы занимаются любовью



Свадебный обряд. Гравюра сер. XIX в.

(я имею в виду время до заключения брака)? Их дома тесны, семейные нравы — по-прежнему достаточно строги (хотя, конечно, и тамошние родители тоже любят посетовать на то, что молодежь «не та пошла», распустилась).

На всякую потребность сфера обслуживания находит ответ. В стране существует чрезвычайно разветвленная система «любовных отелей», комнату в которых можно снять и на два часа, и на три, и на ночь... Хозяева не требуют предъявления удостоверения личности и — более того — заботливо следят за тем, чтобы клиенты выходили из своих апартаментов в коридор в разное время, чтобы они не смущались при виде друг друга. При этом посещение этих заведений не считается чем-то предосудительным. Юноша с девушкой, которые считают, что создание семьи (то есть обзаведение собственным домом и детьми) им пока что не под силу, могут пользоваться услугами «любовных отелей» годами.

Впрочем, частые свидания в таких отелях влетают в копеечку. И тут ввиду почти поголовной моторизации населения на выручку, естественно, приходит автомобиль. Дом, в котором я пишу сейчас эти строки, расположен на самой окраине Киото, и за мной уже никто не живет — дальше только горы. Так что место тихое, на отшибе. Выходя вечером на променады, я почти каждый раз вижу в одном проулке черную «Тойоту». Сейчас — зима, прохладно, кое-где даже лежит снег. Когда было потеплее, «Тойота» эта никаких звуков не издавала. Сейчас же — мотор всегда включен: холодно. Лишь однажды я видел ее обитателей в лицо. Они только что приехали и ужинали какими-то бутербродами, не выходя из салона. Симпатичная парочка, лет по двадцать, студенты, наверное. Когда я возвращался, огни в салоне были уже потушены. Каждый раз, увидев этот автомобиль, я с умилением думаю, что жизнь продолжается.

Публичные дома

ОЧЕНЬ ВЕСЕЛЫЙ КВАРТАЛ ЁСИВАРА



Слово *Ёсивара* стало в японской истории нарицательным. Когда мужчины вспоминают «доброе старое время», когда можно было спокойно «оттянуться» и не думать при этом, что хоть кто-нибудь тебя за это осудит, им обязательно приходит на ум этот квартал прежнего Токио. И хоть кварталов таких было в стране немало (а раньше всего такой «сеттльмент» появился в Киото), именно Ёсивара, как и положено настоящей «столичной штучке», всплывает в памяти прежде всего.

Слава Ёсивара поддерживается до сих пор и весьма откровенными цветными гравюрами таких знаменитых художников, как Утамаро, Кунисада, Тоёкуни, Хиросигэ, и многих других, которые сумели передать блеск и нищету куртизанок из квартала Ёсивара, его воздух, насыщенный похотью и любовью, страстью, трагедией и безразличием. Гравюры, изображающие проституток, были даже признаны специальным жанром — *сюнга* («весенние картинки»). Нравы «веселых кварталов» блестяще описаны и в художественной литературе того времени. Чтобы убедиться в этом, стоит почитать хотя бы неплохо представленного у нас Ихара Сайкаку.

Бывало, что произведения этих художников и писателей запрещались, правда, без особого успеха. При жизни современники считали их «штукарями», все творчество которых рассчитано на потребу дня. Но история, перевернув вверх дном все понятия о высоком и низком, в очередной раз посмеялась над теми, кто слишком прямолинеен.

Придя в XVII веке к власти, сёгуны из дома Токугава решили, что отныне всё в этой стране должно происходить организованно.

В назидание домохозяйкам выпускались многочисленные поучения, в которых кодекс поведения женщины определялся, в частности, так: «Следует вставать рано, а ложиться поздно. Днем — не спать, без усталости предаваясь домашним делам и рукоделию. Актёрами, песнями, кукольным театром и другими развратными зрелищами глаза и уши не осквернять».

Приняв чрезвычайно строгое по отношению к женщине неоконфуцианство в качестве руководства к действию, сёгунат к вольностям в поведении мужчин относился намного спокойнее, что, впрочем, совершенно естественно для общества, которым управляют военные. Однако эти вольности должны были быть каким-то образом обеспечены материально... Это и явилось предпосылкой «двойного стандарта» в морали, столь свойственного для того времени: мужчины имели право вести себя так, как женщине и в страшном сне присниться не могло. Женская же половина японского народа была поделена на две не очень равные части: добропорядочных домохозяек и тех, кому официально разрешалось распутничать, для чего необходимо было обзавестись специальным разрешением. Строгости начальства коснулись и проституток (говоря по-японски, — «торговок весной»), до этого времени совершенно бесконтрольно отправлявших свои общественные функции. Логика была такая: порядок должен быть в любом деле и заведении, даже если это бордель.

Самозванные доброхоты всячески способствовали претворению в жизнь генеральной линии сёгунской партии и правительства. В 1612 году некий Сёдзи Дзинъэмон подал свое предложение о коренной перестройке всего бордельного бизнеса в Эдо. Он отнюдь не ставил под вопрос существование его как такового, ибо и сам был, между прочим, владельцем публичного дома. Однако его одолевало беспокойство относительно судьбы своего бизнеса, на который сёгуны посматривали весьма косо ввиду его полной бесконтрольности.

Начав с грозных обвинений владельцам публичных домов в нанесении ущерба общественной морали и в насильственном превращении малолеток в живой товар, он мудро заключал, рисуя милую сёгунскому сердцу идиллическую картину тотальной слежки и доносительства: «Если же публичные дома будут собраны в одном месте, станет возможным проводить строгие расследования относительно похищения девочек и ложного удочерения... Содержатели публичных домов будут обращать особое внимание... на всех тех, кто слоняется в этом районе. Если они заметят какое-либо подозрительное лицо, то обязательно сообщат о том властям».

Замышляя отдельный квартал для публичных домов, автор докладной записки прекрасно понимал, что сёгун никак не может быть против, ибо разделение сословий и профессий по месту жительства уже воплощалось в Эдо полным ходом: для самураев были предусмотрена одна часть города, для обычных горожан — другая.

Однако реакции властей на первое обращение не последовало. Прождав впустую пять лет, неугомонный Дзинъэмон подает вторую петицию, весьма похожего содержания. И вот уже тогда, в 1617 году, проект был наконец-то воплощен в жизнь. В специальном указе относительно концентрации публичных домов в отведенном для того месте, между прочим, отмечалось, что в древности «добродетельные люди говорили в своих стихах и других сочинениях, что публичные дома, предназначенные для женщин легкого поведения и праздношатающихся, являют собой паразитов на теле городов. Однако зло это неизбежно, и в случае насильственного упразднения публичных домов люди, лишенные моральных основ, запутаются еще больше».

Сказать по правде, деться властям было некуда. Ввиду того, что они же сами приняли закон, по которому князья со своими приближенными самураями обязаны подолгу находиться в Эдо (семьи приближенных пребывали при этом по месту основного жительства), в городе было множество «командировочных». Кроме того, город рос и частенько горел. Так что ему постоянно требовались мужские строительные руки. В общем, женщин в городе катастрофически не хватало — их было в два раза меньше мужчин. Так что запретить проституцию было немыслимо. Можно было только ограничить ее какими-то рамками.

Квартал, где было предписано возвести публичные дома, назывался Ёсивара, что буквально означает «Тростниковое поле». Однако довольно скоро первоначальные иероглифы были переименованы на точно так же звучавшее «Веселое поле».

Выделив на территории города специальный участок для строительства публичных домов, обнеся его рвом с водой и высокой деревянной оградой, власти одновременно предписали, что архитектура заведений не должна быть чересчур вызывающей, а самим обитателям квартала следует одеваться скромно. При этом они отнюдь не освобождались от обязанностей честных горожан, как-то: следить за пожаробезопасностью и, по замечательной мысли Сёдзи Дзинъэмона, доносить о всех подозрительных личностях, попадающих к ним в постель. Сам автор проекта был назначен следить за его воплощением. Своего он добился: бизнес

был наконец-то легализован. И не просто легализован, но и освобожден от налогов. В обмен на честное сотрудничество с тайной полицией.

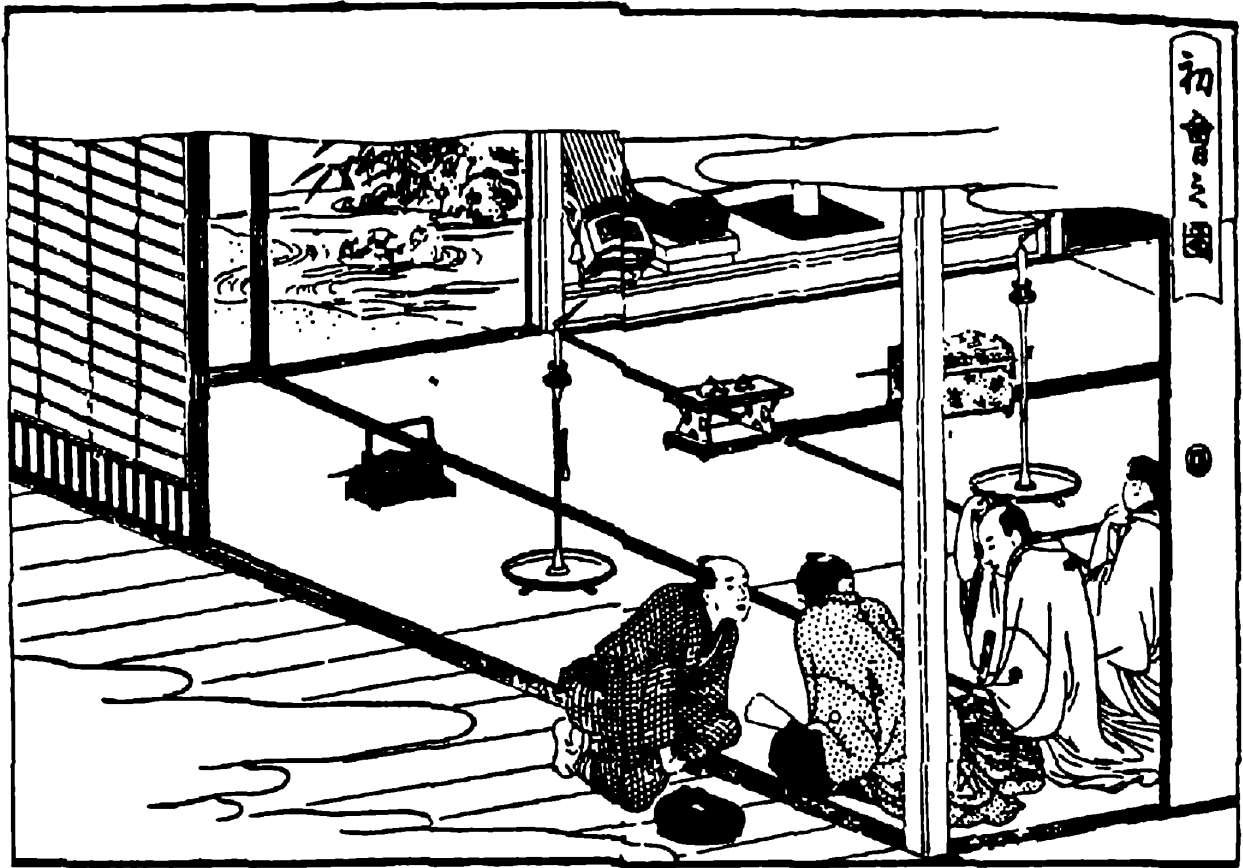
Судя по всему, власти тоже остались довольны плодотворностью этой идеи, поскольку когда через четыре десятка лет после очередного пожара им понадобилась земля Ёсивара для своих административных нужд, они честно выделили новый участок для застройки под публичные дома, а также немалые деньги на переезд, и милостиво разрешили не закрываться на ночь, как то было предписано ранее. Приходить туда, правда, следовало до полуночи. После этого ворота закрывались — как для входа, так и для выхода.

Сами жрицы любви были теперь наконец-то освобождены от не слишком свойственных роду их занятий функций пожарных. Непосредственным поводом к переезду послужил катастрофический пожар 1657 года, уничтоживший и Ёсивара тоже. Противостоять ему не смогли ни обитательницы веселого квартала, ни даже более серьезно настроенные горожане. Поскольку же название Ёсивара было уже у всех на слуху, то и район нового размещения увеселительных заведений стал называться так же. Только не просто Ёсивара, а Новый Ёсивара.

Несмотря на переезд, общая идея «государства в государстве» осталась без изменений, и обитательницам Нового Ёсивара было запрещено покидать огороженные пределы квартала. Исключение было сделано только для трех случаев: вызова в суд, визита к врачу и прогулки с клиентом для любования цветением сакурой (количество разрешенных для посещения мест было при этом строго ограничено). К тому же при этом всегда присутствовал соглядатай.

Новая Ёсивара занимала площадь в восемь гектаров, и там находилось около двух сотен публичных домов. Собственно «полевые работы» (не будем забывать, что мы находимся не где-нибудь, а на «веселом поле») проводились четырьмя тысячами душ. Им был также придан обслуживающий персонал приблизительно такой же численности — посредники, охранники, танцовщицы, певицы, держатели прогулочных лодок и лошадей и т. д. Перед охраняемыми воротами (где клиенты должны были оставить свое оружие) и на самих улицах были посажены ивы — символ проституции, заимствованный из Китая. На главных улицах росло также немало деревьев сакуры, и местных женщин частенько уподобляли их цветам.

В Ёсивара было позволено входить только пешим, так что даже важные персоны оставляли свои (или наемные) экипажи за стенами. Совсем неподалеку находился буддийский храм Асакуса,



Ёсивара. Переговоры в чайном домике

и гравюры этого времени частенько изображают поспешающих в Ёсивара монахов в соломенных шляпах с полями, закрывающими их лицо.

Сюда заглядывали самые разные люди: и молодежь, и добропорядочные семьянины. В Японии всегда считалось, что семья — одно, а «это дело» — совсем другое. Ничего ни у кого не убудет, если весело провести время с подружкой, а вот не суметь семью прокормить и детей воспитать — это уже безобразие и грех. В сущности, очень значительная часть городской молодежи того времени приобретала свой первый опыт свидания с женщиной именно в «веселом квартале». А уж потом можно было поделиться своим опытом с будущей женой, которая, конечно же, обязательно должна была быть девственницей.

Поскольку супружество рассматривалось прежде всего как институт общественный (аппарат продолжения рода; главная единица общества, с которой можно получить налог; путь к установлению престижных социальных связей и т. д.), то совершенно обычным был брак по сговору родителей. Так что хотя семья в то время и была крепка, но отношения супругов довольно часто напоминали отправление служебных обязанностей. Вот вам и прямая дорожка в Ёсивара.

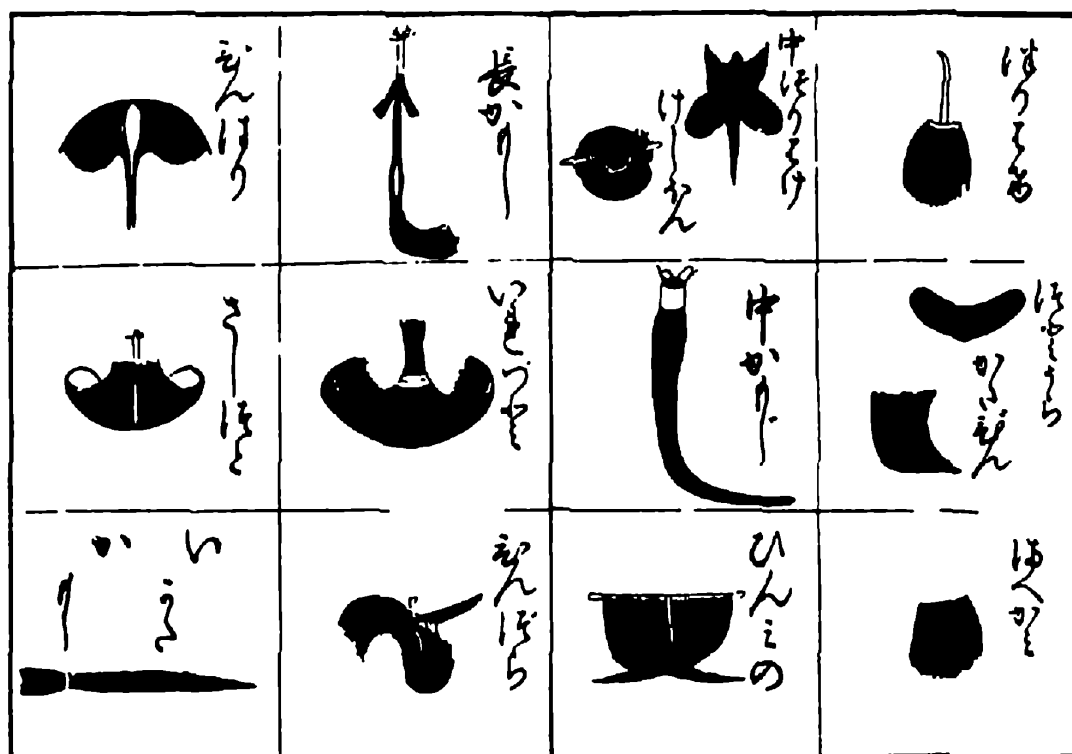
Для того чтобы выбрать себе девушку по вкусу, потенциальный клиент прогуливался по улицам «веселого квартала». «Торговки весной» были высажены для всеобщего обозрения на открытой веранде, отгороженной от улицы деревянной решеткой — словно птички в клетке. Можно было поболтать с ними и вызнать имя приглянувшейся. Однако самые дорогие заведения таким экспонированием товара пренебрегали — считалось, что их высокая репутация говорит сама за себя.

Определившись с выбором, гость направлялся не напрямую в публичный дом, а в один из «чайных домиков», которых в Ёсивара находилось около четырех сотен. Там полагалось вести переговоры с посредниками. Именно в «чайных домиках» осуществлялась предоплата, которая потом передавалась владельцу публичного дома. Там же договаривались и о «дополнительных услугах» — например, гейшах. Чайные домики существовали как за счет комиссионных, так и за счет подаваемой клиенту еды и напитков. Решать такое важное дело «всухую» было как-то не принято.

О гейшах стоит сказать особо, ибо это были женщины, которые придавали Ёсивара совершенно особый колорит. Гейши (буквально «женщины искусства») — танцовщицы и певицы, владели также искусством игры на музыкальных инструментах и были вообще во всех отношениях приятными и образованными собеседницами. Они не имели права конкурировать с лицензированными проститутками, но придавались им как бы в качестве ассистентов. В их задачу входило ублажение гостей менее тактильными, но весьма дорогостоящими способами, так что на самом-то деле они были гораздо менее доступны, чем стандартные «продавщицы весны». Овладение инструментами, танцами и традиционной поэзией требовало долгого ученичества, начинавшегося, как правило, еще в детстве.

Гейши всегда представляли перед гостями в наложенном в несколько слоев гриме (так что их лицо больше напоминало белую маску с прорисовкой черных бровей и алых губ), который покрывал даже их плечи и ноги, с чернёными зубами — считалось, что так красивее. Одеждой гейш служили лишенные пуговиц традиционные кимоно (между прочим, облачиться в него в одиночку без посторонней помощи невозможно), прически их были чрезвычайно сложны (некоторые носили и парики или отдельные накладные локоны, зачастую взятые напрокат ввиду их несусветной дороговизны).

Степень накрашенности японских женщин произвела на упоминавшегося уже португальца Фройса очень сильное впечатле-



Виды накладных париков

ние: «В Европе одного-единственного ящика белил хватило бы на целую страну. В Японию же они ввозятся из Китая в огромных количествах, а их все не хватает» (между прочим, нынешние японки эту манеру вполне унаследовали и красятся на радость косметическим компаниям совершенно нещадно, полагая, что только так и нужно). Белила эти изготовлялись с применением свинца, что, скажем прямо, для здоровья было не слишком полезно (запрещены к производству в 1934 году).

Странно, но факт: приблизительно с седьмого века из обихода японской женщины совершенно вышли ювелирные изделия — ожерелья и серьги, которые до того считались модными. И так продолжалось больше тысячи лет! Нельзя сказать, что женщины совсем не украшали свое тело, но в ходу были совсем другие приемы: крой одежды, ее цветовая гамма, грим. И даже такое достоинство «настоящей женщины», как прическа, оставалось долгое время не востребованным. Волосы либо распускали (если они достигали пола, то это считалось у аристократок, не обремененных подметанием полов, высшим шиком), либо попросту завязывали сзади — крестьянским женщинам было, конечно же, не до того, чтобы часами глядеться в зеркало. Тем более что видно в нем было не так уж много: несмотря на мгновенно увеличившуюся поверхность зеркал (с десяти до тридцати сантиметров в диаметре) в связи с появлением в XVI—XVII веках «модельных причесок», делались-то они все равно из бронзы.



Что же до гейш и куртизанок, то для того, чтобы не разрушать это произведение парикмахерского искусства хоть какое-то время, спать им приходилось исключительно на спине, положив шею на особую деревянную подставку, так что голова с прической висела в воздухе и не соприкасались ни с чем. Называлась эта спальная принадлежность «деревянной подушкой». Сверх того волосы для придания им формы намазывали маслами. Нечего и говорить, что голову мыли эти женщины не слишком часто.

Кроме того, что «деревянная подушка» использовалась по прямому назначению — для отдохновения от ночных трудов, она служила также и для другой, совершенно особой цели. И гейши и проститутки отнюдь не были лишены обычных человеческих чувств и, конечно же, время от времени влюблялись. Однако вступать в брачные отношения они не имели права. Их можно было выкупить, но стоило это очень дорого. Поэтому вместо церемонии бракосочетания была принята другая процедура, в какой-то мере ее заменявшая: страшная клятва верности. Она заключалась в отрубании возлюбленными друг у друга верхней фаланги левого мизинца. Функцию колоды в данном случае исполняла именно такая деревянная подушка.

Могла женщина проделывать эту операцию и одна — с помощью своих верных подружек. В таком случае фрагмент пальца доставлялся любимому с нарочным. Злые языки поговаривали, правда, что обитательницы Ёсивара были щедры на клятвы и, оставшись один раз без мизинца, могли впоследствии купить и чужой пальчик на рынке ради прельщения своей очередной страсти.





Ёсивара. Отрубание пальца — клятва верности

Отрубание пальца — это, конечно, самая страшная клятва верности. Кроме нее были в ходу и менее кровавые, как-то: отрезание волос и преподнесение их любимому, отщепление (а вернее, поручаемое профессионалу отслаивание) верхней части ногтя (тоже с преподнесением), татуирование имени возлюбленного и просто устные или письменные обещания вечно хранить сердечную верность (бывали также скреплены и кровавым отпечатком предварительно уколотого чем-нибудь острым пальца).

Кроме того, существовало и множество других способов, с помощью которых женщины Ёсивара умели показать свое отношение к клиенту. Ну, например, это можно было сделать с помощью ночника. Если принимали действительно любимого мужчину, то ночник ставился за спиной женщины. Если же нет — то за спиной мужчины. Рассуждение тут было такое: если свет направлен ему в глаза, то недостатки твоего лица будут не столь заметны, да и к тому же собственные глаза не так устают — не так скоро сама спать захочешь, будет время на любимого наглядеться.

Литература того времени довольно часто описывает настоящие романы, завязывавшиеся между клиентом и полюбившейся ему женщиной из Ёсивара. И на это были не только общечеловеческие, но и — сколь бы странным это ни показалось — определенные «институциональные» основания.

Дело в том, что в публичных домах придерживались общепонимавшейся практики последовательного искоренения любого вида

конкуренции среди сотрудников одного и того же заведения (именно из этих соображений и сейчас в японских фирмах не принято поощрять выдающиеся таланты). Поэтому клиентам не разрешалось назначать свидания разным девушкам из одного и того же публичного дома.

В то же время своднику вменялось в обязанность осведомляться, имеется ли уже у клиента постоянная подружка или нет. А если тому удавалось все-таки провести его, то это однозначно расценивалось как «неполное служебное соответствие» сводника. Так что на самом деле свобода выбора была у гостей Ёсивара весьма относительной. А это, разумеется, способствовало завязыванию таких отношений, которые не ограничиваются одной-единственной ночью.

Более того: если завсегдатай Ёсивара бывал уличен в «измене» с легкомысленной женщиной даже из другого заведения, то нередко товарки незадачливой ветреницы улучали момент, чтобы затащить парочку куда-нибудь в укромное место и уж там всячески над ними издевались — переодевали клиента в женские одежды, остригали волосы. Да мало ли еще что. И общественность по поводу такой строгости нравов отнюдь не роптала.

Вот такой публичный дом, где сохранение верности почитается за добродетель...

Гнева предыдущей подружки очень страшились, и если новая пассия узнавала о ее существовании, то было заведено, чтобы она тут же писала письмо с приличествующими такому обороту дел извинениями: искренне прошу, мол, прощения, ничего не знала — не ведала, а вышло так-то и так-то — можно мне его теперь развлекать или лучше не стоит?

Писание писем вообще было очень принято в Японии. И нужно сказать, что и проститутки оказались вовлечены в это занятие. Может быть, даже больше, чем остальные. Собственно говоря, большую часть своего «свободного» времени они проводили с кистью в руках. Клиентам нужно было выразить слова благодарности и приязни, попросить, чтобы не забывали, поздравить с праздником, назначить встречу, а то и отвадить под каким-нибудь благовидным предлогом того, кто тебе и не люб вовсе. Только одного спать уложишь — вот время и о других позаботиться пришло.

А кроме того, грамота была весьма полезна и для «обмена опытом» — инструкции и руководства по технике совокупления существовали тогда в большом количестве. Японская традиция насчитывала 48 любовных поз (знаменитая «Кама-сутра» — 64), однако подавляющее большинство из них, похоже, оставались

невостробованными. Это, впрочем, и не удивительно: многие из них довольно трудны для исполнения, да к тому же и составитель обладал, похоже, изрядным чувством юмора: на одной из картинок изображены готовые к соединению дама с господином, раскачивающиеся на растущих рядышком двух стволах бамбука. Тут



Страницы одного из «учебных пособий»

уместно напомнить о генетическом пристрастии японцев к классифицированию, вследствие чего малейшее изменение в положении тела считалось новшеством, подлежащим обязательной фиксации в отдельной графе.

Зато эти учебные пособия для проституток характерным японским образом уделяют намного больше внимания «сопутст-

вующим обстоятельствам». Так, на рассвете рекомендовалось «проникновение сзади» — «будто свет луны из окошка». С любимым, которого ты давно не виделась, хорошо лежать сбоку, поскольку это продлевает удовольствие. Ну и вообще — как за собой ухаживать, как себя вести со стариком или юнцом, как кому угодить, кто какие разговоры любит. Причем речь не обязательно идет о времяпрепровождении чисто сексуальном, хотя, разумеется, не следует забывать, где мы в данный момент находимся....

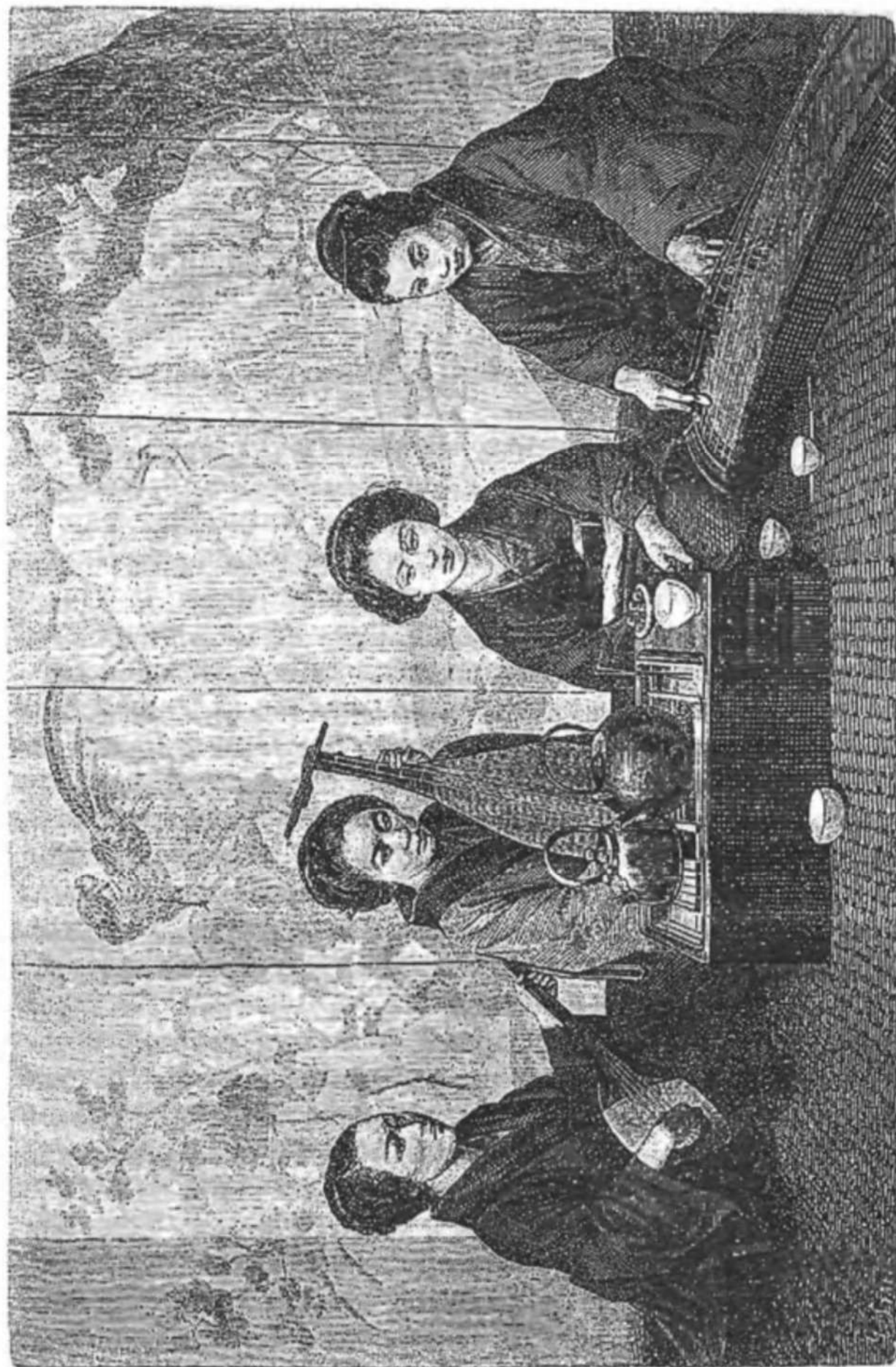
В общем, я хочу сказать, что обитательницы Ёсивара умели не только телом торговать. А иначе они вряд ли стоили бы стольких разговоров.

Как и все в токугавской Японии, проститутки там обладали неким подобием рангов. На самом верху этой иерархии стояли (лежали?) *таю*, которые обладали значительной свободой в выборе своего партнера и обычно не давали прикасаться к себе вплоть до третьего свидания. Причем начало интимных отношений оформлялось как некое подобие свадьбы с её троекратным церемониальным выпиванием сакэ. Так женщина легкого поведения становилась псевдоженой. Недаром одним из популярных для них прозвищ было *итиядзума* — «жена на одну ночь».

Некоторые *таю* обладали такой известностью и репутацией, что принятие их имени считалось в профессиональном цехе делом почетным и обязывающим. Существовали даже и «рабочие династии» и удочерения малолеток. В общем, все как у людей.

Следуя своему железному принципу «одно место — одна профессия», сёгунат свозил в Ёсивара всех проституток, которые «работали» вне пределов «веселого поля». Хронология переселения выглядит следующим образом: 1657 год — более шести сотен «банных девушек»; 1668 — 512 дам из числа «обслуживающего персонала» чайных домиков; 1683 — триста «индивидуалок» и т. д. Новоселов принудительно держали в Ёсивара сначала в течение пяти лет, потом вышла поправка, и срок «скостили» до трех.

Однако обычной практикой была все-таки вербовка девочек из бедных семей. После того как деньги были уплачены (они давались родителям в долг), такая девочка становилась почти что рабыней содержателя публичного дома. Поскольку продажа людей была запрещена, то с ней заключался контракт — обычно на десять лет. Попавшая таким образом в проститутки женщина теоретически могла выкупить себя (или это могли сделать ее родители, или благодетель, испытывавший по отношению к ней особо теплые чувства), но на самом деле такое случалось нечасто — одеваться и обставлять свою комнату было принято за свой счет.



«Вокально-инструментальный ансамбль» в Ёсивара в сер. XIX в.

Стоило все это ужасно дорого, и приходилось залезать в большие долги. Ихара Сайкаку, знаменитый писатель и знаток «веселых кварталов», от имени одной из обитательниц, писал: Сколько ни говори себе, что идешь на эти мучения ради того, чтобы хоть как-нибудь прожить на свете, но от этого не легче! Какое жалкое занятие так изводить себя за сущие гроши! Правда, можно постепенно набрать триста, пятьсот и даже восемьсот моммэ, но ведь платья надо шить за свой счет. Мало того, нужно купить самой все, что требуется для туалета: пояса, и верхний и нижний, даже такие мелочи, как носовые платки, гребень, щеточка для зубов, масло для волос... И если бы на этом дело кончалось! Надо послать деньги родителям и кормиться в свободной от гостей время — словом, тысячи расходов».

Существуют немало грустных историй о таких горемыках: доведенные до полного отчаяния из-за невозможности покинуть пределы «веселого квартала», они были настолько преследуемы навязчивой мыслью о самоубийстве, что требовали неусыпного наблюдения за собой со стороны хозяев и охраны.

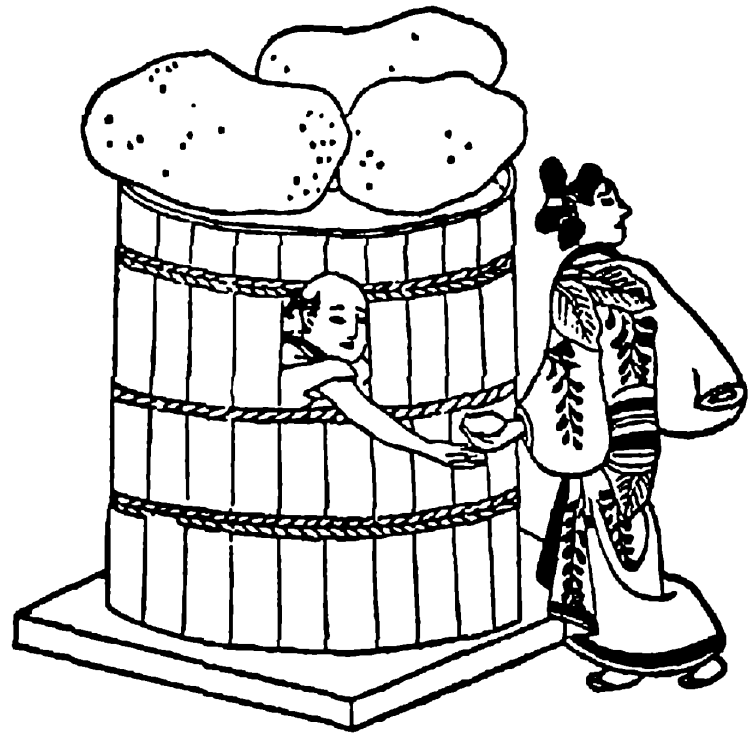
Не будем также забывать и о неизбежно сопутствующих такой жизни алкоголизме и венерических заболеваниях (которые резко возросли после того, как европейские морячки включили Японию и ее публичные дома в свои маршруты). Отпуск на два дня полагался в случае болезни и месячных. В обоих случаях — только на два дня и только за свой счет. Поэтому-то в случае более продолжительной болезни или просто от общей усталости организма девушка, бывало, вызывала к себе одного из своих постоянных клиентов посердобольнее якобы для «работы», а на самом деле — для настоящего отдыха. При этом плату в кассу ей приходилось, естественно, вносить самой.

Но, конечно же, было бы странно, если бы у читателя создалось впечатление, что постоянное население Ёсивара состояло исключительно из робких и замученных непосильным трудом созданий. Нет, отнюдь не так. Клиентов и вином опаивали, и карманы до последней монеты выворачивали.

Была предусмотрена в Ёсивара и лавка скупщика. Если клиент не мог расплатиться, он был вынужден продавать вещи с себя. Как легко догадаться, не по самой выгодной для себя цене. Если же и продать было нечего, то злостного неплательщика сажали в бочку, крышка которой была придавлена булыжниками. Бывало, конечно, что какая-нибудь сердобольная обитательница Ёсивара носила такому горемыке передачу.

А вот, например, отрывок из автобиографии, принадлежащей, как полагают, кисти знаменитой куртизанки Хамаоги. Он дает некоторое представление о нравах Ёсивара.

«Если гость попадался застенчивый, то мы затевали игру под названием “обнаженные острова”... Все девочки раздевались догола. Когда мне пришлось участвовать в этой игре в первый раз, я от стеснения зарделась, и кожа по всему телу стала розовой. Гостю это понравилось, и его застенчивость



«Долговая яма» для клиентов Ёсивара

как рукой сняло. Но если клиент старый и пресыщенный, то тогда расшевелить его, конечно, потруднее. Раз попался нам такой. Мы пищали, как летучие мыши... Сама хозяйка читала какие-то несусветные молитвы, справляя поминальную службу по клиенту, который сидел тут же жив-здоров. Вместо благовоний мы жгли палочки для ковыряния в зубах. Потом накормили старичка снадобьем, которое вызывает желание. Он же предложил мне выйти за него замуж. Но спокойное благополучие мне скучно... К тому же муж может и поколотить жену бамбуковой палкой, а деторождение портит фигуру. Мне же нравится, когда меня посещают красивые молодые господа. Жизнь коротка, а тело прекрасно».

При той концентрации живого товара, какое можно было видеть в Ёсивара, было неизбежно возникновение самой острой конкуренции. Содержатели публичных домов были весьма озабочены тем, как установить приемлемые цены, сохраняя высокое качество обслуживания. Вот одно из рекламных объявлений 1848 года, в котором весьма витиеватым слогом описываются преимущества данного заведения, а ради сокращения расходов клиента предлагается избавиться от «накруток» посредников: «Я весьма признателен за вашу заботу и внимание, благодаря которым я был в состоянии содержать публичный дом в течение многих лет. Однако, к сожалению, я должен отметить, что в настоящее время существуют признаки заката процветания Ёсивара. А посему я

решил вести дело на новых основаниях и не принимать больше гостей из чайных домиков, но придерживаться низких расценок, устанавливаемых самим публичным домом, которые приводятся ниже... Обращаю также ваше внимание на качество предлагаемого нами сакэ, пищи и постельных принадлежностей».

Для проститутки из Ёсивара день начинался с достаточно церемонных прощальных раскланиваний с гостем. Нужно было помочь ему одеться, завязать пояс, изобразить на лице неподдельную печаль. Жена все-таки, хоть и на одну ночь.

А потом можно было уже и вздремнуть. Скажем, часиков до десяти-одиннадцати. Чтобы к двенадцати быть уже снова «в лавке» — на открытой зарешеченной веранде для всеобщего обозрения и наведения марафета, хотя в это время никаких «серьезных» посетителей в Ёсивара не наблюдалось. Разве только деревенщина какая-нибудь забредет глаза на столичных штучек потаращить. А постоянные клиенты были к тому же прекрасно осведомлены, что дневная плата перекрывает ночную.

В общем, это был ночной город, в котором день предназначался исключительно для маневров перед настоящими событиями. Днем можно было иногда и продефилировать по этой огороженной и тщательно охраняемой «зоне» — обязательно вместе со



Утреннее прощание с клиентами

своими юными прислужницами. По их числу и определялся настоящий «класс». Но больше трех ни у кого, как правило, не набиралось.

Для привлечения клиентов, а также и для собственного увеселения в Ёсивара часто проводились различные празднества. Так что все памятные даты отмечались неукоснительно. А праздников таких насчитывалось по меньшей мере три десятка, причем многие из них продолжались не один день.

С появлением в Японии европейцев кое-что стало меняться и в Ёсивара. Желание угодить новым клиентам привело к тому, что вместо привычных матрасов на циновках из рисовой соломы в публичных домах вошли в моду кровати (сами проститутки, говорят, их сильно недолюбливали за излишнюю мягкость), стулья (у которых, правда, для удобства сидения отпиливали ножки) и даже ночные горшки. Однако все эти новшества довольно скоро ушли в небытие, а сама связь с иностранцем стала рассматриваться многими как какой-то изъян национальной души. Существует запись суждений одной из профессионалок, сделанная, правда, уже в послевоенное время. Тем не менее рассказ этот страшно интересен, поскольку в нем, как я полагаю, не содержится ни грама правды, но зато присутствует совершенно живой фольклор почти что нынешнего времени. Эта чистюля на полном серьезе утверждает, что женщины, которые «путаются с иностранцами, совершенно не умеют иметь дело с японцами, плохо ладят со своими товарками, не желают стирать свое белье и к тому же не брезгают надевать платья своих подружек...»

Нужно, правда, заметить, что к этому времени Ёсивара уже сильно подрастеряла свою славу прибежища особой и не лишеной своеобразного очарования субкультуры.

Проституция в Японии была официально запрещена в 1957 году. Однако для любителей телесных ощущений существуют бесконечные «бани», «салоны красоты», сомнительные ночные клубы и т. д. Действуют они вполне открыто. Было бы смешно думать, что вездесущая японская полиция не знает об их существовании, но многовековая традиция «веселых кварталов» дает о себе знать и сегодня. Общественное мнение не склонно драматизировать существующее положение, полагая, что раз природу победить нельзя, то лучше проводить ее мониторинг.

Деньги

НАЛИЧНЫЕ МОНЕТЫ СЧАСТЬЯ



В стандартном японском супермаркете обязательно имеется полка с открытками и конвертами. Ну что ж, вполне практично, но ничего особенного в этом нет, — скажет читатель. Однако на полке, кроме простых открыток с конвертами, будут обязательно представлены и «подарочные» конверты, предназначенные для преподнесения денег. Этот обычай распространен в Японии чрезвычайно широко. Деньги дарят на свадьбу, на похороны или в других важных случаях.

Такой конверт делается из белой бумаги и перевязывается ленточкой с узлом на лицевой части. Для некоторых событий (свадьба или похороны) этот узел завязывается таким образом, что развязать его уже нельзя — подобное событие в жизни человека повторяться не должно. Если подарок делается по счастливому случаю, то вверху помещается изображение раковины, которая считается символом счастья.

На обратной стороне конверта обязательно указывается сумма и имя того, кто дарит. Дело в том, что подарки должны отдаваться, и каждая семья ведет тщательную регистрацию получаемых ею сумм. Через какое-то время следует делать ответные подарки — приблизительно на половину суммы, которая была в конверте. Если же в семье дарителя случается что-то выходящее за рамки повседневности, то следует вернуть всю сумму точно в таком же белом конверте. Долг платежом красен.

«Живые» деньги имеют в Японии намного большее хождение, чем в других промышленно развитых странах. Ведь внедрение пластиковых денег в той же самой Америке в значительной степени было связано с тем, что носить наличность в кармане стало

попросту опасно ввиду частых уличных экспроприаций. В Японии же в силу общей добропорядочности населения и фантастически результативной работы полиции такой необходимости попросту не возникает. И потому до сих пор подавляющее большинство магазинов продолжают работать по старинке — почти исключительно с наличностью.

Кроме того, японцам приходится оперировать достаточно большими суммами. Зарплаты в этой стране велики (человек среднего возраста получает в месяц около четырехсот тысяч йен, что равняется приблизительно четырем тысячам долларов), но так же велик и уровень цен (где это еще вы увидите три картофелины по цене в два доллара или среднюю гостиницу за 150 за ночь?). Так что денег в обороте находится очень много. Отсюда вывод: чтобы жить в Японии, надо получать японскую зарплату. Ни российской, ни даже американской никак не хватит.

Словом, и в будни, и в праздники без купюры шагу ступить нельзя. И как японцы дошли до такой «денежной» жизни? Ведь по дальневосточным китайским меркам, Япония с деньгами сильно припозднилась.

Первые японские монеты были отчеканены только в VII веке. Они были изготовлены из серебра и в центре имели отверстие (чтобы можно было носить их в связках). Никакого герба, названия страны, портрета императора или хотя бы девиза его правления на них не изображалось. Не указан был и номинал. В общем, монета, но еще не совсем настоящая. В самом деле, это были не только деньги, но и некий оберег. Они и назывались «монетами счастья». Кроме самих иероглифов, это счастье изображавших, на них были нанесены выпуклые точки, долженствующие обозначать семь звезд Большой Медведицы. Вслед за китайцами японцы стали считать эти звезды приносящими счастье, благополучие и долголетие (такие монеты-обереги были распространены и



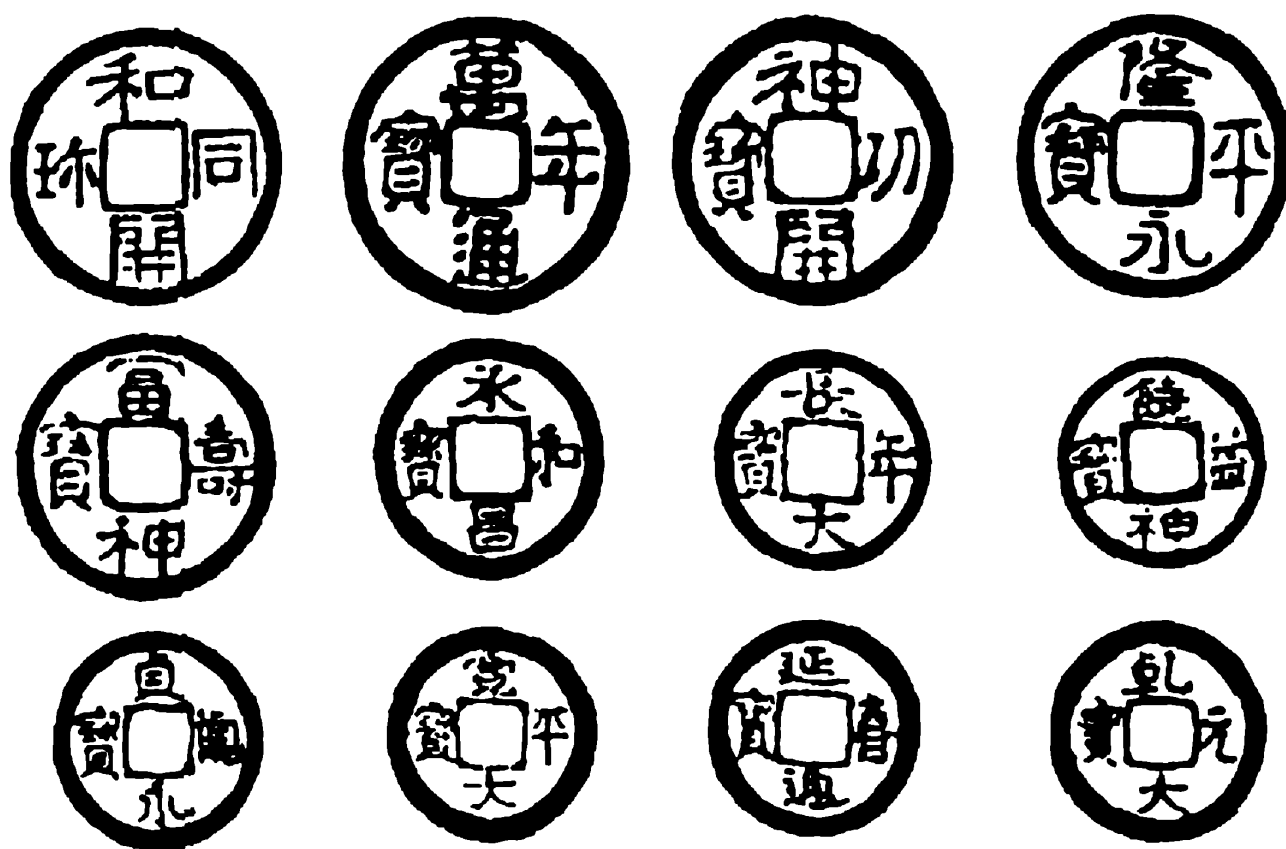
Аверс

Реверс

«Монеты счастья»

позднее — на них изображался китайский бог торговли и земледелия Дайкокутэн).

В это время провинциальная Япония училась «настоящей жизни» у Китая и потому старалась подражать ему во всем. А если в Китае есть монеты, то чем мы хуже? И японские императоры распорядились срочно чеканить деньги. Так, в 708 году были произведены первые настоящие японские монеты (как медные, так и серебряные). Они тоже были с дыркой посередине, но только не круглой, а квадратной. И, кроме того, на сей раз на них, как



Первые японские монеты (VII–X вв.)

в Китае, указывался девиз правления императора. В тот период в Японии он звучал как *Вадо*, что означает: «Японская медь». Этот девиз был принят ввиду обнаружения в стране месторождения меди, столь необходимой для отливки буддийских бронзовых статуй.

Однако оказалось, что деньги гораздо проще начеканить, чем пользоваться ими по назначению. История «рыночной экономики» в Китае насчитывала к этому времени уже много столетий. Что же до Японии, то там подавляющая часть рыночных обменов совершалась в товарной форме. И по сравнению с деньгами гораздо большей популярностью пользовались рис и ткани.

Столица VIII века Нара была все-таки очень большим городом. По разным оценкам, там проживало от 100 до 200 тысяч человек. И поскольку очень многие из них (и прежде всего чиновники) не имели никакого отношения к производству предметов первой необходимости, то они должны были кормить себя каким-то другим способом. Так вот, в качестве жалованья, которое выплачивалось дважды в год, они получали некоторое количество денег. Хотя основную часть довольствия выдавали в виде материи, ниток, риса и даже металлических мотыг. Кроме того, какие-то деньги выплачивались и тем работникам, которых стогнали на строительство объектов государственной важности: дворцов, дорог, буддийских храмов.

Выпустив деньги, государство тут же озаботилось тем, как бы их половчее вернуть обратно. Не имея лучшего товара, чем чиновничьи должности, оно приступило к торговле рангами. Накопил денег — сдай их государству. И тогда получишь внеочередное повышение в ранге. Итак, основное достоинство денег — связывать между собой производителей и потребителей товаров и услуг — в ту пору еще не было оценено японцами в должной мере. Правда, по совершенно независимым от государства обстоятельствам: подавляющему большинству населения со стороны ничего нужно не было — все имелось у себя дома. А если чего и не хватало, так у соседей легко можно было выменять. В крайнем случае — в соседней деревне.

Впрочем, и торговлю рангами бойкой никак не назовешь — цены за них заламывались несусветные. Да и ранги постарше из оборота были все-таки выведены. Вывалил мешок монет и с налета первым министром стал — это только в сказках такое бывает.

Получается, что многие в Японии могли тогда совершенно спокойно прожить, не имея за душой ни гроша. Основной частью населения, которая по-настоящему зависела от денежного дохода, были все-таки не чиновники, у которых и так все было, а крестьяне, мобилизованные на несение трудовой повинности в столице. Оторванные от дома, лишённые своего риса, рыбы и курочек, работяги определенную часть своего довольствия получали именно деньгами.

Поэтому в Нара было два рынка. Кроме продуктов питания (рис, рыба, овощи, соль, водоросли и прочее), там можно было приобрести письменные принадлежности, буддийские сутры, одежду, посуду, украшения и т. д. На этих рынках, находившихся под непосредственным контролем правительства, торговали как

купцы, так и само государство. Туда же поступали товары и от крупных буддийских храмов и управлений провинциями.

Есть деньги — есть и денежные проблемы. Главной из них была, естественно, инфляция: государство явно переусердствовало в эмиссии и потому даже на нынешнем очень дорогом японском нумизматическом рынке цены на монеты VIII века установились отнюдь не астрономические. Поскольку же во второй половине VIII века наступила дикая дороговизна (даже несмотря на то, что цены на рис правительство пыталось установить своей волей, то есть указами), то для стабилизации цен власти были вынуждены выбрасывать на это свои рисовые налоговые поступления. Чекали и новые монеты, назначая им цену в десять раз больше против старых — тоже помогало ненадолго, поскольку качество монет все время ухудшалось. Кончилось тем, что после эмиссии 958 года только новые деньги были признаны «правильными». Старыми же накоплениями пользоваться запретили. То есть была проведена нормальная конфискация, что, разумеется, отнюдь не могло обрадовать держателей денег.

Кроме того, головную боль государству доставляли и фальшивомонетки. По отношению к ним применяли чуть не самую строгую меру, предусмотренную японским законодательством — ссылку, отлучение от родных мест. На ноги колодки надевали, на них цепляли колокольчик (чтобы каждый сразу догадался, кто это по дороге бредет) и даже фамилию меняли. Звучала приблизительно как «Фальшивомонетчиков». Да и палками бамбуковыми крепко поколачивали. Но все-таки пройдохи, мечтавшие хоть на какой ранг подделками заработать, никак не переводились. Ведь ранг — это государственное обеспечение, гарантированное пожизненно.

При всем том монеты продолжали играть ярко выраженную ритуальную роль. Придя из Китая, они принесли с собой и многие тамошние даосские обыкновения. Так, существовало поверье о недопустимости поедания животными или насекомыми детского последа. Поэтому послед захороняли вблизи дома в керамических сосудах. В таких сосудах очень часто обнаруживают и монеты. Их число составляет обычно пять или три. Пять монет являются приношением богам пяти направлений — центра, севера, юга, востока и запада. Три монеты распределялись так: плата богу земли за разрешение захоронить в его владениях послед, а также «покупка» ребенку здоровья-долголетия и сытной еды на всю оставшуюся жизнь. «Плата за землю» практиковалась и в случае захоронения урны с прахом и при начале строительства дома или буддийского храма.

Пока центральное правительство еще было полно энергии и думало о том, как бы ему эту страну получше обустроить, деньги имело смысл чеканить и зарабатывать. Но уже с X века японских аристократов стали волновать совсем другие проблемы: как бы приодеться понаряднее и стихотворение сложить поскладнее. Государственные дела забросили, армию фактически по домам распустили, офицера за последнего человека держали, затмение солнца предугадывать разучились и даже летописи вести перестали. А зачем, если в твоей собственной усадьбе и так все хорошо?

Так что эмиссия 958 года была последней. Вот тогда государству и от фальшивомонетчиков удалось избавиться окончательно. Спрос на их товар сильно упал. Следующей же общенациональной эмиссии пришлось ждать до самого XVII века. И все это время в Японии пользовались по преимуществу не своими родными деньгами, а заморскими — из Китая. Хотя императорский двор и негодовал по этому поводу, чувствуя угрозу национальной безопасности, но поделать ничего не мог. Его указов уже не слушались.

Китайским властям утечка валюты сильно не нравилась, поскольку у них самих к этому времени меди хватать перестало. Настолько, что для преодоления кризиса были даже изобретены бумажные деньги. Экспорт монет был запрещен, однако их морской дрейф в Японию продолжался. Делалось это обычно так: купцы-контрабандисты загружали монеты в лодки, выходили в море и там уже переваливали на настоящие корабли. Существует источник 1242 г., согласно которому некий японский корабль доставил 100 000 *кан* (1 *кан* был тогда равен 1000 *мон*) китайских монет. Если учесть, что в IX веке, когда с выпуском денег в Японии все обстояло сравнительно благополучно, в стране с трудом выпускали 30 000 *кан* в год, можно сделать вывод, что подпольный денежный бизнес процветал.

Значительную «валютную» активность проявили и богатые храмы. В особенности буддийские. Они постоянно нуждались в деньгах, чтобы пускать их на оплату производства украшавших их интерьер статуй. Поэтому они снаряжали корабли, нанимали для охраны самураев — и в путь. Непременно с соответствующей молитвой об успешном возвращении.

Однако главным поставщиком наличности в Японию была все-таки сама власть. Но это был уже не император с его аристократическим окружением, а сёгун с самураями. В отличие от сего дня, предложить китайцам было особенно нечего, и основным японским «валютным» товаром являлись знаменитые самурай-

ские мечи. Торговлю же оружием как стратегическим товаром сё-гунат держал в собственных руках.

И все-таки надо признать, что в это время денежное обращение в Японии было весьма ограниченным. Именно поэтому страна и могла удовлетворяться сравнительно небольшими объемами ввозимых из Китая монет и различными суррогатами, выпускавшимися князьями. В противном случае японцы придумали бы что-нибудь, эти монеты заменяющее. И хотя, повторяю, бумажные деньги были уже изобретены, в Японии, в отличие от Китая, они распространения не получили. А значит, не очень-то надо было.

К XV веку Япония была уже больше всего заинтересована в поставках из Китая шелка-сырца. А это говорит о том, что населению не хватало прежде всего важных вещей повседневного обихода: страна находилась в состоянии перманентной гражданской войны, что всегда приводит к увеличению спроса на товары первой необходимости. Не до жиру, не до денег. Подавляющая часть торгового оборота внутри страны происходила в форме бартерных сделок. Хотя некоторые князья для финансирования своих многочисленных военных операций и выпускали монету, но веры ей было мало, и основным эквивалентом при совершении сделок служил все-таки рис. Деньги же выступали по отношению к нему как что-то дополнительное, в качестве мелкой разменной монеты: малую покупку можно было и деньгами оплатить, а вот для совершения крупной — извольте сначала рис вырастить.

Столетия феодальных междоусобиц не прошли для японской экономики даром. Она как бы сидела на печи (или, лучше сказать, циновке-татами) и копила силы, но как только домом Токугава был восстановлен в стране мир, жизнь закипела: города разбухали как на дрожжах, рис колосился, товары производились и находили своего покупателя.

Разумеется, для обеспечения товарооборота стали нужны деньги. И если при введении денег почти тысячелетие назад государство ломало голову над тем, как бы заставить население относиться к ним благожелательнее, то сейчас все обстояло по-другому. Проблема была теперь не в том, как «вынуть» из оборота лишнюю монету, а в том, как бы начеканить ее побольше.

В общем, деньги стали нужны всем. И даже самураи не могли прожить без денег. Хотя купцов они и обзывали «торгашами», но прибегали к ним, чтобы перехватить «до получки», задерживаемой князем. Или ввиду непредвиденных «семейных обстоятельств». Тем не менее в их среде считалось приличным упомянуть



Монеты, выпускавшиеся храмами и княжествами

к случаю, что лично сам ты никогда денег в руках не держал и один номинал от другого отличить не в состоянии.

Самое общее впечатление от финансовой ситуации времени Токугава: денег все время не хватает и потому нужно все время изобретаться, как бы их побыстрее начеканить. И хотя к этому времени были открыты новые месторождения меди и серебра, дело временами доходило даже до переплавки буддийских статуй в звонкую монету. Чего только правительство не предпринимало: и доверенным князьям велело общенациональные деньги чеканить, и раздавало лицензии на их производство (около десяти процентов тут же отходило государству, остальное выкупалось по им же установленным ценам), но все никак не хватало. При этом самурайское государство и строгостями отнюдь не пренебрегало: все прошлые монеты из оборота велело изъять, фальшивомонетчиков карало нещадно, никаких денег, кроме официально утвержденных, не признавало. При этом оно придерживалось «серебряно-золотого стандарта» — стоимость медных монет была привязана к их эквиваленту в золотом и серебряном исчислении. Правительство своими распоряжениями волевым порядком определяло это соотношение, но на самом деле-то курс был «плавающим» — японский народ имел собственное представление о том, что почем.

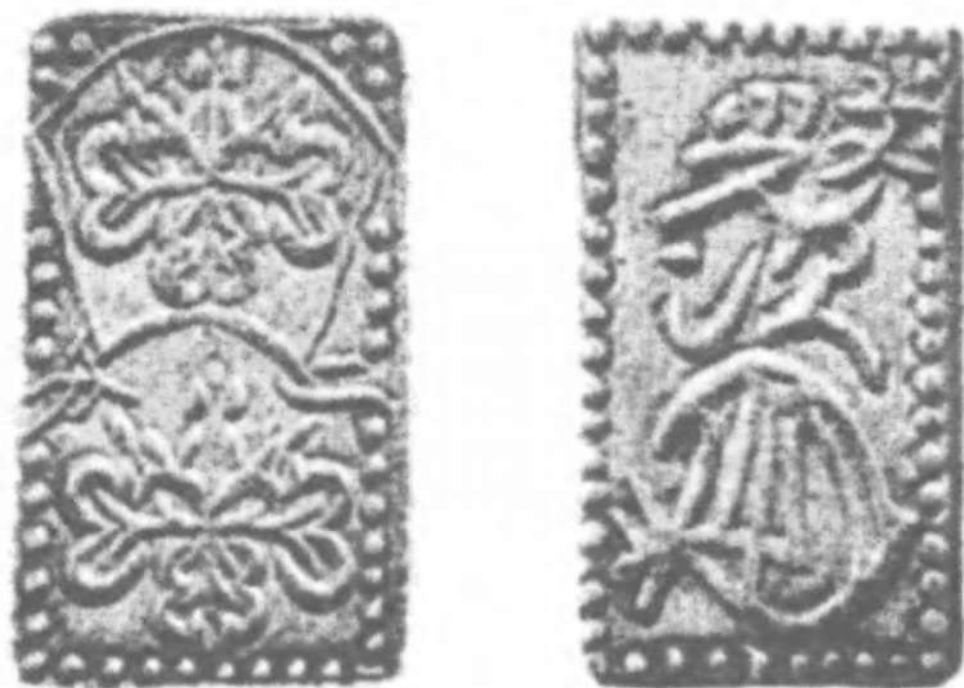
И несмотря на то что ни одно из вышеперечисленных начинаний сёгуната до конца выполнено не было, старательность прави-

тельства была вознаграждена — к концу XVII века курс значительно стабилизировался, что, конечно, наилучшим образом повлияло на производство и торговлю.

Золотые и серебряные монеты имели вид прямоугольника. На них указывался номинал и название монетного двора, коих после эпохи некоторых метаний в конце концов осталось только три: для производства золотых, серебряных и медных денег. Знаменитый ныне на весь мир своими ночными огнями токийский квартал Гинза («Серебряный монетный двор») обязан своим названием расположению там мастерских по производству монет.

Самые же ходовые медные монеты не претерпели никаких драматических перемен со времен древности: все тот же медный кружок с квадратной дыркой посерединке и девизом правления вокруг нее. Храмами и княжествами выпускались и несколько более живописные произведения, но хождение их было ограниченным.

Бумажные деньги впервые появились в Японии еще четыреста лет назад. Это были купюры, напечатанные одним предприимчивым купцом. После этого они выпускались и различными княжествами Японии вплоть до 1867 года. Князья рассчитывали поправить таким образом свое финансовое положение, но это была, конечно же, не более чем иллюзия. Количество разновидностей бумажных денег было огромным — около двух с половиной сотен купюр от разных эмитентов разгуливало по стране в XIX веке в бесчисленном количестве и без особого товарного обеспече-



Золотые монеты эпохи Токугава

ния. Само же правительство держалось от этих купюр подальше и признавало только полновесные монеты. К этому времени оно, однако, уже порядком ослабело и осадить разбухавшую бумажную денежную массу было не в состоянии.

После того как в 1867 году правление сёгуната Токугава закончилось, Япония (официально она стала именовать себя тогда Великой Японской Империей) начала выпускать общенациональные бумажные дензнаки. Ввиду полиграфической отсталости поначалу они печатались за границей — в Германии, Англии и Америке. Тогда же был совершен и переход от весьма сложной средневековой системы счета денег на современную десятиричную, основу которой составляет *йена* (это слово в переводе означает просто-напросто «кругляшок»), в которой теоретически содержится сто *сэн* и тысяча *рин* (в связи с инфляционными процессами сэны и рины уже давным-давно не выпускаются).

Первые общеяпонские конвертируемые бумажные деньги, которые можно было обменять на серебро, были напечатаны в 1885 году. Смотреть на них намного приятнее, чем на несколько унылую продукцию более ранних времен. Так, на десятийеновой купюре был нарисован бог торговли и земледелия Дайкокутэн, уютно примостившийся на мешках, наполненных чем-то, видимо, очень хорошим.

С тех пор дизайн купюр менялся многократно. Поскольку же деньги с того времени имело право выпускать только государство, то по изменениям в оформлении денег можно судить и о том, какие идеи и ценности правительство желало предъявить своему народу и всему миру. В самом общем виде банкнотную тенденцию последнего столетия можно сформулировать так: на них стали постепенно изображаться люди не глубокой древности, но жившие сравнительно недавно.

Перечислим сначала тех, кто украшал собой японские банкноты в довоенное время, когда милитаризация и крайне агрессивный национализм были главными чертами японской «великой империи» (не стоит, конечно, забывать, что и весь остальной «цивилизованный» мир отнюдь не отличался в то время миролюбием).

Бог бури Сусаноо, опаивающий сакэ злобного змея, которого он потом успешно изрубил на кусочки за неблагородное обыкновение брать себе в жены честных девиц без согласия родителей.

Единственная представительница японских женщин в мужском мире финансов — императрица вполне мифических времен Дзинго, конно ведущая войска на Корею (чуть позже ее сняли с коня и дали портретное изображение в медальоне).



Купюра достоинством 100 йен
с изображением Сётоку-тайси (1930-е гг.)

Череда средневековых военачальников, считавшихся образцово лояльными по отношению к императорскому роду: Нитта Ёсисада, Кодзима Таканори, Минамото-но Тамэтомо, Кусуноки Масасигэ. Последний проиграл битву и совершил харакири вместе с шестьюдесятью своими самураями (замечу между делом, что канонизация потерпевшего поражение «неудачника» является одним из характерных свойств японской культуры). На банкнотах того времени также присутствуют: покровитель рыболовства и торговли бог Эбису; знаменитый деятель VII века Фудзивара-но Каматари — один из тех, кто заложил основы японской государственности; Вакэ-но Киёмаро, предотвративший в VIII веке попытку государственного переворота; Сугавара-но Митидзанэ, государственный деятель и литератор IX века, который считается в настоящее время божеством, покровительствующим академическим занятиям школьников и студентов; Такэути-но Сукунэ, полупоупендарный первый министр глубокой древности; принц VII века Сётоку-тайси, известный своим покровительством буддизму; принц доисторических времен Ямато-такэру, якобы покоривший «варваров» на северо-востоке страны.

Как видно из этого перечисления, здесь нет ни одного деятеля Нового времени, а сам набор персонажей в целом отнюдь не отличается миролюбием. Однако в послевоенное время положение в стране кардинально меняется. Потерпев поражение, Япония (при давлении союзных держав, разумеется) приняла конституцию, которая запрещала ей иметь вооруженные силы, и стала направлять свою энергию по преимуществу на экономическое развитие. И, как всем нам известно, получилось это у нее вполне удачно.

Смена приоритетов самым решительным образом отражается и на оформлении денег. Из всего приведенного списка удалось уцелеть только Сётоку-тайси, который никогда не был причастен ни к каким операциям военного свойства.

Кроме Сётоку-тайси, на послевоенных банкнотах присутствуют исторические лица теперь уже Нового времени, известные прежде всего своим вкладом в свержение сёгуната и деятельность по строительству современного Японского государства. Это Ниномия Сонтоку (1787—1856), Ивакура Томоми (1825—1883), Такахаси Корэкиё (1854—1936), Итагаки Тайсукэ (1836—1919), Ито Хиробуми (1841—1909).

В настоящее время в Японии используется всего три вида банкнот. Это минимальное зарегистрированное в мире число (столь же малое число банкнотных разновидностей используется и в Южной Корее, а первенство по количеству номиналов принадлежит Китаю — двенадцать). Современные японские купюры обладают номиналом в 1 000, 5 000 и 10 000 йен (100 йен соответствует приблизительно 1 доллару США) и поступили в обращение в 1984 году. Эти банкноты довольно велики по размеру. Ширина их стандартна — 76 миллиметров, а вот по длине они чуть-чуть от друга отличаются — 160, 155 и 150 миллиметров.

Для справки: самые крупные банкноты выпускаются во Франции — 97 на 181 мм (500 франков), а самые маленькие — опять же в Китае (43 на 90 мм). Китаю принадлежит и другой рекорд: именно там в 1375 году была выпущена самая крупная купюра в мире (338 на 220 мм). В денежных рекордах находится место и для России. Однако, как это ни странно, не по части огромности (что выглядело бы более естественно), а по миниатюрности — это портрет Николая II на почтовой марке (31 на 24 мм), на оборотной стороне которой утверждается, что она «имеет хождение наравне с разменной серебряной монетой». Эти «деньги» были выпущены в 1915 году, то есть во время войны. Правда, и соперница России — Германия — отставать не желала. Там ограничились клочком бумаги 18 на 18 миллиметров.

Но вернемся все-таки к нынешним японским купюрам. На них изображены деятели, которые никогда не занимали особо крупных государственных постов. Перечисляю их в порядке возрастания номинала. Это Нацумэ Сосэки (1867—1916, замечательный писатель, можно почитать в русском переводе); принявший христианство мыслитель и общественный деятель Нитобэ Инадзо (1862—1933), известный своими миротворческими инициативами в тот период, когда Японское государство миролюбием отнюдь не

отличалось; просветитель Фукудзава Юкити (1834—1901). На оборотной стороне этих банкнот помещены изображения журавлей, Фудзиямы и фазанов.

Исполняющие на тысячейеновой банкноте свой брачный танец журавли — не обычные, а японские, само существование которых находится под угрозой. В настоящее время их насчитывается всего около четырех сотен особей. Живут они на Хоккайдо. Когда было принято решение о том, что именно они должны составить компанию Нацумэ Сосэки, то художники печатного



Современная японская банкнота в 10 000 йен
с портретом Фукудзавы Юкити и изображением фазанов

двора отправились на Хоккайдо, чтобы понаблюдать за ними и сфотографировать. Но их ждала неудача, и потому пришлось воспользоваться старыми фотоснимками.

Относительно Фудзиямы, кажется, все ясно. Самая высокая гора — она и есть самая высокая. Да к тому же и такая красивая.



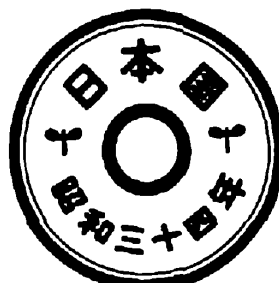
1 йена



5 йен



10 йен



50 йен



100 йен



500 йен



Правда, расположенный на одном из склонов военный полигон ее несколько подпортил, но все же... Может быть, стоит лишь пояснить, что изображена она в самом начале зимы, а моделью и тут послужило старое фото 1936 года.

В отличие от японского журавля, фазан (опять же его японская разновидность) чрезвычайно широко распространен по всей территории Японии: водится он и на Хонсю, и на Сикоку, и на Кюсю. А вот на Хоккайдо — нет. Поэтому если бы на японских деньгах был изображен только фазан, жители Хоккайдо были бы недовольны. Национальная же валюта должна объединять, а не вносить раздоры. Из этих соображений и было решено взять из каждого региона по птичке.

И еще «о птичках»... Появление их на банкнотах отнюдь не может считаться чистой случайностью. Если мы посмотрим на японскую поэзию или живопись с точки зрения представленной там фауны, то увидим, что там много птиц и насекомых. Млекопитающие же почти полностью отсутствуют. В более давние времена на японских деньгах, помимо фазана и журавля, также появлялось довольно много пернатых: петух, голубь, павлин, кулик, коршун. Что до насекомых, то в поэзии они хороши, а вот на деньгах как-то не смотрятся, и поэтому место на купюре досталось только стрекозе. Не слишком много на японских банкнотах и представителей водного царства: это моллюск в раковине и морской окунь. На ранние банкноты все-таки удалось пробиться некоторым млекопитающим: кабану (он фигурирует в японских мифах), лошади с восседающим на ней самураем и мышке — символу богатой жизни (раз в доме есть мыши, значит там есть чем поживиться). И, наконец, пришедшие (прилетевшие?) из Китая дракон и птица-феникс.

Вот, оказывается, каких людей, птиц и гору японцы ежедневно видели или видят, расплачиваясь за товары и услуги. И никаких императоров и самураев.

Впрочем, император все-таки присутствует на японских деньгах. Только не на бумажных, а на металлических. И не в виде портрета, а в виде иероглифов, обозначающих одновременно его тронное имя и девиз правления. Сейчас это *Хэйсэй* — «мирная жизнь».

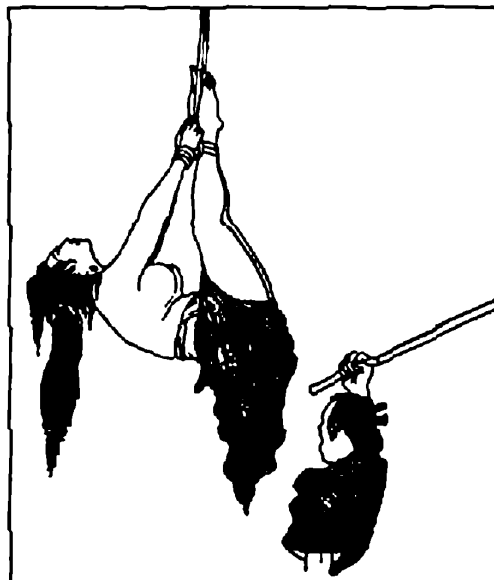
В настоящее время в стране находится в обращении шесть видов монет: достоинством в 1 йену, 5, 10, 50, 100 и 500 йен. На всех них нанесен уже не животный, а растительный орнамент. И изображены там растения и цветы, к которым издавна прикипела японская душа: рис, хризантема, сакура, бамбук и павлония.

Японская государственная машина считается достаточно коррумпированной (это касается в основном высшего слоя бюрократии), и наличные деньги у нее в почете, что, однако, не слишком сказывается на эффективности ее работы. Во всяком случае, гораздо меньше, чем у нас. В последние годы случилось немало громких разоблачений государственных чиновников. Ну, например, такой-то и такой-то получил взятку от строительной компании и отдал ей подряд. Нехорошо, конечно. Но что-то я не слышал, чтобы компания работу свою сделала плохо и построенное ею здание завалилось набок. Поэтому, похоже, люди взяточниками возмущаются, но остаются при этом довольно спокойны.

Что же до простого населения, то, думаю, трудно найти народ, который бы превосходил японцев по концентрации честности на один квадратный километр. Если вы обронили здесь деньги, то вероятность того, что они окажутся в ближайшем полицейском участке, очень велика. И тогда вам придется на совершенно законных основаниях «отстегнуть» нашедшему 20 процентов суммы — налог «за рассеянность». В случае же, если человек за своими деньгами все-таки не пришел по истечении шести месяцев и одной недели, вся сумма становится достоянием обнаружившего кошелек. Эта «одна неделя» в юридическом документе меня особенно умиляет.

Преступления и наказания

ОДИН ШАГ ОТ КАЗНИ ДО СМЕХА



Как это ни странно, но в Японии вплоть до XIX века не было тюрем в европейском понимании этого слова. То есть были места, где содержались предполагаемые преступники, но они находились там только до вынесения приговора. Иными словами, это были не столько учреждения, предназначенные для наказания и исправления злодеев, сколько, выражаясь современным языком, камеры предварительного заключения или следственные тюрьмы. И вообще такого наказания, как тюремное заключение на столько-то долгих лет, в тщательно разработанном японском законодательстве предусмотрено не было. Что же до самураев с крупным рисовым доходом, то их в тюрьму вообще никогда не помещали: они содержались в усадьбе своего сеньора, который выступал в качестве тюремщика.

Однако отсутствие тюрем отнюдь не свидетельствует в пользу мягкости японских средневековых как нравов, так и законов. Законы были весьма суровы, а в какой-то части, может быть, даже жестоки. Профессионального вора, например, почти с неизбежностью ждала в конце концов смертная казнь. К ней приговаривали в случае, если стоимость похищенного им превышала десять *рё* (за один *рё* можно было купить 150 килограммов риса). Даже если это был не солидный вор, а мелкий мазурик, всё равно его ждала та же участь: ведь суммы похищенного им плюсовались вне зависимости от времени совершения преступления — до той поры, пока они не составят искомые десять *рё*.

Наказания в Японии стали особенно тяжелы во время самурайских междоусобиц XV—XVI столетий в связи с общим падени-

ем и ужесточением нравов, когда смертная казнь стала по законам военного времени самым обыденным средством наказания преступников — как настоящих, так и мнимых. И особых градаций в наказаниях не наблюдалось. Несколько огрубляя действительное положение вещей, все обстояло приблизительно так: признан виновным — смертная казнь, нет — иди с миром. Причем «уголовная ответственность» практически за любое правонарушение распространялась не только на самого преступника, но и на его родственников и даже соседей.

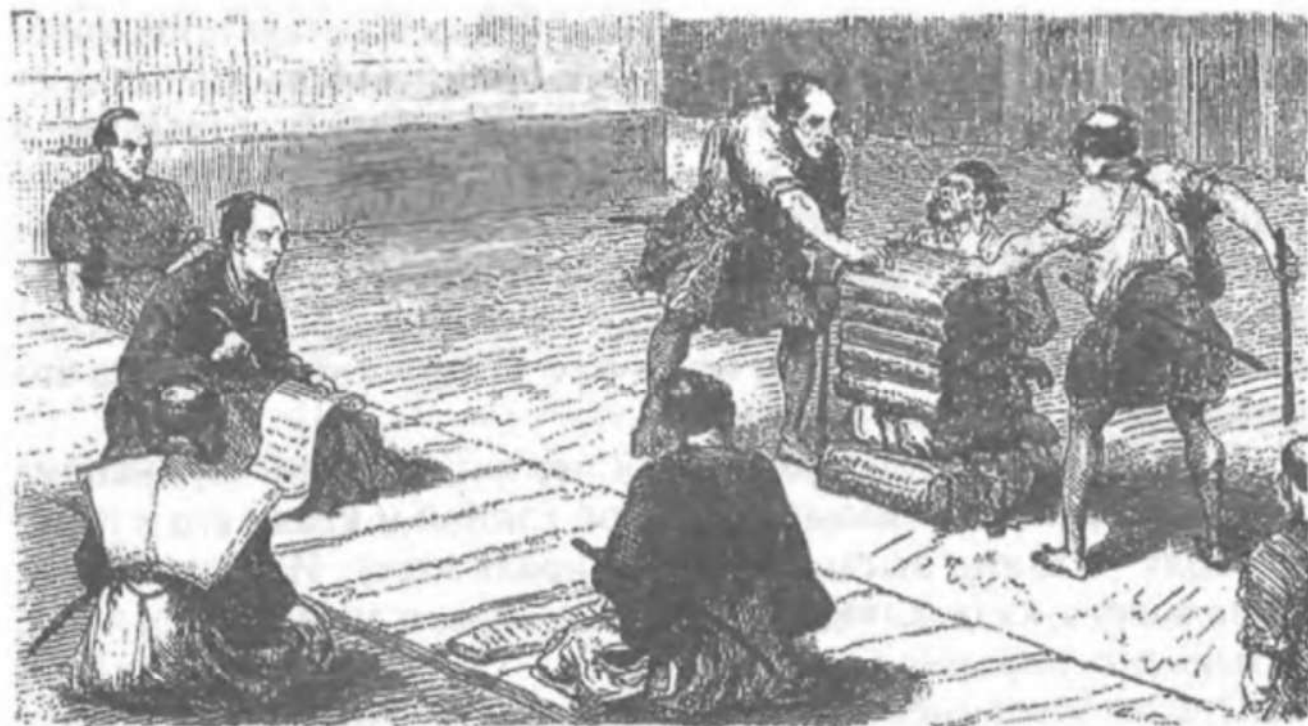
Пытки тоже были характерной чертой времени. Ну, например, осужденного обмазывали сырой глиной и клали его в горячую золу — глина высыхала и раздирала кожу. Или делали на спине надрез, куда заливали расплавленную медь, которую, после застывания, вырывали вместе с мясом.

После объединения страны сёгуном Токугава в начале XVII столетия наказания несколько эволюционировали в сторону смягчения, но оставались тем не менее весьма и весьма строгими. Так, под страхом смертной казни жителям Японии запрещалось покидать пределы архипелага. А когда голландские моряки в начале XIX века спасли экипаж японского судна, лишившегося в бурю мачт, то по настоятельной просьбе капитана они пробили кораблю дно, поскольку искать спасения в бегстве японцы имели право только если судно шло ко дну. В противном случае моряков ждала суровая кара.

Очень странно, однако, что обычное для тех времен и народов сословное право (когда за одно и то же правонарушение простолюдину и аристократу назначают различные по тяжести наказания) было истолковано так, что во многих случаях самураи карались гораздо круче, чем крестьяне и горожане.

Так, правило «семейной ответственности» было ограничено для простолюдинов самыми тяжкими преступлениями, связанными в основном с убийством или неповиновением властям, в то время как никакого облегчения для самураев здесь не существовало. Точно так же получилось и с принципом конфискации имущества, который соблюдался в отношении самураев намного более строго. Получается, что в японском обществе того времени право на власть отнюдь не означало права на поблажку в суде. Власти, кажется, вполне отчетливо понимали, что правопорядок в стране начинается с «верхов».

Тем не менее многим европейцам, быстро позабывшим свое славное средневековое прошлое, японские манеры обращения с преступниками казались «бесчеловечными». Английский дипло-



Допрос с использованием пытки. С рисунка сер. XIX в.

мат (и одновременно один из основателей современной европейской школы японоведения) Эрнст Сатов еще в 1864 году с чувством глубокого душевного смятения описывал публичную казнь двух преступников — обезглавливание с помощью знаменитого самурайского меча. Казнь через повешение казалась тогдашним европейцам более «гуманной».

Не нравилась «просвещенным» европейцам и совершенно обычная тогда практика пыток подозреваемых, ввиду чего западные державы добились экстерриториальности, то есть неподсудности своих граждан местным «варварским» законам (эта практика была отменена только в 1899 году, когда японское уголовное право было приведено в соответствие с европейскими нормами).

Дело в том, что согласно традиционным юридическим представлениям японцев следовало во что бы то ни стало добиться признания вины самим преступником — считалось, что для вынесения приговора одного обвинительного заключения недостаточно. Поэтому подозреваемых нещадно били палками. Сажали на деревянные пирамидки, а на колени наваливали тяжеленные булыжники. Ставили на тупую саблю голыми коленями и навешивали на преступника камень за камнем, так что по мере прибавления тяжести страдания его увеличивались. Сажали на пол со скрещенными ногами, завязывали руки за спиной, а верхнюю часть тела прижимали веревками к ногам («поза кровати»). Или сажали на пол со скрученными за спиной руками и скрещенными ногами, а под

колени подкладывали деревянные бруски таким образом, чтобы колени находились от пола на расстоянии приблизительно в десять сантиметров. Но самой страшной считалась «пытка водой», когда подозреваемый лежал на спине, а его лицо беспрерывно поливали водой или бесконечно вливали эту воду ему в рот.

Виды смертного приговора, практиковавшиеся по отношению к самураям и простолюдинам, несколько разнились. Самой почетной казнью было приговорить самурая к самоубийству — харакири. Например, в виде особой милости описанное выше обезглавливание могло быть заменено на харакири.

На это имели право только самураи. К смертной казни через усекновение головы приговаривали за попытку мятежа, убийство, грабеж и воровство. Обычно с конфискацией имущества.

Перед совершением смертной казни осужденного проводили (либо провозили на коне) по городу, причем впереди идущий нес перед собой табличку, надпись на которой разъясняла суть совершенного преступления. Однако наряду с этой процедурой устрашения населения и предания самого преступника позору, ему предоставлялось и право на последнее маленькое желание (и даже не на одно). Сопровождающим его охранникам выделялась определенная сумма денег, которую они использовали согласно указаниям осужденного. Он мог попросить угостить себя лапшой, сакэ или просто утолить жажду. Да мало ли что еще продавали в бесконечных лавках оживленных кварталов, по которым его



Доставка приговоренного к месту казни



Отсечение головы

проводили. Вот только испить молока почему-то все-таки не позволялось. Видимо, считали, что этот дефицитный для Японии продукт — слишком большая роскошь для преступника.

Когда осужденный приближался к месту экзекуции, он обычно просил своих сопровождающих смыть кровь с его отсеченной головы после совершения казни. Для оплаты этой, посмертной уже, услуги он держал за щекой монетку. Так что пристойность посмертного вида человека считалась не менее важной, чем его прижизненный облик. Даже если этот человек — отпетый преступник. Поэтому в приговоре скрупулезно уточнялось, как следует поступить с телом после казни. Так, например, отрубание головы могло сопровождаться отдельным указанием на то, что данный труп должно использовать для тренировок палачей. Или что отрубленную голову следует выставить на всеобщее обозрение и устрашение (обычный срок — три дня и две ночи). Или что делать этого не надо. Здесь принимались во внимание как тяжесть преступления, так и благородство происхождения преступника.

Считалось правильным, когда голова осужденного отрубалась с первого же взмаха меча. Делать это умели далеко не все палачи: осужденный стоял на коленях, вытянув шею перед выкопанной в земле ямкой для стока крови, но никакой плахи предусмотрено не было, так что рубить голову приходилось на весу.

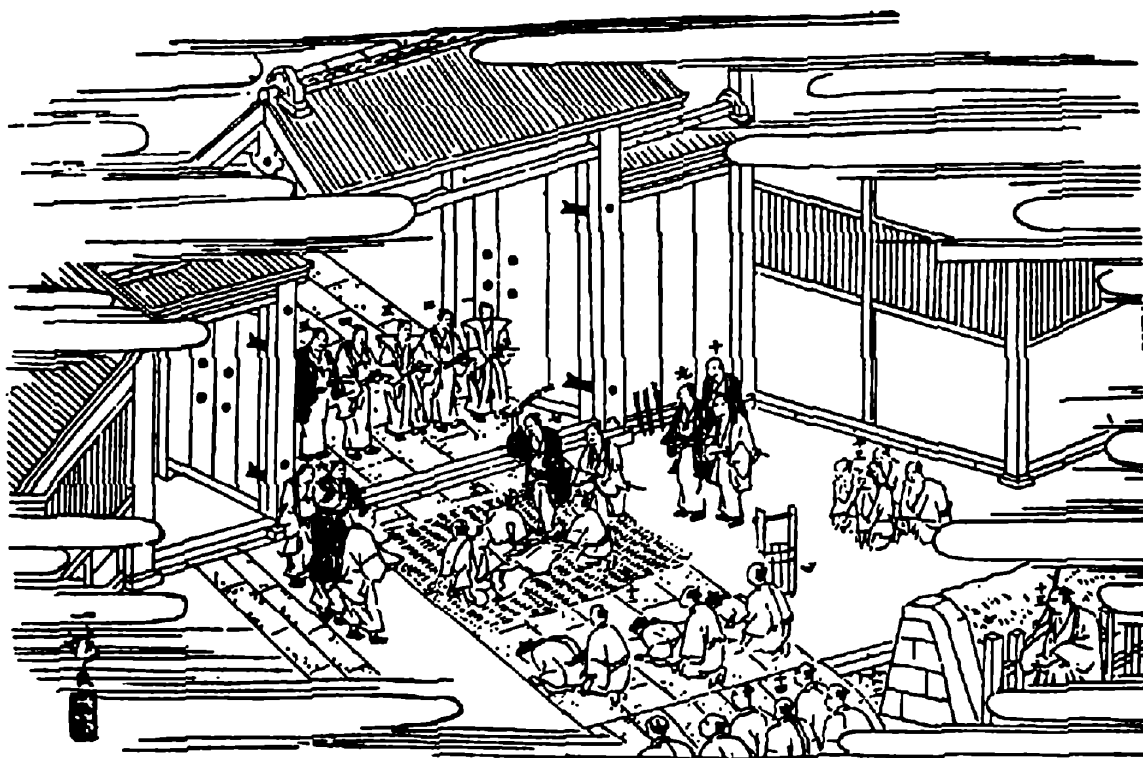
Впрочем, опытный палач не заставлял жертву мучиться слишком долго. Об одном из них передают, что он обладал вот таким поразительным мастерством: в проливной дождь, случающийся в Японии достаточно часто, он держал в одной руке зонтик, а другой отправлял свой профессиональный долг таким ловким образом, что на его меч не успевало упасть ни одной капли дождя. При этом и одежда палача оставалась совершенно сухой, даже если ему было нужно казнить не одного преступника, а сразу нескольких. Попасть к нему под клинок считалось большой удачей, и потому приговоренный к казни, бывало, платил ему за то, чтобы этот высокий профессионал согласился прийти именно к нему и казнил его «новым острым мечом», а не какой-нибудь заржавленной пилой.

Существовали и другие способы умерщвления, освященные обычаем или законом. Так, например, практиковалось нечто вроде распятия — преступника можно было пригвоздить к деревянной доске или просто к хорошенько утоптанной земле. Под влиянием христианства стало практиковаться и «настоящее» распятие (дурной славой пользуется в этом смысле 1640 год, когда было распято сразу более семидесяти последователей христианства).

В ходу было также сожжение на костре (с чисто японской любовью к точности в источниках указывается, что для этой про-



Публичный акт харакири



Порка бамбуковыми палками

цедуры выделяется двести вязанок хвороста и семьсот вязанок соломы), опускание в кипяток, разрывание наказуемого волами (преступника привязывали к ним за ноги и потом разводили костер, от которого испуганные животные бросались в разные стороны), закапывание живьем в землю в специальном деревянном ящике с последующим отпиливанием торчавшей над поверхностью головы, удушение (шея обматывалась веревкой, в нее вставлялась палка — ее повороты затягивали удавку).

Страшно мучительной казнью считался такой способ медленного и изощренного убийства. Связанного преступника клали на берегу моря у самой кромки воды. Когда накатывала соленая тихоокеанская волна, он начинал захлебываться. Потом волна сходила, и казнимый получал короткую передышку. Считалось, что «нормальным» сроком жизни в таких условиях является восемь дней.

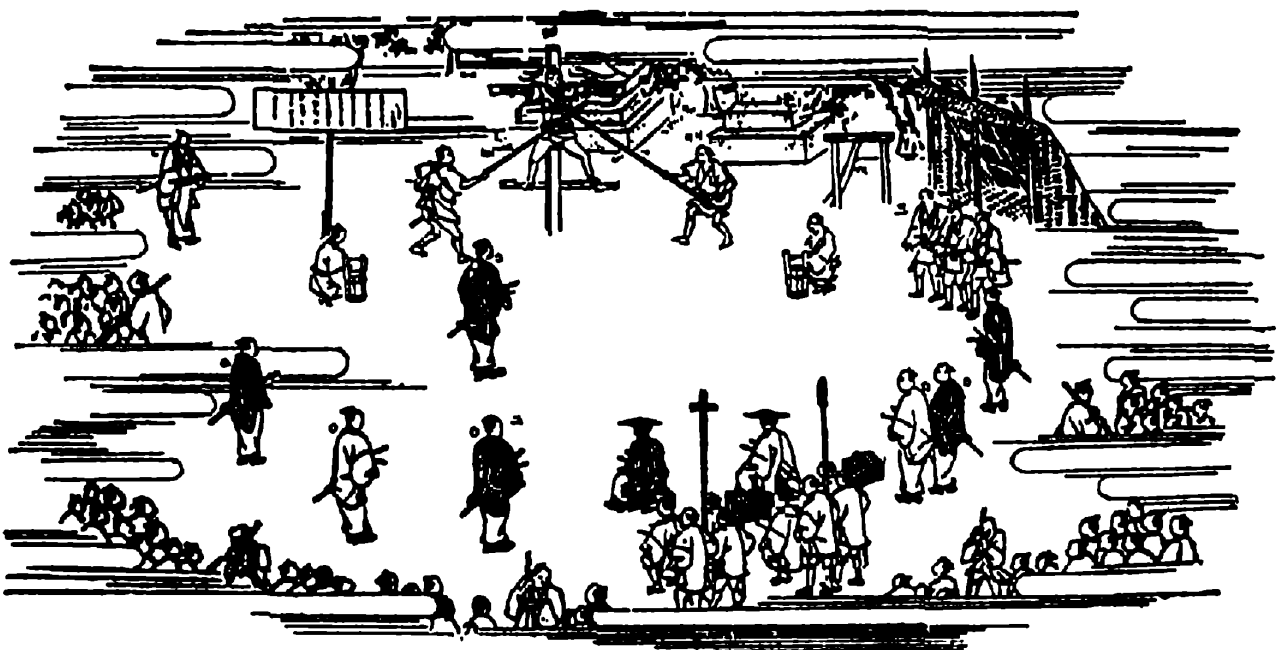
Все эти виды казни считались более тяжелыми и позорными, чем усекновение головы. Поэтому в одном указе XVII века melancholично сообщается, что дети некоего крестьянина Согоро, осмелившегося подать жалобу непосредственно сёгуну в обход своего прямого начальства, по идее должны были бы быть приговорены к той же мере наказания, что и их непутевый отец — распятию, но в виде особой милости четверо малюток (одиннадцати, девяти, шести и трех лет) подвергаются казни через отсечение головы.

Кроме прямого убийства, в большом почете было санкционированное властями членовредительство, применявшееся в случае

нарушения закона: отрубание мизинцев, носов и ушей. Или клеймение (первоначально применялось по отношению к последователям христианства). Или татуирование (об этом уже говорилось в специальной главе). Или битье бамбуковыми палками (они трогательно назывались «веником для задницы» и были обернуты в полотно или кожу) по плечам и мягкому месту. При этом в зависимости от тяжести проступка полагалось от пятидесяти до ста ударов (после пятидесяти ударов делался небольшой перерыв для смены экзекутора, а также питья и приема преступником какого-нибудь взбадривающего лекарства). Порки обычно проводились не индивидуальные, но коллективные: за один день проходило несколько десятков человек. При этом в одном из указов проявилась трогательная забота о мирных жителях: «Нельзя карать преступника ночью, нарушая спокойствие других людей».

В общем, и в Японии существовал нормальный средневековый реестр мучительных наказаний для самого тела, посмеявшего преступить закон. Реестр этот предусматривал и такую, наиболее распространенную ныне, меру воспитательного воздействия, как денежный штраф, но лишь как дополнительное наказание по отношению к основному. То есть мирному японскому люду предписывалось спать спокойно. Деньги тогда еще не стали всеобщим эквивалентом для определения степени аморальности.

При этом нужно иметь в виду, что от княжества к княжеству способы наказания и их тяжесть могли отличаться — единого для всей страны «уголовного кодекса» фактически не существовало. Вернее, одобренные сёгуном уголовные законы существовали,



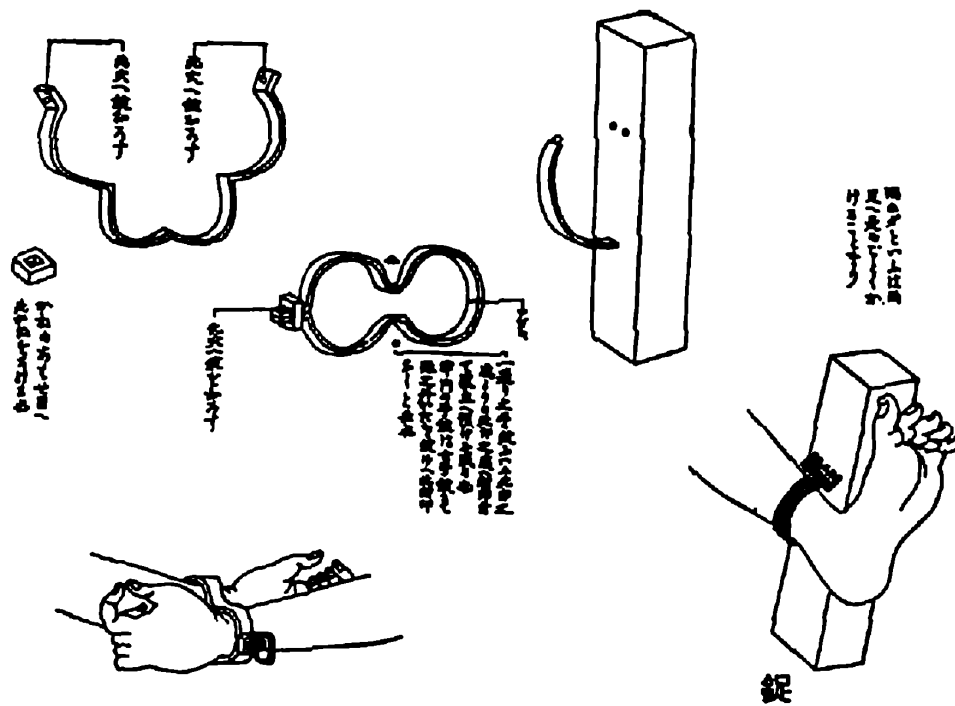
Распятие на кресте

но соблюдались они далеко не везде. Так, даже после того как сё-гунат издал указ о прекращении практики членовредительства, «на местах» она продолжала свое существование. Ибо сами князья считали, что совершивший преступление в их владениях вполне может быть наказан по их собственному разумению.

В силу японского понимания миропорядка и проистекающего отсюда общего устройства жизни отлучение от своего родного коллектива (семьи, общины, соседей, друзей, коллег по профессиональным занятиям и т. д.) всегда воспринималось как трагедия. Поэтому еще одним страшным наказанием была ссылка. Собственно говоря, наряду со смертной казнью ссылка и все ее разновидности (пусть даже и в ослабленной форме) были наиболее распространенным видом наказания за тяжкие преступления. Не случайно поэтому, что уголовные кодексы японского средневековья именно изоляции правонарушителя уделяют столько внимания. Хотя изоляция эта принимала по преимуществу внутрюремные формы.

Самой тяжелой формой ограничения свободы считалась высылка (на несколько лет или навечно) на один из двенадцати малонаселенных «отдаленных островов» — аналог российской Сибири (хотя, если посмотреть по карте, «отдаленные острова» были расположены, по нашим понятиям, не так уж и далеко от центров «цивилизованной» жизни). Высылка эта обычно сопровождалась конфискацией имущества. Хотя на островах и присутствовала охрана, но никаких принудительных работ обычно не проводилось. Ссылные находились на «вольном поселении» и самообеспечении и обладали даже правом получать посылки из дома. Беда заключалась, правда, в том, что кораблей до острова бывало обычно только два — весной и осенью. Как видно, каторга популярностью в Японии как-то не пользовалась. Может быть, потому, что каменоломен — самого распространенного в Европе места изнуряющего труда — в этой стране было мало. Строили-то из дерева, а не из камня. И рудников в силу общей минеральной бедности тоже было немного.

Кроме дальней ссылки, самого тяжелого вида физической изоляции, существовало и множество других. «Изоляция от власти» — запрет приближаться к административным учреждениям (обычно это касалось бродяг). «Изоляция от соседей» — запрет окружающим посещать дом провинившегося. Изгнание монаха из монастыря. Запрет проживать в столице (скажем, в наказание за двоеженство) или определенных городах и провинциях (включая место постоянного проживания и провинцию, в которой было совершено преступление).



Наручники и кандалы

Широко распространенным наказанием, применявшимся только по отношению к самураям и буддийским монахам, было приказание затворить (или наглухо забить) ворота, двери и окна (в зависимости от тяжести наказания — с запретом выходить из дома днем или и днем и ночью). Если же выходить все-таки разрешалось, то только через черный ход.

Несмотря на кажущуюся легкость последнего наказания, японцами оно воспринималось крайне болезненно, ибо наносило ущерб репутации и чести наказуемого. А это — уже очень страшно. И перед людьми — очень неудобно и стыдно.

К числу «позорящих» мер из того же ряда, но теперь уже радикально менявших жизнь преступника, относится и изменение его наследственного социального статуса. Самурая могли разжаловать до простолюдина (и тогда прости-прощай право на гарантированный князем рисовый паек, ношение двух мечей и харакири), а простолюдина — до *хинин* (буквально — «нелюдь»). И в таком случае человек терял статус свободного. Это происходило и с возлюбленными, покушавшимися на двойное самоубийство. Точно так же наказывались инцест, некоторые азартные игры, воровство, совершаемое малолетними бродягами.

Ну, а что же сама следственная тюрьма? Условия содержания там были вполне чудовищны. Зимой стоял невыносимый холод (камеры не отапливались), летом же — еще более невыносимая духота. Камера была набита людьми, и для самых отверженных жизненное пространство сводилось к минимуму. На восемнад-

«Мы увидели большой, почти совсем темный сарай, в котором стояли клетки, сделанные из толстых брусьев, совершенно подобные клеткам птичьим, кроме величины. Строение камеры моей было таково: в длину и в ширину по шесть шагов, вышиною футов восьми; от коридора отделялась деревянной решеткой из довольно толстых брусьев, в которой и двери были с замком; в стенах находились два окна с крепкими деревянными решетками снаружи и с бумажными ширмами внутри; подле дверей, в сторону, был небольшой чуланчик с отверстием в полу и глубокий ящик за замком, для естественных надобностей. Посреди каморки стояла деревянная скамейка такой величины, что я едва мог лежать на ней, а на полу в одной стороне постланы были три или четыре рогожки — вот и вся мебель».

В. М. Головин. В плену у японцев в 1811—1813 гг.

цать человек могла приходиться всего одна циновка (стандартная мера измерения площади, составлявшая чуть больше трех квадратных метров) — спать тогда приходилось по очереди на коленях друг у друга. Спать же днем, естественно, не разрешалось. Для первого предупреждения нарушившего этот запрет надзирателем использовалась вещь, получившая название «метательной подушки». Она представляла собой намоченный водой туго скатанный комок из обрезков материи. Заметив, что кто-то из заключенных задремал, староста, сидевший на возвышении, образованном десятком циновок, без лишних разговоров швырял эту тяжеленную «подушку» в нарушителя тюремного порядка.

Немудрено, что при таком температурном режиме, тесноте, пытках и антисанитарии простудные, инфекционные и иные заболевания были настоящим бедствием для заключенных. И тут уже не спасали даже весьма частые помывки (баня полагалась от трех раз в месяц зимой до шести раз — летом). И несмотря на присутствие в штате тюрьмы врача, смерть заключенных была самым обычным явлением. Около двадцати процентов заключенных умирало, не дожив до вынесения «сурового, но справедливого» приговора.

Как и во всяком другом месте лишения свободы, в японской следственной тюрьме заключенным требовались деньги. Хотя бы для того, чтобы получить в камере место получше. Или чтобы улучшить свое скудное двухразовое питание (можно было попросить тюремщика купить что-нибудь в городской лавке). Или чтобы тот же самый тюремщик принес тебе в чайнике сакэ сверх положен-

ной нормы (да-да, заключенным полагалось немного спиртного, которое, таким образом, приравнивалось к предметам первой необходимости). Или чтобы приобрести строго запрещенный к употреблению табак.

Только что прибывшие с «воли» проносили свой «первоначальный капитал» обычно прямо в себе — предварительно проглотив серебряные (медные для желудка тяжеловаты выходили) монетки, обернутые в бумагу. Прекрасно зная об этой методике, постоянно находившийся там староста камеры с чисто японской педантичностью назначал дежурных, в обязанность которых входило следить за «стулом» новенького даже ночью. Поэтому свои естественные потребности новоприбывший отправлял отдельно от других, причем вместимостью ему служила плошка для принятия пищи. Дежурные же следили за тем, чтобы деньги не были утаены от общественности или, не дай бог, выброшены из плошки вместе с остальным ее содержимым. Когда монеты наконец бывали обнаружены, они становились общим достоянием сокамерников. Староста как главный организатор правильного денежного оборота получал, естественно, больше всех.

Кроме того, существовали и менее экзотические способы проноса в тюрьму денег: в одежде, поясе и т. п. Тюремщики, похоже, не проявляли особого рвения при обыске, поскольку твердо знали, что в случае обнаружения денег им они все равно не достанутся. Ну, а если заключенные оказывались при неучтенных начальством деньгах, то тюремщиков ежемесячно подмасливали — в обмен на мелкие поблажки. И только если староста отказывался делиться с тюремщи-

Сочетание неприязни, любопытства и страха не мешало японской администрации начала XIX века кормить редких европейских узников весьма сносно. Вот что сообщает о порционном рационе наш соотечественник В. М. Головин:

«По обыкновению японцев, сарачинская каша и соленая редька служили нам вместо хлеба и соли. Сверх того, давали нам очень хорошую жареную или вареную рыбу, свежую, а иногда соленую, суп из разной зелени или похлебку, наподобие нашей лапши; часто варили для нас уху или соус с рыбою или похлебку из ракушек. Рыбу жарили в маковом масле и приправляли тертой редькой и соей. Самыми же лучшими кушаньями, по мнению японцев, были китовина и сивучье мясо. Кормили нас, по своему обычаю, три раза в день. Для питья давали теплую или горячую чайную воду, а когда погода была холоднее обыкновенной, давали каждому из нас по две чайных чашки подогретой sake».

В. М. Головин. В плену у японцев в 1811—1813 гг.

ками и «выплачивать жалованье», вот тогда-то начинался настоящий «шмон» новоприбывших.

Бывали случаи, когда над теми преступниками, которые по каким-либо причинам денег в тюрьму не приносили, устраивалась жестокая расправа. Их избивали, мучили, заставляли спать рядом с инфекционными больными, заставляли есть экскременты. Непременнo палочками — все как положено в «настоящей» жизни. Или кормили ослушника одной солью. Или давали пищу без соли вообще.

В общем, японская тюрьма мало походила на курорт. И в этом отношении не отличалась так уж сильно от тюрем других стран и народов. Что действительно удивительно, так это поистине смехотворная численность японского тюремного населения. Мы не располагаем точными цифрами, но счет явно шел не на сотни и десятки тысяч. А иностранцы единогласно отмечали безопасность проживания в Японии.

В чем же дело? Как получилось так, что уровень преступности стал в результате столь низким?

Конечно, страна была наводнена соглядателями. Настолько, что европейцам казалось, будто все в ней устроено согласно распоряжениям полиции. В XIX веке немецкий врач Зибольд договорился даже до такого простодушного утверждения: «Постройка общественных зданий не основана здесь на ученой теории; нет никаких архитектурных правил, кроме тех, которые предписаны полицией».

Однако полицией дело отнюдь не ограничивалось, поскольку властям удалось добиться того, чтобы за правопорядком следили не только многочисленные полицейские и тайные агенты, но фактически каждый обитатель этой страны. При этом каждый должен был быть зарегистрирован по месту жительства, а функцию паспортного стола исполняли буддийские храмы (кто бы мог подумать в начале распространения этой принципиально негосударственной религии, что монахи станут заниматься таким вот чиновничьим делом!).

Сельское население было разбито на пятидворки, а городское — на десятидворки. Им вменялось в обязанность сообщать абсолютно обо всем подозрительном и странном, что происходило вокруг, в том числе докладывать о бродягах и праздношатающихся. Членам этих мини-общин вменялось в обязанность следить друг за другом. Если кто-то из них совершал проступок, наказаны могли быть все. В лучшем случае — крупным денежным штрафом. При такой системе взаимной слежки никто не мог переехать на

новое место, не получив от своих прежних соседей одобрительного свидетельства о беспорочном поведении, а от новых — согласия принять его в свой коллектив. А потому преступнику (да и просто человеку не слишком уживчивому) найти себе соседей было весьма непросто.

Если кто-то отваживался на то, чтобы подать властям петицию с выражением своего недовольства по поводу каких-то несправедливостей или притеснений, то этот вполне невинный, казалось бы, поступок мог иметь и весьма грустные последствия — вплоть до смертной казни, если петиция подавалась с нарушением правил и чиновничьей субординации. Вот почему такой смельчак «из политических» предусмотрительно разводился с женой и отказывался от детей — чтобы в случае чего снять с них ответственность за свои «ужасные» деяния.

Ради соблюдения принципа исторической справедливости нужно все-таки сказать, что японские власти при всей их самурайской строгости отчетливо понимали, где — край, и потому норма эксплуатации населения была в Японии существенно ниже, чем в просвещенной Европе или в России. И дворец сёгуна потому не идет ни в какое сравнение по степени своего роскошества ни с Зимним дворцом, ни с Версалем. «Честная и чистая бедность» — вот наиболее общее впечатление немногочисленных путешественников, которым удалось посетить эту страну в те времена. И потому крестьянских антиправительственных движений того размаха, какие в средневековые потрясали Запад, в Японии не наблюдалось. Даже немного скучно становится. Эдо — какой большой город был, а ведь за всю его историю ни одного действительно общенародного восстания там историками не зарегистрировано.

Итак, жители деревень и городов были кровно заинтересованы в том, чтобы все «было тихо». Поэтому родители воспитывали детей в примерной (беспримерной?) строгости, а жители принимали все меры к тому, чтобы ни у кого из их семьи или соседей не могло возникнуть мысли преступить закон. С каковой целью крестьяне придумывали свои собственные наказания превентивного свойства. Очень показательным для Японии было такое наказание, эксплуатирующее глубоко укоренившийся страх показаться смешным. Провинившегося крестьянина приговаривали к обходу деревни, во время которого он подходил к каждому дому и произносил: «Пожалуйста, посмейтесь надо мной!»

Община была ответственна и за соблюдение приговоров, которые выносились властями. К их числу относилось заключение

в деревянные (веревочные) наручники или ножные колодки (для самураев такого наказания не существовало), применявшееся по отношению к тем, кто не мог уплатить штраф за мелкий проступок (налагавшийся, например, на дочь хозяина за «преступную связь» с наемным работником). Продолжительность пребывания в наручниках определялась в тридцать, пятьдесят или сто дней. Наказуемый при этом находился в собственном доме. Замок наручников опечатывался и подвергался периодической проверке. Самовольное снятие наручников как для самого человека, так и для его пособника каралось чрезвычайно жестоко — зафиксированы даже случаи применения смертной казни (обычная же мера — удлинение срока наказания). Поскольку наручники были не слишком совершенной конструкции, то на самом-то деле снять их, не повредив печать, не представляло особого труда. Поразительно, что, судя по всему, снимали не слишком часто: не позволяли страх возмездия и контроль со стороны семьи и общины.

Заядлый любитель нынешней телевизионной видеочепухи, насмотревшись японских фильмов о самураях и тамошней якудза, будет, боюсь, удивлен при знакомстве с реальной статистикой преступности в этой стране. В пересчете на сто тысяч населения в Японии сегодня совершается убийств в пять раз меньше, чем в США, ограблений — в двадцать раз, случаев воровства — в шестнадцать, изнасилований — в восемь и т. д. Сравнение с другими странами даст, может быть, не столь контрастную, но все же достаточно впечатляющую картину.

А как же мафиози, с ног до головы покрытые цветными татуировками, изображающими воинов, цветы и драконов? Как быть с отрезанными пальцами гангстеров, которые они подносят своему «крестному отцу» в знак вечной преданности? Как быть с потоками экранной крови? Разве японцы не жестоки и не кровожадны?

С цифрами, читатель, не поспоришь, и это лишний раз свидетельствует о том, что судить о ежедневной жизни страны по массовой продукции кинокомпаний и телевидения следует с большой осторожностью. Из статистики явствует, что сцены насилия демонстрируются по японскому телевидению не реже, чем по американскому. Однако сюжеты криминальных фильмов оказываются совершенно различными.

Для американского кино типична ситуация, когда преступление совершает главный герой, а содеянное насилие служит ему незаменимым средством для достижения благородных целей. Иными словами, зритель, который с неизбежностью идентифицирует себя с героем на экране, видит, что насилие в принципе



Обвиняемый перед гражданским судьей (сер. XIX в.)

может приносить пользу. В противоположность этому создатели японских картин делают акцент на трагических последствиях преступления, калечащих судьбу преступника и наносящих ущерб ни в чем не повинным людям. Таким образом, преступление рассматривается (сколь бы красочным образом оно ни было снято) как действие, имеющее целиком отрицательные результаты. К тому же обстоятельства совершения преступления зачастую не имеют никакого отношения к повседневной жизни — они или совершенно надуманны, или перенесены в средневековье, как это происходит в бесконечных самурайских сериалах.

После окончания второй мировой войны Япония была оккупирована американскими войсками, и американские эксперты выступали в качестве советников по проведению крупномасштабных реформ. Естественно, что полиция была одним из основных объектов преобразований. Исходя из собственного опыта и культурных традиций, американцы рассуждали приблизительно так: раз США — демократическая страна, а цель реформ состоит как

раз в утверждении демократии, то и все социальные институты, охраняющие демократию (и полиция — в первую голову), должны быть устроены в Японии на американский манер.

Безоружный полицейский — вещь немыслимая в Америке. И потому глава оккупационной администрации генерал Макартур приказал, чтобы каждый японский полицейский имел при себе револьвер — впервые в японской истории. Приказ был фактически проигнорирован. И хотя ныне каждый полицейский формально имеет табельное оружие, подавляющее большинство сотрудников полиции за все время своей беспорочной службы так ни разу и не вынимают его из кобуры — за исключением, разумеется, учебных стрельб.

Полицейский в Японии стремится решать свои проблемы в рукопашной схватке — если уж необходимость в применении физической силы все-таки возникла. Эта традиция восходит по крайней мере ко второй половине XIX века. Именно в это время формировались новые полицейские силы, пришедшие на смену средневековым. Самураи были тогда лишены своих сословных привилегий, в том числе и самого наглядного из них — ношения мечей. Вынужденные искать средств к пропитанию (воинские дружины феодалов были распущены), многие самураи пополнили ряды полиции. Они принесли с собой и кодекс самурайской чести, согласно которому «настоящий мужчина» должен противостоять сопернику в честном и равном противоборстве.

Поскольку же владение огнестрельным оружием в Японии строжайшим образом регламентировано, то преступники, как правило, им не располагают — они вооружены ножами, цепями и т. п. Применение полицией огнестрельного оружия в этих условиях считается морально неоправданным. Хорошо тренированные в борьбе дзюдо и кэндо (фехтование на деревянных мечах), японские полицейские предпочитают обезоруживать преступника в рукопашной схватке с применением дубинок — резиновых, металлических и деревянных.

О строгости контроля японских властей над всем тем, что связано с огнестрельным оружием, свидетельствует скандал, случившийся несколько лет назад на учениях японских сил самообороны. Во время проведения маневров на полигоне была утеряна одна стреляная гильза, что послужило достаточным основанием для обвинений армейского начальства в преступной халатности и разгильдяйстве.

Не вняли японцы и другому совету оккупационных властей — максимально использовать патрульные машины. Их сирены и

проблесковые огни американская полиция также считает неотъемлемой частью повседневной жизни. Однако в узких улочках японских городов скоростные преимущества автомобиля сводятся почти на нет. Но даже не это самое важное.

В Японии вооруженный и моторизованный страж порядка воспринимается обывателем скорее как нарушитель спокойствия, нежели его блюститель. И самое главное: при автомобильном патрулировании неизбежно ослабляется контакт между полицией и населением. А именно это принято считать наиболее важным в работе полиции. Традиционно (и совершенно справедливо) считается, что для стабильности в обществе важнее профилактика преступности, ибо само понятие «преступник» появляется уже после того, как преступление совершено, то есть полиция не сумела его предотвратить. Поэтому работа японского полицейского чрезвычайно рутинна и почти лишена ореола детективной романтики.

Организационная основа японской полиции — *кобан* («будка») — крохотный полицейский участок, расположенный посреди жилых кварталов. Полицейский каждодневно обходит свой участок, беседует с жителями, большинство из которых он знает в лицо, фиксирует мельчайшие изменения в своем околотке, обращает внимание на неправильно припаркованные автомобили, подозрительные личности и т. д. Такая тактика оказалась очень эффективна — сорок процентов преступников выявляется полицией именно во время пешего патрулирования. Пеший образ жизни полицейского закреплён и в обращении, ему адресуемом: *омавари-сан* — «господин-обходящий-округу».

Все это создает атмосферу почти деревенской доверительности даже в нынешнем городе: в случае малейшей необходимости жители без колебаний обращаются в полицию. Причем они предпочитают это делать не по общеполицейскому телефону 110, а направляются прямиком к своему участковому, чтобы лично сообщить о случившемся.

Помимо ежедневного пешего патрулирования еще одной привычной обязанностью японского полицейского является опрос жителей околотка. Дважды в год в каждый японский дом стучится страж порядка и предлагает ответить на длинный список вопросов. Сколько здесь проживает людей? В каких отношениях они состоят? Сколько им лет? Где они работают? Имеется ли автомобиль? Какой марки и цвета? Какой у него номер? Какие ценные вещи имеются в доме? Появились ли в последнее время новые люди в квартале? Замечено ли что-нибудь подозрительное?

Не беспокоят ли соседи? Довольны ли вы муниципальными службами? Полицейский может также осмотреть запоры на дверях и дать надлежащий совет.

Так поддерживается постоянная обратная связь между населением и полицией. Полицейские в других странах частенько жалуются, что по большей части им приходится иметь дело с весьма неприятными персонами — алкоголиками, проститутками, скандалистами, ворами, хулиганами, грабителями и т. д. Опыт японского полицейского совершенно противоположен — обычно он общается с нормальными законопослушными людьми и только сравнительно редко — с нарушителями порядка. В общем-то он больше похож на мирного почтальона, чем на пожарного.

Важнейшей задачей кобан является упорядочение повседневной жизни, создание комфортных для населения условий. Может быть, заметнее всего это в трущобном токийском районе Санъя, где обитают неквалифицированные рабочие, неудачники, бомжи, не имеющие постоянного места работы. Каждый день работодатели являются туда и вербуют этих людей для выполнения какой-нибудь временной работы. Какое-то время назад полиция решила, что поскольку обитатели Санъя бедны и многие из них не имеют наручных часов, следует соорудить большие светящиеся часы на фронте участка. Дальше — больше. Поскольку в Японии очень популярно разведение рыбок, а жители этого района не имеют возможности содержать аквариумы дома, полиция построила перед входом в участок бетонный пруд, куда люди выпускают купленных ими рыбок, к которым затем время от времени навещают, принося заработанные гроши на покупку корма.

В полицию обращаются по самым разным житейским поводам: спрашивают дорогу, просят разъяснить тот или иной закон, просто — изливают душу. Раньше, до повсеместного распространения пластиковых карточек, поиздержавшиеся граждане могли даже попросить в долг, чтобы добраться до дому. Для этой цели в будках был заведен специальный ящик с мелочью, которая выдавалась без лишних формальностей. Степень возвращаемости одолженных средств была при этом очень высока — около восьмидесяти процентов.

Несут в кобан и найденные вещи. Дети, играющие на улице, часто приносят свои маленькие находки. Для их поощрения заведены специальные карточки, в которые вписываются имя ребенка, дата и наименование найденной вещи. Текст на карточке просит родителей похвалить ребенка за добродетельный поступок. Обладание такой карточкой — престижно, и бывает, что ка-

кой-нибудь малыш приносит вещь из собственного дома — чтобы быть отмеченным официальным образом.

В разумных пределах японская полиция весьма терпима и не любит доводить дело до открытого конфликта. Небольшое превышение скорости обычно не карается — полицейский ограничивается устным внушением или берет расписку, что водитель обязуется в будущем строго соблюдать правила движения. Пьяный, если он не представляет прямой опасности для окружающих, — скорее объект заботы, чем наказания. Проституция официально запрещена, но тем не менее публичные дома существуют почти открыто. Общество, а вслед за ним и полиция как бы признают за человеком право на маленькие слабости, но одновременно следят за тем, чтобы их проявления не выходили за разумные пределы.

К пьяному пешеходу относятся снисходительно, но к пьяному водителю — безжалостно строго. Наркотики преследуются неукоснительно, и их употребление до сих пор почти так же редко, как и обладание огнестрельным оружием.

В целом, однако, современные японские законы явно мягче, чем действующие в других странах. А уровень преступности — намного ниже. Значит, дело не в суровости наказания, а в чем-то другом. Наиболее очевидная причина — четкость работы полиции и неотвратимость наказания: раскрывается около 80 процентов совершаемых преступлений (по тяжким преступлениям — 97 процентов). И это при том, что на одного полицейского в Японии приходится 550 жителей (в США — 360, Франции — 280).

Но все-таки самым существенным фактором является общий моральный климат, господствующий в японском обществе. И даже «мафия» является его заложником. Во время страшного землетрясения 1995 года в Кобэ эта пресловутая мафия была настолько шокирована медлительностью и нерасторопностью властей, что мобилизовала своих членов на организацию доставки предметов первой необходимости (питье, еда, одеяла) пострадавшим...

Как и в средневековье, осуждение группой и изгнание из нее — вот самое страшное наказание для современного японца. У нас провинившегося ребенка держат взаперти дома, не разрешая гулять, в Японии — не пускают домой, временно изолируя от семьи. Принадлежность к определенной социальной группе до сих пор рассматривается как невозобновляемый ресурс, которым можно полноценно воспользоваться только один раз. Так, японская система найма на работу на всех сколько-нибудь солидных предприятиях фактически гарантирует (никак не оговоренную в контракте!) занятость сотрудника от начала трудовой карьеры и

до ее конца. Работник и фирма как бы приносят формально нигде не закрепленную клятву верности.

Это означает, что работник берется соблюдать абсолютную лояльность по отношению к фирме, а фирма — всесторонне заботиться о нем и не увольнять ни при каких обстоятельствах (препятствием к выполнению этого обязательства может служить только банкротство). Сам работник по своей воле крайне редко меняет место службы, ибо его уход будет расценен как предательство вассалом своего сеньора, поскольку и другие работодатели уверены — предавший один раз может предать снова. Даже в японской мафии самым серьезным наказанием считается изгнание провинившегося. И если такое решение принято, то во все «заинтересованные» преступные кланы отправляется извещение с фотокарточкой изгнанного — это служит достаточной гарантией, что никто не примет его в свои ряды.

Совершая противоправное действие (или задумываясь о нем), японец испытывает страх не столько перед полицией, сколько перед реакцией окружающих его людей. С самого детства будущего гражданина заставляют смотреть на себя глазами других. Мать внушает ребенку, что его поведение не может идти вразрез с интересами группы — а иначе задразнят, засмеют (совершенно реальная ситуация в японской школе, когда чем-то не понравившегося, отличающегося от других ребенка зачастую доводят до самоубийства). Будь как все, не высовывайся, и все будет хорошо — учат ребенка и в семье, и в школе. Это сдерживает антиобщественный потенциал, но одновременно и нивелирует личность. Так, класс японских школьников после объяснений учителя на его вопрос: «Все ли понятно?» — отвечает единодушным «да!» не потому, что всем понятно всё, а потому, что после объяснения господина учителя должно быть понятно всё. В свою очередь, учитель, видя усердие учеников, часто выставляет всем одинаковые оценки — чтобы никого не выделять. Гению японское общество предпочитает усердного и послушного исполнителя.

Вот и получается: в Японии мало преступников, но зато и мало лауреатов Нобелевских премий. Может, оно и к лучшему?

